

ПУШКИН



ЗАХАРОВ

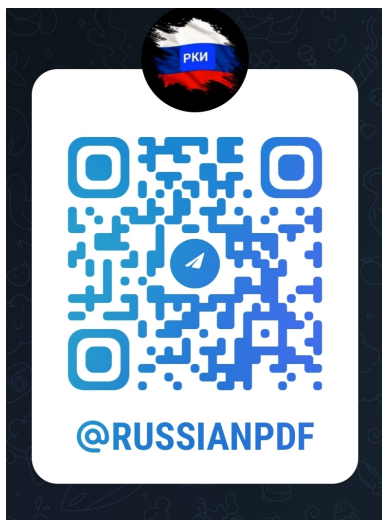
ПУШКИН



ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 1811 – 1820

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

ПУШКИН



ЗАХАРОВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

ПУШКИН

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
1811–1820

ЗАХАРОВ • МОСКВА

УДК 882-311.2
ББК 83.3Р
А 45

*В России каждый второй — пушкинист.
Пушкинисты знают о Пушкине все.
Автор знает все остальное.*

Издание второе, исправленное и дополненное

А 45 Александров А. Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820. — М.: Захаров, 2003. — 768 с. — (Серия «Биографии и мемуары»).

В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.

В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.

А.Л.Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.

ISBN 5-8159-0322-1

УДК 882-311.2
ББК 83.3Р

© А.Л.Александров, автор, 1999
© И.В.Захаров, издатель, 2003

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой Иван Петрович Хитрово прибывает в Баден-Баден для встречи со светлейшим князем Александром Михайловичем Горчаковым. — Баден-Баден в 1882 году. — Некоторые сведения о государственном канцлере. — Берлинский конгресс 1878 года. — Роман князя Горчакова с двоюродной внучатой племянницей Наденькой Акинфиевой. — Остроты Федора Тютчева. — Канцлер Бисмарк — прилежный ученик Горчакова. — Октябрь 1882 года

Иван Петрович Хитрово стоял на площади Баден-Баденского вокзала. Садились в пролетки и разъезжались немногочисленные пассажиры поезда, прибывшего из Мангейма, на котором приехал он и сам. Шел мелкий снежок, редкий, небывалый в южной Германии в это время, тут же таял под ногами прохожих на брусчатой мостовой и слегка припорошивал серые холодные камни старинных зданий. Серенькое небо над городом на первый взгляд напоминало родное, петербургское, но лесистые горы, окружавшие уютный городок, отнюдь не походили на болотистую равнину северной Пальмиры.

Иван Петрович был сравнительно молод (ему едва минуло тридцать пять лет), свободен, имел порядочные связи в обществе, но вся его натура была устремлена не в будущее, а в незабвенное для него прошлое. Уже несколько лет как Иван Петрович вышел в отставку из Министерства внутренних дел и целиком посвятил себя истории Императорского Александровского Лицея, выпускником которого он имел честь быть. Имея кое-какое состояние, он мог себе позволить независимую жизнь и даже издавал на свой счет сборники документов, касающиеся его излюбленной темы.

Еще будучи лицеистом, он собирал все анекдоты о первом, самом знаменитом лицейском курсе, которые лицейская молва передавала по наследству. Пушкинские стихи в тетрадах, жизнь лицейских мудрецов, как они сами себя именовали в рукописном журнале, каждая мелочь их жизни, каждый штрих, каждая бумажка, а собрал он их с тех пор немало, казались ему священными для памяти потомства. «В истории я люблю только анекдоты, хотя, признаюсь, эта страсть не совсем благородная», — любил он повторять про себя слова Мериме вслед за князем Вяземским.

Постепенно он стал проследживать судьбы лицейских, встречаться с оставшимися в живых, получать от них бесценные свидетельства, собственноручные записки, в которых они поправляли и дополняли друг друга, повествуя о далеком времени, и в его второй жизни, которой являлось его исследование, стал образовываться лицейский круг, где доминантой была, разумеется, судьба Александра Пушкина, а сам он, Иван Петрович Хитрово, был незримым соглядатаем и постоянным членом лицейского братства.

Шел октябрь 1882 года, приближался памятный для каждого лицеиста день — девятнадцатое октября. Впрочем, здесь, в Европе, жившей по другому времени, этот день в календаре уже проскочил.

Иван Петрович решил не брать с вокзала извозчика, оставив там вещи, и пустился в путь пешком по застарелой привычке путешественника, любившего обозревать окрестности не из пролетки. В Баден-Бадене он был впервые, до сих пор он доезжал дважды несколько лет назад до прусского Гомбурга, проездом через Франкфурт-на-Майне. Баден-Баден он изучил по путеводителям, имея привычку запасаться оными при любой поездке, и по рассказам бывавших здесь прежде приятелей. Курорт этот был моден в Европе; открыли его по-настоящему французские эмигранты, потом заполонили русские, в последнее время все чаще стали наезжать англичане.

Маленький, утопающий в зелени городок Баден-Баден славился в Европе своими горячими ключами, известными еще со времен римлян; им он был обязан своим процветанием и славою курорта, на котором лечили многие болезни: от золотухи и подагры, этой болезни аристократов, до

застарелого ревматизма и нервических дамских припадков, нарушающих естественный цикл женского организма.

Баденские минеральные воды употреблялись как для купания и душа, так и для питья. С конца восемнадцатого века французские эмигранты буквально заплотонили курорт и создали ему ту славу, которой он пользуется уже скоро столетие. Раньше зимою жизнь на курорте замирала, но с недавнего времени, тому около десяти лет назад, учредили и зимний сезон, который тоже привлек значительное число посетителей. Бывало, зеленое сукно баденской рулетки притягивало к себе самое разнородное общество, страстные игроки съезжались сюда со всей Европы. Цены на жилье и стол в Бадене были необычайно высоки, росли год от года и не снизились даже тогда, когда лет десять тому назад рулетку закрыли. Кто здесь только не бывал из русских известных людей, от особ императорского дома, которых связывали с домом герцога Баденского родственные узы, до именитых русских писателей, как состоятельных, так и полунинищих. Достоевский, сжигаемый страстью к игре, которая доводила его до настоящего безумия. Гончаров, тоже проигрывавший, но помалу, умевший вовремя остановиться и проиграть не все из этого малого, а только половину. Тургенев, который вовсе не играл, а жил неподалеку от виллы Полины Виардо, а потом построивший рядышком собственную виллу, теперь, впрочем, давно уже проданную, после того как Полина покинула Баден и вернулась в Париж, а он, как верный пес, потянулся за ней... Почему-то вслед за тем вспомнилось Ивану Петровичу, что именно здесь, в Баден-Бадене, почти ослепший, в темной комнате, из которой ему не советовал выходить доктор Гутерт, пользовавшийся его, скончался на руках своей молодой жены и старого камердинера Василия замечательный наш поэт, добрейший человек Василий Андреевич Жуковский, имя которого навсегда было связано с господами лицейскими.

Иван Петрович знал, что светлейший князь Горчаков, встреча с которым была целью его поездки, с давних пор облюбовал этот курорт. Он многое знал о князе Горчакове, чувствовал к нему близость, которая может быть только к родному человеку или родственной душе, знал он про него не только открытое, общедоступное, о чем знала и говори-

ла вся Россия, но и много тайного, сокровенного, о чем широкой России было неизвестно. Хитрово был лично знаком с ним и в последний раз встречался в Москве, накануне торжеств в 1880 году по поводу открытия памятника первому частному лицу в России, Александру Пушкину, его великому однокашнику.

Горчаков, совершенно отойдя от дел после печального для России и для него самого Берлинского конгресса, фактически передал пост министра иностранных дел Гирсу, женатому на родной племяннице светлейшего князя, дочери сестры его княгини Елены Михайловны Кантакузен, а в марте 1882 года, уже при Александре III, по личной просьбе он получил полную отставку, но с сохранением звания государственного канцлера и члена Государственного совета, и удалился для лечения за границу. С тех пор Горчаков жил на покое то в Ницце, то в Баден-Бадене.

После Берлинского конгресса покойный император Александр II заметно охладел к нему и мало советовался по государственным вопросам. Канцлер же продолжал цепляться за свое место, хотя давно уже не имел прежнего влияния, и если царь иногда и слушал его, то делал это скорее из уважения к его сединам. Горчаков, достигнувший в своей жизни высшего чина государства Российского и удостоенный высшего титула, возможного для особы не царского рода, никак не хотел спуститься с небес на землю. Он совершал оплошности, иногда по старческой упрямости, не желая никого слушать, а иногда просто по дряхлости и забывчивости. Так, на злополучном Берлинском конгрессе, где он все больше болел, пропуская заседания, и где всем заправлял бывший шеф жандармов, теперешний посол России в Лондоне граф Петр Андреевич Шувалов, который совершенно не брал в расчет престарелого князя, тот однажды восстал в прямом и переносном смысле слова, воспрянул ото сна, и прибыл на очередное заседание конгресса, где его совсем не ждали. Как падишаха, лакеи внесли его в зал заседания прямо на кресле. Испытывая гордость от своего подвига, он от своей старческой рассеянности все-таки произвел, как говорили тогда, очередное свое безобразие.

Небрежно лорнируя соседей по столу, любезно раскладываясь со всеми, он извлек из портфеля, который ему по-

дали, полученную им из военного министерства карту ма-лоазиатского театра войны с показанием на ней границ пре-жних и по Сан-Стефанскому договору, а также, что было самое прискорбное, с пометами, означающими пределы воз-можных уступок, на которые готова пойти Россия. Неизвес-тно, для чего князь захватил эту карту на заседание, по-скольку рассуждать на нем о Малой Азии даже не предпола-галось. Князь близоруко стал рассматривать карту, состав-ляющую, разумеется, большой секрет, а сидевший рядом с ним англичанин Одо-Россель заинтересованно ее изучал. Любопытные взгляды англичанина не укрылись от всевидя-щего жандармского ока графа Петра Шувалова, которого в России прозвали Петром IV или вторым Аракчеевым. Он подскочил к старику и, нимало не стесняясь, можно ска-зать, почти грубо отобрал карту у престарелого канцлера. Князь поморгал глазами, кажется, ничего не понял, завол-новался о том, как он выглядит в сей ситуации, но быстро успокоился, когда по знаку Шувалова ему подали другие карты, Балканского полуострова, купленные в обыкновен-ном магазине на Unter den Linden. Судя по тому, как он слепо в них тыкался, государственный канцлер ничего не понимал в них. Однако эта замена уже не спасла положе-ния, и на последующих переговорах лорд Биконсфильд вы-ставил карту с пределами возможных уступок России, уже как условия Англии. «Тут измена! — кричал князь Горча-ков. — К ним попала карта нашего генерального штаба!» Шувалов скрипел зубами и клял князя на чем свет стоит.

Еще раньше, за много лет до Берлинского конгресса, теперь уже покойный князь Петр Андреевич Вяземский го-ворил Ивану Петровичу, что наша дипломатия, под направ-лением Горчакова, очень похожа на старую нарумяненную, с фальшивыми зубами кокетку. Она здесь и там подмигива-ет, улыбается, иногда грозит своим сухим и морщинистым пальцем. Но никто уже не поддается ее приманкам, никто не обращает внимания на угрозу ее. А она все продолжает жеманиться, ломаться, будировать. Все это по образцу и подобию Горчакова, который сам старая кокетка. Есть стран-ные сближения, думал Иван Петрович: то, что ему говорил старый князь Вяземский, знал и умел назвать мальчик Саша Пушкин, когда еще в Лицее обозвал своего тезку князя Гор-чакова «вольной польской дамою», что было документаль-

но засвидетельствовано одним из губернаторов. Теперь вольная польская дама состарилась.

Вообще светлейший князь Горчаков был болезненно самовлюбленный человек, боготворивший собственную популярность до того, что однажды в присутствии государыни ляпнул, что на сегодняшний день он самый популярный человек в России; но, поняв, что сморозил глупость, добавил с реверансом: «Естественно, ваше величество, после государя императора». — «Очевидно, что он сделал эту уступку только из любезности ко мне», — смеялась потом императрица Мария Александровна, супруга Александра II.

Как и у многих стариков, забывчивость его касалась только времени настоящего да ближайшего прошлого, что же до прошлого дальнего, то молодость вставала перед ним отчетливо, ясно, кристально, даже голоса слышались рядом, над ухом, голоса молодые, звонкие, из первой лицейской юности, чувственной, буйной, незабываемой.

Те времена он помнил отчетливо, до мелочей, а лицейские годы были его коньком, дружба с однокашником Сашей Пушкиным священна, юношеские шалости до удивления свежи. Он охотно декламировал послания Пушкина к себе, теперь чаще всего первое, ко дню ангела, автограф которого, набело переписанный самим поэтом, он хранил в своем архиве и показывал только самым избранным. Описывая его далекую смерть, тогда казавшуюся только гипотетической, Пушкин желал от чистого сердца, чтобы князь «вступая в мрачный челн Харона, уснул... Ершовой на груди». Старик, смакуя эти строки, елеяно причмокивал, ловя во рту болтающиеся зубные протезы и поглядывая на молодых дам, если они случались рядом, и глазки его блестели, потому что именно для дам он жил, дышал и, главное, читал эти строки. Глядя на него, на его чувственный, юношеский задор, сразу вспоминалось, что в свете его за глаза звали князем Сердечкиным.

Повелось это еще с того достопамятного времени, когда он был без ума влюблен в свою внучатую племянницу, молоденькую Наденьку Акинфиеву, урожденную Анненкову, которая была сорока годами его моложе. Он поселил ее в Петербурге в своем доме этажом выше и даже выхлопотал мужу камер-юнкера, что позволило известному поэту и остро слову, его приятелю и сослуживцу Федору Ивановичу

Тютчеву сказать: «Князь походит на древних жрецов, которые золотили рога своих жертв». Эта острота, как и многие остроты Тютчева, переходила из уст в уста по всему Петербургу.

Федор Тютчев тоже строил куры молоденькой родственнице князя Горчакова, писал ей стихи и, видимо, был огорчен, что она предпочла более именитого дядюшку.

При ней и старость молодела
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком, —

сами собой всплыли тютчевские строки о Акинфиевой.

Несколько лет Акинфиева царила в доме тогда еще вице-канцлера, министра иностранных дел князя Горчакова полновластной хозяйкой на всех его раутах. Нарумяненный, блистая поддельной белозубой улыбкой, князь Сердечкин представлял всем свою племянницу, искрясь от счастья. В свете все положительно сходились в том, что это счастье она ему давала.

Однако позднее она все реже и реже спускалась как на рауты, так и на обеды, где прежде бывала постоянно, а вверх по парадной лестнице, устланной коврами, к ней зачастил герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский, почти что ее ровесник, к тому же племянник Александра II, внук Николая I, сын его любимой дочери Марии, впоследствии генерал-адъютант, шеф 9-го гусарского Киевского имени своего полка. Князь Горчаков был не прочь удружить племяннику царя, но все же скучал по Акинфиевой и как ребенок радовался, когда она выбирала все-таки минутку и посещала его в вечерние часы.

Впоследствии Акинфиева, при живом еще муже, с которым, впрочем, ее развел милый дядюшка, позолотив тому рога камер-юнкерством, вышла замуж за герцога Лейхтенбергского, получив особым царским указом к свадьбе титул графини Богарнэ. Впрочем, в обществе не поняли этого шага герцога, расценив его как абсолютно излишний. А все тот же — слегка обиженный — острослов Федор Тютчев изрек: «Это все равно, что купить Летний сад, чтобы иметь право в нем прогуливаться». Имея в виду, что прогуливаться в Летнем саду имеет право любой.

И уж совсем недавно о любовных делах Сердечкина, о том, как он настойчиво ухаживал за совсем юной Олсуфьевой, рассказывал ему князь Петр Андреевич Вяземский, старший Горчакова всего шестью годами. Печально улыбаясь, он изрек: «Помнится, я имел куда больший успех у ее бабушки в начале века».

Отчего Ивану Петровичу сейчас вспомнилась эта Акинфиева, теперешняя графиня Богарнэ, которую он никогда не видел, но которую знал по рассказам других до того явно, как будто прожил рядом с ней всю жизнь, отчего вспомнились ему другие персонажи калейдоскопа истории, убей Бог, он не знал, но всегда не уставал поражаться, как прихотливо блуждает мысль по закоулкам памяти, как фактик цепляется за фактиком и выстраивается в цепочку, уводящую Бог весть куда!

Вот сейчас он был здесь, в конце такой исторической цепочки, и никто не мог знать, о чем думает довольно высокий молодой человек, задумчиво стоящий на площади перед позеленевшей статуей великого герцога Леопольда. Отчего он медлит и что надо ему от герцога, на которого он так упорно глядит? Крупитчатый снежок сыпался на бронзовые могучие плечи Леопольда. Иван Петрович машинально взглянул на себя и страхнул снятой перчаткой с рукавов своего темно-синего пальмерстона успевший нападать снег. Ему показалось, что герцог хочет сделать то же самое. В воздухе горько пахло Европой, и Иван Петрович неожиданно понял, что мокрый воздух пронизывает запах угольного дыма, которого никогда не бывает в России, потому что дома топят дровами. Прогорклый угольный дым — это и есть запах Европы.

«Боже мой, — подумал Иван Петрович, — неужели здесь все закончится? Неужели в этом городке есть какая-то магическая сила? Почему сюда влечет многих? Ведь не только же лечебные воды? Почему они роятся здесь, собранные со всех концов света, живут и умирают? Что это за такой европейский клуб, где может получить членство любой, заплатив за гостиницу или пансион? Почему наконец меня влечет сюда неодолимо? Сколько людей со всего света сошло здесь в могилу, и вот сейчас, вполне возможно, именно здесь, в Баден-Бадене, сойдет в могилу последний лицеист, в чьей памяти запечатлены те дни невозвратные, те

образы, безвозвратно для других улетевшие, за которыми гоняется, как за призраками, Иван Петрович Хитрово? Почему именно эта точка в мировом пространстве может оказаться выбранной судьбою для того, чтобы воспоминания, сплетенные в клубок и собранные в сгусток невообразимой энергии, вспыхнули напоследок именно в этой точке, вспыхнули и погасли, как гаснут огни фейерверка. Погасли навсегда. Навсегда ли?»

Какими эпитетами только не награждали князя: «руина Горчаков», «отсыревший фейерверк» и тому подобное, и было это не пять, не десять, но и двадцать лет назад, а он, подишь ты, все живет и живет. Видимо, руины живут подоле, чем здания, содержащиеся в полном порядке. Справедливости ради надо сказать, что и в старости светлейший князь по внешности был в полном смысле *grand seigneur* и отличался представительной наружностью. Но если б кто знал, скольких усилий ему стоила эта представительная наружность!

Ивану Петровичу рассказывал приятель, которому случилось ехать лет десять назад в царском поезде вместе со светлейшим князем. Поутру он видел Горчакова, когда тот проснулся — это был совершенно разбитый старец, лицо состояло из одних морщин, ни бровей, ни зубов нет, седой взъерошенный пушок по бокам лысины. Занимался он своим туалетом часа два и в конце концов все отсутствующее у него появилось: явился фальшивый цвет лица, отличные брови и зубы, даже волос как будто прибавилось, хотя ни накладки, ни тем более парика он не носил.

А вот изяществом манер князь Горчаков умел покорять всех смолоду, разговор он вел блестяще, но безукоризненная французская речь его часто бывала бессодержательна, хотя и бойка, что, впрочем, отличает всякую светскую беседу. Не потерял он эту способность и с годами. Видал он на своем веку много, был на дружеской ноге со многими первыми лицами европейских государств, любил говаривать о значительных фигурах, с которыми сталкивала его судьба, но в этих рассказах всегда ухитрялся отводить своей персоне самое видное место. Сам Бисмарк, железный канцлер, представлял в его рассказах всего-навсего прилежным учеником и исполнителем его воли в европейской политике. Подобным образом он вел себя и относительно Пушкина, но это,

как говорится, отдельная история: он тонко приглушал свое хвастовство иронией и сравнивал себя с кухаркой, которой Мольер читал свои стихи. Самомнение его не знало границ. Не было, кажется, такой грубой, наглой лести, которую он ни принимал бы за чистую монету; он нуждался в поклонении, в том, чтобы беспрерывно курили ему фимиам, прославляли его доблести. Впрочем, будем справедливы, доблести у него были, и, хотя на протяжении его долгой жизни судьба не всегда была к нему благосклонна, он сумел обуздать эту прихотливую даму и заставить ее служить себе. И Бисмарк, кстати, его учеником был, только, пожалуй, ученик переплюнул своего учителя. Разумеется, если смотреть из Европы на Россию.

Иван Петрович достал часы, посмотрел на них и подумал, что сейчас, видимо, светлейший князь обретает свое лицо, готовясь к выходу из спальни.

Иван Петрович решил зайти к князю и оставить свою визитную карточку, «загнуть уголок», дабы известить того сим знаком о своем приезде, потом направиться в гостиницу, взять номер и отправить посыльного за багажом на вокзал.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

*в которой князь Горчаков пытается вспомнить,
кто такой Хитрово. — Размышления князя о Баден-
Бадене. — Октябрь 1882 года*

«Хитрово, Хитрово... — бормотал князь Горчаков, вертя загнутую карточку с его фамилией в руках. — Это из каких же Хитровых?»

Князь знал родословие многих известных фамилий и помнил, что Хитрово — род старинный, их предок татарин Эду-Хан выехал из Золотой Орды, кажется, в четырнадцатом веке. От его прозвания Сильно-Хитр и пошла фамилия Хитров, потом Хитрово. Хитрово — не князья, значит, выехали из Орды зимой. Он усмехнулся, вспомнив анекдот про ордынских татар: как-то Павел спросил Ростопчина, весьма приближенного к нему: «Ведь Ростопчины татарского происхождения?» — «Точно так, государь». — «Как же вы не

князя?» На что Ростопчин, усмехнувшись, отвечал: «А потому, государь, что предок мой прибыл из Орды зимой. Тем, кто приезжал зимой, государь жаловал шубы, а тем, кто летом, — княжеское достоинство».

«Надо бы к слову рассказать сей анекдот дамам, — отметил про себя князь. — Впрочем, есть и другие дворяне Хитрово, более позднего происхождения. Что, если он из них? Может быть, имеет какое-то отношение к Елизавете Михайловне Хитрово, любимой дочке прославленного нашего полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, светлейшего князя Смоленского? Саша Пушкин был с ними дружен, с Хитровой и ее дочками. Младшая Дарья была замужем за австрийским посланником в Петербурге графом Шарлем-Луи Фикельмоном... Правда, дочери были не от Хитрово, а от первого брака и носили в девичестве фамилию Тизенгаузен, отец их граф Фердинанд погиб под Аустерлицем... И похоронен, кажется, в Ревеле... Старшая Екатерина была фрейлиной императрицы Александры Федоровны и до сих пор носит фамилию отца, замуж не вышла. Впрочем, жива ли? Кажется, жива... А графиня Долли была недурна, очень недурна... Курила только как лошадь. За что ее и прозвали в Вене Табакеркой. Хотя табакерки держали для нюхательного табаку. Саша Пушкин, говорят, имел с ней интимную связь... Открыл Табакерку... Что ж, вполне может быть... Она, во всяком случае, его всегда ценила и часто вспоминала в разговорах с князем, когда они встречались на раутах в Вене. Уже после смерти Пушкина. Тогда ей было под сорок, а все была недурна. Помнится, и в нем вызывала волнение и стеснение в груди. Тот знаменитый анекдот ее о свидании с Пушкиным, который ему рассказывал князь Вяземский, верно, чистая правда. Свидание с любовником ночью в мужнином доме, на это не каждая женщина может решиться. У Долли был бес в глазах...»

Во времена их близкого знакомства муж ее в отсутствие Меттерниха был министром иностранных дел Австрии, а Горчаков советником русского посольства. Приходилось встречаться, и не раз. Он снова посмотрел на визитную карточку и почему-то решил: «Нет, навряд ли он из этих Хитрово, это, верно, какие-нибудь другие Хитрово, однофамильцы... Кстати, и другая дочь Кутузова тоже была замужем за Хитрово... А может, это сын церемониймейстера

Хитрово? Нет. Тот был Захарий Алексеевич, а на карточке значится — Иван Петрович».

Князь с трудом поднялся из кресла, положил карточку на стол и вдруг неожиданным озарением, всполохом памяти вспомнил того молодого человека, который являлся к нему уже в Москве, накануне торжеств по поводу открытия памятника Пушкину. Белесый такой, с водянистыми светло-голубыми глазами, смотрит на мир и удивляется... Он сотрудничал в специальном комитете по сооружению памятника, куда входили несколько выпускников Александровского Лицея, принес ему пригласительный билет в зал Благородного собрания на публичное заседание Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Все твердил, что число билетов ограничено... Что будут известные литераторы. Князь усмехнулся на то, с каким пиететом он говорит о литераторах, и рассказал ему старый анекдот, из тех, какими у него была напичкана память: «привел раз к атаману Платову Ростопчин знакомиться Карамзина. Атаман улыбается, любезен и, подливая себе в чай рому, говорит: «Очень рад, очень рад познакомиться. Я всегда любил сочинителей, потому что они все пьяницы!»

Князь хотел пройти в спальню, но как-то незаметно подтянулся, подгрел к буфету, где стоял графинчик с любимой его водкой «ginger», к которой он привык еще в Англии. Он не стал беспокоить слугу и налил себе сам. Залпом, по-русски, выпил рюмку, подождал, пока тепло разольется в желудке. Потеплело и в душе, потянуло, как волнами повлекло в прежние времена.

«Странно бывает; вот так же и тогда я сидел и думал: Хитрово, Хитрово, это из каких же Хитрово? И даже Долли, кажется, вспоминал? А сейчас вдруг забыл. Все повторяется, все идет по кругу, мысль бежит, как белка в колесе, и не может остановиться... Мысль, белка, мысль, белка, где это было? Мысль или белка? Ах, да! Там было совсем другое: они все спорили, мысль это или мышшь растекается по древу у Бояна вещего, а кто-то сказал: да не мысль это и не мышшь, мышшь по древу не бежит, это белка растекается... Вьюрк-вьюрк, хвост рыженький, брюшко голубоватое... Или наоборот: хвостик голубой, брюшко рыженькое? Неважно. Важно, что белка по древу, серый волк по земле, а сизый

орел под облаками... Каков образ? И даже прозвание этой белки назвал, умный человек, из псковского диалекта слово, только князь за давностью разговора теперь не помнил, а помнил лишь, что разговор шел в гостиной среди умных людей о «Слове о полку Игореве», опубликованном Мусиным-Пушкиным и до сих пор вызывавшем споры... Много туманностей, неясностей... Литературная мистификация... Рукопись сгорела в московском пожаре двенадцатого года... Как и почти вся библиотека графа Мусина-Пушкина... Так о чем я?»

— А-а... Как же, как же, — пробормотал князь. — Лицеист... Хитрово. Совсем мальчишка... С голубыми глазами. «Ваша светлость, открытие памятника Пушкину, приглашенный билет... Большая честь». Для кого?

И еще он подумал, что жизнь его сложилась так, что, о чем бы он ни заговаривал, куда бы ни утекала его мысль в частной беседе или в воспоминаниях, так или иначе притекала она к Пушкину, сталкивалась с его именем, будто он настолько заполнил собой жизненное пространство в России и вовне ее, везде, где обитали русские, что без него, как без Бога, и не мыслилось уже существования. А Саша был не Бог. Ох, не Бог! Впрочем, памятник можно, он был не против народной воли. Ломоносову есть, Карамзину есть, дедушке Крылову поставили, отчего же пушкинскому не быть? Это Уваров, низкая душонка, протестовал против большого пенсионера, назначенного государем семье погибшего поэта, и говорил Жуковскому: как можно сравнивать его с Карамзиным, ведь тот был святой, а этот жизни далеко не примерной. Хотя нет, это государь Николай Павлович сказал: «Мы его насилу заставили умереть христианином». Уваров как попка повторял. Хотя неизвестно, кто за кем повторял: Уваров при всей своей низости был умен. Как-никак автор формулы: «Православие, самодержавие и народность».

Но вернемся к Пушкину. Ведь еще в 1856 году, едва князя Горчакова назначили министром иностранных дел, подчиненные обратились к нему с ходатайством о создании памятника Александру Пушкину; Саша числился в списках по их ведомству, значит, был их сослуживцем, но государь тогда не поддержал эту просьбу, хотя Горчаков и осмелился

обратиться с ней. Слишком еще свежа была память о вечно опальном поэте.

Князь Горчаков вздохнул и прошел в спальню, где над его кроватью висел крест со древом, которым когда-то протоиерей Штутгартский Иоанн Базаров, его духовник, благословил умирающую жену Машу, крест, к которому она прикасалась охлаждающими устами и который с тех пор всегда с ним. Князь перекрестился, смотря на крест, потом присел боком на кровать и задумался. Баден держал его, как в плену, с того самого дня 18 июня 1853 года, когда здесь усопла его незабвенная супруга и мать его двоих детей. Здесь была ее временная могила до того, как тело увезли в Петербург. Здесь и сам он чувствовал себя как во временной могиле и просто дожидался, когда тело его увезут в Петербург. Запах тлена преследовал его с утра до вечера, и иногда ему начинало казаться, что тлеет он сам, что этот гнилостный запах исходит от него, и тогда князь начинал плескать на себя в больших количествах одеколон и ожесточенно растирать его по шее и лицу. Сейчас осенью запах тлена особенно обострился, все в Баден-Бадене ему напоминало о смерти. Ведь только непонимающему могло придумать, что этот приторный запах — запах гниющих листьев, только непонимающему. Он-то знал, что здесь, как всегда, пахло смертью. И только ею одной. «Странно, что многим Венеция говорит о смерти, мне так больше Баден-Баден» — думал он. Баден-Баден. Купаться. Река Стикс. Купаться в реке Мертвых... Вот что такое Баден-Баден... Он попытался вспомнить всех русских, кто умер в Баден-Бадене и переплыл здесь Стикс; оказался довольно внушительный список: его жена Маша, князь Петр Андреевич Вяземский, еще раньше — младшая дочь князя Вяземского Надежда, князь Козловский, чуть раньше Маши — наставник государя Александра Павловича в бытность его еще наследником-цесаревичем — Жуковский; у Маши и у Василия Андреевича даже и доктор был один, местный, баденский, немец Гугерт, и духовник все тот же, отец Иоанн Базаров. Он стал думать об отце Иоанне, и тот являлся к нему то бритый и одетый во фрак на западный манер, то с бородой, которую протоиерей всегда отпускал, пребывая в России, вспомнил его трогательную заботу, последний приезд в Баден в прошлом году, вспомнил и забыл про него, улетел отец Иоанн, улетел как сухой

осенний лист, несколько раз перевернулся в воздухе и пропал; князь посмотрел ему вслед и вернулся мыслями к лицеисту Хитрово. Лицеист с истовостью, которой князь не ожидал от него и которая граничила с неприличием, доказывал ему, что именно он должен убедить царя вернуть Лицей в Царское Село из Петербурга, и даже кощунственно предлагал переименовать его из Александровского в Пушкинский. Смешно, как будто Пушкин Лицей создал, а не Александр Павлович. И как будто на такое переименование мог пойти его племянник и венценосный тезка. Скоро начнет казаться, что Пушкин создал в России все.

Вообще, даже в подготовке этих торжеств, по поводу которых и объявился Хитрово, было что-то от истерики, потому-то (а не по болезни, как отговорился) князь и уклонился от участия в них. В газетах потом писали, что на торжествах не обошлось и без безобразий, какие обыкновенно случаются при большом стечении народа. Кого-то, как всегда, раздавили. А куда рвались? Ведь многие и не знали, кто такой Пушкин. Слышали только: Пушкин да Пушкин. Как цепка слава, как прилипчива, будто пальцы Мидаса обращает она все в золото. Но откуда она берется? Вот ведь и я славен, известен в России, в Европе меня знают несравненно больше, чем Пушкина, а пройдет мирская слава, что останется — прах, пыль? Слава, благодарность потомков — все пустые слова, кимвальный звон, а на поверку — пшик! Пшик ли? А памятник? Памятник из бронзы Сашке останется. Вдруг Горчакову пришла в голову страшная, безобразная мысль, что, когда умрет он, бросят его здесь, в чужой стороне, не увезут сыновья праха на родину, и никто никогда не придет и не найдет могилку, зарастет она травой, похоронят сверху других людей... Черепа, кости смешаются...

Идти было некуда, он почти не выходил из дому, к тому же погода не баловала, прогулки не предвиделось, и к нему никто не зван; даже ванны он сегодня не брал — лишен единственного развлечения. Может быть, очень кстати появился этот настойчивый лицеист с его бредовыми идеями, скрасит его одиночество. Мышь, мыш, растекается по дереву... Кто такая? Почему явилась незвана? А может быть, все-таки мысль?

Князь позвонил, и появился его камердинер, нанятый, вышколенный при курорте немец, сухопарый, гладковыбритый, с водянистыми пустыми глазами.

— Он оставил свой адрес?

— Да, ваша светлость.

— Пошлите ему приглашение.

— Слушаюсь.

— Впрочем, подождите, я сам напишу ему несколько строк.

Слуга слегка поклонился и вышел.

Князь прилег на кровать и закрыл глаза. Ныли суставы, в левом предплечье дергало. Он осторожно искал удобную позу и, кажется, нашел ее. Боль утихала.

«Это водка помогла», — решил он. И вдруг вспомнил, что разговор о «Ироической песне о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича», именно под таким названием дед его пасынков и падчериц граф Мусин-Пушкин впервые издал «Слово о полку Игореве», так вот разговор о ней шел у него в гостиной (пасынки по праву прямого родства с известным археологом любили эту тему).

«Я прав, — отметил он про себя с улыбкой, — разговор шел среди умных людей. А белочку в псковских землях, где у дяди Пещурова было имение, крестьяне звали «мышь». Вот тебе и мысль! — усмехнулся старый князь. — Одна буква лишняя. Опечатка. У Мусина-Пушкина. Наборщик не понял слова и прибавил букву. А должно быть: мышь! Мысию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. А может быть, еще переписчик рукописи ошибся, теперь уже не узнаешь. Тю-тю!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*в которой Иван Петрович Хитрово располагается
в баденской гостинице и получает приглашение
от князя. — Октябрь 1882 года*

В номере лежали распакованные чемоданы, а сам Иван Петрович сидел за туалетным столиком, за неимением другого в номере, и просматривал свои дневниковые записи.

Углубившись в них, он задумался, отвлекся, и вдруг перед ним явственно возникла не раз уже возникавшая в его памяти картинка: заснеженные царскосельские сады, каменные мостики, пустые зимою беседки, парки с голыми озябшими деревьями, посаженными еще при Екатерине, когда Царское Село, тогда еще Сарское, только начинало обретать свое лицо; уходящая вдаль аллея, далекие фигурки маленьких воспитанников Лицея в форменных шинелях, идущих попарно на прогулку в сопровождении двоих гувернеров...

Иван Петрович был почти уверен, что и сам находится среди этих воспитанников; он настолько сжился с тем временем, что уже стал забывать, что в его времена Лицей находился, да и посейчас находится, в столице, на Петербургской стороне.

Он был в Царском Селе, он шел в цепочке воспитанников и видел, как впереди маленький Пушкин задирает кого-то, стучал ему кулаком по спине, а потом на него ополчились разом Малиновский с Пушиным, два самых рослых молодца, к ним присоединился Олосенька Илличевский; с шутками и прибаутками они затолкали, затормошили его, а Казак Малиновский даже бил прутом по спине, отчего Пушкин чуть не заплакал, потом грязно, по-дворовому, выругался. Казак захохотал, похлопал Пушкина по плечу. А вот Олосенька поморщился — он не любил матерщины, а Пушкин все время ругался, как извозчик...

В дверь номера постучали.

— Войдите, — сказал Иван Петрович не сразу, потому что с трудом оторвался от видений.

Появился посыльный и молча протянул ему конверт. Иван Петрович дал ему маленький *trinkild* и, когда он вышел, раскрыл конверт. Там была записка от князя, которую он быстро пробежал глазами, — князь приглашал его к себе запросто. Почерк у князя был крупный и некрасивый, так пишут люди непривычные к письму.

Ивана Петровича порадовало, что князь откликнулся тотчас: значит, он был здоров и принимал. Только бы удалось князя разговорить, по предыдущему визиту в Москве он помнил, что князь был достаточно сдержан; ему даже показалось, что князю претит вся эта затея с торжествами, что в глубине души он ревнует к пушкинской славе, но старается, чтобы, не дай Боже, его в этом не заподозрили.

А торжества тогда удались, ничего подобного на своей памяти Иван Петрович не помнил. У него все впечатления того дня записаны в дневнике, но и так он помнит. Два года всего минуло.

...Уже с девяти часов утра 6 июня 1880 года многочисленные экипажи стали стекаться к площади Страстного монастыря. В одном из них прибыл и Иван Петрович с двумя своими лицейскими однокашниками, все они были с утра во фраках, с белыми бутоньерками в петлицах, на которых стояли золотые буквы «А.П.». Экипаж медленно тащился по Тверской, потому что она была запружена толпами народа. Лошади шли шагом, порой совсем останавливаясь.

— А кто таков? — вопрошал подвыпивший с утра мещанин.

Ему ответили:

— Пушкин. Сочинитель.

— Не слышал, — отвечал тот. — Матвея Комарова знаю, а Пушкина — нет. «Милорда» читал, «Ваньку-Каина» читал!

— Матвея Комарова все знают, — ответили ему. — А Пушкин — поэт! Деревня!

А мещанин снова приставал, однообразно, как всякий пьяный:

— Ну кто таков?! Скажи мне, друг милый...

— Как же! Поэт! — наконец возмутился собеседник. — Писал стихи... Убит на дуэли. Сражен! За честь жены дрался.

— А-а! — закричал пьяный. — Этот, с пистолетом... Любовник, говорят, женин его хлопнул. Пух — и вышел дух! Но ведь не генерал, — наклонился он к собеседнику. — Почему памятник? — недоумевал он.

Ответа на этот вопрос Иван Петрович не услышал. Но подумал, как в сущности прав в своем недоумении гуляка-мещанин, ведь торжество в честь частного человека, который знаменит только тем, что писал стихи, это для России совершенно в новинку. Это ведь еще переварить надо. Как можно поставить памятник писателю, когда писатель — это кто-то свой, Матвей Комаров, например: сидел себе в кабаке и катал книжки, которые потом можно было купить в ряду, в яркой литографической обложке.

— Почему памятник? — не унимался мещанин и добавил, как бы в подтверждение мысли Ивана Петровича: —

Этак и мне памятник можно? Я тоже стишки пописываю... Или Балакиреву! Тоже был писатель! Хотя и шут.

На площадь, за канаты, которыми она была огорожена, пускали только пешком по приглашениям. Лишь особо почетных гостей пропустили в экипажах — они видели, как проехал мимо них седовласый красавец Иван Сергеевич Тургенев, придерживая свой венок. Им же пришлось покинуть экипаж. Взявшись втроем за свой огромный и неудобный венок, они поволокли его через толпу к памятнику. Поднимая голову, Иван Петрович видел, что в открытых окнах домов по всей Тверской торчали головы зрителей, на крышах же собрались праздные жители московские, в основном мужики и мальчишки.

Памятник стоял еще закрытый довольно грязной холстиной и обвязанный бечевой. Он напоминал спеленатую мумию. Депутации с венками располагались в некотором отдалении. Присоединились к ним и Иван Петрович со товарищи.

Небо было серенькое, с утра хмурилось. Около памятника колыхались многочисленные разноцветные значки и знамена различных корпораций, обществ и учреждений; вокруг площадки памятника на шестах были поставлены белые щиты, на которых были золотом вытеснены названия произведений поэта. Тверской бульвар был украшен гирляндами живой зелени, перекинутыми над дорожками; четыре громадные, очень изящные канделябра окружали памятник; сзади виднелись восемь яблочковских электрических фонарей.

Публика размещалась кто на возвышенных подмостках, устроенных как раз возле Страстного монастыря, кто вокруг памятника, как депутации, а исключительно для дам, по особым приглашениям, были устроены подмости возле самого памятника, направо от него. Налево, против этих подмостков, была устроена трибуна, затянутая красным сукном и уставленная креслами, предназначенными для почетных гостей, среди которых Иван Петрович разглядел всего одного лицеиста первого призыва, оставшегося в живых к этому времени, кроме князя Горчакова, Сергея Дмитриевича Комовского, Лисичку, с опущенной головой, то ли читавшего что-то на коленях, то ли просто заснувшего.

В толпе рассказывали, что в церкви Страстного монастыря уже началась заупокойная обедня, которую совершал московский митрополит Макарий, за литургией последовала панихида и провозглашение вечной памяти боярыню Александру...

В двенадцать часов, когда на площади все устали ждать, из церкви наконец показалась процессия присутствовавших там лиц и двинулась через Тверскую. Духовенство, впрочем, не вышло, однако певчие, шедшие вместе со всеми, пели. Но почти тут же их пение заглушили оркестры, разом заигравшие на нескольких эстрадах. Оркестры играли, разумеется, вразнобой, и сумбур был великий, однако почтительная толпа сняла шапки.

Потом памятник торжественно передали Москве, вручив акт городскому голове Сергею Михайловичу Третьякову, он сказал благодарственную ответную речь. По знаку спала пелена с памятника, и поэт предстал перед своими потомками, грустный, с опущенной головой, словно непричастный этой торжественной минуте, где тысячеустное «ура» заглушило все звуки. Среди других deputаций возложили свой венок и трое лицеистов, Иван Петрович почему-то запомнил рядом троих же мальчиков с венком, одетых одинаково, в простые рабочие блузы и в высоких смазных сапогах. «Вот ведь и мы одинаково одеты!» — подумал он тогда, глядя на мальчиков. Один из них, с удивительными ясными глазами, посмотрел на него, и Иван Петрович, сняв с фрака бутоньерку с пушкинскими инициалами, прикрепил мальчику на блузу. В этом он увидел знамение и остался доволен своим поступком. Мальчик, уходя от него, все трогал пальцами бутоньерку.

Когда они разъезжались вместе с другими депутациями, открыли канаты, преграждавшие проход на площадь, и толпа праздных гуляк ринулась к памятнику, сметая все на своем пути. Рев и визги понеслись по площади, ломались и рвались на куски венки, отрывались на память шелковые ленты с золотыми буквами. Напор был столь сокрушителен, что порвали массивную чугунную цепь в виде свитых лавров, окружавшую памятник, но всего этого Иван Петрович уже не видел, прочитал на следующий день в газетах.

Забилась, заголосила какая-то баба, завывала с пеной на губах:

— Пуш-кин! — Руки ее заскользили по холодному мрамору... Юродивая. Почему здесь, а не на паперти?

Не видел он, как через несколько часов, ввечеру, князь Горчаков проезжал в карете по Тверской, отправляясь с визитом в один знакомый дом. Моросил мелкий дождичек, собиравшийся с самого утра. У памятника горела иллюминация, восемь яблочковских фонарей и несколько газовых, и веселый, праздничный гулял, несмотря на дождь, народ, и весь пьедестал памятника был усеян останками больших венков и маленькими букетиками ландышей и любки, которую из-за сильного запаха называют еще «лесным гиацинтом». Князь остановил карету, подозвал торговца цветами, долго выбирал между ландышами и любкой, купил наконец у него букетик ландышей и с монеткой послал подвернувшегося мальчишку:

— Положи от меня!

И с сознанием выполненного долга поехал дальше. Не видел Иван Петрович этого, но вспоминал, будто Горчаковым был он сам, будто это он дал мальчишке гривенник и поехал дальше. Вот куда только — не помнил!

И если уж заканчивать эту историю с памятником, то стоит сказать, что лицеист Комовский скоро, едва ли не через месяц, помер, но Иван Петрович успел посетить его в последний раз за несколько дней до смерти.

Вот тогда-то и сказал Ивану Петровичу Лисичка-Комовский с грустью:

— Как ни рассматривал я ваш памятник со всех сторон, ничего, напоминающего Сашу, не нашел. Что напоминает нашего восторженного поэта в этой грустной, поникшей фигуре? Зачем изобразил его так почтенный художник? Для чего оставил таким потомству? Вопрос!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой князь Горчаков хвалится приобретенной картиной Адольфа Менцеля, вспоминает свои знаменитые циркуляры и приглашает лицеиста Ивана Петровича Хитрово праздновать с ним лицейскую годовщину. — Октябрь 1882 года

Светлейший князь Горчаков нанимал маленькую квартиру, всего в четыре комнаты, в нижнем этаже. Квартирка была небогато, но со вкусом, которым всегда отличался князь, мебелирована. Несколько полотен в стиле бидермейер, который сформировался на его глазах и вошел в моду, пока он жил в Германии, украшали стены. Среди них висела небольшая жанровая картина Адольфа Менцеля, которую князь приобрел в Берлине, и пара его же гуашей. В библиотеке князя в Москве были иллюстрированные этим художником «История Фридриха Великого» Куглера и роскошное издание сочинений сего государя, присланное ему Бисмарком вместе с экземпляром, предназначавшимся государю Александру Николаевичу. Князь питал слабость к этому художнику-самоучке, которого знал лично, к этому талантливому карлику с длиннющей бородой и чудовищным самомнением.

Князь Александр Михайлович, со сморщенным старческим личиком, с гладко выбритыми брылами, опущенными на строгий крахмальный воротничок белой сорочки, с седым пушком почти младенческих волос, окаймлявших отполированный череп, но с живыми, голубыми и ясными, а не блеклыми и выцветшими, какие обыкновенно бывают у стариков, глазами, сидел в кресле, держа в руке наполовину разрезанный костяным ножом, лежавшим рядом на столике, журнал в издательской обложке, и говорил, обращаясь к Ивану Петровичу, сидевшему в соседнем кресле:

— Вот читаю «Русскую старину»... Вы, как мне кажется, тоже в этом издании пописываете?

— Случалось и в «Русской старине», и в «Русском архиве»... Некоторые сборники я издаю на свой счет...

— Это похвально, конечно, если позволяет состояние. Мне мое позволяет иной раз купить понравившееся полот-

но, и не более. Вот приобрел Менцеля, — не удержался и похвастался князь Горчаков. — Нравится?

Иван Петрович неопределенно пожал плечами.

Князь про себя усмехнулся — он знал, что литераторы начисто лишены художественного чутья.

Разговор между ними велся на французском языке. Князь, несмотря на то что был патриот, говорил и писал по-французски, крайне редко обращаясь к русской речи.

— И мои воспоминания вы тоже опубликуете в каком-нибудь из этих изданий? — вернулся к теме разговора князь Горчаков и пролистал журнал, который держал в руках.

— Я пока еще не знаю, ваша светлость, но, может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания или вы ставите условия?

— Что вы! — сказал князь. — Никаких условий! Я даю вам *carte blanche*! Но у меня есть к вам одно деловое предложение. Что касается формы, какую примет наше общение, то мне хотелось бы предложить вам следующее. Видите ли, любезный Иван Петрович, я через день беру лечебные ванны. Потерянное время, полудрема, расслабленное тело... В мозгу вследствие влияния солей, как сполохи, разгораются видения, вспоминается нечто такое, что в обыденной жизни никогда бы и не вспомнилось, память нашептывает, люди встают из гроба во плоти и крови, живые сцены, слова, характеристики, а вы только записываете под мою диктовку. Вы, должно быть, знаете, что я никогда не писал сам, секретари записывали...

— А ваши знаменитые циркуляры? — искренне удивился Иван Петрович. — Они написаны таким афористичным языком!

— Все импровизация, импровизация, друг мой! Без всякой правки! Ну разве слово, два... — довольно рассмеялся Горчаков, и лицо его засияло, как медный грош. — Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Она собирается с силами! — продекламировал он чуть ли не самое знаменитое место из циркуляра от 21 августа 1856 года.

Иван Петрович прекрасно помнил эти слова, они стали крылатой фразой. Особенно запомнили эту фразу европейцы. И, кажется, помнят до сих пор.

— Я с удовольствием поработаю у вас секретарем, — согласился Иван Петрович.

— А вечером, — продолжил князь, — мы с вами, как лицейские, будем посиживать у меня запросто. Самый старший лицеист и самый молодой... Впрочем, что я говорю, есть, разумеется, и моложе. Те, что теперь учатся.

— Да, есть и моложе...

— Скоро ведь лицейская годовщина... Как там наш Пушкин писал? — Князь перешел на русский. — Кому ж из нас под старость день Лицея торжествовать придется одному? Я ведь последний лицеист первого выпуска. Да, собственно, кому я это говорю? Вы пробудете до девятнадцатого? Поздешнему это будет первое ноября? Заранее приглашаю вас на годовщину...

— А как же пророчество поэта?

— А мы никому не скажем... — рассмеялся Горчаков. — Унесем сию тайну в могилу. Просто все будут знать, что я последний лицеист, о котором написал Пушкин... Скажу вам честно, я никогда не принимал участия в этих празднованиях... В этих спорах, стоит ли встречаться одному первому курсу или возможно объединиться с другими? Мне все это казалось таким незначительным. В жизни есть вещи поважней. Или позабавней.

— А помните, два года назад, ваша светлость, вы были в Ницце и мы послали вам телеграмму с празднования. Вы ведь нам любезно ответили.

— Ответил, — согласился князь Горчаков. — Любезно ответил. Потому что привык отвечать на поздравления, — улыбнулся он. — Но подождем об этом, до годовщины еще нужно дожить. В моем возрасте что-то значит каждый день. Кстати, я вам тоже настоятельно рекомендую брать ванны. Кроме пользы, это забавляет, вот увидите! Но там непременно нужна шапочка... — Князь изобразил «нечто» руками у себя над лысиной. — Без шапочки — ни-ни!

— Какая шапочка? У меня нет никакой шапочки...

— Любая. Дамы бывают в шляпах, а я, как и многие, ношу обыкновенный ночной колпак. Показать? — спросил он и, не дожидаясь ответа от Ивана Петровича, позвонил в бронзовый колокольчик, взяв его со стола.

Почти тут же появился слуга, к которому князь обратился уже по-немецки:

— Принесите мой ночной колпак и узнайте, когда будет ужин.

Слуга, ничуть не удивившись его просьбе, с невозмутимым лицом ушел за колпаком, а князь весело сказал Ивану Петровичу:

— Я вас не приглашаю к ужину, мне носят несколько блюд в судках от ближайшего кухмейстера. Мне в моем одиночестве и бесприютстве очень удобно.

Лакей принес ночной колпак почему-то на серебряном подносе.

— Что это? — поинтересовался князь. Он уже забыл о своей просьбе.

— Колпак, — отвечал лакей. — Вы просили.

— Я не собираюсь ко сну! — возмутился князь. — Я ведь еще не ужинал, — добавил он плаксиво, а когда слуга ушел, сообщил собеседнику: — Немцы иногда бывают удивительно бестолковы, почти как русские. Помню, когда в 1841 году я был послан в Штутгарт для переговоров о браке великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем вюртембергским... — Князь остановился на мгновение, задумался и вдруг на полуслове задремал, так и не рассказав Ивану Петровичу историю о том, как глупы бывают немцы...

ГЛАВА ПЯТАЯ,

*в которой Хитрово впервые попадает в купальню
целебного баденского источника. — Светское общество
в купальне. — Нечто о пороке во времена упадка. —
Князь Горчаков начинает свой рассказ о Лицее. —
Октябрь 1882 года*

В большой зале с высокими сводами и мраморными колоннами находился бассейн. Золотисто-желтые стены с красно-фигурными фресками были выдержаны в помпейском стиле. Вода в бассейне была целебная, из горячих баденских источников, и потому парила. К воде вели широкие лестницы, выложенные разноцветными мраморными плитами; латунные поручни, отполированные ладонями, тянулись вдоль лестниц, повторяя их марши, и спускались к воде, где продолжались уже над поверхностью воды, так что, находясь в бассейне, можно было за них держаться.

По одной из лестниц, в длинном махровом халате, подпоясанном кушаком, и в ночном колпаке спускался Иван Петрович. В руках у него была походная чернильница в кожаном чехле и ручка, новая, роскошная, инкрустированная перламутром.

Он остановился на лестнице, пораженный открывшимся ему видом. Из воды там и сям торчали головы кавалеров и дам с надетыми головными уборами: широкими шляпами, ночными колпаками из фуляра, уборами собственного сочинения из подручных материалов. Купальня напоминала салон. Собравшиеся сбивались в кружки, слышался заливистый смех, щебетанье дам. Было несколько и чисто мужских сообществ, там, как сразу догадался Иван Петрович, говорили о политике. Слышалась французская, немецкая, английская речь, но к нему обратились по-русски. Он обернулся к говорившему.

— Ба! Иван Петрович, роднулечка! Орловский наш рысачок! Куда нелегкая вас занесла! От какой хворобы курс принимать будете? — навалился на него внушительных размеров толстяк, в котором Иван Петрович сразу признал одного своего знакомого, соседа по орловскому имению, большого любителя выпить не только вечером, но и за обедом, а также профилактически и по утрам.

— Очень рад, очень рад, Петр Александрович, — кивнул ему Иван Петрович. — Я тут, собственно, по делу... Исторические экскурсы...

— Плюньте, — искренне посоветовал толстяк. — Залезайте в воду и смотрите, как на вас прыщи полезут! Мои видите? — Он показал себе на плечи и на шею. — Это хворь, зараза выходят, вся мерзость организма наружу лезет.

— Да-да, — машинально кивал ему Иван Петрович, отыскивая глазами князя.

Горчаков был на другом конце бассейна. Два служителя усаживали его как раз в крупноячеистую сетку, подобие гамака, концы которой были привязаны к двум столбам с блоками. На одном из столбов была закреплена лебедка.

Рядом с Иваном Петровичем прошли две обнаженные дамы в шляпах и модных купальных костюмах из тонкого шелкового трико. Ткань плотно, как кожа, обтягивала породистые тела и, вполне возможно, скрывала их пришедшую с годами рыхлость. Они были веселы, напористы, жизнера-

достны и всем своим видом подчеркивали, что они далеко еще не *passee*.

— Я не беру ванны в номерах, — сказала одна дама другой. — Никогда не знаешь, кто принимал ее до тебя, и так ли расторопен служитель, что успевает после каждого навести чистоту...

— Немцы вообще чистоплотны, — отвечала ей другая дама. — Другое дело, что и немец...

Иван Петрович не дослушал, о чем говорят француженки, потому что его знакомец уже гудел ему в ухо:

— Батюшка, Иван Петрович, вечером, с расстановочкой, а? Родной нашей, с огурчиком? Не желаете? Так, может, в бордель? К девам? Я вам скажу, тут есть экземпляры... — зашептал он.

— Да-да, — опять согласился Иван Петрович, совсем не слушая его и глядя, как один из служителей, занимавшихся князем, стал медленно крутить ручку лебедки, и полуобнаженный князь в ночном колпаке и купальном костюме в яркую крупную полоску опустил в воду. Когда вода дошла ему до груди, немец застопорил лебедку и поставил ее на предохранитель.

— Где вы остановились? — прогудел ему в ухо орловский сосед.

Кое-как освободившись от назойливого знаконца, Иван Петрович по скользким ступеням, придерживаясь за латунный поручень, спустился в бассейн и побрел по грудь в воде, обходя кружки, в которых дамы и господа вели размеренную беседу. Некоторые дамы, пребывая в одиночестве, читали, устроив книгу на пробковом пюпитре, плавающем перед ними, другие занимались рукоделием на пробковых столиках, вязали. Двое молодых людей, совсем как давеча его знакомец, интересовались наличием друг у друга прыщей и сыпей, а еще двое, русских, резались в карты. Колода была разбухшая. Один из них, выиграв, прилепил другому карту на лоб. Оба хохотали. Кажется, подумал Иван Петрович, они были пьяны. Когда он добрался до князя, тот, казалось, уже спал, прикрыв глаза. Иван Петрович, встав рядом, скромно кашлянул.

— А-а! — улыбнулся князь, открывая глаза и видя перед собой Ивана Петровича. — Добро пожаловать, Иван

Петрович, в наш водоемчик. Как вам здесь? Не слишком ли мокро?

— Здравствуйте, ваша светлость! Чувство, действительно, странное. Мне кажется, что я нахожусь в парижском салоне, все такие знакомые, привычные лица, да вот только темы для разговоров не всегда, что ли, эстетичные...

Князь Горчаков рассмеялся старческим смехом с характерной хрипотцой.

— Я понимаю: прыщи, их размер, расположение, цвет и оттенок, жидкий или твердый стул, вечером или утром, качество шведского стола в пансионе и его связь с пищеварением. Но, заметьте, и последние европейские новости, разумеется, быстрее, чем в газетах, курортные романы, интимные отношения дам с пользующимися их докторами, а то и просто со служителями, о чем мужья не догадываются, а если и догадываются, то смотрят сквозь пальцы. В общем, салон, обыкновенный салон, только меньше условностей, проще сближение...

— Еще мне все это напоминает римские бани времен упадка Римской империи. И декорация, близкая по духу, стенопись помпейской виллы... — говоря это, Иван Петрович обозревал многофигурные фрески.

— Да-да, — с радостью согласился с ним князь и немножко поправился на своем ложе. — Вот-вот Везувий взорвется, засыплет нас пеплом, а пока так приятно... Человечество обожает времена упадка. Порок в такие времена развивается, крепнет, сладострастие становится целью, смыслом жизни. Лень, праздность, овладевая телами и душами, способствуют развитию философического взгляда на мораль. Что ни говорите, Иван Петрович, а времена упадка далеко не худшие в мировой истории... Впрочем, как и времена подъема... Это у вас для письма? — обратил он свое внимание на письменные принадлежности в руках у Ивана Петровича. — Давайте я подержу, а вы сплавайте за столиком, чтобы было удобней писать... Вы скоро пишете?

— Разумеется. Вы можете рассказывать свободно, я владею стенографическим письмом... — говорил Иван Петрович, на саженях отплывая в направлении свободного пробкового столика, покачивавшегося на волнах.

«Плывет, как русак», — подумал князь, глядя ему вслед, потом услышал шаги наверху и увидел стройные женские

ноги на краю бассейна, ягодицы, чуть сотрясавшиеся при ходьбе.

Прошла одна дама, потом другая, из тех, что далеко еще не распе и ищут приключений на водах, и князь, хотя и любил всю жизнь совсем молоденьких, — исключение составляла только, может быть, его жена, — замечтался и не заметил, как Хитрово вернулся.

— Ваша светлость, — звал его Иван Петрович. — Ваша светлость...

Князь очнулся.

— Оставьте этот официальный тон. Обращайтесь ко мне: Александр Михайлович, — сказал он, протягивая молодому человеку его приборы и тетрадь. — С чего начать?

— С самого начала, Александр Михайлович. Если можно, с девятнадцатого октября 1811 года, когда вы...

— Когда мы... — задумался князь. — Нет, пожалуй, начнем на день раньше... До девятнадцатого мы уж две недели как жили в Лицее...

Пар стелился над бассейном, плутал между мраморных колонн...

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой господа лицейские посещают баню. — Восковый слепок с елдака князя Потемкина-Таврического. — Первые насмешки над Кюхельбекером. — Октябрь 1811 года

Совершенно голый мальчишка Саша Горчаков стоял в бане и смотрел, как дядька Сазонов, молодой, розовощекий парень, с простодушной физиономией, сидя сверху, трепал и мял Сашу Пушкина, словно заправский банщик, охаживал по спине и бокам веничком, гнавшим раскаленный пар, сам вскрикивая от удовольствия. Наконец воспитанник Пушкин не выдержал и завопил благим матом:

— Все! Не могу больше! Оставь, черт! Сазонов, оставь меня! Не могу!

— Ступайте, барин, — степенно поднялся тот, поправил поясок фартука на чреслах, потом посмотрел на Горчакова и позвал:

— Давайте теперь вы, барин!

Пушкин, пошатываясь, прошел мимо Горчакова и пробурчал ему на ходу:

— Давай-давай! Подставь ему жопу!

Горчаков покорно лег на полку, а Пушкин вышел из парной. За его спиной остались смутно белеть мальчишеские тела, тонули в водяной пыли и пару их сладостные крики.

Он вышел в предбанник, окутанный клубом пара, который, будто осязаемая оболочка, повторял контур его разгоряченного тела. Он будто выплыл на поверхность воды после долгого погружения, с заложенными ушами, оглохший, с помутненным, словно залитым водой, сознанием.

Вдруг его окатили ушатом холодной воды — он задохнулся, так перехватило дыхание, а когда через мгновение пришел в себя, открыв глаза, то словно проснулся: мир прорезался чистыми, ясными звуками, приблизился к нему, и в этом мире он увидел дурака Мясоедова, с толстой и гладкой задницей, который убегал от него, гогоча и утробно хрюкая. Оглядываясь, Мясоед шурил свои узкие монгольские глаза.

— Сейчас елдак тебе в жопу засуну и откачаю! — запустил Пушкин ему вслед, и, словно подкошенный его бранью, Мясоед рухнул боком на деревянные доски скользкого пола и завыл от боли, ухитряясь все еще не прерывать хохота, — это было чудовищное извержение утробных хлюпающих звуков.

— Что он сказал? — не понял слов Саши Пушкина Модинька Корф, самый младший среди лицейских, но едва ли не самый рассудительный, а кто-то, намыленный с ног до головы, стоявший рядом с ним и все слыхавший, пояснил, отплеываясь от мыльной воды:

— Да он... матом... покрыл... Тьфу! Мясожорова.

— Я понял, что он сказал что-то нехорошее, но что это значит? Что он имел в виду?

Его намыленный собеседник, ни слова не говоря, показал ему на ладони тот предмет, который чаще всего поминается в матерной ругани, и прибавил, как Пушкин:

— И засунь его...

— Зачем?! — Модинька Корф округлил глаза и застыл в недоумении, красивый, как Аполлон Бельведерский.

Впрочем, удивляться тут особенно было нечему. Во времена всеобщего французолюбия природный русский язык

был в высшем обществе изрядно подзабыт, теперь его красоту и силу принялись изучать у псарей, лакеев и кучеров, а изученное таким образом непечатное красноречие весьма ценилось у князей Трубецких, Голицыных, Оболенских, Несвицких, Щербатовых, Хованских, Волконских и прочих, и прочих, не умевших и строчки написать по-русски. Ценилось и считалось особым аристократическим шиком. Потому-то и трудно было понять немецкому барону Корфу, предки которого недавно вступили в русское подданство, потомка старинного боярского рода Пушкина.

Воспитанники уже почти две недели жили в Лицее на казенном коште, а знали друг друга с медицинского осмотра перед экзаменами, которому были подвергнуты еще в августе; некоторые были знакомы и раньше, поэтому давно свыклись, наградили друг друга прозвищами и узнали друг про друга многое из того, что надлежит и не надлежит знать сверстникам в их возрасте. Впрочем, что надлежит или не надлежит им знать, решали педагоги и надзиратели, безусловно их не спрашивая, но и они, в свою очередь, не очень посвящали в свои тайны взрослых.

Как раз сейчас несколько голых воспитанников в другом конце предбанника столпились, что-то между собою выясняя. К ним и направился Саша Пушкин, оставив на полу хохочущего Мяседа. Самый взрослый и самый высокий из воспитанников, если не считать Маслова, Ваня Малиновский и его тезка Пушин стояли к нему спиной, держа руки перед собой между ног, а Костя Гурьев ходил перед ними, прикидывая на глазок, и оценивал.

— Не-а, — покачал он головой, — до Петра Первого вам еще далеко! Он, говорят, елдак в сапог убирал. Да вокруг коленки оборачивал...

Воспитанники, стоявшие кружком, рассмеялись.

— А может, у них еще вырастет! — сказал кто-то.

— Хотя у Жанно, пожалуй, поболее! — резюмировал Гурьев.

— Большой Жанно! — хмыкнул кто-то, вызвав смех у публики.

— Казак, подбодри своего казачка!

— Казачка-елдачка!

— А у Казака казачок поволосатей! — хохотнул кто-то.

— А мы что, на волосатость пари держим?

— Нет, на плешивость, — рассмеялся кто-то.

— Покажи плешку, Жанно... Да залупи же!

— У Потемкина-Таврического самый большой был в русской истории. Во всяком случае, из известных науке. По указу Екатерины с него сделали восковой слепок и хранят в футляре в Эрмитаже, — очень серьезно пояснил знаток истории Ломоносов.

— То-то он драл всех подряд, — усмехнулся Пушин, двигая рукой. — Даже троим своим племянницам целки проломил.

— Не троим, а пятерым, — поправил его Ломоносов, как всякий историк любивший точность. — Пять его племянниц считались его фаворитками.

— Племянницам? — охнул кто-то.

— Ну да, дочерей-то не было, а то бы и дочек драл. С таким хуем!

— Да чего там хуй Таврический! — сказал Пушкин. — Вон у нашего родного Кюхля хобот до колена болтается! Как у индийского слона. А если встанет, любую целку проломит, как пушка-единорог!

— А зачем он ему? — удивился Ваня Пушин. — Он к женщине до сорока лет не подойдет.

— Больше моего, Француз? — встрепнулся Малиновский и развернулся к Пушкину.

Пушкин оценил и покачал головой:

— Я думаю, больше.

— Где Кюхель? — завопил Малиновский. — Подать его сюда!

Скрюченный Кюхля и красавчик Корсаков сидели на лавке, завернувшись в простыни, и мирно беседовали, когда к ним приблизилась разбитная компания воспитанников во главе с Ваней Малиновским, который был много старше остальных, а потому поначалу во многом верховодил.

— Клопшток, Николая, тем и отличается от остальных... — продолжал свою мысль Кюхля, когда они встали над ним, и по их сияющим ромам Кюхля понял, что ждать ему ничего хорошего не приходится.

— Виля, милый, встань-ка, дружок! — попросил его ласково Малиновский.

Кюхля неуверенно приподнялся, кутаясь от стеснения в простыню и продолжая горбиться.

— Сымай покрывало! — приказал Малиновский.

— Зачем? — удивился Кюхля. — Я уже вымылся. — И он захлопал глазами и шмыгнул огромным, красным после парилки носом.

— Сымай, Кюхля! Врачебный осмотр в интересах истории!

Воспитанники захохотали.

— Осмотр индийского слона!

— Единорога!

— Какого единорога?! — Кюхля ничего не понимал и ни о чем не догадывался.

Поддержанный смехом лицеистов, Малиновский дернул на себя простыню, но Виля не позволил, почуяв неладное, вцепился в нее мертвой хваткой, неожиданно даже для самого себя стал сильным, почти бешеным, чем еще больше раззадорил Малиновского и остальных. Всей ватагой навалились на него.

— Отстаньте! Отстаньте! — отбивался Виля, но его никто не слышал.

Подростки смеялись, мешали друг другу, может, поэтому им не сразу удалось совладать с ним, но скоро сопротивление было сломлено, простыня затрещала. Кюхлю повалили на пол, с удовольствием разодрав простыню.

— Что у нас за хоботок?! — приговаривал Малиновский, хватая Кюхлю, лежавшего ничком, за плечи и переворачивая. — Сейчас поглядим! Ну-ка, помогите, братцы! Раз-два! О! Дров ни полена, а хуй по колена!

— Да это целая оглобля! — взвизгнул Гурьев. — Какая прелесть! Дай потрогаю. Какой мягонький! А вы говорили единорог! Разве это единорог? Это тряпочка. А попа — прелесть!

— В Эрмитаж его! В Кунсткамеру! — закричали другие.

— Кюхля войдет в анналы!

— Куда войдет? — покатился кто-то со смеху. — В каналы?

— Экие вы, барчуки, бесстыдники! — подскочил к ним сзади дядька Матвей, кривой на один глаз, и огрел Мясоедова, который был снова в самой гуще событий, мокрым веником по спине. Мясоедов ощерился на него, но от поверженного Кюхли отстал.

С визгом разбежались, увертываясь от раздаваемых направо и налево ударов, и другие воспитанники.

— Доложу господину надзирателю! — пригрозил Матвей, размахивая веником. — Охальники! — покачал он головой. — Вставайте, вставайте, барин! — потрогал он за плечо Кюхельбекера.

Кюхля рыдал, распростертый голым на мокром полу, и не слышал его.

— Кто ж знал, что он как красная девица? — проговорил Ваня Пущин с оттенком пренебрежения Саше Пушкину, надевая в предбаннике нижнее белое белье. На воротничке рубахи у него была пришита тряпочка с написанной синими чернилами фамилией и тринадцатым номером. Он, скосив глаза, посмотрел, где пришита у него эта тряпочка, внутри или снаружи. Тряпочка была внутри, значит, надевал он рубашку правильно, не наизнанку.

У Пушкина рядом с фамилией значился номер четырнадцатый. Он надел рубаху, проследив, чтобы тряпочка с номером была внутри с правой стороны.

Рядом с ними под номером тридцатым одевался князь Горчаков, который сказал менторским тоном:

— Некоторым свойственна врожденная стеснительность. Таким трудно бывает с дамами. — Князь обсуждал все с оттенком некоторого пренебрежения, как что-то бесконечно далекое от него самого; уж он-то хорошо знал, что с ним никто таких шуток не позволит, так он привык держать себя с молодых ногтей.

— Надо преодолеть в себе это, таким трудно будет не только с дамами, — добавил Ваня Пущин.

К ним подскочил голый Миша Яковлев и, вереща, стал прикрывать причинное место ладонями, вращая при этом выпученными глазами.

Раздался дружный хохот — все узнали Кюхельбекера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой совершается торжественное открытие Лицея. — Служба в храме. — Лицеисты и камер-пажи. — Надзиратель Мартын Степанович Пилецкий. — Описание императора Александра I и обеих императриц. — Большая Лицейская зала. — Гости. — Александр Иванович Тургенев и Василий Львович Пушкин. — Профессора Лицея. — Императрица Елисавета Алексеевна и ее любовная история с ротмистром Кавалергардского полка Охотниковым. — Граф Жозеф де Местр и образование в России. — Наука принесет русскому народу мало пользы, но доставит неисчислимые беды. — 19 октября 1811 года

...А назавтра, девятнадцатого октября 1811 года, в первом часу дня служили обедню в придворной церкви. На царских местах находился сам Александр Первый с обеими императрицами, вдовствующей Марией Федоровной и царствующей Елисаветой Алексеевной, великим князем Константином Павловичем и великой княжной Анной Павловной, за ними — члены Государственного совета, министр народного просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский, главное лицо в организации Царскосельского Лицея, а также директор департамента народного просвещения Иван Иванович Мартынов, директор Лицея Василий Федорович Малиновский (отец великовозрастного Вани Малиновского), первенствующие чины государства, придворные, которым положено было присутствовать на службе: обер-камергеры и обер-гофмейстеры, обер-шенки, шталмейстеры и церемониймейстеры, камергеры, статс-дамы и кавалерственные дамы, фрейлины, камер-юнкеры и, наконец, возрастом чуть постарше лицеистов камер-пажи в зеленых мундирах с красными воротниками и белых панталонах.

Служба кончалась. На хорах храма присутствовали отроки, числом тридцать человек, недавно принятые в Лицей, чисто вымытые, с пушистыми после бани волосами, в новеньких мундирах синего сукна со стоячими воротниками, с шитыми серебром петличками и рядом гладких позолоченных пуговиц, в белых панталонах и жилетках, в белых

же галстуках, в ботфортах и с треугольной шляпою в руках. Одним словом, форма их была похожа на пажескую, но отличалась цветом и частностями костюма.

Сзади них и по бокам стояли гувернеры и учителя, среди которых выделялся своею длинною и высохшею фигурою надзиратель по учебной и нравственной части Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович. Взрослые были в таких же мундирах, что и воспитанники, только с разным качеством шитья. По сухому, аскетическому лицу Мартына Степановича пробегала дрожь экстаза, который он всегда испытывал во время службы в церкви, особенно усилившегося сегодня от присутствия царской фамилии. Пилецкий нервно трогал пальцами мундир, его холодное на ощупь золотое шитье.

Подростки смотрели с хоров на службу, на ее невиданное великолепие, на золото мундиров и бриллианты украшений и высших орденов. Большинство из них впервые видели подобное богослужение.

— Вань, ты когда-нибудь прежде государя императора видел? — спросил номер четырнадцатый у номера тринадцатого.

— Нет, — отвечал тот. — Первый раз вижу...

— А я видел. Еще прежнего, Павла Петровича...

— Не мог ты Павла видеть!

— Мог, — уверенно сказал Пушкин. — Мы гуляли в Юсуповом саду, встретили царя, и он велел моей няне снять с меня картуз.

— Ты в каком году родился? — недоверчиво спросил Пущин.

— В девяносто девятом...

— Тогда, пожалуй, мог. — Пущин помолчал немного, потом добавил: — Тебе повезло. Павел мог сослать тебя, а няньку выпороть...

— За что? — искренне удивился Пушкин.

— За неуважение к его персоне.

— Дите сослать? Не может такого быть!

— Тогда тебя выпороть, а няньку сослать!

— Что ж, с тобой трудно спорить, — помолчав, сказал Пушкин. — От него всего можно было ожидать — говорят, он был сумасшедший...

К ним, за их спинами, неслышно, крадучей кошачьей походкой приблизился надзиратель Пилецкий, и, заметив

его истерзанный подобострастным фанатизмом взгляд, они замолкли. Пальцы Пилецкого снова забежали по обшлагам мундира, но тут все стали осенять себя крестным знамением, и пальцы его судорожно сложились в щепоть.

Когда совершена была божественная литургия и благодарственный Господу Богу молебен, духовник с прочим духовенством, с животворящим крестом и святою водою, в предшествии придворных певчих, двинулись из церкви для освящения здания Лицея. За духовенством последовал император с фамилией. Присутствующие в храме расступались, потом направлялись за процессией.

Императору Александру в это время было тридцать три года, но казался он моложе. Был красив, имел тонкие черты и свежий цвет лица. Его фигура, благородная и высокая, возвышалась над придворными. Был он близорук, но владел улыбкою глаз; золотисто-белокурые волосы обрамляли лысину над лбом, которая придавала его лбу что-то открытое и ясное. Овал лица и профиль сильно напоминали его августейшую мать, вдовствующую императрицу Марию Федоровну, шествовавшую сейчас за сыном с его супругой императрицей Елисаветой Алексеевной, сухощавой особой с изнеможенным, усталым лицом. Она казалась страдающей от какой-то неизлечимой хвори, но все же неизъяснимо прекрасной.

У императрицы Марии Федоровны, величественной, статной, высокой, было свежее, румяное и красивое лицо, и, несмотря на годы, выглядела она здоровей своей невеселки. Четыре прекрасных лицом камер-пажа сопровождали императриц, неся шлейфы их платьев. Поглядывая на лицейских, камер-пажи едва заметно, но с явным превосходством улыбались.

— Господа лицейские! — приказал полупшепотом надзиратель Пилецкий, и воспитанники стали спускаться с хор, перешептываясь, несмотря на торжественность церемонии и косые взгляды педагогов с натянутым, подобающим случаю, выражением приличия и добронравия.

— Кюхельбекер, как вы держите шляпу?! — прошипел прямо в ухо смутившемуся Кюхле Пилецкий, чуть склонившись к нему. — Берите пример с воспитанника Горчакова. Видите, как надо держать? Под мышкой! И только кончиками пальцев.

Кюхельбекер втянул голову в плечи.

«Крючок», — подумал про него Пилецкий, и чувство, похожее на сострадание, шевельнулось в его сердце.

Потом воспитанников выстроили в две шеренги в Большой Лицейской зале. Между колоннами был поставлен большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой.

На столе лежала Высочайшая Грамота, дарованная Лицею. Говаривали, что над ее созданием трудились чуть ли не полгода и уплачено было пять тысяч рублей.

Священник святою водою окропил воспитанников.

Император Александр с фамилией изволили занять места в первом ряду золотых кресел с красной обивкой, поставленных для гостей, после чего стали рассаживаться и остальные. Императрицы сели с одной стороны от императора, с другой он пригласил сесть министра просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского, чтобы при необходимости наводить у него справки. В первом же ряду сидел и великий князь цесаревич Константин Павлович, курносый, похожий на своего вздорного отца, и некрасивая, но милая своею молодостью (было ей всего шестнадцать лет) великая княжна Анна Павловна, несостоявшаяся невеста Наполеона.

Вперед вышел директор департамента народного просвещения Иван Иванович Мартынов и с нарочно устроенной для этого случая кафедры прочитал всемилостивейше даруемую Лицею Грамоту:

— «Объемля в мысли Нашей многообразныя состояния народов, Всеведующим Промыслом Нам вверенных, явили Мы уже торжественное свидетельство отеческого попечения Нашего о Просвещении, каждому званию приличном», — читал Мартынов тоненьким, дребезжащим голосом.

Лицеисты слушали не очень внимательно, их больше интересовала публика, прибывшая на торжество. Они тайком перешептывались, особенно те, кому посчастливилось стоять во втором ряду. Тихий мальчик Аркаша Мартынов, которому едва исполнилось десять лет, тогда как другим было много больше, из первого ряда с восторгом смотрел на своего отца, читавшего грамоту.

— «Академии, университеты, гимназии и другие учебные заведения высшей и низшей степени учреждения от-

верзты Нами к усовершенствованию и распространению познаний, к образованию достойных служителей Церкви, верных защитников отечества, мирных граждан, трудолюбивых поселян...»

Государь император наклонил голову к императрице Елисавете Алексеевне, приложив правую руку к уху. В молодости, как он сам говорил, его слух пострадал от сильного залпа артиллерии, отчего Александр на левое ухо совсем оглох, да и правое стало туговато, поэтому, когда он слушал внимательно, то всегда клонился на правую сторону. Странно, но чем сильнее был шум вокруг, тем лучше он слышал. Впрочем, поговаривали, что его самодержавная бабка Екатерина II, когда он был младенцем, повелела класть его в люльку рядом с стреляющими орудиями, чтобы, выросши, он не боялся их залпов. Впрочем, скорее всего, это не более чем анекдот.

В задних рядах приглашенных сидели вдвоем Александр Иванович Тургенев и стихотворец Василий Львович Пушкин.

Тургенев, несмотря на свой молодой возраст, было ему в ту пору всего двадцать семь лет, занимал уже год пост директора Департамента главного управления иностранных исповеданий.

Дядюшка Саши Пушкина, Василий Львович, известный стихотворец, автор «Опасного соседа», ходившего в списках, был человек в годах. Сорок четыре по тем временам — это возраст почти стариковский.

С легкой руки Тургенева он и устроил своего юного племянника в Царскосельский Лицей. Сделать это было не так легко, туда рвались многие, протекции нужны были в самых высших сферах, и потому Василий Львович страшно гордился успешно осуществленной акцией. Тем более на сегодняшнем торжестве он встретил своего брата по масонской ложе «*Les Amis reunis*» («Соединенных братьев»), великого князя цесаревича Константина Павловича, и тот, как показалось Василию Львовичу, подал ему тайный знак. Чувствовать себя тайным братом будущего царя доставляло ему наслаждение ни с чем не сравнимое. Он верил в узы, связавшие навеки братьев-строителей Соломонова храма.

Василий Львович Пушкин был милейший человек, во всем мире нельзя было сыскать существа более доверчивого

и безобидного. Добр он был до бесконечности, до смешного; но этот смех был ему не в укор. Он всегда верил более доброму, чем худому. Знакомые, приятели часто употребляли во зло его доверчивость. Но его и любили, как никого. В молодости он был екатерининским офицером гвардии, которая, по выражению современника, «по малочисленности своей и отсутствию дисциплины могла считаться более двором, чем войском». Уйдя в отставку, он не интересовался политикой, стихи и мода были его стихией. Полицейские меры в царствование Павла отдалили всех от моды, но как только вышло послабление от Александра Павловича, это прихотливое парижское божество показалось в Петербурге и он устремился на берега Невы, к нему навстречу. Там, в обществе, только и говорили о Дюроке, личном представителе первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта, который прибыл поздравить Александра Павловича с восшествием на престол и всех очаровал. Ему подражали в прическе, в одежде. Вернулся он в родную Москву с головой в курчавых завитках, как баранья шерсть, в толстом и длинном жабо выше подбородка и коротком фракке.

Через пару лет он съездил в Париж и снова поменял облик. Теперь одет он был с парижской иголки с головы до ног. Парижем от него так и веяло, и это осталось на всю жизнь. Прическа *a la Titus*, в подражание бюстам римского императора Тита, когда завитые волосы поднимались наперед, то есть зачесывались на лоб, а назад были очень короткие, сменила баранью шерсть *a la Duroc*. Эта прическа оставалась модной среди аристократов с революции и называлась еще *a la guillotine* — стриженный затылок для удобства пользования гильотиной. Углаженные волосы теперь были умащены древним маслом, *huile antique*. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою, а потом рассказывал про гильотину и залиvisto хохотал, трогая свой затылок. Еще рассказывал он, что имел счастье представляться самому Наполеону и чуть ли не сам будущий император посоветовал ему масло для волос, а также одеколон. Однако с годами его парижский шик малость пообветшал, фрак, к которому он имел особенную привязанность, поизносился, волосы поредели, рассказы о Наполеоне наскучили и не вызывали прежнего восторга, тем более что отношение к французскому императору за эти годы рез-

ко изменилось; неизменным оставалось только добродушие Василия Львовича и ласковая полнота его фигуры.

Он дружил с Александром Ивановичем, дружил с его младшими братьями, Николаем и Сергеем, которые самого Александра Ивановича почитали почти за отца и говорили ему «вы», дружил с Жуковским, Карамзиным, с шурином историка, князем Петрушей Вяземским, как до этого дружил с его покойным отцом Андреем Ивановичем, впоследствии дружил со своим племянником, и со всеми он находил общий язык, везде был принят, все его любили, хотя и часто подтрунивали над ним. Поэт Иван Иванович Дмитриев, бывший в то время министром юстиции и генерал-прокурором, тоже его приятель и сослуживец еще по гвардии, правильно говорил о нем, что он кончит тем, что будет дружен с одними грудными младенцами, потому что чем более стареет, тем все более сближается с новейшими поколениями.

— Сыну директора лет пятнадцать, — заметил Василий Львович. — Не правда ли, Александр Иванович? Как пить дать, ему года убавили, чтобы попал в разряд зачисленных... На что люди только не идут, чтобы устроить своих чад! Ради Бога, не подумайте, что я осуждаю сей маленький подлог... Я сам на все готов был ради своего племянника Саши...

— Кому убавили, Василий Львович, кому прибавили, — согласился Александр Иванович. — Все ждали, что будут учиться младшие великие князья Николай и Михаил Павловичи. Император хотел, да вдовствующая императрица воспротивилась. Нашла слишком демократичным...

Все это Василий Львович знал, разумеется, но выслушал внимательно своего собеседника и покачал головой:

— Жаль, жаль... — На пухлом личике Василия Львовича отразилось истинное сожаление. — Такие друзья детства — залог блестящей карьеры. Я так надеялся на своего племянника. Карамзин, Ксавье де Местр, брат Жозефа, Сардинского посланника, Иван Иванович Дмитриев, все обращали на него свое просвещенное внимание, когда бывали у брата моего. Что и говорить, мальчик талантлив, какие французские вирши он пишет!

— Да-да, — снова согласился Александр Иванович. Ему было приятно, что он хлопотал за талантливого мальчика. — Он подает надежды. Я с большой охотой ему протезировал.

Воровато оглянувшись по сторонам, понимая, что нарушает этикет, он достал бонбоньерку и слизнул леденец. Потом тихонько, почти под полой, протянул бонбоньерку Василию Львовичу.

— Мы с Сергеем Львовичем никогда не забудем вам этой услуги, — счел нужным еще раз подчеркнуть Василий Львович, не отказываясь от сладости.

— «Так оградив благосостояние Лицея отличными правами и преимуществами, — бубнил с кафедры Мартынов, — и начертав в руководство его правила, Мы надеемся, что члены онаго потщатся служением своим быть достойными такого благоволения Нашего; Мы ожидаем, что юношество займет здесь превосходные познания в науках, благороднейшее движение отечественной любви, чистейшую нравственность, к чести сего заведения, к пользе Отечества и собственной, и к удовольствию Нашему. В сем уповании, императорскую Грамоту Нашу, яко свидетельство непреложной воли Нашей, подписали Мы собственноручно и повелели, утвердив государственною печатью, вручить Лицею для хранения на вечные времена...» Министр просвещения граф Разумовский принял от Мартынова Грамоту и передал ее государю императору. Служитель подошел с чернильницей и пером. Государь подписал Грамоту, после чего, приняв оную от Его Величества, граф Разумовский вручил ее директору Лицея Василию Федоровичу Малиновскому.

Малиновский, сопровождаемый двумя профессорами, принял Грамоту для хранения в Лицее. Профессора, один из которых был профессор французской словесности Давид Иванович де Будри, толстенький, круглый, как шар, старичок в старомодном напудренном паричке, а другой — доктор философии и свободных искусств, профессор российской и латинской словесности Николай Федорович Кошанский, благоговейно положили Грамоту обратно на стол, покрытый красным сукном с золотыми кистями. Чернильницу и перо, коим была подписана Высочайшая Грамота, тоже передали на вечное хранение в Лицей. Директор Малиновский, явно смущаясь, развернул какой-то сверток и бледный, как смерть, начал читать:

— «Всеавгустейший монарх! В сем граде премудрейшая из монархинь, среди весенних и летних красот природы, назидала благоденствие России...»

Государь император сначала прислушивался, подавшись корпусом вперед; от желания ясно все услышать его лицо даже подергивалось легкими судорогами, однако слух выхватывал только отдельные слова. Малиновский бормотал, и его почти не слышали стоявшие рядом профессора, не то что государь, сидевший в нескольких шагах.

Вдруг воспитанники оживились, стали подталкивать друг друга, и скоро все они смотрели в окна залы с раскрытыми портьерами, за которыми крупными хлопьями шел снег. Первый снег в этом году устилал желтую листву, лежавшую на дорожках; в зале сразу потемнело.

Императрица Елисавета Алексеевна каким-то особенным взглядом, за которым скрывалось что-то глубоко личное, тайное, смотрела на детей. Ни для кого не было секретом, что своих двоих дочерей императрица потеряла во младенчестве (малютки умерли, не дожив и до двух лет) и у государя наследника не было. Заметив, что дети отвлеклись, она тоже обратилась к окну, увидела первый снег и, чуть поворачившись к мужу, одними глазами указала ему на окно.

Теперь мимо греческого утонченного профиля императрицы смотрел на снег в окно и самодержец. Эти снежинки, этот профиль, эти длинные вздрагивающие ресницы, тонкое страдающее лицо. Государь испытывал иногда непреодолимое желание к своей жене, с тех пор, как взял ее, четырнадцатилетнюю девочку, тоненькую, хрупкую, но прекрасную, как Психея. Между ними бывали годы охлаждения, сухости в отношениях, но когда сквозь годы проглядывала та растерянная, беспомощная девочка, которая лежала в постели в их первую брачную ночь и вздрагивала под его прикосновениями, и кусала губы, пока он достаточно неопытно, но страстно вторгнулся в нее, государь мог забыть все на свете. В такие минуты только натиск, только вывернутые наружу ее худые ноги, до боли прижатые почти к плечам, только прикушенные губы от боли редких ласк излечивали его, порою очень надолго, на годы. В последний раз он сокрушил ее, когда узнал про кавалергардского штабс-ротмистра Охотникова, ее любовника.

Этот Охотников, стройный белокурый красавец, был казначеем Кавалергардского полка и по долгу службы часто встречался с государем. Кроме того, офицеры полка несли постоянную службу сначала при дворце на Каменном ост-

рове, а впоследствии и на Елагином, и Охотникову часто доводилось быть поблизости от императрицы Елисаветы Алексеевны, совсем брошенной Александром. Как завязалась эта связь, Александр точно так никогда и не узнал, безусловно, Елисавета предприняла все меры предосторожности, чтобы тайна ее была сохранена, но вдруг раскрылась ее беременность: императрица-мать стала поздравлять Александра, и он, потрясенный изменой жены, в которой не было никакой теперь для него тайны, умело скрыл свои чувства и решил доискаться до истины сам. Первой же мыслью была мысль о великом князе Константине, который в последние месяцы чересчур интересовался своей невесткой. Но смущало то, что Елисавета, всегда относившаяся в Константину с крайней неприязнью, вела с ним себя еще более холодно, чем всегда, и не позволяла тому приближаться к себе с грубыми, часто солдафонскими шутками, которыми Константин славился. Он наблюдал за женой и братом, и порой ему начинало казаться, что перед ним хорошо разыгрываемая партия, где каждый играет свою роль, а на самом деле все самое важное происходит за кулисами этого театра.

Константин, чувствительный и злобный, вскоре заметил перемену в отношении к нему августейшего брата и сам обратился к нему с конфиденциальным разговором. По словам Константина, он давно следил за невесткой, оскорбленный за семейную честь, но, не имея доказательств, не смел обратиться к государю.

— И что, теперь доказательства есть? — спокойно спросил Александр, прекрасно зная, что они налицо. И голубые его глаза побелели. Константин знал этот взгляд: так же от ненависти белели глаза и у батюшки.

Александр ворвался тогда к Елисавете, ничего не спрашивая и не объясняя, опрокинул ее, сминая платье. Она кусала губы, подчинившись, и, вероятно, думала о другом. Потом Александр стал выспрашивать у страдавшей по любовнику Елисаветы Алексеевны интимные подробности ее связи и, представляя себя на его месте и вместе их в одной постели, снова и снова брал ее, оторопевшую от его натиска.

— Как он звал тебя, когда вы были вместе? — шептал Александр. — Только не ври, я все знаю...

— Ma petite femme... Mon ami, ma femme, mon Elise, je t'adore... — шепотом же отвечала она.

— Ты моя жена! Моя! Моя! — почти кричал он и бил так сильно, как будто пытался вышибить из ее чрева чужой плод.

По ее щекам текли слезы, и она отворачивала от него лицо.

Он стал вновь посещать ее, чего не делал уже несколько лет, и однажды заметил под окном ее спальни следы и смятые осенние астры, которые не боялись заморозков. Он понял, что и сейчас она не прекратила свиданий с ним, и впервые чувство ревности шевельнулось в нем настолько сильно, что он едва сдержался, чтобы не ударить ее по лицу. Кавалергард, пустышка... Всегда великосветские дамы сходят с ума по кавалергардам, этим тупым рослым мерзавцам. «Кавалергарды дураки, подпирают потолки», — вспомнил он тогда русское присловье, которое любила повторять еще его бабка. Правда, она иногда говорила «дудаки» вместо «дураки», что сути не меняло. «Дудак, — объясняла ему Екатерина Великая, — это такая большая птица, шея большая, а мозгу мало. Ходит на длинных ногах».

Хорошо ли его тогда понял Константин? Когда вскоре государю сообщили, что при выходе из театра после спектакля в честь Елисаветы неизвестными опасно ранен офицер Кавалергардского полка, он не стал устраивать следствия и даже не поинтересовался фамилией пострадавшего, прочитав ее потом в рапорте обер-полицмейстера. Через месяц после этого события Елисавета родила девочку, а еще через три настоящий отец девочки умер от полученной раны. Александр успокоился, он хорошо помнил, что в день смерти Охотникова у него было прекрасное настроение и, навестив супругу, он даже поцеловал ее и сообщил, что выиграл в карты солидную сумму. Сквозь пелену горя Елисавета попыталась ему улыбнуться, но он сделал вид, что не заметил. Только подмигнул принцессе Амалии Баденской, ее сестре, которая с постным сочувствующим лицом коротала вечер с императрицей. Через два года и маленькая Елисавета, так называли девочку, тоже умерла.

Чтобы не думать о всей этой истории, так неожиданно всплывшей в памяти, Александр Павлович стал думать о Лицее, своем детище, сколько с ним было хлопот. Как долго, мучительно вырастала эта идея. Начинал все его воспи-

татель Лагарп, первоначальный проект был составлен им, потом Сперанский, умница, принялся за дело, проект редактировал Мартынов, руку приложил министр просвещения граф Разумовский, а про тайную роль Жозефа де Местра, близкого к иезуитам, которого многие недолюбливали в России, но которого сам государь ценил настолько, что сделал его своим частным секретарем, а сына его принял в Кавалергардский полк и оплатил все расходы на экипировку молодого офицера, знали только он сам да министр Разумовский.

Как-то состоялся у государя примечательный разговор с графом де Местром по поводу образования в России, в котором де Местр, склонный к парадоксам, утверждал, что русские не созданы природой для наук и в то же время придают несоразмерно большую цену науке. Как утверждал Руссо, говорил граф, наука принесла человеку много зла, и не следует полагать, будто он заблуждался. Это наука сделала человека легкомысленным, не способным к делам и великим предприятиям, спорщиком, упрямым, презирающим чужие мнения, хулителем правительства и национальных устоев, падким до всяких новшеств. А поскольку все эти характеристики до удивления совпадают с национальным характером русского народа, то из этого прямо следует, что наука принесет ему мало пользы, но доставит неисчислимые беды.

— Везде, — продолжил де Местр, — академии утверждались благодаря наличию ученых и никогда лишь в надежде породить таковых. Тратить огромные деньги на сооружение клетки для феникса, не ведая еще, прилетит ли он, — это не что иное, как великий самообман... У славной русской нации ложное превознесение науки соединено с желанием скоропостижно овладеть ею, а также с самоуничижением из-за отставания от других народов...

Де Местр говорил тогда еще очень долго и о том, что русские и без всякой науки могут быть первой нацией в мире, и о том, что наука в России сейчас непотребна, и начинал уже разбирать программу семи классов, смело выкидывая из нее предметы, например, химию... Но государь его не слушал, он думал о клетке, которую создаст здесь, в Царском, и о той птице, которая, возможно, в нее прилетит...

По его просьбе де Местр написал подробные письма графу Разумовскому с предложениями о том, чему учить русских юношей, а чему не учить. Насколько государю было известно, замечания де Местра учли при окончательном составлении плана.

Государь посмотрел на Алексея Кирилловича, который сидел рядом с ним. Тот спал с открытыми глазами. Государь не знал, что наемдни уже была полная репетиция всей церемонии и Алексей Кириллович слушал все во второй раз.

Мельтешение снежинок за окном, бубнящий голос Малиновского и воцарившийся полумрак подействовали на всех усыпляюще. В заднем ряду упал головой на грудь Василий Львович. Александр Иванович покосился на него и тоже стал устраиваться поудобней. Только две страсти было у Александра Ивановича (разумеется, кроме книг — это была страсть главная и на всю жизнь): сытная еда и сон, и только не удовлетворенная одна из них могла помешать другой немедленно осуществиться. Они лежали в полудреме, сложив руки на животиках, одинаково раздобревшие, лысоватые, сытые и довольные своей жизнью люди.

Малиновского в зале, кажется, никто и не слушал. В передних рядах привыкшие ко всему царские сановники пытались спать с открытыми глазами, и это им удавалось. Впрочем, каждый из них готов был в любую секунду встрепенуться и изобразить полнейшую заинтересованность. Некоторые даже во сне с успехом изображали эту самую заинтересованность. В задних рядах, кому не спалось, принялись за разговоры шепотом.

— «Мы чувствуем важность прав и преимуществ, дарованных Вашим Величеством сему заведению и лицам, к нему принадлежащим. Единое избрание нас к подвигу образования сего юношества не служит еще в том порукою. Мы потщимся каждую минуту жизни нашей все силы и способности наши принести на пользу сего нового вертограда, да Ваше Величество и все Отечество возрадуются о плодах его...»

В зале появились служители и стали зажигать свечи в канделябрах. Свечи трещали, разгораясь, запахло воском.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой воспитанников представляют государю Александру I. — Речь адъютант-профессора Куницына. — Вдовствующая императрица Мария Федоровна снимает пробы с кушаний. — Фейерверк в честь праздника. — Комета 1811 года. — Ночь в дортуарах Лицея. — Пущин и Пушкин. — Рассказ о том, как конногвардейцы в Мраморном дворце насиловали жену придворного ювелира итальянца Араужо. — Ночь с 19 на 20 октября 1811 года

Конференц-секретарь Лицея профессор Кошанский по списку стал провозглашать имена воспитанников:

— Бакунин Александр Павлович!

Вперед вышел живой и подвижный мальчик, быстро поклонился императору и отступил назад.

Государь внимательно смотрел на воспитанников и как бы оценивал их. Забавно перенестись хоть на несколько лет вперед, думал он, чтобы увидеть, что из них станет. Какое место они займут в государстве? Государь смотрел на них и гадал, кто из них та птица феникс, про которую говорил де Местр, ради которой государь построил сию клетку.

— Граф Сильверий Броглио!

Граф был косоглаз, маленького росточку, но держался с туповатым достоинством. Не птица, не споет...

— Вольховский Владимир Дмитриевич!

Вольховский был жгучий брюнет, смуглый, с большим вороньим носом, с бровями-крыльями, сросшимися над переносицей и по краям идущими вразлет, довольно высокого роста. Если и похож на птицу, то на ворону.

Государь благосклонно принимал представление каждого воспитанника и терпеливо отвечал на их поклоны то легким движением головы, то выражением лица, то легким вздергиванием бровей, наклоном головы вбок, улыбкою глаз — арсенал этих средств был у него неистощим, как у настоящего актера, привыкшего вечно играть на театре. И все гадал, гадал...

Следующим был князь Александр Михайлович Горчаков, красивый, опрятный мальчик, с несколько женствен-

ными, жеманными манерами, свойственными самовлюбленным людям. Он слегка шурился, был близорук. Поклон его отличался особенным изяществом, которое, пожалуй, ничем не прививается, а присуще некоторым с рождения.

Государь отметил его.

— Данзас Константин Карлович!

Вышел благодушный увалень, с огненно-рыжими волосами, неловко поклонился царю. Пропустим, решил государь. Кто дальше?

— Барон Дельви́г Антон Антонович!

Барон был полный, рыхлый и малоподвижный мальчик, но в глазах его, когда он их поднимал, светилась энергия. Однако сейчас он глядел так, как будто ничего перед собой не видел. Мимо...

— Есаков Семен Семенович!

Мальчик глядел заискивающе. И этот. Государь поскужел. Прав, вероятно, де Местр. Во многом прав. Для кого клетка? Скучно...

— Илличевский Алексей Демьянович!

Этот глядел мечтательно.

— Комовский Сергей Дмитриевич!

Комовский был чересчур быстр, юлил, даже кланяясь, и успевая отступить и извернуться в течение нескольких мгновений, которые длилось представление государю. Лиса, отметил государь. И угадал. Именно такое было прозвище у мальчишки.

— Корсаков Николай Александрович!

Кучерявый, писаной красоты мальчик так очаровал обеих императриц, что они переглянулись. Государь обратил внимание, что Мария Федоровна несколько раз наставила на него свою лорнетку в золотой оправе.

— Барон Корф Модест Андреевич!

Тихий и скромный мальчик поклонился как-то особен-но прочувствованно. Он, как и Корсаков, был красив какой-то женственной красотой, но при почти оформившейся мужской стати.

— Кюхельбекер Вильгельм Карлович!

Тощий, с выпученными глазами, длинный, как жердь, извивающийся и блеклый, как червяк, вылезший из земли после сильного дождя, он выступил вперед и словно споткнулся о невидимый барьер, чуть не растянувшись в присутствии высочайших особ. По рядам воспитанников пробе-

жал смешок. Смешон, смешон, мысленно согласился с воспитанниками государь.

— Кюхель-бюхель, — язвительно прошептал один из мальчиков другому.

Но государь так же благосклонно ответил и на его поклон, поддержав неловкого мальчика улыбкой. Кюхля, покрасневший до корней волос, возвратился на место с желанием наложить на себя руки за собственную неуклюжесть.

Малиновский Иван Васильевич, сын директора Лицея, был высокого роста малый, с пробивавшимися усами, много старше прочих воспитанников. Было ему на вид шестнадцать-семнадцать. По сравнению с другими он смотрелся как дядя. Впрочем, еще двое-трое среди тридцати отроков были того же возраста.

— Матюшкин Федор Федорович!

— Пушкин Александр Сергеевич!

Арапчонок. С голубыми глазами. Забавно выглядит. Живой, смысленный, но что может получиться из арапчонка? Пусть и с голубыми глазами. Придворный? Придворные тоже нужны. А куда он смотрит?

Саша Пушкин заметил дядюшку Василия Львовича в задних рядах. Лицо его сияло, можно сказать, как медный таз. Как ему удалось проникнуть на торжество, куда родственники не допускались, было неясно. Скорее всего, он получил приглашение через департамент Александра Ивановича, который сидел с ним рядом. В последний миг, уже отступая назад, Пушкин спохватился, что, разглядывая своего дядю, он при поклоне даже не взглянул на государя, как их учил наемный министр Разумовский, и быстро посмотрел на Александра Павловича. Государь ласково улыбнулся ему и подумал, что для придворного этот мальчишка, пожалуй, чересчур дерзок. Он уже встречал среди русских дворян этот наглый взгляд серо-голубых глаз. Такой наглец может натворить дел.

— Пушкины — древний род, — вздохнул Василий Львович. — Он еще не раз заявит о себе... Молодые, молодые скажут свое веское слово. Мы старики... — Он снова вздохнул.

— Ну уж, Василий Львович, вы уж не приbedняйтесь, — сказал ему Александр Иванович. — Вы человек известный в России... «Опасный сосед»! — пощекотал он самолюбие Василия Львовича.

Василий Львович скромно потупился при упоминании своей популярной поэмы, ходившей в списках, и взял еще один леденец из бонбоньерки Александра Ивановича.

Александр Иванович искоса посмотрел на глуповато-гордое и в то же время подчеркнуто-смирненное лицо своего приятеля. Он не понимал, как можно искренне гордиться столь дурной сатирой в роде Грессетовых матерных пьес. Навешают пизд и елдаков, ухмыльнулся он про себя, и все-речь думают, что это свободомыслие. Но, впрочем, он вспомнил, что некоторые, Батюшков, например, восхищаются этими безделками. Последний даже сам переписывает поэму и рассылает друзьям.

— Пущин Иван Иванович!

— Яковлев Михаил Лукьянович!

Миша Яковлев, сделав шаг вперед, против своей воли, из чего можно было заключить, что это нервический спазм, скорчил комическую рожу, чем вызвал смешок рядом стоящих господ Пушкина и Пушина, а также гневный, испепеляющий взгляд надзирателя Мартына Пилецкого-Урбановича.

Государь загрустил: и это все? Прав де Местр — овчина выделки не стоит. Права матушка, что не отдала в Лицей братьев.

После представления, без всякой паузы, смело и бодро выступил вперед Александр Петрович Куницын. Он не читал, как директор, по бумажке, а стал говорить страстно и убежденно, хотя речь была явно написана прежде того:

— Из родительских объятий вы поступаете ныне под кров сего священного храма наук. Отечество приемлет на себя обязанности быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее действовать на образование ваших нравов. — Куницын обращался не к царю, не к залу, а к стоящим воспитанникам. Они тоже поняли это и стали внимательней.

— Он всех разбудил, — улыбнулся Василий Львович. — Живое слово мертвого разбудит.

— Это наш геттингенский... — пояснил Александр Иванович.

— Правовед? — поинтересовался Василий Львович и глянул на бонбоньерку в руках у Тургенева.

Александр Иванович кивнул в ответ и, перехватив его взгляд, предложил:

— Угощайтесь...

— Благодарю. В наше время не учились в Геттингене, — с сожалением вздохнул Василий Львович.

И, еще раз переглянувшись, они радостно принялись за леденцы.

Государь внимательно, как школьник, отбывающий урок, слушал адъюнкт-профессора Куницына.

— Государственный человек должен знать все, что только прикасается к кругу его действий; его прозорливость простирается далее пределов, останавливающих взоры частных людей. Стоя у подножия престола, он обзревает состояние граждан, измеряет их нужды и недостатки, предваряет несчастия, им угрожающие, или прекращает постигнувшие их бедствия... Сообразуясь с природой человека, он предпочитает тихие меры насильственным и употребляет последние только тогда, когда первые недостаточны; никогда он не отвергает народного вопля, ибо глас народа есть глас Божий...

Когда совершите вы поприще наук, Отечество снова призовет ваших родителей в сие святилище и, не обинуясь, скажет им: се дети ваши — мои возлюбленные чада; они оправдали мою надежду, желания ваши исполнились: они готовы служить вам подпорою, готовы защищать славу мою; они достойны быть блюстителями моего благоденствия.

Да будет окончание вашего образования столько же торжественно, как и начало онаго!

Куницын кончил речь и отступил.

— Похвально, — сказал император императрице Елисавете Алексеевне. — Надобно отличить! — Последнее больше уже относилось до графа Алексея Кирилловича, сидевшего рядом с ним с другой стороны.

Алексей Кириллович понимающе кивнул.

Потом лицеисты сидели в столовой за обедом. За окнами быстро темнело. Сегодня в честь праздника подали обильный десерт. Особенным успехом у лицеистов пользовался *grand pate a glace de la crepe*, большой блинный пирог с мороженым. Был и вафельный пирог со сливками, и бардалю с грушами. Пировали лицейские на славу.

Пушкин, громко смеясь, говорил Пушину:

— Вот бы Кюхля, представляясь государю, расквасил нос! Какой бы случился конфуз. Кровь на полу. Дамы попадали в

обморок. Императрица тоже лежит без памяти, — добавил он шепотом. — А мимо несут Кюхлю в лазарет, он плачет от стыда. Торжество сорвано. Наутро государь посылает узнать о несчастном, выясняется, что, не снеся позора, он почил в Бозе. Мать безутешна, отец застрелился... — говоря, он размахивал ложкой, показывая на Кюхельбекера, который сидел, уткнувшись в свою тарелку, на которой лежало одинокое бордоское пирожное.

Сзади подошел гувернер и учитель рисования Сергей Гаврилович Чириков и, наклонившись к Пушкину, тихо сказал:

— Александр Сергеевич, не шалите! Негоже так размахивать ложкой. Посмотрите, как скромно ведет себя князь Александр Михайлович.

— На то он и князь! — парировал, расхохотавшись, Пушкин. — А мы простые бояре.

— Князь, — пробормотал себе под нос Горчаков, — и, между прочим, Рюрикович...

Вдруг все стали подниматься, загрохотали отодвигаемые от стола стулья — после осмотра других помещений Лицея в столовую вошел государь со свитой. Александр Павлович мановением руки велел всем садиться.

Воспитанники, не поднимая голов, стали еще усерднее трудиться над десертом. Некоторые, посмелее, такие, как Пушкин, искоса, с любопытством разглядывали вошедших.

Великий князь Константин Павлович отстал от государя и пошел рядом с Мартыновым. Цесаревич был среднего роста и довольно строен, хотя несколько сутулился. Лицо его поражало оригинальностью и полным отсутствием всякой приятности. Два клочка волос над глазами заменяли брови и делали его взгляд колючим. Он был резок, груб, порой в нем чувствовалось умственное повреждение, напоминавшее его отца Павла. Он совершенно не походил на своего старшего брата императора Александра, человека спокойного и уравновешенного.

— Куда ни пойти, везде тебя встретишь, — сказал великий князь Мартынову. — Что ты здесь значишь?

— Министру было угодно, чтобы я, как директор департамента, прочитал грамоту...

— Слышал. А эти профессора откуда?

— Все из Педагогического института, ваше высочество!

— Значит, опять, стало быть, твой?

Мартынов ответил благодарным поклоном.

— Сына сюда определил?

— Сюда. Сам готовил проект. Как не определить.

— Молодец. Как зовут того, который читал рассуждения воспитанникам? Хорошо читал.

— Куницын. Адъюнкт-профессор нравственных и политических наук.

— Государь доволен, что ни разу о нем не упомянул. Умен, каналья!.. Знает, как польстить государю. И нашей, романовской, семейной скромности! — Он захохотал собственной шутке.

— Он был первый студент в Педагогическом институте, — сказал Мартынов, выждав приличную паузу с приклеенной улыбкой. — За отличные успехи был направлен за границу. Учился в Геттингене.

— Теперь все геттингенские... — бросил великий князь, заканчивая разговор.

В это время вдовствующая императрица Мария Федоровна отпробовала кушанье, поданное ей на тарелке, как она неизменно делала во всех воспитательных заведениях, которых открыла великое множество по России под своим патронажем и которые содержала на собственные средства; откусила кусочек бардалю с грушами.

Потом подошла к Кюхельбекеру и, опершись на его плечи, ласково спросила:

— Карош пирожник, мальшик?

Императрица была по происхождению вюртембергская принцесса и, хотя более тридцати лет прожила в России, по-русски изъяснялась из рук вон плохо.

Кюхельбекер, не видя ее и не смея от робости оглянуться, а слыша лишь грубый, с хрипотцой, голос, ответил:

— Да, сударь!

Кто-то прыснул, кто-то подавился пирогом и закашлялся, но, когда императрица выпрямилась и окинула всех грозным взглядом, постарались смолкнуть. — Зуй, мальшик, зуй! — сказала она Кюхельбекеру и отошла, направляясь к императору, который продолжал беседу с графом Разумовским.

— Кюхля, ты можешь мужчину от женщины отличить? — громким шепотом спросил Пушкин. — Или еще не умеешь? Хочешь, научу?

Вдруг от окна, где стояли великий князь Константин Павлович и его сестра Анна, раздался визг и княжна сказала довольно громко:

— Что ты делаешь, Костя?

Великий князь снова пощекотал ее под ребрами. Княжна снова завизжала и подпрыгнула.

Стоявшие рядом придворные сделали вид, что ничего не произошло, однако лицеисты глядели во все глаза, удивляясь, что в царской фамилии все точно так же, как среди простых людей. Лишь государь строго посмотрел на великого князя — ему не нравилось, что Константин постоянно заигрывает с сестрой.

Великий князь довольно жестко взял сестру под локоть и подвел ее, чуть-чуть упиравшуюся, к лицеисту Гурьеву. Стиснув ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, он сказал ей:

— Знакомься, Annette. Рекомендую тебе эту москву! Мой крестник. Смотри, Костя, учись хорошо. Не подведи крестного отца.

Костя был довольно смазливый мальчик и бойкий мальчик.

— Не подведу, ваше высочество! — смело отвечал он.

Великой княжне Гурьев понравился, она тоже потрепала мальчика по щеке.

Тогда Константин Павлович ущипнул его за щеку и прошипел:

— Купидон!

— Больно, ваше высочество, — взвизгнул Костя Гурьев.

Вечером вокруг здания Лицея дядьки и истопники под руководством придворного мастера по фейерверкам поставили зажженные плошки, а на балконе зажгли щит с вензелем императора. Они же передвигались по аллеям, пуская то тут, то там громогласные шутихи и зажигая все новые и новые фейерверки, чтобы чередка их не прекращалась.

Сбросив парадные мундиры прямо на снег, перед зданием резвились лицеисты, играли в снежки при свете иллюминации и фейерверка; картина блистала разноцветными огнями, вся в гирляндах цветов и миртовых листьев.

Лицеисты самозабвенно отдавались игре, не подозревая в себе будущих столпов отечества, государственных

людей и государственных преступников, кому как угодно судьбой.

Пушкин оседлал верхом Пушина и ехал на нем, меланхоличного Дельвига терзали сразу несколько воспитанников, а он безвольно мотался из стороны в сторону и, казалось, спал даже во время драки. Гурьев повалил Корсакова, прижимая к земле, — тот делал отчаянные попытки высвободиться. Кюхельбекер стоял в стороне, так и не сбросив мундирчика, сложа руки на груди и печально наблюдая за битвой. Когда он увидел, что Пушкин соскочил с Пушина и отбежал в сторону, то приблизился к нему.

— А отец у меня умер, — грустно сообщил он Пушкину.

— Чего? — не сразу понял тот, увлеченно наблюдая за игрою сверстников.

— Отец у меня умер, я говорю... — повторил Кюхля.

— Давно? — не сразу понял, куда он клонит, Саша.

— Достаточно давно. Это я к тому, чтобы ты не шутил на эту тему, — печально сказал Кюхельбекер. — Я могу обидеться.

— Извини, — похлопал его по плечу Пушкин и приобняв, — я не знал... Ты не обижайся. Я думаю, мы будем друзьями.

— Правда? — вдохновенно загорелся Кюхля. — Ты так считаешь?!

— Да, — кивнул Пушкин.

Они вместе смотрели на играющих. Маленький Комовский поочередно кидал снежки то в одну, то в другую сторону, стараясь, чтобы его не заметили, пока, увлекшись, не подпустил к себе сзади Ваню Малиновского, который сграбастал его хладнокровно и, засунув в рот горсть снега, пинком в зад отправил от себя.

Комовский расплакался и побежал в сторону парадного подъезда, вероятно, жаловаться надзирателю.

— Нет ли у тебя, Саша, чего-нибудь почитать? — спросил Кюхельбекер и добавил: — Я люблю немецкую литературу...

— Я немецкого языка не знаю. У меня есть несколько французских книг. Хочешь — возьми!

Вдруг в стороне раздался довольно громкий хлопок шутихи, затем крики, и они увидели объятую пламенем дядьку, который повалился в снег и покатился по нему, пытаясь

сбить пламя. К нему на помощь бежали другие служители, но дядька, сообразив, скинул горевший полушубок и прыгал на нем, засыпая снегом.

— Сазонов вечно наступает на грабли, — сказал Пушкин про дядьку, подпалившего свой полушубок.

На какое-то время он забылся, и наступила тишина: это хлопки фейерверков прекратились; показалось звездное небо, до того закрытое разноцветными огнями. В небе, в той стороне, где был Петербург, висела комета; он сразу узнал ее. Это была яркая звезда, от которой исходило сильное сияние, с ясно видимыми лучами. Свет их рассыпался на искрившиеся в морозном воздухе снежинки. Он слышал от взрослых (такие разговоры ходили в Петербурге еще в августе, когда она впервые появилась), что комета что-то предвещает для всех, какую-то катастрофу, но ведь, если она что-то предвещала для всех, значит, она что-то предвещала и для каждого. Что именно она предвещала ему, Саша Пушкин не знал.

Уже вечером, когда они направились в дортуары, чтобы лечь спать, заговорили о великом князе Константине Павловиче, о его приставаниях к сестре Анне Павловне, и Ваня Пущин рассказал Александру жутковатую историю про великого князя, так похожего на своего сумасшедшего отца внешне, но совершенно лишенного его внутреннего благородства и рыцарства. Ване можно было верить, ибо многое он знал от деда Петра Ивановича, адмирала и сенатора, бывшего видной фигурой при дворе Павла Петровича. Как и многие государственные деятели, отодвинутые на второй план при следующем государе, он ревниво следил за жизнью двора и знал происходящее там во всех тонкостях. Впрочем, эта история была исключительной, и шлейф от нее тянулся уже лет десять.

Великий князь был шефом Конного полка и зачастую кутил вместе с конногвардейцами в Мраморном дворце. Затянутые во время службы на все шнурки, крючки, пуговички, они в свободное время позволяли себе расслабляться, и порой до состояния скотского. В самом начале царствования его брата и произошла эта история, потрясшая весь Петербург, но о которой до сих пор говорили шепотом, как и об убийстве их отца.

Великий князь увлекся женой придворного ювелира итальянца Араужо и через посредников сделал ей оскорбительное предложение, на которое она отвечала явным презрением, и это ей дорого стоило. Впрочем, некоторые говорили, что другим она охотно давала, а только с великим князем нашла коса на камень. Летом 1803 года однажды под вечер за ней приехала карета будто бы от больной родственницы. Ничего не подозревая, она сошла и села в карету, где ее схватили, зажали рот и отвезли в Мраморный дворец. Несколько часов бедную женщину насиловали конногвардейцы. Сам великий князь не принимал в этом участия, а только сполна наслаждался местью, наблюдая. Потом она была отвезена к своему крыльцу и брошена на улице. Когда на звон колокольчика вышли ее принять, кареты уже не было. Несчастная Араужо лежала на мостовой почти без чувств и только и смогла сказать мужу, что обесчещена во дворце. Она тут же потеряла сознание и, не приходя в себя, умерла. На крик мужа сбегалось множество народу: свидетельство было огромное!

На другой день весь Петербург узнал об этом. Произошел общий ропот. От имени государя, огорченного в высшей степени, прибито было ко всем будкам столицы объявление, которым приглашались все, кто знает хотя бы малейшее обстоятельство из этого гнусного происшествия, прямо к императору, с уверением в обеспечении от всякого преследования сильных. То же было объявлено при ведомостях обеих столиц, разослано во все концы империи. Составлена была комиссия под председательством старого графа Татищева, который всячески отказывался, но его уговорили, и, наконец, дело повернули так, что, по подозрению, генерала Боура, любимца Константина, исключили из службы, а итальянцу Араужо дали денег и велели немедленно выехать за границу. Через полтора года Боур в Аустерлицкой кампании был опять принят. Казалось, все было предано забвению, но общество не так забывчиво, как может показаться, и великий князь, не лишенный прозорливости, часто читал себе осуждение на лицах людей, с которыми встречался. Это не могло его не задевать, несмотря на всю его непомерную гордость.

— Хорошенькая у нас перспектива, — вздохнул Пушкин. — Ведь цесаревич когда-нибудь да и станет царем.

— Если ему в этом не помешают, — сказал Ваня Пущин.

— Ты думаешь, что императрица еще может родить наследника?

— Нет, я думаю, что самодержавие — не единственный способ правления и, уж во всяком случае, далеко не лучший.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

*в которой лицейских лишают личных книг, заботясь об их нравственности. — Должность сочинителя в России. — Генерал-прокуроры — первые поэты на Руси. — Жизнь Саши Пушкина с дядей и его спутницей Анной Ворожейкиной. — Воспоминание о первых попытках любовной игры. — Тень Ивана Баркова. —
Ноябрь 1811 года*

В лицейской зале собралось большинство воспитанников.

Перед лицеистами стояли Мартын Степанович Пилецкий и всеми любимый, но совершенно не уважаемый Сергей Гаврилович Чириков.

— Господа лицейские! Прошу вас не беспокоиться, — сказал инспектор Пилецкий. — Книги вам вернут, когда вы станете старше, и их тлетворное влияние не будет для вас так губительно, как губительно оно для душ молодых, неокрепших.

Лишь забота о вашей нравственности побудила нас пойти на такой решительный шаг, как изъятие из ваших комнат непозволительного для вашего возраста чтения...

— Что вы нашли непозволительное у нас? — спросил лицеист Ломоносов.

— У вас ничего, а вот у господина Пушкина обнаружили книгу Вольтера с его пометами на полях. Пометы свидетельствуют о том, как пагубно влияние сего французского вольнодумца на отрока...

Саша Пушкин усмехнулся: он знал, что пометы на книге папенькины, но не стал возражать.

— С Вольтером переписывалась Екатерина Великая! — сообщил Ломоносов. — Почему мы не можем читать Вольтера?

— Мы уважаем ваши познания в отечественной истории, господин Ломоносов, но позвольте вам напомнить латинскую пословицу: Quod licet Jovi, non licet bovi.

— Что сказал этот святоша? — спросил Малиновский у стоявшего рядом князя Горчакова.

— Что позволено Юпитеру — не позволено быку, — пояснил Горчаков товарищу.

— Это кто же бык? — обиделся Малиновский.

— Вероятно, это ты, Казак... — поддел его князь Горчаков. — Вон как ты набылся.

— А почему вы взяли книги без нашего позволения? — спросил барон Дельвиг Пилецкого, но вопрос остался без ответа, хотя Пилецкий все же удостоил вопрошавшего укоризненным взглядом.

— Нам скучно во время праздников и табельных дней, когда нет занятий, — обратился к Пилецкому князь Горчаков. — У нас отобрали даже романы. У меня, например, отобрали английскую книгу, которую мне прислал дядюшка, а я хочу совершенствоваться в английском языке. Как же мне быть, Мартын Степанович?

— Должен сообщить вам, что государь император милостив к своим чадам, — приторно улыбаясь, сказал инспектор. — Он отдал вам в подарок библиотеку, которая была у него в молодости. Скоро вы ее получите. У меня есть сведения, что у вас уже выходит «Сарскосельская газета». Не правда ли, господа? Господин Корсаков, вы, кажется, редактор этого повременного издания?

— Честно говоря, я попробовал, но так не хватает материала, — замялся Корсаков. — За каждым ходишь, ходишь...

— Вот что я вам, господа лицейские, предлагаю, — воодушевился Пилецкий, обращаясь ко всем. — Учредите собрание молодых людей, которые чувствуют в себе способности к исполнению должности сочинителя. И чтоб в течение двух недель каждый член общества сочинил что-нибудь...

— А если не сочинит? — поинтересовался Данзас, от волнения разворошив и снова пригладив свои рыжие волосы.

— Выпороть, — хохотнул Малиновский, но Пилецкий его не услышал, вернее, не захотел услышать, и ответил Данзасу:

— Если не сочинит, значит, должно выключить его из общества.

— Француз у нас сочинит, — уверенно сказал Пущин. — Помните, как в классе у Кошанского он сочинил про розу?

— Я тоже сочиню, — решительно сказал Данзас; волосы не давали ему покоя.

— Куда тебе, Медведь! — поддел его Комовский и посмотрел на Пилецкого. — Ты всегда последний в классе!

— Не всегда! И Француз бывает последний, и Тося... И ничего... Сочиняют.

Данзас посмотрел на Пушкина, ища поддержки, но тот молчал.

— Это превосходная идея! — вдруг разом вспыхнул и загорелся Кюхельбекер. Он буквально затрясся от нетерпения. — Я тоже дам в журнал свои сочинения. Я переведу с немецкого. Что-нибудь из Goethe... Например, «Mahomets Gesang»...

— И я! — воскликнул Олосенька Илличевский.

— Вот и хорошо! Идите, господа, и сочиняйте. А шалости и баламутство оставьте! Это до добра не доводит.

Весьма довольный собой надзиратель Мартын Степанович удалился из залы. Чириков, хранивший при надзирателе молчание, теперь почувствовал себя свободней, и улыбка возникла на его добродушной физиономии.

— А приходите ко мне, господа! Будем собираться у меня и беседовать, будем читать написанное, — искренне предложил он лицеистам.

— Ура-а! — закричали наиболее горячие головы.

В коридоре, где располагались дортуары воспитанников, в арках горели масляные лампы.

— Вот уж никогда не думал, что сочинитель — это должность, — сказал Пушкин Ване Пущину, когда они шли по коридору к себе. — И что по должности можно сочинять.

— У нас в государстве любой род занятий возможен токмо по должности, — с издевкой отвечал Пущин.

— Сочинительство, по-моему, дело частного человека...

— У нас сочинители отнюдь не частные люди. Возьми Ивана Ивановича Дмитриева — министр юстиции и генерал-прокурор, Гаврила Романович тоже занимал эту должность. А это все первые наши поэты...

— Но писали-то они всегда как частные люди, а не как генерал-прокуроры! — жарко возразил Пушкин.

— Ну вот уж и нет, — засмеялся Жанно. — Зачастую и как генерал-прокуроры! А уж придворными они были всегда.

— Все равно ж, теперь совсем другое время...
— Что-то я сомневаюсь, чтобы в России когда-нибудь случались другие времена...

— Ты рассуждаешь как маленький старичок.

— Я рассуждаю как здравомыслящий человек, — парировал Пушкин.

Пушкин открыл дверь номера четырнадцатого, а Пушкин — тринадцатого.

У себя в дортуаре Пушкин встал у окна, посмотрел на улицу, где, черные на все еще светлом небе, угадывались голые деревья. Медленно стал раздеваться. Снял мундир с красным воротником, бросил на стул. Остался в нижней рубашке, на вороте которой была нашивка с номером и фамилией. Сел на железную кровать с жесткой сеткой, оглядел свою келью, как впервой: стол, стул, конторка с чернильницей и подсвечником, умывальник, зеркало... Все? Еще горшок под кроватью... За стеной, за перегородкой, не доходящей до потолка, раздался стук — это Пушкин снимал башмаки и бросал их на пол, скрипела под ним сетка кровати.

— Жанно! — позвал Пушкин.

— Что? — тут же отозвался тот.

— А ты не суеверный?

— Нет. Я слишком рационален. А почему ты спросил?

— Я бы побоялся жить в тринадцатом номере. Особенно с твоими мыслями.

Пушкин в ответ рассмеялся.

— Зря смеешься. Я вот верю в приметы. — Пушкин забрался под одеяло, укрылся им до подбородка, закрыл глаза. Полежав немного так, он глаза открыл: — Жанно!

— А-а?

— А я уже привык. Мне совсем не хочется в Москву.

Пушкин помолчал, потом ответил:

— Мне тоже. Давай спать, Саша.

Пушкин ничего не ответил, хотя еще не спал. Он стал думать о последних днях свободной жизни в Петербурге, потому что Москву на самом деле он уже успел подзабыть. Жили они с дядюшкой на Мойке, близ Конюшенного моста, в доме купца Кувшинникова, куда переехали после нескольких дней, проведенных в гостинице «Бордо». К ним то и дело приходили гости, все больше литераторы, дядюш-

кины друзья, вели разговоры о литературе, много спорили, смеялись, а как-то раз заезжал сам Иван Иванович Дмитриев, чем очень обязал дядюшку. Тот самый Дмитриев, что сочинил поэмку про путешествие дядюшки в Париж и Лондон, написанную якобы за три дня до самого путешествия, ту самую поэмку, которой дядюшка очень гордился, не меньше, чем своим Буяновым. Иван Иванович был довольно прост в обращении, несмотря на то что занимал министерское кресло. С дядюшкой они когда-то служили в гвардейском полку. Высокого роста, отчего он немного горбился, ходил он важно, величественно, но не было в его горделивой осанке недоступности, а глаза были добрые, приветливые; говорил обыкновенно стоя, рассказывая что-то, увлекался и, сам того не замечая, делал по два-три шага назад и вперед перед собеседником. Дядюшка был поэт, Дмитриев был поэт, все вокруг были поэты, и Саша сам сочинял французские стихи. Дядюшка, собираясь читать гостям свои стихи, того же «Опасного соседа», просил племянника выйти в другую комнату, опасаясь за его чрезмерно раннее, не по годам, развитие, и Саше приходилось покидать гостей, несмотря на то что он уверял дядюшку, что и так знает все его стихи наизусть.

Потом, с фривольных дядюшкиных стихов про Буянова, он перескакивал мыслью на дядюшкину подругу Анну Николаевну Ворожейкину, молодую, едва ли двадцатилетнюю купеческую дочь, с которой они коротали время, когда дядя был в других комнатах при гостях или же когда тот порхал по светским гостиным, куда бедной Анне Николаевне вход был закрыт. Она была замечательная девушка, одевалась всегда по последней моде, за чем с удовольствием следил дядюшка, у племянника же эта мода вызывала почти озноб. Платья носились тогда короткие, едва до икр, собранные у самой груди, грудь же была приоткрыта до самых сосков, нежных, крохотных, порой совершенно обнаженных, совсем не таких, какие он помнил у кормилицы брата, больших, рыхлых, в глубоких складках, словно два родимых пятна на крупной груди. Сзади платье было вообще открыто почти до талии, по спине сбегали позвонки и скрывались в полукруглом вырезе платья в таинственные области изгиба ее фигуры. По подолу платья шли оборочки в несколько рядов, а подпоясывалась Анна Николаевна под самую грудь

широкой лентой с длинными распущенными концами. С этой ленты и начиналась обыкновенно их игра: Саша, шутя, все пытался ее развязать, девушка сначала лениво отмахивалась, потом увлекалась не на шутку, бегала от него по комнатам, и порой ему удавалось достичь своего. Один раз они так увлеклись, что повалились на диван, и тонкий батист, из которого было сшито платье, а также полное отсутствие по теперешней моде всякой рубашки позволили Саше ощутить ее молодое упругое тело, а перед самыми глазами он увидел ее грудь, совершенно открывшуюся из-за натянутого книзу платья, и это видение было совершенно невыносимым: он поцеловал ее и даже чуть-чуть куснул, как щенок.

Почти тут же они встали, Анна Николаевна оправилась и, краснея, сказала ему:

— Я прошу тебя, Саша, никогда больше этого не делай, а то я скажу дядюшке.

— А чем я хуже дядюшки? — дерзко ответил он, смотря ей прямо в глаза, и Анна Николаевна смутилась.

Потом к ним стал приходить Ваня Пушкин, Саша подбил и его к шалостям с Анной Николаевной, и она, смеясь, продолжала с ними непринужденные и свободные эти игры, когда же они заходили далеко, девушке приходилось окорачивать их. Впрочем, Пушкину еще не раз случалось сорвать прикосновение то к груди, то к талии, то к вздрагивающим упругим ягодицам. Поцелуя, однако, не повторилось, но именно о нем он думал сейчас, лежа в одинокой жесткой постели в Царском своем заключении, представляя Анну Николаевну с полуулыбкой на устах, в полупрозрачном платье-тунике, с веером-махальцем в руках, на котором красовались амурезные картинки. Анна Николаевна была царицей его ночных видений, и пока никакого другого предмета для ночного воздыхания не наметилось. Поцелуй был только прелюдией к любовным наслаждениям, которые он мог бы себе представить. Он вспоминал, как скабрёзно они шутили с Ваней над Анной Николаевной за глаза и хохотали до упаду, разворачивая друг перед другом картины воспаленного подросткового блуда.

— Отмахать бы Аннушку раком!

Он снова вспомнил дядюшкину поэму, похождения Буянова, и решил написать свою. Дядюшкина смелость и откровенность, приводившая самого дядюшку в восторг, была

какая-то худосочная, ему далеко было до Баркова, списки со стихов которого дядюшка тоже прятал у себя в библиотеке, а племянник доставал и почитывал. Он стал вспоминать барковские строчки, и вместе с летающими, как птицы, хуями, мудями, елдаками явилась к нему тогда впервые тень Ивана Баркова, матерщинника и блудодея, кончившего жизнь у девок в борделе со словами: «Жил грешно, а умер смешно!»

И в келье тишина была...
Вдруг стены пошатнулись,
Упали святцы со стола,
Листы перевернулись,
И ветер холодный пробежал
В тени угрюмой ночи...
Баркова призрак вдруг предстал
Священника пред очи:
В зеленом ветхом сертуке,
С спущенными штанами,
С хуиной длинною в руке,
С отвисшими мудями...

Он вдруг понял, что сочиняет в размере только что прочитанной им баллады Василия Андреевича Жуковского «Громобой», и улыбнулся. И решил добавить сходства — он любил пародировать.

«Скажи, что дьявол повелел?» —
«Надейся и страшися!» —
«Увы! Что мне дано в удел?
Что жребий мой?» — «Дрочися!»

Он засмеялся, он всегда сам первый смеялся, когда что-нибудь придумывал. Он прислушался: Ваня, верно, спал, раз не отозвался на его смех. Обыкновенно он спрашивал: «Ты что?» Ему захотелось постучать в стенку и разбудить его, чтобы прочитать новые строчки, но, полежав некоторое время, он раздумал. «Так и буду, — решил он, — сочинять без бумаги. Потом разом и прочту. Пожалуй, дядюшку я переплону. Мой Ебаков будет посильнее Буянова. Пожалуй, и посильнее самого Баркова. Ебаков, Барков, Буянов, забавно звучит. Разве Баркову кто-нибудь разрешал писать такое? А вот писал — забил на все хер! Считал своим частным делом. Никого не спрашивал. И вот уже лет пятьдесят его стихи на память помнят. И мои будут помнить. Барков, Буянов, Ебаков!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой Пилецкий призывает господ гувернеров постоянно надзирать за воспитанниками и входить в их частную жизнь, чтобы отвлечь их от похабства и остеречь от прелестей и удовольствий чувственной жизни ужасными последствиями. — Зима 1811—1812 года

В кабинете у надзирателя по учебной и нравственной части Мартына Степановича Пилецкого-Урбановича собрались гувернеры. Старшим среди них был Сергей Гаврилович Чириков — унылый, несколько вялый, как все деликатные люди. Остальные были люди молодые, едва начинавшие карьеру.

Двадцатитрехлетний Фотий Петрович Калинич, мощный, с сенаторской осанкой, молодой человек, из бывших придворных певчих, как всегда, был задумчив той всечеловеческой думой, что присуща некоторым особям рода человеческого, но почему-то считается национальной русской чертой, — думой, которая не имеет под собой никаких конкретных мыслей и забот, но позволяет носителю ее ощущать свою значимость. Слушая Пилецкого, он кривил губы в легкой, презрительной ко всему человечеству усмешке. А был он всего-навсего высокопарный глупец и невежда.

Рядом с ним сидел, весь внимание, младший брат Пилецкого, Илья Степанович, удивительно безграмотная личность, услужливый и въедливый служака, боготворивший своего брата-ментора.

Подле стола расположился в креслах Алексей Николаевич Иконников, благородный, умный и образованный молодой человек, но вследствие каких-то неясных жизненных невзгод совершенно опущенный, с нечесаными волосами, кулаком нюхавший табак из табакерки, которую он то и дело открывал, а потом шелкал, захлопывая, чем раздражал самого Мартына Степановича.

— Господа гувернеры, — обратился к присутствующим Мартын Степанович. — Я уверен, что вам и прежде был известен порядок хорошего воспитания, ибо вы получили его сами. — Сказав это, он споткнулся, поглядев на нечесаного Иконникова, и добавил: — Я надеюсь, что получили.

Хотя, может быть, не все и не в полной мере. С самого открытия Лицея я старался входить во все подробности, относящиеся до надзора над воспитанниками. Но, будучи принужден заниматься и вашими обязанностями и беспрестанно напоминать дядькам и служителям их должности, я теряю слишком много времени, а ведь мне надлежало бы его употреблять на другие важнейшие предметы нравственного образования воспитанников, работая в моей комнате. — Он сделал паузу, как бы оценивая сам себя, как он выглядит в глазах гувернеров. Гувернеры молча его слушали, не меняя на себе выбранной маски. — Поэтому я желал бы, чтобы вам понравилась моя мысль о моральном присутствии при воспитанниках, посредством которого, по моему мнению, скорее можно достигнуть нравственного их образования, нежели обыкновенным надзором.

Он остановился, присматриваясь к гувернерам. Ему хотелось, чтобы его мысли достучались до их сердец, чтобы выношенное им вошло в их плоть и кровь, стало их руководством к действию. Гувернеры молчали, и нельзя было понять, как они относятся к его словам.

— Разъясню, господа, свою мысль. Что такое обыкновенный надзор? Обыкновенный надзор за детьми значит: ходить с ними вместе, разговаривать кой о чем для их и своего занятия, смотреть, чтобы кто-нибудь из них не ушибся, не замарался, не делал непристойных движений, не говорил неприличных слов и не внушал ложных мнений; чтобы они держали в чистоте и порядке свои вещи, особливо классные, говорили бы, когда следует, по-французски, или по-немецки, занимались бы учением уроков, были бы учтивы и приятны в обхождении со всеми и почтительны к старшим и начальникам... Кажется, все! — закончил он и после паузы продолжил с новой силой: — Но быть морально с воспитанниками значит: вникать в состояние их души, даже и тогда, когда они в молчании, примечать тайные их разговоры, пошепты, предупреждать всякий соблазн, обличать притворство и хитрость, читать в глазах каждого и чертах лица (которое недаром названо зеркалом души) их желания, их страсти, удовольствие или неудовольствие, примечать телодвижения, внезапные порывы к добродетели или порочному, приучать верно и быстро заключать по сим признакам о внутреннем их расположении или о их нравствен-

ности, их наклонностях... Для сего надо беспрестанно ходить между воспитанниками, не занимаясь в особенности ни одним из них...

— Мартын Степанович, простите великодушно, — перебил его Иконников, — не будет ли такое вхождение в частную жизнь воспитанников тайным надзором, подобно полицейскому?

— Да, Алексей Николаевич, вы меня правильно поняли, я призываю вас и к тайному и к явному надзору за младыми душами; мы, учителя и наставники, просто обязаны осуществлять его. Вам известно, как мало у нас воспитанников, которые не принесли с собою в Лицей развращенных чувств и понятий. Непорочность многих омрачена. Должно внушать им омерзение от пахабства, остерегая и отвращая их от прелестей и удовольствий чувственности ужасными последствиями. Но тут, господа, нужна осторожность, чтобы такие объяснения были соответственны летам и степени их познания... Замечайте особенно таких воспитанников, которые требуют строжайшего надзора, и не теряйте их из виду. Таковые вам уже известны, и их, к нашему счастью, немного. Это господа Пушкин и Дельвиг, а также господа Кюхельбекер, Корсаков и Гурьев. Может быть, я кого-то и забыл. Что же касается последнего, я имею в виду воспитанника Гурьева... — он задумался, говорить ли ему о своих подозрениях, и все же решил сделать это, — то, по моим наблюдениям, возможно, я ошибаюсь, господа, и молю об этом Бога, он имеет противоестественные наклонности. Да-да!.. И наконец, что особенно прискорбно для нас, сын нашего директора среди наиболее развращенных воспитанников! Как тут быть? В этом случае мы особенно не можем потворствовать. Замечены также в недозволенных поступках господа Мясоедов и Маслов, и даже в последнее время господин Вольховский, всегда бывший примером для прочих... Над этим стоит задуматься, куда мы идем?

— Я думаю, — сказал гувернер Илья Пилецкий, — это все следствие того, что воспитанник Пушкин на днях за обедом говорил, что Вольховский вас, господин инспектор, боится, что он очень заботится о своем добром имени, а нам, мол, шалунам, на господина инспектора начихать, мы — свободные люди и надсмотра над собою никакого не потерпим. Вероятно, отсюда и проистекает желание воспи-

танника Вольховского польстить товарищам и выставить себя в неприглядном виде...

— Похвально, Илья Степанович, что вы все примечаете. Учтите, господа, что дети одарены естественной хитростью и тонкостью, чтобы себя оправдывать и украдываться из-под надзора руководителя всяческими средствами. Они любят полную свою волю, коей мы, по их разумению, их лишаем. Всякое ограничение и обуздание их воли стоит им слез и досады. И поэтому надо быть мудрыми и обрабатывать их волю чрез послушание, укрощать и направлять ее так, чтобы они почти не примечали и не чувствовали строгости и тягости рабского принуждения, могущего оскорбить благородное чувство любви и доверенности... — патетически закончил Мартын Степанович и, переведя дух, добавил: — Я думаю, что мои мысли нашли отзвук у вас в душе и вы воспользуетесь ими в дальнейшей службе. Кто дежурит сегодня у воспитанников? Кажется, вы, Алексей Николаевич?

— Я, — кивнул Иконников.

— Тогда, прошу вас, останьтесь, господин Иконников, — попросил Пилецкий, провожая остальных и закрывая за ними дверь своего кабинета.

Когда они остались только вдвоем, Пилецкий продолжил:

— Я, собственно, Алексей Николаевич, хотел поговорить с вами по другому поводу. Как с человеком, получившим надлежащее образование. Я слышал, вы пишете?

— Так!.. Бумагомарание... — скривился Алексей Николаевич.

— Но ведь у вас были театральные опыты?

— Весь мой театральный опыт в моем прославленном деде, известном актере Дмитревском! А театр я люблю с детства и страстно...

— Тогда вам будет легко. Займитесь театром с воспитанниками. Я получил разрешение от министра на спектакли в Лицее. Сочините пьесу с моралью. Только непременно с моралью...

— Я думаю, воспитанникам эта затея придется по вкусу, — чуть вяловато откликнулся Иконников.

— Значит, вы согласны?

— Попробуем.

— Простите за странный вопрос, а чем это от вас пахнет?

— Гофмановскими каплями, — признался Иконников.

— То-то я смотрю, у вас характерный блеск в глазах, будто вы нездоровы. Вы осторожнее с ними... Эфир! Вы меня понимаете? Можно привыкнуть, а привычка сия — пагубна!

На этом их разговор и закончился.

Вечером у себя в комнате Алексей Николаевич долго пил в одиночестве, и ему удалось прикончить все припасы, которые у него были. Он заснул раньше, чем опорожнилась последняя бутылка, и допил ее, проснувшись глубокой ночью, после чего сразу же снова заснул. Так что до эфира в этот раз дело не дошло.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой Суворочка встает для ежедневных утренних занятий, наблюдает страдающего от запоя гувернера Иконникова и задумывается над тем, что называется галиматьей. — Частые убийства в Царском Селе. — Зима 1811—1812 года

Суворочка проснулся в кромешной темноте, в придворной церкви к заутрени еще не звонили. Едва открыв глаза, он тут же резко вскочил с кровати и торопясь стал одеваться. На воротнике нижней рубахи у него был прописан чернилами номер «11» и незаконченная фамилия: «Вольховск».

Он взял с конторки тетрадь с лекциями и два толстые тома лексикона Гейма в кожаных, мерцающих золотым тиснением переплетах.

В коридоре, куда он вышел, был трепетный полумрак, колыхался свет от догорающих кое-где в нишах масляных ламп, пахло подгоревшими потухшими фитилями. Хотел повернуть за угол, но вдруг услышал из-за другого угла с противоположной стороны какие-то сдавленные стоны. Приблизившись, он осторожно, стараясь, чтобы его не заметили, выглянул. Гувернер Алексей Николаевич Иконников, в negligé и босиком, стоял на коленях в закутке у дядьки Леонтия Кемерского, суетливого плута, но в сущности доброго малого, который сейчас искренне хотел помочь страдающему Алексею Николаевичу. Он рылся в шкафчике и приговаривал ласково:

— Сейчас, сию минутку, батюшка свет Лексей Николаич, потерпите, родной...

— А-а-а! — простонал Алексей Николаевич и повалился, мотая головой, себе на колени. — Господи! За что?

Суворочка обратил внимание, что подошвы ног у гувернера были грязные и морщинистые, как бы прежде времени состарившиеся. Жалость кольнула его спартанское сердце, захотелось выйти и помочь этому вопиющему человеку.

— А за неразумность вашу, батюшка! За неразумность. Меры своей не знаете, а коли не знаешь, не пей вовсе. Вот и Кошанский Николай Федорович давеча в одном исподнем бегали-с... Профессор! Чего пить-то?! Все есть! А вот пьет: теперь в отпуске по болезни. — Приговаривая все это, дядька Леонтий достал бутыль, налил из нее в стакан, посмотрел и наполнил его до краев, потом протянул Алексею Николаевичу, который продолжал все так же стоять на коленях, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Тот затих на мгновение, взяв в руки полный стакан, некоторое время смотрел на него тупо, словно примеривался, а может, заговаривал, наконец, собравшись с силами, опрокинул содержимое стакана в глотку. Его мотнуло из стороны в сторону, затрясло, потом он так же неожиданно успокоился, замер. — Ну вот и хорошо, не сумлевайтесь, сейчас выздоровление и наступит! Душа воспрянет... Ждите. Только зачем вы, батюшка, себя так мучаете? Сгорите ведь от вина!

Алексей Николаевич сидел тихо, положив ладони на ноги и чуть покачиваясь, словно во сне. Он прислушивался к чему-то внутри себя: несколько раз набежало, толкнуло в самое горло изнутри и отпустило. Иконников слабо улыбнулся Леонтию.

— Ну вот, — сказал Леонтий. — Слава тебе Господи! Ожили...

Не замеченный ими воспитанник Вольховский проскочил по коридору и спустился в залу.

В зале, положив тетрадь и лексиконы на один из стульев, он принялся из других составлять причудливую фигуру. Потом достал из карманов веревочные кольца и приладил по тому тяжеленных лексиконов себе на плечи. Один том упал на пол — лицейская зала отозвалась громким грохотом, как от выстрела. Суворочка прислушался, не идет ли кто, но

было тихо, и он, снова устроив лексикон на плече, взгромоздился на стулья.

Он воображал себя на коне и крутил гусарский ус, в такой же степени воображаемый, как и конь вороной. Гарцуя, Суворочка старался держать выправку, как держали ее лейб-гусары.

На мгновение он остановился и задумался, потом тихо, но твердо сказал сам себе, словно поклялся:

— Никогда не буду пить и курить! — И загарцевал на коне. — Никогда не буду пить! Не буду курить! Не буду пить! Не буду курить!

Он не задумывался о том, что его детские зарок никак нельзя совместить с распутной, разгульной и бесшабашной жизнью лейб-гусар, он не думал о том, что, желая вступить в эту жизнь, надо принимать определенные правила игры, а не принимая их, можно сразу со своей мечтой распрощаться. Он был весел и полон надежд. Он не понимал, какие средства нужны, чтобы служить в лейб-гусарах, он не знал, сколько стоит обмундирование, экипировка, сколько стоит хорошая кобыла и все остальное, а жалованья лейб-гусара хватает ровно на то, чтобы исправно платить своему денщику. Ничего этого он не знал и потому на полном скаку подхватил с ближнего стула тетрадку с лекциями, развернул ее и стал читать вслух ранее записанное:

— «Первое достоинство слога — ясность! Ясность соблюдается четырьмя способами: 1) Твердым знанием предмета. 2) Внутренней связью мыслей. 3) Естественным порядком слов. 4) Точностью слов и выражений... Если все достоинства слога соблюдены, но нет внутренней связи, а только наружная, сочинение называется пустословием или... галиматей...»

Мысль показалась ему настолько глубокой, что он остановился и задумался, но чем больше он думал, тем более приходил в недоумение: если есть у тебя твердое знание предмета, то как может отсутствовать внутренняя связь мыслей, относящаяся к достоинствам слога? Если есть естественный порядок слов и их точность, то как, опять же, не может быть внутренней связи, а только наружная?

Он чувствовал, что в этих рассуждениях о слоге есть какая-то логическая путаница, но никак не мог ухватить ее, он мотал и разматывал эту словесную вязь, и вдруг его осе-

нило, что перед ним и есть галиматья, бессвязный набор слов, но тут же он отогнал от себя крамольные мысли, потому что с такими мыслями первым учеником не станешь, а он хотел быть первым учеником, и только первым.

После утреннего класса воспитанников строем повели на прогулку, но строй вскоре рассыпался, и по Царскому двигалась неуправляемая, галдящая, ничего не слышащая толпа. Сопровождавший их на сей раз Чириков, по своему добродушию, ничего с ними не мог поделать, губернёр Фотий Петрович Калинич слишком был озабочен собой, чтобы обращать внимание на кого-то, а дядьку кривого Матвея, безропотного и почти слабоумного, да помощника губернатора Александра Павловича Зернова вовсе никто не желал слушать.

На набережной передние стали останавливаться, наткнувшись на них, встали и остальные. На замерзшем пруду, на вытопанной площадке, у вырубленных прорубей, где бабы брали воду для стирки, собралась кучка простонародья: бабы с ведрами и коромыслами, мужики, торговка с лотком на широкой ленте, переброшенной через плечо, остановившийся извозчик с кнутом за поясом и номером на спине, который бросил лошадь и спустился на лед полюбопытствовать, что происходит.

А происходило вот что: в присутствии нескольких полицейских чинов два мужика тащили баграми из проруби разбухшего утопленника. Мерзлое тело никак не хотело пролезать в небольшую прорубь, и потому мужики припасенными топорами принялись рубить лед, расширяя прорубь. Несколько раз из воды показывалось распухшее свинообразное лицо утопленника, и тогда бабы взвизгивали, пугаясь.

— Они так верещат, — усмехнулся Дельвиг, — как будто он сейчас выскочит да погонится за ними.

Подошли еще двое-трое мещан, приличной публики видно не было — зимою в Царском никто не жил.

— Шалят, — сказал один мещанин другому. — По улицам ходить стало опасно. И это где?! У самого царского дворца. Совсем совесть потеряли.

— Говорят, каторжник сбежал и прибег сюда, у вдовы какой-то третий месяц хоронится.

— Да это уж пятое убийство за два года, а ты говоришь третий месяц...

Другой раз уже порешит и — концы в воду!

— За эту зиму второе, а те уже раскрыли...

— Какой раскрыли!

— Вот аспид! — покачал головой кривой Матвей.

Труп наконец извлекли из воды и теперь заворачивали в рогожу, потом два мужика взяли его под мышки и понесли к телеге, стоявшей на берегу, рядом с санями извозчика.

— Ох, пичужки вы мои, пойдемте-ка отсюда! — вздохнул гувернер Калинич, сбросив с себя пренебрежительную маску, которую он таскал постоянно; что-то человеческое проснулось в нем, и Саша Пушкин, заглянув ему в глаза, увидел, что это обыкновенный страх.

— Пойдемте, господа! — позвал лицеистов Чириков. — Смотреть больше не на что!

— Интересно было бы взглянуть на этого убийцу, что двигает им? — рассуждал вслух барон Дельвиг.

Шедший рядом с ним и по привычке чуть горбившийся Кюхельбекер вдруг вскричал, да так, что Дельвиг инстинктивно шарахнулся в сторону:

— Ненависть! Ненависть к роду человеческому. Такие изверги — это особая человеческая порода! Я по лицу определил бы его... Узнал!

— Забавно, — усмехнулся барон. — А ну как это я?

Кюхельбекер рассмеялся.

— Или я? — влез в их разговор Пушкин. — А ты бы, Кюхля, мог убить?

— Из ненависти — да! Может, случайно... За оскорбление! За идею!

— Остановись, — рассмеялся на сей раз Дельвиг. — Осталось всего лишь убийство за деньги, и портрет закоренелого убийцы будет перед нами. — Он показал на Кюхлю.

Кюхельбекер смутился.

— Это все в философском смысле.

— Не знаю, — сказал Пушкин, смотря внимательно ему в глаза.

— Что ты имеешь в виду? Нет, ты скажи, скажи! — допытывался Кюхельбекер у Пушкина.

Калинич вдруг тихонько запел. Голос у него был красивый, поставленный, не даром он был из придворных певчих.

Среди долины ровная,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

*в которой воспитанники собираются в квартире
у гувернера и учителя рисования Чирикова. —
Весна 1812 года*

Воспитанники, как водилось, собрались как-то ввечеру у Сергея Гавриловича, который, немало их не стесняясь, принимал попросту, в замурзанном халате, перепачканном на животе красками. В комнате стоял мольберт с начатой картиной, которая была прикрыта серой тряпкой. Стоял он давно, и каждый знал, что под тряпкой женский портрет, не претерпевавший за долгие месяцы ни малейших изменений. По стенам висели рисунки; с подставок, консолей и со шкафа, словом, отовсюду глядели пустыми глазами гипсовые копии античных бюстов. Вечная маска египетской царицы Нефертити с ушами, но без головного убора, вместо которого торчала сточенная квадратом голова, висела на самом видном месте.

В углу, за столиком-бобиком в шашечку, на котором стояла без всякой скатерти бутылочка с рюмками, рядом с Сергеем Гавриловичем сидел Алексей Николаевич в расстегнутом сюртуке. Изредка они прикладывались к наливке, рубинившейся в треугольных рюмках.

Воспитанник Николя Корсаков пел, перебирая струны гитары тонкими пальцами музыканта, и, когда он склонял голову к самому гитарному грифу, кудрявые волосы падали ему на лоб, прибавляя поэзии его вдохновенному облику.

Можно было подумать, что пел он свое, но стихи были не его, а Пушкина, правда, на музыку он положил их сам.

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать.

Спешу исполнить приказанье,
Года не смеют погодить:
Еще семь лет — и обещанье
Ты не исполнишь, может быть.

Вы чинно, молча, сложа руки,
В собраниях будете сидеть
И, жертвуя богине скуки,
С воксала в маскарад лететь —

И уж не вспомните поэта!..
О Маша, Маша, поспеши —
И за четыре мне куплета
Мою награду напиши!

На большом кожаном диване, слушая певца, расположились томный барон Дельвиг, Егоза Пушкин и князь Горчаков. Между столом и диваном сидел Олосенька Илличевский, тоже стихотворец, и вертелся из стороны в сторону, наблюдая, какое впечатление производят стихи его соревнователя в поэзии. Олосенька почитался в лицейской среде первым номером в поэзии, сочинял он легче и больше Пушкина и уж тем более барона Дельвига. Пушкину все дружно предоставляли второе место.

Корсаков кончил, встряхнул кудрями, и Илличевский восторженно заметил князю Горчакову, сидевшему с его края:

— Недаром Француз жил среди лучших стихотворцев!

— Стихи еще робкие, но чувство есть... — небрежно отметил князь.

— Чувства больше в музыке... — полусогласился с ним Илличевский.

— Да, они хорошо ложатся на голос, — добавил Горчаков тоном знатока. — Я думаю, сестричка нашего барона, для которой написано это послание, осталась довольна? А как вам, Алексей Николаевич?

Иконников пожал плечами и, приняв рюмку, на мгновение прикрыл глаза.

— В самом деле, хорошо положено на голос. Значит, будут петь, — сказал он. — Девицы царскосельские будут в альбом писать, но серьезная публика... — Он не успел договорить.

— Серьезная публика скажет: пустяк! — согласился Саша Пушкин, но по тону его небрежному, по чуть срывающемуся голосу было понятно, что он уязвлен, хотя всячески пытается скрыть это. — Немудрено, что Алексею Николаевичу, человеку серьезному, не нравится.

— Да нет же, отчего же... — забормотал Иконников и нашел в этом повод принять еще одну рюмку.

— А мне нравится, мне очень нравится, — сказал Сергей Гаврилович. — Вот и барону, я вижу, нравится, только он молчит из лени.

— Я уже все сказал автору прежде, — пояснил барон Дельвиг, — поэтому и молчу...

— Саша, а есть ли что-нибудь новое? — неожиданно подал голос Виля Кюхельбекер, сидевший в укромном уголке за шкафом. Он, словно кукушка из часов, выглянул со своим вопросом, клюнул в пространство своим огромным носом, заколыхалась тень по стене, и снова спрятался в темноту, и тень носатая пропала.

— Есть! — Пушкин неожиданно оживился. — Только в прозе. Потом переведу в стихи. Надеюсь, Алексею Николаевичу понравится.

— Давайте, — махнул рукой Иконников.

Одна из свечей в пятисвечном шандале, где их до того горело всего три, начала гаснуть.

— Погодите, сейчас прикажу поправить свечи, — спохватился Сергей Гаврилович.

— Не надо, не надо! Пусть так, Сергей Гаврилович, — запротестовал Пушкин, привстал, двумя пальцами прижал закоптивший фитиль свечки и снова устроился поудобней на диване, подобрав ноги под себя. — Итак, слушайте, господа! Однажды из дремучего темного бора на берег Днепра вышел Громобой. Кляня свою судьбу, он хотел покончить счеты с жизнью. Но тут завyli волки в бору и вышел из лесу старик с седой бородой. Глаза его блестели странным блеском. Громобой с ужасом увидел, что на руках у него — когти, на голове торчат рога и за спиной шевелится хвост.

Кюхля вздрогнул, потому что в это самое время погасла еще одна свеча и в последних ее сполохах почудилось было Кюхле странное видение, напоминавшее этого старика, — он явственно увидел его в тени, заплывавшей по стене и пропавшей вместе со светом свечи. История волновала нервическую натуру Кюхли.

— Может, внести еще свечи? — робко предложил кто-то, но остальные промолчали, боясь выдать свои переживания.

Алексей Николаевич загадочно улыбался, потягивая вкусную наливку и поглядывая на рассказчика.

— Пусть останется одна, — романтично вздохнул Николай Корсаков.

— Что ты задумал, несчастный? — спросил старик Громобоя, — продолжал Пушкин, даже тоном рассказа сгущая краски.

— В волнах искать спасенья.

— А что же ты забыл про меня?

— Кто ты? — в ужасе спросил Громобой. — Мне облик твой кажется знакомым.

— Я? Друг твой, спаситель, заступник! Я — Асмодей!

— О Боже! Творец Небесный! — вскричал Громобой.

— Забудь о Боге. Молись только мне и будешь награжден, — сказал Асмодей. — А взамен отдай мне душу.

Громобой признался ему, что страшится мучений ада. Асмодей расхохотался и поведал Громобою, что жизнь в аду ничуть не хуже, чем в раю. А прямо сейчас на десять лет он получит все: неиссякаемые богатства, терема, красавиц, которые будут любить его. Но через десять лет он сам придет за Громобоем. Подумал Громобой и согласился. Разрезал руку и кровью написал клятву. Лукавый принял грамоту и... был таков. Все получил Громобой: княжеский дом, полные злата подвалы, погреба с заморскими винами — и запиrowал. Но мало ему было. И тогда он похитил двенадцать невинных дев и через год родилось у него от обольщенных девиц двенадцать дочерей, хранимых ангелами... Вот и все! — неожиданно весело закончил Пушкин и вскочил с дивана.

— Как все? — вскричал Кюхля. — А дальше?

— Остальное расскажу завтра! — заверил Пушкин.

— Нет, давай сегодня, — попросил Олосенька.

— Как хочется узнать, что было дальше! — воскликнул Кюхля.

— Я сам еще не придумал, что будет дальше.

— Француз, ты же придумал, меня не обманешь! — канючил Олосенька. — Ну хотя бы немножко.

— Врешь ты все! — уверенно сказал молчавший доселе Дельвиг. — Придумал! Только не хочешь говорить.

Чириков встал со своего места и заключил:

— Пора спать, господа! Александр Сергеевич расскажет свою балладу в следующий раз.

Все шумно поднялись.

Иконников как бы невзначай подмигнул Пушкину. Тот отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Припозднившиеся воспитанники спустились по лесенке из квартиры Чирикова и пошли коридором по своим дортуарам. Пушкин замедлил шаги и оказался рядом с Иконниковым, который шел одним из последних.

— Ну как вам мой рассказ, Алексей Николаевич? — поинтересовался он. — Надеюсь, понравился?

— Ну, вы-то знаете, что было дальше?

— Еще бы! — воскликнул Пушкин.

— Значит, вы дочитали балладу Василия Андреевича Жуковского до конца.

Пушкин весело рассмеялся. Улыбнулся и Иконников.

— Мне очень приятно, — сказал он Пушкину, — что вы всегда в курсе всех литературных новинок. «Тебе я терем пышный дам / И тьму людей на службу; / К боярам, витязям, князьям / Тебя введу я в дружбу; / Досель красавиц ты пугал — / Придут к тебе толпою; / И словом — вздумал, загадал, / И все перед тобою...»

— «И вот в задаток кошелек; / В нем вечно будет золото. / Но десять лет — не боле — срок / Тебе так жить богато», — закончил Пушкин. — Никогда не думал, что стихи так трудно пересказывать прозой!

Горчаков, заходя в тридцатый номер, остановился и сказал Дельвигу, шедшему за ним:

— Двенадцать дев, двенадцать дев! Сейчас хотя бы одну в мою кельюшку. А ты бы не отказался, а, Тося?

Барон сладострастно зачмокал губами и вздохнул:

— Было бы забавно!

— Еще как забавно! — подтвердил Горчаков. — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, — пожелал ему Дельвиг и добавил из Пушкина:

«Скажи, что дьявол повелел —

«Надейся и страшися!»

«Увы! Что мне дано в удел?

Что жребий мой?» — «Дрочися!»

— Это что такое? — удивился князь Горчаков. — Это ты написал?

Барон Дельвиг усмехнулся, но не дал прямого ответа, пожал плечами. Саша читал ему отдельные строфы и просил пока никому не говорить.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

*в которой лицеисты ловят бабочек для Екатерины Бакуниной. — Честолюбие движет гением. — Российская лень Дельвига. — Нашествие Антихриста. —
Июнь 1812 года*

Зеленели царскосельские луга. В живых изгородях всюду цвел алый шиповник, зацветали и большие кусты жасмина. Садовые рабочие сооружали каркас слона, чтобы под ним посадить вьющиеся растения. Рядом ходил и давал указания царский садовник Лямин, или, как его официально называли, «царскосельских садов мастер».

Лицеисты шли по двое; на прогулке их сопровождал один из самых неприятных гувернеров — Илья Степанович Пилецкий, младший брат их главного недруга Мартына Степановича.

Летом Царское оживало. В хорошую погоду высыпали на дорожки парков летние жители Царского Села, вместе со двором перебравшиеся на дачи. Различалось утреннее гуляние, полуденное и вечернее у воксала, где играла военная музыка. Сейчас было время полуденного гуляния — гуляния в основном для дам.

Илья Степанович чинно раскланялся с дамой, которая шла навстречу с молоденькой прелестной дочерью:

— Здравствуйте, Екатерина Александровна!

— Здравствуйте, Илья Степанович, — отвечала дама, останавливаясь. — Как мой шалун?

— Если бы все такие были шалуны, Екатерина Александровна, так мы бы были счастливы.

— Маман, здравствуйте, — подбежал к матери лицеист Бакунин. — Здравствуй, сестричка, душенька... — Он поцеловал ее в щеку.

— Здравствуй, Александр, — поздоровалась Екатерина Александровна с сыном и снова обратилась к гувернеру:

— Илья Степанович...

Пушкин увидел, как брат целуется с сестрой, прижимая ее к груди, и у него перехватило дыхание. Он отвернулся, потом снова обратил свой взор к Катеньке Бакуниной — без сомнения, она была прелестна.

— Как бы я хотел быть на его месте, — тихо сказал он стоящему рядом Горчакову.

Это услышал и Дельвиг, с которым тот был в паре.

— Уснуть! Уснуть! — прошептал, кривя губы в улыбке, Горчаков.

— Ой, смотрите, какая бабочка! — воскликнула девушка. — Хочу такую в свою коллекцию!

Большая черная бабочка с белым рисунком на крыльях порхала неподалеку, то пролетая совсем близко, то резко уходя в небо и тут же возвращаясь к траве.

Казалось, своим беспорядочным полетом она дразнит, завлекает.

Несколько лицеистов одновременно бросились выполнять указание Катеньки: ее брат, Данзас, Малиновский, Пушин; за Корсаковым увязался Гурьев. Пушкин метнулся тоже, но вовремя остановился, помялся в нерешительности, как быть, бежать или вернуться, но, не приняв никакого решения, просто отошел, спрятался за дерево и стал наблюдать, как смеется Бакунина над беспорядочными усилиями возбужденных лицеистов отловить бабочку.

— Господа, остановитесь! — закричал Илья Степанович сразу же, как только строй разрушился, но не тут-то было.

Гонялись за бабочкой почти все — это превратилось в игру, ловили уже не только бабочку, хотя она была в пределах досягаемости, но и друг друга.

— Швед, держи ее! Э-э, дурак! — раздавались крики. — Вон она! Вон полетела!

— Стой, дай я!

— Что они там ловят? — спросил Дельвиг у Горчакова. Они так и стояли в паре, взявшись за руки.

— Кажется, бабочку, — равнодушно отозвался Горчаков, рассеянно поглядывая по сторонам. — Какое детство! Вон и Модинька увязался, — проследил он за бегущим Корфом.

Тот споткнулся и растянулся на траве. Однако быстро поднялся и пошел шагом, стараясь не прихрамывать и со-

хранять достоинство. Он шел, недоумевая, отчего ввязался в столь глупое занятие.

— А я ничегошеньки не вижу, — вздохнул Дельвиг и прищурился. Солнце било в глаза. Он повернулся в другую сторону, откуда доносился счастливый смех Катеньки Бакуниной, но только черные пятна и круги поплыли перед глазами.

— Так и я не вижу. Она же маленькая! — сделал кислую мину Горчаков.

— Кто? — не понял его Дельвиг. — Бакунина?

— Почему Бакунина? — теперь уже не понял его Горчаков. — Бабочка.

— А-а... — протяжно зевнул от солнца барон. — А Бакунина какова? На твой взгляд, она прелестна?

— Возможно, — вздохнул князь Горчаков. — Очень даже возможно. Уму непостижимо, почему нам не разрешают носить очки?! Какие странные запреты, есть в этом что-то не европейское, — рассуждал Горчаков. — Вырасту и непременно добьюсь себе права у государя.

— Если будешь служить — не добьешься. Россия — это не Европа! Ношение очков запрещено при дворе. Сам государь прячет лорнетку в рукаве.

— Не проще ли отменить сие установление? — вслух подумал Горчаков. — И не прятать лорнетку?

— Для человека, который собирается служить, ты слишком много думаешь, — рассмеялся барон. — Вот выйдешь в отставку, будешь частным человеком, тогда твое дело — думай, носи очки, обсуждай государевы установления, только тихо, желательно шепотом, и наслаждайся частной жизнью...

— А я добьюсь себе разрешения! И буду носить очки! — уверенно сказал князь Горчаков. — Я многого добьюсь. Лишь честолюбие двигает гением. — Барон присвистнул. — И простым человеком тоже, но гением — в особенности! А в тебе, Тося, мало честолюбия, — вдруг добавил он. — И много лени российской...

— Что есть, то есть, — пробормотал барон и снова, почти против своей воли, зевнул. — Интересно, почему это на солнце всегда хочется спать? Собственно, и в дождь тоже...

Илья Пилецкий протащил мимо них за руки двоих упирающихся господ, Корсакова и Гурьева.

— Я сколько раз говорил вам! — объяснял он Гурьеву. — Вы ведете себя некрасиво, господа, недозволенно. Возле дворца нельзя шуметь, нельзя бегать по лужайкам, нельзя рвать цветы, ходить можно только по дорожкам. Тише, господа! — повернулся он к шедшим следом за ними Данзасу и Корфу, за которыми уже в свою очередь тянулись остальные. — Нам запретят прогулки.

— Дай посмотрю, — тянулись к Данзасу жадные руки. — Ну, дай, Медведь!

— Повезло Медведю! Ай да Медведь! — только и слышались восторженные возгласы.

— Уйди! — отмахнулся от кого-то локтем Данзас. — Пыльцу сотрешь с крылышек.

Твердым шагом подойдя к Бакуниной, он с поклоном протянул ей бабочку, сначала дунув ей на крылышки.

— Екатерина Павловна, позвольте вручить вам адмирала!

— Адмирала? Как вы милы! — Она наклонилась к маленькому Данзасу и быстро поцеловала его в рыжий затылок. Пушкин все так же стоял у дерева и смотрел на Бакунину. Она перехватила его взгляд и улыбнулась.

— Катенька! — с укором сказала ей мать. — Так нельзя. Это дурной тон!

— А что, маман? Он ведь совсем ребенок! Как и наш Александр...

— Он? — удивилась Екатерина Александровна. — Он не ребенок! Это ты ребенок! А он просто маленького роста.

Данзас поглядел на всех победно, потом повернулся к Катеньке и добавил:

— Вы его на булабочку, мадемуазель! Очень красиво! А крылышки закрепите. Хотите, я приду вам помочь?

— Мы будем рады вас видеть, — сказала Бакунина-старшая.

Вдруг Пилецкий заметил, что от здания Лицея бежит по направлению к ним лицейский дядька, кривой Матвей, и машет руками.

Он отпустил руки непослушных мальчишек, всматриваясь в бегущего и пытаясь расслышать, что такое тот кричит. Но ветер уносил слова его в сторону.

— Что-то случилось, — все же резюмировал он.

Дядька Матвей подбежал ближе.

— Война, батюшка! Деточки мои, война! Антихрист идет! Всем миром, — причитал он. — Всем миром на антихриста! Он упал на колени и стал истово молиться. Так началась для лицеистов война 1812 года.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой государь император Александр I узнает о начале войны. — Покупка Закрета у Бенигсена за двенадцать тысяч червонцев. — Попытка покушения на государя. — Расследование директора Высшей воинской полиции Якова Ивановича де Санглена. — Бежавший архитектор Шварц. — Алмазные шифры для фрейлины графини Софии Тизенгаузен. — Полуторачасовой польский в начале бала. — Наполеон переправляется через Неман. — «На зачинающего — Бог!» — 12 июня 1812 года

А для государя императора она началась в Вильне.

В тот день 12 июня он проснулся, как обычно, в пять часов утра. Спал он по-походному, как привык спать, на желтом сафьяновом мешке, набитом сеном, положенном на доски походной кровати. Не вставая, обратился мыслями к Богу, вознеся молитву без слов, но тут же нахлынули мысли, которые не покидали его все последнее время.

Почти два месяца назад, в апреле, в день Вербного Воскресенья, прибыл он со свитой в Вильну под гром орудий и колокольный звон, возвестивший жителям Вильны его прибытие. Первым делом, думая о приближающейся войне, государь стал всячески приближать к себе поляков, составляющих главную силу в этом крае, осыпая их наградами, орденами, придворными званиями, а некоторых паненочек из семейств, которые он особенно хотел отличить, назначал фрейлинами. Государь принимал у себя духовенство, городские власти, купечество и еврейский кагал; никто не был забыт. В первый день праздника Святой Пасхи был большой парад всем войскам, собранным вокруг Вильны, на святой неделе — бал виленского дворянства в его честь. Но каждую минуту государь чувствовал всю фальшь их славословий, особенно литовской знати. «Литва и жмудь, — думал он про них, — с кинжалом за спиной, с камнем за пазухой».

Но на словах расточал любезности и действовал, по обыкновению, через дам, обольщая их и прельщая. Не зря он имел негласное прозвище Прельститель.

Край был наводнен шпионами, да и многие местные жители, как он мог догадываться, работали в пользу Наполеона. Многие ждали его как освободителя. Как любят народы тиранов и поработителей. Намедни ему сообщили, что на границе в Брест-Литовске задержан был французский офицер Генерального штаба, который под видом монаха ордена камиллиан от своего монастыря в Апеннинских горах собирал подаяния на выкуп христианских невольников от марроканцев, алжирцев и тунисцев. На самом деле у него в посохе были найдены планы съемки местности и главных дорог.

Сегодня бал у баронессы Беннигсен в Закрете, который устраивают в складчину дворяне виленские и офицерство. Государь и сам участвовал в подписке, дав триста имперялов из своего кошелька. Баронесса Беннигсен сегодня в последний раз выступает хозяйкой усадьбы и хозяйкой бала; мало кто знает, что государь купил у барона Беннигсена его имение с великолепным парком и домом, перестроенным из иезуитского монастыря, и сделался виленским дворянином, получив право носить местный мундир. Правда, граф заломил довольно большую цену за понравившееся государю имение — двенадцать тысяч червонцев с условием заплатить золотом. Договорились произвести выдачу денег из казначейства в три приема по четыре тысячи в год.

Александр у нравились здешние балы, он считал, что виленские дамы вообще большие знатоки в этом деле, в других делах он еще их не проверил, но надеялся восполнить и этот пробел. Польки заносчивы, горделивы, несколько холодны, чем всегда вызывали у него ответную страстность. Знал он это по своей Марье Антоновне Нарышкиной, урожденной княжне Святополк-Четвертинской.

Но еще не начавшись, предстоящий праздник уже был омрачен. Накануне ему передали записку с доносом, что на этом балу готовится покушение на его особу, для чего прямо во время бала будет обрушена вновь построенная танцевальная зала. Государь срочно послал директора Высшей воинской полиции при военном министре Якова Ивановича де Санглена осмотреть постройку во всех подробностях. Когда директор контрразведки со своими чинами осматривал залу,

верх ее вместе с галереями на самом деле рухнул, только случайно никого не задавив. Бросились искать архитектора, но того и след простыл. Выяснили только, что фамилия его Шульц. Случившийся при главной квартире граф Тизенгаузен, приехавший получить алмазные шифры для своей дочери Софии, которую государь сделал фрейлиной большого двора, сказал:

— Я знаю этого Шульца. Прекрасный малый и скверный архитектор, хотя и профессор. Его постройки всегда стояли недолго, то стена рухнет, то свод обрушится.

— Так почему же ему доверяют строительство? — спросил удивленно государь.

— Другого нет, — развел руками граф Тизенгаузен. — А для нас и этот слишком хорош!

Александр очень смеялся этой шутке, но все-таки неприятный осадок в душе у него остался.

Барон Беннигсен, длинный, как шест, и важный, словно статуя командора, вдруг изволил сообщить:

— Государь, я видел, как он врывает круглые бревна, которые должны были поддерживать крышу, и заметил ему, что, на мой взгляд, он не глубоко их закапывает. «Я укреплю их вместе с крышей, — сказал мне Шульц. — Замаскирую зеленью и устрою над ними капители из цветов каштана». Я подумал, что это будет красиво, а в остальном я, верно, недостаточно понимаю...

Государь лишний раз подивился его хладнокровию. Не зря кто-то говорил, что генерал хладнокровен, как черепаха.

— Ну и где же сам архитектор? — спросил император.

— Наверно, с отчаянья в Вилии утопился, — сообщил барон Беннигсен. — Во всяком случае, на берегу нашли только его шляпу.

Император не поверил в эту версию, он не сомневался, что все это были происки врагов, и решил не поддаваться обстоятельствам.

— А пол цел? — поинтересовался император.

— Пол из наборного паркета цел, только завален обломками, — доложил де-Санглен.

— Немедленно очистить, мы будем танцевать под открытым небом.

И вот сегодня этот бал должен состояться. Что-то судьба ему еще готовит... А все-таки не верится, что архитектор Шульц утопился. Верно, сбежал за Неман, к Наполеону.

Всякий бал в то время начинался с польского. На паркетном полу в саду, в окружении колонн, которые остались торчать на развалинах, только убранных цветами, дамы, в ожидании польского, поглощали десерт. Сплетня о том, что государь приобрел имение, всех взволновала. Говорили об этом полупшепотом, патриотично настроенные дамы были уверены, что по приходе Наполеона, а в этом ни у кого не было сомнения, и по обретении Литвой независимости, государь лишится своей собственности. Удивлялись предусмотрительности барона Беннигсена, предпочтившего наличные деньги имению в пограничной провинции в такой час, знавшего, что Наполеон не забыл ему свое почти что поражение в сражении при Прейсиш-Эйлау.

— Говорят, государь заплатил ему золотом, — шептались дамы и оглядывались, ища глазами барона.

Высокая, тощая фигура барона Беннигсена торчала своей маленькой седой головкой с огромным, будто не для нее, носом над всеми. Престарелый генерал высматривал, казалось, даже вынюхивал прибытие государя, чтобы броситься ему навстречу.

Государь не замедлил появиться в сопровождении многочисленной свиты. Был он на этот раз в мундире своего любимого Семеновского полка, с отворотами небесно-голубого цвета, который ему удивительно шел.

Грянул польский. Вереница мужчин в ярких мундирах с орденами в алмазах и женщин в платьях, усыпанных цветами, под звуки полонеза в медленном танце, начавшемся на полу в построенном павильоне, за государем, шедшим в первой паре с самой баронессой Беннигсен, игравшей роль хозяйки бала, обошли по садовым дорожкам лужайки и окрестные рощицы. Оркестры, спрятанные в этих рощицах, как бы передавали эстафету друг другу: когда заканчивал играть один, начинал другой. Погода была теплая, небо ясное, слегка покрытое тучками, розовевшими от заходившего солнца и отражавшимися на речной глади реки Вилии, огибавшей имение. Ласточки и стрижи летали низко над рекой, и ничто не предвещало зловещих событий. Танец длился бесконечно.

Государь, как всегда, был ласков и галантен с дамами. Он не выходил из польского уже часа полтора. Теперь он шел в паре с госпожой Барклай де Толли. И уже наметил

себе фрейлину графиню Софию Тизенгаузен, которую он, после вручения алмазных шифров ее отцу, навестил вчера вечером. Она умна, мила, принадлежит к богатейшей знати, его доверие, его знаки внимания, его дружба с этой семьей будут по достоинству оценены в обществе. Втайне государь рассчитывал на большее, чем простая любезность, дыхание у него перехватывало, когда он смотрел на ее невинно приоткрытый ротик, и он отворачивался, стараясь не думать о ней. Еще он не сбрасывал со счетов местную красавицу Сулистровску, у которой уже два раза вечером пил чай и даже попросту, стоя у рояля, переворачивал ей ноты романса, когда она пела. Но с ней, государь знал это точно, будет проще. Сулистровска вышла из польского и не танцевала, а стояла под цветущим померанцевым деревом в окружении молодых поляков, иногда поглядывая на танцующих. Ее поведение можно было бы принять за вызов, если б она не была так молода, так очаровательна, так непосредственна.

Вскоре прибыл на бал министр полиции Балашев и направился прямо к государю. Не дойдя до танцующих, он остановился, всем своим видом показывая, что у него есть необходимость переговорить с государем. Александр, проходя в танце, кивнул одному из своих флигель-адъютантов, и тот, быстро подойдя, хлопком отбил у него госпожу Барклай де Толли. Пока Балашев докладывал государю, они стояли вдвоем и никто не слышал, что за сообщение получил государь: бал продолжался, веселье шло своим чередом.

Внешне улыбчив, внутренне Александр все более мрачнел. Его не радовал танец с Софией, которая надела на бал алмазные шифры фрейлины. Он узнал, что этой ночью Наполеон переправился через Неман и в настоящий момент аванпосты французской армии были в семидесяти верстах от Вильны. Все его, Александра, предложения о мире остались напрасными. Нельзя сказать, что Александр испугался, он давно внутренне был готов к этой войне, потому что готовился к ней. Он смотрел на это пестрое собрание местной знати, на глазающую публику, собравшуюся на берегу реки и по кустам, и думал о том, как поведут они все себя завтра, когда весть о войне дойдет и до них. Сколько из них останется верными ему, а сколько с восторгом закричат здравицу Наполеону. Государь понимал, что соотношение

будет не в его пользу. Он понимал, что вся его дипломатия последних месяцев, усиленное привлечение поляков и литовцев на свою сторону окажутся напрасными.

«Ну что ж, война так война, — думал он. — На зачинающего — Бог! Вчера вот я ратифицировал Бухарестский мир с Турцией, а сегодня война с Наполеоном. Из огня да в полымя. Вернусь в Вильну, надо будет поручить Шишкову немедленно написать приказ нашим армиям и рескрипт к фельдмаршалу графу Салтыкову о вступлении неприятеля в русские пределы. Пусть в нем будет то, что я сказал Нарбонну: я не положу оружия, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России. А закончить рескрипт надо: на зачинающего — Бог! Непременно так закончить. В исторические моменты и фразы должны быть историческими».

Он усмехнулся: каждый экспромт должен быть хорошо подготовлен.

Графиня София была очень мила, и государь пожалел, что завтра ее уже не увидит. И Сулистровску тоже.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

*в которой директор Лицея Малиновский объявляет
о начале войны с Наполеоном. — История де Будри,
родного брата Марата. — Ночная ваза с портретом
императора Наполеона. — Июнь 1812 года*

Воспитанников в парадной форме, надетой по столь торжественному случаю, собрали в лицейской зале. Сам директор Малиновский, тоже в парадном мундире со всеми орденами, застегнутом на все пуговицы, выступил вперед.

— Господа! — начал он торжественно и серьезно, обводя взглядом всех собравшихся. Лица педагогов тоже были серьезны, на детских же лицах были радость и воодушевление. — Тяжелый час наступил для нашей Отчизны! Наполеон Бонапарт без всякого объявления войны перешел Неман и вторгся в пределы Российской империи!

Дальше он не смог говорить, поднялся невообразимый шум.

— Война! — разом закричали все воспитанники. — Ура-а-а! Война-а!

— Шапками закидаем французишек! — сказал Данзас, повернувшись к соседу.

— Французов в три раза больше, чем наших, — рассудительно возразил Вольховский, который все знал, потому что готовил себя в военную службу.

— Суворочка, твой черед! — закричал Пушкин и хлопнул Вольховского по плечу.

— Господа! — продолжал свою речь Малиновский. — Уже сила отражается силой, и мы с нетерпением ожидаем известий о военных происшествиях. О Господи! Благослави оружие наше! Возблагоденствует матушка Россия, вздохнет свободно вся Европа, когда будет низложено стоглавое чудовище!

— Слушай, Француз... — обратился Дельвиг к Пушкину.

— Не смей меня больше звать Французом! — резко оборвал его Пушкин. — Лучше уж зови Обезьяной.

— Господа, я хочу воевать за Россию! Если меня не возьмут в регулярные, я запишусь в ополчение. Барклай де Толли — родственник моей матери, он не откажет. Вот увидите, он не откажет. Мне уже исполнилось пятнадцать лет. Правда, меня возьмут? — шептал как в чадую Кюхельбекер, хватая товарищей за руки, пока не вцепился мертвой хваткой в Вольховского.

— Скажи, Суворочка, меня возьмут?

Вольховский всегда был честен и прямодушен.

— Наверяд ли, — отвечал он.

— Нет, меня возьмут, я добьюсь своего! Я умру за Родину! — воскликнул он наконец.

— Тебя, Виля, Господь не примет! — серьезно сказал ему Пушкин.

— Почему? — вылупил глаза Кюхельбекер.

— Ты замучаешь его стихами.

— Как ты можешь в такой час шутить! — изумился Кюхельбекер. — Когда наше Отечество в опасности?!

— Давай сюда французские учебники! Мы их сожжем! — вдруг закричал кто-то из воспитанников, и эта мысль всем понравилась, по общей склонности подростков ко всяческому бунту.

— За мной! — закричал Илличевский и первым ринулся из залы.

За ним устремились остальные.

— Прекратите бунт! — вскричал Мартын Степанович и попытался встать на пути бегущих, но услышал окрик директора:

— Оставьте их, Мартын Степанович! Их можно понять.

— Бей французов! — Этот вопль доносился уже из коридора.

Толкаясь и падая, снова поднимаясь, сметая все на своем пути, захватив одного из дядек, молодого мужичка Сазонова, туповатое лицо которого тоже озарилось светом бунта, толпа подростков неслась по коридорам. Уже не отдельные крики, а слившийся воедино вопль вырывался из всех глоток разом.

В классе устроили настоящий погром, бросали французские учебники, заодно с ними и математику, и грамматику. Вскидывали и бегали по столам, танцевали, бились на палках, пропороли палкой большой глобус и таскали его на плечах, произносили гневные речи.

— Долой Будри, пособника узурпатора! Пусть старикашка убирается к себе во Францию! На гильотину!

— Предлагаю за каждое французское слово — наказание!

— Плетьюми! Розгами!

— Ура-а государю императору Александру Павловичу! Ура-а!

— Убить Будри! — крикнул кто-то.

— Господа, одумайтесь! Будри ни в чем не виноват! — растерянно сказал по-французски князь Горчаков. — Это абсурдно!

— Убить! — вылупил глаза Кюхельбекер и посмотрел безумным взглядом на князя Горчакова. — А тебя за французский — в карцер!

— Сумасшедший! — не на шутку испугался князь Горчаков.

— Найдем Будри! — вскричал Кюхельбекер. — Он заплатит за все!

Остальные вдруг стали успокаиваться и подходили ближе к беснующемуся Кюхле.

— Убить! — кричал тот в исступлении.

Возле Кюхельбекера собирались уже многие.

Он тоже остановился, осматриваясь по сторонам, увидел недоуменные взгляды, почувствовал себя не совсем в своей тарелке и сказал извиняющимся тоном:

— Я это... Увлёкся, что ли... Но изгнать можно, — сказал он убежденно и затряс головой так, будто у него начался приступ.

— Подумай, Кюхля, — предложил ему Саша Пушкин. — Ты в своем здравии?

— Нет, изгнать можно! — капризно настаивал на своем Кюхельбекер.

Давид Иванович де Будри был личностью довольно замечательной. Он был родной брат Марата, того самого революционера, именем которого пугали детей. Впрочем, кем у нас в России только детей не пугают.

Попал он в Россию еще при Екатерине II. Его выписал камергер князь Василий Петрович Салтыков для воспитания своего сына. Был он родом швейцарец, но в России женился на русской и навсегда остался в нашем отечестве. Поскольку имя его брата гремело в то время по всей Европе и многие считали его за кровопийцу, он обратился к императрице с просьбой, чтобы ему разрешили сменить свою прежнюю фамилию Марата на фамилию Будри, по названию той деревушки в Швейцарии, откуда они были родом, что Екатерина милостиво и разрешила. Окончив учение сына князя Салтыкова, он жил тем, что преподавал французский язык и словесность сначала в частных домах и пансионах, а с 1811 года и в Императорском Лицее. В совершенную противоположность своему брату он был добр, честен и благороден. Впрочем, из некоторых его слов можно было заключить, что и брат его был не совсем тем, кем его всячески представляли.

Забавненький коротенький старичок, с толстым брюшком, с засаленным напудренным паричком, кажется, никогда не мывшийся и разве только однажды в месяц переменивший на себе белье, из-за чего от него вечно дурно пахло, — один из немногих наставников, он вполне понимал свое призвание и, как человек в высшей степени практический, наиболее способствовал развитию лицеистов, отнюдь не в одном познании французского языка...

Василий Федорович Малиновский стоял над старичком де Будри, который спрятался у него в кабинете и теперь плакал, сидя в кресле.

— Давид Иванович, миленький вы мой, успокойтесь, ради Бога! Все пройдет. Это первое впечатление чувствительных детских душ. Они вас любят и совсем не хотели обижать. И ведь это же не бунт, покричали и разошлись.

— Василий Федорович, но какая чудовищная несправедливость. Я ведь еще в восемьсот шестом году, когда шла война с Наполеоном, принял присягу на подданство России. Я ненавижу узурпатора. Я полжизни прожил в России и никем, кроме как природным русаком, себя уже не ощущаю.

— Пройдет, Давид Иванович, пройдет... В Москве французскую труппу распустили... Мадемуазель Жорж уехала. Люди боятся на улице говорить по-французски. Говорят, толпа чуть не растерзала камергера князя Тюфякина, который на медни в Казанской заговорил с приятелем по-французски, его насилу спас квартальный, попросив проследовать с ним в Большую Морскую, в дом генерал-губернатора...

— Что вы говорите? — ужаснулся Давид Иванович. — Горе мне! — Он закрыл лицо руками. — Вся жизнь перечеркнута. Опять с сумою, не взявши ни крохи, идти куда глаза глядят...

— Бродят слухи про шпионов, — совсем невпопад сказал Малиновский.

Старичок вскинулся, схватился за сердце.

— Но надеюсь... — залепетал он. — Надеюсь меня никто... не подозревает..

— Что вы, Давид Иванович, — успокоил его Малиновский. — Здесь вас никто не тронет.

— Нет, в Царском Селе, в Царском Селе, — залепетал он. — Как раз и решат, что шпион, что заслан...

Директор вдруг неожиданно для самого себя погладил его по головке, как маленького ребенка. Старичок благодарно на него взглянул и прижал его руку к своей щеке.

— Ну теперь идите, — сказал ему Малиновский. — Все минет!

— Василий Федорович, миленький мой, посмотрите в коридоре, нет ли их?

Малиновский выглянул в коридор — никого не было.

— Идите с Богом!

Де Будри вышел из кабинета директора и, озираясь, двинулся по коридору, но за одним из-за поворотов он все-

таким увидел то, чего сейчас больше всего боялся. Прямо на него вывалилась ватага лицеистов, предводительствуемая сыном самого директора Малиновского, который первый его и заметил:

— Вон он!

Дети ринулись за стариком, толком не зная, что с ним делать. Толстячок бросился в другую сторону, но уйти ему далеко не удалось.

— Я — не шпион! — закричал старик, прижимаясь спиной к стене. — Помилуйте, дети!

— Француз — значит враг! — вскричал Малиновский, он был на голову выше старичка и нависал над бедным как глыба.

— Я не враг! Я докажу! Я ненавижу узурпатора!

— Где доказательство? Где? — вопрошал Кюхельбекер, который был тут же. — Где же? Дайте нам доказательства, чтобы мы могли вас помирить!

— У меня. В комнате. Есть доказательства. Только не трогайте меня! Идемте!

— Идем! — восторженно закричали несколько человек.

У себя в комнате Давид Иванович, кряхтя, залез под кровать и стал там шарить. Рядом с ним, окружив его, стояли в ожидании воспитанники. Старик приподнялся и гордо показал им фаянсовую ночную вазу с изображением Наполеона в своей знаменитой шляпе и надписью: «Император французов».

— Вот, — сказал он. — Английская посуда! Еще несколько лет назад груз этих горшков конфисковали на таможне и разбили, знаете, как это бывает. А мне достали один. По случаю... Ну, вы понимаете... С тех пор пользую... Могу ли я быть его шпионом, когда я... на него? — Он постучал пальцем по известному всей Европе портрету.

Малиновский захохотал, выхватил горшок и поставил его на пол.

— По императору французов! — Он расстегнул панталоны. Другие тоже окружили горшок. Они стояли плечо к плечу, и струи звонко бились в дно горшка.

— Мы вам верим, Давид Иванович! — сказал Малиновский, обернувшись через плечо.

— И ваш папа мне верит! — обрадовался старичок.

— Ура-а! — закричали лицеисты, стоявшие вокруг горшка, а вокруг бегал маленький Комовский и просился:
— Дай и я поцую! Дай и я тоже! Ну, дай...
— Сцы! — милостиво разрешил Малиновский, чуть посторонившись.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

*в которой лицейский дядька Леонтий Кемерский угощает воспитанников винцом и рассказывает небылицы про Наполеона. — Император Александр I вызывает к себе министра полиции Балашева. — Мундир взаимы. — Исторический ответ Балашева Наполеону. — Графиня София Тизенгаузен представляется Наполеону, надев фрейлинский шифр русских императриц. —
Лето 1812 года*

— Вот, барчуки вы мои, ребятишечки, — приговаривал дядька Леонтий Кемерский и косил глазом в сторону, не идет ли кто, потому что делал это в нарушение устава. — По рюмочке винца сладенького, церковного...

Возле него столпились воспитанники Пушкин, Пущин, Данзас, Дельвиг. Дядька наливал в рюмку красного вина, подносил каждому и ждал, пока тот выпьет, не прерывая своего рассказа:

— Бонапарт звал к себе государя, а государь-батюшка сказал: нет, братец Бонапартий, поезжай-ка ты ко мне, я тебя постарее, ведь я тебя в императоры пожаловал... А ты вон как к царской милости отнесся... Забыл слово клятвенное!.. Как винцо?

Данзас молодецки вытер губы рукавом.

— Отлично, Леонтий! Но Бонапартий вообще-то постарее государя будет!

— А не может того быть, чтобы постарее нашего царя! Быть того не может! Наш царь хошь молодой, а по уму старее будет! А вот еще сказывают, — продолжал он свою сказку, — как француз границу перешел, так чудо явилось в Московской губернии — мужик без рук, без ног, лежал семь лет, спал беспробудно, а как узнал о французе, покатился по дороге из Москвы в Троицу на боку, так в двадцать дней и докатился...

— А там что? — спросил Пущин.

— Известное дело, помолился и встал, и пошел в ополчение. Теперь француза бьет.

— Как Илья Муромец, — сказал Пушкин.

— Не-а, — покачал головой Кемерский. — Тот аж тридцать три года сиднем сидел, а этот только семь годков...

— А как же он узнал про француза, коли спал беспробудно? — снова спросил Пущин.

— А вот как Тося! — заразительно рассмеялся Пушкин и стал теребить барона Дельвига, который прикорнул на стульчике. — Целыми днями спит, а все знает.

— Знаю, — сказал Дельвиг сквозь сон. — Все знаю. И считать умею. Война и недели не идет, а у Леонтия мужик двадцать дней катился. Не получается!

— Что не получается, барин? — возмутился Леонтий.

— История с мужиком-патриотом не получается, — сказал барон.

— За что купил, за то и продаю, — обиделся Леонтий. — Может, он и меньше катился. А вам я вот что, барон Антон Антонович, скажу: вы, наверное, винца не хотите? Так я вам и не дам!

Тут уже расхохотался барон Дельвиг, вскочил и обнял Леонтия:

— Ну дай мне, старик, винца церковного, ну дай! Я рюмочку выпью и сразу в твоего мужика поверю.

— Ты, конечно, не знаешь, зачем я позвал тебя, — сказал император Александр министру полиции Балашеву, — я хочу послать тебя к императору Наполеону. Я сейчас получил донесение из Петербурга, что нашему Министерству иностранных дел прислана нота французского посольства. В ней говорится, что как наш посол в Париже князь Александр Борисович Куракин неотступно требовал по два раза в день паспортов ехать из Франции, то сие принимается за разрыв отношений и повелевается равномерно и графу Лористону, послу французскому, просить паспортов в Петербурге и ехать во Францию. Я пишу императору, что князь Куракин делал это сам собой и не имел на то от меня повеления. Причина, которую берет предлогом Наполеон для войны, ничтожна. Надежды на прекращение войны от твоей посылки у меня нет, но пусть же будет известно Ев-

ропе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы... — Он остановился, размышляя. В тишине раздался скрип форточки, которая не до конца была притворена и качалась под ветром.

Государь посмотрел на нее и продолжил:

— Император Наполеон присылал ко мне флигель-адъютанта графа Нарбонна, и ты — флигель-адъютант, вот и езжай, доставишь мое личное послание. Ты должен знать одно, что переговоры могут начаться тотчас же, и только с одним, но непреложным условием, чтобы французская армия предварительно переправилась обратно за Неман. До тех пор пока хоть один вооруженный солдат останется на русской территории, я не произнесу и не выслушаю ни одного слова о мире — в этом клянусь честью. Езжай, Александр Дмитриевич! Дам тебе в сопровождение своего флигель-адъютанта Михаила Орлова.

— Еду, ваше величество, да вот есть одна загвоздка.

— Какая ж?

— Я уже свой обоз отправил, а в нем мой парадный генеральский мундир, все ленты и ордена.

— Мундир достань у кого-нибудь. Пусть и не твой. Они там не поймут, — махнул рукой Александр Павлович. — Но чтобы через час, не позже, выехал! Комаровский вроде твоей комплекции, — вдруг вспомнил государь.

Александровской лентой Балашева ссудил граф Толстой, а мундир он позаимствовал у Евграфа Федотовича Комаровского, с которым жил в Вильне. У того, к счастью, обоз еще не ушел. Мундир оказался все же маловат, еле-еле они вдвоем его натянули, хотя Комаровский был так же мал ростом и коренаст, но грудь и живот у Балашева выдавались более; потому Балашев решил мундир больше не снимать и меньше есть, чтобы похудеть до встречи с Наполеоном. Выехал он, как и велел государь, немедленно.

На следующий день вместе с Орловым Балашев оказался во французских войсках, однако не был принят императором французов до самой Вильны. Несмотря на его сопротивление и к сильному неудовольствию Балашева, маршал Даву, к которому он попал, отобрал у него личное послание императора Александра. Балашев сердился, потерял аппетит и ругал французов. Сопровождавший же его флигель-адъютант Орлов совершенно не унывал, беседовал с

французскими офицерами и, казалось, был всем доволен. Даже Балашев не знал, что тот имел поручение от императора использовать свое пребывание в ставке французов для сбора сведений о положении и настроениях во французской армии. Это было вполне в духе и стиле императора Александра давать каждому свое поручение, не извещая об этом другого. Орлов, двадцатичетырехлетний блестящий офицер, воспитанник пансиона известного аббата Николя, участник нескольких кампаний, рано лысеющий, как и его государь, — вероятно, от любви и восхищения к августейшему монарху, как тогда шутили про всех лысых, — только что из штаб-ротмистров Кавалергардского полка ставший флигель-адъютантом, любезно шутил, безудержно травил военные анекдоты, острил напропалую, блистая французскими каламбурами, и пил шампанское с французами.

Император Наполеон принять Балашева не спешил, тянул время и принял его только в Вильне, в том же самом кабинете, откуда он всего пять дней назад был послан императором Александром к нему в ставку. К тому времени мундир уже сидел на Балашеве вполне сносно, он похудел от скорби и унижения, но рукава по-прежнему были коротковаты.

Вся декорация была та же, лишь актер на сцене сменился, подумал Балашев, входя в кабинет и инстинктивно подтягивая рукава чужого мундира. «Неужели такое может произойти и в самом Петербурге, к примеру, в Зимнем дворце?» — мелькнула коварная, но неизбежная в таких обстоятельствах мысль, но он тут же отогнал ее.

Император Наполеон принял его любезно. Кажется, после завтрака, потому что Балашев заметил на его мундире крошки.

— Рад познакомиться с вами, генерал. Я слышал о вас много хорошего. Знаю, что вы искренно привязаны к императору Александру, что вы один из его преданных друзей. Поэтому буду говорить с вами откровенно и прошу вас точно передать мои слова вашему государю.

— Благодарю за доверие, ваше величество, — поклонился Балашев сдержанно.

— Мне все это очень прискорбно, но император Александр, по обыкновению, окружен дурными советниками. К чему эта война? Два великих монарха толкают своих под-

данных на резню, а между тем предмет их ссоры точно не определен...

— Позвольте заметить, государь. Мой государь не желает войны. И тому есть веское доказательство: мое прибытие с посланием к вам.

Наполеон кивнул, сначала Балашев подумал, что ему, но тут же увидел вошедшего камердинера, подавшего чашку кофе только одному Наполеону. Император вел себя как завоеватель и не церемонился с посланником.

Наполеон засмеялся.

— Я овладел одной из самых прекрасных провинций вашего государя без единого выстрела. Что делал он здесь два месяца? К чему готовился? На что подбивал поляков? Все его чары рассеялись в одно мгновение, как дым. Он бежал, лагеря его брошены... Тупые негодяи и мерзавцы, бежавшие из своего отечества, окружают его, вроде генерала Фуля, пруссака Штейна, шведа Армфельда, бежавшего из нашей армии Винцингероде, эти вечные сеятели интриг и раздоров. Особо приближен к нему Беннигсен, который, говорят, имеет некоторые военные таланты, каких, впрочем, я за ним не знаю, но который, а вот это я знаю наверное, обагрил свои руки в крови своего государя, отца нынешнего... Я не знаю Барклая де Толли, но, судя по началу кампании, я должен думать, что у него военного таланта немного. Сколько складов сожжено при его бегстве? Вероятно, не следовало их устраивать или же, устроив, все-таки употребить по назначению. — Он вскочил с кресла. — Неужели у вас предполагали, что я пришел на Неман и не перейду через него? И вам не стыдно? — Наполеон не мог больше сидеть на месте и по мере того, как разгоралось его красноречие, все больше и больше начинал ходить по комнате. — Вы хотя бы из уважения к вашему императору, который два месяца жил здесь со своей главной квартирой, должны были бы защищать этот город. Я потерял бы здесь до двадцати тысяч своих солдат. И чем же вы хотите воодушевить ваши армии?

Он замолк, и в тишине оба услышали, как заскрипела форточка на окне.

— Так как ваше величество разрешает мне говорить об этом предмете, то осмеливаюсь решительно предсказать, что страшную войну вы предпринимаете, государь! Это будет

война всей нации. Русский солдат храбр, а народ привязан к своему отечеству...

Наполеон не дал ему закончить.

— Я знаю, что ваши войска храбры, но мои не менее храбры, и сейчас их у меня бесконечно больше, чем у вас! Если будет нужно, я дойду и до русских пустынь, если будет нужно, я сделаю и две, и три, и четыре кампании! Вся Европа идет вслед за мной, и вы не можете сопротивляться! — Он резко оглянулся на качающуюся форточку, подскочил к окну, подпрыгнув, хлопнул ею, но она снова открылась, он еще раз хлопнул — она открылась, потому что была плохо подогнана; тогда Наполеон пододвинул стоявший рядом стул, вскочил на него, с бешенством оторвал форточку и выбросил на улицу. Слышно было, как она упала на землю и как зазвенело разбитое стекло.

— Руки бы оторвать всем русским, — раздраженно пробормотал он.

— Позвольте заметить, государь: здесь все делали поляки, — осмелился возразить Балашев.

«А мундир тебе тоже поляк шил?» — подумал Наполеон, но, однако, не сказал об этом. Он ничего не ответил Балашеву, кряхтя, слез со стула, добрался до кресла и сел. В молчании похлопав себя по толстым ляжкам, он наконец спросил Балашева:

— Разве император Александр так прочно сидит на троне, что может безнаказанно доводить своих подданных до отчаянья, подвергая их бедствиям неудачной войны?.. Люди, которым Александр отдает на поругание свое доверие, первые, как только им покажется выгодным, обратятся против него; они изменят ему, продадут его, затянут веревку, которая пресечет его жизнь! Достаточно двух-трех проигранных сражений или крупного военного разгрома, и общественное мнение оборотится против него. Разве несоразмерность сил в людях, в деньгах, словом, во всякого рода средствах не очевидна? Что ему еще надобно, чтобы понять, что война проиграна? Он хочет переворота, веревки?

Балашева покорило, что уже в третий раз император Наполеон вспоминал про убийство Павла, о чем в России вслух никто и никогда не говорил.

— Впрочем... — Император неопределенно взмахнул рукой. — Как здоровье канцлера Румянцева? — переменял он

тему разговора. — Он, конечно, не гений, но зато человек со здравым смыслом, хорошо понимающий европейскую проблему в том виде, как она была поставлена еще в Тильзите. Скажите, пожалуйста, а отчего удалили... того, который состоял у вас в Государственном совете, ну... вместо которого теперь ... Шишков. Как его была фамилия? Спи... Спер...

— Сперанского, — подсказал Балашев, удивляясь, зачем Наполеону, который прекрасно осведомлен о всех делах петербургского двора, притворяться, будто он не помнит Сперанского. И уж тем более он знал, что Балашев министр полиции и именно он отправлял Сперанского в ссылку.

— Да-да...

— Император был им недоволен.

— Однако это не вследствие измены?

— Я не предполагаю этого, государь, так как о таких преступлениях было бы неминуемо опубликовано.

— Министр полиции узнаёт все из газет? — притворно удивился Наполеон. — Ну, если не измена, так, может быть, воровство? Уж о воровстве вы, как министр полиции, должны были бы знать.

Балашев усмехнулся.

— Да. Как министр полиции, я об этом бы знал.

— Короче говоря, вы ничего о его вине не знаете. А между тем это один из умнейших людей вашей империи. В Тильзите я предлагал императору Александру обменять его на какую-нибудь завоеванную мною провинцию. Ну что ж, не хочу далее злоупотреблять вашим временем, генерал. В течение дня я приготовлю вам письмо к императору Александру.

К вечеру Балашев был приглашен на обед к императору, где были также маршалы Бертье, князь Невшательский, начальник наполеоновского штаба, Бессьер, Дюрок, некогда очаровавший русских в Петербурге, когда он представлял Наполеона Бонапарта при восшествии Александра I на престол, и обер-шталмейстер наполеоновского двора маркиз де Коленкур.

Единственный из всех, Арман де Коленкур, герцог Виценцкий, был хорошо знаком Балашеву; четыре года перед войной он провел в России, будучи послом Франции и

главой всего дипломатического корпуса в Петербурге. Балашев в то время был уже министром полиции. А покинул Петербург Коленкур в мае 1811 года, когда его на посту посла сменил маркиз Лористон.

Будучи послом в Петербурге, Коленкур всегда требовал и получал первое место в кортеже послов, в пику послу австрийскому и на том основании, что император австрийский принял свой титул позже Наполеона, а роскошные пиры, которые он закатывал и на которых Балашеву случалось бывать, вошли в легенды, как и его повар Тардиф.

— Тардиф, а, Тардиф! — вспоминал Коленкур, закатывая масляные глазки гурмана. — Как жаль, что он остался. Как вы думаете, для него сейчас есть опасность?

Сейчас, встретившись вновь, при теперешних обстоятельствах, они все равно любезничали, расшаркивались друг перед другом, как будто были на рауте у Коленкура. Наполеон обратил на это внимание. Усмехался, глядя на них, и Дюрок, который тоже знал цену русским, — по его мнению, неискренним и хитрым людям, любящим рядиться в личину простодушия. Впрочем, цену им еще лучше знал сам Коленкур. Каждый из этих троих полагал, что знает о русских достаточно, но выводы делали из этого порой противоположные.

— Боже мой, чего хотят люди?! — продолжал Наполеон за обедом свой разговор об Александре. — После того как он был побит под Аустерлицем, после того как он был побит под Фридландом, — одним словом, после двух несчастных войн он получает Финляндию, Молдавию, Валахию, Белосток и Тарнополь, и он же еще и недоволен...

Балашев отметил про себя, что, видимо, Наполеон еще не знает в подробностях об условиях Бухарестского мира, по которому Молдавию и Валахию Россия не получала, но, разумеется, промолчал. Он посмотрел на кудрявого Дюрока, который так таинственно улыбался, поглядывая на него. «По-моему, он просто глуп, и непонятно, что с ним так носились в Петербурге?» Тогда даже мода на него пошла: волосы — барашком, жабо — под подбородок. Даже в Ревеле, где сам Балашев был тогда военным генерал-губернатором и шефом гарнизонного полка, стали стричься и одеваться *a la Duros*. Собственно, чему тут удивляться, публика в массе своей так глупа.

— Что ж, Бог ему судья, я не сержусь на него за эту войну. Одной войной больше — еще одним триумфом больше для меня... Только передайте ему вот что: поскольку он собирает вокруг себя моих личных врагов и этим наносит мне личную обиду, то в ответ получит то же самое. Я выгодно из Германии всю его родню, пусть готовит им убежище в России, если ему самому останется там место...

Наполеон так нападал на Александра, что у Балашева мелькнула мысль, что он тайно любит своего недруга, потому-то так и огорчен свершившимся. Он знал, что в Тильзите они друг другу понравились, но с тех пор столько воды утекло.

Император, словно прочитав его мысли, переменял тему разговора. За те короткие мгновения, когда он умолкал, император успевал проглотить очередное блюдо; ел он быстро и неряшливо и таким образом покончил со всем обедом минут за пятнадцать, что было совершенно немыслимо. Слуги, вероятно, знали его привычку есть быстро и потому подавали ему блюда отдельно, не торопя других, и подливали ему вина из хрустального графина с его миниатюрным портретом на золоченом фоне; парный ему графин с изображением его супруги императрицы Марии-Луизы стоял на другом конце стола, где сидел Балашев. Впрочем, остальные сотрапезники торопились с едой сами, и, как выяснилось, не зря. Едва закончив трапезу, Наполеон встал из-за стола и, никого не дожидаясь, направился в соседнюю комнату, куда, к своему великому сожалению, должны были последовать и другие. Балашев вспомнил, что Талейран, министр Наполеона, говорил его государю, что тот правит страной нецивилизованной, зато сам цивилизован, а у них, во Франции, все наоборот — страна цивилизована, а государь — нет.

— Генерал, — поинтересовался Наполеон, обращаясь к Балашеву, — сколько, по вашему мнению, жителей в Москве?

— Триста тысяч, государь, — отвечал Балашев, не совсем понимая, куда он клонит.

— А домов?

— Я думаю, десять тысяч.

— А церквей?

— Более трехсот сорока.

— Отчего же так много?

— Русский народ, государь, набожен.

Наполеон усмехнулся:

— В наши дни нет набожных людей!

— Прошу прощения, государь, не везде так. Может быть, в Германии и Италии нет уже набожных людей, но в Испании и России еще есть.

Наполеон его намек хорошо понял: среди всех народов только испанцы, народ верующий, оказал ему достойное сопротивление. Балашев намекал ему, что Россия станет для него второй Испанией.

Но он сделал вид, что пропустил эту колкость мимо ушей.

— Как вы думаете, по какой дороге мне идти на Москву? — спросил он как ни в чем не бывало.

— В Москву есть несколько дорог, государь. Карл XII шел через Полтаву.

Наполеон и все присутствующие хорошо поняли, что имел в виду Балашев.

А сам Балашев уже в тот момент понимал, что этот его ответ сочтут не более чем за анекдот, за остроумную выдумку, возможно приписанную им себе задним числом, ведь нельзя же было думать всерьез, что Наполеон, имея генеральный штаб, готовивший эту кампанию, имея почти всю Польшу, наводненную шпионами, не разузнал дороги, но, говоря с ним, он сейчас ясно видел, что вопрос императора был скрытой формой издевки. И если это было так, как показалось Балашеву, и если действительно Наполеон так спросил, а он так ответил, что кажется нам непреложным, то нельзя не признать ответ Балашева достойным увековечивания в памяти потомства.

Однако и этот ответ не остановил Наполеона.

— Александр — не Петр Первый! — сказал он с угрозой в голосе. — Зачем ему командовать армиями? Зачем, скажите мне? Он император по праву рождения. Война — моя профессия! Я к ней привык. А он пусть поставит генералов: хорошо поведет дело — можно наградить, плохо — наказать!

И опять Балашеву показалось, что Наполеон как-то чересчур беспокоится о репутации императора Александра, так беспокоятся только любящие люди. Он удивленно пере-

глянулся с Коленкуром, этот взгляд перехватил император и, подскочив к Коленкуру, легонько ударил его по щеке:

— Что же вы, старый и льстивый петербургский царедворец, молчите? А я вам отвечу. Пока вы были послом в Петербурге, Александр заласкал вас и сделал из вас русского!

Коленкур побледнел от этого публичного оскорбления в присутствии генералов и посла Александра. Наполеон и раньше, бывало, называл его в шутку русским, и Коленкур терпел, но сейчас, в присутствии иностранца, врага! Не сдержавшись, он нагрубил императору:

— Вы можете сомневаться, ваше величество, что я хороший француз. Но не делайте вид, будто моя откровенность в мнениях граничит с предательством. Что же касается милостивого внимания императора Александра, то оно относилось к вашему величеству, и, как ваш верный подданный, я никогда не забуду о нем.

Все поняли, что герцог оскорблен. Понял это и Наполеон, который тоже почувствовал себя неловко.

— Готовы ли лошади генерала Балашева? — спросил Наполеон, давая понять, что аудиенция закончена. — Дайте ему моих лошадей. Ему предстоит долгий путь.

Балашев откланялся.

После его ухода Коленкур, который стоял красный от раздражения, наконец взорвался:

— Я не русский! — закричал он императору, — Я француз! И смею надеяться, хороший француз! Именно поэтому я вас всегда предостерегал от этой войны. Я не русский, но я их знаю. Эта война опасна, она погубит все: армию, Францию, самого императора!

— Милый, вы огорчаетесь, что я причиню боль вашему другу императору Александру! — ласково-издевательски продолжил Наполеон. — Да, это так! Не пройдет и двух месяцев, как русские вельможи принудят Александра просить у меня мира. Вы — русский, и вам это обидно!

— Я в большей мере француз, чем те, кто подстрекал вас к этой войне! — вскричал Коленкур. — Дайте мне дивизию в Испании, и я докажу свою преданность! Сошлите меня! Но только не оскорбляйте!

— Умоляю, — зашептал рядом маршал Бертье, хватая Коленкура за полу. — Молчите, не отвечайте.

Но Наполеон, видимо, и сам заметил, что перегнул в этот раз палку со своими шутками.

— Арман! — вдруг обратился к нему Наполеон по имени. — Да что с вами? Я не хотел вас обидеть. Остановитесь, Арман! — закричал он, увидев, что Коленкур, вырвавшись из рук Бертье, который пытался его удержать, уходит.

Но тот не остановился и покинул залу. Наполеон посмотрел на остальных, промолчавших весь разговор с Балашевым и последующий скандал, потом дал им знак покинуть его. Оставшись один, он задумался. Что-то внутри, пусть робко, пусть заглушаемое другими чувствами, раздражением, обидой, стратегическими соображениями, жадой побед и владычества, все же ему говорило, что Арман прав. Поэтому он решил с ним непременно помириться.

Потом Наполеон потребовал, чтобы наутро, к двенадцати часам, в замок приехали к нему для представления все польские дамы. Уже в пять часов утра, поднимая всех с постелей, полиция известила местную знать об этом приглашении. Этот чисто военный способ изумил польских и литовских аристократов, привыкших к изысканной вежливости как самого императора Александра, так и его свиты.

Графиня София Тизенгаузен, пожалованная во фрейлины императорского двора Александра Первого, тоже получила приглашение, хотя и не обошлось без интриги, которой опасался ее отец: недоброжелатели представили его как сторонника русских, и если б не вмешательство неаполитанского короля, с которым граф был хорошо знаком, то он с дочерью не попал бы даже в представленный Наполеону список приглашенных.

Отец все эти дни занимал выжидательную позицию, когда вся Вильна ликовала, встречая Наполеона, когда ему выносили ключи от города и кричали: виват, император! Граф, вздыхая, бродил по квартире и приговаривал:

— Идиоты! Сумасброды. Русские в нескольких шагах от Вильны. Кто может угадать, когда и куда они двинутся и какой оборот примет дело.

Перед выездом он увидел на дочери бриллиантовый шифр на голубой ленте и встревожился. Сначала он просил его снять, чтобы не раздражать императора напоминанием об Александре, потом все же задумался, видя, что дочь и слы-

шать не хочет об этом и отказывается в обратном случае ехать на представление. Граф Тизенгаузен был умен и расчетлив, он знал, что натуры великие ценят верность, пусть даже верность не государю, а долгу, и отпустил дочь с другими дамами. Сама же графиня Тизенгаузен женским чутьем угадывала, что должна понравиться Наполеону, но не знала, понравится ли он ей, как понравился Александр. Пока он своими поступками не производил впечатления аристократа. Дальнейшее только подтвердило ее опасение.

Коротконогий господин, постоянно переминавшийся с ноги на ногу, как будто хотел по нужде, да не мог их покинуть, с гладкими прилизанными волосами на лысеющей голове, с довольно красивыми, но маловыразительными чертами лица, с мягкой улыбкой, ровными зубами, он производил впечатление вполне заурядного человека, в нем не было и следа величия, которое она ожидала увидеть.

Когда ему представляли дам, он был необоснованно груб, даже хамоват, и ей вспомнилась хорошая русская поговорка: «Из грязи — в князи». Грубость была настолько неприкрытой, что сначала ей даже подумалось, что под ней есть какая-то подоплека, отсюда и ранний, почти оскорбительный визит полиции с приглашением, отсюда и его разнузданный тон; видимо, есть что-то, что он хочет донести до общества, говоря таким тоном, отсюда и пошлые шутки, которые он отпускал ей, не могло прийти в голову, что это и есть его стиль, усвоенный при дворе, где, как потом ей объяснили, грубость с дамами была вообще в порядке вещей для императора и его окружения.

Двух престарелых дам он спросил с сочувствием:

— Как мне жаль, что я заставил вас приехать. Вы ведь могли и развалиться дорогой?

Старухи переглянулись, не найдя, что ему ответить. Одна из них пожала плечами и, видимо, решила, что ей вообще это послышалось.

Молодую девушку он спросил, замужем ли она, а когда та смущенно ответила, что нет, то добавил:

— А детишки, наверное, у вас толстенькие, в маму?

Девушка сконфузилась и не нашлась, что ответить.

София ждала с напряжением всех нервов, когда он обратится и к ней, ожидая резкости или какой-нибудь совсем

неприличной выходки, но, к ее удивлению, он повел себя совсем по-другому. Заметив на ее груди бриллиантовый шифр с голубой кокардой и на голубой ленте, он поднял брови:

— Что это у вас за орден, мадемуазель?

— Шифр их величеств, русских императриц, — отвечала София Тизенгаузен.

— Так вы русская придворная дама? Очень интересно познакомиться. Я думал, русский двор в Петербурге?

Стоявшие рядом вздрогнули, но София отвечала все так же ровно и спокойно:

— Вы правы, ваше величество, русский двор в Петербурге, а я не имею чести быть русской. Я только удостоена чести носить этот придворный знак. И горжусь этим.

— Насколько мне известно, не одна мадемуазель Тизенгаузен была удостоена этой чести? — осмотрелся он, глядя в стоящих цепочкой дам, которые боялись смотреть ему в глаза. — Как видно, достойна оказалась только она. Мне вообще всегда казалось, что в Польше по-настоящему умны только дамы... Кажется, и император Александр тоже предпочитал дам?

— Да, — набралась смелости вступить с ним в диалог София, — только он всегда был с ними любезен.

— О! Мой брат Александр известный прельститель, опасайтесь его, графиня! — расхохотался Наполеон и, неожиданно прервав представление, быстрым шагом направился из зала.

За ним, едва поспевая, бросилась расслабившаяся свита.

А София с грустью подумала, что хама иногда бывает достаточно просто одернуть, а грусть ее была оттого, что она ожидала увидеть гения, а увидела маленького, невоспитанного человечка, которого все называли императором и которому это очень нравилось.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,

в которой лицеисты выясняют отношения, Броглио дерется с Пуциным, а Кюхельбекер брызжет слюной от бешенства и собирается в ополчение. — Лето 1812 года

— Армия отступает! Барклай де Толли — предатель! — кричал Олосенька Илличевский. — Нет, вы мне скажите, сколько можно отступить?

К нему приблизился белый как мел Кюхельбекер на негнувшихся длинных ногах.

— Господин Илличевский, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Извольте взять свои слова обратно. Это ложь! Наглая ложь!

— Барклай де Толли — предатель, — искренне удивился неведению Кюхли Олосенька. — Это знает вся Россия. А ты защищаешь его, потому что он твой родственник по матушке, сам не раз говорил...

— Во мне говорит высшая справедливость, а вовсе не те мелкие чувства, в которых ты меня подозреваешь...

— Кюхля, никто тебя ни в чем... — начал было как можно ласковей Илличевский, как вдруг Кюхельбекер, весь напрягшись, задрожал так, что жилы надулись у него на шее и на лбу, и закричал, размахивая руками и топая ногами:

— Стреляться! На трех шагах! В лоб!

— Сейчас дам тебе в лоб, и будет и тебе, и твоему Барклаю де Толли высшая справедливость! Успокойся, родственничек! Знаем, какая вы родня: твоя бабушка его дедушку из Царского Села за хуй вела!

— Бабушка? За хуй? — вскричал Кюхельбекер, и оттого, что он, может, впервые в жизни заговорил по-матерному, Малиновский нагло и весело расхохотался.

Он могучими лапами сграбастал Кюхлю и повернул к себе. Кюхля стал рваться, брызгать слюной от бешенства.

— Держать! Держать, Казак! — приговаривал Малиновский сам себе, и мало-помалу Кюхельбекер успокоился.

Дело происходило в газетной комнате, где воспитанники, по обыкновению, обсуждали последние новости. На стене

висела большая карта земного шара с двумя полушариями, кругом на столах лежали иностранные и русские газеты и журналы.

— Во главе русских войск должен встать сам государь! — объяснял Горчаков среди других воспитанников, которые только посмотрели на назревавшую драку, но не встали и не подошли, отнеслись к ней как к делу обыденному. Все давно привыкли к штукам Кюхельбекера. — Для меня это несомненно. Отъезд из армии — это его ошибка.

— Только Суворов мог победить Наполеона, да еще Кутузов, — возразил Вольховский. — А его поставили во главе петербургского ополчения...

— Государь не любит Кутузова, — напомнил Вольховскому Горчаков.

— Да. Но его любит вся Россия! — в свою очередь напомнил Вольховский. — И с этим государь должен считаться.

Вдруг вскочил Пущин, читавший «Северную почту».

— Послушайте! Генерал-лейтенант Раевский для одушевления воинов вывел впереди колонны своих сыновей. Младшему всего одиннадцать лет! Это в бою у Салтановки!

— А где эта Салтановка? — Все бросились к карте с красными флажками, отмечавшими линию военных действий.

Кто-то подхватил брошенную Пушиным газету и добавил, глядя в нее:

— Это старое сообщение! Видите, газета от 31 июля, а сражение было одиннадцатого... Французы уже где-то под Смоленском...

Вдруг все замерли — в газетную комнату вошел косоглазый Броглио с огромным орденом на груди. Как ни в чем не бывало он, мурлыкая, расположился в кресле у стола и развернул газету.

Лицеисты приблизились к нему гурьбой. Один глаз Броглио смотрел в газету, другой — на них.

— Это что у тебя? — спросил Данзас, кивком указав на орден.

— Не видишь, что ли? Орден! Мне прислали орден.

— Чей? — поинтересовался Пущин.

— Как чей? — не сразу понял Броглио. — Мой, разумеется...

— Откуда?

— Это мальтийский орден, — пояснил Броглио. — Все мужчины в нашем древнем роде удостаиваются его... — Он посмотрел на ребят, какое впечатление произвело его сообщение.

— Это вражеский орден! — сказал уверенно Мясоедов, и его узкие глаза наполнились злобой. — А ну-каними!

— Я итальянский граф Сильверий Броглио Шевалье де Касальборгоне, и меня наградили орденом, — гордо, но дрожащими губами выговорил Броглио. — И я не позволю всякой...

— Оставьте его, — небрежно бросил Пушкин.

— Но он же враг! — не понял Пушина Мясоедов. Он искренне не понимал, как можно оставить врага, которого надо уничтожить, в покое.

— Он не враг, он просто дурак! — поставил точку Пушкин и развернулся, чтобы уйти, но тут вдруг страшно закричал Броглио.

Как снаряд, маленький Броглио вылетел из кресла и сбил верзилу Пушина с ног. Бросив его на пол, Броглио оказался сверху и продолжал тузить врага на полу.

— Перестаньте, перестаньте! — пытался растащить и успокоить дерущихся Ломоносов. — Государь Павел Первый был великим магистром мальтийского ордена!

А тем временем Кюхельбекер, до которого никому не было дела, покинул газетную комнату.

Драка продолжалась, не так просто было остановить разъяренного Броглио.

А Кюхля понуро побрел по коридору и увидел сидящего на подоконнике Пушкина. Тот что-то писал, а когда увидел Кюхлю, то спрятал.

Но Кюхельбекер не обратил на это внимания, настолько был поглощен своими горькими мыслями.

— Ты слышал, что они кричат про Барклая? Ведь это ложь! Я и сам чуть было не поддался ей. Матушка написала мне, чтобы я не верил подобному легкомыслию: Барклай де Толли — великий муж и приносит свою репутацию в жертву Отечеству.

— Чернь не способна оценить великих замыслов, — сказал ему Пушкин. — Одиночество — удел таких личностей, но придет время...

— А если не придет?

Пушкин ничего не ответил, задумался.

— Ты о чем пишешь? — поинтересовался Кюхельбекер.

— Так... — попытался отмахнуться от него Пушкин.

— А все же? — настаивал назойливый товарищ.

— Эпиграмму на тебя, — признался Пушкин.

— И ты туда же! — горько сказал Кюхля и, спрыгнув с подоконника, на который присел, хотел было двинуться дальше, но Пушкин его остановил:

— Не обижайся, Виля, я еще не закончил, закончу, тебе первому покажу.

— Спасибо, Саша, — сказал Кюхля. И снова присел рядом на подоконник. — Но, знаешь, эпиграммы на меня пишут все, кому не лень... Ты бы занялся чем-нибудь значительным, написал бы роман, а? — Кюхля посмотрел в смысленные глаза друга и не увидел там, за искорками, привычной насмешки.

— Напишу, еще напишу... — сказал ему тот.

Вдруг они услышали топот десятков ног, который приближался. Через мгновение мимо них мчались воспитанники.

— Бежим! — крикнул на ходу кто-то. — Ополчение идет! Друзья сорвались с места.

В тот раз через Царское Село проходило шесть дружин петербургского ополчения. Нескончаемым потоком шли тысячи мужиков в серых русских кафтанах и серых фуражках с латунными крестами. Вереница их уже скрывалась за поворотом, но часть еще шла. За поясом у каждого ратника был заткнут топор. Топоры матово поблескивали в лучах заходящего солнца. Ополчение проходило московской дорогой.

Лицеисты сгрудились у решетки лицейского сада и криками приветствовали мужиков, идущих на ратный подвиг.

— Ура-а! Ура-а!

Мужики, проходя мимо придворной церкви, снимали на ходу фуражки и крестились на золотые купола, некоторые благословляли крестным знамением мальчишек.

За ними на лоснящихся отборных лошадях прошел эскадрон Уланского полка в темно-синих мундирах, у которых лацканы, обшлага и выпушки по швам спины были малинового приборного цвета, а гарусные эполеты белого приборного металла; вооружены они были саблями и пистолетами.

После темно-серого потока ополченцев при виде улан у всех разыгрался ретивый патриотический восторг, снова выплеснулся в криках «ура!».

— Если в регулярные не возьмут, я пойду в ополчение! — стонал Кюхельбекер, провожая взглядом улан.

— Отрасти сначала такую бороду! — показал себе рукой по пояс Пушкин. — В ополчение без бороды не принимают! — привычно подтрунивал он над приятелем, но Кюхля этого не замечал.

— Нет ничего почетнее для мужчины, чем военная служба, — заключил князь Горчаков и, убрав одну руку за спину, приосанился, вообразив себя полководцем. Уже тогда он выбрал для себя дипломатическую карьеру, но иногда мечтал о военной службе, как и многие в Лицее. Впрочем, это была дань охватившему всех патриотическому восторгу, минутное.

— До пяти тысяч прошло: шесть дружин, — сказал Вольховский, все это время считавший мужиков на глаз десятками.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

в которой император Александр I покидает армию, оставляя Бенигсена вроде дядьки при Барклае и Багратионе. — Барклай — изменник, а князь Михаила Илларионович Кутузов — строптивый царедворец, льстивый и развратный старик. Но свой брат, русский, до мозга костей. — Канцлер Николай Петрович Румянцев. — Английский бригадный генерал Вильсон. — Государь собирается отрастить бороду и питаться картофелем. — Назначение Кутузова главнокомандующим. — 8 августа 1812 года

Сначала они убедили его покинуть армию, когда он сам собирался быть с ней до конца. Он даже составил приказ по армии со словами: я всегда буду с вами и никогда от вас не отлучусь. Шишков, его статс-секретарь, получивший черновик этого приказа, пришел в отчаянье и кинулся к Змию, так звали за глаза Аракчеева, прежде заручившись поддержкой Балашева. Почему эти трое? Государь сам сказал когда-то: «Если б вы, трое, иногда собирались и советовались...»

Теперь такая минута настала. А потом Аракчеев оставил ему на столе письмо, подписанное Балашевым, самим Аракчевым и Шишковым, которым, как понял государь, оно и было написано.

Оставляя письмо на письменном столе у государя, потому что вручить его из-за присутствия великого князя Константина Павловича ему не удалось, Аракчеев все еще сомневался, надо ли так поступать, но преданность государю и беспокойство за его судьбу взяли верх. Когда Шишков предложил подписать это письмо, объясняя, что отъезд государя от войск в Москву представляется единственным средством спасти Отечество, Аракчеев воскликнул: «Что мне до Отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь долее при армии?» Шишков и Балашев отвечали ему: «Конечно, ибо если Наполеон разобьет армию, что тогда будет с государем? А если он победит Барклая, то не так уж велика беда!»

Балашев хорошо помнил, что и Наполеон говорил об этом, советуя Александру не заниматься не своим делом. Иногда Балашеву сдавалось, когда он вспоминал тот достопамятный разговор, что все-таки император французов благоволил к нашему императору, как к младшему брату. Ведь и называли они друг друга после Тильзита: государь, брат мой!

И Александр уехал из главной квартиры, предоставив воевать генералам. Генералы не только дрались с Наполеоном, но и передрались между собой. Багратион в письмах Александру Павловичу и Аракчееву поносил последними словами военного министра. «Мы обосрали границу и бежали», — это было далеко не самое сильное выражение его в адрес Барклая. «Подлец, мерзавец, тварь Барклай...» И постоянно грозился в случае дальнейшего отступления выйти в отставку. А он ведь был лучший в нашей армии воин, хотя и неуч. Так воевать дальше было нельзя, это понимали все. Понимал и государь.

Беннигсен, пока Александр был в главной квартире, находился при особе государя, как Аракчеев и прочие. Это был род военного совета, которого, впрочем, никто не слушался. Уезжая из армии, Александр Павлович повелел Барклаю и Багратиону во всем советоваться с Беннигсеном и действовать с его согласия, но не по его приказаниям; оста-

вил его вроде дядьки при молодых, но без всякой власти. Дядька мог пожурить, да и только. Как при государе, так и без государя дядьку никто не слушался. После всех несчастий кампании, проигранных баталий, сданного Смоленска, бесконечного генеральского раздора государь просил генерала Беннигсена взять власть, но тот отвечал, что ни физически, ни морально не способен принять на себя столь великое бремя. Он первый и сказал государю: для русских войск надобно русского, и есть человек не только русский, но, по его разумению, и способней его, Беннигсена, это — Кутузов.

Генерал от инфантерии князь Михайла Илларионович Кутузов теперь начальствовал над мужиками петербургского ополчения. Дворянство в один день и в Москве, и в Петербурге, не сговариваясь, возвело его в это достоинство. Давно Россия не видела такого единодушия. Государь знал, что в обществе все в один голос кричат, что начальствовать он должен не над петербургскими мужиками, а над всей армией. К тому времени имя военного министра Барклая де Толли вследствие военных неудач сделалось ненавистным; никто из русских не произносил его хладнокровно; иные называли его изменником, другие сумасшедшим или дураком, но все соглашались в том, что он губит и предает Россию. Государь уважал Барклая, почитал за благороднейшего человека, но Россия хотела русского, и не просто русского, а наследника Суворова — Кутузова, и с Россией государь не мог не считаться. Александр помнил, как ответил ему дерзкий Ермолов после кульмской победы на его вопрос, чем же его наградить, как особо отличившегося: «Государь, произведите меня в немцы». Не мог же он, в самом деле, теперь произвести в русские Барклая.

А Кутузов был русский, но государь его не любил еще со времени Аустерлицкого сражения. Кутузов отговаривал государя от сражения, но тот настоял на своем и проиграл... Государь всегда помнил об этом и старался держать своего вольного старика подальше от себя. Даже в Бухаресте он не выполнил просьбу государя и заключил мир с турками не на условиях, оговоренных государем, превысил свои полномочия. Он вообще был строптивый, неприятный старик. И что особенно неприятно, его строптивость была замешена на патоке лести, подобоострастии и царедворстве. Царь

воспринимал его строптивость как непослушание зарвавшегося холуя. К тому же всегда, когда он думал о Кутузове, тот всегда ему вспоминался в роковой день — 11 марта 1801 года, и на обеде у Павла Петровича в Михайловском дворце, и за вечерним столом... Когда сам он, наследник, дрожал от страха, только что приведенный к присяге государю и находящийся как бы под домашним арестом, а подбострастный, льстивый, все понимающий старик рассыпался за столом в любезностях императрице в то время, как император Павел шутил с дочерью военачальника, которая в качестве фрейлины тоже присутствовала на ужине. Помнил Александр, как после ужина отец уединился с Кутузовым, и помнил хитроватый взгляд генерала, который он бросил на наследника после аудиенции. О чем они говорили, никто никогда не узнал, но Пален подозревал и говорил впоследствии Александру Павловичу, что Павел не вполне ему доверял и готовил Кутузова ему на замену, только, к счастью заговорщиков, не успел этого сделать. Сколько раз ни вспоминал Александр Кутузова и за обеденным столом, и после прощальной аудиенции, столько раз в его хитрых глазах он видел понимание происходящего. Так оно и стояло между ними все эти годы. Первое время после убийства он выдвигал Кутузова, опасаясь его как свидетеля, потом отправил в отставку, поняв, что хитрый и льстивый царедворец всегда будет молчать, а потому ему не помеха.

Кроме того, государь искренне считал Кутузова развратным, ни на что не способным стариком, иногда говорил, смеясь, что не понимает, откуда взялась слава его как полководца, ибо он не выиграл ни одного сражения, а все за него решала судьба. Ставил ему в вину и то, что он возит с собой повсюду в армии девочку лет пятнадцати, одетую в форму казака, и по восемнадцати часов проводит с ней наедине. Почему-то он запомнил из донесения эти восемнадцать часов. Не десять, не двенадцать, сколько надобно для самого глубокого сна, а именно восемнадцать. Неужели он способен на это, ленивый, развратный, хитрый старик, раблепный и ничтожный, воплощение всех гадостей русского простолюдина. Впрочем, наверное, поэтому его и любят в России. Как своего до мозга костей.

Впрочем, фельдмаршал Румянцев-Задунайский, отец нынешнего канцлера, возил с собой по четыре девки. Кому

какое дело, если это не мешало ему быть великим полководцем. Хотя, что он был за человек, кто теперь знает.

Неожиданно так вспомнив отца, стал думать государь и о сыне, Николае Петровиче Румянцеве. Нашествие Наполеона так потрясло его, что канцлер по дороге в столицу из Вильны, где было получено известие о начале войны, был сражен при короткой остановке в Великих Луках двумя апоплексическими ударами, почти лишившими его слуха и зрения.

Теперь государственный канцлер, приходя в себя после болезни, с искривленным ртом, гримасничая, все еще пытается воздействовать хоть как-то на происходящее, но его все меньше и меньше берут в расчет, как и всю его наполеоновскую партию; но государю жаль Николая Петровича: столько вокруг государя мерзавцев, толпящихся около трона, что искренно жаль единственного порядочного человека. Его считают чуть ли не наполеоновским шпионом только потому, что он был справедлив и отдавал должное врагу. Для своего времени его политика в отношении Наполеона была верная и сводилась к двум пунктам: выигрывать время и избегать войны. Теперь уж дело другое. Но он не отдаст канцлера всей этой своре, обдуманно решил государь.

Через некоторое время в своем просторном кабинете Зимнего дворца Александр Первый принимал приехавшего из главной квартиры русской армии английского генерала сэра Роберта Томаса Вильсона, одетого в темно-красный, шитый золотом английский мундир, что пока еще было непривычно для русского глаза. Со времен Тильзита здесь не видывали английских мундиров — государь знал, что, не успев приехать, генерал уже пользуется известностью в петербургских гостиных, а из частной жизни англичанина ему донесли, что он бродит по антикварам, скупая дорогие вещи. Видимо, в Англии они еще дороже.

Среди других орденов одним из украшений темно-красного мундира генерала Вильсона были алмазные знаки ордена Святой Анны 2-й степени, которые когда-то император сам возложил на него за бесстрашие и отвагу в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 году, во время прусской кампании. Русские полюбили тогда отважного генерала как своего, а казачий атаман Платов называл его братом.

Бригадный генерал Вильсон был агентом англичан, посланный со специальной миссией от британского военного министерства к русской армии, а государь доверял ему и к тому же хотел иметь свежий, нелицеприятный взгляд на дела теперешней кампании.

У большого каминного зеркала горели свечи в пятисвечных шандалах, тикали каминные часы красного дерева. В кабинете стоял небольшой рабочий стол императора, кроме него были еще три стола, покрытых зеленым сукном, на которых лежали документы в папках, стояли чернильные приборы с перьями. У противоположной стены находился в точности такой же камин, с таким же зеркалом, на котором тикали часы и горели свечи.

Генерал Вильсон уже все доложил императору, обстоятельно ответил на его вопросы о положении в армии и теперь почтительно слушал императора, который в волнении ходил перед ним, рассуждая:

— Армия заблуждается относительно канцлера. Румянцев никогда не советовал мне покоряться Наполеону, его политикой было выжидание и избежание по мере возможности войны. Кроме того, я не могу не питать к нему особенного уважения: он один никогда ничего не просил у меня, между тем как все прочие, находящиеся на моей службе, беспрестанно добиваются почестей, денег или преследуют частную выгоду для себя и своих родных. К сожалению, немногие из окружающих меня лиц получили надлежащее воспитание и отличаются твердыми правилами; двор моей бабки испортил воспитание во всей империи, ограничив его изучением французского языка, французского ветрогонства и пороков, и в особенности азартных игр. Однако моя бабка называла Николая Петровича «Святым Николаем». А это что-то да значит в ее устах. У меня мало людей, на которых я могу положиться с уверенностью: канцлер и вы в их числе. — На некоторое время государь задумался. — Вы повезете в армию уверения в моей решимости продолжать войну с Наполеоном, пока хоть один вооруженный француз останется в пределах России.

Приняв одну из своих множество раз отрепетированных античных поз, он мимолетно взглянул в каминное зеркало, в котором отражался весь кабинет и другое зеркало и снова кабинет с Александром, но в другом повороте корпуса, и

снова кабинет, горящие свечи, и так до бесконечности, с бесчисленными Александрями. У императора немного закружилась голова, и ему понадобилось какое-то время, чтобы восстановить нить своего монолога.

— Я уже не раз говорил об этом и мнения своего не переменяю. И не будет никаких переговоров с Наполеоном, пока нога француза топчет русскую землю. Лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири среди моих милых бородачей, которые меня не предадут. Что касается Главнокомандующего... — То, что он готовился сказать, сказать ему было тяжелее всего, поэтому он умолк и все-таки через некоторое время продолжил: — Я нашел, что настроение в Петербурге еще хуже, чем в Москве и провинции: сильное озлобление против военного министра. Барклай, нужно сказать, сам тому способствует своим нерешительным образом действий и беспорядочностью, с которой ведет свое дело. Ссора его с Багратионом так разрослась, что я был вынужден поручить особому комитету назначить Главнокомандующего всеми армиями... — Александр замолчал, прежде чем произнести следующие слова, но он все-таки преодолел себя. — Здесь я решил уступить голосу общественного мнения. Главнокомандующим назначен генерал от инфантерии князь Голенищев-Кутузов.

— Ваше величество, я думаю, армия с восторгом одобрит ваш выбор! — воскликнул генерал Вильсон.

Воодушевление этого англичанина было царю неприятно. «Вот еще говорят, что англичане сдержанны, — подумал самодержец, — правда, про сэра Роберта известно, что он храбрый малый и хлещет водку, как русский! Потому он запанибрата с Платовым, который, как известно, выпить не дурак. Может, отсюда, из этого винного корня, проистекает такая излишняя восторженность?» Государь не знал, что восторженность у англичанина деланная, что он тоже, как и государь, не любит Кутузова, этого двуличного царедворца, который, как полагал англичанин, поспешит выйти из этой роли, как только его провозгласят спасителем Отечества, но просто дипломатическая интуиция подсказывает ему, что Кутузова надо в теперешний момент поддерживать, хвалить, превозносить, потому что так выгодней Англии.

— Мы с императрицей были бы рады увидеть вас завтра у нас на обеде, — сказал император.

— Благодарю вас, ваше величество... — поклонился сэръ Роберт Вильсон.

Аудиенция была закончена и генерал, еще раз поклонившись, отправился к дверям, думая о том, какой восторженный патриотический вой поднимется в гостиных после назначения Кутузова.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

в которой лицеисты собираются на утреннюю молитву. —

Штрафной билет. — Лицейские песни. — Математик

Карцев. — А плюс Б равно красному барану. —

Материнник Француз. — «Тень Кораблева». —

Август 1812 года

За окном серенький свет зябкого утра. Из коридора доносятся звуки: слышно, как одеваются в своих комнатках воспитанники. Вот уронили что-то, льется вода в рукомойниках, бормочут, чертыхаются, переговариваются вполголоса друг с другом.

Дядька созывает всех на утреннюю молитву.

— Господа, пожалуйста на молитву!

Пушкин выглянул в окно: во флигельке напротив еще в окнах темно, но вот промелькнул огонек свечи, возник силуэт девушки. Девушка перешла из одной комнаты в другую. Пропала, появилась, пошла дальше по анфиладе комнат.

— Господа, на молитву!

— Саш, ты идешь? — спросил Ваня Пущин из-за перегородки.

— Иду...

В коридоре затопали ногами, захлопали дверьми, выходя из комнат на построение. Пушкин хотел было тоже выйти, да что-то задумался, замешкался, потом вовсе замер окаменевший посреди комнаты, потом бросился к конторке, схватил перо, стал писать лихорадочно что-то на листке бумаги.

В коридоре к строю подходили последние лицеисты. Гувернер Илья Пилецкий кончал счет воспитанникам:

— Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять... Ну-с, кого нету?

После некоторого молчания, пока сонные воспитанники оглядывались на стоящих рядом с ними, кто-то наконец произнес:

— Обезьяны...

— С тигром... — добавил еще кто-то.

— Двоих? — удивился Илья Пилецкий, сметливостью не отличавшийся.

Несколько человек осторожно засмеялись.

— Одного, — сказал Пушкин. — Но за двоих.

Илья Пилецкий появился в дверях дортуара за спиной у Пушкина.

— Вам особое приглашение, господин Пушкин?

Пилецкий сделал два шага и протянул руку к листку со стихами:

— Дайте-ка сюда!

— Пошел вон! — закричал Пушкин, взвизгнув высоким мальчишеским дискантом.

— Я пожалуюсь господину надзирателю! — напирал Илья Степанович, пытаясь заглянуть в листок.

— Иди, жалуйся своему братцу пастырю, я никого не боюсь!

— Мартын Степанович может поставить вопрос перед директором...

— А хоть перед самим Господом Богом!

— Богохульствуете, для вас это может плохо кончиться...

Пушкин смолчал на это, и Пилецкий процедил ему сквозь зубы:

— Идите в залу на молитву!

И первым вышел.

Пушкин не спеша разорвал листок бумаги на мелкие клочки, открыл форточку, выбросил обрывки на улицу и только тогда пошел следом за гувернером. Он изменил сегодня своему правилу писать стихи про Ебакова в уме и чуть не поплатился за это.

Сонные, чуть покачиваясь, стояли в зале лицеисты. На этот раз молитву читал Модинька Корф, делал он это с явным удовольствием. Лисичка Комовский, почитавший Корфа самым большим своим другом, шептал, повторяя за ним слова молитвы. Он, как и Корф, был набожен.

— От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троица, яко многия ради Твоея благодати и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконными моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащего воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети Заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареву нашему Богу.

Все лицеисты перекрестились и поклонились.

— Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареву нашему Богу.

Снова поклон и крестное знамение.

— Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареву и Богу нашему. — воодушевленно закончил Модинька Корф.

Лицеисты в последний раз перекрестились и поклонились.

Лисичка после молитвы был так счастлив, что ему хотелось расцеловать всех на свете.

В учебном классе перед началом занятий надзиратель Мартын Степанович объявил:

— Господа лицейские! Сегодня у вас первые два часа профессор Гауеншильд, немецкий язык, поэтому я вам напоминаю, что сегодняшний день все должны говорить во всякое время токмо по-немецки. Билет для нарушителя вручаю сегодня воспитаннику Корфу, как лучшему в немецком языке. Он передаст билет первому же, кто будет замечен в том, что говорит по-русски, или по-французски, или еще на каком языке, для сегодняшнего дня не означенном.

Корф взял билет из рук Пилецкого и окинул всех гордым взглядом.

Мартын Степанович вышел, оставив их в классе, а к Корфу радостно подбежал Лисичка Комовский и сказал:

— Модинька, я так счастлив, после сей молитвы...

— Я тоже... — ответил по-немецки Корф. — Только теперь я должен передать тебе штрафной билет! Впредь говори

по-немецки, как назначил на сегодняшний день господин надзиратель.

Комовский погрузнел, но тут своим диким смехом захохотал рядом с ним Пушкин.

— Давай его, Лисичка, сюда! — протянул руку за билетом Пушкин, говоря по-русски. — И не грусти!

Миша Яковлев, по прозвищу «Паяс двести номеров», стоял возле кафедры в учебном классе и дирижировал импровизированным хором воспитанников. Гауеншильд задерживался, и по сему случаю перед классом исполнялась посвященная ему и другим педагогам лицейская песня.

Воспитанники, взобравшись на стоящие полукругом скамейки, самозабвенно распевали собственные стихи на голос песни «Певец во стане русских воинов», песни весьма популярной во время кампании двенадцатого года:

В лицейской зале тишина —
Диковинка меж нами, —
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.

Друзья, сберемтесь гурьбой —
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем за щекой,
Дадим австрийцу свалку.

И кто последний в классе врет,
Не зная век урока,
«Победа!» первый заорет,
На немца грянув с бока.

Но кто немецких бредней том
Покроет вечной пылью?
Пилецкий, пастырь душ с крестом,
Иконников с бутылкой,

С жидовской мордой эконоом,
Наш Эйлер знаменитый;
Зернов с проломленным носом,
С бородкою небритой.

С очками лысый Соколов
И Гакен криворотый
Докажут силу кулаков, —
И немца за ворота.

Когда все еще пели, в класс вошел незамеченным математик Яков Иванович Карцов и по окончании песни восторженно захлопал. Воспитанники бросились со скамеек за столы, Яковлев шмыгнул было за кафедру, однако, поняв, что Карцов его все равно заметил, решил не прятаться, а спокойно прошел на свое место, на ходу с достоинством поклонившись педагогу.

— Похвально, господа! — сказал Карцов. — И смешно. Так и видишь надутого индюка или рождественского гуся. Надобно, конечно, соблюдать субординацию по отношению к педагогам, но... ведь смешно. Какая может быть субординация в сатире?! — Он рассмеялся. — А теперь должен сообщить вам два известия: приятное для вас и неприятное. Какое желаете прежде?

— Приятное! — завопили все в один голос.

— Профессор Гауеншильд сегодня заболел!

— Ура-а! — Кто-то снова попытался вспрыгнуть на скамейку, но его одернули товарищи.

— И второе: пренеприятное! Меня попросили занять вас математикой, предметом, который большинству из вас ненавистен!

Бурной реакции на его слова не последовало. Кто-то сразу раскрыл постороннюю книгу.

— Я, конечно, исключаю Вольховского господина из общего числа, — продолжал Карцов, — потому что он один из вас по-настоящему знает, что преподается. А для всех остальных А плюс В равно красному барану! — сказал он свою дежурную остроту.

Привычным смешком воспитанники поддержали старую шутку. Карцова любили, потому что был он человек не злой, никого не мучил, ерничал поверхностно, не доводя человека, был крайне снисходителен, отчасти из-за доброты, отчасти из понимания, что большинству из них его математика совсем не нужна.

Некоторые читали, кто-то уже рисовал, кто-то готовился к другим предметам, но почти все решительно не обращали внимания на Карцова и не слушали, что он там такое говорит. Его, впрочем, это совершенно не смущало. Он был ровен, спокоен, чуть ироничен.

— Но с Вольховским господином мы займемся потом, это у нас святое, посмотрим, кто еще сегодня, так... Баку-

нин господин, Дельви́г господин, Горчаков господин, а вот, пожалуй, Пушкин господин, перепишите-ка на доске вот эту задачку. — Он подал Пушкину, который вышел из-за стола и приблизился к нему, свою рабочую тетрадь и посту- чал пальцем по указанной задачке. — И заодно решите-ка нам ее!

Пушкин своим быстрым, летящим почерком, который у него устоялся с младых ногтей, набросал на доске алгебра- ическую формулу с «иксом», потом стоял, размышляя и переминаясь с ноги на ногу, пока Карцов, терпеливо, с усмешкой наблюдавший за ним, не спросил:

— Ну, что же вышло? Чему у вас равняется икс, Пуш- кин господин?

— Нулю, — улыбаясь, ответил Пушкин и быстро напи- сал в ответе «ноль».

— Хорошо, — сказал Карцов, также приятно улыбаясь в ответ. — У вас, Пушкин господин, в моем классе все конча- ется нулем. Садитесь на место и пишите стихи. У вас это лучше получается. Скажите по совести, ведь в давешней пе- сенке про Гауеншильда есть и ваша рука?

Пушкин пожал плечами: мол, понимаете как знаете. Карцов погрозил ему пальцем.

За ужином инспектор Пилецкий спросил воспитанников:

— Ну, господа лицейские, у кого штрафной билет по немецкому языку?

Но никто из воспитанников не ответил и не поднялся с места. Корф быстро взглянул в сторону Пушкина, тот де- монстративно отвернулся, однако это не укрылось от Пи- лецкого.

— Господин Корф, позвольте узнать, кому вы передали штрафной билет?

Корф замаялся, потом неожиданно вспомнил, даже об- радовавшись:

— Я передал штрафной билет воспитаннику Комовскому.

— Так, — продолжал Пилецкий. — А вы кому?

Комовский не медлил ни минуты.

— А я — Пушкину!

— Это так, господин Пушкин? — спросил Пилецкий.

Пушкин нехотя встал.

— Так-то оно так...

— И вы в свою очередь кому-нибудь его передали?

— Нет...

— Почему? Неужели все вокруг говорили только по-немецки?

— Я забыл про него. Вот он! — Пушкин небрежно бросил картонку на стол.

— Значит, вы говорили сегодня по-русски?

— Да отчего же, иногда и по-французски... — усмехнулся Пушкин ему прямо в лицо.

Несколько человек хохотнули.

— Ну что ж, господин Пушкин, вы говорили не на языке, для сегодняшнего дня означенном, поэтому извольте занять последнее место за столом.

— Извольте, — согласился Пушкин и стал пробираться к концу стола. — Только избавьте меня от обязанности доносить на своих товарищей.

— Вот мы и снова вместе! — хлопнул его по плечу рыжеволосый Данзас. — Садись.

— Здесь, в конце, — улыбнулся Пушкин, — всегда собирается самое приятное общество. Только здесь я чувствую себя дома. Господа, — наклонившись к столу, прошептал он, — есть одна замечательная поэма, полученная по оказии от князя Вяземского. Смею вас заверить, что вы ее не слышали.

— Как называется? Как называется?

— «Тень Баркова»...

— Баркова? Что-то знакомое.

— Слушай, Медведь, и мотай на ус, — прошептал Пушкин.

Однажды зимним вечерком
В борделе на Мещанской
Сошлись с расстригою попом
Поэт, корнет уланской,
Московский модный молодец,
Подъячий из Сената,
Да третьей гильдии купец,
Да пьяных два солдата.
Всяк пуншу осушил бокал,
Лег с блядью молодою
И на постели откачал
Горячею елдою.

Кто всех задорнее ебет?
Чей хуй средь битвы рьяной
Пизду курчавую дерет,
Горя, как столб румяный?
О землемер и пизд, и жоп,
Блядун трудолюбивый!
Хвала тебе, расстрига поп,
Приапа жрец ретивый!
В четвертый раз ты плешь впустил
И снова щель раздвинул,
В четвертый принял, вколотил...
И хуй повисший вынул!

— Ну ты и матерщинник, Француз, — выдохнул в восхищении Данзас.

— Не мешай! — оборвал его маленький Броглио и, кося глазом, попросил Пушкина: — Давай дальше. Страсть люблю про хуй.

Потом, уже в закутке, среди избранной публики, он читал поэму еще раз. Друзья заучивали наизусть строфы. Только через несколько дней, видя, какой успех имеет поэма, он признался Пушину, что написал ее сам.

— Лучше бы, чтобы об этом никто не узнал. За такую штучку можно загреметь в солдаты али куда похуже.

— Куда же? На Соловки? — рассмеялся Пушкин. — А если в солдаты, так я хоть сейчас готов, как братья Раевские.

— Не хабришь, ты и сам знаешь, как это опасно, иначе не скрывал бы авторство. Про князя Вяземского только больше никому не говори, — посоветовал Пушин. — Нехорошо получается, если сочинил сам, а говоришь на князя. — У Жанно всегда было обостренное чувство справедливости.

— Не буду, — согласился Пушкин. — Я не подумал.

— А поэму давай между собой как-нибудь по-другому называть. Ну, допустим... — Он задумался.

— «Тень Кораблева», — подсказал Пушкин и рассмеялся: — Фрегатова, Лодкина, Баркасова... Как хочешь!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

*в которой лицеисты показывают спектакль про
Карнюшку Чихирина, мужика Долбило и ратника
Гвоздило. — Сообщение о победе русских под Бородиным.
— Гувернер Иконников пьет в честь русского оружия. —
Конец августа 1812 года*

В лицейской зале за ширмами красного дерева с вышитыми китайскими драконами, которые лицейские дядьки позаимствовали у дворцовой челяди, была выгорожена импровизированная сцена.

Среди избранной царскосельской публики, приглашенной на первый спектакль, который давали лицеисты, находилась мать лицеиста Саши Бакунина с дочерью Екатериной. В зале собрались и многие профессора, педагоги и лицеисты, не занятые в спектакле. Публика занимала несколько рядов стульев, стоявших полукругом перед сценой.

Алексей Николаевич Иконников, душа, сочинитель и творец действия, был явно навеселе; говорил он спотыкаясь, с кашей во рту, но в глазах сверкал огонь творца. Хотя он и переделал свою пьесу из афишки графа Федора Ростопчина, московского генерал-губернатора, которые тот вывешивал в Москве для народа, а потом они разлетались по всей России, в душе он считал ее своей. Он то и дело поправлял на ребятах серые фуражки, присаживаясь перед ними на корточки.

— Молодцы мои, не подведите бедного автора! Мой дед Иван Афанасьевич Дмитревский смотрит на меня оттуда! — показывал он почему-то на небо, хотя было известно, что тот покуда жив и даже на днях выступил после пятнадцатилетнего перерыва в роли старого унтер-офицера Усерда в драме Висковатова «Всеобщее ополчение», за что и получил от императора бриллиантовый перстень, о чем сам Иконников с гордостью и рассказывал. Но теперь все смешалось в голове Иконникова, он пролепетал что-то о святых слезах умиления и гордости за внука, которыми обливается дед на небесах, и умолял не опозорить его перед дедам, членом академии и всех известных литературных обществ. Что-то не стыковалось в его словах, хотя бы акаде-

мия и небеса, но такое с любимым гувернером не раз случилось, и никто не обратил на это внимания.

Воспитанники, участвовавшие в спектакле, сгрудились за ширмами. На них были вывороченные шинели, на воротниках которых белели тряпочки с номерами и фамилиями: Яковлев, Данзас, Маслов... Они должны были изображать ратников ополчения и потому нарисовали себе углем на лице бороды и усы.

Молодой дядька Сазонов стоял рядом и держал в руках два топора. Он таинственно и тупо улыбался, ногтем трогая заточенные лезвия.

Зрители оживились, когда за сценой забил барабан — в него самозабвенно колотил маленький косоглазый Броглио.

Из-за ширмы появился лицеист в форменном мундире и сообщил публике:

— Сказ про то, как Карнюшка Чихирин, а также ополченцы мужик Долбило и ратник Гвоздило врага лютого, злодея кровожадного победили...

Снова тревожно забил барабан, лицеист скрылся, но вместо него на сцене появился другой, с графином и граненым стаканом и с блаженной улыбкой заправского целовальника на лице. За ним, пошатываясь, вышел сам Карнюшка Чихирин, которого играл премьер труппы господин Маслов.

— Не желаешь ли, Карнюшка, стакан зелена вина? — спросил целовальник, наливая в стакан из графина.

— С двух стаканов не пьян, выпью и третий! — Карнюшка взял протянутый стакан. — Выпьем, поворотим и в донышко поколотим!

Карнюшка выпил, а целовальник поинтересовался:

— А слышал ли ты, Карнюшка, новость: Бонапарт на Москву пошел?!

— На Москву-матушку? — вылупил глаза Карнюшка. — На первопрестольную?! На белокаменную?! Уши мои отказываются слышать! Глаза отказываются видеть! Да он что, сбрендил, голубь сизокрылый?

В зале засмеялись.

— Должно быть, сбрендил! — согласился целовальник.

Смех не умолкал.

— Ну-ка, налей еще стакан. Никак без стакана разобратся не могу! — Карнюшка протянул стакан целовальнику.

Целовальник налил еще стакан до краев, и Карнюшка жадно выпил его. Пока он пил, целовальник поведал зрителям:

— Выпив лишний крючок на Тычке и, услышав, что Наполеон идет на Москву, разругался Карнюшка скверными словами, всех французов припомнил и, вышед из питейного дома, заговорил под орлом.

Карнюшка пьянел на глазах.

— Бонапарт — сволочь мерзкая, нечистая гадина заморская, ты зачем в наши страны пожаловал? — кричал Карнюшка, размахивая кулаками. — Полно фиглярить: ведь солдаты-то твои карлики да щегольки: ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онучь не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздуются, от каши перелопаются, от шей задохнутся...

— Не понимаю, — сказала по-французски своей юной дочери госпожа Бакунина, — зачем здесь просторечие? Неужели надобно этому учить детей в Императорском Лицее?

— Не знаю, маман, — скромно отвечала дочка. — Но, может быть, здесь патриотизм.

— Патриотизм — это обязательно «щи»? — все так же по-французски выговорила Бакунина.

— А вы бы, матушка, — обратилась к старшей Бакуниной ее соседка, пожилая дама, — в такое-то время говорили бы по-русски.

На сцене все продолжал буйствовать Карнюшка, входя в раж, так что не на шутку пугал некоторых приглашенных.

— ... А которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят, будут у ворот замерзать, на печи околевать, в сенях зазывать, в избе задыхаться, на печи обжигаться. — В его словах было явное противоречие, но никто его не замечал, все были подавлены его напором. — А вспомни ты, прыщ заморский, про татар, про поляков, про шведов, что на Русь приходили, ведь мы их так попотчевали, что по сю пору круг Москвы курганы как гробы, а под гробами-то их кости! Ведь остались у тебя дома хромой и слепой, старухи да ребятишки, а у нас выведено на рать шестьсот тыщ, да забриты триста тыщ, да старых рекрут двести тыщ. И все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные... Выходите, братушки! — позвал он.

Под барабанную дробь двое лицеистов с нарисованными бородами и усами двинулись было на выход, но дядька Сазонов остановил их громким шепотом:

— Барчуки, топорики забыли! — Он сунул им в руки топоры и, погладя по головам, добавил:

— Осторожно балуйте, барчуки, не ровен час! Топорики востренькие.

— Видишь, супостат, какие молодцы?! — вскричал Карнюшка Чихирин, увидев молодцев, которые жались от смущения и неловко держали непривычные топоры.

По залу пробежал смешок.

— Мужик Долбило и ратник Гвоздило!

Один из лицеистов-зрителей зашелся от смеха, сползая под стул, и не мог остановиться, пока не начал икать.

— Господа, смелее! Чай, вы не русские?! — подбодрил их из-за кулис Иконников, сам же достал фляжку и опрокинул ее содержимое себе в горло. Сильно забулькала жидкость, то ли в горлышке у бутылки, то ли уже у него в горле.

Дядька Сазонов, вздохнул, с завистью глядя на гувернера. Алексей же Николаевич, закусив, как говорится, рукавом, тотчас же приложился к родимой снова.

И русские господа слышали его.

— Неужели мы, православные, верные слуги царя нашего, кормилицы матушки каменной Москвы, дадимся в полон врагу лютому, зверю кровожадному? — вскричал, скорее даже взвизгнул Гвоздило-Яковлев и взмахнул топором так, что Карнюшка на всякий случай попятился. — Порубим французишек, как дрова! Эх-ма!

— И знай из роду в род, какой русский народ! — завопил мужик Долбило-Данзас. Он бросился вперед, топором замахиваясь на зал. Дамы вскричали, а Катенька Бакунина, за которой наблюдал Пушкин, находившийся в задних рядах зрителей, закрыла глаза и отвернулась от сцены.

— Все-таки это *mauvais genre*, — сказал Горчаков Корфу. Они сидели среди зрителей.

Тот молча согласился с ним.

А вот сидевший поодаль профессор де Будри, напротив, подчеркнуто громко хохотал, икал и бил себя по коленкам, всячески выказывая свой восторг. Трудно было понять, на

самом деле ему нравится спектакль или он боится и хочет, чтобы все видели, насколько он патриотичен.

Когда Бакунина открыла глаза, то вдруг заметила, что за ней наблюдает курчавый лицеист с горящими щеками. Разумеется, она знала, что это Саша Пушкин, но сейчас он ей показался каким-то незнакомым и новым, как будто в первый раз увиденным, поэтому она чуть-чуть ему улыбнулась, насколько позволило ей приличие, хотя она понимала, что сам он, столь пристально ее разглядывая, все приличия нарушает. Встретив ее взгляд, Пушкин ничуть не смутился, а все так же жадно продолжал рассматривать ее, отчего она все-таки смутилась и презрительно дернула веснушчатый носиком.

На сцене опять истошно завопили, и Бакунина повернулась туда. Это Карнющка Чихирин вдруг дурным голосом затянул известную русскую песню и замаршировал по сцене:

Во поле березка стояла,
Во поле кудрявая стояла!
Люли-люли, стояла!
Люли-люли, стояла!

Из-за кулис несколько лицеистов вынесли срубленные молодые березки с чуть пожелтевшей листвой.

Песню подхватили вместе с припевом мужик Долбило и ратник Гвоздило и, наотмашь размахивая топорами, двинулись следом за марширующим Карнющкой.

Некому березку заломати,
Некому кудряву заломати!
Люли-люли, заломати!
Люли-люли, заломати...

Но они и сами опешили, когда на сцену, подпевая им весь голос, расхристанный, в расстегнутом сюртуке и спадающих штанах, нетвердой, дерганой походкой, из чего можно было заключить, что он или вдребодан пьян или хорошо играет свою роль, выбрался гувернер Иконников. Впрочем, второе было исключено, во всяком случае, занятые в спектакле знали, что пьесой его появление не было предусмотрено.

— Православные! Только что получено известие! — завопил Алексей Николаевич, возводя очи горе. — Двадцать

шестого августа у села Бородина Главнокомандующий князь Голенищев-Кутузов дал французам решительное сражение. С Божьей помощью русское войско не уступило в нем ни шагу. Кровь наших проливается за спасение Отечества! Если надо, то мы встанем на место погибших братьев! Бог укрепит наши силы, и злодей положит кости в русской земле! — Он стал стучать по полу ногой. — Вот тут!

— Это пьеса или правда? — стали спрашивать друг друга в зале зрители, но никто не знал ответа. — Но совершенно ясно, что он и в самом деле пьян! А? Вам не кажется?

— Кажется...

— Ура-а! Ура-а! Кутузову-у ура-а! — вопил Иконников.

— Ура-а! Приехал Кутузов бить французов! — поддержали его и мужик Долбило, и ратник Гвоздило, и целовальник с графином, а сам губернатор Иконников достал вдруг из кармана сюртука фляжку и с криком: «Пью в честь славного русского оружия!» — стал пить из горлышка прямо на сцене.

Публика была уже открыто возмущена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

в которой Наполеон приходит в Москву, никого не дождавшись на Поклонной горе, а Московский гарнизонный полк покидает Кремль согласно Регламенту Петра Великого. — Пожар Москвы, мародерство, пьяная чернь. — Бегство Наполеона из Кремля в Петровский дворец. — Задница русской бабы. — Возвращение Наполеона в Кремль. — Россия пожирает сынов твоих, Франция. — Осень 1812 года

Наполеон стоял у окна в кремлевских палатах; за окном уже второй день полыхало багровое зарево московского пожара. Солдаты по его приказу пытались гасить огонь вокруг Кремля, но прекратить пожары, возникавшие то тут, то там, не удавалось. Маленький, пухлый господин в ночной рубашке и в накинутом поверх халате не спал вторые сутки. С самой Бородинской битвы он никак не мог избавиться от простуды, которая мучила его, теперь и спалось плохо. За окном было светло, словно днем; горело Замоскворечье, хорошо видное из окон Кремлевского дворца.

Этот пожар начался сразу после того, как французские войска вошли в Москву. Русские еще не успели выйти из Москвы, а французы уже входили; порою войска шли по соседним улицам в одну сторону, но, по согласованию с Милорадовичем, который командовал арьергардом русских и договорился о том с Мюратом, послав к нему офицера Акинфова с письмом, они друг друга не трогали, заключили соглашение о ненападении, которое утвердил и извещенный об этом император Наполеон. На словах Милорадович просил передать русского офицера Неаполитанскому королю, что французы, если хотят занять Москву целой, должны дать им спокойно выйти, с артиллерией и обозом. В противном случае он, Милорадович, будет драться перед Москвой до последнего человека и вместо Москвы останутся одни развалины. Неаполитанский король знал Милорадовича и не сомневался, что так оно и будет: французы прозвали генерала Милорадовича русским Баярдом за его смелость и благородство. Пока договаривались, казаки смешались с французами и сам Мюрат, Неаполитанский король, разодетый, как всегда, в пух и прах (он один во всей армии носил на шляпе большой султан из белых страусовых перьев), не отказал себе в удовольствии обменять у одного из старших казачьих офицеров его бурку на дорогие золотые часы.

Движение войск под барабаны и полковую музыку, игравшую «Победа за нами», сопровождала пьяная чернь, бежавшая по улицам. В большинстве своем это были выпущенные на волю и разбежавшиеся колодники. Несколько раз эта сволочь пыталась поднять оружие на французских солдат, но, поскольку пытались делать это люди невоенные и нетрезвые, почти сразу же их удавалось обезвредить. Порой ружья у этих бедолаг были без курков и сабли ржавые: все это было роздано им из московских арсеналов. Лишь одного пьяного мужика не удалось схватить за руку — на Арбате он выстрелил из ружья в короля Неаполитанского и ранил возле него полковника. Большинство же оставшейся в городе черни совершенно не обращали внимания на французов, они были заняты грабежами и воровством; многие просто пили, зачастую просто из луж, которые натекали возле кабаков и подвалов из разбитых еще по приказу Ростопчина бочек с белым вином. Пьяный винный дух витал над бро-

шенным городом. Французским кавалеристам был дан приказ с коней не сходить, а выпить хотелось, поэтому, не сходя с коней, они подхватывали концами сабель кошелки у спящих пьяниц и доставали бутылки с водкой, которая тут же шла по рукам.

Наполеон стоял у окна, смотрел на пожар и думал о том, что же все-таки произошло. Ясно было одно: хитрая лиса Кутузов, кажется, обманул его, исчез со всей армией. Такого за всю историю кампаний у Наполеона еще не бывало: посланные по всем дорогам отряды никаких значительных сил не обнаружили. Мюрат — с Рязанской дороги, Понятовский — с Тульской, Бессьер — с Калужской доносили, что русские бесследно исчезли среди бела дня.

Рядом с ним в ожидании стоял маршал Бертье в парадном мундире. Раз по пятнадцать за ночь безропотный маршал являлся к нему по первому требованию, и всегда, как полагалось при дворе, он был в мундире. Если Наполеон не спал — не спал и Бертье, не зря его прозвали «тень императора», но тень была старше почти на двадцать лет, и такой режим ей давался с трудом.

— Почему не выполняется мой приказ остановить грабежи? — наконец недовольно спросил Наполеон. — Из-за неосторожности солдат продолжаются пожары. Бертье, вы отвечаете за это головой.

— Государь, мы расстреляли нескольких пьяных солдат, но пожары происходят не только от неосторожности победителей, сами жители жгут Москву...

— Сами? Свои дома?

— В это трудно поверить, но это так, ваше величество. Вчера наши офицеры и генералы отправились в Каретный ряд, где у русских лучшие магазины экипажей, чтобы выбрать себе по праву победителей то, что каждому пришлось по душе. Кареты были помечены именами будущих хозяев, казалось, все в порядке; так вот в эту же ночь владельцы каретных лавок сами сожгли свои лавки с товаром, чтобы не быть поставщиками нашей армии. И так повсюду. — Бертье неожиданно для самого себя громко зевнул. — Простите, государь, — извинился он. — Москва загорелась разом, и во многих местах. К тому же сильный ветер довершает дело. Горит уже центральный квартал...

— Это превосходит всякое понимание, — сказал Наполеон, обратившись к собеседнику. — Идет война на истребление собственного народа. Ужасная тактика, которая не имеет прецедентов в истории цивилизации. Они сжигают собственные города? Как будто всем этим людям внушает их деяния демон. Какая свирепая решимость! Какой народ! — помолчав, он снова повторил: — Какой народ! Сами поджигают... Это — скифы!

— Государь! К сожалению, безопасность требует, чтобы мы покинули Кремль. Он уже горит. Загорелась Троицкая башня близ Арсенала...

— Покинуть Кремль! Всего одна ночь в нем, в древнем дворце царей... И покинуть? Бежать?

— Пожар может нам отрезать все пути. Мы расставили солдат на крышах кремлевских дворцов, но они еле успевают тушить искры и головни. Пока есть возможность, надо переехать в Петровский дворец. Лошади запряжены и оседланы...

Наполеон молчал, размышляя.

— Там тоже неплохо, — осмелился вставить Бертье. — Цари всегда останавливаются в нем перед въездом в Москву. Впрочем, если вы пожелаете, можно найти и другой дворец. В Москве, как говорят, их до пятисот у московской знати, таких же прекрасных, как Елисейский дворец, мебелированных на французский лад с невероятной роскошью, есть еще несколько императорских дворцов... Можно найти, где спокойнее...

— Мне все равно. Главное — остановить пожары, поэтому расстреливайте поджигателей на месте. Прочих, только подозреваемых, предать военно-полевому суду. Надо во что бы то ни стало остановить пожары, а то русские постараются всю вину за них свалить на нас. Это не совсем ваше дело, Бертье, поэтому я назначаю комиссию под председательством генерала Мишеля. А сейчас я вас больше не задерживаю...

— А-а... — замылся было Бертье, но Наполеон отослал его царственным движением длани.

После ухода начальника штаба Наполеон прошелся по палате, еще раз посмотрел в окно и сел к столу. Пододвинув к себе письменный прибор, он положил перед собой чистый лист бумаги со своим гербом и принялся за письмо

императрице Марие-Луизе, решив написать его сам, хотя обыкновенно диктовал свои письма.

«Мой друг, я тебе пишу из Москвы», — начал он и остановился в раздумье.

Итак, в Москве начались пожары. Судя по всему, этот мерзавец Ростопчин, подстрекавший чернь к неповиновению, добился своего. Кажется, он сознательно выпустил колодников, чтобы они разбрелись по городу и учинили беспорядки. Выяснилось, что, кроме всего прочего, он увез все пожарные насосы из города, а что не смог увезти, то уничтожил.

Старая Москва горит. Огонь пожирает эти видения прошлого, свидетелей екатерининской роскоши, роскошные барские усадьбы. Наполеон подумал о том, что, вероятно, человек цивилизованный прежде всего думает о сохранности личного имущества, а потому при бессмысленности сопротивления города сдаются, бургомистры выносят ключи, а жители преспокойно живут при новом порядке. Лишь в варварских темных странах, подобных Испании и России, этот закон не действует. Народ, который ничего не имеет, ничего и не бережет, даже собственную жизнь. В такой войне нет правил, с таким народом нельзя договориться. Но ведь для этого и есть в стране государь, он-то цивилизован, он-то должен понимать, как ведутся войны. Договариваться, решать должны государи. Как в сражениях решают все генералы. Но тут даже генералы не соблюдают никаких правил.

Он вспомнил, как ждал у Дорогомиловской заставы делегацию от городских властей, но никто не пришел. «Может быть, они не знают, как сдаваться? Для них это ново?» — предположил он. Перед ним разостлали карту Москвы, и он с помощью одного из своих секретарей, знавшего по-русски и бывавшего в Москве, долго изучал ее. Потом добрый час он мерил шагами холм Поклонной горы, все более и более теряя самообладание. Где Ростопчин, где генерал-губернатор? Он требовал к себе этого негодяя Ростопчина. На худой конец, пусть будут его представители. Он требовал привести к себе хотя бы бояр. Но никто не являлся. Он ничего не понимал, а когда ему сообщили, что русских в городе нет, что жители покинули город, бросив его на произвол судьбы, что армия тоже бросила город, что-то похожее на

уныние, чувство ему совсем незнакомое, возникло в душе и не покидало его до сих пор. Он понял, что его обманули, и искренне обиделся. Он всегда знал за собой некоторое простодушие, свойственное только дурачкам и гениям, он понимал его природу, но это знание ничего не прибавляло и не убавляло в его чувстве: он просто обиделся. Ему хотелось крикнуть: так не бывает, вы играете не по правилам, мы так не договаривались, но он не знал, кому именно надо кричать, потому что (и в этом тоже усматривал умышленное нанесение ему оскорбления) кричать было некому; все устранились: царь, Кутузов, народ... Москва сдалась и горит, Россия провалилась, колодники пляшут на пожарищах и пьют водку, войска противника пропали, и становится предельно ясно, что у него нет никакого выхода и никто ему его не предложит. А Россия стоит рядом невидимая и дышит ему в ухо перегаром.

Он не знал, что в то время, когда он дожидался депутации на Поклонной горе, из Кремля только еще выходил Московский гарнизонный полк во главе с командиром Брозиним. Полк, ко всеобщему удивлению еще оставшихся жителей и солдат, выступал с музыкой. Из толпы слышались выкрики: «Изменники! Чему радуетесь! Бросаете матушку родимую, да еще музыку играете?» В этот момент к полку со свитой подскочил генерал Милорадович, командовавший арьергардом, и закричал зычным голосом:

— Какая, мать ее етить, каналья приказала выходить с музыкой?!

— Это я, ваше высокопревосходительство! — радостно откликнулся простодушный Брозин.

— Ты в своем уме?

— А то как же! В полном уме и здравии! Мы службу знаем, — отвечал тот. — Когда гарнизон при сдаче крепости получает позволение выступить свободно, то, согласно Регламенту Петра Великого, он выходит с музыкой, ваше высокопревосходительство!

— Дурья твоя башка! — закричал Милорадович. — Да разве сказано что-нибудь в Регламенте Петра Великого о сдаче Москвы?! Прикажете немедленно замолчать вашей музыке!

Наполеон бросил перо, скомкал бумагу, стал просто думать о Луизе: не сразу, но все-таки мысль о ней обдала

его нестерпимым жаром, соединилась в сознании с пожарными насосами, о которых он думал, откачивающими воду, взад-вперед, взад-вперед, с мужиками, которые работали на них, он вспомнил ту их первую брачную ночь, когда овладел этой юной пятнадцатилетней австриячкой, девственницей с нежной кожей, с белым юным станом, который он сжимал в своих руках, переворачивая ее то на спину, то на живот, дочкой австрийского императора Франца I, присланной ему отцом во Францию и взятую Наполеоном по брачной доверенности. Он вспомнил, как ее хотел; снова и снова волнами возвращались к нему подробности тех бесконечных дня, ночи и снова дня, того пробуждения чувственности в юной императрице, которое совершалась на его глазах, под его руками, с его помощью. Как после первого проникновения, когда она взвизгнула от боли, после стены, которую ему каждый раз приходилось преодолевать и сокрушать, после сведенных ног, укушенного плеча, постепенно открывалась в ней легкость, нежность, теплота. «Любите немок, — сказал он в коротком перерыве своих любовных игр, появившись перед ожидавшими его придворными и упиваясь самохвальством, — они хватают все на лету!»

В этот момент с треском лопнуло стекло, и это возвратило его к действительности. Горячий смерч ворвался в палаты, император ощутил его на щеках, волосы встали дыбом и зашевелились от теплого воздуха. В этот момент он решил таки покинуть Кремлевский дворец, чтобы перебраться в Петровский.

Однако главные пути уже были отрезаны пожаром, и пришлось искать обходные: выход был найден под горой, прямо к Москве-реке. Наполеон вышел из Кремля со свитой и старой гвардией, почти тут же все заплутали в стене огня, улиц в дыму нельзя было узнать, нельзя было понять, куда же идти, летели головешки, жар стоял невыносимый, чудовищный, в раскаленных потоках воздуха пролетали не только искры, головни, но и раскалившиеся докрасна листы кровельного железа. Теряя вокруг себя людей, они заблудились окончательно. Лошади хрипели и задыхались от дыма, косили красными глазами, из которых текли слезы. В довершение всего их проводник то ли сбежал, то ли потерялся сам, отыскивая для них дорогу.

Император сам ехал впереди, всецело полагаясь на случай. Потом ему пришлось спешиться, ибо не было сил удержаться на волновавшейся лошади. Он передал поводья своему верному мамлюку Али. По дороге им встретилась безумная старуха, с седыми космами волос, вылезших из-под перепачканного в саже платка. Увидев императора со свитой, она стала кричать: «Бонапарте! Бонапарте!» — и еще что-то по-русски, но и без перевода было понятно, что ее ненависть относится к Наполеону. Как она узнала, что это был он, оставалось загадкой. Но старуха не ограничилась одним криком, она задрала юбки и, повернувшись к ним спиной, показала императору задницу с черной замшелой дырой. Еще несколько шагов, и страшная задница скрылась бы в дыму, но прежде император услышал смех поодаль и увидел французских солдат, вываливших из дома, который они грабили. Они смеялись, показывая пальцами на старуху, а один из них предлагал отходить ее горящей головней. Как потом выяснилось, это были солдаты из корпусов Даву и Нея. Они-то и вывели императора со свитой из дымного лабиринта, взяв лошадей под уздцы; вслед им все доносились незатихавшие крики безумной старухи.

Через несколько шагов, когда император и его спутники снова садились на лошадей, к ним вышла еще одна женщина, в изорванном платье, со спутанными растрепанными волосами, с грудным ребенком на руках, и бросилась прямо под копыта лошадей к Наполеону.

Хватая императора за сапоги, она умоляла спасти ее ребенка. Как выяснилось, это была жена француза Армана Домерга, которого Ростопчин выслал на барке из Москвы в Нижний Новгород. Император успокоил ее, пообещав, что будут приняты все меры для спасения ее и сына, но она тащилась за ними с причитаниями; ее никто не отгонял, сама скоро отстала.

По пожарищам добрались до Дорогомиловского моста, оттуда, следуя берегом реке до Ваганькова, а там полями, с наступлением темноты, совершенно измученные, достигли и Петровского дворца. Странно и тихо было в вечерних полях; ложился туман, и ничто не напоминало московский ад, если только стоять, повернувшись к Москве спиной. Где-то в болотах бормотали на своем языке лягушки, стонала

птица и светились костры вокруг зубчатых кирпичных стен круглого Петровского замка.

С тех пор он бездействовал, вернее, для всех он по-прежнему был полон энергии, занимался делами империи, пытался, трижды посылая послов, заключить мир, входил во все мелочи, подписал даже регламент театра французской комедии, одарив свободой двух-трех комедиантов, но словно какая-то пружина сломалось в нем. Он понял, что увяз в Москве, и никак не мог себе в том признаться. Он понимал, что надо бежать отсюда, но не мог тронуться с места, как будто привороженный; в самом деле, не мог же бежать победитель, это никак не укладывалось в его голове.

Они жили в Петровском дворце четыре дня, и он наблюдал из окон, как огромное количество экипажей, лошадей, солдат и офицеров разместилось в Петровском парке среди грядок с цветами, клумб, в павильончиках и гротах, садовых беседках и киосках, поскольку во дворце всем не хватило места. Ко дворцу свозилось награбленное добро, и когда он выходил гулять, то видел солдат, которые сидели около вырытых на скорую руку землянок, готовили пищу на костре, но при этом ели на прекрасном столовом серебре, украденном из московских усадеб.

Потом пошел дождь и не прекращался двое суток. Пожар стал затихать. Мокрые лошади, облепленные желтыми листьями, стояли прямо в парке, привязанные к липам и акциям: их некуда было спрятать.

Он снова вернулся в Кремль, когда пошедший дождь и усилия французских команд остановили пожар, на три четверти опустошивший город. Уходя из Петровского дворца, его подожгли, что было достаточно бессмысленно: в одном месте тушили, в другом жгли. Но, видно, русская бессмысленность, как микроб, начала заражать французов. В спасенном от пожара Кремле он ждал ответа на свои предложения о мире, он готов был на любые условия, чтобы только с достоинством уйти, но ответа от Александра так и не дождался. Он стал лениться, не показывался на людях, читал «Историю Карла XII», вспоминая слова Балашева, сказанные ему в Вильне. Эти слова про Карла XII стали казаться ему пророческими. Он выходил прогуляться на Соборную площадь Кремля, смотрел на нелепые царь-пушку и царь-колокол, эти главные русские достопримечательности, и так

и не мог, сколько ни гадал, объяснить себе их значения, шел дальше к одному из выходов из Кремля, где на постах стояли обносившиеся его солдаты-гвардейцы, уже одетые в московские шубы и перетянутые на поясе кашемировыми шальями, внимал их восторженным крикам при его приближении и, ничуть не вдохновленный, плелся обратно, чтобы запереться снова в царских палатах.

Однажды он долго смотрел в небо, на золотой крест колокольни Ивана Великого, потом вдруг велел кликнуть клич среди русского народа, что даст шесть тысяч рублей тому, кто этот крест снимет. Тут же нашелся смелый мужик, который забрался на главу, и с его помощью крест был снят и отправлен среди трофеев в Париж. Русскому заплатили, однако другие смельчаки наломали ему бока и деньги отобрали.

После снятия креста императору вдруг пришла мысль поднять русский народ на бунт, и он попросил принести ему из архивов дело Пугачева, но потом бросил эту затею, даже не начав. Он пришел воевать не с мужиками (сама мысль об этом была ему противна), а потому не мог сделать их и союзниками.

Порой в его снах возникала та дикая старуха с поднятыми юбками, и он явственно видел, как в ее черной дыре, с воем и свистом, вместе с засасываемым дымом исчезают все его надежды на благополучный исход кампании.

Это и есть Россия, в ужасе думал он. Замшелая дыра, поросшая коротким сивым ворсом, будто подпаленная свиная шкура. Она засосала императора, его армию и с утробным хлопаньем пожирает сынов твоих, Франция.

Когда он все-таки решился уйти из Москвы, то приказал взорвать чудом спасенный от пожара Кремль, чтобы стереть эту проклятую землю с ее святыней с лица земли.

Но и это, как он не без основания опасался, тоже ни к чему привести не могло. Варварство было неистребимо, неуничтожимо; обильно политое кровью, оно всходило на перепаханном поле новыми, еще более сильными всходами. Кремль взорвать тоже не удалось — Бог, как считали русские, не дал совершиться такому надругательству, произошло чудо — пошел дождь и затушил уже подоженные фитили. Несколько взрывов произошло, но разрушения были незначительные. Иван Великий, под который были подведены заряды, устоял, несмотря на то что был без креста.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,

*в которой лицейским шьют китайчатые тулупчики. —
Домогательства Гурьева. — Воровство Есакова. —
Неожиданный приезд министра народного просвещения
графа Алексея Кирилловича Разумовского. —
Осень 1812 года*

В рекреационной зале на скамейках были кучей свалены китайчатые тулупчики на овечьем меху. Двое мужиков, один из которых был бородатый портной Мальгин, а другой его подмастерье, с сантиметрами в руках, с большими портновскими ножницами, подгоняли тулупчики лицеистам. Некоторые подобрали себе полушубки без подгонки и теперь щеголяли в них, расхаживая по зале. Саша Пушкин сидел у окна, запахнувшись в тулуп, и о чем-то думал, не участвуя в общем разговоре.

— Говорят, нам справили мужичью одежду, оттого что отправляют в Архангельскую губернию или в Петрозаводск... Если неприятель двинется на Петербург, он не минует Царского... — сказал Саша Бакунин, мать которого была близка ко двору и могла многое знать из первых рук. — В Петербурге уже готовят к отправке памятник Петру...

— Неужели могут сдать Петербург, как сдали Москву? Ведь это будет поражение?! — пропищал Лисичка Комовский, который держался, как всегда, поблизости от Корфа.

— А я слышал, — вдруг признался Казак, — что, может быть, нас повезут в Або...

— Это где? — живо поинтересовался Броглио, над тулупчиком которого работал Мальгин, встав на колени.

— В Финляндии... — пояснил Казак солидно. — Там есть университет, а в нем, стало быть, есть профессора...

— А куда наших профессоров? — поинтересовался Корф.

— А к черту! — как отрезал Казак. На его реплику рассмеялись. — Есть мнение, что в Лицее слишком много иностранцев.

— А в Або свои, что ли? — спросил кто-то, но вопрос остался без ответа.

— Это тебе отец сказал? — стали допытывать Казака. — Ты верно знаешь?

— Я слышал, — сказал он уклончиво, но источника своих сведений не раскрыл, правда, и еще добавил: — Туда, говорят, в случае чего, переедет и двор.

— Неужели столицу сдадут?! — ахнул и всплеснул руками Комовский. — Модинька, как же это? — обратился он к другу своему Корфу.

— На все воля Господа! — пожал плечами Модест Корф и отвернулся к окну.

За окном осень едва начала золотить деревья.

В залу ввалился Гурьев и направился к неразлучной парочке, Корфу с Комовским.

— Ну что, Дамон и Питиас, не разлей вода! — Он окинул взглядом смазливового Корфа. — Тебя, Модест, одень хоть в лохмотья, не скрывать красоты лица твоего и благородства фигуры. Или, как говорит наш Фролов, фíгуры! — Он ласково обнял его за поясницу, но его вдруг неожиданно и резко оттолкнул Комовский.

— Что тебе до его фíгуры?! Оставь нас, Гурьев, в покое! Что ты бродишь за нами? Учти, будешь продолжать свои штуки, я пожалуюсь господину надзирателю!

— Да на что, Лисичка?! — так искренно удивился Гурьев, что Комовский опешил от его наглости.

Комовский, проведенный до Лицея четыре года в училище, прекрасно знал, какие вещи бытуют между мальчиками в заведениях, он чувствовал, что подобное началось и здесь, и подозревал в домогательствах Гурьева, но Гурьева неожиданно поддержал Корф.

— Действительно, на что, Сережа? — спросил он наивно.

— Ты — ябеда и доносчик! — сказал Гурьев. — А, пожалуй, даже и лгун!

Он демонстративно обнял Корфа за талию. Корф, стараясь быть принципиальным, не допуская и тени сомнения в Гурьеве, хотя и чувствовал что-то не совсем удобное в его объятиях, не отстранил его, чтобы не выглядеть глупо, не отстранился и сам; так они, обнявшись, и стояли, смотрели на Комовского, отчего тот окончательно смешался, покраснел и вдруг ушел от них, проклиная мысленно Гурьева.

Гурьев нагло, раскатисто рассмеялся, и теперь на него осторожно взглянул Корф, не поняв смысла его смеха.

— Показываю новую шутку, — громко обратился ко всем Гурьев. — Про французских маршалов. Кого мы знаем? Называйте...

К нему с любопытством подошли воспитанники.

Послышалось: «Даву, Мюрат, маршал Ней...»

— Беру лист бумаги, — показал заготовленную бумагу Гурьев. — Пишу их имена... Вернее, сначала складываю ее веером. Вот так... Теперь пишу имена вдоль веера: Сульт, Мюрат, Даву, Ожеро, Сюше, Виктор и Ней. Всё. Одни буквы крупно на складках, другие — прячутся в складках... Смотрите, что получилось!

Он свернул веер, стал им обмахиваться, потом чуть развернул его и показал боком: из тех букв, что он написал крупнее других, составила надпись: «Стадо свиней».

Раздался гомерический хохот. Воспитанники стали рвать друг у друга и рассматривать веер, разбираясь, как это получилось. Гурьев улыбался, смотрел победно на остальных, подмигнул Корфу: знай наших.

Подошел посмотреть и Пушкин.

Написано было так: «СульТ, мюрАт, Даву, Ожеро, Сюше, Виктор И НЕЙ».

Действительно получалось: «СТАДО СВИНЕЙ».

Саша улыбнулся и потрепал Гурьева по плечу.

— Это что у вас, господин Есаков? — поинтересовался Мартын Степанович, поймав в коридоре выскользнувшего из тринадцатого номера лицеиста. — Покажите-ка...

В руке Есакова, который вздрогнул от неожиданности и сильно смутился, было надкушенное яблоко.

— Странно... — склоняя голову то к одному плечу, то к другому, проговорил Пилецкий. — Что вы делали в комнате у Пушина, когда он сам находится в рекреационной зале, я сам только что его видел?

Есаков молчал, потупившись.

— Отвечайте же! — насупив брови, настаивал Пилецкий. — Где ваш билет на посещение комнат в дневное время, подписанный гувернером? Или вы находитесь здесь самовольно?

— Я виноват, господин надзиратель. Я поднялся сюда без разрешения, — пробормотал Есаков. — Я сожалею об этом...

Пилецкий дружески обнял его и повел по коридору.

— Вы же знаете, что это не самая большая ваша вина. Семен, вы уже не можете положить яблоко на место в комнату вашего товарища, откуда вы его взяли без спроса. Как надзиратель, я просто обязан подвергнуть вас прилюдно наказанию, дабы этот случай имел нравственные последствия не только для вас. Но мне очень не хочется этого делать. Роковая случайность вашего необдуманного поступка не должна привести к необратимым последствиям для вашей души. Мы должны понять друг друга. Вы сейчас в том возрасте, когда требуется строгий моральный надзор. Вы, под моим руководством, должны возродить девственную чистоту души, омраченную вашим поступком, разбудить непорочную стыдливость, которая подобна цветущей розе...

Есаков со слезами на глазах глянул снизу вверх на Мартына Степановича, шмыгнул носом.

— Да-да, друг мой, стыдливость, которая подобна цветущей розе. И требует не меньшего внимания, чем розовый куст, взращенный терпеливым садовником. Вам придется приходить ко мне и рассказывать о соблазнах, в которые вас повергают ваши товарищи. Вы один из лучших учеников курса, у вас много добродетельных черт в характере, вы помогаете слабым ученикам, вы и дальше должны помогать им, сверяя ваши сердечные склонности у своего учителя. Тогда, я думаю, мы забудем ваш проступок, такой прощительный в вашем возрасте.

— Я не понимаю, — внимательно посмотрел на него Есаков, — что я должен делать?

— Всего-навсего рассказывать всю правду и вместе со мной искать средства, чтобы наставить ваших товарищей на путь добродетели, — стараясь быть мягким и ласковым, пояснил Пилецкий.

— Я не буду!

— Почему, друг мой? — искренне удивился Пилецкий. — Разве я от вас требую чего-нибудь невозможного? Ведь в правилах записано: «Никто не должен скрывать пороки своих товарищей, коль скоро от него требует начальство в том свидетельства».

— Я не буду! — уперся и набычился Есаков. Маленький и тщедушный, он как бы даже подрос на глазах. — Это стыдно!

— Стыдно?! — изумился Мартын Степанович. — Вам стыдно совершенствовать себя и устремлять свою душу к чистоте и правде?! О времена, когда молодые люди стыдятся своих лучших побуждений! Освободите свои помыслы от ложного, придите к Господу. Лучшие, достойнейшие ваши товарищи не видят в этом ничего предосудительного.

— А я не буду! — твердо сказал Есаков. — Казните, но не буду!

— Идите в залу, — нажал ему на плечо Пилецкий. — Примеряйте тулупчик! Но знайте, я в вас разочарован.

И Мартын Степанович покинул его и, не оглядываясь, двинулся по коридору, выкидывая далеко вперед свои негнущиеся ноги. Вдруг навстречу ему выскочил, как черт из бутылки, встревоженный Илья Степанович.

— Братец, братец, — бросился он к Мартыну Степановичу. — Граф Алексей Кириллович приехали...

— О Господи! — вздохнул Пилецкий. — Неужели прослышал о конфузе со спектаклем?

— Ничего не знаю... Мрачные...

— А господин директор извещен?

— Господина директора они сразу к себе потребовали. Он уже, вероятно, в зале...

Илья Степанович угодливо семенил за своим старшим братом, который тоже не на шутку встревожился.

Василий Федорович Малиновский, бледный, всклокоченный, как будто его подняли с постели, действительно уже был в зале и стоял перед могучим министром народного просвещения, трепеща как осиновый лист. Василий Федорович был человек добрый и совсем не пугливый, но всякая ситуация, им не ожидаемая, приводила его в такое волнение, что со стороны могло показаться, будто он испуган. Может, это и был страх, но Василий Федорович предпочитал так не думать.

Алексей Кириллович Разумовский был старшим сыном Алексея Григорьевича Разумовского, младшего брата знаменитого фаворита и тайного супруга государыни Елисаветы Петровны. Собственно, в честь дяди он и был назван Алексеем. Все Разумовские, сыновья украинского гетмана Кирилла Григорьевича, начиненные с детства французской литературой с ее тонким духовитым развратом, были любезные при дворе и совершенно несносные вне его арис-

тократы. Старший же, Алексей Кириллович, отличался от всех гордыней непомерной и строгостью в кругу семейства, к коему причислял и родное свое детище, Царскосельский Лицей, в разработке Устава которого он принимал самое непосредственное участие; от него можно было ждать самого серьезного нагоняя.

Но этого не последовало. При всей своей строгости, граф был добр и искренне любил лицейских. Они отвечали ему взаимностью.

— С печалью в сердце, Василий Федорович, воспринял я весть о происшествии в вверенном вам заведении... — начал граф Алексей Кириллович и на мгновение прервался, хмурая черные брови, сохранившие свой природный цвет, несмотря на то что волосы графа, изрядно поредевшие, давно были седы. — О безобразиях, имевших место в этой зале, в день именин нашего государя.

Василий Федорович задрожал как осиновый лист и, заикаясь, начал:

— Ваше высокопревосходительство...

— Сейчас, любезный мой Василий Федорович, мы разбираем даже не тот возмутительный случай, происшедший на сцене, когда гувернер Иконников под воздействием паров Бахуса скакал и прыгал, как козел, исполняющий роль в греческой трагедии. Не козлиная песнь Иконникова сейчас нас интересует, а козлиная песнь как таковая! — продолжал министр, весьма польщенный, что его тонкая шутка про козла и козлиную песнь (так переводилось с древнегреческого слово «трагедия») вызвала улыбку на лице образованного Василия Федоровича, при этом мелькнула у него мысль, что, вероятно, зря он сам послушался во время оное де Местра и вычеркнул из программы преподавание греческого языка, не мешало бы лицеистам его знать. — Так вот, способствуют ли театр и театральные представления развитию юношества, не отдаляют ли они его от целей высоких и благородных, которые должны ставиться ему в путеводительство? Следует ли нам, их наставникам, в дальнейшем поощрять сии интересы или надлежит, проявляя о них заботу, запретить дальнейшие спектакли?

— Ваше высокопревосходительство, — снова осмелился обратиться к министру Малиновский, — мне кажется, сей случай не является типическим, это действительно стече-

ние обстоятельств, излишнее возбуждение, патриотический подъем, одним словом, я принимаю на себя всю вину, потому что за повседневными заботами не удосужился побывать на репетиции, провести инспекцию... В дальнейшем...

— И все же, Василий Федорович, я должен данной мне государем властью запретить всякие представления в Лицее... Во всяком случае, до особого распоряжения... — смягчил он свой приговор. — Что же касается гувернера Иконникова, то с ним нам придется расстаться... Жаль молодого человека, но делать нечего...

Василий Федорович покивал головой.

Под дверью большого зала, в котором хорошо было слышно каждое произносимое слово, подслушивали два брата Пилецкие. При последних словах министра они переглянулись.

Мартын Степанович перекрестился — он не любил Иконникова за излишнюю самонадеянность, либерализм и склонность к алкоголю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

*в которой лицейский дядька Матвей совершает
ночной обход. — Господа попердоват, Господи помилуй.
— Осень 1812 года*

Дядька Матвей шел по коридору в последний обход, останавливаясь и прислушиваясь у некоторых зарешеченных окошек дортуаров воспитанников. Услышав шорох или подозрительный звук, он одним глазом пытался заглянуть в щель окошечка, а другой, косой его окуляр странно и оттого полубезумно поблескивал при этом в свете масляных ламп, через одну горевших в простенках по коридору. Прокашливаясь перед окошком, он задавал один и тот же от веку неизменный вопрос, который лицеист Пушкин увековечил в рефрене своего стихотворения:

— Господа, попердоват, Господи помилуй?

Господа, разумеется, уже спали и ответа на вопрос обыкновенно ему никто не давал. Разве что одна-другая пущенная трель услаждала его слух и подтверждала его sacramентальный вопрос. Господа попердоват! Тогда он улыбался глупой бессмысленной улыбкой.

Дойдя до конца коридора, кривой Матвей свернул в закуток, где стоял его продавленный диванчик с резной ореховой спинкой, и как подкошенный рухнул на него, ловко, на лету, завернувшись в тулупчик, вечное покрывало простолоюдина: лишь остались торчать наружу ноги в шерстяных серых носках грубой деревенской вязки.

Через некоторое время раздался от него характерный звук пущенных ветров.

Господа попердоват, Господи помилуй! Позволь и нам, грешным рабам Твоим!

В коридоре воцарилась смутная тишина, в которой были растворены звуки из спален, шорохи, случайные вскрики и бормотанье воспитанников во сне, шип и потрескивание фитилей в лампах, завывание ветра за окном, дальний лай собак на позднего прохожего. Скрипнула и приоткрылась одна из дверей и белая фигурка в одном исподнем побежала вдоль номеров, шлепая босыми ногами по недавно выкрашенному полу. Ветерком колыхнуло пламя одной из масляных ламп, запрыгала тень на стене. У номера сорок третьего фигурка остановилась, прислушиваясь. Оттуда доносились всхлипывания.

В этом номере жил Николай Корсаков, жгучий красавец со смоляными волосами, с нежной, ранимой душой. Он плакал по ночам, вспоминая свой дом в Москве, и плакал уже не впервые. Дверь приоткрылась, и его позвали шепотом:

— Николя! Это ты? Ты плачешь?

— Костя? Ты? — в свою очередь узнал в кромешной темноте Гурьева Корсаков и обрадовался. С товарищем ему сразу стало не так одиноко. Гурьев проскользнул в комнату и притворил за собой дверь.

— Ты чего плачешь? — повторил свой вопрос Гурьев, и Корсакова словно прорвало:

— Москву-у жалко-о! — завыл он.

— Чего жалко? — не сразу понял Гурьев.

— Москву-у... Сгорела матушка... — закончил он совсем по-бабьи.

— А-а! — с уважением перед чужим горем протянул Гурьев. — Оно понятно. Жалко белокаменную. Но отстроится! — успокоил он однокашника. — Не убивайся. Не впервой: горела и гореть будет! — Успокаивая его, Гурьев скользнул на

кровать, по дороге задев ногой гитару, стоявшую в ногах у спинки кровати; она жалобно звякнула.

Корсакову пришлось потесниться на узкой кровати, пока Гурьев устраивался рядом, прижимаясь к нему и шепча:

— У-у-у! Холодище, замерз... А ты такой теплый! — Гурьев слегка приобнял его, и была в его прикосновении какая-то родственная теплота, отчего Корсакову стало легче на душе.

— А если тебя здесь застанут? — на всякий случай попытался он предостеречь Гурьева.

— А-а! — отмахнулся тот. — Матвей спит как младенец... Только попердоват.

Оба тихо засмеялись, и между ними возникло теплое чувство двоих заговорщиков, обманувших судьбу.

— Его теперь из пушки не разбудишь, — добавил довольный Гурьев и осторожно погладил Николая по ноге, задрав рубаху, в которой тот спал.

— Не разбудишь, — согласился Корсаков. — Матвей счастливый.

Они помолчали, и Гурьев в это время повертелся, потерся об его плечо и даже подышал в ухо. Корсаков не видел Гурьева, и ему представилось, что рядом лежит не он, а кто-то другой, и он почувствовал, как от теплоты чужого тела в нем стало нарастать желание.

— Тебе сны снятся? — спросил он Гурьева срывающимся голосом.

— Бывает, — отвечал Гурьев. — Но я чаще всего не помню, про что, так, одни ощущения...

— А я помню, как еще помню. Мне женщины чаще снятся. Горничная Параша в Москве, я в девичьей ее голой видел, тело мраморное, белое, аж глаза зажмуришь от света.

— От какого света? — удивился Гурьев.

— От нее свет такой исходит. Я, бывает, пока не засну, все о ней думаю, а потом уже забываю и не могу понять, снится мне она или я о ней думаю. А потом и не она уже вовсе, а другие бабы, разные, то спиной ко мне повернутая, то на коленки станут... Можно с ума сойти.

— На коленки — это раком! — Корсаков хихикнул. — А чего ты мучаешься? — понимающе усмехнулся Гурьев. — Это полная ерунда. Я тебя научу, как избавиться от наваждения...

— Молиться? — искренне спросил Корсаков.

— Молиться?! — удивился Гурьев. — Мы же не монахи. Когда нас еще из Лицея выпустят. Девочек тут нет. Надо самим обходиться... — Он зашевелился под одеялом, и Корсаков вздрогнул от прикосновения его прохладной руки.

— Ты чего, Костя? — спросил он срывающимся голосом.

— Тихо, Николенька. Ты же хочешь? Не пробовал еще? Ну дай хуй сюда, ну дай! Вот так, дрочи — не бойся... Хуй не отвалится! Токмо крепче будет. Приятно?..

Дядька Матвей проснулся и присел на диванчике, тупо покачиваясь из стороны в сторону. Приоткрыл он только один кривой свой глаз, но и тем ничего не видел. Резко мотнув головой, он хотел было встать, но вместо того снова рухнул лицом к спинке дивана, сморенный сном.

— Господа попердоват, Господи помилуй!

Он спал и не видел, как еще из одного номера в другой перебрался воспитанник. Воспитанники лицея часто бегали по ночам друг к другу. Заведение было закрытое, мужское, с плохо поставленной дисциплиной. А природа берет свое. Всегда и везде. Особенно в закрытых мужских заведениях. Кто из них первый начал, трудно было сказать, да они и сами того не знали. Доподлинно известно только, что Костю Гурьева развратил еще дома учитель француз, почти ежедневно удовлетворявший с ним свою страсть и так его распаливший, что жить теперь Костя без этого не мог и даже постоянно держал у себя под матрасом коробочку с вазелином, которая, впрочем, не всегда была и нужна. Получалось и без вазелина. Чаше Костя предлагал себя, и едва ли не каждый второй в лицее обнимался с ним ночами. Но Корсаков нравился ему особенно, он давно за ним ухаживал, с настойчивостью, которая вот-вот будет вознаграждена. Ему нравилась его не вполне сформировавшаяся фигура, почти чистый лобок, на котором только пробивались волосы, и мужское достоинство, которое еще нельзя было назвать вполне мужским.

Корсаков застонал и заплакал, уткнувшись в плечо Косте и целуя его. Костя простыней стал вытирать руку. Потом обнял и поцеловал Николеньку в губы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой надзиратель Пилецкий отчитывает перед всеми Есакова, а Пушкин призывает воспитанников сделать обструкцию надзирателю. — Учитель фехтования Вальвиль. — Корсаков у лицейского доктора Пешеля. — Вредно ли рукоблудие? — Молитва Комовского к Богородице. — Зима 1812 года

Лицеисты обедали в столовой. Посредине залы стоял Мартын Степанович Пилецкий с вечным скорбным лицом иезуита, рядом с ним — воспитанник Сеня Есаков.

— Господа воспитанники, вы все, разумеется, знаете о происшествии, случившемся с воспитанником Есаковым, — громогласно вещал Пилецкий. — Двадцать второго числа сего месяца он был обличен в том, что взял из комнаты воспитанника Пущина яблоко без его ведома. Господин Есаков весьма печалился об этом происшествии, в чем и высказал мне полное покаяние. Вчера господин Есаков от расстройств не обедал и не ужинал, сегодня, облегчив душу...

— Он может набить свое брюхо, — буркнул Пушкин себе под нос, но многие его услышали и рассмеялись.

— Вы что-то сказали, господин Пушкин? Что-то остроумное? Или мне послышалось? — взвился, хотя и проговорил как можно спокойней, надзиратель Пилецкий.

— Вам послышалось, — отвечал Пушкин.

— Э-э! — потянул Пилецкий, припоминая, на чем он остановился, но так и не вспомнив и мысленно выругав подлеца Пушкина, продолжил: — Я думаю, мы простим господина Есакова. Его проступок есть простительное детское легкомыслие, излишняя склонность к лакомству, но будем помнить, что с маленьких проступков начинаются большие несчастья.

Пилецкий закончил и обратился к Есакову:

— Садитесь, господин Есаков, за общий стол в самом конце. Думаю, что скоро вы займете место много выше, среди самых достойных воспитанников.

Еще раз окинув начальственным взором обедающих воспитанников, Пилецкий вышел из столовой, прямой, надменный, с негнувшейся спиной, знаком вызвав за собой

дежурного гувернера Фотия Петровича Калинича. Тот вышел с недовольной миной на глупой морде, по своему обыкновению презрительно ухмыляясь.

— Блажен муж, иже сидит к каше ближе! — экспромтом сказал Саша Пушкин.

Действительно, по установленному порядку, ближе к раздаче каши сидели лицеисты примерного поведения: Модинька Корф, любимец начальства, князь Горчаков, мальчик настолько независимый, что мог себе позволить быть примерным, хотя никогда себе такой цели и не ставил, еще некоторые, впрочем, настолько стертые серые личности, что и упоминать о них не стоило. На нижнем конце стола сосредоточились возмутители спокойствия: Егоза Пушкин, взрывная смесь обезьяны с тигром; долдон Ваня Малиновский, усатый переросток, в вечно коротком ему мундире; сонный барон Дельвиг, который шалил, по словам одного из гувернеров, даже во сне; Данзас-тугодум, по неповоротливости мышления всегда оказывавшийся среди самых бойких; на сей раз между ними сидел и Кюхельбекер, обыкновенно не принимавший участия в шалостях, но по необузданности характера иногда попадавший в переделки, совсем не соответствующие его душевному складу, нежному и ранимому сердцу, воспитанному на немецкой литературе и немецкой сентиментальности. К ним присоединился, несколько тушуясь, и Есаков, сел бочком на свободный стул.

— Сколько мы будем терпеть этого омерзительного ханжу? — обратился Пушкин довольно громко к товарищам, пользуясь тем, что гувернер вышел из столовой. — Он позволяет себе непростительные вольности в обращении с нашими сестрами и матерями, когда они посещают Лицей. Тому есть много примеров. Он дает прозвища нашим родителям. — Когда он говорил это, товарищи знали, что говорит он не о себе, потому что Пушкина родители не посещали. — Наконец, он из товарищей наших делает фискалов...

Пушкина внимательно слушали сидевшие рядом с ним Малиновский и Дельвиг, а издалека косил глазом буйный Мясоедов, по иронии судьбы сегодня сидевший ближе к примерным членам лицейского общества. Ноздри его раздувались.

— Действительно! Только подлецы могут терпеть его и общаться с ним, — жарко поддержал его Кюхельбекер. —

Верно, Саша, надо объясниться с ним раз и навсегда! И немедленно!

В столовую вернулся гувернер Калинич, с высоты своего немалого роста окинул столовую взором, воспитанники попритихли.

Обед закончился, и все стали подниматься из-за стола.

Разговор продолжался уже в коридоре, где сгрудились воспитанники.

— Все, о чем вы говорите, совершенно неприлично и недостойно порядочного человека! — рассудительно говорил Модест Корф. — Нам надобно учиться и думать о будущем, а не обсуждать учителей и наставников наших!

— Ну, твое-то мнение, Модинька, мы знаем! Вечно законопослушный барон Корф! — съязвил Пушкин.

— Да, законопослушный! — подтвердил его слова сам Корф. — И горжусь этим, Корфы всегда служили России.

— Ну уж так сразу и России! И давно ли? И двадцати лет нет, как Курляндия присоединена к России, — усмехнулся Пушкин. — Хотя я тоже придерживаюсь мнения, что не следует делать обструкцию господину надзирателю.

— Господин надзиратель поставлен заботиться о нас, — напомнил Есаков.

— Ты — льстец, Сенька! — толкнул его в бок Мясоедов. — Тебя простили, вот ты и запел по-другому. Нечего было по чужим комнатам шарить.

— Больно речист, а на руку нечист! — рассмеялся Малиновский. Его остроте рассмеялись и другие.

Есаков ступавался и отстал от двинувшихся по коридору воспитанников.

— Француз, напиши на него эпиграмму! — предложил Данзас.

— На кого? — усмехнулся Пушкин. — На Сеньку? Да он славный малый.

— Да на святошу нашего, Пилецкого... — пояснил Данзас. — У тебя здорово получится.

— Да я его на дуэль бы вызвал! — вспыхнул Пушкин. — Сегодня он, подлец, на лестнице говорил дерзости Катеньке Бакуниной. Я видел, я еле стерпел...

— Готов идти к тебе секундантом! — сказал Данзас.

Пушкин хлопнул его по плечу.

— Я бы его вызвал, да чем он драться будет? Крестом?! — усмехнулся Пушкин.

Воспитанники рассмеялись. Мартын Степанович был набожен, если не сказать фанатик.

Учитель фехтования, или, как он официально именовался, «фейхтмейстер», прибывший в Лицей еще в июле обрусевший француз Александр Александрович Вальвиль, по средам и субботам давал уроки фехтования. В Лицее, в отличие от других учебных заведений, эта дисциплина была обязательной.

Месье Вальвиль держал в руках рапиру и говорил несколькими ученикам, стоящим перед ним с рапирами же в руках:

— Еще раз повторяю, рука при фехтовании имеет только три положения: *quarte* — ногти кверху, *tierce* — ногти вниз, *moüeppe* — ногти вбок! — Рассказывая, он вертел рапирою и показывал эти положения. — Последнее положение нормальное, оно должно быть принято с самого начала фехтования. Попрошу, господа!

Он прошел вдоль строя, смотря каждому на руку, сжимающую рапиру, и кое у кого поправляя:

— Вот так, крепче пальцы. Сожмите руку! — Он отошел на прежнюю свою позицию, чтобы видеть всех. — Теперь встаньте, господа, в позицию *engard*!

Он показал, как это делается, продолжая урок:

— Правая рука согнута в локте, чтобы кисть приходилась на высоте плеча. Плеча, плеча, господин Дельвиг! Так. А конец рапиры — против глаза противника! Ноги согнуты в коленях и раздвинуты на два следа. Вот так. Посмотрите.

Лицейсты приняли такую же позу, что и он. С разной, впрочем, степенью успеха.

— Каблуки под прямым углом, корпус по возможности опирается на одну левую ногу. Впрочем, если принять итальянскую школу фехтования, то можно опираться и на обе ноги. Но мы с вами обучаемся французской школе, которая гораздо более разнообразна и действенна. Итак, опираясь на левую ногу, вы сохраняете прямое положение, левая рука поднята и согнута в локте так, чтобы ладонь, поднятая внаружу, приходилась несколько выше головы.

Он снова прошел мимо всего строя воспитанников, проверяя, как они исполнили его указание, вернулся на прежнее место и продолжил:

— Движения в этом положении — вперед, назад и выпад!

Он прыгнул вперед на несколько шагов.

— Главное, быстрая передача всего корпуса вперед на четыре следа. При согнутой правой ноге, правая рука вперед, ногтями вверх, все движения должны быть легки и свободны!

Он несколько раз показал лицеистам, как это делается.

— Начинаем все вместе!

Теперь воспитанники прыгали вместе с ним и кололи, и кололи, и кололи воображаемого противника. Пушкин представлял перед собой Мартына. Этого святошу! Подлеца! Который Бакуниной! Посмел! Говорить дерзости!

— Господин Пушкин, — похвалил ученика месье Вальвиль. — У вас неплохо получается.

Пушкин рванулся вперед, снова пронзил противника и засмеялся каркающим громким смехом победителя. Он любил побеждать.

Николай Корсаков в это время находился в кабинете у лицейского доктора Франца Осиповича Пешеля, словака из Моравии, давно уже, как и многие иностранцы, обретшего вторую отчизну в России. Франц Осипович был сравнительно молодой еще человек, лет тридцати, оплывший, однако, уже жирком, с брюшком, натурою весельчак, никогда не унывающий, уморительно говоривший по-русски, добрый человек, о котором плохо могли отзываться только его больные.

— А это не вредно? — повторил свой вопрос Корсаков. — Я так боюсь, что это повредит мне в будущем... Когда встанет вопрос о браке.

— Ну как вам сказать? — закатил глазки толстяк, а потом лукаво посмотрел на пациента. — Это есть, безусловно, истощение молодой неокрепший организм, но тем не менее многие вьюноши, даже ошень умный, практиковать, когда нет женщина!.. — Он рассмеялся. — Столько веков! Деторождению никак не мешать. Любовь не мешать! Я видел в петербургском зоосаде старый одинокий обезьян, оран-

гутанга его звать. Представьте себе, и он тоже... Природа... Любовь нет. Рукоблудие есть. Никто не нужен. Сиди и чеши хвост. — Он снова рассмеялся и пощекотал Корсакова. Тот вздрогнул от щекотки. — Вольноваться не надо. Ваш тофарищ — дурной человек. Бегите, бегите. Раз-два, раз-два! Уп-ражнения на воздух. Пуф-пуф! Не думай! Не думай! — Он постучал себя по голове. — Мальшики, много воображения. У вас сейчас класс фехтования. Раз-два, иди коли! — Он погрозил пальцем. — Тот ошень плохой мальшик, не дружи с ним. Хочешь бабьей кожи? — Он дико захохотал. — Она сладкая...

Корсаков так и не понял, что ему советует доктор Пешель, и поднялся, чтобы уйти.

В гимнастическом зале воспитанники под руководством месье Вальвиля отрабатывали удары. Часть воспитанников отдыхала, сидя на скамейках, поставленных вдоль стены зала.

Войдя в гимнастический зал, Корсаков первым, против своей воли, увидел Гурьева, который что-то восторженно рассказывал Корфу, заглядывая тому в глаза. Корсаков не стал подходить к ним, а остановился рядом с Комовским, который тоже следил за этой парочкой.

— Так! — захлопал в ладони и остановил всех месье Вальвиль. — Показываю теперь прием ангаже: как вывести рапиру противника из линии прямого удара. И прием дегаже, как нанести после ангаже ответный укол. Встаньте в пару со мной, господин Пушкин.

Пушкин подошел и встал насупротив фейхтмейстера.

— Господин Пушкин наносит мне прямой удар с выпадом, который мы теперь отрабатывали. Приготовились, господин Пушкин, начали!

Пушкин легко и свободно, на четыре следа, подскочил к месье Вальвилю и нанес прямой удар, как их учили. Так же легко и свободно месье Вальвиль провел прием ангаже, состоящий в переносе своего клинка под клинком противника и приложения сильной части своей рапиры к слабой противника. Тут же последовал прием дегаже, и месье Вальвиль показал укол на груди Пушкина.

— Теперь смотрите внимательно, — сказал фейхтмейстер. — Повторяю еще раз, только медленно. Прошу вас, господин Пушкин, тоже медленно.

И они повторили, один — свой выпад с прямым ударом, другой — защиту.

— Теперь встали в пары для ведения боя! Вы, вы и вы! Вы! — отобрал месье Вальвиль воспитанников, в число которых не попали Корф, Корсаков, Комовский и другие.

— Месье Вальвиль, извините, я был у доктора Пешеля, — сказал ему Корсаков.

— Хорошо, хорошо, — отмахнулся тот, он был увлечен своим уроком.

Комовский, увидев, что Гурьеву пришлось покинуть своего собеседника, приблизился к Корфу.

— Модест, — тихо сказал он барону. Тот посмотрел на него. — Вы по своей природной простоте не понимаете речей хитрых сих обольстителей... Как мне тяжело и невыносимо это видеть...

— Да каких же речей?! — возмутился Корф. — Каких речей? Мы с ним говорим о всяких пустяках.

— Ваша невинность... Яд похвал льстецов... Вы стали избегать меня... — шептал Комовский, и глаза его наполнялись слезами умиления. — А я всегда мыслил вас вернейшим до самого гроба другом...

Комовский проследил за взглядом Корфа и понял, что тот наблюдает за Гурьевым.

— Этот Гурьев — порождение ехидны! — бросил Комовский презрительно.

— Оставьте! — сухо сказал Корф. — Вам все представляется в неверном свете. Ваша мнительность начинает мне надоедать. Гурьев — мой друг, и мне не хотелось бы, чтобы вы говорили о нем столь неуважительно. Прошу вас, Серж, оставьте меня.

— Я четыре года, — взволновался Комовский, — был в таком училище и видел всякого рода детей, я только хотел предупредить вас о пропасти, в которую можно пасть... Я видел, как к вам пристает и Пущин, он говорил вам о вашей красоте...

— Оставьте меня, — еще раз оборвал его Корф и закричал: — Коли его! Коли!

Слезы выступили на глазах у Комовского, но уже не слезы умиления, а горечи и обиды, тем более обидной, что незаслуженной. В одно мгновение рухнула дружба, участь его была решена. Он ринулся вон из гимнастического зала. За

его спиной слышались крики возбужденных воспитанников и удары ног по деревянному полу.

Комовский вбежал в свой 35-й номер и упал с рыданиями на кровать. Как объяснить ему, своему другу Модесту, что перед ним развратники, что гореть им в геенне огненной, и первыми туда попадут два приятеля, Пушкин и Пущин. Ему особенно было неприятно внимание Пушина к Модесту. Стоило ему вспомнить, как Пущин в бане, поигрывая яйцами, показывал Модиньке свой предмет, как краска заливала его лицо. Да и Егоза Пушкин был ненамного лучше, со своими стихами матерного содержания, которые он читал на каждом шагу. Иногда Лисичке приходило в голову доложить инспектору об этих стихах, но Пушкин был хитер, все стихи держал в голове и другим запретил делать копии. Саша Горчаков любил хвастать, что единственную копию «Тени Баркова», которую переписал своим отчетливым почерком Костя Данзас, он на глазах остальных сжег. Горчаков всегда проявлял себя дипломатически. Этим он защитил не только Пушкина, но и всех других, в том числе и себя, от неприятностей.

Немного успокоившись, Комовский встал и опустился на колени перед образом Богородицы, висевшим в его комнате. Это была икона, которой его благословила родная матушка и к которой он всегда обращался в трудные минуты.

— Я спасу его, — прошептал он жарко. — Ценою любой жертвы я спасу его от гнусных людей, которые всеми силами пытаются развратить его. — Он перекрестился истово и обратился уже к Богородице, взирая на ее иконописный лик: — Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Слезы умиления от молитвы, вознесенной к Богоматери, текли по его лицу. Ему стало легче. Он знал много молитв, но эта была одной из его любимых, всегда приносившая облегчение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,

*в которой господа лицейские прощаются с гувернером
Иконниковым, изгнанным из Лицея, граф Ростопчин
сжигает свое имение Вороново, а воспитанник Есаков
рыдает на груди гувернера Ильи Степановича
Пилецкого. — Зима 1812 года*

Начиналась зима, морозы ударили как-то вдруг, без долгой и муторной осенней подготовки. Желтые листья с деревьев, не успевшие попадать в короткую осень, теперь продолжали еще осыпаться на снег. Возле саней, а санный путь стал в этом году небывало рано, топтался мужик в тулупе и с кнутом за поясом. В санях уже лежал большой деревянный чемодан изгнанного из Лицея гувернера Иконникова.

Воспитанники Дельвиг, Пушкин, Пушин, Илличевский, Кюхельбекер, Малиновский прощались с любимым гувернером. Провожал его и старший друг Сергей Гаврилович Чириков, кутавшийся в длинную шубу, крытую бархатом, но старую, с кое-где уже повылезшим мехом на воротнике. Казалось, что шуба досталась ему от кого-то по наследству.

Пушкин прыгал на месте: был он раздет, в одном мундирчике.

— Шли бы вы домой, Александр Сергеевич, — предложил ему Чириков. — Не ровен час схватите простуду.

— А мне сказывали, что государь на Иордани всегда бывает в одном мундире. До Иордани вон еще сколько времени. Надобно закаляться, — отвечал, подпрыгивая, бойкий подросток.

— Нынче зима ранняя... Студеная! — возразил ему Чириков.

— Ну, что ж, господа, не поминайте лихом, я буду вам писать. Давайте, по русскому обычаю, поцелуемся, — предложил Иконников и бросился обнимать каждого воспитанника, действительно целуя. При этом каждый мог почувствовать, что от него с утра уже пахнет зеленым вином. Искренние слезы навернулись у изгнанного гувернера на глазах. — Прощайте, друзья!

— Прощайте, Алексей Николаевич!

— Вы мне позволите, господа, участвовать в вашем журнале? Быть вашим корреспондентом? Я без вас, господа, буду чувствовать свою жизнь неполною! — Он несколько раз кряду всхлипнул. — Как мне грустно, господа! Вы меня не забудете?

— Полноте, Алексей Николаевич! — с укоризной сказал ему Большой Жанно и даже похлопал панибратски по плечу.

— Мы будем вас помнить! Приходите к нам, приезжайте... Вам никто не может запретить в дни, положенные для посещений. Наконец, пишите — сие никому не возбраняется.

— Э-эх! — отчаянно махнул рукой Иконников и полез в сани.

Мужик стал закрывать полость.

— Бегите, господа! Бегите! — сказал Иконников.

И они побежали, а сани двинулись по Садовой, потом свернули на Петербургскую дорогу.

Воспитанники наперегонки бежали к дверям Лицея. На крыльце стоял Илья Степанович Пилецкий, который при их приближении скрылся.

— Пошел докладывать братцу, кто провожал Алексея Николаевича! — усмехнулся барон Дельвиг.

Вслед за воспитанниками мелкими шажками в своей длинной шубе семенил по дорожке к Лицею Сергей Гаврилович.

— Господа, подождите! — догнал он их. — Я давно хотел поговорить с вами. Здесь удобно, нету стен, а стало быть, и лишних ушей. — Он развел руками. — Мне, понимаете, хотелось сказать вам конфиденциально. Вы замышляете заговор против господина инспектора... Только ничего не говорите! Я знаю! — замахал он руками, опасаясь услышать возражения. — Сразу должен вас предупредить — не стоит, господа! Он примет меры, и зачинщики будут наказаны, вплоть до увольнения из Лицея. Вам, господа, на всю жизнь пятно останется. Ни в службу, ни в гвардию не возьмут. Карьера рухнет. Вы еще малоопытны, послушайте меня, старика. Я добра вам желаю и люблю вас, поверьте, как детей своих...

— Кто сказал? — вскричал Кюхля, выпучив глаза, что было у него признаком чрезвычайного волнения.

— Успокойся, Кюхля, — попросил его Жанно.

— Это мог быть кто угодно, — сказал Пушкин весьма равнодушно. — Но это ничего не меняет.

— Как это, кто угодно? — волновался Кюхля. — Ты не понимаешь, это непременно надо выяснить. Если среди нас есть человек, который может так поступить, мы должны поставить своей целью его выявить.

— Это вполне можешь быть и ты, Кюхля, — усмехнулся Жанно. — Поэтому не надо так много эмоций!

— Что ты сказал? — возопил Кюхля. — Что ты сказал? Ты, который считался моим другом?! Как мог у тебя язык повернуться? Да я... Я... — Он не нашелся, что ответить, и бросился наутек, уже не сдерживая слез.

— Зря вы ссоритесь, господа, — покачал головой Сергей Гаврилович. — Зря...

— Я знаю, откуда ветер дует, — сказал Ваня Малиновский.

Знали, откуда дует ветер и в подмосковной графа Ростопчина Вороново. Истинным автором спектакля о нашей жизни Наполеона, из-за которого пострадал Иконников, был именно он, в свете всегда блистательно говоривший только по-французски, а с русскими мужиками на их природном языке; и теперь он ставил последний (героический) акт этого действия. Присутствовали иностранные гости — генерал Вильсон, свита и ростопчинская челядь. Все же крестьяне, в числе тысячи семисот двадцати человек, накануне отпросились у Ростопчина оставить свои дома, кости предков и пожитки, дабы уйти от неприятеля в другие имения графа в глубине России. И ушли.

Вильсон в своем красном мундире сидел на французской лошади, накануне присланной ему в подарок Милорадовичем, трогал кавказский кинжал в ножнах покойника Багратиона и смотрел на действия Ростопчина, преисполненные поистине римского величия. В доме остались мебели, люстры, библиотека, собранная графом за многие годы. Прекрасная, а Вильсон знал в этом толк, бронза, фарфор, итальянская керамика, которой он вчера восторгался, запасы вин в погребах, посуда в поставцах, всего не перечислишь. Вильсон считал про себя, что имущества в доме не менее чем на сто тысяч фунтов, и сама мысль о том, что

должно сейчас произойти по замыслу графа, приводила его в священное содрогание.

— А хотя бы и проебал он Москву, а девкой гулящей Россия не станет! — закричал граф. Ростопчин был среднего роста, круглого лица, немножко курнос и при том, что нехорош собою, приятен и умен на лицо; глаза его блистали проницательностью и остроумием, широко выдававшийся лоб показывал твердость воли. Чего-чего, а решительности у него было не занимать. — Блядью Россия не будет! Под супостата не ляжет! Пизду не вывернет и раком не станет! Скорее раком самого Наполеошку поставим. Не правда ли, мужички?

Поднимался ветер, словно для того, чтобы отрезать всякие пути к отступлению. Вздымалась грива на ростопчинской лошади, и он вертелся на ней вьюном, выкрикивая свою яростную матерщину. Даже мужики поеживались от его слов. Лошадь Ростопчина скользила на мерзлой земле, всадник продолжал ядрено материться:

— Поставим раком Наполеошку?

— Поставим, батюшка!

— А Рассеюшка, батюшка, под него не ляжет! — вторили ему мужики. — Мы француза на горячий кол посадим и яйцаотрежем!

Ростопчин захохотал вместе с мужиками.

— Верно! А без яиц француз — не француз, а каплун ошипанный! — сказал он весело мужикам и перевел свои слова Вильсону.

Тот кисло и принужденно улыбнулся в ответ.

— Тогда, зажигай! — махнул рукой Ростопчин мужикам и повернулся к Вильсону: — Смотрите, сэр, каков у нас в России бывает фейерверк!

С наветренной стороны мужики подпалили сложенные кучи, огонь взлетел сразу до второго этажа, и вскоре запылали стены, несколько молодых парней пробежали внутри дома и зажгли портьеры на высоких итальянских окнах. Огромный дворец запылал одновременно со всех концов и изнутри. Пламя загудело ровно и мощно, затрещало дерево, стали стрелять стекла, повалил дым. На крыльце и фронто- не стояли гигантские статуи атлантов и коней. Огонь стал охватывать и их.

Ростопчин молча сидел на лошади, когда к нему приблизился один из крестьян, не ушедший с остальными.

Ростопчин заметил его и спросил:

— А ты чего не ушел со всеми, Василий?

— Француза бить буду. Я вот только сомневаюсь, батюшка Федор Васильевич, отмолю ли потом грех?

— Убить француза, — сказал ему Ростопчин, — греха нет. Это дело богоугодное.

Крестьянин заулыбался, потом спросил уже хитро, но с надеждой:

— А скажи мне, батюшка, коли француза перебьем, отпустишь меня на оброк?

— Что, тяжела барщина? — поинтересовался Ростопчин.

Крестьянин помялся, прямо не отвечая.

— Не отпущу, — сказал Ростопчин. — Разврату только наберешься в городе, потом болезнь французскую в деревню притащишь. Не отпущу! Не проси!

Тут они заметили, что к ним скачут двое. Это были гонцы с вестью, что французы повернули по другой дороге и здесь не пройдут.

— Что ж, Бог дал — Бог взял! — сказал граф Ростопчин, внешне не выказав ни малейшего сожаления.

Они еще некоторое время стояли и смотрели, как рушатся статуи. Ростопчин про себя подумал, что теперь никто не скажет ему слова упрека за Москву из-за того, что огонь пощадил его московский дом.

В рекреационной зале играли в мячи несколько воспитанников: Данзас, Гурьев и другие. Среди них выделялся ростом и силой Малиновский, но маленький, юркий Комовский хитростью и ловкостью, недаром был прозван Лисою, завладел мячом. Однако торжество его было недолгим, мяч у него выбили, и он укатился к ногам стоявшего в стороне и не принимавшего участия в игре тихони Есакова. Он быстро подхватил его и только собрался вступить в игру, как к нему подскочил не на шутку разъяренный Малиновский.

— Дай сюда мяч, ты не играешь!

— А что, нельзя? — спросил Есаков, спрятав мяч за спиной.

— Нельзя! — закричал Малиновский и толкнул его.

— А почему? — обиделся Есаков, по-прежнему удерживая мяч за спиной.

— Я тебе рожу сейчас разобью, тогда узнаешь почему! — заорал Малиновский.

— Дай ему, Казак! — закричал издалека один из воспитанников, принимавших участие в игре.

— Да брось его, Ваня, — сказал Комовский.

Есаков стоял и все не отдавал мяча, удерживая его за спиной.

Видя заминку в игре, вразвалочку приблизился Мясоедов, подтянулись и другие. Ловкий Комовский на бегу выхватил из рук Есакова мяч, и сразу за ним бросились остальные, забыв про Есакова. Игра продолжалась с воплями, толкотней и случайными тумаками.

Однако упрямый и злопамятный Мясоедов остался на месте и, приблизив к Есакову свое большое лицо с низким лбом и узкими глазами, мрачно посоветовал:

— Сеня, пойди вылижи задницу господину инспектору!

Лицо у Есакова вдруг скривилось, и от всего пережитого он заплакал в голос, сам от себя этого не ожидая. Мясоедов тоже несколько удивился этому и, лишь когда Есаков, круто развернувшись, бросился вон из залы, он расхохотался ему вслед с видимым облегчением.

Задышавшись от плача, Есаков вбежал в комнату Ильи Степановича Пилецкого-Урбановича.

— Что мне делать?! — кинулся на грудь Илье Степановичу расстроенный Есаков. — Они меня не любят! За что? Они говорят, что я — лстец! А какой я лстец? Я просто пытаюсь говорить правду о господине инспекторе! Они не любят господина инспектора, но ведь правда есть правда? Скажите, душенька Илья Степанович? Я не могу больше так!

— Я знаю только одно средство, — после некоторого раздумья отвечал Илья Степанович. — Надо обратиться к господину директору и довести до его сведения все происшедшее.

— Нет, я не могу этого сделать, они еще больше меня невзлюбят, и господин директор огорчится. Там ведь был его сын! — возражал Есаков. — Мне придется покинуть Лицей, не будет мне в нем житья. Осталось только просить милую маменьку, чтобы она забрала меня отсюда. — Он снова столь безутешно разрыдался, утыкаясь в живот гувернеру,

что сердце Ильи Степановича заболело от сострадания. Он нежно погладил по голове Есакова.

— Несчастный мальчик...

— Илья! — в комнату вошел Мартын Степанович. — Ах, извини, Илья, у тебя беседа, я не знал. Вас кто-то обидел, господин Есаков?

Тот поднял на него заплаканные глаза.

— Не говорите. Не надо спешить! — упредил его слова Пилецкий. — Сначала проверьте в своем сердце.

Мартын Степанович вышел со словами:

— Я зайду к тебе позже, Илья.

— Какой он деликатный человек — господин инспектор, — сказал, потупившись, Есаков. — А мы... — Он не договорил, не выдержал и снова заплакал. — Такие злые, такие злые...

— Я знаю, есть одно, как мне кажется, вернейшее средство, — попытался мягко наставить воспитанника Илья Степанович. — Вы скажите своим неприятелям, что, ежели они не перестанут вас поносить, вы явно принесете на них господину директору жалобу, таким образом вы предупредите их о возможных последствиях.

— Правда?! И вы думаете, это возымеет действие? — обрадовался Есаков.

— Думаю, да. Возымеет.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

*в которой Наполеон бежит из России в старом дормезе,
а Костю Гурьева по доносу Комовского изгоняют из
Лицея за греческие вкусы. — Декабрь 1812 года*

По зимней дороге в лесу, среди стреляющих от жестокого мороза деревьев неслась карета, запряженная шестеркой заиндевелых лошадей, сопровождаемая скромным отрядом охраны.

Наполеон ехал в дормезе, просторном экипаже, в котором можно было лежать и даже спать в дороге, ехал с маркизом Арманом де Коленкуром, польским офицером Вонсовичем, его адъютантом, и в сопровождении всего одного мамлюка-слуги. Поначалу их сопровождал отряд кавалерии

в пятьдесят сабель, но после Варшавы, в Пруссии, не осталось уже ни одного кавалериста, и приходилось брать местных жандармов, которые, тотчас замерзая, отставали от них.

Наполеон полулежал на расшитых подушках, скрестив под медвежьей шкурой свои ноги, и мирно беседовал с Коленкуром, излагая ему свои взгляды на прошедшую кампанию, на Европу и на будущее ее устройство. Он бросил свою армию, вернее, тот сброд, что от нее остался, и мало теперь о ней думал. Он не считал свой побег бегством. Подобные мысли не могли прийти ему в голову. Он ехал снова собирать войско и разбирал на досуге свои ошибки, нимало не заботясь о случившемся. Он не заехал в Вильну, набитую по госпиталям ранеными, только у городских ворот напился кофе прямо в карете. В Вильне его ждали натопленные комнаты, свежее надушенное белье, но он отказался от всего этого — спешил. Пока он пил кофе, окончательно замерз кучер, сидевший на козлах, свалился замертво; пришлось задержаться на некоторое время, пока подряжали другого, но даже эта заминка не вывела императора из добродушного, ровного настроения.

Дормез (а это был всего-навсего красный обшарпанный ящик — совершенная развалина, — поставленный на полозья, с четырьмя окнами в источенных червями рамах) подбрасывало на снежных надолбах, что не мешало императору вести размеренную беседу. Адъютант Вонсович почтительно слушал, Коленкур поддерживал разговор, по лицу мамлюка никогда нельзя было понять, понимает ли он вообще что-нибудь. Арман де Коленкур неотлучно находился при императоре с начала русской кампании и теперь, несмотря на случившуюся тогда в Вильне ссору, единственный сопровождал его после того, как тот бросил свою погибающую армию в снегах России. Наполеон ценил своего собеседника настолько, что в свое время запретил ему жениться на госпоже Андриенне де Канизи, фрейлине Марии-Луизы, которую удалил от двора, опасаясь, что жена слишком отвлечет его от особы императора. Наполеон считал, что любовь императора выше любой другой любви и отослал госпожу де Канизи от двора. Сам Коленкур был предан своему императору, окружал его неустанной заботой и однажды даже заслонил своим телом от разорвавшейся поблизости бомбы. Он был предан до того, что, когда Наполеон вы-

ходил из кареты, Коленкур всегда прыгивал первым и подавал императору подножку, словно простой камердинер или слуга. Но, как особо приближенный, он имел еще одно неотъемлемое право — право говорить императору правду.

Поляк Вонсович (некоторые называли его Вельсовичем и утверждали, что он был польский еврей) был фигурой настолько незначительной, что в разговоре никак не участвовал, а только иногда приподнимался со своего места и щеткой с серебряной ручкой сметал снег, попадавший в дормез из его щелястых стен. Иногда щетку брал Коленкур и сметал снег с другой стороны. Экипаж у императора был захудаленький, расплывшийся по швам.

— Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ, — говорил император, обращаясь к Коленкуру. — Вы хорошо знаете, что я много раз предлагал императору Александру мир, но не получил даже ответа. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может быть, я сделал плохо, что слишком долго там оставался, надо было выехать через четыре дня, как я хотел во время злополучного пожара, но от великого до смешного — только один шаг... и пусть судит потомство! — Он откинулся на подушки, зная, что сказал великую фразу, которую Коленкур непременно занесет в свой дневник.

Лошади вынесли их дормез из леса, и потянулись заснеженные поля, поля, поля...

На одной из станций, пока они ждали, что им принесут по чашечке кофе, они вышли размяться. Мороз все не спадал, и Наполеон, смотря на красную физиономию Коленкура, спросил:

— Как вы думаете, если бы нас арестовали, что бы они с нами сделали?

— Кто?

— Ну, хотя бы пруссаки.

— Думаю, могли бы и убить. Поэтому стоит подумать о защите, нас, по крайней мере, четверо — у нас есть шансы отбиться.

— Если бы нас взяли живыми пруссаки, они выдали бы нас англичанам. Представляю себе вашу физиономию, Коленкур, в железной клетке на площади в Лондоне!

— Разделяя с вами участь, государь, я бы не жаловался!

Наполеона стал разбирать неудержимый смех. Теперь он говорил отрывисто, сквозь приступы этого смеха:

— Чего уж тут жаловаться. Это вполне может случиться в самом ближайшем будущем. И я посмотрю, какую вы будете корчить физиономию в этой клетке, запертый, как негр, которого обрекли на съедение мухам, обмазав для этого медом...

Он хохотал еще с четверть часа, то и дело толкая Коленкура в бок:

— А? Весь в мухах!

Потом, неожиданно серьезно, завершил эту тему:

— Думаю, меня будут держать в заточении.

Шла величайшая война в истории человечества, величайший полководец потерпел сокрушительное поражение, так и не проиграв в России, по его разумению, ни одного сражения, а в Лицее происходили свои, не менее важные события. Смешно сказать, но воспитанники расстроились, когда не вышло путешествие на север. Вследствие отступления Наполеона угроза Царскому и Петербургу миновала, полушубков они более не видали, и в стенах лицейских разгоралась своя нешуточная война...

Дело было в классе, писали на заданную тему. Мартын Степанович Пилецкий шел по рядам и мимоходом взял у барона Дельвига листки, даже не спросив его.

— Это не для вас, господин инспектор! — сухо сказал ему барон Дельвиг.

— Я, как надзиратель по нравственной части, имею полное право... — вразумил воспитанника Мартын Степанович. — Ба! — заглянул он в листки. — Да это сатира на наших профессоров! Забавно, как любите вы говорить, господин барон...

— Как вы смеете брать наши бумаги! — вспыхнул Пушкин, вскакивая с места. — Стало быть, и письма наши будете из ящика брать?!

— Если понадобится... — начал подчеркнуто медленно инспектор Пилецкий, четко и внятно произнося каждое слово, — будем брать и письма!

— Я не желаю, чтобы кто-нибудь входил в мою частную жизнь! — закричал, срывая голос, Пушкин.

— Вы себе еще не принадлежите! — строго, все так же чеканя каждое слово, продолжал Пилецкий.

— Ну так я и вам не принадлежу! — бросил ему в лицо Пушкин и выскочил без разрешения из класса.

Пушкин и Дельвиг находились в лицейской библиотеке, которая располагалась в галерее, соединявшей Лицей с фрейлинским корпусом. Стеклянные дверцы одного из книжных шкафов были раскрыты и бликовали от солнца, попадавшего в окно. Друзья сидели за столиком у окна, заваленном книгами в изящных кожаных переплетах.

Внизу, на Садовой, стояла карета на полозьях, запряженная шестеркой лошадей в богатой сбруе. Кучер был в ливрее, имелся и ливрейный лакей на запятках.

К карете от Лицея подошла дама, которую сопровождал Пилецкий-старший. Она внимательно слушала, что он ей говорит. Следом дядька Леонтий Кемерский вел лицеиста Гурьева и нес его чемоданчик, который забрал у него лакей и прибрал сзади кареты в багаж. Судя по ливрейным слугам да по отличным лошадям, которые были запряжены в золоченую карету, Гурьевы были не из бедных, впрочем, за это говорил и тот факт, что крестным отцом Кости был великий князь Константин Павлович.

Дама стала прощаться с Мартыном Степановичем, а Костя Гурьев вертелся безучастно и смотрел по сторонам.

Дельвиг и Пушкин встали у окна во весь рост, чтобы лучше видеть.

— Костю мать забирает. Его Мартын застукал... — сказал Пушкин.

— За что его все-таки? — поинтересовался Дельвиг. — Разное ведь говорят...

Пушкин посмотрел на барона с интересом: действительно ли он настолько несведущ в этой истории.

— За греческие вкусы... Хорошо, что он сам никого не выдал... Слишком многих пришлось бы выгонять, — усмехнулся Пушкин.

— А с кем его застукали? — спросил Дельвиг.

— Если бы застукали, был бы второй изгнанник. А поскольку выгоняют одного Костю, то можно предположить, что на него донесли.

— Кто?

— Мне думается, Тося, это мог сделать Лисичка... Костю всегда тянуло к красавчикам, — разъяснил Пушкин.

— К Лисичке? — поднял вопросительно брови барон.

— Нет, к Модесту.

— Забавно... Значит, Лисичка ревнует к Модесту и доносит на Костю. Интрига. А сам?

— Там платоника... Ручаюсь! Модест слишком правилен, хотя тоже красив, как Аполлон Бельведерский!

— А я слышал, что в виде исключения и поскольку вина не доказана, Мартын предлагал наказать Костю розгами, но Костя отказался... Предпочел эскапизм, — рассказал то, что знал, барон.

— Что ж, очень может быть... Я бы тоже предпочел изгнание! — мотнул курчавой головой Пушкин. — Надоел этот монастырь!

Они помолчали, глядя вниз. Пилецкий все говорил и говорил что-то Костиной матерью.

— Если смотреть на это дело с философской точки зрения, — рассудительно сказал Тося, — то Костя для меня после этого открытия не стал ни хуже, ни лучше. А вот Пилецкого я по-прежнему ненавижу. Может быть, даже еще сильнее...

— Пилецкий — ханжа! И тем отвратителен.

Гурьев случайно посмотрел на здание Лицея и в окне библиотеки над аркой увидел двух мальчишек, которых он сразу узнал. Он радостно помахал им рукой. И увидел, что в ответ они тоже ему машут.

— Пушкин! — крикнул Гурьев. — Прощай!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

в которой император Александр I едет в Вильну к армии. — Казачий бивак. — Итальянский тенор Торкинио. — 7—10 декабря 1812 года

Седьмого декабря, помолившись накануне вечером в Казанском соборе, в девять часов утра император в открытых санях, четверней, выехал в действующую армию. Вез его, как всегда, любимый лейб-кучер Илья Байков, бывший с Александром Павловичем уже лет десять. Накануне

Илья подрался с императрицыным кучером, за что был посажен на главную гауптвахту, но Александру уже к вечеру пришлось освободить его, поскольку без него он не ездил. Илья сам всегда сидел на козлах, не пуская почтового ямщика, как было положено, — тот на станциях только запрягал лошадей. Илья никогда и никому не доверял везти государя.

В этом же санном поезде вместе с ним ехали сопровождавшие его обер-гофмаршал граф Толстой, граф Аракчеев, государственный секретарь Шишков, близкий друг государя генерал-адъютант князь Волконский, статс-секретарь граф Нессельроде, почти заменивший при государе Румянцева, который не был в отставке, но и не был при деле. Этот Нессельроде возник и выдвинулся не так давно и, как многие считали, благодаря случайности: он был простым статс-секретарем, сопровождал посла Куракина в Париже, а, вернувшись в Петербург при объявлении войны, неожиданно попал в фавор. Канцлер занимал свою должность только для виду. Государь работал с князем Гагариным, но молодой человек, которого государь очень любил, завел роман с Марией Антоновной Нарышкиной, что заподозрил государь при своем приезде из армии. Сославшись на здоровье, князь вышел в отставку. Тут нужные люди и подсунули государю Нессельроде, о способностях которого государь уже был наслышан, предварительно женив его на дочери министра финансов графа Гурьева и введя в определенный круг, — так сильные покровители доставили ему значительное место: начальника Походной дипломатической канцелярии. Никто не знал, даже канцлер Румянцев и сам посол Куракин, что в Париже этот незначительный дипломат уже играл значительную роль — через него шла секретная переписка с кузеном Анри, доставлявшим императору Александру сведения о Наполеоне и важнейших делах в государстве. «Кузен Анри» была кличка агента, под которой скрывался не кто иной, как сам Талейран, князь Беневентский.

Добирались они до Вильно трое суток, и почти во все время государь не выходил из открытых саней, что было удивительно при тогдашней стуже. Он лежал, завернувшись в огромный мужицкий тулуп и укрывшись медвежьей полостью. Государь не знал, что при подъезде к Вильне для его санного поезда проложили особую объездную дорогу, что-

бы вид тысяч и тысяч трупов и голодной полузамороженной нелюди, еще пытающейся ползти по обочинам на основной дороге, не расстроил его чувствительное сердце. В одном месте государева дорога все же выходила на основную, и, слава Богу, это случилось ночью, государь дремал и не видел.

Умиравший сброд, который раньше составлял великую армию Наполеона, стая на двенадцать языцех, ковылял, плелся и полз в сторону Европы, отогреваясь у горевших придорожных харчевен.

Некоторые из последних сил складывали из закоченевших трупов, как из бревен, укрытия от мороза и ветра и умирали там, прижавшись друг к другу и пряча на груди награбленные драгоценности, захваченные еще по усадьбам в Москве и под Москвой, и, может быть, последнее, что они видели, была оскаленная смертная улыбка их бывшего товарища, смотревшего со стены на их тихий уход. Потом появлялись люди с пейсами, которых не пугали улыбки замороженных, и выковыривали из трупов ножами спрятанные драгоценности и деньги. Бродили они ночами, днем же евреи сами ходить не решались, а посылали на промысел своих Сарр с детьми, и те под видом помощи наклонялись над умиравшими, протягивающими к ним руки несчастными, добывая их каблуками и палками и забирая то, на что умиравшие рассчитывали как на последнюю гарантию выживания: все те же драгоценности, золото, деньги.

Государь дремал в дороге под медвежьей полостью, спрятавшись с головой в высокий воротник тулупа, и снилась ему Вильна, уютный зеленый городок, тот последний бал в Закретах, в двух верстах от города, где танцевал он с фрейлиной Софией Тизенгаузен бесконечный польский среди цветущих померанцевых деревьев, а у девушки были такие невинные и в то же время такие порочные глаза. Государь ехал к армии, а думал о фрейлине, которая осмелилась перед Наполеоном показать к нему, Александру, свое расположение. Он знал, что ее братья воевали против его войск, в наполеоновском лагере, что старший снарядил на свой счет небольшой кавалерийский отряд, что отец ее вошел во временное литовское правительство, но его грела и радовала мысль, что София одна среди виленских дам оказалась ему настолько преданна, и за это он готов был великодушно простить ее вероломных и недальновидных родственников.

Государь видел в ее поступке нечто большее, чем просто гордость полячки, он усматривал в этом что-то относящееся до него самого, не государя, а человека, и готов был биться об заклад с самим собой, что так оно и было. Он возвращался к армии, чтобы вновь взять на себя всю ответственность за события, и ему предстояли многие дела, включая и одно неприятное — вручить светлейшему князю Голицыну-Кутузову, которому он перед отъездом в армию пожаловал титул светлейшего князя Смоленского, орден Георгия I-й степени, высшей воинской награды в государстве, учрежденной Екатериной, которой были удостоены до князя, кроме самой учредительницы, всего восемь человек, и каких: Орлов-Чесменский, Румянцев-Задунайский, генералиссимус Суворов, граф Рымникский и князь Итальянский, Потемкин... И вот теперь Кутузов-Смоленский, старик, проспавший всю кампанию, вравший своему государю напропалую (один Бог знает, чего Александру стоил хвастливый кутузовский бюллетень о победе, сменившийся известием о сдаче первопрестольной столицы), не сделавший ничего для поражения неприятеля и изгнания его из России, именно за это и должен получить Георгия I-й степени, высший военный орден. Государь не вспоминал и не вдумывался в то, что Кутузов из всех кавалеров ордена Георгия Победоносца стал единственным полным кавалером и, стало быть, три степени, до теперешней первой, он за что-то ведь получил.

«Как это было в сатирических стихах на последние события: Кутузов проспал, Чичагов прозевал, Платов прибежал, Витгенштейн наблюдал. Француз околевал, мужик защищал, голод истреблял, холод доконал, — вспомнил государь поданные ему князем Волконским стихи, ходившие по Петербургу в списках».

Государь ежился даже под медвежьей полостью и, засыпая, падал во мрак, с омерзением думая об общественном мнении, в угоду которому он делает все время уступки перед своими убеждениями.

Темнело зимою очень рано, и как-то в темноте наехали они в поле на казачий бивак, кругом дороги полыхали костры, вокруг которых собрались причудливо разодетые люди. Собирище представляло собой странную картину: бородатые мужики с серьгами в одном ухе, наряженные в мундиры

французских генералов с золотым и серебряным шитьем, под французскими батальонными и полковыми знаменами, с наверхиями в виде бронзовых орлов, развалились вокруг костра, пили дорогие французские вина, о чем свидетельствовали бутылки, в большом количестве валявшиеся в снегу, и слушали закутанного в пеструю шаль итальянского тенора из отбитого у французов обоза. Жаркая итальянская мелодия лилась среди заснеженных полей. Голос у певца был очень высокий, почти женский.

Казаки, а это были они, повскакали со своих мест и, узнав, что перед ними император, разразились приветственными криками. Государь сделал вид, что не замечает маскарада, ведь и сам он был одет далеко не по форме, а обратился к певцу по-французски с вопросом, как того зовут и как ему довелось оказаться в столь бедственном положении.

— Торкинио, — отвечал красноносый итальянец. — Эти доблестные ребята подобрали меня на большой дороге и отогрели, — указал он на казаков и потрогал такую же, как у них, серьгу в ухе. — Я тоже теперь казак!

— Как ты попал в Россию?

— Я прибыл с Великой армией. Я пел императору.

— Ну и что же ты ему пел? — поинтересовался государь.

— Он очень любил «Нину» Паиезелло, — отвечал певец. — Каждый вечер в Кремле он просил ее спеть. Может быть, вы возьмете меня с собой, генерал? — набравшись смелости, спросил итальянец. Он, кажется, так и не понял, кто перед ним. — Я вам тоже буду петь!

— Ты пел, а Москва горела? — печально спросил государь.

— Да! — воодушевился итальянец. — Горела. Жар был страшный. По улицам нельзя было ходить. Сверху сыпались головешки, пепел. Как будто извергался Везувий. Когда меня в первый раз вели к императору, то обвязали голову мокрым полотенцем. — Он обвернул шапку цветастой шалью, показывая, как это было, и захохотал.

Александр Павлович невесело усмехнулся вместе с ним, перевел взгляд на одного из казаков, рыжебородого красавца со странной серьгой в ухе. Присмотревшись, он понял, что у того в ухе болтается крест Почетного легиона. Государь снова усмехнулся и еще раз посмотрел на одноглавых брон-

зовых орлов с раскинутыми крыльями, венчавших навершия желтых наполеоновских знамен.

— Ну вот пой теперь, согревай моих казачков, — махнул рукой государь. — А Бог даст, доберешься до Вильны, ступай, братец, прямо во дворец, на кухню. Скажешь, что брат великого князя велел тебя накормить.

— Спасибо, мой генерал! — улыбнулся итальянец и, выполняя приказание, запел о прекрасной Нине.

Илья гикнул, четверня разом подобралась и рванула с места, сани понеслись, захрустел морозный наст, зазвенели-запели колокольцы под дугой. Отряд казаков на конях поехал сопровождать санный поезд государя. Они ехали с гиканьем, потрясая факелами и пиками с красными древками, украшенными лентами и флажками-флюгерами, хорунжевками, которые пронзительно засвистели и загудели на ветру. Во время атаки этот посвист и погудка наводили на неприятеля ужас своим слаженным напором, как и чернородые и волосатые, казавшиеся непомерно большими головы казаков, их дикие татарские крики и кривые янычарские сабли, доставшиеся еще от дедов и прадедов.

Дорога по полю поворачивала полукругом, и через некоторое время они увидели сбоку покинутые бивачные костры, и государю показалось, что он все еще слышит, как поет бедный Торкинио.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

в которой Старая Камбала нежится с Лушкой в постели. — Недовольство генералов. — Спектакль в честь Кутузова в местном театре. — Звезда и лента Георгия I-го класса фельдмаршалу. — Государь посещает госпиталь с генералом Вильсоном. — «Трупы врага хорошо пахнут». — Бал в честь дня рождения государя. — 11—12 декабря 1812 года

Все утро Кутузов провел в постели, никого не принимая. В спальне с вечера было жарко натоплено, и тепло до утра не выветрилось. Луша тоже не одевалась, а лежала с распущенными волосами, чесала ему спину. Светлейший капризничал, привередничал, несколько раз проваливался под дей-

ствием ее ласковых рук в сон, тогда Луша затихала, боясь его побеспокоить, но стоило ему пошевелиться, как она снова начинала плавные движения.

Он уже несколько дней жил в Вильне, в городе, который любил, в котором во времена своего генерал-губернаторства провел несколько времени. Он поселился во дворце, в тех комнатах, в которых жил прежде, с теми же знакомыми мебелью, со старыми слугами; он застал комнаты еще натопленными для Наполеона, но в которых тот так и не успел отогреться, бежав дальше, у заставы сменив лошадей. В привычной обстановке светлейший расположился комфортно, не так, как прежде в избах, где иногда ему с Лушей в пятистенке отводилась всего-навсего маленькая комнатка, а как-то раз пришлось спать даже за перегородкой. Давно уже он не спал на тонком белье.

В спальню никто не заходил, одна лишь Лушка, вывезенная из Валахии и бывшая его денщиком, имела к нему беспрепятственный допуск. Он знал, что в зале давно уже собрались офицеры, генералы, местная знать; знал, что сегодня прибывает в Вильну государь, что все обеспокоены его встречей; знал, но сам не спешил.

Он всегда все знал. Знал, что прозвали его в генеральском окружении Старой Камбалой, знал, что многие офицеры недовольны им. По разным причинам. Некоторые даже считали, что он крадет их победы. Ему доложили, что генерал Раевский говорил, будто светлейший украл у него почести, приписав себе его последние дела. Возможно, так оно и было. Но сам-то он считал, что победы подчиненных принадлежат прежде всего главнокомандующему. «Верно, я себя не забываю, но и других представляю к наградам. За Красное Тормасов получил Святого Андрея, а Милорадович — Святого Георгия II-й степени и Владимира I-й степени, и ежели обошел кого-то в этот раз, то в следующий раз уж не забуду. Ничего, пусть себе пока недовольствуют, молодые, они вечно недовольны, им вечно кажется, что их обошли по службе, что они сделали бы лучше, так пусть послужат, авось еще себе выслужат, а мне немного осталось, надо жене кое-что оставить. Чем больше побед, тем выше пенсия для супруги. А живет Екатерина Ильинична не по средствам».

Он знал, что государь, не любя его, был вполне доброжелателен к его жене, всячески ее отмечая. После Бородин-

ского сражения он пожаловал ее статс-дамой. Он стал думать, о чем бы попросить у государя после вручения ордена Святого Георгия. Что-нибудь для жены. Может быть, о французских пьесах. Она еще в Петербурге возмущалась, что их запретили ставить. «Я сама патриотка, но чтоб французский театр мешал мне любить свое Отечество, этого я не понимаю!» — говорила она мужу, тогда руководителю петербургского ополчения. Да, надо бы попросить, чтобы государь разрешил спектакли, хотя бы у нее в доме. Екатерина Ильинична будет довольна.

Он вспомнил про спектакль, который дали в его честь в местном театре. Сцена была украшена его портретом с перечислением всех побед, им одержанных: Бородино, Ярославец, Вязьма... Один шутник сказал даже, что раньше на этом месте висел портрет Наполеона с тем же списком побед: Бородино, Ярославец, Вязьма... Неудивительно, ведь во французских газетах, которые они здесь нашли, записные врали, журналисты, такая же падаль, как и наши, пишут, что под Ярославцем французы убили двадцать тысяч, взяли в плен тридцать тысяч, да двести пушек (только-то и всего!). Где они, эти двести пушек, когда они уже тогда своих лошадей подъедать стали?

Зимой как-то быстро темнело, можно было сказать, что и не светало. В зале слышались голоса, видно, что-то произошло, к нему стучали. Как выяснилось, государь через два часа должен был быть здесь и прислал гонца сообщить, чтобы не организовывали никакой встречи, поскольку он едет одетый по-дорожному. Но у фельдмаршала все давно было готово к этой встрече, надо было только встать, что он и сделал.

Через два часа Главнокомандующий светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский в парадной форме, со строевым рапортом в руке стоял у Дворцового подъезда в Вильне с почетным караулом от лейб-гвардии Семеновского полка.

Город был иллюминирован. Вензеля «N» заменены на «A», одноглавый французский орел уступил место двуглавному российскому, а в остальном украшения остались те же самые, что готовились Наполеону. Мерзлые трупы несостоявшихся триумфаторов у самого дворца разобраны и переташены во дворы, где из них образовались огромные полен-

ницы смерзшихся вместе тел. Слава Богу, морозы не спадали и трупы не начали гнить. Однако для прочищения воздуха везде вдоль улиц были зажжены и курились дымом кучки навоза.

В пять часов пополудни показались на освещенной улице императорские сани, на облучке которых восседал бородастый Илья, и остановились у крыльца.

Император, выйдя из оных, прижал к сердцу фельдмаршала, который спустился к нему с крыльца, принял от него рапорт, приветствовал своих любимых лейб-гвардейцев Семеновского полка (в молодости он был их командиром и шефом) и услышал в ответ громкое «ура-а», после чего рука об руку с победоносным полководцем они вошли во дворец.

Пока раздевались, пока обогревались у камина, государь послал принести звезду и ленту Георгия I-го класса. У дверей стояла Лушка в казачьей форме, государь покосился на нее, но так и не понял, та ли это любовница, про которую ему доносили, а может, это смазливый малый, из бугров. Губы пухлые, невинные, знаем мы эту невинность. Глаза голубые... Но государь не дал волю своим мыслям, отогнал их, до такого фельдмаршал навряд ли мог дойти, хотя кто знает старого одноглазого развратника; всю жизнь провел он в походах, а известно, что походная жизнь делает из человека и куда он начинает косить своим единственным глазом. К тому же государю доносили, что в последнее время содомский грех, эта зараза, принесенная с Кавказа и с турецких войн, стала появляться в первую очередь среди казаков и гусар.

Кутузов стоял рядом с государем в его кабинете, оглаживая брюхо, и не сразу дал знак Лушке, чтобы она ушла. У него с любовницей было договорено, что сначала он даст ей рассмотреть государя вблизи, о чем она его упрашивала все утро. Теперь он был доволен, Лушка насмотрелась, а значит, вечером будет стараться: вот этими пухлыми губками. Он махнул жирной кистью руки, и она ушла, качнув бедрами, чем вызвала и в нем и в государе, что он искоса заметил, фривольные мысли.

Ни ленты, ни Георгия не нашли, о чем и сообщили государю, тот развел руками:

— Довезут, Михайла Илларионович!

— Да мне не к спеху, ваше величество! — пошутил фельдмаршал.

— А золотое Георгиевское оружие, пожалованное фельдмаршалу за Тарутино, здесь? — поинтересовался государь.

— Здесь, — ответил ему флигель-адъютант. — Все наградное оружие прибыло с нами. Ордена идут следом.

— Несите шпагу фельдмаршала.

Принесли золотую шпагу, украшенную крупными алмазами и изображением лавровых ветвей из изумрудов на эфесе. Кутузов принял ее из рук графа Толстого, долго рассматривал, читал пространную надпись в шпажной чашке, наконец, когда все устали от его молчания, поцеловал ее и вздохнул:

— Я счастлив, ваше величество!

Но государь понял, что Кутузову что-то не понравилось. Привередливый старик подсчитывал, верно, сколько стоит шпага. Пусть считает. Государь знал, что шпага стоит дорого, не помнил точно сколько, но помнил, что дорого, ибо документ об этом он сам подписывал, но скаредному старику, и это он тоже знал, все мало будет, сколько ему ни дай, а потому отвернулся и нарочито подчеркнуто занялся своими делами.

Кутузов откланялся, сам увлакивая с собой шпагу и грамоту, не доверив их никому из своих адъютантов. Следом за ним выскользнул граф Толстой и прошептал ему на ухо, что шпага дорога, стоит 25 125 рубликов, о чем имеется документ, но старик посмотрел на него строго и ничего не ответил.

Вечером Кутузов метался по спальне перед Лушкой. Рассмотревши хорошенько Георгиевское оружие, он нашел, что камни слишком малы, пытался ковырять изумруды на лавровых венках и кричал любовнице:

— Я не позволю со мной так! Мне особая шпага должна была быть! Особая! Я — Кутузов! Светлейший князь Смоленский! Я скажу об этом государю! Это оружие «За храбрость»!

И зачитывал вслух из грамоты:

— «Сей воинственный знак, достойно Вами стяжанный, да предшествует славе, какою по искоренению всеобщего врага увенчает вас Отечество и Европа!» Слышала? Отечество и Европа! А они камешков пожалели... Двадцать пять

тысяч! Где же здесь двадцать пять тысяч?! Врут, собаки! Я скажу государю, скажу!

Луша причитала и успокаивала его:

— Батюшка, помилуйте, как же? Самому государю... Так и скажете?... А камни вовсе не малы, вы это зря, батюшка, а даже очень велики. Как греческие орехи, — послынявила она пальчиком один из алмазов, за что тут же получила от светлейшего подзатыльник.

— Грех на царский-то подарок жаловаться, — все же возразила Луша Кутузову. Она была девка бедовая и старика не боялась. — Ну, а ежели мал, так то что ж: известное дело, мал золотник, да дорог!

— А вот и мал, сама сказала, просто мал! — ухватившись за ее слова, обиженно протянул, как ребенок, фельдмаршал.

— Так ведь я к слову, батюшка, к слову только...

— Мал! Для меня, фельдмаршала, мал, — плаксиво взвизгнул он. — Для меня, кто две армии, турок и французов, за один год заставил питаться кониной идохнуть с голоду! А кто обманул Наполеона, который удирает, обосравшись от страха? Кто? Кутузов! Для другого, может, и сошел бы такой подарок. А для меня мал!

Он снова взял шпагу и стал рассматривать, потом отложил ее:

— Пожались. Или камни подменили, украли! А может, и просто интриги! — Он то брал шпагу со стола, то снова клал ее. — С «Георгием» вот тоже... Не довели. Как же! Как бы не так! Так я и поверю...

Потом он, вздыхая, добрался до кровати, лег, потихоньку успокоился, брюхо его перестало колыхаться, тогда-то он и позвал любовницу:

— Ну иди сюда, Лушенька, доченька, поласкай папу. Иди, родная, бить не стану!

Однако на следующее утро «Георгий» все-таки прибыл. В окружении свиты, генералов штаба и флигель-адъютантов граф Толстой от имени императора поднес князю Кутузову на серебряном блюде орден Святого Георгия I-й степени и Георгиевскую ленту.

— Господа! — сказал император Александр, обращаясь отчего-то не к князю, а ко всем присутствующим. — Вы спасли не одну Россию. Теперь уже с уверенностью можно

сказать, что вы спасли всю Европу. Хотя нам еще предстоит долгий путь до Парижа! Именно здесь, в Вильне, настигла нас весть, что Бонапарт вторгся в пределы России, и здесь мы с чувством глубокого удовлетворения воспринимаем весть о том, что ни одного француза, способного держать в руках оружие, в наших пределах нет и не будет более никогда!

— Ура-а! — ответили ему генералы и флигель-адъютанты, почти так же восторженно, как и простые гвардейцы.

— Кроме тех, чьи мерзлые трупы остались в снегах России, — добавил он.

После вручения генерал-фельдмаршал объявил о бале, который он намеревается дать завтра в честь дня рождения государя, и пригласил офицеров. Государь благосклонно принял приглашение, хотя от себя считал, что теперь не время для балов, а потому давеча отклонил такую же просьбу местного дворянства. Старику же он не мог отказать, не так бы все поняли.

На следующее утро, в день своего рождения, 12 декабря, император Александр собрался посетить госпиталь, расположенный в Базилианском монастыре. Еще за завтраком ему принесли поздравление от графа Аракчеева, который заболел после проезда из Петербурга и не вставал с постели. Александр, чрезмерно уважая графа, собственноручно нацертал ему записку, в которой сожалел о его нездоровье и обещал сам побывать у него, если удастся. Всю жизнь они посылали друг другу записочки, как влюбленные, даже если находились недалеко друг от друга. Еще государь подписал подготовленный с вечера манифест об амнистии полякам.

В госпиталь его, среди прочей свиты, сопровождал уже знакомый нам английский генерал Вильсон. Как особо приближенный к императору, генерал ехал с ним в одной карете по улицам города, на которых горели гигантские костры для уничтожения миазмов и очищения воздуха от запаха разлагающихся трупов, все еще не убранных с улиц. Навоз, который подкладывали в огонь, удушливо пах. Кое-где солдаты уже начали расчистку, складывая трупы французов в штабели, наподобие дровяных полениц. Государь с некоторым содроганием смотрел на эту картину.

Пока они ехали в карете, император Александр, привыкший к откровенности в разговоре с генералом, а может

быть, с дальним прицелом, видя в нем рупор международный, говорил ему:

— С того приезда в Петербург я знаю вас, генерал, как человека, который всегда говорит мне правду. Теперь вам предстоит выслушать от меня тягостное признание... Мне известно, что фельдмаршал Кутузов ничего не исполнил из того, что следовало сделать. Он делал только то, к чему его вынуждали обстоятельства. Он побеждал всегда только против воли. Однако дворянство, к моему удивлению, продолжает поддерживать его и настаивает на том, чтобы олицетворить в нем народную славу этой кампании. Я удостоил вчера этого человека высшей из военных наград нашего Отечества, тем самым нарушая статуты этого славного учреждения, ибо орден дан не за действительное военное отличие. Но отныне я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасностям подобного предводительства.

Огромные костры горели и во дворе монастыря, куда въехала императорская карета с кортежем.

Перед тем как войти в госпиталь, лекари опрыскали платье государя и его свиты и дали всем по зубчику чеснока. Вильсон понюхал его, а государь положил свой зубчик в карман и во время посещения все время нащупывал его и натирал себе руку.

Госпиталь представлял ужасающую картину: тысячи трупов были навалены друг на друга по коридорам, по которым проходил император в сопровождении монахинь и свиты. Разбросанные трупы валялись всюду и в других помещениях; все отверстия разбитых окон или выломленных при взрывах стен были заткнуты руками, ногами, туловищами и головами мертвых, чтобы предохранить пока еще живых раненых от доступа ледяного воздуха.

— Какая страшная картина, — остановился государь. Он молчал в раздумье.

— Ваше величество! — обратился к нему генерал Вильсон. — Дорога на Вильну на десятки километров усеяна трупами французских солдат. На одной версте, от столба до столба, я сам насчитал до двухсот. Я видел, как эти несчастные развели костерок и ели мясо своих павших товарищей...

Государь посмотрел на него как-то странно, будто не видел и не слышал, а смотрел издалека, из иного мира.

— Я этого не хотел, — глухим, замогильным голосом сказал Александр.

— Генерал Мороз победил французов! — радостно подбросил английский генерал государю мысль, что никто не виноват, что на все есть Провидение Божие, а значит, подтверждавшую ненавязчиво, что князь Голенищев-Кутузов, вызывающий и у Вильсона и у самого государя такую неприязнь, как бы и ни при чем во всей этой кампании.

Но государь не принял этого, вернувшись из горних высей, куда отлетала на время его утомленная душа, он сказал твердо:

— Не мороз победил французов, а русский народ, мороз уничтожил не Великую армию Наполеона, а ее остатки, жалкий разгромленный сброд! Еще раньше лишили их всяких надежд на победу мои дорогие бородачи.

Выйдя из госпиталя на крыльцо, император Александр, как и водится в таких случаях, сказал обдуманную историческую фразу, которую давно ждал случая произнести:

— Я не обладаю счастливой философией Наполеона, который считает, что трупы врага хорошо пахнут. Эта несчастная кампания стоит мне десяти лет жизни.

В задних рядах его свиты кто-то тут же записал эту мысль в блокнот.

«Ну, положим, про трупы врага первым сказал не Наполеон, а Виттелий, — подумал генерал Вильсон, — а повторил эту мысль Карл IX... Да и кто из нас, положи руку на сердце, может сказать, что не радуется трупу врага, когда идет война?»

Вечером был бал, который устроил фельдмаршал Кутузов в честь дня рождения государя. Перед входом в танцевальную залу к его ногам повергли французские знамена, незадолго перед тем отбитые казаками атамана Платова. Государю даже показалось, что он узнает эти знамена с орлами на навершиях. Светлейший, встречавший его, был украшен первоклассным «Георгием» поверх мундира.

На балу государь пробыл недолго, не танцевал, был занят своими мыслями настолько, что не обратил внимания на слова Кутузова о том, что шпажка пожалована ему не по чину и камешки маловаты, и уехал до ужина, один, без свиты, на санях с кучером Ильей. Министр полиции Бала-

шев, проводивший его до дверей вместе со светлейшим, не стал посылать сопровождение против воли государя. Он знал, куда тот направился: до дома графини Тизенгаузен было два шага. Вскоре после ужина удалился и светлейший. Его ждала Лушка. Он был доволен, что высказал государю свою обиду.

А господа офицеры веселились до утра, не брезгуя отличным буфетом. Потом некоторые из них, неоперившаяся молодежь, юнцы с длинными волосами, с тонкими перетянутыми, как у девушек, талиями и накладными плечами и грудью под мундирами, едва вырвавшиеся из-под родительской опеки, отправились в известное заведение, а перепившие старики — спать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,

в которой государь посещает фрейлину Тизенгаузен в ее доме. — Сладострастная содомитка. — Государь и его сестра Екатерина Павловна. — Прощение родственников Софии Тизенгаузен, воевавших на стороне Наполеона. — Ночь с 12 на 13 декабря 1812 года

Графиня Тизенгаузен весь вечер с волнением ждала визита государя, третьего дня прибывшего в Вильну. Сегодня днем ее посетил обер-гофмаршал граф Толстой и долго рассыпался в любезностях, хваля ее поведение во время пребывания Наполеона в Вильне и рассказывая петербургские светские сплетни. В том числе он рассказал, что про нее в Петербурге ходили слухи, будто она в мужском платье воюет на стороне Наполеона, но, добавил он, государь в эти слухи не поверил, что Софии, разумеется, было приятно. Она не скрыла от Толстого, что братья ее действительно воевали и теперь вместе с отцом покинули Вильну.

— Не стоило этого делать, — пожалел Толстой. — Государь простит всех литовцев и поляков, хотя есть и такие, например, как светлейший князь Кутузов-Смоленский, которые пытаются добиться вознаграждения русских военачальников именами литовской знати, воевавшей на стороне врага.

— Когда он был у меня с визитом, он ни о чем подобном не говорил, — сказала София.

Толстой рассмеялся:

— Старая лиса никогда бы себе не позволил такой оплошности. Он знает, что такого рода разговор будет вам неприятен, а он еще любит и умеет говорить дамам любезности.

— Князь стар, но вы правы, очень любезен. И не скрою, мне было это приятно. Я знаю его давно, с его губернаторства в Вильне.

— Стех пор он хоть и постарел, но ничуть не изменился. Он по-прежнему возит с собой любовницу под видом казачка. Я видел ее сегодня — милашка!

София не отвечала, лишь понимающе улыбнулась.

И только тут, уже уходя, на лестнице, граф Толстой вспомнил, что приходил спросить от имени государя, можно ли ему навестить Софию сегодня вечером, после бала у фельдмаршала.

— Тысячу раз прошу простить меня: что мне ответить ему?

— Что я не поеду на бал и буду ждать его. Это для меня такая честь. А вам скажу по секрету, я не хотела бы выглядеть усталой после бала.

— Он будет к вам попросту, как к другу, засвидетельствовать свое к вам расположение. У вас ведь никто не ожидается? — поинтересовался он.

— В такое время? — улыбнулась она, и глаза у графа потеплели. — К тому же все уехали из Вильны, опасаясь возмездия. Я, кажется, осталась одна... — сказала она, невольно опуская глаза.

— Вероятно, вам одной нечего опасаться, — любезно подчеркнул граф Толстой.

Граф откланялся, а София после его ухода уже не имела ни минуты спокойствия. Зачем он будет? Как принимать его? Она волновалась и чувствовала, что это не просто визит вежливости. К тому же граф Толстой намекнул, что государь слегка охладел к Нарышкиной. Неспроста намекнул, как она теперь понимала. И чем ближе была минута предстоящего свидания, тем сильнее было ее волнение. Вдруг ей стало казаться, что и визит Кутузова был тоже неспроста. Фельдмаршал был не так прост, а ведь навестил ее сразу после прибытия в Вильну. Рассказывал, смеясь, как явилась в нему городская депутация и бросилась на колени, прося

пошады. И как он им ответил: «Встаньте, встаньте, господа. Вспомните, что вы снова сделались русскими, а русские на коленях не ползают!» Вообще старик был весел, разговорчив, удачно шутил. В конце визита он добавил: «Нам надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю», — и подмигнул Софии единственным глазом, и это отчего-то ее не покорило, а даже рассмешило. На следующий день он даже дал в ее честь вечер, где представил Софию русским генералам. Конечно, он не мог ничего знать о намерениях государя, тот был в Петербурге все это время, а Кутузов в главной квартире, но у князя было чутье старого царедворца, которое его никогда не обманывало, он почти не делал необдуманных шагов. Если он сделал ей визит, несмотря на предательское поведение ее родственников, еще до прибытия царя, значит, он уверен в том, что поступает правильно, значит, он знает, как поступит государь. Князь, и об этом все говорили, был страшно хитер. Именно поэтому, в отличие от многих военных, он был еще и превосходным дипломатом. Но почему в течение трех дней, что государь был здесь, он не нанес ей визита, если уж собирался его нанести, почему он выбрал именно сегодняшний день? И вдруг она поняла, и мысль эта поразила ее: сегодня ведь был день рождения государя, и бал дается фельдмаршалом в его честь. И если он хочет вечер этого дня провести у нее, то...

София помнила, что отец говорил с ней перед отъездом и особо подчеркнул, что если государь не приедет сам в Вильну, то придется ей ехать в Петербург и просить аудиенции, с тем чтобы добиться прощения. На нее он возлагал все надежды. Ехать не пришлось, добиваться аудиенции не надо, государь вечером будет у нее. София знала, что теперь от нее все зависит, и у нее было хорошее настроение, а волнение только придавало ей решимости и (она быстро глянула в зеркало) очарования.

Государь приехал один. София почти сразу отослала слуг, предложив им хорошо угостить кучера Илью.

Государь грелся у камина и, когда она вошла, протянул к ней руки и сказал:

— Ну вот мы и свиделись, я все знаю, мадемуазель София! Ваше мужество необыкновенно. Вы не побоялись того, перед кем трепетали мужчины.

— Может быть, потому, что я — женщина!

— Да-да, конечно, — сказал он. — Но все же... эта смелость.

— Для меня, ваше величество, было счастьем дать единственное, возможное для меня в тех обстоятельствах, доказательство своей преданности вам.

Она стояла близко от него, и ее близость волновала. Он уже понимал, что все решено, но никак не мог решиться переступить черту.

— Я ехал к вам в открытых легких санях, чтобы быстрее доехать, и это путешествие стоило мне кончика носа.

Он потер свой нос и улыбнулся беззащитной, чуть засенчивой улыбкой.

«Боже мой, да он стесняется, — подумала она. — Он — государь, повелитель России! И мой повелитель!»

Софии самой захотелось его обнять. Она не знала, что Александр, превосходный актер, сыграл эту робость.

— Мой бедный! — протянула она к нему руку.

Этого было достаточно. Больше они не разговаривали, а только покрывали друг друга поцелуями.

Все произошло очень быстро. Они оказались в спальне, в которой было по ее распоряжению жарко натоплено.

К великому удивлению государя, но и к его радости, восемнадцатилетняя фрейлина императрицы оказалась весьма опытна в любовных делах. Не раз и не два они вступали в любовную битву, но когда она встала перед ним на колени, показав выгнутую спину и лоно со взмокшими волосками, прилипшими к белым ногам, когда стала направлять оружие битвы, вздрагивая и принимая его всем телом, когда, неожиданно для него самого, она направила жезл чуть выше и, застонав, всадила его до корня, государь задохнулся от восторга, его охватившего, и мысленно воскликнул с восхищением:

— Содомитка!

И бил, и бил ее пахом по ягодицам, пока рука ее гуляла между его ног, лаская и тиская напряженные, готовые извергнуться мешочки.

Снова, как и прежде, пришла служанка и, не поднимая глаз, обмыла Софию и государя. София, прыгая по постели, разбрызгала из флакона французские духи. Она смеялась от счастья, стоя над ним, и Александр видел, что сча-

стве ее неподдельно. Он смотрел на нее, и ему снова ее хотелось, но он знал, что без отдыха не осилит нового приступа.

Они лежали, отдыхая, и государь поинтересовался у Софии, кто был ее учителем в искусстве любви.

Она ответила не сразу. Потом все же сказала:

— Вы мне не поверите, мой государь!

— Отчего же? — сказал он. — Отчего же я вам не поверю?

— Мне стыдно.

— Нечего стыдиться любви.

— Это мой брат, — призналась она. — Сейчас он в армии, я так за него боюсь.

Государь молчал, это известие его потрясло, но не тем, о чем она наверняка думала, это известие потрясло его совпадением. Он тоже был любовником своей младшей сестры Екатерины, он был ее первым учителем, и тоже их ласки не знали пределов. Он помнил ее ненависть, когда обсуждался вопрос о намерениях Наполеона породниться с российской династией. «Я лучше выйду замуж за последнего русского истопника, чем стану супругой безжалостного корсиканца», — сказала гордая и любимая внучка Екатерины. Но это была фраза для общества, ему же наедине она сказала резче и честнее: «Неужели ты сам своими руками хочешь отдать свою возлюбленную врагу? А он был, есть и будет твоим врагом, несмотря на все заключенные договоры. Я пойду за первого встречного». Именно так она и поступила. Срочно, всего через восемь дней после возвращения Александра из Эрфурта, где Наполеон через Талейрана прощупывал возможность брака с ней, она была помолвлена с Георгом Ольденбургским, жалким, безобразным и прыщавым немецким принцем, своим кузеном, который полностью ей доверился и которым она могла управлять. Она даже растоптала свою мечту о престоле, которую лелеяла с детства, и поселилась с мужем в Твери, куда тот получил назначение тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором. Со своим умом она создала в Твери кружок русской патриотической партии и в какой-то степени была его рупором. Она пригрела Карамзина, который по ее заданию написал эту ужасную по своей консервативности записку «О старой и новой России». Она всячески, как могла, двигала через брата, доверявшего ей, русских людей на вли-

ятельные посты: именно ей был обязан местом генерал-губернатора и главнокомандующего Москвы граф Ростопчин, а всемогущий Сперанский, французолоб, попал в немилость и был отправлен в ссылку. Наконец, при отступлении русской армии она писала ему из Твери такие письма, что до сих пор при мысли о том, что было в них написано, он холодеет. Никогда, ни до, ни после, Александр, государь всея Руси, не читал о себе ничего подобного. Она писала о попорченной чести, о том, что его презирают в обществе, и как презирают, если слухи об этом доходят даже до нее, писала честно, как пишут самому близкому человеку, желая его предостеречь от самых опасных шагов. Она была единственной, кто имел право писать ему правду, и порой горькую; то, что она написала ему при начале войны, он ни от кого стерпеть бы не смог. А от нее стерпел, потому что их связывала страшная, сладостная и горькая тайна порочной любви.

Он стал думать о Екатерине, такой нежной, такой преданной, несмотря на всю ее жесткость и справедливость, такой теперь недоступной, принадлежащей другому, хотя прежде она принадлежала только ему (он не брал в расчет ее мимолетные увлечения Багратионом и Долгоруким, за которого она даже собиралась замуж). За все время ее супружества им удалось быть вместе всего один раз, в Твери, в ее спальне, случайно, преступно сорванный миг любви. Мужа она своего все же любила, но отдалась тогда Александру по непреодолимому желанию, страстно, как бы застигнутая своей страстью врасплох, стоя, оперевшись в спинку кровати.

Как бы он хотел видеть ее рядом с собой хоть иногда, но как, каким образом, он мог ее вызвать в главную квартиру армии? Какие основания могли быть для этого, принц был человек сугубо штатский; он уже был в начале войны при главной квартире и никак себя не зарекомендовал. Зачем лишние разговоры?

София лежала, прижавшись к Александру, и тот вспоминал о ее существовании.

— Мой господин! — прошептала она.

Господин! Сегодня его день рождения. Ровно тридцать пять лет назад пушки в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях 201 выстрелом возвестили о прибавлении в царском семействе — у Павла Петровича родился сын, и в честь

Александра Невского, по повелению его венценосной бабки, его нарекли Александром. Екатерина звала его в детстве «господин Александр». И София зовет его господином. А разве он господин? Семьи нет, разве можно считать семьей теперь уже бездетную Елисавету? Детей нет, разве можно считать до конца своей дочь Софию у Марьи Антоновны Нарышкиной? Из всех его дочерей, одной у Елисаветы, ибо вторая была не от него, четверых у Нарышкиной, в живых пока только четырехлетняя София Нарышкина. Правда, Мария Антоновна опять беременна, но, верно, будет снова дочь. Да и не его это дети, а Нарышкина. Даже если бы родился сын, он — не бастард, а чужой ребенок. Государь без наследника, разве он господин даже самому себе? Да, он имеет неограниченную власть, но в решающие моменты вдруг оказывается, что властвует не он, а ... судьба, чье-то мнение, народ... Какой же он после этого господин? Он одинок, сегодня день его рождения, и встретил он его в постели пусть у милой, но случайной женщины, в этот день он не дома, а в походе, не по собственному желанию, а по чужой злой воле. Но все-таки он господин: день его рождения прошел, ему исполнилось тридцать пять лет, война в России окончена, и он знает, что, несмотря на сопротивление, он дойдет до Парижа, заставит этого гордого человека отречься, чего бы это ему ни стоило, а пока... Он притянул к себе Софью и сказал:

— Я прощаю твоих родственников, отца, братьев, но не благодаря тебе, а потому что мне их жаль, как жаль всех литовцев и поляков, я прощаю их всех, я сегодня подписал об этом манифест.

И только тут он вспомнил, что обещал заехать к графу Аракчееву, да забыл за всеми делами.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ,

*в которой Кюхельбекер рыдает на груди у надзирателя
Пилецкого. — Изгнание Пилецкого из Лицея. —
Манифест от 25 декабря 1812 года. — Новый 1813 год*

Вильгельм Кюхельбекер, заикаясь от волнения, с красным от напряжения носом, спрашивал инспектора Пилецкого у того в кабинете:

— Я должен знать всю правду, Мартын Степанович! Поэтому хочу объясниться... Вы... Вы... Неужели... Как мне сказали, вы нехорошо отзывались о моих родственниках?.. Ядовитые насмешки, как это может быть? Как это понять?! Это не укладывается в моей голове! О моей сестрице Юстине Карловне Глинке, когда она посещала Лицей? О ее муже Григории Андреевиче, кавалере при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах?! Вы... говорили... Я страшусь произнести эти слова... Вы понимаете, как мне важен ваш ответ, от этого будет зависеть вся будущность моего... к вам... Вы понимаете меня, Мартын Степанович?

— Я вас понял, дорогой юноша! — печально сказал Пилецкий и приблизился к нему. — Мне очень грустно, что какие-то подозрения после явных наветов моих недругов могли зародиться в вашем сердце. Зная вашу чуткость и впечатлительность, я только скорблю... Как я мог говорить что-либо плохое о ваших родственниках, когда среди них всеми уважаемый Барклай де Толли, герой многих кампаний, когда вы в родстве со славным родом Глинок, когда муж вашей сестры преподает великим князьям и даже читает лекции императрице Елисавете Алексеевне, когда я, наконец, безмерно уважаю вашу маменьку, с которой имел честь неоднократно беседовать при ее посещениях Лицея и, смею вас заверить, о коей всегда вспоминаю и отзываюсь с теплотой и приязнью...

— Не продолжайте, не продолжайте, дорогой Мартын Степанович! — вскричал Кюхельбекер, заламывая руки. — Господи! Как я мог поверить в эти сплетни! Вы — святой человек! Простите меня, простите меня, ради Бога! Я буду молиться, чтобы замолить свой грех. Денно и ночью! — Он заплакал. — За вас! За ангела! Прости меня, Господи!

— Идите ко мне, дитя мое! — Пилецкий обнял рыдающего Кюхельбекера. — Вы так еще неразумны!

Мартыну Степановичу и вправду было жаль его.

Воспитанники возбужденною толпой продвигались по коридору. Одним из первых шел и явно предводительствовал Александр Пушкин.

Они буквально ворвались в Большую залу Лицея, где их уже поджидали господин директор и господин надзиратель по учебной и нравственной части.

— Что вы хотите, господа?! — громко спросил Малиновский. — Мне доложили, что вы пожелали со мной встретиться!

— Да! — сказал Пушкин и оглянулся на товарищей. Они кивали, поддерживая его. — И дело не терпит отлагательства, многоуважаемый Василий Федорович! — Он вздохнул, чтобы набрать воздуха и смелости, после чего продолжал: — Мы находимся в заведении, начало которому положено на совершенно новых основаниях добра, свободы и разума! Так нам, по крайней мере, внушалось от самого первого дня пребывания в этих стенах. В нашем заведении высочайшим повелением отменены наказания розгами, как унижающие достоинство воспитанников, и потому мы не желаем в моральном смысле подвергаться более унижительным наказаниям! Господин инспектор позволяет оскорблять нас, унижает за глаза наших родственников, подстрекает нас друг на друга доносить. Мы попросили прийти вас, Василий Федорович, чтобы в вашем присутствии предъявить господину инспектору наш ультиматум. Если он не покинет Лицей, то мы, все в этой зале собравшиеся воспитанники, вынуждены будем подать заявления о нашем отчислении из Лицея, как нам ни прискорбно будет это сделать.

— Господа, может быть, вы одумаетесь? — обратился к воспитанникам Малиновский.

— Мы не хотим с ним оставаться, — поддержал Пушкина барон Дельвиг. — Через него и Алексей Николаевич вышел.

— Алексей Николаевич вышел через собственное безобразие и больше не через что! — возразил директор. — Но я не вижу здесь многих ваших товарищей!

— Не будем о них, — сказал Большой Жанно.

— Мне кажется, что достаточно и тех, кто есть, — заносчиво произнес князь Горчаков.

— Но это означает, что отнюдь не все придерживаются вашего мнения! — продолжал директор.

— А мне думается, нашего мнения будет достаточно, — стоял на своем Горчаков.

— Не стоит, Василий Федорович! — заговорил Мартын Степанович. — Оставайтесь в Лицее, господа! — обратился

он к воспитанникам, отчего те слегка растерялись. Слишком просто доставалась победа.

Тут уж заволновался не на шутку Василий Федорович.

— Что вы делаете, Мартын Степанович?! Одумайтесь.

— Так будет лучше, Василий Федорович! — сказал тот и, молча поклонившись всем, вышел твердыми шагами. Шаги его по паркету прозвучали в полной тишине.

Когда хлопнула дверь, по зале разнеслось громогласное «ура».

Пилецкий шел по коридору и остановился, когда к нему навстречу вышли Кюхельбекер с Есаковым. Мартын Степанович улыбнулся этим двоим: что-то в обоих было незащищенное, гонимое, что давало ему возможность пригреть их, наставить и ободрить.

— Мартын Степанович, простите нас, но мы не могли остановить их, они нам не верят... — сказал Кюхля.

— Ничего-ничего, господа, — легко потрепал их по плечам Пилецкий. — Молодость горяча, только с годами приходит разумение... Я покидаю Лицей, но буду вечно помнить это короткое время. Не говорите обо мне с ними. — Он кивнул в сторону, откуда пришел. — Не подвергайте себя напрасным насмешкам, жизнь начинается обыкновенно во весь рост, а заканчивается на коленях перед образами...

Счастлив тот, кто пришел к Господу с юности. Прощайте, господа!

Он пошел по коридору, а мальчики с благоговением смотрели ему вслед, пока он не свернул за поворот.

Тогда они посмотрели друг на друга и пошли в свою сторону.

Мартын Степанович пришел к себе в комнату, присел на кровать и задумался. Сам не зная почему, он понимал, что поступил правильно, его не удовлетворяла более эта жизнь, не к тому стремилось его сердце. Эти жестокосердные дети не нуждались в его милосердии, в них, за исключением единиц, так мало было стремления к Богу и так много дьявольского, что ему самому хотелось бежать отсюда, благо случай не заставил себя ждать. Ему даже было жаль этих несчастных, многих из которых, он чувствовал, утягивала пропасть разврата.

Он решил собираться тотчас, не зная еще, куда направит свои стопы, но он знал твердо одно: это будет путь к Богу и никто его с этого пути не собьет.

Морозы к Рождеству немного ослабли. Вести с театра военных действий приходили самые радужные. Государь был уже при армии, а французы бежали за Неман. Говорили, что из полумиллионной армии ушли едва несколько тысяч. После Нового года лицеистов собрали в Большой зале.

— Господа! — обратился адъюнкт-профессор Куницын к собранным в зале воспитанникам и педагогам. — Вчера в Казанском соборе был читан царский манифест, подписанный в Вильне 25 декабря 1812 года об окончании Отечественной войны. В церквах отслужены благодарственные молебны за избавление «от нашествия галлов и с ними двенадцати языцев»...

— Ура-а-а! — прокатилось по зале.

— Вот, господа, полный текст манифеста: «Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их истреблением, так что при самом стремительном бегстве, едва сама малейшая токмо часть оных могла уйти за пределы наши, есть явно излившаяся на Россию благодать Божия, есть поистине достопамятное... — под общие возгласы Куницын начал читать, а в это время грянули пушки и начался колокольный звон по всему Царскому, — ... происшествие, которое не изгладят века из бытописаний...» — слышался голос Куницына.

И опять, как при открытии Лицея, на балконе горел щит с вензелем государя императора, вокруг здания были поставлены зажженные плошки, а вдоль аллеи бочки со смолою.

— Ура-а! — кричали высыпавшие на улицу лицеисты.

Посмотреть на фейерверк собрались толпою и простолюдины, и приличная публика.

— Конец войне!

В карете сидела Бакунина с матерью, на нее вдруг случайно обратил внимание Пушкин, не предполагавший, что она тоже здесь, да так и застыл, пораженный ее красотой, ее неподдельным румянцем на щеках и лучистыми глазами, в которых отражались огоньки фейерверков.

— Хороша Бакунина! — тихо прошептал он, но его услышал стоявший подле него Малиновский.

— Да, — усмехнулся он, — хороша Параша, да не наша!

На крыше Лицея горела надпись «1813», и здесь мы на время оставим наших героев, чтобы вновь встретить их уже повзрослевшими, переломившимися в своем развитии в новую фазу.

— «...В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков. АЛЕКСАНДР. Вильно. 25 декабря 1812 года», — закончил чтение государева манифеста адъютант Куницын, в котором говорилось о будущем храме, который так много значил в истории России и известен нам под именем Храма Христа Спасителя, ибо в Рождество Христово 25 декабря завершилась эта кровавая война.

По всеподданнейшему отчету фельдмаршала Барклая де Толли, поданному из Варшавы в 1815 году, война с французами стоила России 157 450 710 рублей 59 копеек ассигнациями. Но это вся война, включая и ту, что еще была впереди. Князь Горчаков держал этот отчет в руках, когда в 1862 году собирались праздновать пятидесятилетие Отечественной войны.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой Горчаков и Хитрово едут на музыкальный утренник по Тиргартенштрассе. — Октябрь 1882 года. — Замок Ивана Сергеевича Тургенева. — Представления в замке. — Баденская рулетка в прежние времена. — Музыкальный салон. — Князь Горчаков рассказывает о четырнадцатом годе. — Особняк Талейрана на улице Сен-Флорентен. — Роскошь дает некоторые преимущества. — Триумфальный въезд государя в Париж 31 марта 1814 года по европейскому календарю

Князь Горчаков и Хитрово выехали в пролетке на Тиргартенштрассе к старинным немецким друзьям светлейшего князя, родственникам герцога Баденского, на музыкальный утренник, который бывал обыкновенно от двух до пяти пополудни каждую среду. Князь Горчаков, когда был здоров, старался не пропускать эти утра, а вот Иван Петрович удостоился этой чести впервые.

В глубине старого парка, разбитого у подножия гор, окружавших Баден-Баден, прятались богатые виллы. Кованые решетки высоких ворот, увядающие цветники за ними, дорожки, посыпанные битым красным кирпичом, ведущие к кое-где видным с дороги роскошным особнякам; возле одного из них, в самом начале улицы, князь попросил остановиться: он хорошо просматривался с дороги.

— Вам, наверное, будет интересно, Иван Петрович, — сказал он, высвобождая руки из-под шотландского пледа, в который его закутал заботливый слуга, и поворачиваясь к окну. — Взгляните, это вилла Ивана Сергеевича Тургенева, он сам ее построил.

Здание было похоже на старинный замок с мансардами, покатыми крышами под красной черепицей и высокими трубами.

— Нравится? — спросил князь. — Нечто в стиле Людовика XIII...

— Вы знакомы с ним?

— Знаком. Мы познакомились при проезде государя Александра Николаевича, которого я сопровождал, со Всемирной выставки в Париже... Тогда мы на несколько часов остановились в Баден-Бадене, государь решил посетить прусскую королеву Августу...

— Кажется, это было в 1867 году? — спросил Иван Петрович, любивший по роду своей деятельности точность. — После второго покушения на государя... Тогда в Париже в него выстрелил поляк Березовский и, к счастью, промахнулся...

— Да. Все русские, жившие в Бадене, собрались на вокзале, чтобы выразить государю свои верноподданнические чувства... Мне представили Тургенева... Вскоре, когда я сам приехал поправить здоровье в Баден, он нанес мне визит.

Из двух труб с одной стороны здания курился дымок. За замком начинались лесистые горы, ниже, на пологих склонах, тянулись шпалеры облетевших виноградников; у подножия гор лежали луга Тиргартенталя.

— Здесь ему, наверное, замечательно работалось?

— Вероятно. А неподалеку находилась вилла Полины Виардо, скромная деревянная дачка, не то что этот замок. Нечто в русском стиле, с резьбой, как сейчас у нас стали строить... Муж Полины Виардо собирал живопись и при этом... — Горчаков рассмеялся дребезжащим смехом, — кое-что в ней понимал... Хозяйка салона, куда мы едем, брала у Полины уроки.

— Вы бывали у Виардо?

— Раза два бывали друг у друга с визитами, я даже присутствовал на их утреннем концерте, давали музыкальную пьеску их собственного сочинения. Текст в стихах по-французски написал господин Тургенев, а музыку госпожа Виардо. Этот тургеневский замок тогда был только что построен и стоял почти что пуст; в одной зале устроили театр. Сюжета, честно говоря, не помню... Какой-то колдун... Его дочь... Пьеска была на французском, а пели на немецком... У них был замечательный домашний орган, с миниатюрным портретом мадам Виардо. — Он показал, какого размера была миниатюра, сложив ладони в овал. — Хорошей работы. Орган

для представления перетащили в дом Тургенева. Заняты в пьеске были дети госпожи Виардо в роли эльфов — ее ученицы. У Виардо была школа, учениц десять—двенадцать, своя система преподавания. Среди учениц, — улыбнулся князь, — должен сказать, были прелестные... Тогда представление посетили прусский король с королевой, наследный принц с принцессой, великий герцог Баденский, а министров, генералов и прочая не перечесать... Я оказался в числе приглашенных... Тургенев, кажется, тоже играл... Но не пел, нет, не пел... Был у них Лист, хвалил оперетку, но, я думаю, льстил; помню Антона Рубинштейна, модного композитора с его молоденькой, не помню уж, любовницей или женой. Потом я долго не бывал в Бадене, а он, моему, в России, приехал, а Виардо, как выяснилось, продали виллу и уехали в Париж. А с ними и Иван Сергеевич. Этот замок тоже продан...

— Жаль. В Бадене кто только не бывал, — сказал Иван Петрович. — Гончаров, Достоевский. Последний много играл на рулетке.

— Рулетка уж десять лет как закрыта, — поведал князь. — Когда я ходил в Конверсационсгауз, в читальню, там получали, да и сейчас получают, все русские газеты, я насмотрелся на этих несчастных. Залы рулетки были рядом, и я заглядывал туда из любопытства.

— А играть не приводилось? — поинтересовался Иван Петрович.

— Меня Бог миловал, я никогда не был подвержен этой страсти. Я человек расчетливый и увлекаюсь только в любовных играх, там, где игра идет не на деньги, а на жизнь...

Иван Петрович подумал, что в любви игра тоже зачастую идет на деньги, но не стал возражать князю, найдя его парадокс достаточно изысканным.

— А вы читали Достоевского «Игрока»? — спросил он князя. — Иногда из дурных страстей создаются великие произведения.

— Нет, не читал, но я слышал про этого литератора. Он, кажется, умер?

— Да, в прошлом году...

— А вот Тургенева «Дым» читал. Слог ясный и чистый. Но в наших кругах его не любили за излишний либерализм и некоторую истерию. Впрочем, либералисты всегда немно-

го истерики. Победоносцев сравнивал его со старой седой вороной, которую схватила и терзает лисица, а та вопиет на всю округу.

Иван Петрович улыбнулся, заметив, что при всей едкости образа нельзя отказать обер-прокурору Синода в наблюдательности.

— Но власть всегда не жалуется писателей, — добавил он.

— А я был исключением, — радостно возразил князь Горчаков. — Может быть, потому, что с детства был ими окружен... А в последние годы дружил я с Федором Ивановичем Тютчевым...

— Должен заметить, что вы всегда занимались внешними делами России, тогда как внутренние...

— Милый мой, я ведь был государственным канцлером, какие уж тут только внешние! Пожалуй, мы так опоздаем, — спохватился вдруг князь. — Извините великодушно, Иван Петрович...

Пролетка тронулась, но Иван Петрович, не любивший терять зря времени, поинтересовался у князя:

— А вы читали речь Тургенева о Пушкине?

— Читал, — кивнул князь и больше ничего не добавил.

Музыкальный салон располагался в глубине сада, ухоженного, облагороженного архитектором. Хозяйка объяснила им, что построила салон по подобию салона Виардо, который ей очень нравился и куда она ходила еще девочкой.

В стеклянном павильоне был зимний сад с цветущими растениями, с большими пальмами в кадках. Посреди цветущей зелени находился словно бы островок с огромным постеленным ковром, там на небольшом возвышении стоял концертный рояль, а вокруг под пальмами, на кушетках и стульях, расположилась публика, внимавшая музыке.

Дама лет тридцати сидела за роялем и играла Шумана. Когда пианистка закончила, все находившиеся в салоне вежливо ей похлопали.

— Софи тоже брала уроки у Полины Виардо, — пояснил князь Горчаков Ивану Петровичу и похлопал пианистке, которая, приняв поздравления от гостей, подошла к ним. — Великолепно, Софи! Bravo! Извините, что не встаю, нет сил...

— Что вы, что вы, князь! Я так люблю играть в этом милом зале, здесь такой прекрасный инструмент! — улыбнулась ему Софи.

— Мы его купили у Виардо, когда они покидали Баден, — вставила подошедшая к ним хозяйка.

— Последняя пьеса, кажется, была Шумана? — спросил князь. — Вам она очень удалась...

— Князь, вы такой знаток! В вашем присутствии всегда приятно играть... — Софи была явно польщена.

— Не преувеличивайте, знаток я только в поэзии и живописи, в музыке я дилетант. Если бы вы были в моей петербургской квартире, то увидели бы, что у меня порядочная коллекция полотен европейских живописцев. Вся она составила за годы странствий. Я едва ли не полжизни провел за границей. А с собой вожу только то, что прикупаю в поездке. Сейчас стал покупать гравюры. За недостатком средств. Тоже, знаете ли, интересно, если выбрать со вкусом... Если бы вы, Софи, посетили меня в моей кельюшке, — так князь называл свою маленькую квартирку, — то увидели бы кое-что...

— Могу засвидетельствовать, что у князя прекрасная коллекция, — поддержал Горчакова Иван Петрович.

— Князь, простите, что я задам вопрос, который вам, вероятно, много раз задавали. Вы ведь близко были знакомы с нашим великим поэтом Пушкиным. Он вас ценил. Какой он был? — выспрашивала Софи.

Лицо князя залоснилось от удовольствия. Сколько бы его ни спрашивали о его великом однокашнике, это ему никогда не надоедало.

— Вот, рекомендую вам, Иван Петрович Хитрово, мой лицейский правнук, допрашивает меня уже который день и все пишет и пишет в свой блокнот. Он уж, наверное, знает про Пушкина и про всех нас поболее моего...

К ним быстро подошли, почти подлетели, в своих воздушных платьях молодые девушки, услышав веселое имя Пушкина.

— Нам важней услышать, князь, от вас... Да простит меня Иван Петрович, — сказала, улыбаясь, Софи.

— Расскажите, князь... Расскажите, мы будем рассказывать своим детям, что видели вас, — зашебетали девушки, запорхали крылышками платьев и веерами.

— Ну, если детям... Хорошо, рассаживайтесь, — предложил всем князь и посмотрел на Хитрово: — Вы готовы, Иван Петрович?

— Разумеется, князь, — сказал тот, показывая блокнот и самописное перо.

— Слушайте. Это было в четырнадцатом году... В четырнадцатом. Да знаете ли вы, милые существа, что вообще было в четырнадцатом? О чем мы думали, чем жили подростки вблизи двора? Без этого нельзя понять того времени, а значит, нельзя понять и Пушкина.

— Ну так расскажите нам, князь, мы ждем, — попросила нетерпеливая Софи. — Ждем.

— Четырнадцатый год — это победоносное завершение заграничной кампании; уже позади Лейпциг, битва народов, русские под Парижем, сражение при французской деревне Фер-Шампенуаз, едва ли не последнее. Вся кавалерия, наша и союзников, была брошена в дело. Французы потеряли там десять тысяч своих воинов. Нет, конечно же, было не последнее сражение — последнее состоялось при Монмартре, около деревеньки Бельвиль, у самых стен Парижа... Был взят Монмартр, а Наполеон говорил: кто владеет Монмартром, тот владеет Парижем. Тогда особо отличились Милорадович, Раевский; Барклай де Толли, кажется, после этого боя получил давно заслуженного фельдмаршала, а Михаил Орлов составил текст капитуляции Парижа. И каждое из этих имен, каждый факт их биографии связаны с нами, с нашей жизнью, с жизнью Саши Пушкина. Мы за всем следили, обо всем говорили. Сколько неизвестных до толе названий вторглось в нашу жизнь, сколько имен было на наших устах. Взятия Парижа жаждали, но, несмотря на ожидание, эта весть потрясла всех. Это была месть за Москву, справедливое возмездие...

Пока князь Горчаков говорил, Иван Петрович отвлекся мысленно и вдруг ощутил ту незримую цепочку связей, которую часто прозревал через годы, через судьбы, следить за которыми он привык. Милорадовичу Пушкин написал на память целую тетрадь своих либеральных стихов, и тот простил его от имени царя. Милорадович смертельно ранен на Сенатской площади Каховским, там же находятся среди бунтовщиков близкие друзья Саши Пушкина — Кюхельбекер и Ваня Пущин.

О полководце Барклае де Толли Пушкин написал стихи, которые вызвали раздражение в русской партии, и в следующем номере своего «Современника» ему пришлось оправдываться, что он и не думал умалять величия полководца Кутузова. С Михаилом Федоровичем Орловым он был дружен, тот был женат на дочери генерала Раевского Екатерине, в которую Пушкин был когда-то в Крыму влюблен. Раевский тоже был в Париже. Мария Раевская, младшая дочь генерала, выходит замуж за Волконского, а после едет за ним в Сибирь. Отец ее, генерал Раевский, обещает, что проклянет ее, если она через год не вернется. Она не возвращается, а отец перед смертью называет свою дочь самой великой женщиной, которую он когда-либо знал. Чаадаев в Париже в составе Ахтырского гусарского полка, в котором, кстати, служил Денис Давыдов, а потом он в лейб-гусарском полку, квартировавшем в Царском Селе; дружба молодого гусара с Пушкиным, встречи в Китайском домике у Карамзина. А Константин Батюшков, едва ли не первый поэт, оценивший Пушкина, друг Вяземского и Василия Львовича Пушкина? Прошел всю заграничную кампанию адъютантом того же генерала Раевского и окончил ее в Париже в составе 3-го гренадерского корпуса, которым генерал командовал.

Париж, Париж! Удивительный город, который проклинали и к которому рвались всей душой. Вот ты лежишь под ногами, с вершины Монмартрского холма хорошо обозреваемый. Там стоит девятнадцать орудий. А кто это там, неподалеку от батареи русских орудий, уж не лицеист ли в синем мундирчике? Ба, да это сам Иван Петрович Хитрово! Как он попал сюда? Что он пишет в свою записную книжку? Узнаем ли мы об этом? Ну, разумеется, узнаем. А пока он смотрит, как поскакал вниз с холма флигель-адъютант Михаил Орлов, уже полковник, а скоро, очень скоро и генерал-майор, едва ли не самый молодой в русской армии, но почему, откуда знает маленький лицеист, что будет с этим Орловым дальше, откуда? И что будет с его братом Алексеем Орловым? Потом, 14 декабря 1825 года.

Он даже знает и про те времена, когда французы забудут про взятие Парижа русскими. Красивый старик князь Вяземский расскажет ему в Гомбурге, что Талейран впоследствии говорил: «Ne vous y trompez pas: Les Francais ont ete a

Moscou; mais gardez-vous bien de croire que les Russes soient jamais venus a Paris» («Не ошибайтесь: французы были в Москве, но русские никогда не вступали в Париж»).

— Но если бы, — печально добавил тогда князь Петр Андреевич, — вместо Парижа, как мечтали тогда многие в России, осталась куча пепла и головешек, французы навек запомнили бы, что русские все-таки вступали в Париж!

Вступали, лицеист Хитрово сам видел, как вступали. Но почему этот лицеист сейчас здесь, а не в Царском Селе, где теперь находятся все двадцать девять лицеистов, к которым он как-то незаметно, давно уж, стал себя причислять. Тридцатым.

Царь повернулся в его сторону, смотрит, но он, лицеист знает это точно, близорук, а потому не может его видеть. К тому же против солнца. А стало быть, не может сделать ему замечания. И прогнать не может.

После триумфального въезда в Париж 31 марта 1814 года по европейскому календарю император Александр Павлович проживал в особняке Талейрана на улице Сен-Флорентен. Он должен был поселиться в Елисейском дворце, но при вступлении войск в Париж какой-то неизвестный человек всунул князю Волконскому анонимную записку, что под дворец подведены мины, и пришлось принять приглашение, как всегда, кстати подвернувшегося Талейрана. Впрочем, некоторые считали, что записка была делом рук самого Талейрана, великого мастера интриги. Таким образом Хромой Бес, как прозвали изворотливого политика за врожденную хромоту и бесстыдство, соединил все нити европейской политики у себя дома. Он обладал удивительной способностью при всех переменах оставаться у дел, что объяснялось совершенной его беспринципностью. Ему удалось уклониться от поездки в Блуа к императрице Марии-Луизе, где она пребывала с наследником престола, маленьким римским королем, и остаться в Париже, там, где в эти дни вершились судьбы сильных мира сего.

Особняк Талейрана, год назад купленный им у герцога Эрваса, построен был знаменитым архитектором Габриелем, тем самым, который построил и флигель Версаля, и Малый Трианон. Талейран, часто притворявшийся чуть ли не банкротом, любил жить роскошно, роскошь он понимал

только необузданную, королевскую, предпочитал Большой стиль и обставлялся исключительно дворцовой мебелью. Однако роскошь стоила стольких денег, что в погоне за ними он продавал и перепродавал своих властителей, отечество, продал бы и душу, если б таковая у него имелась.

Несмотря на то что жил он в доме, построенном Габриелем (самым знаменитым из этой фамилии архитекторов, на протяжении двухсот лет строивших лучшие дома во Франции), в отделке интерьеров он предпочитал отнюдь не стиль Габриеля, с его тонкими и плавными линиями, а стиль Людовика XIV: кабинеты, шкафчики и столы мастерской Шарля Булля: черное дерево и инкрустированные вставки массива красного черепахового гребня и прорезной латуни, золоченые скульптурные бронзовые накладки разных оттенков по углам и на пузатых дверцах, цветочные букеты в орнаменте — все это давало отдых его эстетическому чувству, приносило спокойствие в треволнениях и водоворотах бурной жизни; роскошь давала много преимуществ, одно из них то, что теперь ему не стыдно было принимать в своем особняке даже русского царя.

Александр занял второй этаж его дома, шестнадцать комнат; третий стал его рабочим кабинетом, его министерством иностранных дел, где разместился Нессельроде с сотрудниками, а самому князю Беневентскому пришлось довольствоваться лишь шестью комнатами в антресолях. Во дворе дома, в каретных сараях, на сене, спали лейб-казаки, охранявшие государя. Вставая рано утром, государь выглядывал в окно и, бывало, видел, как от казаков уходили слегка помятые, но счастливые парижанки, коротавшие с ними ночи на сене. Своих мужиков после серии европейских войн у них осталось мало.

Еще до завтрака государь, по заведенному порядку, спускался по лестнице и, бывало, встречал камердинера князя Талейрана, который волок наверх его начищенные ботинки, один нормальный, кожаный, а другой — со сложной железной арматурой, похожий на ногу слона, которого люди садовника Лямина свили на царскосельском лугу.

Государь шел через улицу на службу в русскую церковь, устроенную для него в Париже. Убранство ее быстро сыскалось у американского посланника, где его оставил последний посол князь Александр Борисович Куракин перед тем,

как покинуть Францию в 1812 году. Пошла Страстная неделя, и посему государь говел. Говел с ним и граф Аракчеев. Велено было от парижского генерал-губернатора барона Сакена русским офицерам, согласно церковным установлениям, не пользоваться театрами на Страстной, а соблазн для молодых, едва вышедших из юношеского возраста офицеров был слишком велик, ведь в Париже в то время работало восемь театров.

Отстояв неизменную службу в церкви и возвращаясь в дом Талейрана, государь с великим трудом пытался сохранить в себе то чувство ничтожества, которое требует святая Православная Церковь в подвиге покаяния. Французское правительство запретило проезд по Сен-Флорентийской улице, чтобы государь мог ходить пешком, но каждое утро перед домом собиралась толпа зевак, и на обратном пути ему каждый раз приходилось протискиваться через неизменно собиравшуюся толпу поклонников и поклонниц, сопровождаемых кавалерами. Каждый из этой толпы тянулся, чтобы дотронуться до него.

— Да здравствует Александр! — кричали ему восторженные парижанки, искренне считавшие его освободителем. — Великий Александр!

И прикасались к нему благоговейно. Какое уж тут чувство ничтожества своего?

Обыкновенно ему подавали почту, в которой он находил сотни писем со стихотворными посланиями, можно было подумать, что вся Франция принялась писать стихи, прославляющие русского императора. В день вступления союзных войск в Париж в опере было заказано представление «Торжество Траяна», но Александр, узнав об этом и посчитав таковое сравнение нескромным, пожелал, чтобы в замену назначенной оперы была дана «Весталка». Однако льстивый Талейран все-таки устроил ему в театре на представлении «Весталки» бурную овацию. Хотя, может быть, эту овацию ему приписывали недоброжелатели. Публика, действительно, как будто с ума посходила, даже на прусского короля никто не обращал внимания. Они находились тогда в ложе Наполеона, с большим одноглавым орлом над ложей, в которой было устроено для императора французов поворотное зеркало; в него он мог, не поворачивая головы, обозревать весь театр. Александр во время представления погля-

дывал в зеркало и видел, что взоры многих и многих дам обращены к его персоне.

Когда же вышел певец и вместо «Vive Henri IV!» запел: «Vive Alexandre!», все обратились к ложе, встали и в один голос повторили: «Vive Alexandre!» Музыка, по крайней мере, раз семь начинала арию и прерывалась общими криками публики. Прусский король совсем стушевался и затерся в глубине ложи. Александр не скрывал от себя, что вспоминать об этом ему было приятно.

Еще доставляли ему и гравюры, в карикатурах иллюстрирующие этапы заграничной кампании. Александру нравилось рассматривать их. Вот и сейчас он держал такую в руках. Она была раскрашена акварелью от руки, к слову сказать, довольно верно. Ошибок в цветах мундиров и панталон не было, с удовольствием отметил император.

В карете ехал император Австрии Франц I, за кучера у него был Александр, за фореятора — герцог Веллингтон, король Пруссии шел пешком сзади, а Наполеон бежал рядом с непокрытой головой, без орденов и шпаги и жаловался своему тестю, австрийскому императору:

— Они выкинули меня наружу!

— А меня запихали внутрь! — плакался тот.

«Смеются, — думал Александр. — Это хорошо. Французы — великий народ, коли не лишились способности над собой смеяться. Сколько они уже выпустили подобных гравюр».

Александр положил и эту гравюру в папку, где хранились принесенные ему прежде, и задумался, перебирая другие листы.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой рассказываются последние события перед сдачей Парижа, Барклаю де Толли присваивается звание фельдмаршала, а полковник Михаил Орлов в четверть часа на коленке набрасывает проект капитуляции Парижа. — Нессельроде и Талейран. —

Коленкура называют сукиным сыном. — Государь выбирает, какой из мундиров Кавалергардского полка предпочесть для въезда в Париж. — Серая кобылка Эклипс, подаренная Наполеоном. — Въезд в Париж. — Исторический разговор государя императора с генералом Ермоловым. — «У нас показывали взятие Парижа русскими». — Конец марта 1814 года

Тысячу триста восемнадцать лет, как подсчитали современники, нога чужеземца-завоевателя не была в Париже, и всем казалось, что этого никогда не случится.

Накануне вступления союзных войск в Париж был последний бой при Монмартре; батарея полковника Таубе лейб-гвардии артиллерийской бригады его императорского высочества Михаила Павловича была послана занять Шомонские высоты, чтобы открыть пальбу по Парижу. Париж лежал перед ними, освещенный солнцем, и над всем Парижем возвышался собор Парижской Богоматери. Из двенадцати орудий была открыта пальба, и через полчаса явился парламентар с объявлением, что Париж сдается, о чем сообщили государю, бывшему поблизости.

Император Александр со свитою, с великим князем Константином Павловичем, королем Прусским и австрийским фельдмаршалом князем Шварценбергом, прибыли на батарею. Выяснилось, что парламентар не имеет должных полномочий, а разговор о сдаче лишь домысел.

Тем не менее решили выдвинуть свои условия: впрочем, условие было одно, чтобы к 6 часам утра завтра войска оставили Париж; парламентарий заверил, что сделает все возможное, чтобы все повеления победителя были незамедлительно исполнены. Тогда Александр приказал своему адъютанту Михаилу Орлову:

— Орлов, ступай, скажи от моего имени фельдмаршалу Барклаю де Толли, чтобы огонь по всей линии был прекращен.

При этих словах князь Шварценберг вздрогнул:

— Разве Барклай фельдмаршал?

— Да, с этой минуты... — подчеркнул Александр.

И полковник Орлов поскакал вниз с Монмартрского холма. Или с Шомонских высот. По-разному говорили. Впрочем, он столько раз за этот день скакал со стольких высот, что вполне может быть, его видели и на той и на другой. Но дело не в том, с какой высоты поскакал в этот раз молодой флигель-адъютант и где именно стояли те двенадцать пушек, или девятнадцать, как говорили другие, или двадцать четыре, как вспоминал сам Орлов, а в дальнейших событиях того памятного дня, предшествовавшего вступлению наших войск в Париж.

Орлов скакал не один, с ним был французский парламентар и два трубача, чтобы трубить окончание боя. Барабаны ударили сбор. С трудом, с переменным успехом, стрельбу удалось наконец остановить. И Орлов вместе с Нессельроде был уполномочен договариваться с французами о капитуляции Парижа. Еще утром государь во дворе Бондийского замка перед выездом сказал Орлову:

— Если мы можем приобрести мир не сражаясь, тем лучше; если же нет, то уступим необходимости, станем сражаться, потому что волей или неволей, с бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже.

Орлов помнил об этом и хотел во что бы то ни стало выполнить приказание своего государя.

Палисадами с маршалом Мармоном, герцогом Рагузским, они направились к заставе Ла-Виллет. Французские солдаты стояли вдоль палисадов, опираясь на ружья, и провожали их взглядами. Где-то вдалеке, со стороны Блюхера, куда, вероятно, весть о перемирии не успела достигнуть, еще продолжали греметь пушки.

В деревенском трактире состоялись первоначальные переговоры, там к ним присоединился маршал Мортье, герцог Тревизский. С трудом договорились, что французы оставят Монмартрские высоты, но в то же время они не хотели сдавать город со всем гарнизоном, пришлось вернуться к

своим, где узнали, что граф Ланжерон уже взял Монмартрский холм с бою, не зная о заключенном перемирии. Словом, была обыкновенная неразбериха. Получив полномочия от государя, Нессельроде и Орлов снова вернулись к французам, но маршалы, как можно было догадаться, сознательно тянули время, и наступающая темнота работала на них: теперь нечего было думать о ночном нападении на Париж, и была опасность, что французы уйдут по определенной дороге для соединения с Наполеоном, чего с самого начала пытались избежать, ставя условия их выдвижения в противоположную сторону.

Орлов предложил себя в заложники до истечения перемирия, чтобы все-таки вырвать у французов капитуляцию, пусть на других, более мягких условиях, чем у них были полномочия принимать. Главное разногласие касалось права выхода войск не на ту дорогу, которую указывают им союзники, а на ту, которую они пожелают выбрать. Нессельроде снова отправился к государю, дав честное слово маршалу Мармону, что нападения на Париж не будет, пока Орлов не переступит через русские аванпосты.

Париж, казалось, оцепенел в испуге перед решающим сражением, все, кто хотел и мог, уже бежали из него, но отель, где располагался маршал Рагузский со своей свитой и куда они прибыли, был ярко освещен сверху донизу, и там собралось множество всякого люду, в основном военного, ожидавшего известий. Маршал препоручил Орлова своим адъютантам.

В приемной маршала постоянно теснились знатные люди, ищущие достоверных известий; казалось, все знаменитости Франции собрались сюда; с беспокойством и страхом приезжали все новые и новые лица, но вот явилась и одна из главных фигур — господин Талейран, князь Беневентский. Он был спокоен и беспристрастен, как всегда.

Спустя довольно долгое время он наконец появился в гостиной, к нему стянулись из всех углов присутствующие. Он бросил им несколько коротких слов и, оставив их с жаром обсуждать сказанное, направился напрямик к Орлову, всеми брошенному и сидевшему в углу. Подойдя к нему, он сказал довольно громко и с некоторой подчеркнутой торжественностью:

— Милостивый государь мой, возьмите на себя труд повергнуть к стопам государя вашего выражения глубочайшего почтения, которое питает к особе его величества князь Беневентский.

— Князь, я непременно повергну к стопам его величества этот бланк, — ответил негромко Орлов, но ответ его был услышан в гостиной.

«Что за бланк такой?» — удивлялись одни ответу Орлова, другие просто смеялись над ним, не подозревая о тайном подтексте слов Талейрана, давно работавшего на русского царя.

Князь с улыбкой на устах, довольный, что его поняли, удалился.

После его ухода Орлов было совсем заскучал, но тут к нему подошел знакомец еще по Вильне, о чем они сразу вспомнили, Наполеонов адъютант генерал-лейтенант Александр де Жерарден.

После обеда, который начался в одиннадцать вечера, а закончился далеко за полночь, брошенный вновь всеми, Орлов уснул на стуле в углу зала.

— Вот сон победителя! — указал на него кто-то из военных.

— И честного человека, — прибавил другой.

А сам Орлов, сквозь неглубокий сон, с удовлетворением подумал, что Европа, которая, по утреннему выражению государя, должна была нынче ночевать в Париже, выражается в одном-единственном лице и спит сейчас сидя на стуле в отеле герцога Рагузского.

Он проснулся около двух часов за полночь, когда в зале снова возникло оживление — прибыл от императора Александра граф Парр и привез письмо Нессельроде.

«Господину полковнику Орлову.

Милостивый государь.

Его величество государь император по соглашению с г-ном фельдмаршалом князем Шварценбергом находит более выгодным для союзных армий не настаивать на том условии, которое было прежде предлагаемо для очищения Парижа; но союзники предоставляют себе право преследовать французскую армию по дороге, которую она изберет для отступления своего. Итак, Вы уполномочиваетесь вместе с

г-м полковником графом Парром заключить конвенцию относительно сдачи и занятия Парижа на тех условиях, в которых мы согласились до отъезда моего с г-ми герцогами Тревизским и Рагузским.

Примите, милостивый государь, уверение в особенном моем к Вам уважении.

Граф Нессельроде

Бонди. 18/30 марта 1814 года».

С письмом ознакомились и все остальные.

В четверть часа Орлов на коленях набросал проект капитуляции, который практически без поправок был всеми принят.

Заключался он восьмым пунктом, который гласил, что Париж передается на великодушные союзных государей.

Через час Орлов во главе депутации горожан ехал через Бондийский лес. Еще не рассвело, горели бивачные огни, солдаты чистили ружья, не зная, что боя уже не будет, и пили из манерок принесенное из ближайших трактиров вино, называя его красной водичкой. Орлов подумал про себя, что они готовятся торжествовать последний акт страшной борьбы, не зная, что война уже окончена.

К депутации вышел Нессельроде, а Орлов проследовал к государю, который принял его еще лежа в постели.

— Ну, что вы привезли нового? — спросил он с любезной улыбкой, видя по Орлову, что вести, кажется, хорошие.

— Вот капитуляция Парижа, — с поклоном подал Орлов бумагу государю.

Прочитав ее молча и сложив, государь засунул знаменательный акт под подушку.

После доклада Орлова он полежал еще некоторое время, закинув руки за голову, помечтал, потом встал и подошел к окну: денщик водил его любимую лошадку по двору Бондийского замка. Александру Павловичу в тот незабвенный день 31 марта 1814 года оседлали светло-серую лошадь Эклипс. Это была смирная лошадка, приученная к большому скоплению народа.

Потом по докладу Нессельроде принял парижскую депутацию и объявил всем, что у него нет врагов среди французов.

— У меня только один враг во Франции, он обманул меня самым недостойным образом, нарушил все договоры, все клятвы, употребил во зло мое доверие. Он внес в мое государство войну самую незаконную и возмутительную, а потому я поклялся, что примирение между нами невозможно. Все остальные французы пользуются моим благоволением. Передайте, господа, парижанам, что я вступаю в их город не как враг, а как друг.

Отпустив депутацию, он оставил карликовидного, с большой головой Карла Нессельроде и велел ему отправиться в Париж, к Талейрану, ночной разговор с которым ему только что передал Орлов, чтобы обговорить все меры безопасности, которые надобно принять и которые следует поручить французской гвардии. В сопровождении всего лишь одного казака да австрийского офицера Нессельроде ускакал в Париж к Талейрану. Этот почти не говоривший по-русски дипломат стал за годы заграничной кампании незаменимым человеком. Был он в звании начальника походной дипломатической канцелярии, а влияние имел необъятное.

Нессельроде потом рассказал Александру, что Талейран встретил его за туалетом, широко раскрыв объятия и обсыпав его облаком пудры с парика. В прибытии Нессельроде, через которого он когда-то поставлял сведения императору Александру, предавая своего императора, он видел хороший знак, тем более самого дипломата он и в грош не ставил, памятуя о прежних временах, когда вел через него свою и двойную, и тройную игру на европейском бильярдном поле.

Хромой и горбатый тискали друг друга в восторге, кружились друг против друга в неуклюжем танце приветствий, и Талейран предложил Нессельроде выпить, несмотря на ранний час, шампанского и назвал его по-русски Карлушей, что Нессельроде, разумеется, слышалось.

Во время этой встречи, которая затянулась надолго, ибо Талейран послал за людьми, которые были в одной с ним партии, желавшей свергнуть Наполеона, войска уже начали вступать в Париж и адъютант князя Волконского Дурнов привез анонимную записку, которую Нессельроде и пока-

зал Талейрану. Тот всплеснул руками и не хотел верить в подобное вероломство, но предложил из осторожности императору Александру поселиться в своем просторном доме.

Когда Нессельроде только еще покидал Бондийский замок, в его ворота въехал всадник на высокой белой лошади, с трубачом и парламентаром и немногочисленной свитой. Это был Коленкур, посланный Наполеоном для переговоров. На нем был большой синий плащ, полностью закрывавший его фигуру, и шляпа с черным плюмажем. Его спутники спешили, а сам Коленкур остался на коне. Русский солдат, стоявший у ворот, дернул лошадь за повод и закричал Коленкуру:

— Слезай с лошади, сукин сын!

Русский солдат, разумеется, не знал, кто перед ним, но его узнали некоторые офицеры, помнившие герцога еще по Петербургу, когда он был послом Франции, и весьма порадовались унижению надменного и самонадеянного Коленкура.

Коленкур под улыбки русских офицеров, наводнявших двор замка, где они не спавши дожидались всю ночь этого великого утра, неохотно подчинился, проглотив «сукина сына». А ведь он немного понимал по-русски и поэтому распахнул свой плащ, чтобы все увидели шитый золотом мундир, что, однако, не произвело должного эффекта.

Вскоре его принял Александр I. Он был в вицмундире Кавалергардского полка, с Андреевской лентой через плечо. Из двух вицмундиров Кавалергардского полка, красного и темно-зеленого, выбран был зеленый с черным воротником и обшлагами, с серебряными петлицами. К нему царь надел светло-зеленые перчатки. Коленкур понял, что так Александр собирается въезжать в Париж.

Император испытывал к герцогу Виченцскому симпатию и знал, что она взаимная. Коленкур был один из тех, кто предостерегал Наполеона от войны с Россией, и он же остался ему предан до конца в напасть, которым тот подвергся. Александр, кроме симпатии, чувствовал к нему и глубокое уважение. Но тем не менее ни одно предложение, переданное герцогом от Наполеона, им не было принято. Более того, император отказался вести какие-либо переговоры с Наполеоном, добавив, что будет со своими союзниками сражаться до конца, пока не достигнут прочного мира,

которого нельзя ожидать от человека, опустошившего всю Европу.

— Не надейтесь, он не останется на престоле, — добавил Александр. — Советую вам исходить в дальнейшем из этого.

— Благодарю вас, государь, за совет, — поклонился Коленкур.

Александр встал и пригласил Коленкура с собой.

Когда они вышли во двор, гвардейские офицеры мунштучили лошадей. Александр подвел Коленкура к серой лошадке, стоявшей уже оседланной.

— Узнаете? — спросил он Коленкура.

— Та самая, ваше величество? — удивился Коленкур.

Дело в том, что эта серая кобылка была подарена императором Наполеоном Александру при свидании в Эрфурте, чему Коленкур был свидетелем.

— Как же ее зовут?.. — попытался вспомнить Коленкур.

— Эклипс, — подсказал Александр и потрепал лошадь по холке. — Всю Европу прошла. Крепкая лошадка. Бывала в деле. Но я ее берег. Для этого часа, герцог... Как видите, он наступил. Я еду в Париж...

— А я в Фонтенбло, ваше величество, к императору, — еще раз поклонился Коленкур. Он буквально валился с ног, не спав уже несколько суток, но не садился на лошадь, стоял и смотрел на отъезд императора Александра.

Двор был забит сотнями генералов и высших офицеров, которые готовились к торжественному вступлению в Париж. Было только восемь часов утра.

— Все, — подумал он про своего императора. — Ему конец! А он строит планы.

Он знал, что Наполеон предлагал мир на условиях, которые уже не принимали, только для того, чтобы затянуть время и собраться с силами. Он хотел идти на Париж, биться в его стенах, а значит, устроить с французской столицей то, что устроил с русской. Слава Богу, что его мир не принимали.

Государь в сопровождении свиты двинулся по дороге на Париж, через версту к ним присоединились пруссаки со своим королем. Решено было пропустить вперед прусских гвардейцев и русскую легкую кавалерию. За ними следовал император Александр с королем и князем Шварценбергом,

свита состояла из тысячи генералов и офицеров всех родов войск и всех наций. Австрийские и русские гренадеры, гвардейская пехота и три кирасирских дивизии замыкали шествие. Погода была великолепная, солнечная.

Неподалеку от государя оказался генерал Ермолов, которого государь всегда отличал как смелого и умного генерала. Подозвав его, Александр сказал ему тихо:

— Ну что, Алексей Петрович, теперь-то скажут в Петербурге? Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простачка.

— Право не знаю, что и ответить, государь, — отвечал Ермолов. — Только слова, которые я удостоился услышать от вашего величества, никогда еще не были сказаны монархом своему подданному.

Александр улыбнулся, так полно он был счастлив, может быть, в первый и последний раз в своей жизни, потому что, может быть, единственный раз в жизни ему пришлось приложить столько усилий, чтобы получить желаемое, и он проявил на этом пути столь невообразимое упорство, которое увенчалось столь безусловным успехом, что вполне заслужил титул Великого. Он это знал, и этого ему было достаточно. Вдруг он вспомнил, что Наполеон назвал его за глаза «упрямым лошаком», и эта когда-то обидная кличка сейчас его рассмешила:

— Да, лошак! Да, упрямый! Но я — в Париже, а вот где будешь ты?

Он жалел, что сейчас с ним нет его женщин: ни тихой, востроносенькой Елисаветы, замкнувшейся в Царском Селе, втайне боготворившей его, ни Марии Антоновны Нарышкиной, сидевшей с восьмимесячным сыном, которому дали имя Эммануил, что значит «С нами Бог», в честь изгнания Наполеона из России, ни сестры Екатерины, которая часто наезжала к нему после смерти в декабре 1812 года своего мужа принца Ольденбургского, а как раз сейчас оказалась в Англии. Может быть, раньше он больше бы жалел, что нет Екатерины, но теперь их отношения стали несколько другими.

Когда она явилась к нему в армию спустя лишь полтора месяца после смерти Георга, он несказанно обрадовался. Это было похоже на сбывшийся сон; милый туповатый Георг освободил ее от себя почти в то время, когда Александр

думал об этом в Вильне, когда страстно хотел, чтобы она приехала. Александр даже подумал, получив эту весть, уж не он ли сам накликать эту беду своим желанием. Он был склонен от природы видеть всяческие знаки судьбы, он знал, что порой его мысли имеют обыкновение сбываться. В походной палатке они снова были вместе, как в первые дни романа, когда ей было всего шестнадцать. Впрочем, и сейчас, родив двоих детей, она сохранила свою фигуру, а пробыв в скучном браке несколько лет, не потеряла страстности, напора и изощренности в ласках. Но так продолжалось недолго. Потом она ему прискучила, как и все остальные; надо было признаться себе, что ему интересней с ней было говорить, обсуждать дипломатические проблемы, чем проводить время в постели. К тому же Екатерина уж очень настойчиво стала вмешиваться в его дела, вникать во все подробности кампании, даже пробовала давать советы генералам, и он отослал ее на воды, куда она, впрочем, и ехала по официальной версии, чтобы поправить свое пошатнувшееся от горя здоровье.

Все мысли о женщинах промелькнули в нем неосознанно, смутно, как желания, его же сознание всецело было поглощено происходившим вокруг. Какой-то французский молодец проскакал перед ними на белой кобыле, в хвосте которой были повешены несколько орденов и лент Почетного легиона, и с белым знаменем в руках. Александр улыбнулся, вспомнив рыжего казака под Вильной, в зимнюю стужу с орденом Почетного легиона в ухе вместо серьги.

— Кто это? — спросил государь у Ермолова, но тот не смог ответить.

Кто-то из флигель-адъютантов подсказал:

— Это граф Гери-Мобрей... Отчаянная голова. Роялист. Сторонник Бурбонов.

Государь поморщился — он не любил Бурбонов. Как ни пытались они найти себе место под русскими знаменами, он не допустил их. Женские крики вернули его к тому, что происходило вокруг, на парижских улицах.

Молодые француженки рвались к его флигель-адъютантам и просили, чтобы их посадили на седло: они хотели бы лучше рассмотреть русского императора. Разумеется, это были роялистки. Воздух сотрясаясь от криков «Да здравствует император!».

Они проехали ворота Сен-Мартен, затем двинулись по Итальянскому бульвару.

Море народа собралось поглазеть на парад. Народ сдерживала французская гвардия в два ряда. Окна, заборы, крыши домов, деревья бульваров были покрыты народом; не было видно ни улиц, ни домов, ни крыш — одни головы, издающие какой-то слаженный утробно-торжественный гул. В верхних этажах дамы стояли прямо на подоконниках. Иногда все взрывалось, приходило в движение, кричало, ревело, выло и дергалось или вдруг начинало ходить волнами, накатываясь на ряды французской гвардии.

— Да здравствует Александр! Да здравствуют русские! — вопили в толпе. — Где Александр? Да вон, господа, вон он, в зеленом мундире, рядом с прусским королем! Как они красивы, эти русские, а говорят как настоящие французы! Волосы длинные, совсем мальчишки...

— Господин офицер, отчего у вас так белы волосы?

— От снега! — рассмеялся русский.

— Возьмите меня к себе на седло.

— Приходите, мадемуазель, после парада. Нам назначено быть в Военной школе на Марсовом поле...

— Я ведь приду, смотрите, капитан, не забудьте.

Капитан едет дальше. Он молод, но уже не первой молодостью; ему двадцать семь лет, это не первая его кампания, но весьма удачная: он дошел до Парижа, участвовал не в одном сражении и не получил ни одной царапины. Ему радостно осознавать, что война окончена, что развратный Париж у его ног, но ему уже хочется домой, в Петербург, и он знает, что скоро там окажется. Он вспоминает Василия Львовича Пушкина, его нашумевшую поездку в Париж, над которой они все потешались тогда, и ему становится смешно: пройти бы, думает он, по родным местам Василия Львовича.

Парижане падки до зрелищ и избалованы ими, но такого зрелища им еще не показывали, именно поэтому, а не из-за большой любви французской публики к русскому императору они собрались на всем протяжении следования союзных войск.

Одна провинциалка даже написала своей приятельнице в этот день: «Жаль, что ты уехала, милая, у нас показывали взятие Парижа русскими! А потом мы показывали русским себя!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой капитан Константин Батюшков едет по Парижу. — Пале-Рояль и его бурная жизнь. — Жрицы Венеры. — Ресторатор Verry. — Арфистка и Пипинька. — Шлюха в Карлсруэ. — Бляди в Париже. — «Великий народ! Великий человек! Великий век!» — Ночь с арфисткой. — Разрешение офицерам от государя ходить по Парижу в штатском платье. — Парижские букинисты. — Граф Бутурлин и его библиотека. — Свежий анекдот про русских гренадеров. — Заседание Французской академии, на котором присутствуют государь Александр I, прусский король и генерал Остен-Сакен, генерал-губернатор Парижа. — Биваки казаков на Елисейских полях. — Апрель 1814 года

Тем капитаном, что ехал в рядах наших доблестных войск, был поэт Константин Батюшков. Он вступил в службу только в 1813 году и был все это время адъютантом генерала Раевского, корпус которого первым подошел к Парижу и захватил господствующие высоты; теперь они по праву первыми въезжали в Париж. Он скакал рядом со своим генералом, смотрел на царя, и сердце его наполнялось невыразимым счастьем и в то же время опустошалось, как всегда бывает при завершении какого-то большого, потребовавшего всего тебя дела. Он понимал: что-то навсегда закончилось и ушло из его жизни. Это был небольшого росточка молодой человек, с ясными серо-голубыми глазами, белокурый славянин, с волосами длинными, волнами спадающими на плечи, как у всех молодых офицеров того времени. Держался он на лошади прямо и надменно. Бригада гренадерского корпуса поворотила к place Vendôme, где толпа бесновалась еще сильнее.

Посреди площади стояла Троянова колонна, монумент большой армии. Парижане окружили ее и с криками «Долой тирана!» пытались опрокинуть, что, кажется, для толпы было все-таки непосильной задачей. Как всегда, нашелся смельчак, который забрался наверх и привязал к ногам статуи Наполеона веревку. Как всегда, нашлись и советчики, до посинения дравшие глотку внизу:

— На шею ему надень! На шею! И конец кидай нам! Ах, коротка!

Генерал приказал своему адъютанту Батюшкову прекратить бунт черни и поставить к колонне охрану.

Едва они вступили в Военную школу и расположились там на бивуак, как офицеры, которым командир корпуса генерал Раевский дал отпуск, бросили коней своих денщикам и собрались осматривать город.

— Пипинька, ты идешь? — позвали Батюшкова. За его маленький рост, не более двух аршинов, прозвали его в корпусе Пипинькой в честь Пипина Короткого, знаменитого короля франкской династии Каролингов.

— Разумеется.

Пипиньке не хотелось идти пешком, да еще в первый день, по Парижу, как офицер, пусть и пехотных войск, он гораздо уверенней чувствовал себя на лошади, но делать было нечего. Проскакавшие за полтора года всю Европу в непрерывных сражениях, офицеры вразвалочку двинулись по узким улочкам завоеванной столицы мира. Странную робость испытывали они в покоренном городе, городе, которым чуть ли не с детства бредил каждый из них. Уйти им в этот день далеко не удалось, как ни хотел Батюшков попасть в театр, увидеть знаменитого Тальма, про игру которого слышал рассказы еще в Нижнем от Василия Львовича, в Академию, в книжные лавки, от предчувствия которых у него дрожали руки и замирало сердце, а оказался тотчас же вместе с остальными в Пале-Рояле, Королевском дворце, который представлял из себя довольно странное заведение. Именно заведение, потому что единственное, чего не было в Королевском дворце, так это короля, и не потому, что короля не было во Франции вообще, а потому, что он там не мог быть. Дворец был построен в 1632 году для кардинала Ришелье. В детстве в нем жил Людовик XIV, чем и объясняется его название. В 1780 году он перешел к герцогу Филиппу Орлеанскому, который застроил сад дворца галереями, где разместились различные лавки, а потом Биржа и Коммерческий суд. Это было едва ли не самое дорогое место в Париже, за найм даже маленького помещения в его аркаде лавочники платили по три тысячи франков.

Пале-Рояль живет бурной жизнью. Жизнь Пале — это и есть жизнь всамделишного Парижа. По утрам к Пале-Роялю

продвигаются черной тучей адвокаты, судьи и ярыжки, за ними тянутся просители. Маклеры и биржевики, финансисты и чиновники как вороны слетаются сюда днем. Говорят, что в Пале надо идти сразу с тремя портфелями: в одном должна быть бумага, в другом — деньги, в третьем — терпение. После обеда здесь прогуливаются дамы. Здесь собираются и дешевые кокетки, и куртизанки (это самки царедворцев, ведь «куртизан» — по-французски «царедворец»), и герцогини, и честные женщины, и парижане их прекрасно различают, что порой сложно сделать иностранцу. К ночи Пале-Рояль особенно оживляется. Тут располагаются самые знаменитые рестораны, много здесь и увеселительных заведений.

Вступление союзных войск в Париж мало в чем изменило жизнь Пале-Рояля, разве что утром мало кто вышел на службу, но зато к вечеру было оживленней, чем всегда. Все парижские дамы собрались сюда поглазеть на господ офицеров, которых привели их более опытные товарищи, уже бывавшие в Париже раньше.

Офицеров наперебой стали зазывать в лавки Пале, располагавшиеся в аркаде; галереи были нешироки и длинные, казались бесконечными; тысячи покупателей вечно толпились в них. На первом этаже офицеры надолго застряли в оружейной лавке, где любовались всяким трофейным оружием; оттуда их пути разошлись: кто-то остался в лавке, где хозяин вместе с премиленькой дочкой торговал дешевыми фруктами (надо полагать, из-за дочки), кто-то застрял на рулетке, остальные немедленно закатились к ресторатору Вергу, державшему свой ресторан, или, как его еще иногда называли, кофейный дом, в аркаде Пале-Рояля под роскошными колоннами в 45 футов вышиною, в соседстве с другими подобными заведениями, никогда здесь не пустовавшими; кто-то, также без промедления, отправился в третий этаж к девкам, к жрицам Венериным, которые вцепились в них еще на лестницах (впрочем, пообещав товарищам поспеть и к обеду). Обед был знатный: еще вчера вечером выдали жалованье за три месяца кампании, и офицеры, даже самые бедные, гуляли, к тому же ресторатор сам вышел к ним и, на удивление всем, наслышанным о корыстолюбии французов, поставил за свой счет шампанское, «вино кометы», как называлось шампанское урожая 1811 го-

да, года зловещей кометы, провозвестницы всех несчастий. К шампанскому они заказали устриц. Кроме того, взоры жаждущих и алкающих могли усладить ветчина из Майнца, английский сыр из Чешира, Байонский шоколад, ликер с Островов, уже упоминавшиеся устрицы из Индии, медвежий окорок. Слух услаждали арфистки и скрипачи.

Первый тост был за здоровье государя императора Александра Павловича, потом за генерала Раевского, потом тосты посыпались одни за другим, хмелели быстро, хотя ели много.

После шампанского и устриц заказали каплуна, поросенка, потом подряд все, что было; явился один из товарищей, выигравший за стеной в игорном доме кучу денег, за ним — толпа «нимф радости», которых расхватили по столам. Как венец обеда сам господин Вергу внес на серебряном блюде индейского петуха, украшенного перьями из его хвоста, и провозгласил:

— Господа, прошу отведать хорошо откормленного иезуита!

Господа офицеры рассмеялись; многие даже и не знали, что это не шутка, что индюки давно прозваны иезуитами, поскольку именно им приписывается разведение заморской птицы во Франции.

Послышались возгласы:

— И мне кусочек жирного иезуита, а мне его ляжку отрежьте, да что ляжку, давай режь всю жирную поповскую жопу!

Батюшков захмелел сверх меры и захотел пышнотелую арфистку, объясняя товарищам, что хочет попробовать, какие она станет издавать звуки, если начать ее пилить. Пипинька пригласил арфистку к столу, но она не хотела оставлять своей арфы, и маленький Пипинька тащил ее перед собой, взяв на грудь тяжелый золоченый гриф.

Офицеры были в восторге от такого обилия жриц любви, кто-то вспомнил, как в немецких княжествах пришлось попоститься, потому что почти все они запретили у себя бордели. В Карлсруэ, столице герцогства Баденского, они никак не могли найти девки, пока ненароком не забрели в зверинец, который содержал принц Баденский; не зверинец, а одно название: четыре обезьяны, пять фазанов и облезлый, чем-то больной бобер.

Около того облезлого бобра и подцепили старую полупьяную шлюху, которая, как все шлюхи в Европе, знала немного по-французски; пришлось всем довольствоваться ею; безобразная старуха знала свое дело туго и обслужила молодежь, стоя на коленках, без отдыха. Глотка у нее была бездонная.

Французские бляди хохотали и успокоили молодых офицеров, что сей способ любви является в их столице излюбленным, и одна из них, уже пьяная, попыталась продемонстрировать его тут же, сползая по панталонам одного из молодцов. Шлюху запихнули под стол, чтобы проспалась, но она столь визгливо взывала оттуда к милосердию победителей, что ее снова пришлось извлечь на свет Божий.

Арфистка снова принялась играть на арфе, а Батюшков загрустил, ему захотелось заплакать, и он прилег арфистке на плечо, шепча ей слова любви на ухо и представляясь Орфеем. Девушка была теплая, дышала жаром, и ему хотелось с ней побыстрее уединиться. Он вспомнил, как в одной германской деревушке подобрался к молодой девушке, спавшей возле печки сидя, и после короткого сопротивления добился от нее всего, чего хотел. Наутро, при свете дня девушка оказалась безобразна, как шестнадцать тысяч чертей, но, словно не понимая этого, строила ему глазки, отчего ее обезьянья морда приобретала даже некоторую милость.

Сквозь пелену, застилавшую ему взор, он пытался рассмотреть арфистку, нет ли и тут обезьяны, но ее лицо непознаваемо расплывалось перед ним в белый блин.

— Не спи, Пипинька! — тормошили его товарищи.

Он поднял голову и увидел ресторатора Verry, который, накинуд на себя покрывало, шитое золотом, изображал актера Тальма, воздевая руки к небу и читая монолог из какой-то трагедии.

— Хочу увидеть славного Тальма! — воскликнул Батюшков. — Самого Тальма!

— Смотрите, — сказал Verry, раздувая щеки. — Это он! Я видел его сотни раз.

Два малых принесли ресторатору огромное резное кресло с золотыми лебедями вместо ручек, и он сел, будто император, перед ними.

— Вот так, — сказал он. — Вот так великий Тальма учил императора Наполеона, как сидеть на троне. Учил, как добавляет сидеть императору великого народа.

— *La grande nation! Le grand homme! Le grand siecle!* — вскричал Батюшков и добавил по-русски с печалью: — Все пустые слова, мой друг, которыми пугали нас гувернеры! Все те же иезуиты. — Он погрыз косточку, оставшуюся от индюка.

— Да! — радостно вскричал в ответ Vergy, поняв только французские его фразы. — Великий народ! Великий человек! Великий век!

И приказал принести еще шампанского за свой счет. Он, кажется, и сам уже был пьян.

Пьян был и Батюшков, он с грустью прошептал арфистке:

— Если ваш великий актер Тальма учил сидеть Наполеона, а моего приятеля Василия Львовича Пушкина правильному французскому произношению, то, может быть, он научит меня обращаться с женщинами? А? Я ему хорошо заплачу...

Последнее сказал он, разумеется, спьяну, поскольку был небогат и довольствовался обыкновенным жалованьем.

— Я тебя научу, милый, — сказала ему арфистка. — И будет это стоить не так дорого, как у Тальма!

Они вывалились от ресторатора ночью: в аркадах горели зеркальные фонари, как картины светились окна антикварных лавок, украшенных дорогими вещами — золотом, тяжелыми бронзами, серебром, драгоценностями, цветастыми шальями и коврами, старинными портретами в золоченых рамах. Сквозь пелену мелкого дождичка все искрилось и отражалось в мириадах капель, висевших повсюду, где они могли висеть. Маленький Пипинька еле стащил вниз большую арфу, но тут им, к счастью, подвернулся потрепанный парижский клошар, предложивший свои услуги носильщика, и помог донести арфу до гостиницы.

Полночи белая пышная арфистка копошилась над ним, мудрила, взбадривала, привораживала по-французски, но потухшая от возлияний и усталости плоть иногда вздрагивала, но не возвращалась к жизни.

— Сыграй мне что-нибудь! — попросил Батюшков, и голая арфистка села у инструмента.

Через некоторое время под звуки арфы он заснул мертвым сном, каким спят после маршей и сражений. Наутро, встав с распухшей головой и расплатившись с сударыней, которая даже утром оказалась совсем недурна, покинул Батюшков номер Hotel de Suede.

Едва ли не в тот же день последовало разрешение от господя господам офицерам ходить по Парижу в штатском, чтобы не было стычек между горожанами и пьяными офицерами. У многих штатского не оказалось при их походной жизни, и парижские портные получили большие заказы от русских молодых людей. Цены на мужскую одежду взлетели в одночасье. К слову сказать, французские торговцы были расторопны и сообразительны, как и все торговцы в мире, с русских они буквально за все научились драть в три-четыре раза дороже, чем с французов. Проведя в первый день в Париже не более двадцати часов, позавтракав в Шартрском кофейном доме фрикасе из цыпленка à la Marengo под очень недурное вино из южной Франции, Батюшков вместе с корпусом через Аустерлицкий мост выбыл из Парижа.

Вернувшись через неделю в Париж из замка на берегу Сены, куда переместился их корпус, Батюшков уже не стал посещать Пале-Рояль, а первым делом отправился к букинистам, которых приметил раньше. В этот ранний час букинисты только раскрывали на набережных свои железные ящики, запертые на большие висячие замки, развешивали на шестах раскрашенные гравюры. Он шел вдоль Сены, прицениваясь к книгам: покупателей было немного, и книги оказались намного дешевле, чем в Петербурге. Он снова вспомнил Василия Львовича, который составил в Париже прекрасную библиотеку, сгоревшую потом в московском пожаре. Поболтал с букинистом, который был удивлен его знанием французских изданий и французского языка, купил за чем-то «Медали в царствование Людовика XV» в четверть листа всего за один франк; это была прекрасно изданная книга, и он не смог удержаться. Отчего-то вспомнил он и рассказал букинисту про библиотеку Бутурлина в Москве, в которой ему пришлось раз-другой побывать, — теперь ее нет, как нет и других удивительных библиотек в сгоревшей Москве.

— Разве я знаю французский, как знает его граф Дмитрий Петрович?! В Париже, кажется, Дидотом, был издан «Телемак» Фенелона. Особое издание отличалось типографской роскошью — прихоть издателя.

— О! Я знаю. Вы хотите его купить? Завтра книга будет ваша! — обрадовался букинист.

— Я думаю, она мне не по карману, благодарю вас. Издание это замечательно было тем, что Дидот полагал, будто в нем нет ни единой опечатки, и потому оповестил во всех европейских газетах, что за каждую опечатку платит по сто червонцев. Ни в Лондоне, ни в самом Париже не удалось напасть на след опечатки. Один только наш граф Бутурлин отыскал пять опечаток и поручил издателю 500 червонцев раздать бедным землякам его.

— Дидот, я думаю, — улыбнулся букинист, — этого пожелания не исполнил.

Забавный человек, этот граф Дмитрий Петрович Бутурлин, жил в Немецкой слободе в большом доме. Библиотека его располагалась в трех поместительных залах на первом этаже, рядом был еще и физический кабинет. Попастъ в нее по рекомендации не представляло труда; граф охотно делился своими сокровищами, у него постоянно трудились посетители, для них и зимой в библиотеке было хорошо натоплено, но, как настоящий библиоман, он держался правила: никогда не выпускать из дома ни единой книги. Василий Львович, как и все семейство Пушкиных, близкий дому графа, еще до знакомства Батюшкова с ним предупредил: «И не вздумай просить книги, не даст!» Когда, по каким-либо уважениям, он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгою для прочтения, он тянул время, пока не покупал другой экземпляр этой книги, и его отдавал на жертву просителю, свято соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища. В страсти его к книгам была и другая отличительная черта, весьма редкая для библиомана: он сам читал их и даже на разных языках. Книжная память его была изумительна: он помнил, на какой странице находились мало-мальски любопытные и замечательные слова. Он твердо знал разнообразные местные наречия итальянского и французского народонаселения, знал наизусть, до малейшей подробности, топографию Рима, Неаполя, Парижа и удивлял иностранцев сво-

им энциклопедическим всеведением: слушая его, они думали, что он много времени прожил в той или другой местности, ибо знал диалекты, и едва верили, когда граф признавался им, что он не выезжал еще из России.

Трижды пришлось Батюшкову в 1813 году проехать через сгоревшую Москву, и каждый раз он вспоминал Бутурлина и его библиотеку с чувством почти родственной потери.

Букинист спросил его, в каких войсках он служит, поскольку Батюшков был в штатском.

— Гренадерский корпус генерала Раевского.

— А хотите свежий анекдот: у английского генерала спросили французские маршалы, что ему больше всего понравилось в Париже? «Русские гренадеры», — отвечал тот.

Батюшков рассмеялся.

— А вы не носите вашей формы, — с укоризной заметил букинист.

— Чтобы не докучали женщины, — отвечал Батюшков. — Женщина мешает войти во врата учености.

Настал черед улыбнуться и парижанину.

— А кстати, где мне найти самого Дидота? Я хотел бы посмотреть его новые издания.

— Нет ничего проще, только перейти через Королевский мост.

С моста Пон-Рояль открылся ему незабываемый вид на город. Дворцы Тюильри и Лувр с одной стороны Сены, а с другой — дворец Пале-Бурбон и великолепные особняки. Он прогулялся среди аристократов и знати по старой, высаженной еще в семнадцатом веке, вязовой аллее Ле-Кур. Двухсотлетние раскидистые вязы покрывались зеленовато-голубоватой дымкой проклевывавшихся почек.

Самого Дидота на месте не оказалось, и, поговорив с его поверенным и полюбовавшись изданиями Лафонтена и Расина, изданных фирмой еще в начале века, Батюшков узнал ненароком от собеседника, что завтра, в 3 часа пополудни Парижская академия будет иметь торжественное заседание и на него возможно попасть каждому, достаточно лишь купить билет.

Парижскую академию, кроме него, оказалось, захотели посетить и русский император с прусским королем, но капитан императорской службы Константин Батюшков прибыл немного ранее. Пробираясь по залу, полному отборной

парижской публики, он пристроился за табуретом какой-то любезной дамы, которая сама его пригласила, и осмотрелся. В крестообразной зале по углам находящейся в центре ротонды находились ниши с четырьмя статуями великих людей: Сюлли, Монтескье, Фенелона и Боссюета. От ротонды возвышался амфитеатр, где среди зрителей находился Батюшков, а места в самой ротонде предназначались для членов академии и для почетных гостей.

— Вон тот старик с красной лентой, это Сегюр. Рядом Буфлер, по левую руку — Сикар... — бросала ему через плечо дама.

— А где Парни, Фонтень? — поинтересовался Батюшков.

— Не видно, — пожала плечами дама.

Вскоре в ротонду под приветственные крики публики взошли император Александр и прусский король, с ними был и генерал Остен-Сакен, генерал-губернатор Парижа.

Публика оживленно обсуждала их; какой-то господин, поправляя галстук, сказал другому:

— Генералу Сакену, я слышал, пожалована от города Парижа золотая шпага с бриллиантами.

Секретарь Академии прочитал государям приветствие.

Потом молодой профессор по фамилии Вильмень, двадцати двух лет от роду, после короткого приветствия государю Александру прочитал конкурсное сочинение, увенчанное в этом году Академией.

После окончания речи президент обнял молодого человека и под шумные рукоплескания публики провозгласил его победителем этого года.

— Как он молод. И уже два раза увенчан Академией, — сказал один из присутствующих мужчин. — Помните, в первый раз это было за похвальное слово Монтеню?

— В котором было так много мудрых мыслей, — добавил другой.

— Немудрено, — едко усмехнулся третий сосед, — ведь он говорил о Монтене и не раз его цитировал.

После заседания Батюшков вышел на улицы Парижа. Каштаны стояли в зеленой дымке. Пахло весной. Он шел и думал, что век французской словесности, верно, прошел безвозвратно, чему немало способствовало тиранское правление Корсиканца. Правление должно лелеять и баловать муз, иначе они будут бесплодны. А Корсиканец вмешивался в

дела Академии: он запретил принимать в ее члены Шатобриана, одного из лучших французских писателей, прочитав черновик его речи, всего за несколько неосторожных слов.

На Елисейских полях казаки палили костры и варили в котлах пищу. Играла балалайка, и двое бородатых казаков, раздетые по пояс, с крестами на шеях, плясали в кругу собравшихся товарищей и любопытных парижан.

Уж Париж мой, Парижок, Париж славный городок!
Не хвались-ка, вор-француз, своим славным Парижом!
Как у Белого царя есть получше города...

Балалаечник пел, ударяя быстрыми пальцами по струнам и встряхивая длинными русыми кудрями.

Распрекрасна жизнь Москва, Москва чиста убрана,
Дикаречком выслана, желтым песком всыпана...

Москва сгорела, и, наверное, поэтому хотелось в Петербург, который в этот момент казался невыразимо прекрасней Парижа. Батюшков вспомнил князя Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого, у которого дом в Москве не сгорел, но который больше не хотел в нем жить, потому что считал оскверненным, продал и переехал в Петербург. «Вот и я подамся-ка в Петербург, хватит с меня: я въехал в Париж в восхищении, — думал он, — и оставлю Парижок, как ласково прозвали его наши солдаты, с великой радостью».

Звук балалайки доносился еще долго, пока он брел по Елисейским полям, где на него заглядывались дамы, сидевшие в этот весенний день на садовых стульях вдоль прогулочных тропинок по сторонам аллеи. Батюшков подумал, что дамы напоминают собою причудливый цветник, высаженный вдоль аллеи, так пестры и разнообразны были их одежды и зонтики. Нет, все-таки Париж хорош, но, братцы, домой хочется.

По тому ли по песочку шел Ванюша, шел-прошел,
Шел Ванюша, шел-прошел, к душе Машеньке зашел:
«Ах ты Машенька, Машуха, Маша горька сирота,
Маша горька сирота, есть горячая слеза...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой лицеисты собираются в одной из келий, чтобы выпить рому. — История с гогель-могелем. —

Скотобратцы. — Тырковиус. — Спартанец Вольховский. — Как Суворов кукарекал. — Надзиратель Степан Степанович Фролов. — Лабардан и лабрадор. — Последствия гогель-могеля. — Граф Разумовский делает отеческое внушение. — Встреча в лицейском саду. — Молодая Бакунина. — 12 июля 1814 года

Лицеисты заметно выросли за эти полтора года. Взрослые юноши, иные уже с пробивавшимися усиками и бакенбардами, иные давно брившиеся, одни усердно долбившие камень науки, другие проводившие время в праздности, тем не менее все они шумно и заметно вступали в жизнь. Внимательно и чутко следила за ними светская публика, населявшая Царское Село, поглядывал в их сторону и двор.

Самому старшему из них, сироте Ивану Малиновскому (отец его, директор Лицея, недавно скончался) стукнуло восемнадцать лет. Форма сидела на нем куцевато, на локтях темнели заплатки — никто не заботился о новой; в Лицее экономили и часто формы не меняли, а на юношах сукно горело, как шелк.

Именно в келье Ивана, в лицейском просторечии Казака, и устроили скотобратцы, как теперь называли себя лицеисты, свою очередную сходку, которая, впрочем, отличалась от прежних сборищ намечавшимся потреблением горчительных напитков.

Здесь собрались лучшие из скотобратцев, ушастых и хвостатых, шерстяных и с копытами: вертлявый, с черными усиками, Обезьяна Пушкин, он же Егоза, он же Француз, его же, по стопам Вольтера, называли еще смесью тигра с обезьяной (так, как Вольтер прозвал когда-то французов вообще); Паяс Двести номеров Миша Яковлев, который, как и Обезьяна, ни минуты не сидел на месте; просто Тося, барон Дельвиг, который, напротив, спокойно подремывал на своем месте, полусидя-полулежа на кровати, убаюканный общим гамом; Большой Жанно, он же Иван Великий,

любивший изображать своей вздрюченной елдой колокольню Ивана Великого, тоже, как и Казак, сильно выросший из мундирчика; да князь Горчаков, к которому не пристало прозвищ, а мундир, напротив, сидел как влитой, изысканно и щеголевато, как будто сшит был у другого, лучшего портного и из лучшей материи, — вот что делали привитые с детства, а скорее, даже воспринятые с молоком матери безупречные манеры аристократа-рюриковича. Казак генеральствовал над всей этой буйной компанией, нависая своей мощной фигурой и хрипя, как армейский служака на плацу перед солдатами.

Большой Жанно колотил яйца (разумеется, не свои, а куриные) о край миски. Паяс в медной ступке колот сахар, который до него щипцами надкусывал князь Горчаков. Обезьяна крутился под ногами, стораая от нетерпения, и всем мешал, ничего не делая.

В дверях появился дядька Леонтий Кемерский и внес в камеру горячей воды в сосуде.

— Вот кипяточек-с, господа! Самовар поспел.

Казак подхватил у него сосуд, поставил на стул. Он на глазах стал обстоятельно ловок в движениях.

— Ссыпай сахар, Паяс! — приказал он Яковлеву, но, пока тот собирался, не выдержав, сам выхватил у него ступку: — Дай я сам! А где бутылка, Жанно?

— Сейчас, ваше превосходительство! — Большой Жанно выскочил из номера и через несколько мгновений вернулся с бутылкой в руке.

— Ямайский ром, господа! Гуляем, скотобратцы! — провозгласил он, потрясая бутылкой. — Здравицу Леонтию Кемерскому!

Негромко прокричали «ура-а!».

Леонтий довольно ухмылялся. Плутовские его глазки следили за всем с подобающим случаю пиететом.

— Дай я! — стали открывать бутылку, выхватывая ее друг у друга.

— А ты умеешь?

— Нет, дай я!

— Да, господа, раз сто открывал.

— Что-то не заметно...

Леонтий теперь смотрел со стороны понимающе и немного снисходительно.

Большой Жанно медленно, словно смакуя, стал наливать ром в большую белую фарфоровую чашку с цветочным орнаментом. Все с радостным ликованием переглядывались, прислушиваясь к бульканью, все словно присутствовали при тайных священных обрядах и чувствовали себя посвященными.

— Яйца! — приказал Казак, протягивая руку в сторону. — Давай сюда!

В мгновение ока проснувшийся Тося подхватил стоявшую рядом с ним миску с разбитыми яйцами, вызвав своим пробуждением гомерический хохот публики. Но сам он остался невозмутим.

— Как пожарть и выпить, тут наш Тося первый! — сказал Большой Жанно.

— Француз, ложку! — выкрикнул Казак. — Мешай! — приказал он.

Пушкин подхватил большую серебряную ложку и принялся помешивать в суповой миске чудодейственный напиток.

— Скотобратцы, вожделенный миг настал! — заверещал барон Дельвиг, сладострастно закатывая глазки и причмокивая.

Леонтий, стоящий в дверях, вдруг посторонился от толчка в спину, и из-за него показался тщедушный мальчик.

— Что это у вас, господа?

— А-а! Пан Тырковиус! — закричали ему. — Заходи, братец!

— Сейчас оскотинимся на славу! И в бордель!

— А что это? — недоверчиво заглянул в миску Тырков.

— Напиток богов — гогель-могель! Совсем детское питье! Лейте ему в стакан!

Стакан налили от души, до самых краев. Тырковиус отхлебнул немного, и личико его расплылось в блаженной улыбке.

— Вкусненько... — сказал он и снова отхлебнул.

— Еще бы! Настоящий ямайский ром! Пей, гусар!

Тырковиус залпом выдул весь стакан и снова протянул его Казаку.

— Пожалуйста повторить!

— Еще чего! Наливай мне! И мне! Давай! — засуетились и другие, наперебой протягивая стаканы.

Пушкин наполнял стаканы разливной ложкой.

— Ему! Ему! — указывал Казак.

Налили и дядьке Леонтию Кемерскому. Пушкин самостоятельно поднес.

— Благодарствую, Александр Сергеич! — прослезился дядька Леонтий.

Пушкин последнему налил себе и, поднимая стакан, закричал:

— Суши хрусталь, как говорят гусары!

Воцарилась тишина, пока все сушили хрусталь. В этой паузе Тырков неожиданно вывалился в коридор и наткнулся на идущего мимо Вольховского.

— Ба! Суворочка! — вцепился ему в рукав Тырков и повис. — Ге-ене-ра-ли-лссимус! Париж взят! Но не горюй, — обнял он Вольховского дружески, — на твою долю еще остался Константинополь! А пока присоединяйся к нам, тут каждому достойному человеку подносят...

— Чего подносят? — не сразу понял Вольховский. Был он, как всегда, строг, не улыбочив, его ясные глаза из-под сросшихся бровей смотрели сурово.

— Да он — спартанец, господа! Неужели забыли? — вскричал Малиновский.

— Да, — сухо согласился Вольховский, — я дал зарок никогда не пить вина.

— Налейте ему стакан холодной воды из кувшина! — крикнул Пушкин, тоже уже изрядно, как и другие, раскрасневшийся. — Пусть приобщится!

Кто-то бросился к кувшину, стоявшему возле умывальника, да опрокинул его. Вода пролилась на пол.

— Я, пожалуй, пойду! — скромно откланялся Вольховский, не желая вести дальнейшую беседу, однако за ним увязался Тырков, который пьянел на глазах.

Они успели отойти едва на два шага, как Большой Жанно крикнул Вольховскому вслед:

— Не быть тебе, Суворочка, Суворовым!

— Это почему? — уязвленно обернулся тот, и его черные сросшиеся брови взметнулись по краям.

— А ну-ка, кукарекни!

— Зачем?

— Просто так...

— Глупо... Стану я просто так кукарекать!

— А я вот кукарекну! — Большой Жанно присел на корточки и, хлопая себя согнутыми в локтях руками по бокам, запрыгал по коридору. — И Суворов кукарекал! Ку-ка-ре-ку!

За ним двинулся, кудахтая, Паяс. Кукарекнул вслед Вольховскому и Казак.

Пушкин заливисто хохотал, хохотал, сгибаясь и разгибаясь, и вдруг закудаhtал.

— Ку-ка-ре-ку! — пропел над ухом у Суворочки Тырковиус.

Тогда Суворочка гаркнул, развернул его за плечи и направил от себя навстречу кукарекающим и кудахтающим его товарищам, подтолкнув в спину.

— Ша-гом марш!

А сам твердым шагом удалился по коридору.

В комнате у Малиновского остались сидеть только Дельвиг с Горчаковым, тоже, как и все, захмелевшие.

— Барон, — сказал князь.

— Князь, — отозвался барон.

— За Париж! — сказали они вместе, звонко чокнулись бокалами и выпили.

В это время с шумом обратно ввалились Казак, Француз и Паяс.

Князь и барон посмотрели на них как на незнакомых.

Сидевший у стены и вытянувший ноги в проход Тырков поднялся с трудом по стенке, утвердился на ногах и двинулся по коридору, пытаясь чеканить шаг. Но его заносило от стены до стены. Тогда он запел что-то бодрое, солдатское, и шаг был найден.

Вскоре Тырков ввалился в залу, где находились остальные воспитанники, проводя вечернее время в спокойных играх. При входе он произвел такой шум, что поневоле все взоры обратились к нему. Веселый и раздумавшийся, он задрал первого попавшегося ему по дороге собеседника — им оказался Кюхельбекер с толстой тетрадью в руках.

— Бюхель-Кюхель, слушай меня, родной! — повис он на товарище.

— Тырковиус, — отвечал тот вполне любезно, — пожалуйста, не трогай меня, я занят. Хотя нет, послушай: «Без дружбы жизнь была бы гробом. Люди, чувствующие необхо-

димую потребность в дружбе и не умеющие найти себе друга, изнуряют свое сердце беспрестанной тоской. Бэкон». Каково?! — задумчиво произнес он и посмотрел Тыркову в глаза. — Изнуряют свое сердце беспрестанной тоской...

Тырков задумался тоже, а потом уважительно спросил Кюхельбекера:

— Вильгельм Карлович, а ты, по-моему, одинок. Хочешь, я буду тебе другом?

— А ты, по-моему, выпил, — печально сказал Кюхля, внимательно посмотрев на собеседника.

— Нет, Вильгельм Карлович, ни в коем разе...

В зале появился отставной артиллерии полковник Степан Степанович Фролов, нынешний надзиратель в Лицее.

Окинув начальственным взором зал, он сразу оценил обстановку и поманил пальцем к себе Тыркова.

— Воспитанник Тырков, пойдй сюда!

Тырков направился к нему, стараясь продвигаться по одному ряду паркетин, но у него ничего не получалось, он то и дело сбивался, цепляясь нога за ногу, спотыкался.

— Что это у тебя с ф́игурой? — спросил надзиратель, делая ударение на «и».

Подойдя ближе, Тырков отдал честь и сказал:

— Рад приветствовать вас, господин инспектор!

Коленки у него подогнулись, и он рухнул на пол.

— Пардон, — сказал он, уже лежа и глядя честными, но пьяными глазами на надзирателя. — Застой в костях! Но с ф́игурой, Степан Степанович, мы на короткой ноге, уверяю вас!

Фролов, медленно сложив руки на груди, сначала молча смотрел на воспитанника, лежащего у его ног, потом стал тихонько напевать что-то из модной пьески.

Степан Степанович Фролов, отставной артиллерии полковник, с претензиями на ум, на некоторые познания, с надутую ф́игурой, или, как он говорил, ф́игурой, не имея никакого достоинства и ни малейшего характера, был одним из самых типических лиц в пошлом сборище лицейских менторов. Натура у него была грубая, солдатская, но сердце слабое, доброе. Он пообтерся, пообтесался понемногу в обществе лицеистов, которые смеялись над ним чуть ли не открыто, в лицо, а он не обижался, испытывая к ним нечто вроде любви, потому что, несмотря на все свои пре-

тензии, он не мог не понимать, что они и умнее и развитей его. Их дружба ему льстила, и он совсем не понимал, что часто лицейские обращают его в совершенное посмешище. Он никогда не участвовал в кампании двенадцатого года, даже бежал от Наполеона из своего смоленского имения, а все же претендовал на установленную в память о кампании серебряную медаль. Какими-то судьбами он сделался известен графу Аракчееву и по могущественному его слову, без малейших со своей стороны прав, был определен к ним, во второй уже половине курса, инспектором классов и нравственности.

Паяс Яковлев, как ему и полагалось, потешал публику, изображая одного из лицейских профессоров, мотаясь из конца в конец по номеру Малиновского, где продолжалась вечеринка. Стояли стаканы с недопитым ромом, в посудине тоже еще оставалось. Пушкин, Пущин и сам Малиновский лежали поперек его кровати, остальные уже разошлись.

— Вот, видите ли, дети, камешек-та, — приговаривал Яковлев, показывая камешек, — о котором я толковал вам на прошедшей-та неделе в своей лекции. Как же он называется?! «Лабардан», — отвечал он сам себе. — Кто сказал? — «Дельвиг». Ну, вот и видно, что охотник жрать-та, наш барон, все съестное на уме! Лабардан-та, милочка барон, рыба-с, а камешек называется лабрадор-та! Минералогия — наука-с, а не меню ресторации...

Лицеисты, катаясь от хохота, выволокли из-за своих спин спокойно почивавшего у стены на кровати барона Антона Антоновича, растормошили, и теперь он шурил невинно заплывшие от сна и возлияний глазки, улыбался добрейшей улыбкой и ничего не понимал, чем приводил в совершенный восторг своих товарищей.

— Это же Карцов собственной персоной! — стонал Пущин. — Минералогический кабинет... И Тося...

— Т-с-с! — Яковлев вдруг что-то услышал, приложил палец к губам и осторожно выглянул в коридор. Через мгновение он повернулся с перепуганным видом: — Фигура идет! Кого-то там распекает! — И он пулей вылетел в коридор.

Вскочили, как подброшенные пружинами, и остальные. Даже сонный барон задвигался. Он поднялся и отчего-то стал прибирать постель Малиновского, приглаживая одеяло.

— Бросайте все в окно! — закричал Малиновский и первым делом толкнул Дельвига под зад в коридор: — Беги, Тося! Тебе долго ползти...

— Я с вами! — попытался остаться тот, но, увидев в конце коридора надутую фигуру Фролова, который открывал дверь в один из дальних дортуаров, решил за лучшее испариться, как до него поступил Яковлев.

— Давайте быстрее! Он еще далеко! — громким шепотом посоветовал он друзьям и скрылся.

В отворенное с великим трудом окно полетела суповая миска с недопитым нектаром и стаканы, и даже со страху серебряная разливная ложка.

— Ложку-то зачем? — вскрикнул Малиновский, но она уже улетела.

— Потом подберем, — буркнул Пушкин и обезьяной плюхнулся на кровать.

Когда в дверях возник инспектор Фролов, в дортуаре было чисто, только на полу посреди комнаты осталось пятно разлитого гогеля-могеля.

Фролов стоял молча, только потягивал толстым носом, принюхиваясь, как кобель. Перед его взором прошли по очереди помятая кровать, мусор на полу, мокрое пятно и, наконец, открытое окно, к которому он и направился.

Он, перевесившись через подоконник, глянул вниз, потом повернулся с улыбкой к воспитанникам:

— Ну что, дорогие мои, хорошие?

Казак, смущенно и в то же время дерзко улыбаясь, развел руки в стороны:

— Вот так, Степан Степанович!

Последствия сказались уже на следующий день.

Был класс права. На кафедре выступал Александр Петрович Куницын, и воспитанники довольно внимательно его слушали.

— ... Граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти: но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение об-

щества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также и на их собственную пользу...

Горчаков, Вольховский и некоторые другие записывали лекцию, поэтому Куницын не спешил, а некоторые фигуры речи повторял, как бы наслаждаясь своей логикой.

— ... и, следовательно, также и на их собственную пользу...

Открылась дверь в учебный класс, и на пороге возник инспектор Фролов. Его явление явно не предвещало ничего хорошего.

— Господа Пущин, Пушкин и Малиновский, все выше-названные фигуры, пожалуйста за мной! — предложил он названным лицейским.

Трое названных встали, переглянулись между собой и направились к выходу.

Товарищи поддерживали их взглядами и дружескими похлопываниями.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — тихо пробурчал Малиновский.

Граф Алексей Кириллович Разумовский принял их в кабинете надзирателя, который от Мартына Степановича перешел по наследству к Степану Степановичу.

— Значит, вы трое? — спросил граф после значительной паузы, во время которой он разглядывал подростков. — Насколько мне известно, были и другие кутилы?

— Мы одни виноваты, ваше сиятельство, — сказал Пущин. — Никого больше не было.

— Не уверен, что это так, — покачал головой граф. — Но тем не менее не настаиваю на обратном.

— Ваше сиятельство, — подобострастно пустился в объяснения инспектор Фролов, — я исследовал все подробно и нашел, что показывают на себя верно...

— Еще бы! — гордо сказал граф. — Лицейские! Ну и каково им было наказание?

— В течение двух дней стоянием на коленях, — сообщил Фролов. — Дядька, купивший им ром, уволен от должности.

— Два дня стоянием на коленях. Какая малость за столь серьезное преступление! — с укоризной покачал головой граф Разумовский. — А знаете ли вы, отроки, что полагается дворянину за безнравственное поведение? Тому, кто

постоянно обращается в пьянстве? Не знаете, господа? Когда судят его в первый раз в Управе благочиния, его приговаривают к временному заключению в смиренный дом, а вторично судят уголовным порядком, лишают дворянского достоинства и отдают в службу или на поселение! — Он замолчал, чтобы дать им понять всю суровость сказанного. Отроки стояли, потупившись, не смея поднять взор. — Вы понимаете, как вы запятнали свою дворянскую честь? Вам не стыдно, господин Малиновский, перед незабвенной памятью вашего батюшки? Если бы он был жив, какой бы позор вы навлекли на него! — Он помолчал. — О вашем проступке стало слишком известно, дело дошло до государя, и он порешил отдать его на решение конференции. К вашему счастью, мне удалось повлиять на это решение. Вы — как сыны мне, а Лицей — родное детище! Тем не менее конференция постановила следующее. — Он стал загибать пальцы с крупными перстнями.

Пушкин смотрел, не отрываясь, на эти холеные руки и думал о том, как быстро становятся аристократами при надлежащих условиях. Внуки малороссийского казака Григория Розума, получившие блестящее образование поначалу в особом институте, для них же и устроенном, потом в Страсбургском университете, заняли ведущее положение в государстве и по своему значению занимали место не меньшее, чем родовитая знать.

— Первое! — услышал Пушкин голос Разумовского. — Две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы. Второе. Сместить вас на последние места за столом, как худших по поведению. И наконец, третье. Объявляю вам, что заведена по решению конференции особая черная книга, в которую вписаны ваши фамилии с назначением вины каждого, а при выпуске из Лицея будет иметься в виду ваше дурное поведение. Это повлияет, разумеется, на чин, который вы получите при выпуске. Вот так, господа. Дай Бог, чтобы ваши фамилии были там первыми и последними... Идите! — жестом отправил он воспитанников.

Когда они вышли, граф, качая головой, сказал Фролову: — А ведь могли забрить и в солдаты... В былые-то времена.

К троице, стоявшей на лестнице, вскоре вышел, тяжело отдуваясь, Фролов и, расстегивая воротник мундира, забормотал:

— Ах, господа! Как же нескладно получилось. Но я не мог не сообщить по начальству. Устав этого требует. Надеюсь, вы меня понимаете?

— Да будет, Степан Степанович, — похлопал его по плечу Малиновский. — Все только еще начинается...

— Господа! Побойтесь Бога!

— А как насчет табачку? — спросил его ласково Пушин.

— Табачку? Тютюнчику моего желаете?

— А хоть и вашего, — сказал Пушкин.

Они вышли в сад вчетвером. Фролов раскрыл кисет, воспитанники достали из карманов сюртуков свои трубки и стали набивать их. Потом с наслаждением закурили, пустили дым. Никто обиды друг на друга не держал. Гроза миновала, все обошлось.

— Господа, докурите, возвращайтесь в класс, — сказал воспитанникам Фролов, выбил свою трубочку о постамент ограды Лицея и отправился по делам.

В это время мимо Лицея ехала открытая карета и вдруг остановилась. В карете сидела молодая Бакунина с сопровождавшей ее гувернанткой.

Молодые люди поклонились ей, пряча трубки за спину.

— Здравствуйте, господа, — сказала она приветливо. — Курите, курите! Такая новость. Государь вернулся в Россию. Он едет из Англии. Сегодня утром он проехал через Царское в Петербург. Говорят, матушка-императрица готовит ему встречу в Павловске. И к нам возвращаются лейб-гусары. После Парижа... — вздохнула она.

— Да, я тоже слышал, что гвардейцы гусары будут стоять в Царском, — небрежно сказал Малиновский.

— Может быть, гусары поймают убийцу? — вдруг переменила она тему. — Вы слышали, зарезали мещанку, возле парка, недалеко от дворца...

— Это не дело гусар, мадемуазель, ловить убийцу. Это дело полиции, — улыбаясь, пояснил Пушин.

— Ах, я не знаю, господа, чье это дело, но мне страшно, что он который год ходит среди нас и его не могут поймать.

— Поймают, — уверенно сказал Малиновский. — Сколько веревочке не виться!..

— Ну, хватит об этом! — вдруг капризно сказала Бакунина. — Скажите лучше, что вы здесь делаете? Разве у вас нет сейчас класса?

— Мы поджидали вас, — галантно выступил вперед Пушкин.

— Зачем? Разве вы знали, что я поеду? Я сама этого не знала еще полчаса назад...

— Мадемуазель, — обратилась к ней гувернантка, — хорошо, что вы вспомнили. Мы должны ехать... — подчеркнула она.

— Вот видите, господа, я не могу больше задерживаться, — сообщила им Бакунина. — Расскажите о своем деле в следующий раз... Трогай! — приказала она кучеру.

Коляска тронулась, и Бакунина слегка помахала им рукой.

— Жаль, — сказал вполголоса Пушкин. — А я хотел наконец ее спросить...

— О чем? — обратились к нему друзья.

— Кого из нас троих она все-таки выберет?

— Чего спрашивать? У кого хуй больше, того и выберет! — хохотнул Малиновский.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой в Петербурге получают известие о мире, заключенном в Париже, по всей России поют благодарственные молебны, а император наконец возвращается в Петербург. — Празднество в честь победителей, устроенное императрицей Марией Федоровной в Павловске. — Триумфальные ворота. — Павловские декорации работы Пьетро Гонзаго. — Цвет иудейского дерева и ляжки испуганной нимфы. — Представление в Павловске. — Актриса Наталья и лучший в Лицее фехтовальщик, Александр Пушкин. — «Всякий русский должен благодарить Бога, что он родился не французом». — Бал в Розовом павильоне. — Государь выбирает одну из сестер Велю. — Разъезд гостей. — 27 июля 1814 года

Лицеисты внимательно следили за тем, как разыгрывалась великая европейская драма. После взятия Парижа наконец пришло известие, что Наполеон отказался от престола, потом, что он уже на острове Эльба. Император Александр Павлович был во всем блеске своего величия. В конце

мая был заключен мир в Париже. Известие об этом в начале июня в Петербург привез сам великий князь Константин Павлович. Загремели пушки, зазвонили колокола, в церквах по всей России запели благодарственные молебны, в Петербурге зажглись увеселительные огни... Жители украсили балконы домов своих прозрачными картинами, где изображалось торжественное событие и события, ему предшествовавшие. Картины по ночам подсвечивались огнями. Первым из похода вернулось санкт-петербургское ополчение. За несколько верст до города толпы народа встречали своих воинов.

Каждое известие долетало до Царского в мгновение ока, лицейские были в курсе всех дел. Ждали императора, потом император приехал...

Лицейсты в сопровождении гувернеров Ильи Степановича Пилецкого и Фотия Петровича Калинича, во главе с надзирателем Фроловым шли попарно по улицам Царского Села. Мимо них в одну сторону, поднимая пыль, устремлялись экипажи разного рода: легкие дрожки, в которые была запряжена только одна лошадь, иногда случались дрожки и в две с пристяжною, на них ехали местные щеголи; маленькие коляски для двоих, где кавалер с дамою могли касаться друг друга коленями, с дышлом для пары лошадей, на которых обыкновенно сидел только кучер, но отсутствовал лакей на запятках; встречались и придворные экипажи, принадлежащие лицам императорской фамилии, кучера их были в ливреях, на передних рессорах были сиденья для пажей, называемые пазы, которые занимали мальчики из пажеского корпуса, а на лошадях — шоры.

Однако у всех частных лиц кучера и упряжь были совершенно национальные. Патриотические настроения войны двенадцатого года в то время еще не спали, хотя время наивысшего их подъема уже миновало.

Ловкие статные мужики с красивыми открытыми лицами управляли лошадьми. С открытою до груди шею, в красивых бархатных кафтанах, голубых, зеленых, малиновых, с бобровою опушкой и какою-то блестящею оторочкою, застегивающихся на груди пола-на-полу, с расходящимися от верху до пояса пуговицами, стянутыми на перегибе стана богатыми шелковыми, персидского узора кушаками, изпод которых кафтан спадает к ногам частыми, густыми,

продольными складками, в красивых пушистых шляпах, с загнутыми по бокам полями, с бородою и усами, с кокетством расчесанными надвое. Сидели они на козлах бодро, свободно, будто в креслах, держа в руках четверо крестообразно перекрестнутых плетеных цветных вожжей. У некоторых сбруя была красная сафьянная с вызолоченным набором, который горел как жар. Да и колеса на каретах случались золоченые, отличаться так отличаться. Лошади были не лошади, а воронопегие, атласновороные, чубарые львы и тигры, с гривами ниже колен, про таких охотники говорят, что они просят кофе.

Фореиторы, десяти-двенадцатилетние мальчики, в таких же нарядах, как и у кучеров, сидели на правой уносной лошади, на высоком стеганом седле с острыми луками, вроде казацких; то и дело раздавались по улице их высокие мальчишеские голоса:

— Прими вправо! Влево! Пади!

— Пади-и! — летели мимо кареты.

На запятках у таких карет стояли молодые и старые слуги в гражданских ливреях разных видов с гербовыми золотыми или серебряными пуговицами и басонами. Басонами такого же узора, что и на ливреях слуг, были обиты кареты изнутри и снаружи вокруг окон. Стекла у многих карет были опущены и занавески отдернуты, а в глубине скорее угадывались, чем виднелись утопающие в воздушных кружевах платьев бледные создания суровой зимы и гнилого петербургского лета, вокруг карет которых кружились и вились на арабских и английских кобылицах, заставляя их делать то курбеты, то лансады, молодые люди лучших фамилий.

Кареты вздымали облака дорожной пыли, и хотя лицеисты, ведомые опытным полковником Фроловым, шли с наветренной стороны, все же иногда, когда ветер менялся, клубы пыли обдавали и их. Подростки морщились и чертыхались, ощущая песок на пересохших губах.

Все общество из Царского устремлялось в одну сторону по Павловской дороге. Сегодня, 27 июля 1814 года, вдовствующая императрица Мария Федоровна устраивала празднество в честь победителей, для чего в три недели была воздвигнута рядом с Розовым павильоном танцевальная зала и расписаны декорации на природе. Собственно, праздник должен был состояться еще вчера, но его отменили из-за

дождя, сегодня только с раннего утра немного похмурилось небо, потом ветер разогнал тучи, жаркое июльское солнце вспарило воздух.

Когда лицеисты проходили мимо одной из самых богатых дач Царского села, принадлежащей графу Варфоломею Васильевичу Толстому, Пушкин, кивнув в ее сторону, сказал барону Дельвигу, шедшему с ним в паре:

— Скоро откроется сезон у графа, ужю тогда я доберусь до прелестей Натальи...

— Граф хорошо стережет своих наложниц, — рассудительно сказал барон. — Впрочем, дай тебе Бог!

— Дерзкой пламенной рукою белоснежну, полну грудь... Я желал бы... но ногою моря не перешагнуть... — вздохнул Пушкин.

— Перешагнуть, — поддержал его Дельвиг. — Граф Толстой стар, почему бы ему не поделиться ненасытной щелью одной из своих канареек? Дерзай, поэт! Авось щель и чикнет!

Пушкин захохотал, вскаркивая так, что на него стали оглядываться.

В Павловске между дворцом и Розовым павильоном были устроены Триумфальные ворота из живой зелени, однако столь маленького размера, что с трудом можно было представить, как в них мог въехать всадник на лошади, а между тем в них проезжал государь, возвращаясь из Парижа. Наверху ворот, будто бы в насмешку над их малым размером, были начертаны золотом два стиха:

Тебя, текуща ныне с бою,
Врата победы не вместят!

Увидев ворота со знаменательными стихами, Пушкин вдруг снова принялся хохотать самым неприличным образом; его заразительный смех у одних вызвал замешательство, у других удивление, а у третьих такой же приступ беспричинного смеха.

— Ты чего? Чего там, Француз? — принялись тормозить его идущие рядом лицеисты.

— Да прочитайте же стихи! — никак не мог успокоиться Пушкин. — На воротах!..

— Ну и что? — сам улыбаясь от заливистого смеха товарища, удивился Пущин. — В чем соль?

— И я не понял, — сознался Дельвиг. — Может, я чего-то проспал?

— Да как же! — удивился их недогадливости Пушкин. — Верно написано — врата победы не вместят! Говорят, государь, потолстел в Париже. Как же он пролез в эти маленькие воротца? Бочком?

Тут уж засмеялись и остальные лицеисты, представив себе государя, бочком пробирающегося в воротца. А вперед выскочил Паяс Яковлев и, чтобы ни у кого не осталось сомнения в комичности пролезания государя в Триумфальные ворота, изобразил пантомимически сию картину...

— Тихо, услышат, — урезонил расшалившихся товарищей Модинька Корф, оглядываясь по сторонам.

И верно, к ним тут же подскочил Фролов:

— Господа, успокойтесь, это неприлично, публика может принять все это на свой счет!

Чем вызвал еще больший взрыв хохота и особенное внимание многочисленной гуляющей публики.

— Пичужки, ведите себя благонравней! — урезонил их Калинин и снова впал в прострацию.

На лугу перед Розовым павильоном собралась публика, наблюдавшая за аллегорическим представлением с хорами на слова великого Державина, Нелединского-Мелецкого, Батюшкова и, кажется, князя Вяземского, музыкальную часть подготовили Бортнянский, итальянцы Каттерино Кавос и Антонолини. С постановкой возился Нелединский-Мелецкий. Все эти фамилии передавались из уст в уста, но в произвольном порядке, так что, кто истинный автор, понять было уже невозможно. Скорее всего, представление сотворили по-русски, соборно, то есть всем миром.

Декорации, как и Триумфальные ворота, были из живой зелени, а задняя стена, временно возведенная на поле, представляла окрестности Парижа и Монмартра с его ветряными мельницами работы славного декоратора императорских театров Пьетро Гонзаго, который прославился своими декорациями в Венеции, царил в Риме, откуда был выписан в Россию еще в конце царствования Павла князем Юсуповым и вот уже много лет работал в Петербурге, а последние

годы в Павловске у вдовствующей матушки-императрицы занимался преимущественно ландшафтами. Несмотря на высокое звание придворного декоратора, сам себя он называл всего лишь театральным маляром.

Это было действительно чудо декоративной живописи, которому удивлялись не только русские, но и все иностранцы, посетившие впоследствии Павловск, где она оставалась несколько лет на этом месте, пока не уничтожили ее дожди и непогода...

С другой стороны поля виднелась русская деревенька, написанная так удивительно, что казалась настоящей; только подойдя ближе, можно было понять, что и господская усадьба, и крестьянские избы, крытые соломой, и церквушка с синим куполом написаны на огромном холсте. Но если отступить всего на несколько шагов, то иллюзия возникала вновь.

Пушкин вспомнил, как они, гуляя по окрестным лесам, встречали прошлым летом живописца Гонзаго. Он ходил со своим учеником, крестьянским мальчиком, стриженным под горшок, который нес кисти и ведра с белой и черной краской. Белой краской помечались деревья, которые надо было сохранить, а черной — которые вырубить, чтобы открылась интересная перспектива на Царское от Павловска. Полотном для Гонзаго была сама природа.

В начале представления плясали дети. Платья танцоров были расшиты цветами, розовое на них удивительно гармонировало с зеленью и цветущими кустами роз...

Маленькие танцоры плясали под музыку расположившегося на поле оркестра, потом несколько из них, держа в руках недоплетенные цветочные вязи, приблизились к зрителям, заполонившим обширное поле. Детский хор спел куплет из песни:

Сбирайте цветочки
С зеленых лугов!
Плетите веночки
Из пестрых цветов!

Вперед выступило первое дитя, очаровательный кудрявый мальчик.

— Сегодня большой праздник для нас, милые товарищи! — обратился он к своим друзьям по играм и танцам. — Сегодня возвратятся наши милые родители!

Дети бросились в объятия друг другу, сходясь и расходясь в танце.

— Какая радость!

— Сегодня возвратятся они, наши добрые, милые родители!

— Наши папы!

— Из далекой страны!

— Победителями!

— Победителями!

— Победителями!

Дети восклицали, исполняя свой радостный танец.

— Мое сердце бьется от радости, — продолжало первое дитя. — Бедная маменька и сестрицы ожидали батюшку с таким нетерпением! Они боялись, чтоб злые солдаты не убили его в сражении. Теперь нечего уж бояться!

— Полно вам болтать, милые друзья! — подбежал к ним ребенок с вязью цветов. — Собирайте лучше цветы в корзинки; украшайте ими жертвенник в честь победителей. Может быть, они увидят его и полюбуются нашими трудами. Кроме цветов и сердец наших, мы ничего не имеем — и те приносим к жертвеннику с радостью!

— Давайте собирать цветы! — радостно отозвались остальные дети и снова запели:

Собирайте цветочки
С зеленых лугов,
Плетите веночки
Из алых цветов!

Лицеисты расположились отдельной группой, наблюдая за представлением. Пушкин, смотря более на публику, чем на спектакль, неожиданно высмотрел, что неподалеку в толпе, под присмотром строгой дамы и под охраной дюжих слуг в ливреях, находились крепостные актрисы графа Толстого, которых тоже привезли на празднество. Сердце его зашлось от радости, когда он увидел среди них давно вожделенную Наталью, приму графской театральной труппы, в круглой шляпке с широкими атласными лентами.

Сначала он не был уверен, но, найдя нужное положение, поймал момент, когда она чуть повернула голову. Нет, этот профиль, эту шею он никогда и ни с кем не смог бы спутать. Нежная кожа ее щек, казалось, светилась на солнце.

Он не знал, что подбор на ее шляпке нежного розового цвета гортензии был всего лишь искусной уловкой модистики придать больше прелести цвет лица той особы, которая наденет шляпку. Сама же шляпка была яркого розового цвета, оттенка, называемого цветом иудейского дерева. Дамы на лужайке вообще соревновались в тот день друг с другом цветами и оттенками розового, ведь ожидался бал в Розовом павильоне и многие были приглашены; тут были и знаменитые «ляжки испуганной нимфы», и *levres d'amour*, уста любви, и «парнасская роза», оттенка розового с отливом на фиолетовый, и розовый цвет бедных детей принца Эдуарда VII, казненных когда-то и зарытых под лестницей в замке и найденных только теперь, двести лет спустя после трагедии, и десятки других розовых оттенков без исторического привкуса, вообще пока не имевших названия; очень много платьев было сшито из материи цвета «Помпадур», который был чрезвычайно моден в тот сезон.

Итак, головка в шляпке цвета иудейского дерева, сама смахивающая на иудейку, только с точеным маленьким носиком, повернулась, и он смог ее узнать наверное.

— Она! — вырвалось у Пушкина, и барон Дельвиг, стоявший рядом с ним, близоруко щурясь, стал всматриваться в толпу:

— Кто? Где, Саш?

— Наталья, Тося!

— Какая? Горничная Волконской?

— Да нет же. Актриса. В розовой шляпке. — Он схватил Тосю за руку и крепко сжал ее. — Я сейчас! Вот случай! Я мигом!

И он исчез.

А дети на поле плясали и пели:

Скорее цветочки
Сбирайте с лугов,
Плетите веночки
Царю из цветов!

Первый ребенок запевал звонким хрустальным голосом:

О други! Спешите
Навстречу ему:
Весь путь устелите
Цветами ему.

А хор подхватывал:

Врагов победитель,
Он кроток душой!
Он наш покровитель,
Он ангел святой!

— Чу! Знать, кто-то идет? Не он ли? — вдруг встрепенулись несколько детей сразу. — Где? Где ангел? Где? — подхватили другие.

О други! Спешите
Навстречу ему:
Весь путь устелите
Цветами ему.

Сколько ни всматривался барон Дельвиг в волнующуюся толпу, он не увидел больше Пушкина, который в ней растворился.

А Пушкин вынырнул из толпы прямо за спиной Натальи, встал рядом и, не теряя даром времени, зашептал ей в спину жаркие, обманные, но такие искренние слова:

— Сударыня, умоляю, только не оборачивайтесь, чтобы не помешали нам ваши церберы. Я, сударыня, ваш давнишний поклонник, еще по прошлому сезону у графа...

Девушка, однако, не выдержала и с любопытством поворотилась к нему. Глаза ее черные округлились от удивления, что перед ней стоит не муж, а мальчишка, с едва пробивавшимися усами, кудрявый, с живыми глазами, блестящими от восторга преклонения. Еще с большим удивлением она обнаружила, что он значительно меньше ее ростом и ей приходится смотреть на него сверху вниз. Но Наташа, видимо, обладала природным тактом и посему ничем удивления своего не выдавала, не позволила себе даже усмехнуться, а слушала его внимательно и серьезно.

— Я желал бы вас видеть каждый день, но, к сожалению, судьба не дает нам этой возможности. До поры до времени мы вынуждены вести совершенно монашеский образ жизни. Но на первом же спектакле, я клянусь, сударыня, что проникну к вам за кулисы, тогда, я думаю...

— Т-с-с! — приложила она пальчик к губам, и Пушкину захотелось схватить ее руку и расцеловать этот маленький пальчик. — Погодите...

Они замолчали, и стало слышно, как в толпе переговариваются. Молодой гусар говорил хорошенькой девице, рядом с которой стояла ее мамаша и еще пара тетушек:

— Я вам скажу чистосердечно, я был в Париже, но таких прекрасных женщин, как у нас, там нет!

— И не может быть, — сказала мать девицы по-русски. — Ненавижу их род, всю эту бесхарактерную французскую науку: сам ласкает, а за пазухой змея сидит. Всякий русский должен благодарить Бога, что он родился не французом, всякий русский мужик лучше и почтеннее французского министра: совесть его по крайней мере чиста перед Богом и Отечеством. А эти уроды рода христианского! Черти!

— Маменька, я прошу вас. Верно, и во французах есть что-нибудь хорошее.

— Во французах? — искренне изумилась маменька. И задохнулась от возмущения.

Юноши и девушки, заступившие место детей, за разными занятиями, которые они изображали в пантомиме, слаженно пели:

Все внушает в жизни сладость,
Царский чувствуя приход.
Пой в восторге шумном младость,
Пой здесь счастливый народ!
Богом царь благословенный
Возвратится скоро к нам!
Царь велик, но не отринет
Скудных юности даров
И с улыбкой взоры кинет
На усердие сынов.

Вперед выступил первый юноша и продекламировал:

— Трудитесь, трудитесь, милые друзья! Минута торжественная приближается. Говорят, что наши славные воины недалеко; с ними, конечно, и государь. Он увидит наши занятия: плоды искусств, художеств, рукоделий, наук. Мы ему посвятим их.

— И он, конечно, не отринет слабых, но усердных приношений в местах, ему от детства любезных.

Девица в розовом платье аккомпанировала декламаторам на арфе. Вокруг нее кружились в танце другие девушки с ветками оливы в руках.

Некоторые лицеисты стали скучать представлением и вели свои беседы.

— Франция с Бурбонами, которым наш государь вернул престол и корону, должна быть и будет союзницей России, — говорил князь Горчаков стоящему рядом с ним Вольховскому.

— Да, — соглашался Суворочка, — и это должен быть военный союз!

— Сколько величия, благородства и великодушия в том, что победители сохранили побежденным город, — продолжал князь Горчаков. — Говорят, что наши солдаты охраняли памятники от вандализма их же толпы. Император по праву получил поднесенное ему Святейшим Синодом, Государственным советом и Сенатом наименование Благословенного, — рассуждал князь Горчаков. Он был не по летам взросл и серьезен.

Двое юношей звонкими голосами запели:

Он лавры похищал
Из рук неистовой Беллоны;
Царям он возвращал
И царства, и короны...

Открылся бюст государя в зеленой беседке. Художник заканчивал его, отходя и любуясь и снова возвращаясь к своему творению. Хор подошел к бюсту и запел:

Обложим вокруг, друзья, цветами
Мы образ нашего царя,
Его бессмертия заря
Венчает яркими лучами.

А Пушкин меж тем, раздувая ноздри, как раздраженный жеребец, бил копытом, не обращая внимания на сцену.

— Ну так вы будете меня ждать?

— Вы сами не знаете, что вы такое говорите! — испуганно прошептала Наталья. — Этого никак нельзя себе даже представить. Нам запрещено общаться с мужчинами!..

— Но я не могу запретить себе этого, я готов на любое безумство, лишь бы на мгновение увидеть вас наедине, иметь счастье поцеловать вашу руку.

— Что вы говорите?! И рука ли вам нужна? Я прошу вас... Вы погубите меня... — шептала Наталья, не поворачивая к нему головы, шептала почти одними губами, но он хорошо

ее слышал. — Там в карете — граф. Он может увидеть, что я разговариваю с посторонним.

— Хотите, я вызову его на дуэль? Я проткну этот надутый пузырь насквозь! Я лучший в Лицее фехтовальщик, месье Вальвиль хвалит меня... — напирал Пушкин.

— Так вы лицейский? — вновь удивилась она и посмотрела на него. — А я никак не могла понять, что на вас за форма. Думала, пажеская. А вы бываете при дворе?

— Бываем, разумеется... И часто, — соврал Пушкин. — Меня ценят, — снова нагло соврал он, не подумав даже, кого он имеет в виду, но подумав, что она подумает, что он говорит о самом государе.

— Вы — отважный! Я верю вам. Только оставьте меня сейчас. Нам никак нельзя более говорить, заметят...

— Так я приду? — со значением спросил он.

Она молчала. Он смотрел на ее приоткрытую под шляпкой шею, на завитки темно-русых волос.

— Можно? Вы будете ждать?

Она едва заметно кивнула ему. Или ему показалось? Нет, кивнула, ему не показалось. Но смотрела она по-прежнему на сцену, где появился знаменитый Самойлов и запел своим очаровательным голосом на мотив известного польского «Гром победы раздавайся!..»:

Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердец!
Твой воссиял нам зрак прекрасный,
Монарх, отчества отец!

А в это время Пушкин уже бежал по парку, подпрыгивая и пытаясь достать нижние ветки высоких деревьев. Музыка доносилась к нему издалека, из какой-то другой жизни...

Внемли ж усердья клики звучны:
О, сколько мы благополучны,
Отца в монархе зря!
Ура! Ура! Ура!
Ты мужества явил примеры;
Защитник был святыя веры
И доблестями прямой герой;
Явил дела великодушны.
О, сколько мы благополучны,
Отца в монархе зря!
Ура! Ура! Ура!

— Меня ценят! — кричал Пушкин в парке, один-одинешенек среди деревьев. — Меня ценят!

Сердца слушающих были в умилении, глаза наполнились слезами восторга. А Самойлов все пел:

Ты возвратился, царь наш милый,
И счастье наше возвратил;
Прогнав от нас те дни унылы
И страх, который нас томил,
Что были мы с тобой разлучны.
О, сколько ж мы благополучны,
Отца в монархе зря!
Ура! Ура! Ура!

Ему подпевали известные питомцы российской театральной труппы: госпожа Сандунова и Самойлова, а танцевали знаменитый Огюст, Дютак, Вальберг...

А потом был бал в Розовом павильоне, к которому пристроили танцевальную залу с балконом, убранную сверху донизу гирляндами из роз. Розами были украшены даже тяжелые хрустальные люстры, горевшие тысячами свечей и светившиеся тысячами хрустальных огоньков.

Лицеисты скромно теснились на галерее, окружавшей залу. От розового запаха, смешанного с запахом теплого воска и пота сотен тел, кружилась голова. Все взоры были устремлены на государя. Александр был в красном кавалергардском мундире, его окружала толпа блестящей гвардейской молодежи, в эполетах и аксельбантах, только что возвратившейся на родину из Парижа со свежими лаврами победителей.

— Ты видишь, князь, — восторженно сказал барон Корф князю Горчакову, — Россия ликует. Я никогда не забуду этой минуты, наш Агамемнон низложил Наполеона, умиротворил Европу. Одного этого деяния достаточно, чтобы обессмертить свое имя и войти в века!

— Да, — задумчиво согласился с ним Горчаков. — Не зря государя сравнивают с Александром Македонским.

— Он выше! — фальцетом вскричал барон Корф.

— Хоть бы чаю дали, — возник за их спиной Мясоедов и как-то печально хрюкнул. — А то держат здесь уже десять часов.

— Сейчас бы задавить храповицкого, — зевнул барон Дельвиг.

С другой стороны появился из-за спин косоглазый Броглио и присоединился к Мясоедову, с которым они в последнее время и сотворяли все шалости.

— Мясожоров, — сказал он. — Хватит жрать мясо. Хочешь яблочка из государева сада. Говорят, кого государь любит, тому посылает на дом целую корзину...

— А ты считаешь, что меня государь любит? — спросил тупой и наивный Мясоедов.

— Да, несомненно, государь любит всех своих подданных, — объяснил Броглио. — И особенно любит убогих.

— Это хорошо, — согласился, качая головой, Мясоедов, а Дельвиг хмыкнул.

— Это кто там на галерее? — спросил близорукий Александр Павлович у одного из своих приближенных.

— Это лицейских привели, ваше величество! — отвечали ему.

— Хорошо, пусть привыкают ко двору, — сказал Александр и хотел уже отвернуться, но вдруг добавил: — И вот еще что: скажите садовнику Лямину, пусть пошлет им корзину яблок к обеду.

Император пригласил на экосез графиню Пушкину, чтобы открыть бал. Они начали в первой паре; пары непрерывно менялись местами, образуя сложные фигуры. Государь действительно несколько располнел в Париже, но по-прежнему двигался легко.

На один из следующих танцев он пригласил среднюю из сестер Велио, дочерей его покойного банкира барона Велио, Софью, которая вместе с матерью и двумя сестрами присутствовала на бале. Ей было двадцать лет, она расцвела за годы его постоянного отсутствия в Царском. Ему нравилось ее смущение, ее невинность, которая была видна в каждом ее движении. Об этом приглашении в свете сразу стали говорить, и небезосновательно.

— Ты по-прежнему с матерью в Царском? — спросил Александр.

— Да, — пролепетала Софья.

— Я навещу тебя.

— Да, — еле выдохнула она из себя.

— Прямо завтра, — пообещал он твердо и добавил: — Ты была у меня в Баболовском?

— Нет, государь...

— Пешком гулять любишь?

— Люблю...

— Вот и прогуляемся.

Он решил, что тянуть с ней не стоит. Девушка эта, если надавить, уступит хоть здесь, под взорами тысяч гостей. Может быть, как-нибудь сегодня, подумал он, к чему тянуть, но пока танцевал, так ничего и не придумал.

На галерее Тырков подошел к Кюхельбекеру и, грубо толкнув его в спину, сказал:

— Глист, отойди, я ничего не вижу...

Кюхельбекер не обиделся, просто даже не заметил грубости; он посторонился, пропуская маленького и наглого Тыркова. Тот взглянул удивленно на долговязого, нескладного Кюхлю и увидел у него в глазах неподдельные слезы восторга.

— Он покори́л Париж! — вздохнул Кюхля, ни к кому не обращаясь. — Какая счастливая судьба. Благословенный государь!

— Бабенка с ним жопа́стая. Как тебе? Он и ее покорит, — уверенно сказал Тырков. Присмотревшись, он вдруг узнал ее: — Так это Софья, банкирша, в нее и в ее сестру Целестину Сенька Есаков влюблен. Страдай, Сеня! У тебя сам монарх соперник!

После бала подъезд наполнился множеством важных лиц в мундирах, слепило от орденов и бриллиантов, пахло духами и пудрой. Господа ожидали своих карет. Лица их были уставшие, платья помятые. Лицеисты спускались едва ли не последними, но и тут их остановили, оттерли в сторону, чтобы они не мешали разъезду, и они волей-неволей наблюдали это действо.

— Холо-оп! — выкрикивал один и тот же голос из толпы, и подъезжала очередная карета с бородатым кучером.

— Холо-оп!

И снова статный бородатый кучер на козлах сидел прямо и смотрел перед собой.

Понурые, безмерно уставшие, плелись по ночной дороге лицеисты, озаряемые лишь светом ярких летних звезд и луны.

Кюхельбекер шел, спотыкаясь, и что-то бормотал как в чаду.

— Что ты говоришь? — спросил его Корсаков.

— Этого никогда не забыть! — посмотрел на него Кюхля. — Ты понимаешь, Николая, что мы будем рассказывать об этом своим детям!

Корсаков тоже посмотрел ему в глаза, и у него отчего-то болезненно сжалось сердце, словно, идя по этой серой, седой и пыльной дороге, в серебряном свете лунной ночи, он почувствовал, что скоро, очень скоро его не будет в этом подлунном мире, он даже на какое-то мгновение почувствовал, что его уже нет, и испытал от этого такую невообразимую и ни с чем не сравнимую тоску, что не выдержал и отвернулся от Кюхли. Кюхля, весь пребывая в своих мыслях, тут же сунулся к Пушкину, заинтересованно двигая большим носом.

— Как тебе, Саша? Как тебе стихи великого Державина?

— Да-да, — отозвался Пушкин, думая о своем. — Замечательное представление. Разве кто что говорит...

— А стихи?

— Стихи, конечно, дрянь! — улыбнулся Пушкин.

— Там, говорят, почти все сцены написал поэт Батюшков, а вовсе не Державин... — пояснил Олосенька Илличевский.

— Все равно дрянь! — сказал Пушкин. — Хотя Батюшкова я знаю... И помню. С дядюшкой бывал у нас в Москве... Жаль, что стихи плохи.

— Повезло тебе, Француз, — в который уж раз вздохнул Олосенька, — ты с детства всех поэтов знаешь.

Пушкин тоже вздохнул и ничего не ответил, он опять стал думать о Наталье.

— А я ее рассмотрел, — сказал над его ухом барон Дельвиг, словно поняв, о чем он думает, и Пушкин очнулся. — Хороша, Саша!

— Да? — загорелся подросток, заглядывая другу в глаза.

— Кровь с молоком. Люблю пейзаж: эти сарафанчики, лифчики, фестончики, несколько нижних юбок с оборками — и на голову! А головой — в стог! И — раком! Раком! — Он громко захохотал, что прозвучало как-то неестественно в пустынном поле, под огромным куполом звездного неба,

да еще из уст барона, про которого все знали, что он до сих пор девственник.

Пушкин отвернулся от него и углубился в свои мечтания, а шедший рядом барон Корф посмотрел на барона Дельвига с осуждением. Он не понимал, как можно говорить о пустом и пошлом, даже мерзком, после такого великого дня, может быть, единственного по значению, который выпал на их судьбу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой победители пируют в Павильоне Мира, а Константина Батюшкова представляют императору.

— Нелединский-Мелецкий от имени императрицы Марии Федоровны заказывает Батюшкову стихи. — Композитор Катерин Альбертович Кавос. — Поездка Батюшкова в Приютино к Лениным. — Алексей Николаевич Оленин. — Приютинские забавы. — Анна Фурман и ее благодетельница Елисавета Марковна. — «Крыловская кельюшка» и сам Иван Андреевич. — Граф Дмитрий Иванович Хвостов и зубастый голубь. — За каждый стих — бутылку шампанского. — Батюшков и Анна. — Граф Хвостов — камер-фрейлина Екатерины Великой. — Кривой Гнедич — соперник Батюшкова. — Лето 1814 года

Поздно ночью, после ужина в Павильоне Мира, только что, как и танцевальная зала, всего за три недели отстроенном на месте бывшей дачи Голицына, откупленной в казну, государь император взошел в большую белую палатку с золотыми вензелями его имени, разбитую в парке, над которой горела надпись «Победителям». За длинным столом пировали его соратники. Царя-победителя встретило дружное «ура!».

Стол был сервирован походным царским сервизом, скромной белой посудой с золотой каймою и черными государственными орлами; сама же палатка украшена военными трофеями европейской кампании: оружием и знаменами.

Государь Александр выпил поднесенный ему кубок за здоровье своих товарищей по оружию. И снова ему ответом было дружное «ура!».

В числе прочих государю представили поэта Батюшкова, который написал весь сегодняшний дивертисмент. Александр милостиво ему улыбнулся, сказал несколько слов одобрения; счастливый царским вниманием Батюшков поклонился, тряхнув русыми кудрями; как и его начальник генерал Раевский, он боготворил государя, что и выразилось в его восторженных, почти искренних, но, безусловно, учитывающих вкус августейшей заказчицы императрицы Марии Федоровны стихах, петых на празднестве. Правда, это были лишь частью его стихи.

Константин Батюшков недавно прибыл в Петербург, возвратившись из Парижа через Англию и Швецию, и лежал в доме своей тетушки Екатерины Федоровны Муравьевой больной, покрытый какими-то простудными струпьями, когда к нему пожаловал сам князь Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Впрочем, о том, что он князь, вспоминалось редко, ибо он был прост в обращении, сиятельством просил его не величать и даже свои стихи никогда, в отличие от всех других сиятельных стихотворцев, не подписывал княжеским титулом. «На Парнасе все равны», — любил говаривать он.

— Молодой человек, пользуясь нашим старым московским знакомством и зная вас как прекрасного стихотворца, прошу вас написать маленькую драму. Петр Андреевич всячески рекомендовал вас, я только что получил от него письмо, — сказал он, протягивая ноги в мягких сапожках перед собой и поудобней устраиваясь в креслах.

— Я от Вяземских пока не имел известий. Здоровы ли они?

— Здоровы, все здоровы... Петр Андреевич, кстати, прислал мне четыре стиха для бюста государя. Мы их уже положили на музыку, получился хор. — Он пробубнил что-то, пошевелив пальчиками.

— А Карамзины, Юрий Александрович, простите, как Карамзины?

— И Карамзины живы-здоровы. А у нас, то есть у вас, осталась всего неделя, чтобы написать сцены по высочайше утвержденному плану. План, сударь, утвердила сама вдовствующая императрица. Государыня-мать ждет возвращения своего августейшего сына и желает устроить празднество, которого не видывал мир.

— Я, право, не знаю. Наш государь... Он выше Александра Македонского, где найти слова... Македонский запретил всем скульпторам ваять себя, разрешил только Фидию. Мне кажется, лишь Жуковский... Среди нас... — засомневался Батюшков. — Уж никак не я... Только Василий Андреевич!

— Вы сможете, я верю. А Жуковского сейчас нет, и Вяземского нет, один я, но я стар и быстро теперь не работаю...

— Я понимаю, но есть вторая причина: как видите, я болею, Юрий Александрович; привязалась ко мне в дороге какая-то гадость, вторую неделю страдаю. Мой дух угнетен... Простуда бросилась на нервы...

— Какие нервы, откуда вы их взяли? В наше время мы даже не слышали про нервы! Потом нервы, как я понимаю, это ведь у дам? А вы — мужчина! К тому же человек военный! Герой, я слышал... Впрочем, если вы хотите, я пришлю вам лекаря.

— Благодарю вас, Юрий Александрович, мой лекарь хорош. Он говорит, что это болезнь к лучшему, что она следствие путешествия и даже полезна.

— Болезнь полезна? — недоверчиво спросил князь Нелединский-Мелецкий. — И чем же он вас пользует?

— Ванны и серные порошки... Помогают, но слабо... Никуда не выезжаю... Хандра!

— Он прав, ваш лекарь: все только к лучшему. На хандру плюньте, — воскликнул Нелединский-Мелецкий. — Сидите и пишите. Я всех пришлю к вам.

На следующий день явился придворный капельмейстер Каттерино Кавос, по-русски Катерин Альбертович, выбросил лучшие стихи из того, что Батюшков написал за ночь, помурлыкал у окна мелодичные мотивчики, сказал, что пришлет писца перебелить сцены.

Когда капельмейстер уходил, Батюшков, прощаясь, ему посоветовал:

— В представлении, Катерин Альбертович, на мой взгляд, должна участвовать арфистка, в белом платье. Это всем будет напоминать Париж!

Кавос ушел в восторге. Идея с арфисткой пришлась ему по вкусу.

Потом появился некто Корсаков, маленький вертлявый человечек с испуганными глазами, кто такой, Батюшков

так и не понял, а тот не объяснился, принес свои стихи в том же размере, наконец, появился вельможный Гаврила Романович Державин, примешав к его стихам свое и Корсакова, и, к великому сожалению Батюшкова, вышла смесь, вовсе недостойная ни торжественного дня, ни искушенного зрителя. Всю эту драматическую стряпню, которую радостно уволок старик Нелединский-Мелецкий, положили на музыку и удачно разыграли актеры. Из стихов Вяземского к бюсту государя сделался «Хор, петый у Вторых ворот, к Розовому павильону ведущих». Батюшков, видевший эти стихи, в нынешнем виде их не узнал, как, впрочем, не узнал и многих своих. Тем не менее после представления государю довольный царедворец Нелединский-Мелецкий успел шепнуть ему, что вдовствующая императрица пожаловала стихотворцу Батюшкову бриллиантовый перстень и он завтра сам доставит царицын подарок.

Смотря вслед государю, отходившему от него, Батюшков подумал, что перстень, ежели он хорош, отдаст своей любимой сестре Вареньке в приданое, ибо у него самого таких денег на подарок никогда не будет.

Отсутствие средств в последнее время особенно сильно угнетало его, потому что он был влюблен и, кажется, очень серьезно. На следующий день, несмотря на болезнь, он, не дожидаясь Нелединского-Мелецкого, послал к нему камердинера Якова сказать, что уезжает. Яков вернулся третьего дня морем, и слава Богу, ибо разбушевавшегося Митьку за пьянство пришлось сдать для наказания на съезжую. Яков белого вина теперь не пил, только иногда пригубливал красного и носил французские рубашки тонкого полотна. Речь его была изрядно сдобрена французскими выражениями.

После возвращения Якова от Нелединского-Мелецкого Батюшков поехал к Алексею Николаевичу Оленину, директору Императорской Публичной библиотеки, под начальством которого он когда-то служил помощником хранителя манускриптов, известному археологу, историку и художнику-дилетанту. Собственный дом Оленина находился неподалеку, в той же 3-й Адмиралтейской части, где у своей тетки Елизаветы Федоровны Муравьевой жил Батюшков, на набережной Фонтанки, у Обухова моста, но летом проживал он со всей семьей на мызе в Приютине, за Пороховыми

заводами под Шлиссельбургом. Ехать туда было недалеко, всего шестнадцать верст от Выборгской заставы.

Усадьба располагалась на берегу речки Лубьи, которая отделяла приютинские земли от земель рябовских, принадлежащих известному богачу Всеволожскому. На одном из притоков Лубьи была сделана запруда, и налился перед барским домом большой пруд, где катались на ялике. Перед домом все лето стояли в кадках вынесенные из оранжереи пальмы и другие экзотические растения.

При въезде в усадьбу Батюшков встретил всю честную компанию, собравшуюся на этот раз у Елисаветы Марковны и Алексея Николаевича. Предводительствовал в компании сам Алексей Николаевич, малюсенький, вертлявый живчик, седой как лунь, слегка горбатый, с огромным орлиным носом, настолько несоразмерным лицу, что он казался прилипанным ему прямо на грудь. Умные его глазки горели веселым блеском. Он встал у кареты, приветствуя вновь прибывшего гостя. Обыкновенно он ходил в синем вицмундире с одной звездой, но сегодня, как на праздник, вырядился в милицейский мундир ополченца 1812 года. На одном плече у него был генеральский эполет, а на другом — погон из толстого золотого жгута; при этом наряде им всегда надевалась лента через плечо, все ордена, белые панталоны и сапоги с кисточками и шпорами; на маленькую седую головку — шляпа с громадным зеленым султаном из петушиных перьев, и сбоку прицеплялся тяжелый плащ, больше самого генерала, волочившийся за ним по земле... Говорили, что он носит военный мундир, на который, собственно, не имел достаточных прав, только из-за того, что государь любит военных, но Батюшков думал, что это совсем не так. Похожий на детскую игрушку *casse-noisette*, а по-русски «щелкунчика», он сам играл в это сходство, затеывая игры и забавы. Батюшков был уверен, что Оленин понимает комичность своей фигуры в этом странном генеральском мундире и бравирует ею. «Тысячеискусник» прозвал Оленина государь: всевозможные игры были одним из его тысячи искусств.

Вот и сейчас Оленин важно выступал впереди всех с большим луком в руке. Он любил обучать всех стрельбе из него. Рядом с ним шла с колчаном стрел его младшая дочь Annette Оленина, короткостриженный после болезни шести-

летний ангелочек. Уже в этом возрасте она подавала все признаки красоты необыкновенной, а сейчас, в коротенькой юбочке и с колчаном, с мальчишескими ужимками, походила на Амура.

— Константин Николаевич, пожалуйста с нами, — стали звать его, но Батюшков, сославшись на усталость, а на самом деле не увидев среди гостей Анны Фурман, ради которой он приехал, направился в дом.

Как он и ожидал, Аня была возле своей благотельницы Елисаветы Марковны, лежавшей на широком диване посреди обширной гостиной. Вокруг хозяйки клубились гувернантки и наставники ее детей, французы и англичанки, дальние родственницы и воспитанницы, проживающие у нее, несколько подчиненных хозяина, давно уже обратившихся в домочадцев. Если не считать тех, кто ушел гулять с самим хозяином. Дом был русский, патриархальный, похожий на Ноев ковчег.

Он был влюблен в Анну Федоровну еще до нашествия двенадцать языцев, помнил о ней все эти годы, но память его тлела в глубине души, не возгораясь страстью. Лишь теперь, по приезде, он понял, какой он носил в душе пожар.

Пипинька всем нравился. Оленину, наверное, еще и потому, что был почти такого же маленького роста, как и он сам. Елисавете Марковне, потому что был поэт, а поэтов в доме самого большого дилетанта тогдашнего Петербурга просто боготворили. Не нравился он, кажется, лишь одной Анне Фурман, воспитаннице Елисаветы Марковны, но ее мнение можно было не принимать во внимание. Она была бедна, в девках засиделась, и от нее ожидали покорности, с коей она и принимала ухаживания Батюшкова, ожидая, когда же последует от него предложение. Все ждали этого предложения.

Он так летел к ней, а когда увидел, растерялся. Ему вдруг стало казаться, что заметна сыпь, из-за которой он старался не выезжать из дому, и он все трогал и трогал себя за шею, желая удостовериться, что чирьи надежно скрыты под воротником рубашки. Заметив его смущение, но не поняв его причины, хозяйка, избрав уместный предлог, почти приказала своей воспитаннице прогуляться с Батюшковым. С ними хотела увязаться старшая дочь Олениных, Варвара, но мать оставила ее с собой.

Едва они вышли в сад, как их внимание привлекли крики, раздававшиеся от бани, где в двух комнатках на чердаке проживал Иван Андреевич Крылов, баснописец и сослуживец Оленина, завсегдатай приютинской мызы.

Возле бани, выделенной ему под проживание, выстроенной в античном стиле с портиком и которую все теперь называли «крыловская кельюшка», стояла лазоревая карета, запряженная четверкой цугом с форейтором на правой уносной лошади. Два ливрейных лакея в синих сюртуках с малиновыми воротниками и обшлагами, с золотыми галунами на треугольных шляпах, соскочили с запяток, открыли дверцу с золоченым гербом и помогали выбираться из кареты престарелому графу Дмитрию Ивановичу Хвостову, прибывшему вслед за Батюшковым в Приютино. Маленький, сморщенный, сухонький старичок, потрясая густо напудренной головой, двинулся к Ивану Андреевичу. Крылов, в вечно грязной, заляпанной соусом и пятнами кофе рубашке, с мохрами, торчащими в разные стороны, похожий на хомяка, потревоженного возле своей норы, стоял на задних лапах на пороге бани под портиком и, воздевая руки к небу, кричал:

— Нет, нет и нет!

— Иван Андреевич, не обессудьте, — кряхтел граф, подбираясь к нему бочком и доставая из кармана светло-серого фрака листки. — Стихи легкие, как перышко голубя. «Ода соловью». То есть вам, несравненный Иван Андреевич!

— Мне? — удивился тот. — Не похож я на соловья. На старую курицу похож, а на соловья — нет!

— Это иносказание, — мягко пояснил ему граф Хвостов.

— Вроде того зубастого, что ли? — вскричал Иван Андреевич — Не хочу!

— Какого зубастого? — не понял граф.

— Голубя вашего, с зубами... Тоже иносказание.

— Ну уж! А как еще сказать, что голубь перегрыз сеть?

— А он перегрыз?

— Перегрыз, сам видел, батюшка! Какое тут иносказание! Не стану же я, в самом деле, врать-то, не мальчик!

Со стороны понять их было трудно, но Батюшков с Анной улыбнулись, хорошо зная подоплеку их перебранки.

Граф досаждал всем своими стихами, он печатал их на свой счет на прекрасной веленовой бумаге и развозил по

знакомым. За ним всегда ходил гайдук, а то и два, с корзиной стихов. В первую очередь он обеспечивал своей продукцией всех литераторов, которых уважал, а Крылова граф Хвостов уважал более остальных. Крылов ему намекал на голубя, который в стихах графа что-то перегрызал зубами, над этими строчками много смеялись в обществе.

— Стой на месте, — закричал Иван Андреевич, загоразживаясь от графа. — Не подходи! У нас, братец, ежели ты опять привез стихи, теперь новое правило. Читаешь стих, покупай бутылку шампанского.

— Согласен, батюшка, — потер ручками граф, подгребая еще ближе и заключая Крылова в объятия. — Согласен на всё! Присядем-ка вот тут!

— За каждую строфу! — подчеркнул Крылов. — Целую бутылку!

— Отчего ж, можно и за каждую!

— Так ведь у тебя так каждый стих золотой будет!

— А он и есть золотой!

Крылов жалобно оглянулся, поняв, что сопротивление бессмысленно, и позвал к себе Батюшкова с Анной, но Анна спасла их:

— Я, Иван Андреевич, должна распорядиться на ферме насчет творога и сливок! А Константин Николаевич меня провожает...

Оленины на ферме держали семнадцать коров, целое стадо холмогорок, но молока на всех гостей порой не хватало.

Крылов развел руками и, подчинившись графу, вцепившемуся в него клешом, сел на лавочку. Тот плотоядно впился в баснописца и принялся за свои стихи, раскрыв объемистую тетрадь.

— У нас, бессмертных, — сказал Батюшков Анне, когда они отошли на достаточное расстояние, — только два чело века на Парнасе: Державин и граф Хвостов.

— Вы это серьезно или шутите? — удивилась она.

— Вполне серьезно. Первый, потому что не знает грамоты, а пишет, как Гораций, а второй — потому что пишет сорок лет и не знает грамоты, пишет беспрестанно и своим бесславием будет знаменит среди потомков.

— Мне трудно понять, — ответила она, — как можно быть знаменитым своей бездарностью! «Суворов мне родня, и я стихи плету», — рассмеялась она. — Его забудут...

— Нет, ошибаетесь, — усмехнулся Батюшков, — забудут других, несравненно более талантливых. Но уже он сделал слишком много, чтобы его не забыли. Никто не потратил столько сил, чтобы прославиться. Никто его не читает — он за свой счет издает и рассылает свои сочинения: литераторам, в академии, в университеты, в школы; в дороге раздаивает их станционным зрителям, а кто из нас не сучал на станциях в ожидании лошадей. Он за свой счет переводит их на европейские языки и рассылает знаменитостям: Гёте, Ламартину... Он становится известен, славен, ведь дурная слава — та же слава. На него написали столько эпиграмм, сколько ни на одного поэта в мире. Пародии на него уже никто не отличает от его собственных стихов. И вы хотите, чтобы после этого его забыли? Пусть никто никогда не будет знать ни единой его строки, но все будут помнить его имя, ибо в анналах истории литературы российской оно будет постоянно повторяться рядом с другими именами. Он не сделал ни одного неверного шага, все его шаги были к славе, он даже женился на любимой племяннице великого Суворова, присоединив свое имя к имени, уже гремевшему на всю Европу. Помните, что сказала Екатерина Великая, когда ее внимание обратили на то, что она пожаловала Хвостова камер-юнкером без достаточных на то оснований. Екатерина ответила: «Если бы Суворов попросил, я сделала бы его и камер-фрейлиной!» В другой раз Суворов попросил, и сардинский король сделал Хвостова графом.

— Но, по-моему, он не дурной человек, — сказала Анна.

— Да, он добр, — согласился Батюшков.

Когда они возвращались, Крылов, совершенно обескураженный, падая головой на грудь, все же продолжал счет:

— Уже тридцать три бутылки, Дмитрий Иванович! Это ведь целое состояние!

И рядом уже сидел одноглазый циклоп Гнедич, с лицом, изрытым оспой, от которой у него и глаз вытек; с платочком, три раза обернутым вокруг шеи; тоже, как и Крылов, сотрудник Императорской Публичной библиотеки, и радостно кивал головой:

— Тридцать три, ваше сиятельство! Позвольте заметить, тридцать три, ваше сиятельство! — Голос его был глуховат, будто простуженный.

— Не обеднею, хоть сто тридцать три, — успокоил их граф Хвостов. — Послушайте еще вот это! А там разом и пошлем за шампанским.

Гнедич раскланялся с Батюшковым и посмотрел на него и Анну подозрительно. С Аней, как и с дочерьми Олениных, Николай Иванович занимался русской словесностью, разучивал роли для домашнего театра. Ему тоже намекали про девушку на выданье, и столь частое присутствие Батюшкова его не радовало, хотя они и были давнишними близкими друзьями. Ведь он знал, что Батюшков влюблен в нее, и знал, что женщинам Пипенька нравится. Понимая, что у него серьезный соперник, Гнедич стал завиваться в последнее время и тщательно следовать моде. Теперь, разговаривая с девушкой, он всегда поворачивался к ней уцелевшим глазом, хотя эта сторона лица была сильнее изрыта оспой. Главное было отвести от взора девушки красную, постоянно слезящуюся дыру, оставшуюся на месте вытекшего глаза.

Крылов достал часы из кармашка и вдруг засуетился:

— Обедать пора, обедать. У Олениных не принято опаздывать! А вот и колокол! Ай-яй-яй! Опоздали! Какой конфуз!

За опоздание к обеду Крылов мог и задушить кого угодно. Лишение обеда для него было нечто, по тяжести деяния подобное непреднамеренному убийству. Он должен был, как и всегда, войти в столовую первым, пропустив, скрепя сердце, только дам.

К обеду звонили в колокол шесть раз, ибо он неизменно был в шесть часов вечера. Уже со вторым ударом тучный Крылов довольно резво неся по аллее к дому, оставив Гнедича с Хвостовым далеко позади. Гнедич был человек искалеченный и имел до графа одно деликатное дело, для чего удерживал его возле себя. Батюшков усмехнулся и подумал, что друг его окончательно истаскал свое сердце у обер-секретарей и откупщиков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой Крылов обедает у Олениных. — Уха с растегаями. — Телячьи отбивные. — Жар-птица. — Нежинские огурчики и мочения. — Антикварий Селакадзев. — Вольтер, бывший Ломоносовым и Дмитриевым. — Страсбургский пирог от Федосеича и гурьевская каша на каймаке. — Филипп Филиппович Вигель с молодым французом Ипполитом Оже, их страстные поцелуи. — Тоска влюбленного Батюшкова и бегство из Приютина. — Лето 1814 года

С шестым ударом колокола Крылов оказался у дверей столовой и, скрепя сердце, пропустил вперед дам, после чего первым проследовал за ними. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе.

Крылов водрузил свое грузное тело на привычное место, рядом с хозяйкой. Слуга Емельян бережно подвязал ему салфетку под самый подбородок, а вторую разостлал на коленях.

Была уха с растегаями, которыми обносили всех, но перед Иваном Андреевичем поставили глубокою тарелку с горою растегаев. За обедом Крылов говорить не любил, но слушал других с удовольствием, поэтому хозяин, Алексей Николаевич Оленин, развлекал гостей рассказом о посещении известного антиквария Селакадзева, который жил в одном из переулков Семеновского полка, в неопрятной квартире, заваленной всяческим хламом, который он считал бесценным. На этот раз ездили к антикварию по просьбе Гаврилы Романовича Державина, который прослышал о новгородских рунах и хотел увидеть их.

Крылов внимательно слушал, а между тем покончил со своими растегаями и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емеля знал уж, что это значит, и быстро поднес ему большое общее блюдо, на котором оставался еще запас.

— Селакадзев принял нас в новом сюртуке, — рассказывал Оленин, — сидя на софе, посреди своих редкостей, с которых, он, видимо, по этому случаю смел пыль.

Крылов, поглощая растегай, бормотал себе под нос:

— Какова Егоровна! Не даром в Москве жила: ведь у нас здесь такого растегая никто не смастерит, — прищептывал он для Елисаветы Марковны, хозяйка в ответ ему улыбалась. — И ни одной косточки!

— Я, признаться, знал об этом человеке, ибо еще за некоторое время до этого посетил его, — повысив голос, продолжал Алексей Николаевич Оленин. — Мне говорили о нем как о великом антиквари, и я, по страсти своей к археологии, не утерпел. И что, вы думаете, я нашел там? Целый угол черепков и битых бутылок, которые он выдавал за посуду татарских ханов, обломок камня, на котором отдыхал Димитрий Донской после Куликовской битвы, суковатую можжевелевую палку, которую он всем выдавал за костыль Иоанна Грозного, и кипы бумаг, не знаю, где найденных, называемых им новгородскими рунами.

Он показывал мне все эти предметы со страшной гордостью, а когда я его спросил, какие есть доказательства того, что хотя бы вот эта палка принадлежит Иоанну Грозному, он обиделся и с негодованием сказал мне:

— Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать!

Что ему было возразить на это? Заметив в углу две алебастровые фигурки Вольтера и Руссо в креслах, я в шутку спросил его:

— А что это за антики?

— Это не антики, — отвечал он опять ужасно важно, — это точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина.

За столом рассмеялись, а Крылов, обрадовавшись заминке в разговоре, похлопал себя по животу и провозгласил:

— Растегаи славные! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскочили. Ведь это ж Егоровна мастерила! Вы уж, сударь, ее от меня поцелуйте! А про уху и говорить нечего — янтарный навар! Благородная старица!

Крылов кончил, значит, можно было вносить другое блюдо. Внесли телячьи отбивные котлеты громадных размеров — каждая еле на тарелке умещалась.

Крылов умолк и Оленин смог продолжить рассказ, пока Крылов, взял одну, потом другую котлету. И, окинув взо-

ром гостей, произведя математический расчет, счастливый и довольный, потянулся за третьей, хотя другому человеку вряд ли можно было и половину сей котлеты осилить. Батюшков над своей, во всяком случае, застрял, долго ковыряя ее вилкой.

— Так вот, во второй раз, — продолжал Оленин, — я приехал к Селакадзеву, сопровождая Державина, с нами был и Иван Иванович Дмитриев, наш министр юстиции. Державин вцепился в руны и тут же принялся что-то из рун переводить, сверяя перевод этой тарабарщины с Селакадзевым, бывшим у него по этому случаю толмачом, а я заметил статуйки, стоявшие на прежнем месте, и подвел к ним Дмитриева, чтобы вместе посмеяться. Каково же было мое удивление и еще более Дмитриева, когда мы увидели под ними надписи: Державин и Дмитриев. Дмитриев узнал Вольтера и очень смеялся, узнав, что Вольтер до него побывал уже Ломоносовым.

За столом все оживились шутке, но более других Крылов, потому что внесли громадную жареную индейку, которая вызвала у него неподдельное восхищение. Крылов давно покончил с котлетами, запихал все косточки от котлет и бумажки ногой под стол, чтобы никто не мог пересчитать их, и скучал. Потому принимаясь за жар-птицу, он на радостях не упустил случая и сам пошутить:

— Надо вашему антикварию посоветовать в следующий раз дать статушке имя графа Хвостова! Или лучше так: пусть обе статуйки носят славное имя графа Хвостова! Граф Хвостов в образе Вольтера и граф Хвостов в образе Руссо.

— Благодарю вас, Иван Андреевич, за честь! — поклонился граф Хвостов Крылову.

Но тот его уже не слышал: он с хрустом разгрызал косточки, обкапывая жиром салфетку, и приговаривая:

— Жар-птица! У самых уст любезный хруст. Как поджарила, наша старица, точно кожицу отдельно, а индейку в другой посудине. Ох, искусница!

— Я поеду и куплю у Селакадзева статуйки, вы не составите мне компанию? — обратился тогда граф Хвостов к хозяину дома.

— В третий раз?! Боже упаси! — воскликнул Оленин.

А тут и новая радость для Ивана Андреевича подоспела. Он любил всяческие мочения и Оленины никогда не забы-

вали об этом. Появились нежинские огурчики, брусника, морошка, сливы...

— Моченое царство! Нептуново государство! — вопил Крылов, как вишни заглатывая целиком огромные антоновки.

На обеде полагалось четыре блюда, но, когда обедал Иван Андреевич, прибавляли и пятое.

Три первых блюда готовила кухарка, та самая Егоровна, а для двух последних Оленины приглашали повара Федосеича из Английского Собрания. В Английском Собрании Федосеич считался помощником главного повара и давно бы занял его место, если бы не запой, которым страдал он, как и многие другие талантливые русские люди.

За два дня до этого обеда Федосеича, тайком от Крылова, уже доставили в усадьбу.

В этот раз при выборе блюд остановились на страсбургском пироге и на сладком, гурьевской каше на каймаке.

Федосеич глубоко презирал страсбургские пироги, которые приходили в Петербург из-за границы. «Это только военным в поход брать, а для барского стола нужно поработать», — негодовал он. Он прибыл с 6 фунтами свежайшего сливочного масла, трюфелями, отборными гусиными печенками, самолично купленными в лавках, и начались протирания, перетирания. К обеду появилось горкою сложенное блюдо, изукрашенное зеленью и чистейшим желе.

При появлении этого чуда кулинарного искусства Крылов с пафосом протянул к Оленину руки:

— Зачем, друг милый и давнишний, зачем предательство сие? Ведь узнаю я руку Федосеича! За что? Как было по дружбе не предупредить? А теперь — все места заняты! — он с грустным лицом похлопал себя по животу.

— Найдется еще местечко! — бросились утешать его хозяйка и хозяин.

— Место-то найдется, — отвечал Крылов, самодовольно оглядывая свое брюхо, — но какое? Первые ряды все заняты! Партер полон, бельэтаж и все ярусы забиты. Один раёк остался. Федосеича в раёк, — трагически кончил он, — ведь грешно, братцы!

— Ничего, — успокоил, посмеиваясь, Оленин. — Помаленьку в партер снизойдет.

— Разве что так, — словно нехотя согласился Иван Андреевич, накладывая себе тарелку горой.

Батюшков с печалью думал о том, как может он поглощать столько жира. Сам он положил с блюда небольшой кусочек *pate* и нашел, что очень вкусно, но *tres indigested*.

Когда на сладкое принесли гурьевскую кашу, Иван Андреевич, утомленный долгой работой за столом, все же приободрился и сообщил, что для каши хоть места и нет, но можно постоять и в проходе.

После обеда некоторые отправились в кабинет хозяина пить кофе, другие разбрелись по комнатам и домикам спать.

Сидя в предоставленной ему комнате, Батюшков все более и более впадал в тяжкое уныние. Он корил себя за то, что приехал, а приехав, не смог хорошо подать себя, был скучен, занудлив. Затеял с Анной Федоровной, пока они гуляли, невеселый разговор о своем житье-бытье. Он вспоминал, о чем говорил с ней, и удивлялся, зачем это делал.

— Я не могу уехать из Петербурга, пока сюда не прибыл генерал Раевский, — сообщил он ей, как будто она желала этого отъезда. — Генерал Раевский представил меня в гвардию, что даст два чина вдруг, — и к Владимирскому кресту, который потерять не хочется, ибо я заслужил его по неоднократным представлениям за всю французскую кампанию! Да еще за два дела под Теплицем, за которые тоже не был награжден. Остается приписать это моей неблагоприятной звезде, — закончил он и посмотрел на девушку, ища сочувствия.

— Напрасно вы жалуетесь на судьбу, — печально сказала ему Анна Федоровна. — Вы прошли пол-Европы и не ранены! Провидение возвратило вас к вашим родным. Чего еще можно желать? Алексей Николаевич и Елисавета Марковна не дождались своего сына.

Старший сын Олениных погиб под Бородиным и был похоронен в мавзолее, воздвигнутом по проекту самого Оленина, здесь, в приютинском парке.

Он согласился с ней всем сердцем. Он видел, что его рассуждения о чинах ей скучны, потому что и ему самому они были скучны тоже. Он завел этот разговор, поскольку считал нужным поведать ей о своих перспективах по служ-

бе, но про себя он знал, что, наверное, ему не надо искать чинов, а должно принять предложение Алексея Николаевича и возвратиться на прежнее место в библиотеку. Он видел, что Анне хочется просто веселиться, а не обсуждать с ним его дела. Он понимал, что просто не хочет верить, что она не интересуется им настолько, чтобы искренне участвовать в нем. Что ей было до его состояния, ведь не мог же он ей, на самом деле, сказать, что он нищ и пытается искать чинов для нее. А надо ли искать чинов, которых ты не уважаешь, подумал он, слоняясь по комнате, и денег, которые не сделают тебя счастливым? Надо ли искать чины и деньги для жены, которую любишь? Как начать жить с ней под одною кровлею в нищете, без всякой надежды?

«Нет, не соглашусь на это, — внезапно решил он. — И согласился бы, если б я только на себе основывал мои наслаждения! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни лишь злые сердца. Оставим это на произвол судьбы!»

В это время в дверь комнаты постучали, и он нехотя открыл ее. На пороге стоял Филипп Филиппович Вигель, человек с недавних пор появившийся в литературных кругах. Батюшков слышал уже о его приезде. Ходили слухи, что он приехал из Москвы искать место через Марию Антоновну Нарышкину, но случился афронт — Мария Антоновна уже не могла составить ему протекцию, потому как навсегда лишилась своего влияния. Она не умела ценить отношения к ней монарха, и связь ее с молодым Голицыным слишком стала известна. Говорили, будто и сын ее Эммануил был уже не от императора, а от его секретаря, чем и объяснялось охлаждение к нему Александра.

— Милый Константин Николаевич! Я прибыл из первопрестольной, вам поклон от князя Петра Андреевича! Все живы-здоровы, — улыбнулся ему Вигель.

— Очень рад, Филипп Филиппович! Чем могу служить? — Батюшков улыбнулся в ответ знакомцу, но взгляд его был тосклив.

— Мы с вами еще посидим, но сейчас... Я приехал в Приютино с моим молодым приятелем, французом, вступившим в нашу службу в Париже. Мы хотели бы быть с ним в соседних комнатах. Не были бы вы так любезны, Констан-

тин Николаевич, уступить нам свою и перейти в комнату чуть подальше по коридору. — Он заглянул через его плечо. — Та комната ничуть не хуже этой, — добавил он, снова улыбаясь и складывая пухлые красные губки в кружок.

— Извольте, — пожал плечами Батюшков. — Рад вам услужить.

Ему действительно было все равно. Филипп Филиппович сложенными красными губками со свистом пососал воздух.

Пока слуги перетаскивали их вещи, Филипп Филиппович познакомил его с молодым французом. Его звали Ипполит Оже. У него были красивые карие глаза с двойным рядом больших пушистых ресниц. И Батюшкову почему-то подумалось, что француз непременно понравится Анне Федоровне, и чувство, похожее на ревность, засосало у него под ложечкой.

Он бросил слуг на произвол, позволяя им самим довершить его переезд в другую келью, и удалился в сад. Долго бродил он по приютинскому парку, размышляя о жизни. Почему-то его мысли стала занимать судьба его человека, которого он сдавал наемни для наказания плетью за пьянство. Пьянство не прекратилось, дня два Митька выдержал и запил снова. Надо отправить его к сестре в деревню и наказать углицкому старосте следить за ним. Если еще раз напьется, то сдать его в рекруты за углицкую вотчину. Или пусть продадут, ибо нужны деньги, а пьяницы совсем не нужны, — усмехнулся он. — Жаль, конечно, старика Оси-па, его отца, но что делать?

Темнело. Появились беззвучные летучие мыши. Вспархивали прямо перед лицом, останавливаясь на мгновение в воздухе, и поворачивали вспять. По всему парку слышались голоса: отправились в вечернее путешествие гости под предводительством неугомонного Алексея Николаевича.

«Наверное, среди них и Анна Федоровна, — думал он. — Хорошо бы идти вместе, прикоснуться к ее руке, чувствовать дрожь от этого прикосновения...»

Ему показалось, что на лавочке под пальмой сидят двое и целуются. Сердце его замерло, он подумал, что это может быть Анна и ее избранник (но кто он?), однако, присмотревшись, он понял, что это Филипп Филиппович Вигель и француз Оже. Они действительно целовались.

Батюшков отвернулся и сделал вид, что ничего не заметил.

В этот день много смеялись, на завтра ожидали домашний спектакль, оказалось, что Анна Федоровна занята в нем и сейчас репетирует с Гнедичем, а Батюшкову делалось все тоскливей и тоскливей; и в конце концов, не в силах переносить эту сердечную муку, он, никому не сказавшись, уехал.

Об этом ничего не знали Оленины. Хозяин шел впереди коноводом, вел гостей по старому, заброшенному кладбищу в дальнем углу парка. Он шепотом оповещал всех об опасностях, нависших над ними, нагнетал страхи. Дамы жались к кавалерам, кавалеры тоже ощущали легкое покалывание нервов, как вдруг сам он истерично завопил и кричал до тех пор, пока к нему не приблизились остальные, хватая его за плечи.

— Что случилось? — кинулись к нему.

— Не знаю, не могу двинуться, что-то уперлось мне в грудь и не пускает. Ай!

— Покойник, — вскрикнул кто-то.

Кто был посмелее, стал его ощупывать. Оказалось, что в грудь отважного путешественника, крохотного росточком, уперся старый обруч от бочки, на который он в темноте наступил.

Опять много смеялись, а обруч решили отнести в музей, чтобы будущие поколения могли по его размеру определить рост Оленина, если им, конечно, это когда-нибудь понадобится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой цирюльник бреет Пушкина. — Приезд родителей с братом и сестрой. — Пушкин узнает от отца, что с ним мечтают познакомиться Вяземский и Жуковский. — Лето 1814 года

Цирюльник, старый уже мужик, выслуживший свой срок солдатский, брил Сашу Пушкина и рассказывал. Рассказывал он в охотку, видать, беседовали они не в первый раз, к тому же были совершенно одни, и оттого беседа текла свободно.

— Родитель мой, — продолжал рассказ цирюльник, — состоял при Петре Федоровиче, но не долгое время. Из-под Татищевой, когда князь Голицын разбил их, отец мой бежал домой; а после при допросах отрекся, показал, что состоял при нем из-под неволи, смотря на других; а когда-де уверовал, что он не царь, тотчас-де и бежал от него. Этим самым показанием отец мой спас себя, остался без наказания. А других прочих из нашей братии куда как крепко жарили плетьюми, кто до конца держал его сторону и считал его за царя, а иных смертью казнили...

— Так, значит, говоришь, не Емельян Пугачев он был и не царь, так кто же, по-твоему? — поинтересовался Пушкин.

— Да знамо кто — царь! Петр Федорович! Об этом и толковать нечего. Только ты, батюшка, об этом никому не рассказывай. Нельзя про это. А под левым глазом знак у него был — маленький рубчик! Так это точно, один гусарский офицер рассказывал, Петр Федорович! Он этот рубчик с детства получил. Шалун был, вроде вас вот, сильно бегал и об угол стола ударился. Вот и рубчик. Шалость, да и только, а вот знак на всю жизнь, верный знак!

В закуток, где происходило брадобрение, пулей влетел Лисичка Комовский.

— Француз, к тебе родители приехали!

— Неужели? — почти равнодушно повернулся к нему Пушкин. — Оба, что ли?

— И мать, и отец, и брат, и сестра, — перечислял, не переводя дыхания, Комовский.

— Надо же, и папаша из Варшавы пожаловал! Лисичка, — попросил Пушкин Комовского, — пойдی скажи, что скоро пожалую, а сейчас бреюсь, вот добреюсь, тогда и приду...

— А гостинца дашь? — спросил Комовский. — Страсть люблю гостинцы.

— Дам, дам, — махнул рукой Пушкин. — Если что-нибудь будет...

Когда Комовский скрылся, Пушкин как ни в чем не бывало обратился к старику-цирюльнику с вопросом:

— А что была за история с его женитьбой?

— Вот с этой женитьбой все его беды и начались. Великий грех на душу взял, незамолимый! От живой жены жениться не подобает! — вздохнул цирюльник, видимо, еще

до сих пор жалея Пугачева, и повернул голову Пушкину, занеся бритву над щекой. — Вот тогда от него Господь и отказался!

Саша вошел в зал и остановился, увидев всю семью в сборе: мать, отца, братца Льва и сестрицу Ольгу. Увидев повзрослевшего младшего брата, он отчего-то отчетливо вспомнил другого, Николашу, умершего в детстве и перед самой смертью показавшего Александру язык. Вспомнил, наверное, потому, что Левушка был похож на умершего. Мать уже посещала его когда-то, в самом начале его заключения в Лицей, отца же он видел впервые с Москвы.

Сергей Львович еще более поплешивел, однако на макушке у него торчал взбалмошный, непослушный хохолок, да и носик у него был загнутый, вроде клювика, что придавало ему сходство с попугаем. Даже перекрашенные волосы усиливали это ощущение, отливая малиновым цветом. Увидев сына, он проворно вскочил с кресел, в которых посещающие Лицей обыкновенно дожидались воспитанников, и устремился навстречу старшему сыну, театрально протягивая руки. В каждом его движении сквозила глубокая душевная фальшивость. Александра так и передернуло от неприязни. Он уже отвык от фальши; жизнь его в Лицее складывалась на совершенно других, здоровых основах: дружбы, приязни, искренности или полнейшего равнодушия, а бывало, и нескрываемой неприязни, но не было в отношениях между лицейскими этой светской фальши, этой приторной любезности при полнейшем равнодушии к ближнему.

— Сын мой, единственный, любезное чадо! — возопил Сергей Львович и припал к груди Александра. Артистические слезы, впрочем, сейчас, может быть, вполне искренние, выступили на его глазах и даже покатались по щекам.

— Отчего же, батюшка, единственный? — усмехаясь, поинтересовался Александр. — Вот Левушка стоит, тоже твой сын! Ты ведь от него не отказываешься?

Брат подбежал к Александру, но Сергей Львович остановил его движением отцовской длани:

— Постой, Левушка! Наконец-то мы с Александром после долгих лет скитаний воссоединились! Святая, незабвенная минута! То дитя дорогое, то единственное, которое заблуд-

шее, но вернувшееся к отчему очагу! Яко сын мой сей мертв бе и оживе; и изгибл бе, и обретется!

— Папенька, я ведь не уезжал никуда! — не мог не напомнить Александр отцу. — Как вы меня сюда определили, а дядюшка Василий Львович доставил, так я и живу все годы. Вы что-то запаматовали. Верно, маменька? — обратился он к матери, и она хотела обнять его, но на мгновение вздрогнула, взглянув на отца. Обыкновенно находившийся под ее каблуком Сергей Львович единственно чего не прощал, так это когда ему ломали сцену.

— Надежда Осиповна! — будто не слышал сына Сергей Львович. — Обними сына своего Александра. Долгожданная минута! Сколько бессонных ночей в Москве, в Нижнем, в Варшаве, везде, куда бросала нас судьба... Обними, обними сына!

— Здравствуй, милый мой Саша! — поцеловала его Надежда Осиповна, после чего ему на шею бросился младший брат Левушка, в котором на первый взгляд было много похожего с братом.

— Теперь Левушка будет, надеемся, учиться в пансионе при Лицее. Скоро экзамен, — сообщила Надежда Осиповна старшему сыну. — По сему случаю мы решили переехать в Петербург, и бабушка с нами переехала. Разве можно мальчика одного бросить на чужбине?! Мое сердце разорвалось бы от горя в разлуке с ним! — Она искренне обняла младшего сына и прижала к себе.

— А ты вырос, Левушка, я оставил тебя совсем ребенком, — сказал Александр брату и потрепал его дружески по плечу. — Сколько тебе?

— Девять, — гордо ответил мальчик.

— Я буду к тебе заходить в пансион, ты не будешь один.

Левушка заулыбался в ответ. Ему нравился старший брат, образ которого за эти годы стал уже меркнуть в его памяти и которого он сейчас заново узнавал.

— Нет ли в чем нужды, сын? — спросил Сергей Львович, чтобы переменить тему. Он уже совершенно успокоился и рассматривал свои точеные ногти на барских холеных руках.

— Нужды, папенька, особенной нет, разве что оставьте денег. Я поиздержался... Иногда надо дать служителю «трин-

кгельд», да нет. Да и долгу у меня товарищам уже десять рублей.

— Десять рублей! — возмутился и вскинулся Сергей Львович так, что хохолок у него на макушке задрожал. — Десять рублей! Возможно ли такое?

— Да, десять, — согласился с ним Александр. — Да разве это большие деньги?

— Не понимаю, не понимаю, — разволновался не на шутку Сергей Львович, — как можно было поиздержать на всем казенном целых десять рублей?! Не понимаю...

— Так ведь, папенька, это ж не в месяц, а почти в три года! — напомнил Александр.

— Десять рублей, братец, это деньги, а мы почти разорены, имения разграблены, и все из-за этой проклятой войны с извергом! Из-за нее мы потеряли все имения!

— Да вроде бы в наших имениях французы не были? — спросил Александр. — Кто ж их разграбил?

Сергей Львович если и смутился, то лишь на мгновение, а далее продолжал слишком уверенно:

— Крестьяне — мошенники, прости Господи, хуже французов, денег не шлют! Ну, впрочем, вот! — сказал он, чтобы закончить неприятный для себя разговор, и достал кошелек. — Возьми, мой любезный сын, ради встречи, десять рублей, да впредь...

— Как же, папенька, десять? — возмутился уже в свою очередь Александр. — Я десять только должен. Я и так за все годы ничего не видел. Всех родители навещают, а меня всего пару раз дядюшка Василий Львович.

— Ну вот еще пять, — скрепя сердце, согласился Сергей Львович. — Хотя я совсем не понимаю, куда в твои годы можно тратить деньги?

— И правда, Александр, куда?! — спросила мать.

— Мы всегда заходим в кондитерскую Амбиеля, когда нас пускают из Лицея...

— Должен тебе сказать, — перевел разговор на другую, более ему приятную тему Сергей Львович, — что дядюшка очень тобой доволен, много о тебе рассказывал в Москве. Про твои стихи всем известно. И к тебе скоро обещались князь Петр Андреевич Вяземский и Василий Андреевич Жуковский, они мечтают с тобой познакомиться...

— Вяземский? Жуковский? — недоверчиво спросил Александр. — Откуда они обо мне знают?

— От дядюшки, разумеется... Вся Москва о тебе наслышана. Николай Михайлович был у меня, желает возобновить с тобой знакомство...

— Я Карамзина плохо помню... Что-то не верится, чтобы Николай Михайлович...

— Да ты был совсем маленький, когда он бывал у нас... Но он тебя еще в ту пору приметил...

— А верно говорят, что он кончает свою историю да скоро поедет ее представлять в Петербург царю?

Раздался перезвон колокольчика.

— Это что? — спросила мать.

— Это звонят к обеду, — пояснил Александр. — Я пойду. У нас не положено опаздывать.

Он не стал уже целоваться с родителями, а лишь потрепал по вихрам младшего брата:

— Я зайду к тебе, Пушкин Лёв, когда выдержишь экзамен.

— Александр! — вдруг сказала молчавшая доселе сестра. — Я при нашем переезде потеряла твои стихи, что ты послал мне в письме. Не мог бы ты мне снова написать их?

— Мне жаль, Ольга, да я их не помню. Нет нужды все безделицы помнить! — отмахнулся он и твердым шагом вышел из залы.

Сергей Львович сделал неопределенный жест в воздухе, который одновременно мог означать и восхищение, и некоторые другие, не вполне приятные эмоции.

Из одного из больших окон коридора Пушкин смотрел, как родители, сестра и брат садятся в карету, как помогает матери отец, излишне суетясь, и сердце у него сжималось: он любил мать, испытывал острую сыновнюю жалость к отцу и вместе с тем чувствовал невозвратное отчуждение от этой семьи, где, может быть, один лишь Лёв оставался ему по-настоящему родным. В нем он видел себя маленького и себя маленького в нем любил.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

*в которой русские в Баден-Бадене собираются
у Русского дерева. — Записки графа Корфа. — Прогулки
с князем Горчаковым. — Октябрь 1882 года*

Русское дерево, развесистое, тенистое, стояло возле каменной стены, вдоль которой, а также вокруг него, были расставлены садовые скамейки; неподалеку располагалась небольшая кофейня, где столики стояли прямо на улице под разноцветными зонтиками, а у жаровни колдовал турок в красной феске, передвигая в горячем песке медные турочки с благоухающим напитком. Никто точно не знал, с каких пор это дерево стало называться Русским, одно было известно доподлинно, что уже лет двадцать возле него собиралась русская колония в Баден-Бадене. В свое время это дерево описал Иван Тургенев в нашумевшей повести «Дым», но некоторые старожилы уверяли, что Тургенев дерево это придумал, а не взял с натуры, что так называться дерево стало уже после его модной повести и тогда привилась мода собираться под ним, подражая тургеневским героям.

Из павильона неподалеку доносилась музыка — оркестр играл попури из вальсов Штрауса. Иван Петрович шел мимо этого оркестра через толпу гуляющей публики. Пригревало солнце, словно и не было недавнего снега и слякоти, настроение у всех было весеннее, даже торговки разносили букетики искусственных цветов, будто только что собранных в окрестных рощах.

С утра, как всегда, Иван Петрович посетил баденский Конверсационсгауз, высокое и длинное унылое здание казарменного типа, каких много в немецких городках, с черепичною кровлей, маленькими окнами и большими колоннами. Здесь неизменно собирались посетители курорта посидеть в читальне, выпить чашечку кофе в кофейне Вебера, что он с удовольствием и сделал. Потом он заглянул на почту и обнаружил там долгожданный пакет на свое имя из Петербурга, в котором были записки графа Корфа, еще не напечатанные, присланные ему в копии. Некоторое время назад князь Горчаков с любопытством воспринял известие,

что таковые имеются у Ивана Петровича, и намекнул, что желал бы с ними ознакомиться. Иван Петрович рад был доставить старику удовольствие, тем более что чужие записки могли и Горчакова натолкнуть на какие-то воспоминания. Такое уже бывало у Ивана Петровича в его разысканиях. Помнится, князь Вяземский делал ему заметки на этих самых записках, во многом возражая графу Корфу. Вспомнив князя Вяземского и графа Корфа, он, разумеется, вспомнил тотчас же, как общался с ними в Гомбурге несколько лет назад, где оба лечились на водах. Князь объяснял ему, почему он стал предпочитать шумному Бадену заштатный Гомбург, и прочитал свои стихи про Баден, написанные давным-давно. Сейчас строки сами всплыли в голове у Ивана Петровича, под них легко было идти, чеканя шаг:

Люблю вас, баденские тени,
Когда чуть явится весна
И, мать сердечных снов и лени,
Еще в вас дремлет тишина;

Когда вы скромно и безлюдно
Своей красою хороши,
И жизнь лелеют обоюдно —
Природы мир и мир души...

Уму легко теперь и груди
Дышать просторно и свежо;
А все испортят эти люди,
Которые придут ужо.

Тогда Париж и Лондон рыжий,
Капернаум и Вавилон,
На Баден мой направив лыжи,
Стеснят его со всех сторон.

Тогда от Сены, Темзы, Тибра
Нахлынет стоком мутных вод
Разнонародного калибра
Праздношатающийся сброд:

Дюшессы, виконтессы, леди,
Гурт лордов тучных и сухих,
Маркиз Г***, принцесса В***, —
А лучше бы не ведать их;

И кавалеры-апокрифы
Собственноручных орденов,
И гоф-кикиморы и мифы
Мифологических дворов;

И рыцари слепой рулетки
За сбором золотых крупниц,
Сукна зеленого насадки,
В надежде золотых яиц;

Фортуны олухи и плуты,
Карикатур различных смесь:
Здесь — важностью пузырь надутый,
Там — накрахмаленная спесь.

Вот знатю так и пышет личность,
А если ближе разберешь:
Вся эта личность и наличность —
И медный лоб, и медный грош.

Вот разрумяненные львицы
И львы с козлиной бородой...

Он запнулся, запамятовав какие-то строфы, пробормотал просто ритм стиха и, уже подходя к Русскому дереву, неожиданно вспомнил дальше:

Все залежавшиеся в лавке
Невесты, славы и умы,
Все знаменитости в отставке,
Все соискатели тюрьмы.

И Баден мой, где я, как инок,
Весь в созерцанье погружен,
Уж завтра будет — шумный рынок,
Дом сумасшедших и притон.

А вот и светлейший князь. Главная знаменитость в отставке. Он пока что не видел Ивана Петровича, полулежал в своем кресле, с ногами, укрытыми клетчатым шотландским пледом, окруженный стайкой поклонниц, совершенно для них безопасный, но щекочущий нервы своим изысканным флиртом опытного ловеласа. Иван Петрович посмотрел вокруг, где же его лакей, и увидел того с чашечкой кофе в руке, сидевшего за одним из столиков.

Одна из осмелевших девушек припала к плечу князя и что-то шептала ему на ухо, а Горчаков улыбался, поглядывая на нее, вдыхая запах ее тонких духов, лаская взглядом ее атласную кожу на обнаженной шее.

— Элен, вы узурпировали князя! — капризно сказала одна из дам и поправила со значением кокетливую шляпку с цветами на тулье.

— Только потому, что он сам этого хочет, — ответила та и обратилась к Горчакову: — Не правда ли, князь?

— Правда, правда, в мои годы хочется и того, и этого, и третьего, и четвертого, хотя на самом деле ничего давно уже нельзя... Но более всего хочется любезности дам. А вот и наш Иван Петрович! — заметил он приближающегося Хитрово. — Рады вас видеть!

— Добрый день, — поклонился Иван Петрович князю и дамам. — Добрый день.

— Что вы так задержались? — поинтересовался Горчаков. Хитрово показал пакет.

— Надеюсь, вам будет интересно: это обещанные записки Модеста Андреевича.

— Прислали? — обрадовался Горчаков. — Потом, потом... Сейчас не будем томить милых дам.

— Мы только вас и ждали, чтобы князь начал свой рассказ... — сказала Элен, заигрывая теперь с Иваном Петровичем.

— Я к вашим услугам, — сказал Иван Петрович, извлекая тетрадь в кожаной обложке.

— Скажите, князь, а какие были последствия истории с гогелем-могелем, не за эту ли старую историю потом сослали Пушкина?

— Нет, — усмехнулся Горчаков, — все обошлось и тогда, и впоследствии. Третий пункт, самый важный, к счастью, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выписке представлена была директору Энгельгардту черная эта книга (а надо сказать, случилось событие с гогелем-могелем в междуцарствие, еще не при нем, а при Гауеншильде), он, как человек добрый, ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудро допустить, чтобы давнишняя шалость безусых юнцов, за которую тогда же было и взыскано, могла бы иметь влияние и на всю будущность после выпуска. Все тотчас же с радостью

согласились с его мнением, и дело было сдано в архив, — закончил князь Горчаков весело и шаловливо взглянул на молоденьких дам.

— Это все? — вздохнула одна из них.

— Все, — сказал Горчаков. — С той историей все. Ее потом описал Ваня Пушкин, кое-что опустив. Вообще все мы кое-что опускаем.

— Почему? — спросила одна из девушек.

— Такова жизнь.

— Но почему?! Неужели нельзя рассказывать всю правду?

Князь улыбнулся тонкой дипломатической улыбкой:

— Разумеется, нет, милая. Да и нет ее, всей правды! В разное время разным людям мы говорим разное об одних и тех же событиях. Не могу же я, право, при девушке рассказывать те же вещи, что рассказываю в мужском обществе? Да и память наша — инструмент несовершенный... Много теряет...

Оркестр играл теперь попури из русских песен. Князь, улыбнувшись, взмахнул рукой, давая понять, что на сегодня рассказы закончены.

— Вы меня проводите домой? — спросил князь Ивана Петровича.

Тот с удовольствием согласился. Горчаков подозвал немца-слугу, который и покатил его кресло по улице; Иван Петрович пошел рядом.

Синело небо над низкими лесистыми горами, по склонам виднелись голые шпалеры виноградников, журчал неподалеку фонтан, скрипели колеса инвалидного кресла-коляски.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой князь Горчаков рассказывает Хитрово, как сжег поэму Пушкина «Монах». — Яд в кармане у Горчакова. — Записка Корфа. — Октябрь 1882 года

Пушкин написал очередную поэму, тайно, никому не показывая. Решил сделать исключение для Горчакова, который всегда верно ему советовал. Пока Горчаков читал, Пушкин валялся рядом на его кровати: дело происходило в ке-

лье Горчакова. Горчаков прочитал, положил холеную руку ему на плечо.

— Понимаешь, Александр, — сказал князь Пушкину, — весь стиль твоего «Монаха» восходит к Вольтеру. Вещь эта безусловно подражательная, эротизм в ней грубый... Если не сказать животный... Мне кажется, что произведение сие не достойно твоего имени. Я ведь считаю, что тебе суждено быть первейшим нашим поэтом. Ну как эта скабрзная вещица всплывет в списках, тебе, Саша, будет стыдно за нее впоследствии... Ты ведь ее еще полностью никому не читал?

— Ни строчки.

— Это хорошо...

— И что же мне теперь делать? — растерянно спросил Пушкин.

— Сжечь! — посоветовал князь Горчаков и, видя, что Пушкин задумался, предложил: — Хочешь, я сожгу? Как сжег «Баркова»?

— Возьми, — вдруг удивительно легко согласился Пушкин. — Тебе видней.

Ему было не жаль «Монаха», а про «Тень Баркова» он знал, что и сожженная она все равно бытует в списках, читается на память.

— Право, так будет лучше, — успокоил поэта князь Горчаков. — А для твоих лучших стихотворений я завел отдельную тетрадь...

— А-а! — махнул рукой Пушкин. — Бог с ним, с «Монахом»! Пойду, Саша.

Он вышел из комнаты Горчакова, а тот постучал по ладони свернутой в трубку рукописью, о чем-то размышляя.

Теперь, через столько лет, князь Горчаков рассказал эту историю Хитрово. Начал под мерное поскрипывание колес инвалидного кресла, а закончил у себя в кабинете, пересаженный в другое, более покойное кресло услужливым немцем.

— Неужели сожгли? — выдохнул после рассказа Горчакова Иван Петрович и покачал головой.

— Сжег, — резюмировал князь.

— А это точно был «Монах»?

— Точно.

— А другой поэмы не было?

— Не было, — соврал князь. Ведь и сегодня, вспоминая эту историю, он опустил свои слова про «Тень Баркова», он искренне не хотел, чтобы знали про эту ничтожную поэмку, которую он сжег и которая, несмотря на аутодафе, продолжает бродить в потаенных списках уже как тень самого Пушкина.

— И никаких стихов из поэмы не помните?

— Не помню, — покивал головкой старец.

— Но ведь Пушкин! Вы понимали тогда, что это Пушкин, каждая строка которого бесценна?!

— Ну уж и каждая? — улыбнулся Горчаков. — Не надо преувеличивать. Он так не думал. Да и что мне оставалось делать? Не хранить же... Если бы не тогда, потом бы сжег, в двадцать пятом, когда все и всё жгли. Ведь в любой момент могли прийти и поинтересоваться твоими бумагами. А про Пушкина я все понимал. Всегда. Прежде всего понимал, что Пушкин есть Пушкин! — согласился Горчаков. — Я, как никто другой, понимал. Потому и сжег! Пожалуй, прервем-ся на этом? — предложил он Ивану Петровичу.

В который уже раз Иван Петрович хотел спросить его про поэму «Тень Баркова», как спрашивал всех, но, как и в прежние разы, не решился, хотя сегодня случай был как нельзя более подходящий. Князь избегал подобных тем, даже в сугубо мужском обществе.

Как-то раз он, рассказывая о себе, своей жизни, вспомнил, как после смерти жены старался подольше держать своих сыновей дома, не отдавая ни в одно закрытое заведение.

— Почему? — спросил его Иван Петрович. — Ведь вы сами воспитывались в оном?

— Именно потому, что сам воспитывался, — как всегда, тонко улыбнулся князь. — Впрочем, и вы должны бы это знать, хотя могу допустить, что в теперешнее время нравы уже несколько другие. Император Николай Павлович надолго привил обществу понятие о нравственности.

— Благодарю вас, князь. Все, что вы сообщили, бесценно для истории. — Он сложил письменные принадлежности, стал убирать их в портфель. — А что касается записок Модеста Андреевича: если не трудно, сделайте, Александр Михайлович, свои примечания...

— Я лучше вам расскажу о своем впечатлении лично, а вы, что захотите — запишите.

После ухода Хитрово Горчаков, оставшись один, пошел в свой кабинет, сел за письменный стол, отодвинул бювар свиной кожи с тиснением, подаренный ему на очередной юбилей кем-то из сотрудников, и положил перед собой записки Модеста Корфа. Потом открыл один из ящиков стола и извлек из его глубин потертый портфель. Там у него хранились лицейские автографы Пушкина, Кюхельбекера, Илличевского, лекции профессоров, собственные письма к родным из Лицея... Он ничего не уничтожил, потому что всегда действовал только сообразно своим устремлениям и никогда ничего не боялся. То, что порой окружающие принимали за страх, даже за низкопоклонство перед сильными мира сего, а таковым для него был только государь, было всего лишь подобающим его месту и званию разумением.

Перебирая автографы, он читал заголовки: «Послание к Наталье», «Князю А.М. Горчакову», «Послание к Батюшкову», «К молодой вдове»... Наконец отыскал несколько весьма потрепанных листов с автографом поэмы «Монах», долго разглядывал ее. Никто до самой его смерти так и не узнал, что князь Горчаков эту сомнительную поэму сохранил.

— Все-таки Пушкин, — усмехнулся он и покивал головой.

Потом придвинул к себе листы с записками своего покойного уже однокашника, а впоследствии и сановитого сослуживца, в свое время преуспевшего по службе раньше самого князя, за что честолюбивый князь Горчаков его недолюбливал. Он всегда помнил, что Модинька Корф, выскочка и служака, в тридцать четыре года был уже государственным секретарем, то есть занимал ту же должность, что и Сперанский в расцвете своей карьеры. Вспомнил он об этом и сейчас, что в отношении покойника выглядело крайне глупо. Но все, что касалось карьеры, князь вообще воспринимал болезненно, и было время, в ранней молодости, когда он был до того честолюбив, что носил в кармане яд, чтобы отравиться, если его обойдут чином.

— Пушкин прославил наш выпуск, — услышал он хорошо знакомый голос старика Модеста Корфа, с которым он неоднократно общался в Государственном совете и встречался не раз у самого государя. Корф так или иначе всегда занимал достаточно высокие государственные посты, кро-

ме того, он преподавал наследнику и великим князьям курс правоведения. Это был его конек, ибо еще со Сперанским он принял самое деятельное участие в составлении свода законов Российской империи. Лицейские годы они никогда не вспоминали, но та прежняя, лицейская жизнь всегда незримо стояла между ними и то ли разделяла, то ли соединяла их, этого до конца им так и не суждено было понять. — Если из двадцати девяти человек один достиг бессмертия, это, конечно, уже очень, очень много... — словно говорил ему Модест Андреевич.

Как странно бывает иногда услышать голос давно умершего человека, думал князь, почему он звучит так явственно? В каком году умер Модинька? Барон Корф, граф Модест Андреевич? Кажется, в 1876-м? Да, точно. В 1876-м...

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ,

в которой Иван Петрович Хитрово прогуливается на променаде в Баден-Бадене. — Разговоры Хитрово с графом Корфом. — 1875 год. — Близкий круг «кальянищиков» Александра II. — Протекции, которыми пользовался Пушкин. — Почему близкие друзья умолчали о личной жизни поэта. — Выдающиеся распутники пользуются в России такой же популярностью, как во Франции оппозиция. — Что думал граф Корф о поэме Пушкина «Тень Баркова». — Луг Цихтенхайленале. — Октябрь 1882 года

Вышедши от князя, Иван Петрович направился в сторону луга Цихтенхайленале, где были лучшие променады. В четыре-пять здесь собирались и играли в лаун-теннис и крокет. Забавно выглядели на лугу мужчины: они все были одеты в белые суконные колпаки особого покроя, в такие же суконные панталоны и рубахи или блузы. Даже экипажи останавливаются, чтобы поглядеть на эту картину. Общество оживлялось, разглядывая пузатых мужиков, любивших играть в паре с молодыми девушками.

Под веселые крики игроков Ивану Петровичу хорошо было думать, он сел на траву в сторонке и забылся. Он стал думать о графе Корфе, воспоминания которого пролистал на почте перед тем, как отдать князю Горчакову, и как буд-

то снова почувствовал тот сладкий дым, которым обкуривал его досточтимый граф в своем особняке.

Недавно ушедший в отставку и возведенный в графское достоинство Модест Андреевич Корф жил тогда в Петербурге. Человек искательный, которому уже нечего было искать, услужливый, но с чувством собственного достоинства, чрезмерно гордый, как многие недалекие люди, но безусловно честный, то есть не бравший лишнего, но не упускавший возможного, злой, наблюдательный, едкий, но всегда безусловно вежливый, он почти не имел друзей, прекрасно понимая людскую природу и не ценя людскую привязанность. К нему можно было отнести известный анекдот, который рассказывали о князе Меншикове. Знакомый, увидев в глазах у князя искреннюю слезу, которую он не успел стереть, пенял ему, зачем, мол, князь скрывает свои человеческие чувства, ведь люди считают его черствым, на что князь отвечал ему: «Когда вы доживете до моих лет, то убедитесь, что люди не стоят того, чтобы дорожить их мнением». Можно было биться об заклад, что Модест Андреевич думал точно так же.

Однако он не отказался принять молодого Ивана Петровича, скорее от скуки, на которую его обрекала старость и вынужденное бездействие. Было это за некоторое время до его кончины. Граф был членом комитета по сооружению памятника Пушкину, и члены одного собирались частенько в графском доме. В те времена Иван Петрович был еще слишком молод, чтобы самому участвовать в работе столь представительного собрания, но после одной лицейской годовщины, где был представлен графу, осмелился посетить его.

— Если из двадцати девяти человек один достиг бессмертия, это, конечно, уже очень и очень много. Да-да, очень и очень много, — повторил Модест Андреевич.

Был он заядлый курильщик и теперь даже при малознакомом посетителе не удержался, чтобы не приказать слуге принести кальян. Тот принес трубку и медный тазик с водой, через которую пропускался дым при курении.

Иван Петрович сразу спросил разрешения записывать его рассказы, и граф, узнав, что он владеет стенографией, очень обрадовался.

— У кого учились?

— У Ольхина. Он учит по системе Габельсберга.

— Знаю-знаю, у меня есть книга Ольхина. Издания 1866 года, — уточнил он. Память у него была замечательная, библиографическая память бывшего директора Публичной библиотеки. — Теперь в основе всех систем лежат Габельсберговы правила, — продолжал он. — А было время, когда надо было доказывать их преимущества. Хотя сам Габельсберг основывался отчасти на началах геометрических систем, и в мое-то время уже устаревших.

— Ольхин учитывает и нововведения Штольце, касающиеся способа обозначения гласных и удобства употребления соединительной черты.

— А знаете ли вы, молодой человек, что я чуть ли не первый, еще когда мне было всего двадцать лет, выпустил у нас книжицу о стенографии? — Он прервал разговор и сам сходил в библиотеку, чтобы показать сию книгу.

Называлась она «Графодромия или искусство скорописи, сочинение Астье, переделанное и примененное к русскому языку Модестом Корфом».

После чего они расположились в кабинете графа, куда слуга принес трубку с кальяном.

Иван Петрович развернул книгу и с удивлением увидел, что она посвящена признательным воспитанником Императорскому Царскосельскому Лицею.

— Некоторые правила сокращения, предложенные мною в русском языке, не потеряли значения и теперь, — с гордостью сообщил граф. — Ими воспользовался Ольхин. Впрочем, сама книга — библиографическая редкость. Говорю вам как старый библиотекарь. А теперь откройте страницу сорок девятую... Открыли? Видите среди подписавшихся на книгу фамилию Пушкина?

— Да.

— Вот так-то... — Он затянулся из длинного мундштука, закрыл блаженно глаза и вернулся к рассказу, выпустив сладкий дым. — Каждый, кто приступает к изучению биографии нашего великого соплеменника, должен знать, что жизнь Пушкина была двояка: жизнь поэта и жизнь человека. Биографические отрывки, которые мы имеем, вышли все из рук или его друзей, или слепых поклонников, или таких людей, которые смотрели на Пушкина сквозь призму его славы, вроде как вы, и даже если и знали что-нибудь о моральной стороне его жизни, то побоялись бы раскрыть ее

перед публикою, чтобы не быть побитыми литературными камнями. Я раскрою вам его истинную физиономию, как я его понимаю...

— А вы сами не боитесь каменьев, ваше сиятельство? — Граф раздражал его своим высокомерием, но, как человек светский, Иван Петрович умел слушать и спрашивать.

— Я всегда, молодой человек, имел собственное мнение. Меня интересовала токмо истина, лишь одна она, а не суетные, минутные мнения толпы. — Он снова затянулся кальяном и, наслаждаясь, замолчал так надолго, что Иван Петрович решил, будто он забыл про собеседника, но граф помнил; он открыл глаза. — Мне, молодой человек, случилось высказывать то, что я считал истиной, самому государю императору Николаю Павловичу. Поверьте старику, это было опасней, чем власть и суждения толпы, одурманенной льстецами и доброхотами. — Он посмотрел на Ивана Петровича и еще раз предложил ему: — Может быть, все-таки приказать принести вам трубку? Я, знаете ли, пристрастился к кальяну в обществе государя Александра Николаевича, хотя и не входил в близкий круг его так называемых «кальянщиков»... — Он засмеялся. — Государь всегда курил на курульном кресле, не на том, на котором властвуют, а на том, где справляют естественную нужду... А вокруг него собирались приближенные к его особе и рассказывали анекдоты, забавные случаи... У него был тугой кишечник... Говорят, кальян в таких случаях помогает, расслабляет... Помогает пробздеться...

Иван Петрович вздрогнул при последних словах, и граф, заметив это, улынулся:

— Вас запоры, случаем, не мучают? Нет? Все мы в конечном счете только люди... Ну так вернемся к Пушкину... Я не только воспитывался с ним в течение шести лет в Лицее, но и жил потом, еще лет пять, под одной крышею, каждый при своих родителях, поэтому знал его так коротко, как мало кто другой, хотя связь наша никогда не переходила за обыкновенную приятельскую... — Он остановился, чтобы перевести дух. Вдохнув, продолжил:

— Смею вас заверить, что в Лицее Пушкин решительно ничему не учился! Мы все решительно ничему не учились, многим потом пришлось брать уроки, чтобы хоть чего-нибудь достигнуть, а многие так и остались до седых волос

теми же детьми-лицеистами, хотя и состарившимися, и без зубов. Но Пушкин уже и тогда блистал своим дивным талантом, да к тому же многих начальников пугали его злой язык и едкие эпиграммы, и на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, а по окончании курса выпустили его в Министерство иностранных дел коллежским секретарем с жалованьем семьсот рублей, разумеется, ассигнациями. Чин этот, десятого класса, остался при нем до самой могилы...

— Позвольте мне заметить вам, ваше сиятельство, что в самом конце 1831-го или в самом начале 1832 года он был произведен в титулярные советники, — сказал Иван Петрович.

— А-а, невелика разница! — отмахнулся граф с пренебрежением и, затаившись, погрузился в удовольствие.

А Иван Петрович подумал, что для графа Корфа, получившего за свою долгую и безупречную службу все российские ордена и титул графа при выходе в отставку, конечно, разница между девятым и десятым классом не имела значения. Как, впрочем, и для самого Пушкина тоже.

— Такие люди не служили, а лишь числились по ведомству, порой не имея даже жалованья и без всяких надежд на чины, — добавил граф. — Но вернемся к лицейским годам: между товарищами — кроме тех, которые, писав сами стихи, искали его одобрения и протекции, — он не пользовался особенною приязнью.

— Да какую ж протекцию мог составить лицеист Пушкин? — удивился Иван Петрович.

Граф Корф усмехнулся:

— Протекции бывают разного рода. Вы знаете, например, что из всех лицеистов один лишь Пушкин принадлежал к литературской среде, а она также имеет свой круг, свои нравы, связи, наконец. Именно она, эта среда, создает репутации, кого-то пестует, кого-то затирает. Олосенька Илличевский постоянно вздыхал о том, как повезло Французу, что он с рождения знает всех поэтов. Кстати о прозвище: в Лицее, где каждый имел свой собрикет, это прозвание Пушкина — Француз было весьма нелестно, особенно если вспомнить, что он получил его в эпоху «нашествия галлов»! Когда мы все галлов ненавидели. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погруженный в свои

мечтания, с необузданными африканскими страстями, избалованный с детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу и в каждом возрасте, Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего любезного и привлекательного в обращении.

Беседы — ровной, систематической, сколько-нибудь связанной — у него не было, как не было и дара слова, были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль; но все это лишь урывками, иногда в добрую минуту, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания.

Граф Корф вдруг заржал, но тут же сам покачал головой:

— Нет, не то! Хотел изобразить, но я же не Миша Яковлев, тот был мастак. Знаете, наверное, был у нас паяс?

Иван Петрович молча кивнул.

— Вот в чем Пушкин действительно превосходил всех в Лицее, так это в чувственности! — слегка наклонившись к нему и выпучив глаза, сказал граф. — А после, в свете, он вообще предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий...

— Неужели он был до такой степени порочен? — недоверчиво спросил Иван Петрович.

— К сожалению, да... — печально сказал граф Корф и, глубоко-глубоко затянувшись кальяном, впал в некое подобие сна наяву, закатив глаза, но тут же встрепенулся: — Должно только удивляться, как здоровье и самый талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались частые любовные болезни, низводившие его на край могилы.

Иван Петрович встречался потом с князем Петром Андреевичем Вяземским. Тот сказал проще:

— Пушкин не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы.

Но, как давно заметил Иван Петрович, близкие друзья Пушкина старались вообще не говорить о личной жизни Пушкина. Все, с кем он кутил, с кем отправлялся в непотребные дома, слонялся по трактирам (а князь Вяземский, несмотря на то что был женат, был одним из его спутников по домам разврата), не оставили никаких воспоминаний, —

видно, ложь им претила, а правду говорить не хотелось, ибо тогда эту правду надо было говорить и про себя, а у каждого была супруга, дети. Кроме Вяземского промолчал и Соболевский, очень близкий его приятель, лишь Нащокин в содружестве с женой ханжески чего-то накуликал издателю «Русского архива» Петру Бартеневу. Но жена Нащокина знала только женатого Пушкина, в последние годы его жизни, а про юношеские оргии, происходившие у него в доме, Нащокин, разумеется, помалкивал. К чему знать об этом жене!

Впрочем, князь Петр Андреевич добавил тогда, что у Пушкина в любви преобладала не чувственность, а скорее поэтическое увлечение. По мнению князя Вяземского, Корфу, который поэтом не был, понять это было невозможно, хотя его наблюдениям со стороны нельзя было отказать в остроте взгляда. Потом, когда Ивану Петровичу удалось свести их вместе, вернее, когда случай помог ему их вместе понаблюдать на курорте в Гомбурге, он увидел, что их оценки Пушкина не так уж и различаются, просто Корф был резче, откровеннее, — ему самому нечего было скрывать, себя он чувствовал абсолютно чистым, и, видимо, так и было.

Граф Корф вполне мог и знать одну историю, происшедшую с Пушкиным и Вяземским после посещения непотребного дома в Петербурге в 1829 году. Заехали они, как всегда, к Софье Астафьевне, о которой в то время знали все, и провели в ее заведении разгульную ночь, о чем из донесений тайных агентов стало известно самому императору Николаю. Для Пушкина, как для человека холостого, это не имело последствий, а вот женатый князь Вяземский, вернувшийся в Москву, был вызван к генерал-губернатору, и ему было сделано внушение, что ежели он будет и далее развратничать и вовлекать в это дело молодежь, то к нему будут приняты меры. Вяземский, как истинный либералист, вознегодовал тогда, что вошли в его частную жизнь, и грозился даже уехать, да, видно, побоялся, что имение его будет секвестровано, то есть отобрано в казну, властями.

Впрочем, граф Корф говорил, улыбаясь, что либерализма у таких людей, как князь (а как-то у них зашел и о нем разговор), хватало в те времена только на веселый дом. Впрочем, и весь либерализм, добавлял он, во времена императора Николая, вся оппозиция режиму выражалась только

в распутстве. Несколько позже маркиз де Кюстин, книга которого о России вызвала негодование всего общества, сам, кстати, не ангел по части нравственности, любитель однополый любви, писал, что выдающиеся распутники пользуются в России такой же популярностью, как во Франции оппозиция: каждый ловелас, каждый донжуан сразу превращается в борца за свободу, как только подвергается правительственным гонениям, и общественное мнение сразу встает на их защиту.

— А ведь он был прав, — отрываясь от кальяна, заметил граф.

— Но такого рода либерализм в кавычках, — сказал Иван Петрович, — начался задолго до царствования императора Николая. При императоре Александре одним из главных либералов такого рода был наш великий поэт. Да и сам государь Александр Павлович тот еще был либералист.

— Я про это и говорю, — согласился граф Корф.

Иван Петрович хотел спросить графа Корфа о том, что давно его волновало. У него имелась в списках поэма «Тень Баркова». Что она принадлежит перу Пушкина, у него не было никакого сомнения. Об этом он даже у кого-то читал. Кажется, у Гаевского, в его статье; были у него старые номера «Современника». Кто хоть сколько-нибудь знал лицейские его стихи, мог найти много общего с поэмой, стиль, выражения, сходные образы, все роднило ее с его лицейской лирикой. И вообще в этой поэме чувствовалась его рука, пусть школярская, пусть мальчишеская, но его, с его словесной игрой, оборотами, с его мощью, даже с его тягой к симметрии в построении глав.

— Граф, а вы помните школьную поэмку Пушкина «Тень Баркова»? — наконец решился он на свой вопрос. — Ему ли она принадлежит?

— Без сомнения, — коротко и не сразу отвечал граф Корф. — Мерзость, несмотря на известную ловкость стиха. Я даже помню кое-что наизусть... — Он постучал себя по голове. — Отпечаталось в мозгу до старости.

— Это совсем не похоже на вас, ваше сиятельство.

— Да полноте, в таком окружении всему научишься.

— Всему?

— Ну нет, конечно... Было, конечно, и такое, что...

Ивану Петровичу показалось, что надменный старик даже смутился, будто вспомнив что-то еще, о чем ему не хотелось и вспоминать.

Восторженные крики вернули его на луг Цихтенхайленале. Толстячок на подстриженном лугу удачно отбил мяч и, выпячивая косое брюхо, прохаживался, бросая пронзительные взгляды на дам. Вероятно, он сам себе в данную минуту казался неотразимым.

Иван Петрович подумал о том, что мысли толстячка относительно дам отнюдь не невинны, и усмехнулся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой Пушкин за кулисами крепостного театра графа Толстого навещает актрису Наталью. — Ночная встреча с дядькой Сазоновым. — Осень 1814 года

Пушкин пробирался за кулисами крепостного театра графа Толстого. Путь ему был незнаком, поэтому он шел с осторожностью, озираясь по сторонам, боясь быть застигнутым. Он шел на шум сцены, пока не увидел ее и не услышал, чуть ранее, аплодисменты. Артисты уже раскланивались. Пушкин видел, как герой-любовник выводит на сцену Наталью в одеянии римской матроны. Виден был из его укрытия и край первого ряда партера, перед которым по краю авансцены горел ряд масляных плашек, скрывая лица сидевших там в дрожащем мареве теплого воздуха.

Сердце его бешено колотилось, он никак не мог совладать с собой, и, когда аплодисменты публики смолкли и Наталья легко пробежала мимо, не заметив его, он вжался от страха в стенку и не решился ее окликнуть, поскольку она была не одна.

Постепенно затихали все звуки, удалялись разговоры, публика покинула зал, и по нему степенно прохаживались капельдинеры в ливреях с графскими коронами, прибирали и гасили приборами на длинных палках свечи в люстрах и канделябрах. В масляных плашках на авансцене еще дымилась фитили. Кто-то что-то крикнул из фойе театра, и последний служитель, отозвавшись на этот крик, ушел, оставив гореть свечи всего в двух дежурных канделябрах. Мягкие

кресла тонули в полумраке, свет едва доходил до сцены из зала, освещая сбоку большую тяжелую кровать под пологом с желтым атласным одеялом. Кровать была такая большая, что занимала чуть ли не половину сцены.

Когда отважный лицеист приоткрыл дверь уборной, он сразу увидел Наташу, сидевшую раздетой перед трюмо, с распущенными темно-русыми волосами, с лицом, еще ярко раскрашенным гримом. Несоответствие между строгим гримом римской матроны и совсем девичьей, юной фигурой с крепкой, по-крестьянски налитой грудью, было огромным. Когда он возник в дверях, Наташа слабо вскрикнула и, сама испугавшись своего невольного крика, прикрыла рот ладошкой. Почти тут же ее глаза потеплели, она узнала его, и к испугу, который пока не прошел, примешалось любопытство и даже некоторое восхищение его смелым поступком.

— Ой, барин, — прошептала она. — Как же вы решились-то? Ну как вас здесь найдут?

Он медленно приблизился к ней. Наташа вздрагивала и волновалась, пока он шел, а потом спросила невпопад:

— Вы из корпуса?

— Нет, мы лицейские... — отвечал он. — Я же говорил тебе, что мы лицейские, лицом в грязь не ударим!

Он бросился к ней и схватил обнаженную руку, стал покрывать ее поцелуями до плеча, с плеча перешел на обнаженную шею и грудь, свободно колыхавшуюся от прерывистого дыхания под тонкой рубахой.

Наташа была ошеломлена его напором и тяжело дышала, когда он тискал ее грудь, то отталкивая, то притягивая его невзначай к себе, пока наконец не пришла в себя, пока наконец не вернулось к ней разумение, и тут-то только, став трезвой и рассудительной, она сказала твердо:

— Вы идите, барин, здесь нельзя! В уборную во всякое время могут войти люди! За нами ведь строгий присмотр!

— Я понимаю, я понимаю, — прошептал он, продолжая покрывать ее тело поцелуями. — Сейчас, моя милая, сейчас!

Он стал искать губами ее губы, но тут уж она вырвалась и сказала недовольно:

— Ну право же, барин, нельзя так!

— Вот, — сказал он и достал из кармана те пять рублей, что выцыганил у отца. — Тебе на подарки!

Она взяла деньги, спрятала не спеша, посмотрела на него внимательно и примирительно сказала ему с мягкой, доверчивой улыбкой в потеплевшем голосе:

— Какой ты смешной! Я по форме думала, что ты из пажеского корпуса.

— А ежели б из пажеского корпуса, Наташа?! — чуть ли не обиделся он и взял ее протянутую руку, растерянно подержал в своих ладонях. — Что тогда?

— Как тебя зовут? — шепотом спросила она.

— Саша. — Он тоже перешел на шепот.

— Иди, подожди там! — Она махнула рукой и слегка поцеловала его в нос. — Иди!

Уже стоя в коридоре и озираясь по сторонам, он вздрагивал, едва заслышав какой-либо шорох или дальний звук. Но за кулисами было пусто, вдалеке горела масляная лампа, чадя и коптя стену.

Он подтянул и поправил в паху панталоны, поерзал, подтягивая пояс с резинкой, и еще раз поправил, чуть припуская их.

— Пошли... — возникла она совсем рядом, прошептав у самого уха.

Он вздрогнул от неожиданности, хотя и ждал ее. Девушка стояла перед ним все в той же рубаше, под которой колыхалась упругая грудь; только поверх рубашки накинула цветастую накидку с кистями. Взгляд его никак не мог соскользнуть с этой груди, и она, улыбнувшись его зачарованности, повлекла его за собой настойчиво и властно, как хозяйка.

— Слава Богу, — шептала она на ходу, — графа сегодня нет, прихворнул, старый черт. Нет, вы не подумайте чего плохого, мы им не обижены, чего нам обижаться? Я сегодня и задержаться могу, никто не заподозрит неладное. — Она тихонечко засмеялась.

Тем же путем, что он шел к ней, они вернулись на сцену. В зале свечи уже не горели, видно, погасили недавно, потому что в воздухе висел стойкий свечной запах и пахло гарью фитиля. Наташа и без света вела его в темноте, как кошка.

— Как же ты что-то видишь? — шепотом спросил он, когда они свернули из коридора, в который еще доходил свет дальней лампы, и попали в крошечную тьму сцены.

Она ладно, вытянувшись стройным станом, полупривстав на цыпочки, повернулась к нему, и ему показалось,

что он видит рядом ее пылающие щеки, когда на самом деле, должно быть, лишь ощущал их жар, но, во всяком случае, мог поручиться наверное за то, что узкие ее глаза сверкнули кошачьим каким-то безумным блеском.

— Я каждую щелочку в полу знаю, — сказала она с придыханием. — Я с закрытыми глазами могу по сцене ходить.

Голос ее временами прерывался, и в этих ее паузах было столько томительного обещания, что у него самого перехватило дыхание. Они прошли еще несколько шагов, после чего Наташа потянула его к себе и легонько толкнула куда-то в сторону:

— Сюда, барин, сюда!

Он присел на кровать, она тут же прилегла рядом с ним, обнимая и ласкаясь. Он запыхтел, резко опрокинул ее навзничь, впился губами в шею, ощущая подбородком острую ключицу, выпиравшую из-под ее плеча.

— Подожди, подожди, Саша... Лезь сюда! — Она выпросталась из-под него, забралась с ногами на кровать, присела на колени, отчего округлились и обозначились ее ноги, и стала снимать через голову рубаху. Он увидел ее ослепительно белое тело, которое, казалось, в темноте самостоятельно излучает свет, покатые плечи, молодую налитую грудь с торчащими замерзшими сосками. Он глотнул недостающего воздуха, сел и судорожно стал снимать ботинки, которые один за другим шлепнулись на пол, потянул прочь панталоны, запутался в них, завалившись на спину. Она все это время сидела рядом на коленях, положив на ладони, разглядывала его с любопытством и нежностью и тихонько смеялась, иногда ласково прикасаясь к нему рукой.

Он уже снимал сюртук, почему-то в последнюю очередь, и когда осталась одна нижняя рубаха, которую он так и не снял, она вдруг быстро-быстро похлопала себе по ногам ладонями и упала навзничь, бесстыдно раскинувшись перед ним. Как бы радуясь своему бесстыдству, она распутно и нагло потягивалась. Рука ее дотянулась до шелкового шнура и дернула его — тут же упал полог тяжелой материи.

А Пушкин вдруг оробел, растерялся: все-таки это была его первая женщина (лицейские шалости, за которые выгнали Костю Гурьева, были не в счет, там не было замирания сердца и чувственность была иного рода). Пушкин прилег рядом с Натальей, наблюдавшей искоса, что же он все-

таким предпримет. Он легонько тронул ее грудь, провел по ней рукой, почувствовал, как еще более заострился, затвердел под его чуткими пальцами сосок, потом спустился вниз по животу, атласная кожа затрепетала под его рукой, тело вздрогнуло, отозвалось на прикосновение.

— Щекотно, — сказала она и притянула его к себе за шею.

И робость исчезла, он навалился на нее всем телом, снова заторопился, засопел совсем уж неприлично, но ни он, ни она этого не ощутили. Она привычным движением потянула его к себе, широко раздвинула ноги и, помогая ему, обняла за талию.

Через некоторое время он откинулся на спину рядом с ней. Лежали молча, почти бездыханно. С торца кровати полога не было, и он увидел за кулисами подслеповатое окошечко, в котором, будто нарисованная, торчала полная луна со скорбным ликом старой девственницы. Он повернулся к Наташе, она обняла его, задышала в лицо, и снова будто горячая волна захлестнула все его существо, жаждавшее слияния плоти.

И снова Наташа стонала, прижимая его к себе все крепче и крепче, потом при каждом ударе начала взвизгивать.

Когда он возвращался домой, сияла полная луна, отбрасывая резкие тени, стояли тихие деревья, в домах не светились огни. Спросонья залаяла собака, потом зазвенела цепью, нехотя выбираясь из будки. Сначала, звучно зевнув, она притихла, прислушиваясь, потом принялась лаять на позднего прохожего, будя других окрестных псов.

Пушкин брел домой, дрожа от холода. Он был счастлив и опустошен. Свернув на Садовую, он увидел вдалеке здание Лицея с аркой: строгая его архитектура обретала некую графичность под вечной луной.

У подъезда уже кто-то стучался прежде него. Сначала он подумал, что это кто-нибудь из лицейских, потом узнал дядьку Сазонова. Швейцар впустил дядьку, слышались их тихие голоса, загремел засов.

Пушкин усмехнулся. То, что дядька Сазонов шляется по ночам, крайне его удивило: этот сонный, глуповатый парень совсем не был похож на ловеласа.

Когда все стихло, Пушкин вышел из-за дерева, за которым хоронился, и приблизился к подъезду.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

в которой Пушкин лежит в лазарете. — Доктор Пешель. — Дядька Сазонов. — История с Антипьевной и Марфушкой. — Встреча с Бакуниной. — «Я был счастлив пять минут». — Словарь Кюхельбекера. — Автор пожелал остаться неизвестным. — Игра на виолончели графа Толстого. — Поздняя осень 1814 года

После бурной ночи Пушкин простудился, когда по холоду брел домой, и попал на излечение в лазарет под опеку доктора Пешеля.

— Ну что, мой дорогой больной? От чьего будем вас чинить? — спросил Франц Осипович Пешель, входя в лазарет, где в одиночестве лежал Александр Пушкин, читая книгу. Он всегда говорил «чинить» вместо «лечить».

— Чинить будем от простуды, — рассмеялся Пушкин.

— Сейчас починим, — весело подхватил Пешель.

Дядька Сазонов, протиравший на корточках мокрой тряпкой пол в комнате, поднялся и, захватив с собой ведро, молча вышел. В углу стояла еще одна застеленная кровать, на которой и ночевал прислуживающий Пушкину дядька Сазонов. Забавно, что, вместе бродив ночью, они вместе оказались и в лазарете. Когда Александр шутя спросил его, что ночью он делал на улице, Сазонов посмотрел на него странным, отсутствующим взглядом и ничего не ответил, но с той минуты Пушкин изредка ловил на себе изучающий взгляд дядьки.

Пешель присел на стул, стоявший рядом с кроватью, взяв с него книгу.

— Гаврила Романович Державин, — пролистал он ее, остановился на одной странице: — «В прекрасный майский день, в час ясные погоды...» — прочитал он державинские строки, потом положил книгу, посмотрел на другие: — Парни, Расин... Очень хорошо. Хорошо с виду! — показал он на Пушкина. — Больной не очень. Где болит?

— Простыл, Франц Осипович, — весело признался Пушкин. — Горло болит. Щека распухла. Ночи теперь холодные...

— Бр-р! Ночи, ночи... Окно открыто? Откройте горло! Посмотрим, что там есть? — Он заглянул Пушкину в от-

крытый рот. — Ничего! Чуть-чуть красно... Поднимите рубашку! Ай-яй-яй! — покачал головой Пешель, увидев ноги Пушкина. — Что у вас с коленка?

— Упал.

— Сразу на оба коленка? — притворно удивился Пешель. — Упал? Ночка темная?

Александр усмехнулся, ничего не ответив. Пешель смотрел на него весело, даже игриво.

Он осторожно потрогал пальцами стертые коленки подростка. Пушкин зашипел — пока еще было больно.

— О-о! — протянул Пешель. — Раны любви очень сильный. Вжик-вжик! Вжик-вжик! Работать! Свежий рана! — Он заливисто захохотал. — Как она? Хорош женщина? — наклонившись к нему, осведомился сплетник. — Хотя зачем? Не спрашивать. Боевой конь, долго-долго. Вжик-вжик! Грубый простыня. Грубый белье! Коленка болит!

— Там, по-моему, вообще не было никакого белья, — признался Пушкин любопытному доктору.

— Не было белья?! — захохотал Пешель. — Не было белья! Хороший анекдот! Я буду рассказывать обществу. Не говоря лиц. Аноним! — прихохатывая, говорил он. — Вы позволите мне?

— Как хотите, — ответил Пушкин.

— Очень хорошо. Я вам пропишу девичью и бабью кожу! Ха-ха-ха! Гадость, тьфу, но будет лечить горло. А коленка заживёт. Следующий раз — меняйте позы! Она сидит сверху! Ух! Ух!

Он просто помирал от хохота, когда в лазарет ввалились несколько воспитанников: Пушин, Кюхельбекер, Дельвиг, Горчаков, Малиновский, Илличевский, Яковлев и Данзас.

— Франц Осипович, ну как больной? — первым делом спросил Большой Жанно.

— Должен предупредить, что жить будет. И писать будет! — печально сказал Пешель, покачивая головкой, которая казалась несоразмерно маленькой при его большом, жирном теле. — По-моему, уже что-то написал.

— Написал, — согласился Пушкин. — Сазонов, сволочь, ночью храпел, я спать не мог, вот и написал. Хотите послушать, Франц Осипович?

— Эпиграмма? Эпиграмма я послушать. Любопытно. А если нет, то увольте — спешу, — признался Пешель и заг-

лянул в листки, которые взял в руки Пушкин. — О! Да у вас тут целый пук! Ошень длинный. Пошелъ, будьте здравы! Меняйте позы! — Пешель, откланявшись, удалился из комнаты.

— Садитесь вон на сазоновскую кровать, — указал Пушкин друзьям и сам устроился поудобней на кровати, поджав под себя ноги.

Князь Горчаков присел на его кровать, привалившись к противоположной спинке и закинув ногу на ногу. Остальные сгрудились на кровати Сазонова.

— Что это у тебе, дай, — протянул руку Данзас. — Я первый напечатаю в своем журнале.

— Я сам, Медведь, прочитаю, — отстранил его руку Пушкин. — Потерпи!

Когда все расселись, началось чтение.

Друзья, досужный час настал:
Все тихо, все в покое;
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, в стекле,
Друзья! Почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем;
Под стол ученых дураков!
Без них мы пить умеем.

Едва Пушкин начал, как дверь скрипнула и вошел, как тень, дядька Сазонов, прислуживавший больному. На него все зашикали, чтобы молчал, но дядька и так безмолвствовал, переминаясь с ноги на ногу, загадочно улыбался, словно нес в себе какую-то тайну, говоря всем своим видом: я, братцы, такое знаю, что вам и не снилось. Он стоял, покачиваясь, слушал стихи, и по его виду нельзя было определить, понимает ли он что-нибудь или нет. Никто не заметил, как он снова вышел из комнаты.

Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей;

Бутыль вином налита,
За здоровье нашей музыки пей,
Парнасский волокита.
Остряк любезный! по рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.

А ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса!
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее — завеса!

Хоть я студент, хоть я и пьян,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенистый стакан,
На брань благословляю.

— Тихо! Тихо, господа! — шептал Кюхельбекер, воздевая руки, едва кто-нибудь поворачивался на своем месте и скрипел пружинами матраса.

Но что я вижу?.. всё вдвоем,
Двоится штоф с араком,
Вся комната пошла кругом,
Покрылись очи мраком!
Где вы, товарищи? где я?
Скажите, Вакха ради.
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

Пока Пушкин читал, было всеобщее внимание, по временам прерывавшееся восклицаниями, когда узнавали друг друга, ибо он почти никого не забыл.

— Тихо! Тихо! — Кюхельбекер напрягал свой ослабленный слух. — Не мешайте! — Он был весь тут, в полном упоении поэзией друга. Растаявший от восторга метроман мотал головой в такт стихам и прослушал эпиграмму, которой его наградил под конец Пушкин.

Публика же, напротив, завывала от восторга и бросилась всем скопом на бедного Кюхлю.

В свалке не участвовали только князь Горчаков, мило улыбавшийся шалостям товарищей, да сам Пушкин, перебиравший стихи.

— Позволь-ка, — протянул руку к листкам Горчаков. — С твоего позволения, забираю в архив...

— Бери, — согласился Пушкин, но все еще не мог оторваться от листков. — Только я еще кое-что поправлю...

Из-под груды тел наконец выбрался всклокоченный Кухельбекер и пролепетал, заикаясь от волнения:

— Саша, прочти еще, я в конце не очень расслышал, там, кажется, что-то про меня?

Последней просьбой он вызвал гомерический хохот своих товарищей.

Вечерами в лазарет никто не заглядывал, и он сколько хотел жег казенную масляную лампу, стоявшую на столике рядом с кроватью. Он читал, поджав под себя ноги и положив книгу на колени.

Сазонов обыкновенно лежал на своей кровати, о чем-то думал, смотря в потолок, потом поворачивался к Пушкину и говорил:

— Барин, пора тушить лампу.

— Спи так. Я сам потом потушу, — отвечал, не глядя на него, Пушкин.

После чего Сазонов засыпал.

Так было и сегодня. Но сегодня Сазонов отчего-то не стал спать, а через некоторое время снова обратился к Пушкину:

— Барин, а барин!

— Чего тебе? — Пушкин оторвался от книги и глянул на Сазонова: — Или я тебе мешаю?

— Да мне что?! Я всегда хорошо сплю. Я спросить хотел.

— Ну, спрашивай.

— Душа убиенного в рай идет?

— А ты как думаешь?

— Я думаю, в рай.

— Значит, в рай, — сказал Пушкин.

Сазонов кивнул благодарно, закрыл глаза, и почти тут же дыхание его стало ровным, глаза под веками успокоились.

— Чистая душа, — взглянул на него Пушкин и снова углубился в свою книгу.

Через день лазарет его кончился. Сазонов помог перенести ему книги в четырнадцатый номер. Днем не обошлось без конфузии. Как-то вечером они сидели с Ваней Пушиным у открытого окна в библиотеке. В церкви отслужили всеношную, и они наблюдали за прихожанами, расходившимися со службы. Выходя на церковное крыльцо, мужики и бабы оборачивались и крестились на церковь. В толпе они заметили старушку, которая о чем-то горячо беседовала с молодой; Ваня обратил на нее внимание друга: молодая была хороша собой и бранилась со старшей. Ведь не о Боге у них спор, предположил Ваня. Лежа в лазарете, Пушкин набросал стихотворение и прочитал его другу, ошарашив его лихим концом.

В это время, а было это перед самым классом, возник перед ними в коридоре адъюнкт-профессор исторических наук Царскосельского Лицея Иван Кузьмич Кайданов. Пушкин только что закончил читать, и Ваня неудержимо расхохотался.

Подойдя к ним, Кайданов захотел узнать причину смеха.

— Это пустое, — попытался отмахнуться Пушкин, но его наглый друг со смехом повернулся к Кайданову:

— Отчего же пустое? Ты ведь сам меня и заставил написать!

— Как заставил? — возмутился Ваня.

— Дал тему...

— Это экспромт? — уточнил Кайданов.

— Почти... Хотите, прочту?

— Если не длинно, то читайте, — согласился профессор. И Пушкин имел наглость прочитать:

От всеношной, идя домой,
Антипьевна с Марфушкою бранилась...

Пушкин стоял, сгорая со стыда, и больше всего боялся, что Пушкин осмелится прочитать и концовку, что тот с удовольствием не приминул сделать:

В чужой пизде соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна...

Закончив читать, Пушкин, смеясь одними глазами, смотрел на Кайданова — тот внимательно, но не улыбаясь, глядел на него. Пушкин смущенно — в сторону.

— Ну как, Иван Кузьмич? — наконец спросил Пушкин Кайданова.

— А вот как! — взял его за ухо Кайданов и слегка его крутанул. — Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пушин, не давайте волю своему язычку. Пусть это останется между нами. Пойдемте в класс, господа! — пригласил он их.

Пушкин шел с листком в руке.

— А листок-то спрячьте, схороните подальше, — посоветовал, кивнув на листок, Кайданов.

— Спрячу, — немного расстроился Пушкин и потер горевшее ухо.

Ему надоело прятать и уничтожать. Хотелось свободы. «Наверное, при отмене цензуры первым делом издадут Баркова, — подумал он. — И меня», — добавил он про себя.

А вечером они тушили свечи в Большой зале Лицея. Парно: Пушин с Пушкиным и Дельвиг с Кюхельбекером. Это было ежевечернее занятие, от которого не только никто не отлынивал, но и сами вызывались. Впрочем, Кюхля открыто манкировал им. Он, скрючившись всей своей несуразной фигурой на стуле и раскрыв свой толстенный grosbux-словарь, зачитывал из него вслух избранные словарные статьи. Сейчас он был занят поиском одной из них.

— Прекрасное занятие для философа — тушить свечи, — сказал Саша Пушкин другу своему Ване, ходившему с ним в паре. — Смотреть, как угрюмая ночь опускается на тебя, и думать о главном.

— А что для тебя главное? — очень серьезно спросил Пушин.

Пушкин повернулся к нему, глаза его сверкнули огоньками еще не потушенных свечей.

— Самое главное — это видеть Бакунину. Ты видел ее сегодня?

— Нет, — печально сознался Пушин.

— А я видел, всего пять минут, а до этого не видел восемнадцать часов, целых восемнадцать часов. Я стоял, смотрел на снежную дорожку, думал, вдруг появится, все напрасно, я потерял надежду и вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице. Чудная минута, Ваня! Как она была мила!

Как черное платье пристало к милой Бакуниной! Я был счастлив пять минут. А потом еще пять. И счастлив до сих пор, достаточно вспомнить только те минуты. — Он вдруг резко повернулся к Кюхельбекеру, склонившемуся над словарем. — Кюхля, что у тебя в твоём словаре написано про счастье?

— А! — вздрогнул тот, словно пойманный врасплох над своими листами. — Про счастье? — дошел до него смысл вопроса. — Про счастье, сколько мне помнится, пока ничего. А вот про несчастье сей жизни есть. Хочешь послушать?

— Давай! — Пушкин сел и похлопал по соседнему стулу, приглашая Пушину, который приглашением не преминул воспользоваться. — У тебя, Кюхля, всегда про несчастье.

— «Поелику нет истинного счастья в жизни, — громко прочитал Кюхля из тетради, — не лучше ли, чтобы наши несчастья происходили от хорошей, чем от худой, причины». Ричардсон. Из «Грандисона»...

— Что ж, — отозвался из другого конца залы Дельвиг. — Это особый вид эпикурейства — даже от несчастья получать удовольствие. — Он, погасив в том конце зала последнюю свечу, приблизился к ним из темноты. — Ну, вот и все! — добавил он. — Гасите ваши свечи, и пойдем. Давай нам на прощание сентенцию, Кюхля, — обратился он к Кюхельбекеру. — Чтобы ночью мы думали.

Кюхельбекер полистал свой словарь.

— Пожалуйте, господа, — выдал он. — «Самые опасные страсти для молодости — упрямство и леность, для юношества — любовь и тщеславие, для зрелого возраста — честолюбие и мнительность, для старости — скупость и себялюбие...»

Все помолчали.

— Это кто? — спросил Пушкин.

— Автор пожелал остаться неизвестным, — скромно полупризнался Кюхельбекер, захлопывая толстую тетрадь.

— Скрывая свою гордыню, как тайную болезнь, мы не избавляем себя от нее, — сказал ему на это барон Дельвиг.

— А это кто? — широко раскрыл глаза Кюхельбекер.

— А это я, — сказал Дельвиг. — Нравится?

— Можно, я запишу?

— Пиши, — согласился Дельвиг.

Кюхельбекер достал карандаш и запыхтел, записывая афоризм Дельвига, держа тетрадь на коленках.

Пушкин с Пушиным принялись за последние свечи.

— Сейчас сейчас, — останавливал их Кюхельбекер, поднимая руку. — Погодите!

Когда они выходили из зала, Пушкин спросил у Пушина:

— Жанно, у тебя найдется двугривенный?

— Тебе сейчас нужен?

— Сейчас...

— Пойдем, я тебе дам. А зачем?

— Ну, понимаешь ли, надо дать маленький «tringкельд» швейцару... — Он хитро улыбнулся.

— Опять на ночь? — с укоризной спросил Жанно.

— Это уж как получится, — усмехнулся Пушкин. — Не одному же графу Варфоломею Васильевичу играть на своей любимой виолончели!

— Не понимаю, как в тебе все уживается, — пожал плечами Пушин, но шутке с графом все-таки улыбнулся. Он знал, как и многие, что заядлый театрал граф Толстой был еще и известным дилетантом в музыке, он частенько приглашал своих друзей послушать, как он играет на виолончели, и мучил их по несколько часов кряду.

— Что уживается? — не понял Пушкин.

— Хотя бы Бакунина и актрисочка...

— И не только они! — рассмеялся во все горло Пушкин, показывая свои большие белые зубы.

Пушин покачал головой.

— Ваня, нет ничего малодушней порока, когда нападают на него с нерешительностью. Гони двугривенный! А поведи оставь для дам! Они хороши, если ты хочешь кого-нибудь соблазнить.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой имеет быть публичное испытание воспитанников первого приема, Сергей Львович Пушкин ищет попутчика в Царское Село, Батюшков тоскует и мечтает об Италии, а великий Державин прибывает на экзамен, чтобы послушать лицеистов, но первым делом ищет нужник. — 22 декабря 1814 года — 8 января 1815 года

Перед самым Рождеством Сергею Львовичу сказали, что в приложении к «Санкт-Петербургским ведомостям» помещено объявление об экзамене в Царскосельском Лицее. Он послал Никиту купить его в ближайшую книжную лавку и с наслаждением перечитывал несколько раз: «Императорский Царскосельский Лицей имеет честь уведомить, что 4 и 8 числ будущего января месяца, от 10 часов утра до 3 пополудни имеет быть в оном публичное испытание воспитанников первого приема по случаю перевода их из младшего в старший возраст».

— Надежда Осиповна, — вздыхал он за завтраком, откладывая газету в сторону. — Ты послушай — музыка! «По случаю перевода их из младшего в старший возраст». Это — наш Александр! Вот мы с тобой и дожили! Надо ехать на экзамен.

— Хорошо бы найти тебе попутчика, — посоветовала Надежда Осиповна. — На извозчика мы поиздержали б вдвое меньше.

— А ты разве не поедешь? — спросил Сергей Львович.

— Зачем? — прервала она разговор, отвернувшись, и Сергей Львович не стал его возобновлять, зная свою благоверную. Особа она была взбалмошная, сына своего старшего с детства не жаловала.

И Сергей Львович бросился искать попутчика по Петербургу. Первым делом он направился на набережную Фонтанки, в дом Министерства просвещения, где проживал в служебной квартире Александр Иванович Тургенев с братом Николаем, служащим в Министерстве финансов. Дом этот находился напротив печально известного Михайловс-

кого замка. Может быть, думал он, Александр Иванович поедет в Лицей по долгу службы, тогда карета и вовсе будет бесплатной. Однако Тургенева не оказалось дома, носиться за ним по Петербургу было бессмысленно, ибо Александр Иванович славился своей неукротимой энергией: он переезжал с визитами из одного дома в другой, ухитряясь исколесить за день весь город.

Тогда он решил навеститься к Константину Батюшкову в доме его тетушки Екатерины Федоровны Муравьевой, вдовы Михаила Никитича, его воспитателя и двоюродного дядюшки, находившемся всего через несколько домов от квартиры братьев Тургеневых. Тот был дома, тосковал, куксился и ехать отказался, сославшись на нездоровье.

— Говорят, Гаврила Романович будет, — сообщил Сергей Львович. — Что он скажет про стихи Александра?

Батюшков сидел в кресле, нахохлившись, как маленькая птичка, и при словах о Державине глазки его подернулись пеленой, как подергиваются глаза пленкой у больной или засыпающей птицы.

— Сейчас в Италии хорошо, — вздохнул он. — А в Петербурге плохо.

— Нет, отчего же, — сказал Сергей Львович. — Сегодня морозец, снег поскрипывает. Легче дышится.

— В Италии, я думаю, все-таки лучше, — снова сказал Батюшков. — А Петербург город дрянной!

Сергей Львович понял, что от него ничего не добьется, и попытался соблазнить на поездку Екатерину Федоровну, тетушку Батюшкова, которая вышла в гостиную. Но и она, сославшись на множество приглашений и на обязательные визиты, отказалась от поездки; так что пришлось на первый экзамен ему ехать самому. К счастью, ничего потеряно не было: там он узнал, что Державин будет на втором экзамене, восьмого числа, где сын его будет читать в присутствии великого поэта свое стихотворение. Сергей Львович выпросил у сына перебеленные стихи и увез с собой в Петербург, клятвенно пообещав ему, что никому до экзамена стихи не покажет, лишь порадует матушку, которая не сможет быть на экзамене по болезни. Сергей Львович и сам писал вирши, в основном французские, русские ему совсем не давались, никак не мог он вломить стих в размер. Братец его Василий Львович оказался мастеровитей.

В день экзамена по словесности под лестницей караулил прибытие великого поэта Державина воспитанник Лицея барон Дельвиг. Гости, среди которых были родственники, официальные лица и гусары квартировавшего в Царском Лейб-гусарского полка, давно прибыли, но экзамен не начинали, ждали запаздывавшего Державина. Иногда появлялся на лестнице кто-нибудь из преподавателей, чаще Кошанский (который хоть и был в долговременном отпуске, но прибыл на экзамен), и справлялся, нет ли генерала.

— Генерала нетуть! — исправно отвечивал швейцар, прикасаясь пальцами к треугольной шляпе.

Барон надеялся, что ему удастся первому увидеть Державина, и не обманулся. Открылась массивная дверь, и на пороге возник старый поэт-сановник в богатой шубе, крытой бархатом, и бобровой шапке, которого вел под руку приехавший с ним слуга. Он был довольно высокого роста, но слегка, по-старчески, горбился.

Державин остановился и на пороге постучал плисовыми сапогами друг о друга, сбивая снег, в это время подскочил швейцар, ловко подхватил на одну руку сброшенную царственным движением шубу, опередив нерасторопного слугу, чего поэт, впрочем, не заметил, другой рукой взял веничек, стоявший у входа, и обмел сапоги величавому барину.

Державин приехал в мундире, подпиравшем высоким воротником его старческий подбородок. Губы его тряслись вместе с головой. Дельвиг из-под лестницы заворуженно глядел на легендарного старца, посетившего их обитель, потом наконец решился и выступил вперед с заготовленным обращением:

— Ваше высокопревосходительство, разрешите выразить великому поэту, написавшему «Водопад» и другие... Я... Я ... — запнулся он, и слезы брызнули у него из глаз. — Позвольте поцеловать руку, написавшую великие строки... — Дельвиг потянулся к руке старца, но тот глянул на него мутноватыми старческими глазами, буркнул что-то, руку убрал за спину и обратился громко к швейцару, стоявшему навывтяжку рядом:

— Где, братец, здесь нужник?

— Пожалте, пожалте! — склонился перед ним швейцар и повел за собой.

А сверху уже набегала толпа встречающих знатного гостя преподавателей и воспитанников.

Барон Дельвиг, постояв в сторонке, скромно ретировался.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

*в которой лицеисты держат публичный экзамен. —
Выступление Горчакова. — Историческое чтение
Пушкина. — Дядька Сазонов смывает пятна крови. —
Державин хочет благословить Пушкина. —
8 января 1815 года.*

За столом, покрытым красным сукном с золотой бахромой, собрались почетные гости Лицея. Переводной экзамен лицеистов из младшего в старший возраст был открытым для публики, и поэтому на нем, кроме официальных лиц, присутствовали родственники и знакомые лицеистов, царскосельская знать, близкая ко двору, лейб-гусары квартировавшего полка — поручик Молоствов, поручик граф Меллин, командир полка генерал-майор В.В.Левашов и даже полицмейстер Царского Села Бетхе.

Довольный Сергей Львович прибыл на экзамен с Александром Ивановичем Тургеневым, который сам заехал к нему с визитом после Нового года и договорился ехать на второе испытание. Он таял от счастья еще и потому, что благодаря Сергею Семеновичу Уварову, попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, который тоже был здесь, отчасти по службе, отчасти и потому, что был зятем самого министра просвещения, Сергей Львович был приглашен на обед, который давал в честь завершения испытаний граф Алексей Кириллович Разумовский.

Первый экзамен, по Закону Божьему, логике, географии и истории, прошел 4 января вполне успешно для всех экзаменовавшихся. На втором экзамене присутствовали министр просвещения граф Разумовский и другие официальные лица. Поэт Державин в мундире с орденом сидел рядом с ректором Петербургской духовной академии тридцатидвухлетним Филаретом (Дроздовым). Старый поэт тихо подковыливал, его совсем не интересовали латинский и французский языки, математика и физика...

Перед комиссией стоял воспитанник князь Горчаков и рассуждал. Говорил он, словно по писаному, легко, незаученно, как будто выношенные им самим, лились слова его речи. Ему нравилось, что здесь находится его отец, генерал-майор Михаил Алексеевич Горчаков, слушает его и, кажется, вполне одобряет его прилежание. Слушали и другие с интересом, одни — по должности, а старик Державин, к которому волей-неволей обращались взоры, все подремывал и клевал носом.

— У нас обыкновенно говорят: прекрасный дом, прекрасные книги, прекрасные развалины, прекрасные газеты. Что же такое сия красота, или изящность? Употребление языка, конечно, есть тиран; но надобно же быть какой-нибудь причине, почему одна вещь лучше, нежели другая, не зависит ли это от порядка, от гармонии, от приличия? Но какой порядок в развалинах? Какая гармония в дикости дебрей? — Горчаков обвел глазами зал. По залу прошелестел как будто легкий ропот, но это не сбило юного князя, он продолжал говорить, сам наслаждаясь легкостью, с которой ему это давалось. Князь вообще смолоду говорил легко, много и красиво, и сбить его было невозможно.

Оказывается, в залу невеста откуда пробралась кошка и принялась бродить под ногами высокой комиссии. Ее видели из залы, сами же члены комиссии до поры до времени не замечали, и лишь когда она принялась тереться о плисовые сапоги Державина, он проснулся, заглянул под стол, с трудом наклонился и поймал кошку.

— Ученые говорят: красота состоит в удобном расположении целого, которого порядок и стройность совершенно соответствуют его назначению. Но это красота философская, относительная к общему порядку вещей. Нам многое нравится прежде, нежели мы сами в состоянии дать себе отчет, почему оно хорошо, прежде, нежели решим, на что вещь годится. Философ говорит: все то прекрасно, что полезно. — Горчакову было лестно, что некоторые все-таки продолжали его слушать, к ним он и обращался, а не к пииту Державину, который смотрел куда-то вниз, себе на ноги. Князь не видел, что он держит на коленях кошечку, которая мурлыкала, разнежившись, все громче и громче. Сидевшие рядом члены комиссии старались не замечать причуды старика, в конце концов, был хоть и официаль-

ный экзамен, а все проходило так по-домашнему. — Но можно ли думать о пользе, когда чувства в очаровании? Поэзия, служительница вкуса, понимает под словами изящного, без сомнения, что-нибудь другое...

Кошечка пригласилась на колени у Державина и заснула, снова впал в полусон и поэт, экзамен шел, поэт спал и осторожно похрапывал, и однотонная речь воспитанника Горчакова, лучшего ученика, стала усыплять и других членов комиссии.

— Эстетики замечают, что изящная природа в Фавне, Аполлоне, Венере и Диане не есть одна и та же, несмотря на то что все сии божества составляют образцы совершенной красоты.

Уже ответившие комиссии лицеисты толпились за спинами гостей, сидевших в зале, ждавшие своей очереди — у входа в зал, при открытых дверях. Среди последних в нетерпении переминался с ноги на ногу Александр Пушкин, зная, что сейчас его очередь, а в зале — его отец, Александр Иванович Тургенев, лейб-гусары, с некоторыми из которых он был шапочно знаком и мечтал свести знакомство поближе. Волнение сжигало его.

— Господин Пушкин! — услышал он, что Кошанский объявил его фамилию, и пошел в зал, ближе к столу, но ноги его по мере приближения делались как ватные, и наконец он остановился, не в силах двигаться дальше.

Окинув взглядом зал, он увидел и Катеньку Бакунину, в первом ряду со своей матерью, и отца своего Сергея Львовича, вытягивавшего шею, его острый кадык и острый же нос, и красные доломаны лейб-гусар с красными же ментиками через левое плечо, отделанные черным мехом, бросились ему в глаза — молодые люди сидели отдельной группой: лейб-гвардии Гусарского полка поручики князь Долгоруков, граф Меллин и просто поручик Молоствов, хороший малый. С ними перед началом экзамена, пока ждали Державина, он успел поболтать и не удержался, чтобы не похвастаться, что будет читать «Воспоминание».

И вот его взгляд уперся в Державина, сидевшего в центре стола комиссии. Известный пиит был очень стар, экзамен его вконец утомил, и он сидел, подперевши голову рукою: лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Пушкин вспомнил портрет его, где он был пред-

ставлен в колпаке и халате. Он был вылитый, как на том портрете. Пушкин, однако, не видел, что на коленях у Державина дремала кошечка.

Пушкин чувствовал, что час его настал. Он уже читал свое творение графу Разумовскому на репетиции экзамена, которую пожелал устроить министр, и тот утвердил его для чтения на экзамене. Теперь граф Разумовский улыбался ему, всем своим доброжелательным видом подбадривая подростка. Подросток хоть и волновался, но смутно уже чувствовал, что этим стихотворением он откроет себе дорогу в литературу и не ударит лицом в грязь перед молодцами гусарами, перед Катенькой Бакуниной, перед соучениками, педагогами, перед великим Державиным, который, он надеялся, при звуках его поэтической речи отверзнет очи и проснется. По началу срывающимся, а потом все более крепнущим голосом Пушкин начал:

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почил дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в серебристых облаках.

Плывет и бледными лучами
Предметы осветила вдруг.
Аллеи древних лип открылись пред очами,
Проглянули и холм и луг;
Здесь, вижу, с тополем сплелась молодая ива
И отразилась в кристалле зыбких вод;
Царица средь полей лилия горделива
В роскошной красоте цветет...

Пушкин наконец не выдержал и посмотрел на Державина. К его радости, старый поэт не спал, а внимательно слушал.

Дядька Сазонов проскользнул в Лицей с черного хода. В холле, куда он прошел, было пусто. Он остановился, отряхивая снег с полушубка, прислушался — наверху шли экзамены. Послышались шаги — кто-то спускался по парадной лестнице. Сазонов метнулся под лестницу и скрылся. Про-

шел один из служителей с незажженными свечами в руке, после чего Сазонов выбрался из своего укрытия и пробрался на второй этаж.

В конце пустого коридора, куда выходили двери дортуаров, он сбросил полушубок прямо на пол и стал мыть руки под умывальником, висевшим в закутке. Дежурная лампа слабо освещало его лицо, на котором блуждала ухмылка, руки были в чем-то коричневом, легко смывавшемся. Вымыв руки начисто, он поковырял под ногтями, потом поднял с пола полушубок и, приблизив его к лампе, стал внимательно осматривать. Найдя и на нем пятна крови, Сазонов принялся замывать их.

Воспитанник Пушкин все читал, вдохновляя своим чтением зал. Отец его Сергей Львович переглядывался с Александром Ивановичем Тургеневым: вот, мол, какой орел у меня вырос. Осанистые гусары с горделивым выражением лица внимали юному пииту. Они были дружны с молодым поэтом и гордились его успехом, как своим.

Удивленно приоткрыв хорошенькие губки, смотрела на него Катенька Бакунина. А старый пиит слушал его с живостью необыкновенной, глаза его сияли живым огнем; сидел он, слегка подавшись вперед, чтобы не пропустить ни единого слова.

Достойный внук Екатерины!
Почто небесных аонид,
Как наших дней певец, славянской Бард дружины,
Мой дух восторгом не горит?
О, если б Аполлон пиитом дар чудесный
Влиял мне ныне в груди! Тобою восхищен,
На лире б возгремел гармонией небесной
И воссиял во тьме времен.

О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй,
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,
Взгреми на арфе золотой!
Да снова стройный глас герою в честь прольется,
И струны трепетны посыплют огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

Последние строки поначалу должны были быть обращены к Державину, но потом как-то само собой получилось, что они отнеслись к Василию Андреевичу Жуковскому; однако сейчас, со слуха, старик мог принять их и за посвященные себе.

По окончании патриарх певцов российских встал в восторге, протягивая к Пушкину длани, дабы осенить его младую главу благословением, но тот не воспринимал ничего, никого уже не видел, слезы застилали глаза. Зал, поначалу замороженно молчавший, зашелестел, пришел в движение, заговорил, а подросток, только что покоровивший этот зал, вдруг прозрел, на него хлынули все звуки, он оробел и от избытка чувств, переполнявших его, сорвался с места, словно не замечая протянутых к нему рук почтенного старца. Пробравшись сквозь толпу толкавших его воспитанников, он вылетел из зала и, конечно, уже не мог слышать, как ему вслед кричал старик Державин:

— Найдите его, найдите! Я благословлю его!

Сразу два преподавателя, профессор Кошанский и Галич, замещавший его в отпуске по болезни, бросились исполнять приказание.

— Я не умер! — бормотал как в чаду старик. — Я не умер!

Со стороны даже могло показаться, что он помешался.

Воспитанник Дельвиг тоже стал выбираться из залы, где, впрочем, после замешательства, вызванного выступлением Александра Пушкина, исполняющий обязанности директора Гауеншильд пытался возобновить экзаменационные испытания.

— Воспитанник Илличевский! — объявил он.

К столу комиссии стал пробираться Олосенька.

— Я — в дортуары! — спускаясь по лестнице, усталой квором, сказал Кошанский Галичу.

— А я — вниз, Николай Федорович! — ответил ему Галич. — Какой успех! — бормотал он, глядя себе под ноги и аккуратно ставя ноги на ступеньки. — Какой успех! Это ваша заслуга, Николай Федорович! Теория языка отечественного.

— Вы преувеличиваете. Это вы смогли заставить лентяя Пушкина написать «Воспоминания в Царском Селе». Ваша заслуга!

Обменявшись любезностями и весьма довольные собой и друг другом, они разошлись в разные стороны искать юного поэта.

А воспитанник Пушкин, раздетый, в одном мундирчике, выбежал на улицу и под горящим на Садовой фонарем бухнулся на колени в сугроб, бросая горстями себе на голову и в раскрасневшееся от волнения лицо рыхлый снег.

Потом оглянулся на здание Лицея, в котором светились все окна Большого зала, и заметил, что от подъезда к нему бежит кто-то из воспитанников, тоже, как и он, раздетый. Когда тот подбежал ближе, Пушкин узнал Дельвига.

— Я так... я так... и знал... — запыхавшись от бега, произнес Дельвиг, — что ты здесь, Саша...

— Ну, как там? — стараясь выглядеть спокойным, спросил Пушкин.

— Саша! — бросился Антон ему на шею. — Это счастливые минуты. Сам Державин, я ему сегодня хотел целовать руки, а он благословляет тебя! Стихи такие, что мороз по коже!

— Это верно! — обхватив себя за плечи, согласился Пушкин, который начал уже замерзать. — Мороз по коже — пойдем отсюда. Возьмем по рюмке у Леонтия и раскурим трубку.

— Вечно ты шутишь! — Барон обнял друга, и так, обнявшись, они направились к Лицею.

— Не шучу! — потрепал его Пушкин. — Не шучу, Тосенька!

— Он звал тебя! Он хочет тебя видеть!

— Я не могу!

— А знаешь, что он приговаривал, когда убежали тебя искать?

— Что? — поинтересовался Пушкин.

— Я не умер! Я не умер! Вот так вот сидел, — изобразил Дельвиг Державина, — и приговаривал: я не умер!

Они оба счастливо рассмеялись.

— Ты знаешь — ты гений! — вдруг страшно серьезно сказал барон Дельвиг. — Я понял — ты гений!

— Я знаю, — совершенно спокойно отвечал ему Пушкин.

Дельвиг остановился и посмотрел ему внимательно в глаза, потом сказал:

— Забавно. Ты и вправду знаешь. Разумеется, не можешь не знать!

— Люблю тебя, барон! За ум, за сердце! — обнял его Пушкин. — А Кюхля бы сейчас кричал: как ты можешь об этом так спокойно говорить!

Они снова рассмеялись.

На обеде у графа Разумовского, данного в честь успешного завершения испытаний, граф сказал отцу стихотворца Пушкина, что он желал образовать его сына не токмо в поэзии, в которой он, по мнению всех присутствующих, весьма преуспел, но и в прозе.

— Оставьте его поэтом, — вскинулся старик Державин.

Граф Разумовский мягко улыбнулся и возражать поэту не стал.

Сергей Львович возвращался домой вместе с Уваровым и Тургеневым, опять заговорили про успех Александра. Уваров поинтересовался, нет ли списка у Сергея Львовича. Тот радостно подтвердил, что список у него есть.

— Пришлите мне его завтра, — предложил Уваров. — Его срочно надобно напечатать.

— Александр пока предпочитает печатать свои стихи под символами: циферки и прочая, — сказал Сергей Львович.

— Это то стихотворение, которое останется в веках, его надо печатать под полным именем: Александр Пушкин! — сказал Тургенев.

— Все-таки я должен посоветоваться с сыном, — вздохнул Сергей Львович. Он начинал уже немного побаиваться Александра, видя, как тот на глазах приобретает уважение и интерес общества. Свидетельством этому были такие люди, как Уваров, зять Алексея Кирилловича.

— Разумеется, — согласился Уваров.

А Саша Пушкин сам переписал «Воспоминание» и послал список Державину, по его просьбе, а другой — в Москву, дядюшке. Как разорвавшаяся бомба, оно было встречено московскими литераторами. Незадолго до этого в Москву приехал из деревни Василий Андреевич Жуковский. Собравшись у князя Петра Андреевича Вяземского, они слушали обливавшегося слезами Василия Львовича, который читал стихи племянника.

— Задавит каналья! — воскликнул князь Петр Андреевич, прослушав стихи. — Всех задавит!

А Жуковский с Пушкиным-старшим, обнявшись, заплакали вместе, после чего Василий Львович, утираясь платком, сообщил всем, что сейчас, пожалуй, он прочтет и свои новые произведения.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

в которой Василия Андреевича Жуковского представляют императрице Марии Федоровне в Павловском дворце. — Кабинет императрицы «Фонарик». — Разговор о Наполеоне. — Описание внешности Жуковского. — Великий князь Николай Павлович. — Служба инвалидов при дворе императрицы. — Розовый павильон. — Первая встреча Жуковского с Пушкиным. — «Меня поносит стихами». — Поэт и заморская обезьяна на одной доске. — Вопрос о частной жизни. — Разговор с Батюшковым. — Кто напишет «Бову»? — Весна—осень 1815 года

Друзья давно зазывали Василия Андреевича Жуковского в Петербург, справедливо полагая, что при дворе он может найти себе средства для существования. Наконец он в мае приехал и остановился в Литейной части, у братьев Тургеневых на набережной Фонтанки. Еще в декабре императрица Мария Федоровна выразила желание Александру Ивановичу Тургеневу, прочитавшему ей и ее младшим детям, Николаю, Михаилу и Анне, послание Жуковского к Александру I, лично познакомиться с поэтом. Через несколько дней после его приезда Александр Иванович и Уваров устроили ему встречу с государыней Марией Федоровной в Павловске, где она проживала своим двором почти постоянно с тех пор, как стала вдовою.

Мундира у него, конечно, не оказалось. Денег сшить новый, что в нынешнем Петербурге при наличии средств можно было сделать за один день, тоже не было. Кое-как наконец добыли от добрых приятелей мундирную пару, и они с Уваровым отправились в воскресенье с утра в Павловский дворец, чтобы прибыть туда во втором часу.

Дожидались довольно долго, потому что после обедни были парадные аудиенции; зала пестрела мундирами, золо-

тыми галунами и орденскими лентами, дышала сладостным шепотком и подобострастием. Уваров сообщил Жуковскому, что его велено представить императрице Марии Федоровне в ее кабинете. Ожидание стало утомлять. Вдруг двери отворяются, являются великие князья Николай и Михаил Павловичи, проходят мимо дожидавшихся аудиенции, не замечая никого, как мебель, на свою половину, потом возвращаются и идут к императрице.

Вслед за этим приглашают и Уварова с Жуковским. Василий Андреевич оробел и успел напоследок подумать, что, слава Богу, желудок его сегодня в исправности, а следовательно, и душа в порядке, хотя и ушла, беспокойная, в пятки.

Уваров шел впереди, Жуковский нетвердыми шагами следом; прошли одну комнату, другую — вошли в третью. Павловск подавлял его своей роскошью. Перед дверями следующей комнаты ширмы. Китайские, расписные. Вдруг из-за ширм говорит Уварову грубоватый женский голос:

— *Bonjour, monsieur Ouvaroff.*

Это какая-нибудь придворная дама, подумал Жуковский, и смело двинулся вперед. Глянь, а перед ним сама императрица. А за ней юный паж, с завитой напудренной головой, в галунном зеленом мундире с красным воротником, держит в одной руке ее меховое боа, чтобы подать по первому требованию, а в другой — свою большую треугольную шляпу. В мае в этих местах было еще довольно холодно. Дворец не протопишь, как приватную квартиру.

Кабинет, в котором его принимали, как он потом узнал, называется «Фонарик». За спиной императрицы, которую против света рассмотреть трудно, остекленная полукруглая ионическая колоннада; две кариатиды по углам друг против друга, огромные, от пола до потолка. Великие князья стоят возле одной из них. Хотел было Жуковский сказать государыне: не умею, мол, изъяснить вашему величеству своей благодарности за ваши милости, да и в самом деле не умел: отделался немymi поклонами.

Потом он стоял как истукан, ничего не понимая в разговоре, потому что государыня говорила по-русски не очень грамотно, невнятно, слегка картавя, но при этом скороговоркой. Уваров заметил, что его спутник с непривычки не понимает императрицу, и вставил в свою речь два слова по-

французски. Государыня, кажется, с облегчением отвечала ему тоже по-французски и вовсе перешла на более понятный ей язык.

Собственно, поначалу разговор был ничем не примечательный, поговорили о войне, вспомнили недавние бедствия и радости, государыня показала роскошно изданного еще в 1813 году в Петербурге по ее повелению и на ее счет в пользу автора «Певца во стане русских воинов» с рисунками А.Н.Оленина и примечаниями Д.В.Дашкова. У Жуковского было это издание, но вместе с государыней он еще раз посмотрел виньетки Оленина, на одной из них был изображен стан при лунном сиянии, а в облаках тени Петра, Суворова и Святослава. Государыня сказала, что хранит его рукою написанный список «Певца», который он прислал по ее просьбе, как самую дорогую реликвию и попеняла ему, что он так долго к ней собирался, что государыне пришлось просить о встрече с ним почти два года. Видя, что поэт совсем растерялся и не знает, что сказать, она перевела разговор на последние политические события. А здесь не избежать было разговора о Наполеоне, сбежавшем с Эльбы.

Обсуждали слухи, наводнявшие столицу: то пронесется слух, что его ловят, то прослышится, что уже поймали. Государыня не верила в его возвращение всерьез... Жуковский поддержал ее. Решили, что Бонапарта, сколько он ни бегай, все-таки отловят.

— И, может быть, даже посадят в клетку, — засмеялся Жуковский, осмелев и освоившись. — Хотя это не совсем подходящее место для императора, пусть и отрекшегося от престола.

Уваров поежился, подобную шутку при императорской фамилии нельзя было назвать пристойной.

Но государыня улыбнулась ласково и снисходительно, потом показала на своих детей и сообщила, что они едут в армию к императору. Сказала просто, буднично, как будто они ехали на охоту. Девятнадцатилетний Николай был красив, как римская статуя, Михаил не так холоден с виду и более человечен.

Государыня впервые видела Жуковского, прогремевшего по России в лихую годину своими стихами, и этот мужчина, довольно высокого роста, с приятными чертами лица,

мягкими светлыми волосами и темными, на китайский лад приподнятыми глазами, от всего облика которого веяло спокойствием и добротой и некоторой, вероятно, свойственной лирическим поэтам, наивностью, нравился ей все больше и больше. Внешне она была спокойна, но, кто знал, как разрывалось у нее сердце при мысли о том, что четыре ее сына вновь отправляются на вторую европейскую войну и чем на этот раз она закончится.

Она пригласила его бывать у нее на обедах.

Он поблагодарил, но сказал, что, к сожалению, должен уехать до осени.

— Так, значит, — подчеркнула императрица, — я жду вас осенью. В первый же день по приезде.

Аудиенция была недолгой, каких-нибудь полчаса, но Уваров остался доволен. Великие князья на протяжении всего разговора простояли молча, не вмешиваясь в него.

Потом уже они с Уваровым прошли на половину великих князей и поговорили с Николаем Павловичем, который любезно их принял один, потому что Михаил куда-то убежал. Он показал им акварели гусар, конногвардейцев и кавалергардов, подаренные ему великим князем Константином.

Потом им предложили осмотреть Павловск. По дворцу они уже прошли с Уваровым, и теперь Жуковский попросил показать ему галерею Гонзаго и Розовый павильон, о котором ему говорил Федор Глинка, побывавший здесь третьего дня и особенно восхищавшийся декорациями на натуре того же Пьетро Гонзаго. Великий князь Николай Павлович сам вызвался их проводить.

— С удовольствием буду вашим чичероне, — холодно, но приятно улыбнулся он. От его улыбки по затылку пробежал легкий холодок. Порой глаза его становились стеклянными.

— Здесь у нас, в Павловске, литературный Парнас, — пояснил великий князь Николай Павлович. — До сих пор в нем не хватало только вас, Василий Андреевич.

Около Розового павильона с прошлого года все еще стояла замечательная декорация Гонзаго, с одной стороны изображавшая Монмартр с ветряными мельницами, а с другой — русскую усадьбу с церковкой. Розовый павильон был открыт для посещений. Два солдата из инвалидной команды с почтением открыли им двери. Вообще Жуковский

обратил внимание, что по всему Павловску служат старые, израненные инвалиды, ласковые и приветливые, нашедшие при дворе императрицы кров и стол. Кроме того, что они сыты и одеты, как объяснил Уваров, они еще получают от императрицы хорошее жалованье. Всего их до двух тысяч, и императрица хочет устроить еще и третью на собственное попечение.

По павильону уже ходили две девушки с гувернанткой. Их сопровождал слуга в ливрее. Увидев великого князя, они присели в приветствии, а потом замерли, как мышки, в углу павильона. Удивило же Жуковского, что сам павильон был не розового, а палевого цвета, с белыми рамами и переплетами окон. Великий князь пояснил, что мотив роз преобладает в отделке интерьеров, так было задумано, а сам павильон окружен тысячами кустов роз, и это великолепие надо видеть, конечно же, летом, когда они цветут.

— А все драпировки мебели, ширм, каминных экранов вышила сама матушка, — пояснил Николай Павлович, — со своими фрейлинами.

В гостиной на столе лежал альбом в кожаном переплете с вензелем императрицы, в котором посещавшие павильон могли оставить свои замечания и пожелания, многие из которых потом выполнялись. Так появилось по чьему-то пожеланию в павильоне фортепьяно, пояснил Николай Павлович, показывая на английский инструмент с корпусом из наборного дерева.

По стенам висели картины и раскрашенные акварелью гравюры с видами Павловска, поднесенные императрице и ее покойному супругу Сильвестром Щедриным и другими русскими художниками, что свидетельствовало о незаурядном вкусе императрицы.

Когда высокие гости покинули павильон, две девушки, находившиеся там с гувернанткой, оттаяли и защебетали, как весенние птицы, звонко и беззаботно.

— Жуковский! Ты видела Жуковского с великим князем?..

— Боже, неужели возможно такое счастье, вот так просто встретить великого поэта?!

— Ты видела, как он грустен?

— Говорят, он несчастен и влюблен в свою дочь...

— Нет, что ты такое говоришь? Это — сплетни. У него нет дочери. Я верно знаю, он влюблен в собственную племянницу и ему не разрешают на ней жениться.

— Как можно жениться на племяннице? Церковь не разрешает такого брака...

— Вот так ему и говорят. Но он ведь поэт!

— А что, поэту можно?

— Поэту можно все!

— Я бы пошла за него, он мил... И, кажется, размазня...

— Это неприлично, мадемуазель Китти, — наконец сделала замечание одной из них гувернантка.

— Что неприлично, позвольте спросить вас? — едко вскинулась девушка.

— Обсуждать так незнакомого вам человека.

— А знакомого можно? — еще более ядовито спросила воспитанница.

— Знакомого тем более неприлично.

— Значит, неприлично просто все на свете. Для вас. Я думаю, что жить, просто жить, тоже неприлично!

Гувернантка не знала, что ответить, и поэтому сочла, что в ее случае благоразумней просто отвернуться от собеседницы.

Жуковский, когда они перед Павловским дворцом распрощались с великим князем Николаем Павловичем, хотел предложить Уварову доехать до Царского Села, чтобы познакомиться с племянником Василия Львовича, поскольку они уже здесь, да не решился, подумав, что тот не поймет его желания в день представления императрице увидеть еще и какого-то мальчишку, пусть и хорошего поэта.

И он решил отложить свидание это до следующего раза и не объяснять Уварову, почему его так влечет туда, и посетить Пушкина одному, без докучливых свидетелей.

Случай побывать в Лицее предоставился осенью, когда он по приглашению государыни императрицы Марии Федоровны три дня гостил у нее в Павловске. На этот раз он поехал туда один и застал у государыни небольшое, но избранное общество. Вечерами они, чередуясь с Нелединским-Мелецким, читали свои стихи императрице. Как-то днем он под предлогом поэтической минуты сбежал из

Павловска и через три четверти часа быстрым шагом уже оказался в Царском Селе, где рассчитывал найти этого соловья из Лицея.

Пушкина он не застал и ходил вдоль канала по Садовой, размеренно помахивая тростью.

Пушкин с Дельвигом возвращались из кондитерской Амбиеля, в которой они бывали постоянно, и оживленно разговаривали. Они прошли мимо высокого мужчины с тростью, который внимательно на них посмотрел. У подъезда их остановил лицейский швейцар и обратился к Пушкину:

— Вас ждут, Александр Сергеевич!

— Кто? — спросил Пушкин. — Родители приехали? Почему не в положенный день?

— Нет, — сказал швейцар. — Господин Жуковский. Он испросил разрешения на встречу у господина директора.

— Жуковский?! — ахнули вместе два друга.

— Где он? — спросил Пушкин.

— Вон они гуляют, — показал, прищурившись, швейцар. — Господин директор уж так звали их к себе, но они решили прогуляться.

Жуковский медленно шел вдоль канала.

Пушкин стоял и медлил.

— Иди! — подтолкнул его барон Дельвиг.

Пушкин оглянулся на него:

— Тося, неужели он и вправду ко мне? Неужели знает про меня?

— «Пушкин! Он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением...» — продекламировал барон Дельвиг свои стихи, посвященные другу. — Иди, Саша!..

А потом стоял и смотрел, как шел Пушкин до Жуковского, как раскланивался, как поэт что-то говорил своему младшему собрату, а тот внимательно слушал.

Беседа их завязалась просто и душевно. Жуковский был в прекрасном расположении духа.

— Спокойная жизнь при дворе всегда идет на пользу как желудку, так и духу, — пошутил он. — Что вы пишете сейчас?

— Меня то поносит стихами, то укрепит. Летом было не до стихов. Сейчас, я чувствую, пора ставить клизму! — Пушкин легко перенял легкий тон Василия Андреевича.

— Мне нравится здесь летом, — согласился Жуковский. — Меня императрица зовет к себе в чтецы, вот думаю, согласиться ли?

— Мы все рвемся отсюда, а вы хотите себя заключить... Нам кажется, что нет места унылей.

— Коли вы так рветесь в свет, то должны знать одно, мой милый друг: в большом свете поэт, заморская обезьяна и ventriloque и тому подобные редкости стоят на одной доске, для каждой из них одинаковое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание. Это вам надо знать, вступая в этот свет, чтобы не обольщаться своим значением, знать, что ваш ум, сердце, поэзия в большом свете никому не нужны, что чревовещатель с его искусством вызовет больший интерес, да и сами почести в свете — сущая низость.

— Однако все добиваются этих почестей.

— На самом деле, что нужно поэту? Всего лишь хорошая комната, в ней хорошие крепкие шкафы для книг, недостижимые для мышей, этих сущих отродий, отточенные перья да стопка бумаги... — Он помолчал и посмотрел на Пушкина. — И не вздумайте быть полезным для общества — это химера, которая может казаться чем-то существенным только в глубокой провинции, здесь, при дворе, ее иметь невозможно; может быть, придет такое время, когда она обратится в существенность, теперь же стоит только поглядеть на тех людей, которые посвятили себя общепольной деятельности, чтобы сказать себе, как эта цель безумна! Будешь биться, как рыба об лед... убьешь в себе прежде смерти то, что составляет твою жизнь, и останешься до гроба скелетом.

— А если нет возможности жить независимо, частной жизнью?

— Это вопрос, который я сейчас, с помощью моих друзей, и решаю. Тургенев с Уваровым хотят добиться для меня пенсионера, как для поэта. Издадут мои сочинения, а также положили основать журнал, который и будет приносить постоянный доход.

— Я обязательно подпишусь на ваши сочинения, вся Россия подпишется. Что, Россия не в состоянии поддержать своего первого поэта? — с жаром сказал Пушкин.

— Я вам подарю свою книгу, как только она выйдет в свет, сберегите свои средства, — сказал Жуковский. — Вам,

наверное, надо уже идти, я надеюсь, пока я в Петербурге, еще не раз навестить вас.

— Жаль, — сказал Пушкин, — что нас не выпускают никуда из Царского, а то бы я непременно нанес вам ответный визит.

— Подождем до лучших времен, — сказал Жуковский и улыбнулся своей милой улыбкой. — Я думаю, мы будем друзьями.

— Я только могу об этом мечтать, Василий Андреевич! — сказал Пушкин и поклонился. — Пока вы для меня — учитель!

Жуковский радушно протянул ему руку:

— До встречи.

Пушкин стоял и смотрел, как он пошел быстрым шагом, помахивая тростью. Уже второй поэт посетил его здесь, первым был Батюшков. Что-то было в них такое, что объединяло этих двух разных людей. Какая-то тоска. Уныние. Что-то снесало их изнутри. Разве поэт обязательно должен быть снесаем тоской? Смотря вслед этой высокой фигуре, он подумал, что отчего-то коротышка Батюшков был ему ближе.

При встрече в Царском Селе они разговорились легко, непринужденно, вспомнив, как встречались в доме у графа Бутурлина. Нашаливший, маленький Саша был наказан и сидел в гостиной за стенкой из стульев, остальные дети играли поодаль. Так, через стенку, они и беседовали в первый раз.

— А потом пришел отец хозяйки и освободил тебя, — улыбнулся Батюшков.

— Мой крестный, — подчеркнул Пушкин. — Артемий Иванович был моим воспитанником при крещении.

Батюшков посетовал, что библиотека графа сгорела в московском пожаре, потом заговорил о послании Пушкина к нему, только что напечатанном.

— Знаешь ли, Александр, что оно мне напомнило?

— Что?

— Стихи Батюшкова.

Пушкин довольно рассмеялся.

— Стараемся! Быть похожим на Батюшкова уже неплохо!

— А что сейчас пишешь?

— «Бову», шутивную поэму в вольтеровском духе.

— И принес он голову Дадона на блюде Милитрисе, закрытую ширинкою, и говорит: «Излечил я твоего короля от сердечной раны», — печально покачал головой Батюшков. — Посмотрела она и охнула: «Я велю тебя казнить, злой лекарь!»

— И рече Бова: «Стой, не торопися, государыня, матушка моя! Я не лекарь, а твой сын Бова-королевич...»

— И положил Бова родную мать живую в гроб и велел закопать... Шутливая поэма! Отдай ее мне. Ты только испортишь сюжет, а я давно о ней думаю, — сказал Батюшков.

— Бери, — тряхнул головой Александр, впервые называя его на «ты».

Батюшков даже не улыбнулся, только задумался о чем-то тяжко.

А Пушкин почему-то почувствовал, что ни он, ни Батюшков «Бову» никогда не напишут.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,

в которой происходит битва с царским садовником и его людьми. — Благородный пансион при Лицее. —

Левушка Пушкин и Павел Воинович Нащокин. —

Рассказы Нащокина о своем детстве. — История двоих дураков, Карлы-головастика и плешивого Алексея

Степановича. — Государь Павел I и дурак. —

Кондитерская Амбиеля. — Осень 1815 года

Воспитанники устроили засаду возле царского сада: Броглио, Малиновский, Пушкин, Пущин, Дельвиг, Данзас и еще двое-трое. Они проследили, как двое рабочих протаскили по саду корзину, полную спелых яблок.

— Главное, — приподнимая голову, шепотом наставлял остальных Броглио. — это внезапность нападения. Сперва надо ошеломить врага, а пока он придет в себя, позиция будет за нами!

— Может, все-таки лучше ночью? — осторожно заметил Данзас. — Я не очень хорошо бегаю.

— Да и я тоже, — поддержал его барон Дельвиг. — Только не подумайте, что я боюсь...

— В вашей смелости, господа, — велеречиво произнес Броглио, — никто не сомневается. Медведь и Тося могут

остаться здесь, — великодушно разрешил он. — Добычей мы, разумеется, с вами поделимся. — Он повернулся к Пушкину. — Обезьяна полезет на дерево. А мы с Казаком будем в арьергарде, если придется отступать. Остальные собирают яблоки!

Рассредоточившись, подростки осторожно пробрались в царский сад, принялись трясти яблони. Под многими яблонями стояли колья, поддерживающие отягощенные плодами ветви.

Неожиданно между деревьями возник царский садовник Лямин с двумя мужиками.

— Лямин! — закричал кто-то, заметив его первым.

Грабители дружно сорвались с места, но не тут-то было, кого-то из них схватили. Но свои его не бросили, а когда завязалась драка, повыхватывали колья, стали отбиваться от мужиков, которые, впрочем, действовали против барчуков только голыми руками, опасаясь причинить им вред. Потому лицеисты и отбились успешно.

Бежали из сада, не бросив добычи, с полными сюртуками яблок, не спелых, зеленых, но таких сладких, как бывает сладок всякий запретный плод. Жизнь была беззаботная и веселая, никого на свете не боялись, никого не слушались.

По дороге Пушкин сказал барону:

— Зайдем к моему братцу в пансион, проведем, дадим яблочка откусать?

— Зайдем, — согласился барон.

Благородный пансион находился в полутора верстах от Лицея, в Софии. Лицеисты редко посещали его, лишь два-три раза в год, когда устраивали совместные спектакли или балы. Но отношение лицеистов к пансионерам было такое же, как отношение гвардии к армии, в массе своей лицеисты чуждались пансионеров, смотря на них сверху вниз, с некоторым пренебрежением; но это не было законом, хотя бы для Пушкина, у которого там находился брат Левушка.

Два приятеля прошли эти полторы версты, проведя время в приятной беседе.

— Мне совершенно непонятно, — говорил барон Дельвиг Пушкину, — почему у нас совсем нет народных драматических произведений. А между тем русская история обильна

происшествиями, которые сами напрашиваются в трагедию. Правда, Саша?

— Ну кое-что все-таки имеется. Ты забываешь, например, про Озерова...

— Да, Озеров, согласен. — Барон потер переносицу, будто вспоминал. — Он, без сомнения, имеет большие заслуги. Но он не народен. Все построение его драм заимствовано из французской школы, а растянутый александрийский стих совсем не свойственен нашему языку.

Разговор, как чаще всего бывало между ними, шел о литературе. В Царском Селе как раз наступило время дневного гулянья. Навстречу им попадались дамы под зонтиками, молоденьких девушек сопровождали гувернантки, с некоторыми из которых лицеисты были уже знакомы. Пушкин переглядывался с ними, вежливо, как бы со значением, раскланивался. Подслеповатый Тося следовал ему, каждый раз выпрашивая:

— А кто это был?

На сей раз попалась им матрона с двумя молодыми дочерьми, одна из которых была очень миловидна, и длинноносой гувернанткой, не лишенной, впрочем, определенно-го шарма.

— А это кто? — поинтересовался Дельвиг после поклона, когда они прошли несколько шагов по дороге и он уже не мог быть услышан.

— Сестры Вельо с матерью, — пояснил Пушкин. — И мамзель Шредер...

— А какая из сестер красивей?

— Конечно, Софья... А впрочем, какая тебе разница, коли ты все равно не видишь?

— Не вижу, — согласился барон. — Но мне было бы приятней думать о встрече, если бы это была встреча с дамой красивой, нежели с какою-нибудь дурнушкой. — И он характерно причмокнул. — Ты не согласен?

Из окон небольшой деревянной дачки в несколько окошек с резными наличниками, с оштукатуренным маленьким портиком у крыльца доносилась музыка. Играли на рояле. Кажется, Бетховена. Играли в четыре руки, чуть сбиваясь, но, видимо, с удовольствием. Кто это был? Две девицы, скучающие в одиночестве? Или девица со своим кавалером? Бог знает!

— Кажется, Бетховен? — прислушался барон.

Пушкин промычал что-то неопределенное в ответ. Он шел, о чем-то задумавшись и совершенно выпав из разговора. Так бывало с ним довольно часто, когда он умолкал даже на полуслове, барон знал это и потому только взглянул на него и молча, больше ничего не спрашивая, пошел рядом.

Проехала карета цугом с гербом на дверце, с занавешенными окнами, с двумя рослыми лакеями на запятках.

Потом они встретили князя Кочубея, который раскланивался со знакомцами с мягким достоинством высшего круга французского, с приветливостью улыбки и приема, с аристократической красой, устоявшей против разрушительности времени. При всем при этом он был привлекателен и прямодушен...

Саша Пушкин вывалил зеленые недозрелые яблоки на кровать, бухнулся рядом, заскрипев пружинами матраса. Левушка схватил яблоко, крепкими белыми зубами, выделявшимися на смуглом арапском лице, вцепился в него с такой силой, что белый сок обрызгал ему щеки.

— Яблоки, конечно, дрянь! — сказал Саша. — Но похищены из царского сада. Нечто вроде подвига Геракла. Это придает им особенную прелесть.

— Да, кислые, — согласился, сморщившись, Левушка.

— Однако запретный плод всегда слаще, — сказал барон.

— А где Павел Воинович? — поинтересовался Пушкин у брата. — Люблю побеседовать с ним. Замечательный рассказчик. Ты ведь, Тося, не знаком еще с Павлом Воиновичем? — спросил он у Дельвига.

— Нет, Бог не привел, — отвечал тот. — А кто это?

— Нашокин. Древнего рода. Занятная, братец, личность. Первостатейный рассказчик. Но вроде тебя — рассказывать мастер, а писать — лень.

— Ну, я все-таки иногда пишу, — скромно признался барон.

— Сейчас я его приведу. Он тоже будет вам очень рад, — обрадовался Левушка.

— Почту за честь познакомиться, — сказал барон. Левушка скрылся.

— У Льва прекрасный литературный вкус, — сказал Пушкин Дельвигу. — И, кажется, умный мальчик. Я рад, что он здесь, и чувствую, что мы будем друзьями. И братьями, не только по африканской нашей крови. А на стихи у него память: раз-два прочел — и помнит наизусть. Хранит в памяти «Тень Баркова», которую я написал в его возрасте, и еще сотню-другую стихов.

— Так ведь есть в кого, — усмехнулся Дельвиг.

— Ты мне льстишь, братец, у меня память много хуже. Правда, на плохие стихи. Хорошие тоже помню с первого раза.

В дверях появились Левушка и Нащокин, подросток постарше Левушки, с открытой, доверчивой улыбкой.

— Знакомьтесь, — сказал Левушка, подталкивая вперед Нащокина. — Павел Воинович Нащокин. Мой добрый приятель и однокашник по пансиону.

— Барон Дельвиг, — слегка поклонился, представляясь, Дельвиг. — Антон Антонович. Будем друзьями. Зови меня Тосей, как все зовут, — добавил он по-простецки. — Не будем чиниться...

— Ну до чинов нам еще далеко, а вот по древности рода, тут Павел едва ли не первый будет. — Пушкин приобнял Нащокина. Расскажи нам что-нибудь. Страсть как люблю твои рассказы, душенька Павел!

— Да какой же рассказ без доброй чарочки?! — улыбнувшись, воскликнул Нащокин.

— Чего нет, того нет, — развел руками Пушкин. — У нас в Лицее мигом достали бы у гувернеров. За неимением лучшего будем есть яблоки из царских садов. Царя теперь нет, по Европам кочует, так его садовнику Лямину некому пожаловаться. А для нас, кроме царя, власти нет!

— Да, — согласился Дельвиг. — Второй год без директора.

— А Гауеншильд разве не директор? — поинтересовался Нащокин.

— Это он у вас в пансионе директор, а у нас токмо исполняет должность... — сообщил Пушкин.

— Да и то плохо, — добавил Дельвиг.

— Из рук вон плохо, — поддержал его Пушкин. — Десерта у нас совсем нет за обедом, весь десерт оставляет себе, а нам, видите, приходится добывать себе десерт самим...

— Так что вы лицезрете перед собой лихих людей, случаем избежавших палок, — завершил Дельвиг.

— Ну коли всухую рассказывать, расскажу-ка я вам, как в первый раз приобщился Бахусу, — начал Нащокин. — До пансиона я с братом воспитывался дома. У нас было множество учителей, гувернеров и дядек, из коих двое особенно для меня памятны. Один пудренный, чопорный француз, Бог с ним, а другой — которому я обязан первым своим пьянством. Вот как это случилось. Однажды, скучая на вечернем уроке, когда учитель занялся с братом моим, я подкрался и задул обе свечки. Матери моей, Клеопатры Петровны, дома не было. Случилось, что во всем доме, кроме этих двух свечек, не осталось огня, а слуги все ушли. Учитель насилу их нашел, насилу добился огня, насилу добрался до меня и в наказание запер меня в чулан. А в чулане, как водится, хранились разные съестные припасы. Я утешился, отыскал изюм, винные ягоды и наелся вдоволь. Между тем нащупал я и штоф, откупорил его, полизал горлышко, нашел его сладким, попробовал из него хлебнуть, мне это понравилось. Несколько раз повторил я сие испытание — и свалился без чувств.

— Забавно, — сказал Дельвиг. — Хорошо ты, наверное, присосался.

— Между тем матушка приехала. Учитель рассказал ей мою проказу и с ней отправился в чулан. На полу разбитый штоф, будят меня, а от меня водкой несет, как от Панкратьевны «Опасного соседа»...

Все рассмеялись.

— Утром проснулся, голова болит, смутно помню вчерашнее. Гляжу в окно, а на повозку пожитки моего незадачливого учителя грузят, а все батюшкины дураки собрались вокруг него, кланяются и прощаются...

Снова засмеялись слушатели.

— Батюшка мой давно помер, а дураки его остались, тьма-тьмущая была у него этих дураков, вот закончу учение, определюсь в гвардию и выпишу всех, кто жив еще, к себе. Первого Алексея Федоровича, Карлу-головастика. Второго дурака, Ивана Степановича, плешивого, с волосами на одних висках, этот понравился Павлу Петровичу, был взят к его двору, а после смерти государя прислан батюшке обратно, теперь же живет в костромской нашей деревне. Раз

его император Павел чуть не сослал в Сибирь. Шутки его отменно нравились государю. Однажды царь спросил его, что родится от булочника? «Булки, мука, крендели, сухари и прочее», — отвечал дурак. «А что родится от графа Кутайсова?» — «Бритвы, мыло, ремни и прочее». Кутайсов был его брательником. «А что родится от меня?» — поинтересовался государь. «Милости, щедроты, чины, ленты, законы, счастье и прочее». Государю это очень понравилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: «Воздух двора заразителен, вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится?» — «От тебя, государь, — отвечал, рассердившись, дурак, — родятся бестолковые указы, кнуты, Сибирь, каторга и прочая». Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на такую дерзость, хотел узнать непременно кем. Иван Степанович наименовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили и повезли в Сибирь, но из Рыбинска воротили.

— Забавно! — еще раз сказал свое излюбленное словцо Дельвиг. — А я бы сейчас не прочь был бы полизать горлышко хоть какой-нибудь бутылки из первого твоего рассказа.

— Полизать горлышко! Хорошо сказано, — рассмеялся Пушкин.

— Мне мамаша вчера прислала с человеком денег, может быть, мы отправимся к Амбиелю? — предложил Нащокин. — Попьем кофею?

— Ура-а! — вскочил Левушка. — С пирожными! Люблю тебя, братец! — поцеловал он Нащокина.

— А что? — согласился Дельвиг. — Поглазею на барышень.

— Особенно ты, Тося, с твоей близорукостью, — поддел его добродушно Пушкин.

— Я чувствую женщин по запаху и цвету...

— Ты же путаешь зеленый с красным, — еще раз зацепил Пушкин.

— В этом и есть самый шарм! — парировал Дельвиг. — Она краснеет, а тебе кажется, что она зеленая, как крокодил...

Тут уже расхохотались до колик.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

в которой рассказывается о нравах лейб-гусар, стоящих в Царском. — Генерал-майор Василий Васильевич Левашов. — Граф Аракчеев абонирует тело Варвары Петровны Пуколовой на бессрочное время у ее мужа, но делит ложе с полковником Крекшиным. — Как обер-секретаря Святейшего Синода обвенчали с тринадцатилетней девочкой. — Аракчеев катает Пуколову на закорках у себя в приемной. — Лицейские в манеже. — Филипп Филиппович Вигель со своим любовником Ипполитом Оже. — Корнет Алексей Зубов. — «Лучшее шампанское — это водка! Лучшая женщина — это мальчик.» — Осень 1815 года

Вернувшись в четырнадцатом году из Франции, лейб-гвардии Гусарский полк квартировал постоянно в Царском Селе, не считая короткой отлучки, когда в пятнадцатом году в июне месяце полк снова выступил в заграничный поход против сбежавшего с Эльбы Наполеона, однако в октябре уже снова вернулся, так и не приняв участия в боевых действиях. Лейб-гусары стали неперменным знаком царскосельского пейзажа: их красный ментик и доломан с золотым шитьем мелькали на аллеях, как яркая грудка снегиря мелькает среди стаек других серых и пестрых птичек. Правда, вне строя им разрешалось носить простые двубортные кителя и фуражные шапки без козырьков с красными тульями и околышами синего цвета, но они предпочитали красивую парадную форму с высокими киверами. Особым шиком считался у них французский трофейный кивер, который был и выше, и шире нашего, и султан из петушиных перьев был у него подлиннее. В непогоду гусары накидывали широкие плащи из серого шинельного сукна со стоячим синим воротником даже поверх парадной формы.

Лейб-гусары стали украшением всех салонов, дневных и вечерних царскосельских гуляний и, наконец, просто обыденной жизни. Они носили награды, полученные на полях сражений, а поскольку наград было много, а на груди у кавалериста между краем мундира и лягуночной портупеей оставалось слишком мало места, то явилась среди них мода

делать их маленькие копии и носить на планке в виде наградного золотого или анненского оружия на левой стороне груди. Их полюбили матушки семейств, где были дочери на выданье, ибо все они были наследники богатейших состояний, по ним вздыхали сами дочери и молодые жены придворных, поскольку к богатству почти каждого из них почти всегда можно было приплюсовать и красоту, и стройность стана, и манеры.

Гусары порой были умны и образованны, но у аббата Николя воспитывался отнюдь не каждый, не каждый успел поучиться в Московском и Геттингенском университете, как, например, поручик Петр Каверин, однако почти все они принадлежали к богатейшему и образованнейшему классу, почти все они были чванливы, как вообще чванлив этот класс, и наивны, как наивна бывает молодость; развращенные войной и походной жизнью, царскосельские гусары славились своим беспутством, пьянством, цинизмом и наглостью. Их свобода в обращении, привнесенная из чужих краев и чужими учителями в их души, выражалась в нарушении всех приличий и общепринятых норм. Впрочем, как люди из общества, они хорошо знали, как и где этой свободой можно пользоваться, а где надобно и приличие соблюдать.

Гусары стали захаживать на экзамены лицеистов, а лицеисты наладились посещать манеж. Гусарская вольность многим лицеистам, отличавшимся серьезностью, претила, и они прекратили эти посещения; но Пушкин среди них чувствовал себя как рыба в воде. В манеж очень кстати зачастили и местные дамы, так образовалось на галерее в манеже некое место для встреч, вроде курзала на курорте. Манеж пах свежим навозом, лошадиным потом и дамскими духами со стойким и сильным запахом; в нем гулко раздавались команды, удары хлыста по крупам, нервное лошадиное ржанье, веселый гусарский посвист и дамский смех...

Поначалу в манеже занимались верховой ездой только эскадронами и по одиночке сами гусары, но потом разрешили и частные занятия для дам, а с лицеистами, по просьбе начальства, стал заниматься хвастливый полковник Дмитрий Иванович Крекшин и туповатый, но добродушный штаб-ротмистр барон Иван Федорович Кнабенау. Иногда появлялся и генерал-майор Василий Васильевич Левашов, командир лейб-гвардии Гусарского полка, человек весьма не-

приятный, принесший из Кавалергардского полка, где он служил прежде, все замашки фанфаронства, которыми этот полк отличался. Он был в большом фаворе у вдовствующей императрицы, которая звала его «черненькие глазки».

Левашова они знали хорошо, он присутствовал на их экзаменах при переводе в старший возраст и даже спросил одного из воспитанников что-то из истории. Здесь, в манеже, где он был в своей тарелке, генерал был снисходителен и весел. Он приветствовал лицейских обыкновенно по-французски:

— Bonjour, messieurs!

И покрикивал добродушно на неловких воспитанников.

Не таков был, как рассказывали, Черненькие Глазки с рядовыми гусарами, молодцами сплошь из Малороссии и Южной России, где говорили также на наречии почти малороссийском.

Однажды он приказал вахмистру, чтоб на другой день его эскадрон был собран в манеж, а сам уехал в Петербург. Вахмистр передал приказ эскадронному начальнику, но последний напомнил, что завтра великий церковный праздник и, стало быть, учений быть не должно. И тоже уехал. Вернулся Левашов прямо в манеж и не застал эскадрона. Он поехал домой и послал за вахмистром, которого приказал наказывать палками, пока сам обедал. Старика вахмистра засекли насмерть, он умер в лазарете. Вся гвардия возмущалась поступком Левашова, эскадронный начальник полковник Злотвинский вышел в отставку, а Левашов был по-прежнему в царской милости.

Полковник Крекшин, непосредственный учитель лицейских в верховой езде, был личностью еще более замечательной. Он завел любовную интригу с очаровательной госпожой Пуколовой, женой статского советника, теперь уже бывшего обер-секретаря Святого Синода Ивана Антоновича Пуколова. Само событие было бы ничуть не примечательным, мало ли у гусар было интрижек, если бы эта милая и очаровательная госпожа не была фавориткой всемогущего Аракчеева. Бывший обер-секретарь теперь был уволен от своей должности, но относился к жизни философски; Крекшин не мог сказать, какой тот был секты, верно, им самим придуманной; он ум и совесть считал товаром и продавал тому, кто больше даст денег; тело своей супруги также от-

пускал напрокат, но граф абонировал тело госпожи Пуколовой на бессрочное время. Крекшин за пуншем любил рассказывать, как им приходится обманывать старого дикобраза (так с любовницей они называли Аракчеева), используя время для свиданий, которое предоставлял ей ее собственный муж, делавший благодаря ей свою карьеру. Сам муж на досуге окончательно занялся, по его же словам, промышленностью: доставлением желающим табуреток и миндалий (табуретками господин Пуколов называл орденские звезды, а миндалиями — медали; табуретка стоила 10 000 рублей, а миндаля — 5 000).

Красавица Пуколова была с чуть раскосыми глазами, по матери калмычка, по отцу урожденная Мордвинова. Вернее, считалась урожденной Мордвиновой. Мать ее разъехалась с Мордвиновым через семь месяцев после свадьбы, а еще через пятнадцать лет он преставился. Однако у нее осталась тринадцатилетняя дочь. Со стороны законных наследников возникли претензии; они уверяли, что дочь незаконнорожденная, и не возражали против узаконенного права вдовы на седьмую часть имения и четырнадцатой части движимого имущества, но по закону требовали предоставить остальное имение им, как прямым и единственным наследникам. Мать надоумили обратиться к обер-секретарю Синода Ивану Антоновичу Пуколову, именно в Синоде решались подобные дела.

— Извольте, сударыня, — сказал обер-секретарь, — я согласен обладать делом, да только с условием.

Вдова вскрикнула в восторге:

— Сколько изволишь, батюшка, назначить, столько и будет!

Имение было в две тысячи душ.

Счастье шло Ивану Антоновичу в руки, и он ухватил свой хитрый ум в зубы.

— Выдайте за меня вашу дочь!

— Батюшка, помилуйте, ведь всего тринадцать годков.

— Ну, сударыня: либо рыбку съесть, либо на хуй сесть!

— Помилуйте, как вы можете такое говорить даме?

— Кому же это говорить, как не даме? Впрочем, как вам будет угодно, только без этого я не берусь обработать ваше дело. Решайтесь скорее, и я спущу ваше дело как по маслу. Скажу вам, что у меня теперь три бороды в горсти, — он

имел в виду членов Синода, — и я как хочу, так и поворачиваю, но еще два-три заседания, и бороды выскользнут у меня из горсти, как щеплята из западни. Торопитесь, надо ковать железо, пока горячо!

Через несколько дней Пуколова обвенчали с девочкой, да обер-секретаря Святейшего Синода обвенчали бы хоть с фарфоровой куклой. Мордвинова выиграла процесс.

Девочка быстро повзрослела, была нрава бойкого и держала своего мужа и теперешнего любовника, дикобраза Аракчеева, в ежовых рукавицах. Дикобраз души в ней не чаял, она стала всесильна так же, как и он. Генералы приезжали к ней с визитом и ждали ее выхода в зале. Через знакомство с ней можно было составить любую протекцию, потому что добиться любой государственной милости в свою очередь можно было только через кабинет вельможи. Вельможей в Петербурге называли Аракчеева. И только его одного. Как будто других вельмож не было.

Любимой в репертуаре полковника Крекшина была история, которую он называл: «Как граф Аракчеев лошадей служил».

Обыкновенно на дружеской пирушке кто-нибудь подначивал полковника:

— Расскажи-ка нам, брат Димитрий, как граф Аракчеев лошадей служил!

— А вот слушайте: лежим мы раз с Варварой Петровной... — начинал Дмитрий Иванович свой рассказ, и на этих словах всегда начинался смех, который уже не прекращался до самого конца истории, потому что как-то раз, когда он ее рассказывал, Пушкин на этих словах вставил:

— А между нами лежит граф!

Каверин продолжил:

— И храпит!

— Как лошадь, — давась от смеха, уточнил Молоствов.

— Гляжу я, — продолжил Пушкин, — а это и впрямь лошадь! Варвара Петровна, кричу я, а где же граф?

— Господа! — взмолился Крекшин. — Если не прекратите, я не буду рассказывать!

Надо сказать, что, рассказывая эту историю, он каждый раз сильно рисковал закончить свою службу где-нибудь на Кавказе, в армейском полку, но, как говорится, ради красного словца...

Аракчеев заезжал к госпоже Пуколовой обыкновенно после утреннего смотра или развода, часов в двенадцать. Варенька в это время еще нежилась в постели, едва отпустив от себя бравого полковника. Граф проходил через залу, где паслись в ожидании генералы, прямо к ней в будуар. Если она была в настроении, граф доказывал, что он мужчина, даже не разоблачаясь, и довольный собой покидал ее. Однажды они заспорили о каком-то военном предмете. Граф был совершенно уверен в своей правоте, но Пуколовой об этом предмете рассказал один из просителей, который, очень кстати, как она знала, находился в сей момент в приемной. У него и спросили. Пари держали *à discrétion*, что значило «без ставки», то есть каждый мог назначить любую цену. Граф хотел получить только то, за чем ездил, но в позе, которая госпоже Пуколовой претила, а его, наоборот, возбуждала без меры, однако выиграла пари Пуколова и в отместку графу решила подшутить над ним.

На глазах у всего генералитета граф Аракчеев вывез свою любовницу в одной батистовой рубашечке на закорках и с лошадиным ржанием провез ее по зале, сделав круг. Онемевшие генералы не знали, как себя вести. Раскрыв рты и затаив дыхание, они слушали, как стучат по паркету, словно копыта, подкованные графские сапоги и как подпрыгивают у графа на плечах розовые перси его наложницы.

И только один из них, на всякий случай, похлопал и тихо прокричал:

— Bravo!

Граф Аракчеев за смелость подмигнул ему и впоследствии выделял среди прочих.

Гусарам нравилась эта история, потому что она, кроме всего прочего, еще и несколько по-другому высвечивала характер графа, у которого была слава изверга и монстра и которым разве что детей не пугали. А шутка была на их манер, совершенно гусарская, хотя граф был из артиллеристов. Особую пикантность ей придавало то, что граф, по слухам, не умел ездить верхом.

— Сам не умеешь, вози других, — смеялся Крекшин.

Как-то манеж посетил забавный человек, Филипп Филиппович Вигель. Его черные, как смоль, раскаленные, как угли, глаза на круглом лице, обыкновенно лукавые, загорались адским пламенем, когда он смотрел на молодых длинно-

волосых корнетов и поручиков с серьгой в ухе. Эта мода, носить серьгу, пришла тогда с Кавказа и через казаков проникла к гусарам. Сам он серьги, разумеется, не носил, он был чиновником Московского архива Коллегии иностранных дел и, как человек чиновный, такой вольности допустить не мог. Оставалось удивляться, как вообще эта мода могла возникнуть, видно, виной тому была свобода, пришедшая вместе с военными из заграничного похода, где отпустили длинные волосы не только кавалеристы, но и армейские пехотные офицеры, и даже нижние чины, что объяснялось походными условиями жизни. Сохранялось еще в это время и парижское разрешение царя носить вне строя партикулярное платье. В Петербурге, где от военных мундиров раньше некуда было деться, теперь многие продолжали ходить во фраках и сюртуках.

Вигель стоял у барьера манежа с табакеркою в руках, которую он вертел, играя ею и особенным манером постукивая по ней, а взявши табак, как будто клевал по ней пальцами, как птица клюет клювом, когда готовился сказать что-нибудь колкое и забавное... Язык у него был остер.

Он привез с собой молодого француза в мундире подпрапорщика Измайловского полка, который вступил в нашу гвардию в Париже. Звали его Ипполит Оже, как говорили, он был на содержании у капитана своего полка.

Он часто, к слову и без такового, приговаривал:

— Мой капитан, мой добрый капитан!

При упоминании капитана Вигель обыкновенно надувал маленькие красные губки, и они превращались у него в вишенку, а в глазах загорался злой огонек. Впрочем, он мог бы и не ревновать, гвардейцы уже наигрались этой французской игрушкой, и молодой искатель счастья пошел по петербургским гостиным, где даже имел успех. Война окончилась, и на французов снова явилась мода.

Пушкин обратил внимание на Вигеля, но тогда случай не свел их, знакомство состоялось некоторое время спустя, но это уже другая история.

Ипполиту Оже сразу приглянулся молодой красавец корнет Алексей Зубов, томный, чуть с ленцой, но не лишенный французского остроумия, столь близкого и приятного Ипполиту, и молодых людей с тех пор часто видели вместе.

Оже, как и Зубов, стал носить серьгу, подкрашивать ресницы и брови, но вне службы и подальше от Петербурга, поскольку, узнай об этом великий князь Константин Павлович, шеф всех гвардейских полков, с изволения которого он был принят в гвардию, он оторвал бы ему серьгу вместе с ухом и выслал бы подпрапорщика вместе с оторванным ухом из Петербурга в одночасье.

Сегодня на галерее собрались чаще всего бывавшие в манеже Пушкин, Вольховский, как мы знаем, готовивший себя в военную службу, Пущин, Паяс Миша Яковлев, шалун Броглио, помешанный на лошадях, Дельвиг и еще несколько человек.

— Молоствов, Молоствов, поводьями не играй! — кричал Крекшин с середины манежа широкоплечему корнету, скакавшему по кругу.

Тот, улыбаясь и обращая свое сияющее здоровьем и счастливым духом лицо к лицеистам, собравшимся на галерее, выкрикнул: — Господа! Сегодня у Велио литературный вечер, кто-нибудь из вас приглашен?

— Пушкин с Дельвигом, — крикнул Яковлев. — И ваш покорный слуга! — поклонился Яковлев.

— Ну как без Пушкина! — смеясь, проскакал снова мимо них Молоствов. — Наследник Державина! Позвольте, господин штаб-ротмистр, спешиться? — обратился он к Дмитрию Ивановичу, придерживая лошадь. — Хочется поговорить с господами лицеистами, а то все лошади да лошади! В пору сам заржешь!

И он действительно заржал, вслед за ним захохотали и лицеисты.

Молоствов, спешившись, подскочил к Пушкину и обнял его:

— Сашка, талантлив, черт! С экзамена тебя уважаю. Старик Державин проснулся, ей-Богу, спал и проснулся, — обратился он к другим гусарам, подъехавшим к барьеру манежа. — Спал вечным сном и проснулся. Гений, кричит, дайте его обниму. А его и след простыл.

— К нему Жуковский приезжал, — вдруг сообщил Броглио Молостнову.

— Не удивляюсь, — сказал тот. — Скоро ко двору позовут, — добавил он полусшепотом. — А ты не ходи! — Он

опять захохотал. — Скажись больным, а сам к гусарам! Шампанское жрать. Знаешь, какое лучшее шампанское?

— Аи, — быстрее всех вылез Яковлев.

— Моэт! — добавил Броглио, которому тоже страшно хотелось показать свою осведомленность.

— Дети! — усмехнулся Молоствов, показывая на них своим друзьям гусарам, тоже подъехавшим к барьеру манежа.

— «Вдова Клико», — сказал Пушкин, рассматривая свои руки. С недавних пор он стал следить за ногтями, ухаживал и обтачивал их пилочкой.

— Ну? — спросил остальных Молоствов. — Кто еще?

— «Вино кометы»! По комете одиннадцатого года, — деловито дополнил Дельвиг.

— Не спорю, все отменные сорта, но запомните, господа, лучшее шампанское — это водка!

Он переждал, когда смех немного стихнет, и продолжил совсем уж неожиданно:

— А лучшая женщина — это мальчик! — И он, хохоча, обнял Пушкина, тиская за плечи. — Каверин, я не прав?! — крикнул он выехавшему на манеж гусару.

— Не знаю, о чем ты, но, верно, прав! — крикнул Каверин.

Последнюю шутку услышал Вигель, сложил яркие губки в улыбку-вишенку и неожиданно причмокнул.

А Молоствов взял руку Пушкина в свою широкую ладонь и, рассматривая ее, сказал:

— Посмотрите, какие руки! Это руки поэта!

Пушкин почувствовал себя неуютно от такого внимания, но все же улыбнулся.

— Пусти руку, ноготь сломаеть! — сказал он гусару.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

в которой Пушкин знакомится с графом Федором Ивановичем Толстым, прозванным Американцем, слушает его рассказы и рассматривает вместе с другими гостями его татуировки. — Граф Толстой-Американец принимает приглашение гусара Молостова на дружескую пирушку. — Русская горка, шампаня и канарейки по вкусу для удовлетворения плотских желаний. — Барон Дельвиг пытается соблазнить мадемуазель Шредер. — Зима 1815—1816 года

Среди множества гостей у вдовы банкира Велию Софьи Ивановны, урожденной Севериной, отец которой тоже был банкиром и давнишним постоянным жителем Царского Села, были и некоторые лицеисты. Миша Яковлев беседовал с Горчаковым, когда к ним подошел Пушкин и заговорщицки сообщил:

— Видите того курчавого, с красным лицом господина...

— С седыми волосами?... — уточнил Яковлев.

— Да. Это граф Толстой-Американец! Алеут!

— А это кто? — поинтересовался князь Горчаков. — Из каких Толстых? И почему алеут?

— Я уж не знаю, из каких именно Толстых, но этот граф Толстой — известный бретер!

И Пушкин рассказал друзьям все, что ему было известно от Молостова.

Граф Федор Иванович начинал службу в Преображенском полку, потом за дуэль был разжалован, переведен в другой полк, снова выслужил офицерский чин, снова хотели его разжаловать, но предоставился случай отправить его в кругосветное путешествие с Крузенштерном. Однако молодой шалопай не мог остановиться, он так довел капитана, что тот в наказание за шалости ссадил его с корабля на Алеутских островах, где он провел год или два среди аборигенов. С ним, по рассказам, ссадили на берег и его большую обезьяну, которая перевернула все вверх дном на корабле; по слухам, он эту обезьяну съел с голодухи на острове, пока его не подобрал аборигены, но граф всегда отрицал это. Он никогда не отрицал, что убил несколько человек на ду-

элях, но история с обезьяной приводила его в бешенство. Говорили, что кого-то он убил только за вопрос об этой обезьяне. Вернувшись в Петербург через Сибирь, он снова принялся за старое: пил, кутил, играл в карты, приговаривая, что «только дураки играют на счастье».

— Молоствов просил меня быть осторожней на язык с графом, — добавил Пушкин. — И обещал познакомить, — с гордостью сообщил он.

— Может, не стоит? — усмехнулся князь Горчаков.

— Почему? — удивился Пушкин.

— Потому что, как показывает практика, стреляются обыкновенно хорошо знакомые люди...

— А-а! — махнул рукой Пушкин. — Как любит говорить наш Казак: Бог не выдаст, свинья не съест!

— Вот уже, — взмахнул рукой Яковлев, — повод для дуэли.

В это время раскрылись двустворчатые двери в столовую. Хозяйка дома Софья Ивановна Велио подошла к окруженному дамами Федору Толстому, прозванному Американцем, и пригласила его в паре с ней проследовать в столовую. Он взял ее за руку и повел в столовую. Сестры Велио тоже направились к гостям, причем Софья пригласила Александра Пушкина.

— Мне так приятно пригласить вас. Разрешите, я буду звать вас Сашей?

— Почту за честь, сударыня, — сказал польщенный Пушкин и проследовал с ней в столовую.

— Во! — сказал Миша Яковлев. — Француз пользуется успехом.

— Ничего удивительного, — сказал князь Горчаков. — Все Царское поет романсы на его стихи. А сестры каждый день занимаются музыкой со своим дядюшкой Теппером де Фергюсоном.

— Наш учитель музыки ее дядюшка? — спросил Яковлев. — С какой стороны?

— Его жена Жанетта Ивановна — родная сестра хозяйки, госпожи Велио. Их отец Северин, тоже банкир, как и покойный зять его придворный банкир барон Иосиф Велио...

— А-а... — покачал головой Яковлев. — Как же ты про всех все помнишь?

— Память хорошая, — улыбнулся Горчаков. — Светскому человеку должно все помнить...

В гостиной почти не осталось гостей.

— Этак мы с тобой, князь, без обеда останемся, — сказал Яковлев. — О-о! — показал он кивком головы. — Барона повели... Сейчас скушают...

Действительно, одна из дам, длинноносая мадемуазель Шредер, гувернантка сестер, вела барона Дельвига, плотно улыбаясь ему и получая взамен его смущенную улыбку.

Обед близился к концу, лакеи довершали одну из последних перемен кушаний.

Граф Федор Иванович Толстой сидел во главе стола рядом с хозяйкой. В соседстве с белоснежной скатертью и салфетками особенно выделялось его медно-красное лицо, как бы с навечно прилипшим тропическим загаром, обрамленное сверху черными с проседью, кучерявыми волосами. Пушкину, который не сводил с него глаз, даже показалось, что в графе тоже есть что-то африканское, отчего он почувствовал к нему симпатию.

Толстой бросил в тарелку смятую салфетку и довольно откинулся на спинку стула.

— Федор Иванович, голубчик, — обратилась к нему хозяйка, — потешьте гостей моих, покажите дамам свою грудь и руки, все так хотят посмотреть на ваши татуировки... Неужели и вправду вам сделал их сам алеутский король?

— Король этот был совершенный дикарь: он мог только плясать да таращить глаза, а татуировки у него делал главный визирь, если так можно выразиться, тоже, разумеется, дикарь, но ученый... А короля я обучил, как собаку. Я ему палку в воду кидал: пиль апорт! А он плавал и в зубах на четвереньках мне преподносил... Плавал он хорошо.

Дамы рассмеялись.

— Так что, уезжая, я оставил на островах ученого короля. Если дамы желают, я с удовольствием покажу им искусство алеутов.

— Желают, — сказала ему хозяйка.

— Покажите, Федор Иванович, — мечтательно вздохнули другие дамы.

Федор Иванович, очень довольный просьбой дам, начал расстегивать свой черный сюртук. Когда он распахнул его, у

него на груди показался большой образ, в окладе, святого Спиридония, патрона всех графов Толстых, который Американец носил на груди. Положив его бережно перед собой на стол, он отстегнул запонки рубашки, открыл свою грудь и выпятил ее вперед.

Все за столом привстали с мест и стали внимательно разглядывать ее: вся она сплошь была татуирована. В самой середине сидела в кольце какая-то большая пестрая птица, нечто вроде тукана или попугая, в орнаменте из красно-синих закорючек... Дав зрителям насладиться этим видом, он спустил с себя сюртук и засучил рукава рубашки: обе руки его тоже были татуированы, их кругом обвивали змеи и какие-то дикие узоры...

Дамы охали и ахали без конца и с участием спрашивали:

— Вам было очень больно, граф, когда эти дикие вас татуировали?

— А чем они проковыряли узоры?

— Иголками, — отвечал граф. — Вот такими длинными иголками.

— Ах, какая страсть! Насквозь?

— Да нет же, только кожу колют, — пояснила одна дама другой.

Граф засмеялся и закончил, опуская рукава рубашки:

— Когда при Бородине меня ранило в ногу, это было много больнее... Впрочем, это еще далеко не все, — показал он на грудь. — Когда мы с господами выйдем после обеда покурить, там у вас в диванной, я покажу всю живую картину. В некоторых местах она даже двигается. Но это только для кавалеров, — уточнил, улыбаясь, он.

— А для дам не двигается? — наивно поинтересовалась одна из дам.

— Для наших дам она даже может заговорить! — улыбнулся граф Толстой.

— Неужели? — Вопросившая дама даже задохнулась от восторга, ее охватившего.

Пушкин понимающе переглянулся с сидевшим рядом с ним Горчаковым.

— Надеюсь, граф, вы нам расскажете какие-нибудь подробности из вашего пребывания среди дикарей, — сказал Молоствов, во все глаза смотревший на знаменитого кути-

лу и бретера, коего хотел бы иметь примером для себя и своих друзей.

Хотя Софья Ивановна была вдовой, место для мужского отдыха сохранялось ею в неприкосновенности с мужниных времен, тем более что старший сын ее, Иосиф, корнет Конногвардейского полка, в свои частые наезды домой из Петербурга, где квартировал полк, всегда отдыхал с друзьями в диванной. В воздухе витал стойкий, неистребимый запах табака.

Сейчас здесь первенствовал граф Федор Иванович, как привык он первенствовать всегда и везде, где бы ни находился. Он был совершенно гол, исключая и подштанники, и стоял прямо посередине диванной с длинной сигарой в руке, а вокруг него расположилась мужская часть гостей, среди которых присутствовали и лицеисты, кутившие, как и все, сигары. Табачный дым висел коромыслом. Хоть топор вешай.

— С дядюшкой вашим, Василием Львовичем, мы большие друзья, старинные, в Москве он постоянно рассказывает о ваших успехах, — говорил Толстой Пушкину, полубернувшись через плечо.

— Да какие успехи, граф! — отмахнулся Пушкин.

— Успехов может и не быть, а гордость дядюшкина есть. Князь Петр Андреевич Вяземский очень ценит ваши стихи, мне показывал «Воспоминание...» Замечательно, сколь я могу судить своим непросвещенным взглядом...

— Граф, простите, — спросил один из гусар, плотно окружавших его и рассматривавших татуировку, — а что означает сия фигура?

— Сия фигура означает диковинного зверя, которого туземцы почитают за своего прародителя! Этот зверь сочетался браком с туземной женщиной, съев ее мужа, и от этого брака произошло все племя! — очень вежливо отвечал граф и продолжал разговор с Пушкиным: — Мы с Петром Андреевичем необычайно близки, еще с тех пор, как он женился на сестре моего близкого друга князя Федора Федоровича Гагарина...

— Это знаменитый «tete de mort»? — спросил все тот же любознательный гусар.

— Да, Федю прозвали «Адамова голова»... За удобу.

— Так это тот... — начал было гусар, но не успел закончить, потому что Толстой-Американец перебил его:

— Тот самый, адъютант Багратиона... Но вы, корнет, мешаете моему рассказу, а я этого не люблю...

— Я хотел только спросить...

Молодой человек хотел спросить только, правду ли говорят, что Федор Гагарин доставил Наполеону перед Бородинским сражением два фунта чаю и был отпущен, выиграв таким образом заключенное с другими офицерами пари, но его резко одернули, не дав договорить, его же товарищи и оттерли на задний план, а Толстой снова обратился к Александру Пушкину:

— Вы не знакомы с князем Петром Андреевичем?

— Нет еще...

— Славный малый. На Бородинском поле под ним были убиты две лошади! Знай наших! Мы все «пробочники»! И дядюшка ваш, и наш знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов, и князь Вяземский... Правда, «пробочник» номер один Денис, а я — номер два! Я уступаю в пьянстве пальму первенства нашему Денису, без всякой обиды. Здесь мы частенько собираемся на «чердаке» у князя Шаховского, с которым я служил в Преображенском полку, еще до моего первого разжалования...

— А сколько же у вас их было, Федор Иванович? — спросил Молоствов.

— Не помню. Вероятно, по числу дуэлей... — Ему нравилось и льстило такое внимание молодежи.

— Предлагаю закончить столь приятный вечер дружеской пирушкой у меня на квартире! — пригласил всех Молоствов. — Надеюсь, Федор Иванович составит нам компанию?

— Составит. Федор Иванович составит. Любимое занятие Федора Ивановича — это предаваться пьянолению, — сказал Толстой. — А в пьянолении — болтопьянию! И картишки, разумеется, картишки, господа! Что предпочитаете, квинтич, гальбе-цвельве или русскую горку?

— Русскую горку, — ответил кто-то.

— Горку так горку, я тоже патриот. И шампанеи, непременно шампанеи поболее: бутылочек двадцать—тридцать! Ящичек один-другой... А потом, может быть, среди вас найдется кто-нибудь, кто составит мне компанию в штосс? — И он без закуски опрокинул рюмку водки. — Не побойтесь

понттировать против меня после ящика шампанского? А-а, господи?!

— Разумеется, не побоимся, граф! Составим! Почтем за честь! Прокинем две-три талии! — раздалось сразу несколько голосов.

— Отчего ж только две-три?! Я долго играю. И много выигрываю, — захохотал он заливисто. — Ну что ж, если вы готовы — тогда немедленно одеваться! — Говорил Толстой крупно, отчетливо и зернисто, речь его была настоящая, природная, русская, и это особенно нравилось молодому Пушкину, который чувствовал к этому человеку сильное влечение.

— Только непременно надо захватить канареек, у кого-нибудь есть канарейки?

— Как не быть, граф?! — сказал один из гусар. — Гусар без канарейки!

— Ну что ж, шампанея, картишки и канарейки — дело пойдет! — улыбнулся граф Толстой.

— А что за канарейки? — шепотом поинтересовался князь Горчаков у Яковлева.

— Крепостные одалиски, для удовлетворения плотских желаний, — деловито пояснил тот.

— Да? — удивленно поднял брови обыкновенно невозмутимый князь.

— Многие держат...

А в это время на диванчике в гостиной, прижатый к самой спинке длинноносой мадемуазель Шредер, млел барон Дельвиг.

— Вы такой мягкий, домашний, уютный, — говорила француженка, глядя ему в глаза. — И, по-моему, добрый...

— Да, — согласился барон. — Это мне всегда говорит и мама, и тетя...

— Они навещают вас? — продолжала расспрашивать мадемуазель Шредер.

— Конечно...

— Но не часто? Вам, наверное, одиноко?

— Да, мадемуазель. Немного теплоты не помешало бы. Я считаю, вы... Вы, мадемуазель...

— Что? — вздрогнула Шредер. — Что я?

— Вы удивительно поняли меня, удивительно все почувствовали... Вам, должно быть, тоже одиноко здесь, вдали от родины? — Он осторожно сжал ее руку.

— Да, — прошептала гувернантка, и на глазах у нее вернулись непрошеные слезы. — А вы любите танцевать? — спросила она барона Дельвига.

— Очень люблю, — отвечал тот, — но не в обществе и не на бале, а дома один или с сестрою...

— Как мы похожи, — вздохнула мадемуазель Шредер.

— Мы могли бы увидеться, — намекнул барон, стараясь придать голосу как можно более проникновенные нотки.

— Что вы такое говорите! — прошептала, вздрогнув, стареющая девушка и, словно испугавшись, что он пойдет на попятную, быстро добавила: — Где?!

Барон наклонился к ней и что-то прошептал на ухо.

Она взглянула на него — ее большие темные глаза были полны ожидания, страха и любопытства. Она кивнула утвердительно.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

в которой гусары едут в Париж. — Жуковский — заговорщик, а Пушкин — генерал. — Декорация Гонзаго в снегу. — «Поворотись-ка, милая!» — Зима 1815—1816 года

В квартире у Молостова гуляли всю ночь. Гусары сидели, отвязав ментики и расстегнув верхние крючки доломанов, некоторые даже сняли их вовсе и остались в белых рубашках. Двое спали на большом кожаном черном диване, а на коленях у них угнездилась едва прикрытая канарейка, крепостная девушка для плотских утех.

У всех было состояние тупой сонной тоски и скуки, которую надо было разогнать, но никто не знал как.

— Жаль, что граф нас покинул! — сказал один гусар, из все еще сидевших за столом с бокалами, но другой ему возразил:

— Не жаль, а слава Богу! Я и так гол как сокол остался!

— Вольно же тебе было играть с ним. Граф — едва ли не первый игрок в двух столицах.

Молостов сидел с молоденьким корнетом, недавно принятым в полк.

— Граф уехал, — печально сказал тот, — скоро утро, полк стоит в Царском, и никакого похода не ожидается. А Царское хоть и Царское, но провинция!.. Россия! Как хочется за границу!

Молоствов вдруг подскочил в своем кресле.

— Бьюсь о заклад, что через полчаса я отвезу тебя в Париж! — неожиданно предложил он.

— В Париж? — спросил тот.

— Да! В Париж! — твердо повторил Молоствов. — На Монмартр!

— Что-то я не понимаю, — пьяно обиделся молоденький корнет и стал озиаться по сторонам. — Это шутка, Памфамир?! Я не был в Париже, не довелось, но, позвольте, зачем же так шутить?

— Да не шучу я! — обнял его Молоствов. — Поедем, Мишенька! Едем! Вставайте! — вскочил он на ноги.

— Нет, я не понимаю, отсюда никак невозможно в полчаса попасть в Париж! Ты смеешься надо мной! Я не настолько пьян!

— Ну и черт с тобой! Кто желает в Париж?!

— Я с удовольствием! — поднялся один из гусар, подошел к дивану и похлопал лежавшую девушку по приоткрывшемуся задку. — И канареек возьмем! Вставай, милая! Девочки, хотите в Париж? — обернулся он в другой угол, и из полутьмы большой комнаты отозвались на его призыв:

— Хотим, барин. Ой, как хотим!

— Кто еще желает в Париж? — закричал гусар.

— Я! — возник из другой комнаты Пушкин, ведя с собой одну из канареек. — Но только с Катенькой.

— Охота вам связываться с бабами! — сказал Молоствов. — Кто же бабу в Париж тащит? Это все равно что в Тулу со своим самоваром. Там есть для этого француженки, они дело свое знают...

— Ну, тогда и я тоже хочу, господа! — присмотревшись ко всем, запросился молоденький корнет. — Возьмите меня! Я вам верю! Я никогда не был за границей!

— Пушкин, иди сюда, мы только тебя и ждали, — позвали его из одного закутка, где за сложенным ломберным столиком выпивали двое собутыльников, — рассуди нас, милый. В Петербурге ходят слухи, что литераторы создали тайное общество и даже кого-то загода хоронят. А во главе этого общества поэт Жуковский. Правда ли это?

— Какая гиль! — рассмеялся Пушкин. — Жуковский заговорщик?! А, Катенька? Ты веришь?

Он пощекотал девушку.

— А кто такой Жуковский? — спросила она, хлопая длинными ресницами.

— Генерал. От поэзии, — пояснил Пушкин и расхохотался. — Как и я!

— А вы разве генерал? — удивилась девушка.

Тройки с гусарами неслись в заснеженных полях по накатанной, освещенной серебряным лунным светом дороге. Рядом с каждым гусаром, который правил лошадью, сидел бородатый ямщик с зажженным факелом. Ямщики были лихие, всегда нанимаемые гусарами для потех. Они любили это дело, всячески угождали барам, порою только посмеиваясь в густые бороды при виде их шалостей. Мужик, попавшийся в ранний час навстречу, с испугу загнал свою лошадь с телегой в сугроб на обочине дороги, а потом долго смотрел столь странному поезду вслед.

Уже светало, когда гусары прибыли к Павловской декорации 1814 года на нескольких тройках, обнимая своих одалисок. Пушкин тоже обнимал Катеньку, грея руки под ее шубкой. Гусары гурьбой, под предводительством Молоствовва, вывалились в снег и побрели, утопая в нем по колено, к несколько обветшавшему под непогодой и солнцем нарисованному летнему Монмартру с ветряными мельницами. В высоких киверах с султаном из петушиных перьев, в красных расшитых доломанах с ментиком, перекинутым через левое плечо, отороченным серой крымской мерлушкой, с золотыми галунами и бахромой, в голубых парадных чакчирах с выкладкой «гусарским узлом», с болтающимися ташкой и саблей в ножнах, они смотрелись на снегу как яркие заморские цветы. За ними два денщика тащили ящик с шампанским и корзину с фруктами.

Но Пушкин не вылез вместе со всеми, а всерьез занялся молоденькой канарейкой, распахнув ее полушубок. От ее тела исходил такой жар, что казалось, плавится вокруг морозный воздух. Он притянул ее к себе за поясицу, она умело отклонялась, выгибая стан ему навстречу. Бородатый

ямщик спрыгнул с облучка и, хлопая рукавицами, побрел в сторону от саней, посмеиваясь в усы.

— Господа, пожалуйста в Париж! — кланялся Молоствов, идя впереди всех. — Осталось совсем немного. Мы были в нем два раза, пожалуйста в третий! Бог троицу любит!

— Смотрите-ка! — восхищался молоденький корнет. — Какая большая картина! Это Монмартр? Ведь это Монмартр? — дергал он остальных. — Я видал его на гравюрах.

Молоствов тем временем вытащил саблю и, приблизившись к великолепному полотну живописца Гонзаго, рассек его, потом ударил еще раз по холсту, еще и прорубил перед собой проход.

— Вперед! — сказал он сам себе и нырнул головой вперед.

За ним со смехом последовали другие, протаскивая одалисок. Последний выглянул в дыру и закричал:

— Пушкин, где ты?! Давай в Париж! Ты упускаешь свое счастье!

Пушкин на мгновение оторвался от губ своей голубки, посмотрел на освещенную восходящим солнцем декорацию и сказал тихо:

— Не упускаю! Пусть я никогда не буду в Париже! Ну-ка, поворотись-ка, милая!

Лошади его тройки заржали, переступая с ноги на ногу.

За декорацией оказались ледяные горы и прозрачные ледяные фигуры. Гусары расположились в ледяных креслах за ледяным круглым столом, стали снимать короткие, едва достигающие до середины икр сапоги, в которые набился снег, и вытряхивать их.

Денщики накрывали на стол. Явились яства, шампанское, приборы и хрусталь.

Хлопнули пробкой первой бутылки.

— А если появится государь? — спросил кто-то осторожно.

— А если появится государь, мы его пригласим к столу, — пояснил Молоствов. — Но во дворце свет горит пока только в службах, значит, спят-с!

Пока разливали шампанское по бокалам, в проеме декорации появился Пушкин.

— Ты куда дел свою Катеньку? — спросил его Молоствов.

— Спит, — сказал тот и засмеялся счастливо во весь голос. Он подпрыгнул и подтянулся на перекладине конструкции декорации. Раз, два, три...

— А все-таки, Пушкин, тайное общество есть, — закричал ему гусар, который не договорил с ним на квартире.

Пушкин в несколько прыжков подскочил к нему:

— Есть! Называется оно «Арзамас»! И там хоронят «Беседу»!

Он лег навзничь на стол, сложил руки на груди и закрыл глаза. Потом снова открыл глаза и сказал гусару:

— Но об этом — ни-ни!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

в которой рассказывается история общества «Арзамас».

— «Липецкие воды, или Урок кокеткам». —

Соперничество Вигеля и графа Уварова в обольщении юношей. — Новые имена арзамасцев. — Жареный гусь и гусятница. — Стихи Пушкина на проезд государя. —

Камеражи Пушкина. — Старый конь борозды не испортит. — Зима 1815—1816 года

Общество это в самом деле называлось «Арзамасом», образовалось оно еще осенью 1815 года. Как и многое в этой жизни, случайно. Начало ему было 21 сентября, на святителя Димитрия, митрополита Ростовского, в день обретения его святых мощей. В этот день обыкновенно праздновали свои именины двое друзей: Дмитрий Васильевич Дашков и Дмитрий Николаевич Блудов; на сей раз собрались у последнего. Среди приглашенных на званый обед был и Филипп Филиппович Вигель. Обед был литературский, без дам. Жуковский прибыл с Тургеневым, который поселил его у себя и всячески обхаживал и обласкивал, не отпуская ни на шаг. Были Уваров, Иван Андреевич Крылов, любивший хорошо откусать, Николай Гнедич, знаток греческого.

Явилась вдруг за обедом в тот день афишка, которая вешала, что 23 сентября состоится первое представление новой комедии князя Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием: «Липецкие воды, или Урок кокеткам». Кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим пред-

ставлением; все изъявили согласие, кроме двоих членов олеинского кружка, Крылова и Гнедича. Гнедич до сих пор, по всегдашней своей привычке болтавший без умолку, вдруг как-то странно хрюкнул, словно подавился, когда сообщили, что надобно идти в театр, поправил свой вечный платок на шее и умолк; Вигелю тогда еще показалось, что он что-то знает, но он не придал этому значения. Даже тогда, когда Гнедич засобирался, а Василий Андреевич останавливал его своим ласковым:

— Гнедко, ты куда, милый?

Жуковский всегда звал кривого поэта этой ласковой лошадиной кличкой. Гнедко пожал плечами, нервно подмигнул единственным глазом и пробормотал в ответ что-то невразумительное. Как потом выяснилось, и Крылов, и Гнедич действительно знали о памфлетном характере комедии Шаховского и тихо ретировались после обеда, чтобы не оказаться замешанными в скандале. Так что всегдашняя наблюдательность и на этот раз Вигеля не подвела.

Крылов встал из-за стола предпоследним, облизывая руки и показывая лакею на остатки блюд, которые тот должен был ему подносить:

— Нет, господа, это еще не решено, что лучше: солони-на горячая или холодная!

Во всяком случае, для Ивана Андреевича вопрос о солонине был более важным, чем все литературные баталии, от обсуждения которых он всегда старался уклоняться.

Последним из-за стола вывели Тургенева на подгибавшихся ногах, который, наглотавшись всех кушаний подряд и без разбору, до конца обеда уже мирно дремал, не выходя из-за стола. Его довели до дивана, где он, свалившись, проспал еще с полчаса, сотрясая храпом всю гостиную. Наконец его разбудили, чтобы он вез Жуковского домой.

Театр бурлил еще задолго до начала. Пришедшие за рубль в партер теснились плотной толпой и к началу представления так надышали, что в креслах с первых минут пришлось отираться платками, такая стояла духота.

В третьем ряду кресел собрались Александр Иванович Тургенев, Жуковский, два Димитрия, Дашков и Блудов, прилепившийся к обществу Степан Жихарев и Филипп Филиппович, который весь этот выход и затеял.

Комедия была веселая, достаточно затейливая, к тому же написанная хорошим слогом, но в жалком воздыхателе

поэте Фиалкине все сразу узнали Жуковского и обиделись за него. Пьеса имела шумный успех, в тот же день Шаховского на празднестве в доме гражданского губернатора Бакунина венчали лавровым венком, а Крылов, на другой день встретив Вигеля, подмигнул ему и сказал с коварной улыбкой:

— Что ж, насмешники на его стороне!

На что Вигель повторил шутку Блудова, которую тот сказал, выходя после представления из театра:

— Он сотворил сухие воды.

Жуковский не обиделся, остался равнодушен к сатире, хотя друзья и опасались за него. «Брань на вороту не виснет», — сказал он. Но в рядах приверженцев Карамзина и Жуковского, ненавистников «Беседы», поднялась страшная буча. Взволновалась Москва, едва получив списки пьесы. Князь Вяземский бушевал, извергая эпиграммы, Василий Львович буйствовал, Карамзин улыбался и советовал в письме Тургеневу, чтобы Жуковский отвечал только новыми прекрасными стихами, не обращая ни на кого внимания. Батюшков, который снова был на службе, в Каменец-Подольском, при генерале Бахметеве, узнав о событиях петербургских, подумал, что Шаховской, которого он хорошо знал, дал бы себя высечь, лишь бы его похвалили Карамзин и Жуковский, а уж коли не хвалят, так чего же ему делать — надо бранить.

Первым решил действовать Уваров, он давно ждал случая погромче заявить о себе. Одно время служивший по дипломатической линии в посольстве в Вене, затем перед самой войной секретарем посольства в Париже, он, женившись на перестарке, дочери вельможи Алексея Кирилловича Разумовского, министра просвещения, влюбленной в него давно и беззаветно, получил вместе с богатым приданым и место попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. Вигель, завидовавший всем и вся, говорил, что она старше его на двенадцать лет, хотя на самом деле разница была всего в три года, но девушка была так старообразна, а он так моложав, что были все основания злословить. Впрочем, у Филиппа Филипповича была вторая, и главная, причина так злословить, о которой он предпочитал помалкивать: Уваров, как и он сам, интересовался молодыми мужчинами

и был ловок в искусстве их обольщения, что доставило его сопернику Вигелю немало неприятных минут.

Уваров из всех сил рвался в литературу, намереваясь занять в ней надлежащее место, но одной полемики с Гнедичем и Капнистом о том, каким стихом, александрийским или гекзаметром, лучше переводить Гомера, когда Гнедич затеял перевод «Илиады», для занятия в ней места было явно недостаточно. Литературное общество подходило для этой цели как нельзя лучше.

В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на Малую Морскую вечером 14 октября. В его большой библиотеке на столе стояла чернильница, лежали приготовленные перья и бумага, вокруг стояли стулья: ни дать ни взять присутственное место. Хозяин прочитал речь, в которой предложил присутствующим составить из себя общество *Арзамасских безвестных литераторов*...

Каждый присутствующий получил новое имя, взятое из баллад Жуковского: Дашков стал Чу!!!, Блудов — Кассандрой, Уваров — Старушкой, Жихарев — Громобоем, Тургенев — Золовой Арфой, Жуковский — Светланой.

Президентом выбрали Старушку (о чем Уваров мечтал), Светлана стала секретарем общества. Всех членов общества стали именовать «Их Превосходительства гении Арзамаса».

Все это случилось, как было написано в первом протоколе : «В лето первое от Липецкого потопа, в месяц первый от Видения, по обыкновенному летосчислению 1815 года, месяца Паздерника в 14 день...»

Очень скоро благодаря неистощимым затеям Жуковского, его восторженной галиматье, которую он самозабвенно нес, совершенствуясь от заседания к заседанию, «Арзамас» сделался пародией в одно время и ученых академий, и ма-сонских лож, и тайных политических обществ...

Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем общества Жуковским-Светланой, что уже сильно располагало всех к веселью. Каждый вновь принятый член обязан был прочитать поминальную речь о покойнике, а поскольку сами члены общества были бессмертны, то покойника брали напрокат в державинско-шишковской «Беседе любителей русского слова». По разумению арзамасцев, там все давно были

покойники. Оканчивался каждый вечер вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому неизвестна в России слава гусей арзамасских; эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем родины их названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением собирался украсить герб общества...

Жуковский любил гусиные гузки и всегда требовал, чтобы их отрезывали только ему, как секретарю общества безвестных литераторов, ибо он непременно должен оставить их при бумагах собрания.

Вскоре Жуковский снова прибыл к императрице Марии Федоровне и посетил лицейского Пушкина. Пушкин пошел его провожать в Павловск, где Жуковский затащил его на ферму, и они пили свежие сливки, ели творог совершенно бесплатно, как все посещавшие ферму.

— Любому человеку известно, что авторы не охотники до авторов. И поэтому Шаховской не охотник до меня, — объяснял Жуковский Саше Пушкину, запивая свои сентенции свежими сливками из кринки. — Ну, захотелось ему написать комедию, а в ней посмеяться надо мной. А друзья за меня заступились. Дашков написал жестокое послание к новому Аристофану; Блудов написал презабавную сатиру «Видение в какой-то огаде», а Вяземскому сделался понос эпиграммами...

Он улыбнулся, смотря, как молодой Пушкин хохочет над его словами и льет сливки из кринки себе на сюртук.

— Меня тоже пронесло, — сказал он с улыбкой Жуковскому, когда отсмеялся, и стал отряхиваться.

— Да? И чем же? Прочитайте-ка, милый друг...

— Извольте, Василий Андреевич:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

Жуковский радостно и совершенно по-детски рассмеялся.

— Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу...

— А не обидно ли молчать? — спросил Пушкин. — Я бы не смолчал, каждый бы должок отдал.

— А по мне, лучше было бы, когда бы и все молчали. Город разделился на две партии, и даже французские волнения забыты при шуме парнасской бури. Меня все эти глупости еще более привязывают к поэзии, которая независима от близоруких судей и довольствуется сама собой...

— Шаховской — посредственный стихотворец, не имеет большого вкуса, наконец, просто худой писатель... Неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах, придя домой, все записывает и потом как ни попало вклеивает в свои комедии, — горячился Пушкин, ему было непонятно несуетное расположение духа Жуковского. — Он написал «Нового Стерна»: холодный пасквиль на Карамзина. Он написал водевиль «Ломоносов»: представил отца русской поэзии в кабаке и заставил его немцам говорить русские свои стихи, к тому же растянул на три действия две или три занимательные сцены...

— Бог с ним! — махнул рукой Жуковский и отдал пустую кринку молочнице, стоявшей рядом и с улыбкой непонимания внимавшей их беседе. — Поговорим об нас, мой дорогой! Мне в последнее время плохо пишется. С тех пор как приехал сюда. Вероятно, петербургский климат не здоров для меня, я чувствую, как моя поэзия вянет здесь, но мы, литераторы, вынуждены писать даже тогда, когда нет вдохновения.

— Я как раз хотел вас спросить, Василий Андреевич, — обратился к нему Пушкин. — Иван Иванович Мартынов, куратор Лицея, заказал мне стихи на приезд государя императора из Парижа...

— И что ж? — поинтересовался Жуковский.

Пушкин замялся.

— Туго? — спросил Жуковский.

— Туго, Василий Андреевич, — кивнул лицеист.

— Привыкнешь. Я вот уже написал «Песнь русскому царю от его воинов»... Главное — это искренность, а не расчет на награду.

— Ну вот, а сами говорили мне: держись подальше от двора, от большого света!

— И сейчас могу повторить, но сам я, может, по слабости характера, может, по обстоятельствам, не могу придерживаться столь очевидных мне истин. Мне надобно бежать, а я все приближаюсь и приближаюсь... Как мотылек на огонь, того и гляди опалю крылья.

— Ну что ж, — вздохнул Пушкин, по-своему поняв его, — попробую еще раз. Авось получится?

Через некоторое время, закончив стихи, Пушкин у себя в комнате, стоя перед конторкой, написал письмо Мартынову:

«Милостивый государь Иван Иванович!

Вашему превосходительству угодно было, чтобы я написал пиэсу на приезд государя императора; исполняю ваше повеленье. Ежели чувства любви и благодарности к великому монарху нашему, начертанные мною, будут не совсем недостойны высокого предмета моего, сколь счастлив буду я, ежели его сиятельство граф Алексей Кириллович благоволит поднести его величеству слабое произведение неопытного стихотворца!

Надеюсь на крайнее Ваше снисхождение, честь имею пребыть, милостивый государь,

Вашего превосходительства
всепокорнейший слуга
Александр Пушкин.

1815 года

28 ноября.

Царское Село».

Он посмотрел на листок, взяв его за два конца, пошелестел им в воздухе, чтобы чернила просохли, потом подхватил другой листок с перебеленными стихами и выскочил в коридор.

В пустом учебном классе возле кафедры он показал письмо и стихи Николаю Федоровичу Кошанскому.

Кошанский дочитал стихотворение, удовлетворенно кивнул сам себе, пробежал глазами письмо, взял перо и молча зачеркнул в письме «его величеству», надписав сверху: «гос. им.»

— Поправьте, господин Пушкин, «государю императору», перебелите, и отправим Ивану Ивановичу, а он уже,

если соблаговолит, найдет случай поднести государю императору.

Кошанский протянул ему оба листка, но отдал не сразу, а прежде обратившись к нему:

— Вы делаете успехи. Мои лекции по теории языка отечественного пошли вам на пользу. Вы уже печатаете свои творения в журналах, я рад за вас. Слышал, вас навещает Василий Андреевич Жуковский, а я ведь с ним учился в Московском университетском пансионе... Однокашники. Я вот здесь учительствую, а он — там! Д-да.. Судьба! — сказал он задумчиво и отдал листки Пушкину.

— Где там? — поинтересовался Пушкин.

Кошанский закатил глаза. Пушкин понял его. Это означало — при дворе. При высочайших особах.

Прошло некоторое время, но от Мартынова не было ни ответа, ни привета. Пушкин не знал, что и думать. Боялся, что стихи не дошли. Кошанский опять, в который уж раз, запил горькую и взял отпуск по болезни, так что спросить было не у кого. Гауеншильд, исполнявший обязанности директора, боялся всего на свете, и просить его было бесполезно. Потом все-таки выяснилось, что стихи до Мартынова дошли. Он побежал к Горчакову, тот был главный дока по дипломатической части.

— Подарка нет? — первым делом поинтересовался Горчаков.

— Нет, — покачал головой Пушкин.

— Значит, не представили государю.

— Как не представили? — возмутился Пушкин.

— Подарка нет? — снова спросил Горчаков.

— Нет. И что, если нет подарка, значит, не представили?! — возмущенно закричал Пушкин, поняв логику Горчакова.

— Разумеется, Саша, — ласково сказал ему Горчаков.

— А может быть, государю просто не понравилось?

— Все равно приличие требует ответить подарком!

— Черт меня побрал бы! Зачем я только связался с этими стихами, теперь станут говорить, что Пушкин не может написать стихи, подходящие случаю! А я ведь неплохо написал... К черту! Больше не буду писать! И не просите! — обратился он неизвестно к кому.

— Не волнуйся, — сказал князь Горчаков. — Еще представится случай, будут твои стихи читаны при дворе...

— Думаешь, будут?

— Будут.

— Да и правда, куда они денутся! Хорошо бы только те, что я написал на случай, а коли попадут другие... — рассмеялся Пушкин. Раздражение его как рукой сняло — у него всегда резко менялось настроение. — У тебя пятиалтынного не найдется?

— А не мало? — спросил Горчаков, доставая гарусный кошелек.

— Швейцару хватит.

— А ты к... — Горчаков сделал многозначительную паузу: все знали, что по ночам Пушкин наладился бегать к Наталье, артистке графа Толстого. О том, как происходили эти встречи, уже ходили легенды. Крепостные актрисы графа были нелегкой добычей. Пушкин встреч не отрицал, но и сам не любил рассказывать. Наводил тень на плетень. Впрочем, иногда, когда он бывал в любезном расположении духа, завеса приоткрывалась. Сегодня, кажется, был тот самый момент. Горчакову хотелось послушать, сам он пока не мог похвастать победами.

— Или к гусарам? — продолжил Горчаков.

— От нее — к ним! — улыбнулся Пушкин.

— Есть чем новеньким похвастать? Ты же знаешь, Саша, я страсть как люблю камеражу. — Он протянул Пушкину монетку.

Тот пожал плечами, храня молчание.

— Да как же тебе удастся так часто у нее бывать? Как граф Варфоломей Васильевич?

— В нем-то вся и штука, — усмехнулся Пушкин. — Ты ведь знаешь, что граф — известный дилетант, большой любитель игры на виолончели, а супруга его не переносит игры графа. Поэтому-то Варфоломея Васильевича и изгнали с его виолончелью из дома. Вечерами он занимается в отдельной зале на половине, где живут его наложницы. Одна дверь комнаты, где живет Наталья, выходит в залу к графу, а другая — в коридор. За Наташей почти всегда следят, при ней живет мамка, но когда появляется граф, мамка спускается в девичью, где находятся остальные артистки. Граф приходит играть и забывает все на свете, я пробираюсь в

соседнюю комнату из коридора. Граф пилит на виолончели, а я пилю его Наталью. Граф затихнет, мы затихнем. Граф начнет, мы заканчиваем!

— А хорошо ли играет граф? — спросил князь Горчаков.

— Ужасно, — отвечал Пушкин, — но нам так нравится.

Князь Горчаков рассмеялся:

— Мне тоже, наверное, нравилось бы! А если граф войдет?

Пушкин расхохотался:

— Он, бывало, и входил; я, разумеется, графа пропускаю, а сам отсиживаюсь в гардеробной. Старый конь борозды не испортит.

Разумеется, со стороны Пушкина не обошлось без юношеского привирания, но князь ему поверил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,

в которой Василий Львович Пушкин прибывает из царства мертвых и навещает брата на новой квартире.

— Василия Львовича принимают в «Арзамас» в доме Сергея Семеновича Уварова. — Прение под шубами. —

Речь Светланы. — Их Превосходительства гении «Арзамаса». — Месяца Вресеня, от Липецкого потопа в лето первое, от Видения в месяц шестый. — Первая половина марта 1816 года

Приехавши в Петербург, Василий Львович первым делом пришел навестить брата на его новой квартире. Сергей Львович жил в Коломне, близ Калинкина моста, на набережной Екатерининского канала, в доме Апраксина в бельэтаже. Собственно, это был не бельэтаж, а третий этаж, но первый низкий этаж можно было за этаж и не считать, так, полуподвал. Василий Львович, с истерзанной длинной дорогой задницей, которая ныла и свербела уже второй день, тащился к нему с утречка поране, опираясь на свою старую верную трость из витого китового уса, украшенную масонскими молоточками. Он вчера прибыл из Москвы в одной карете с Карамзиным и князем Вяземским, всю дорогу сидел боком, чтобы не давили геморроидальные шишки, выскочившие от грязи и тряски. Ему бы отлежаться в номере, который он снял у Демута, но он умирал от нетерпения

погрузиться в петербургские гостиные, как крокодил в воду, где он чувствовал себя прекрасно.

Все семейство Пушкиных было какое-то взбалмошное. Братьев называли шалберами, то есть довольно приятными собеседниками, на манер старинной французской школы, с анекдотами, каламбурами, но в существе людьми самыми пустыми, бестолковыми, бесполезными. Оба были масонами, воспринимая масонство как род игры и светского общения. Оба баловались стихами, но Сергей Львович писал только французские, для себя и для дам, Василий же Львович был стихотворец известный в своем роде и прославился поэмой *не для дам*. Известный стихотворец, однако, немного побаивался Надежду Осиповну, супругу брата, урожденную Ганнибал, креолку, из потомства славного арапа Петра Великого, женщину пусть и не глупую, но эксцентрическую, вспыльчивую, до крайности рассеянную и чрезвычайно дурную хозяйку. Она ревновала мужа к брату, потому что порой ей казалось, что тот, имея дурную репутацию, может утащить ее мужа к девкам. Девки ее особенно возмущали, во всяком случае, про Василия Львовича такие слухи ходили. Да и жил он открыто с разными особами после разъезда со своей супругой; впрочем, Надежда Осиповна никогда не принимала у себя в доме его сожительниц.

Дом Сергея Львовича и Надежды Осиповны представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и вечно пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана.

Поставив трость у зеркала, Василий Львович позволил слуге Никите Козлову, старому знакомому крепостному человеку, принять шубу с шапкой. Никита наклонялся к нему, и Василий Львович почувствовал, что тот с утра уже, кажется, сильно взамши.

— Ты, братец Никита, с утра уже под шафе? — ласково спросил Василий Львович.

— Как можно, Василий Львович?! — искренне возмутился Никита. — Это со вчерашнего дни дух никак не выветрится! От ерофеича дух всегда долго держится, знаете, наверное?

— Ну откуда же мне, Никита, знать? Я ерофеича ведь не пью. Я только вижу, что ты «фрамбуаз», на рожу малиновый, — пояснил он французское слово.

Никита из-за спины Василия Львовича тоже посмотрелся в зеркало.

— Может, это оттого, что я утром рот выполоскал?! Да ведь всего одну рюмку и принял!

— Ты хоть одеколоном сбрызни своего ерофеича. Больно заборист! Глядишь, от твоего духа и я захмелею, — говорил Василий Львович, прибирая волосы перед зеркалом с трещиной, висевшим в прихожей.

— Какой одеколон? — удивился Никита. — В доме давно его нет. По вечерам сальные свечи зажигаем, по одной в комнате... Барыня, Надежда Осиповна, — он понизил голос и сообщил Василию Львовичу, как своему: — Вчера с Ольгой Сергеевной из-за свечи поссорились. Барыня приказывала сидеть в одной комнате, а Ольга Сергеевна хотели одна побыть. Обе плакали. А Ольга свечу-то за свои деньги купила.

Василий Львович отмахнулся.

— Зеркало! — показал он на зеркало слуге и постучал по нему пальцем. — Надо бы сменить. Нехорошо. Ну, ве-ди! — приказал он. — Я ведь тут у вас впервые...

Он выглянул в окошко, выходявшее во двор, увидел хилые заснеженные деревца небольшого садика, брошенную под снегом полуразбитую карету.

«Да, в здешних бельэтажах раутов не устраивают», — подумал Василий Львович с печалью.

Они прошли через пустую комнату без всякой мебели, в которой в углу на полу, подстелив под себя тулупчик, спал еще один слуга, потом через вторую такую же, в третьей мебель уже была; там в креслах у стола он и нашел своего брата, читающего газету «Санкт-Петербургские ведомости».

Брат, отложив газету, поднялся ему навстречу, и они обнялись, по московскому обычаю троекратно облобызавшись. Братья были похожи, как близнецы и словно посмотрелись в зеркало. Те же зачесанные с двух сторон на лысинку волосы, длинные, чуть крючковатые носы, полные щеки, ямочки в уголках губ; и рост, и сложение одинаковые, разве что в последнее время Василий Львович стал чуть полнее.

— Все еще на чемоданах? — спросил Василий Львович, указав на пустые комнаты.

— Ну, здравствуй! — не обратил внимания на его вопрос Сергей Львович.

— Здравствуй, здравствуй! Понимаю, еще не разобрались. Ничего, с Божьей помощью обустроитесь.

— Обустроимся, — согласился Сергей Львович. — Садись, братец.

— Вставай, бездельник! — услышали они голос Никиты из соседней комнаты. — Сейчас палку возьму! Прибью! Вставай, кому сказал!

— А вот прибыл из царства мертвых! — сообщил Василий Львович, усаживаясь поудобней. — Пустили слух, что я умер. Что неудачный стих застрял у меня в горле!

— Хи-хи-хи! — мелко и заливисто рассмеялся Сергей Львович. — Это кто же пускает такие камеражы?

— Князь Петр Андреевич... Я как прибыл в Петербург, сразу к Александру Ивановичу, думаю, от него все новости узнаю, а он крестится: чур меня, чур, говорит, я вас, батюшка, давно уже похоронил! — Он тоже рассмеялся. — Вышел Жуковский, тоже крестится. Князь им к нашему приезду отписал сию новость, а мне ни слова дорогой.

— Это ничего, это даже к счастью, — успокоил его Сергей Львович. — Долго жить будешь. Ты садись, братец, садись.

— Как жена, дети?

— Все слава Богу! — сказал Сергей Львович. — Жена здорова, Ольга с нами. Левушка в Благородном пансионе, по воскресеньям ездим в Царское, его и Александра навещаем.

Они закурили пахитоски, и почти тут же появилась невестка Василия Львовича, «креолка» Надежда Осиповна. Он поцеловал ей руку, а Надежда Осиповна другой рукой помахала над плешивой головой деверя и сказала:

— От ваших пахитосок, господа, вся мебель провоняет.

К подъезду богатого дома с большим кованым балконом, с факелами и венками, в аристократической Малой Морской, подъехала коляска. Из нее, кряхтя, выбрался Василий Львович Пушкин, стал рассматривать лепные раковины над окнами, которые, как ему подумалось, намекали

на богиню любви Афродиту. По мостовой к этому же подъезду, приветствуя издалека его тростью, продвигался Александр Иванович Тургенев.

— Здравствуйте, батюшка, Александр Иванович, — обнял его Василий Львович, бросаясь навстречу. — Отчего же вы пешком?

— Здравствуйте, Василий Львович. Арзамасцы заждались вас! А пешком я... Обратите внимание, вот идет Прохор! — показал он на слугу хозяина дома, который нес из лавки под мышкой огромную стерлядь. — А где же гуси, Прохор? — поинтересовался у слуги Александр Иванович.

— Арзамасских не было, а других я не решился брать, Александр Иванович. Боюсь, Сергей Семенович рассердится, — отвечал слуга.

— Ах ты моя хорошенькая, — подхватил стерлядь за голову и потянул к себе Тургенев. — А почему глазки такие грустненькие? А? К ужину успеют приготовить? — спросил он вдруг очень серьезно.

— Как не успеть! Стерлядка, она рыбка быстрая, опустил в кипяточек и вынул...

— Только глазки побелели и вылезли, — подхватил Александр Иванович. — Ну иди...

Слуга нырнул в подъезд.

— А пешком я, — взял под руку Василия Львовича его старинный друг, — потому, что я только что с замечательного обеда. Мне надобно было хорошенько проголодаться, гуси — моя слабость! А вот теперь выясняется, что будет стерлядка, а я стерлядку еще больше люблю. И чего он не взял гусей? Как хорошо: и гуси, и стерлядка! А вы хорошо подготовились к испытанию? — спросил он доверчивого Василия Львовича.

— Испытание очень серьезное, Александр Иванович? — спросил тот, заглядывая в глаза собеседнику.

— Очень, — сказал Тургенев, отводя глаза. — Только звать меня надобно в заседании «Арзамаса» Эолова Арфа или Плешивый Месяц... Это как вам будет угодно...

Они зашли в подъезд собственного дома Сергея Семеновича Уварова.

Жилище Уварова было просторное и богато убранное, весьма подходившее для затеваемых комических сцен.

Через некоторое время Василий Львович стоял раздетый до нижнего белья, толстый, с подзобком, и друзья с серьезными лицами надевали на него хитон с раковинами.

— Терпи, друг мой, я сам был недавно подвергнут жесточайшим испытаниям, этого требует обряд, — говорил ему князь Петр Андреевич Вяземский, молодой человек в очках на круглом, простоватом и добродушном лице, помогая облачаться неофиту.

— Но я ведь уже не молод! — испуганно озибался Василий Львович. — Ну как не выдержу, сердце схватит? Душенька, князь Петр Андреевич, замолви слово за старика по старой-то дружбе. Я ведь тебя еще мальчиком знал. Знаешь, что говорит мой зять Солнцев? Что у меня три степени сердечных привязанностей — сестра Анна Львовна, вторая — ты, а третья — однобортный фрак, который выкроил я из старого сюртука по новомодному покрою, привезенному в Москву Павлом Ржевским.

— Очень горжусь, Василий Львович, что ты меня на одну доску с твоим дорогим фраком и даже выше поставил, но нельзя, никак нельзя!! Крепись! Ты силен духом! — Князь надел ему на голову шляпу с широкими полями. — Ты же вступал, вероятно, в свое время в масоны? — Он взял трость Василия Львовича с масонскими молоточками на набалдашнике и показал ему.

— А как же! Вступал, — радостно подтвердил Пушкин. — Мы все вступали! А разве ты?.. — Он не закончил, ибо говорить было об этом не положено. Сам Василий Львович был не только масоном с 1810 года в петербургской ложе «*Les Amis réunis*» («Соединенных друзей»), где работали на французском языке и где общество было самое избранное, достаточно сказать, что в ней состоял сам цесаревич, великий князь Константин Павлович, однако вскоре, перейдя в ложу «Елизаветы к Добродетели», работавшую на русском языке, единодушно был избран ритором и с тех пор витийствовал в ней бессменно уже пять лет.

— Ну вот, тебя ждет нечто подобное!

— Ну тогда это совсем не страшно, — несколько приободрился Василий Львович: — Я сам принимаю! — ляпнул он против своей воли.

Вяземский, в это время подпоясывавший его хитон грубой пеньковой веревкой, усмехнулся на хвастовство друга.

Суеющийся рядом Ивиков Журавль, в миру Филипп Филиппович Вигель (кстати, член той же ложи, что и Василий Львович), протянул Пушкину с улыбкой его масонскую трость:

— Ваше превосходительство, примите костылек постоянного в правую руку, — сказал он, сложив красные губки вишенкой. — И узел на вервии союза пусть сходится на самом пупе в знак сосредоточения любви в едином фокусе, — с этими словами Вигель поправил на поясе у испытуемого пеньковую веревку. — Начнем, брат Асмодей?! — обратился он к Вяземскому.

— Начнем! — сказал тот. — Нас уже ждут. Итак, ваше превосходительство И Вот, бывший Василий Львович, по старинным преданиям Пушкин, пожалуйста в путь за нами!

— Глаза, глаза! — напомнил Вигель. — Завяжи ему глаза!

— Да, глаза, — согласился Вяземский, взял повязку, приготовленную на кресле, и подошел к Василию Львовичу: — Позволь?

Василий Львович дал завязать себе глаза, после чего Вигель и Вяземский повели его по черной лестнице на другой этаж, провели через одну комнату, через другую и снова стали спускаться по лестнице, поддерживая его под руки.

Его ввели в комнату, где горела всего одна свеча, вокруг которой стояли несколько человек с шубами в руках. Как только двое ведущих уложили Василия Львовича на диван, присутствующие в заседании забросали его сверху шубами. От пройденного пути по лестницам старый подагрик тяжело дышал и хрипел, но молодость безжалостна — им показалось мало и сверху подбросили диванных подушек.

Вперед выступил Жуковский в красном колпаке с бумажкой в руке и стал читать свою речь:

— Какое зрелище перед очами моими? Кто сей, обремененный толикими шубами, страдалец? Не узнаю его!

— Это я! Я! Василий Львович! Душенька Василий Андреевич! — раздался приглушенный голос из-под шуб.

— Сердце мне говорит, — продолжал Жуковский, улыбаясь, но стараясь сдерживать себя, — что это почтенный друг мой Василий Львович Пушкин, тот Василий Львович, который снизшел с своею Музою, чистою девою Парнаса, в обитель нечистых барышень поношения и вывел ее из вертепа непосрамленную, хотя и близок был сундук, хотя и

совершил он на сем сундуке беззаконие; тот Василий Львович, который видел в Париже не одни переулки, но господина Фонтана и господина Делиля; тот Василий Львович, который могуществом гения обратил дородного Крылова в легкокрылую малиновку... Все это говорит мне мое сердце! Но что же говорят мне мои очи? Увы! я вижу перед собой одну грудю шуб! Под сею грудю существо друга моего, орошенное холодным потом!

Василий Львович действительно покрывался холодным потом, и порою ему казалось, что наступит обморок, тогда голос его друга долетал к нему издалече, и слова сливались в гул, подобный гулу из морской раковины. «Долго ли мне еще мучиться? — думал Василий Львович. — Какой тяжелый обряд! Мы так наших братьев не мучаем, хотя некоторая схожесть есть!»

— Потерпи, потерпи, Василий Львович! — мелодраматически завывал Жуковский. — Сейчас повязка проказница спадет с просвещенных очей его! Да погибнет Василий Львович! Да воскреснет друг наш возроденный *Вот!* Рассыпьте шубы! — воскликнул он и взмахнул руками, но сами шубы и не подумали рассыпаться, и тогда присутствующие члены «Арзамаса» стали скидывать их, высвобождая Василия Львовича. — Восстань, друг наш! Гряди к «Арзамасу!» Путь твой труден! Ожидает тебя новое испытание!

Василия Львовича поднимали еле живого и снимали с него повязку. Он, жмурясь, тер глаза.

— Чудище обло, озорно, трезовно и лайя ожидает тебя за сими дверьми! — вперил свой перст в большие двустворчатые двери Жуковский и посмотрел на Василия Львовича. — Но ты низложи сего Пифона; облобызай Сову правды; прикоснись к лире мщения; умойся водою потопа — и будешь достоин вкусить за трапезою от арзамасского гуся, и он войдет во святилище желудка твоего без перхоты и изыдет из оногo без натуги...

— Но с подобающим громким звуком, — добавил Вяземский, и остальные засмеялись.

— Не страшись, любезный странник, и смелыми шагами путь свой продолжай! — предложил Василию Львовичу один из присутствующих — это был Дмитрий Петрович Северин, сын капитана гвардии, внук когда-то известного

портного, по арзамасскому прозвищу Резвый Кот. — Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний.

Двери со скрипом открылись, и Василий Львович, осторожно постукивая об пол посохом пелерина, двинулся в соседнюю комнату, где стояло огромное чучело в лохматом парике над безобразной маской, на груди у чучела, как у государственного преступника, был прикреплен известный стих Василия Тредиаковского из его «Тилемахиды», в свое время взятый эпитафией к радищевскому «Путешествию», о чем члены общества, разумеется, знали.

— «Чудище обло, озорно, трезовно и лаяй», — прочитал одними губами Василий Львович.

Дашков вручил Василию Львовичу большой лук и стрелу.

— Что я должен делать? — испугался Василий Львович.

— Ты — гражданин! Мужайся! Порази неприятеля! Это дурной вкус Шишкова. Убей его! — воскликнул Северин. — Или мучиться тебе в аду!

Тяжело дыша, Василий Львович стал натягивать лук и после долгого пыхтения наконец выстрелил. Раздался пистолетный выстрел, белая занавесь, опоясывавшая чучело, свалилась, и за ней оказался черномазый арапчонок с пистолетом в руках, из которого еще вился дымок. В ослепительно белых зубах он держал стрелу.

— Ах! — Василий Львович рухнул на пол.

Этого никто не ожидал, и некоторое время все стояли не двигаясь.

— Что такое?! — закричал Уваров, хозяин дома. — Я приказывал холостыми! — И вцепился арапчонку в кучерявую голову.

Другие в это время приводили Василия Львовича в чувство, поскольку это был обыкновенный обморок.

Арапчонок вдруг заплакал.

— Я, барин, холостыми! Филиппыч заряжал!

— Зови сюда Филиппыча, ирода! — приказал Уваров.

Арапчонок убежал.

Василий Львович наконец открыл глаза.

— Как вы? — спросил его Жуковский, склоняясь над ним.

— Это ведь еще не все? — Василий Львович закатил глаза.

— Не все, но мы прекращаем испытание! — волновался Жуковский. — Сейчас мы вас перенесем на диван.

— Нет, не хочу, надобно продолжить, — сказал Василий Львович. — Я еще должен сказать свою речь. — Он стал подниматься с пола с помощью окружавших его друзей, но в это время в комнате появился старый слуга Филиппыч, который держал в руках пистолет.

— Барин, как можно, — восклицал он, приняв упрек за личную обиду. — Заряжено холостыми. Извольте удостовериться! — Он, вытянув пистолет перед собой, выстрелил. Выстрел получился особенно оглушительный, и впечатлительный Василий Львович снова осел на руках у друзей.

— Может быть, пороху многовато? — пожал плечами Филиппыч.

Заседание сие было заключено вкусным ужином, за которым вместо гуся была его почтенная родственница остроносая стерлядь, заимствованная из обыкновенного садка и чародейством поваренного искусства получившая право гражданства в желудках Их Превосходительств гениев «Арзамаса».

Глава же той стерляди с пучком зелени во рту, ее хвост и несколько отрывков осели в обширном пузе Эоловой Арфы, после чего она чудовищно захрапела, не глава стерляди, разумеется, а Эолова Арфа, перекосившись в кресле, как брошенная ребенком кукла, перед блюдом с державной костью хребтины ископаемой рыбыны и обсосанными жабрами, всем, что осталось от стерлядки.

Эолову Арфу осторожно подняли, по обыкновению, перенесли и бросили на диван. Пружины дивана скрипнули, Александр Иванович коротко хрюкнул, но очей не отверз.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

в которой в Лицее появляется новый директор Егор Антонович Энгельгардт. — Тип старинного франта. — Лицейский быт принимает иной характер. — «Боже, Царя храни!» на мотив английского гимна. — Прогулки государя Александра I по Царскому Селу. — Весна—лето 1816 года

Весною 1816 года в Лицее представлялся воспитанникам новый их директор Егор Антонович Энгельгардт. С его появлением закончилось долго тянувшееся междуцарствие от

смерти первого директора, когда сию должность исполняли самые разные люди, от отставного полковника Фролова до ничтожного Гауеншильда.

Егор Антонович был в своем роде замечательный человек. Основание его воспитанию положила его умная, высокообразованная мать, восьми лет он был отдан в славившийся в то время в Петербурге девичий пансион сестер Бардевиц, где провел восемь лет, после чего еще дома занимался математикой и латинским языком. Этим окончились его школьные, научные занятия, прочие же познания, которыми он впоследствии обладал, приобрел он усидчивым трудом, занимаясь в свободное от службы время.

Школьная привычка находиться постоянно в изящно-образованном, в основном женском обществе, а также ежедневное общение в родительском доме с учеными людьми были причиной того, что Егор Антонович постоянно уклонялся от общества холостой молодежи и стремился в общество людей ученых, а также в лучшее женское общество. Потому-то он обладал в высшей степени тем, что французы называют: *exguise amenite* или *fine fleur de politesse*.

С назначением Энгельгардта в директоры школьный лицейский быт принял иной характер — он с любовью принялся за дело. У него была своя дача в Царском, которая находилась напротив Александровского сада, на улице, ведущей в село Кузьмино, но он переселился в положенный ему от казны дом, чтобы, как он говорил, быть поближе к Лицею, а дачу сдал на долгий срок, добавив, таким образом, к своему содержанию солидный приварок.

В директорском доме лицейские знакомились с обычаями света, ожидавшего их у порога, всегда находили приятное женское общество. По вечерам у него в зале устраивались чтения (к слову сказать, он прекрасно читал), а женское общество придавало этим вечерам особую прелесть, приучая воспитанников к приличию в обращении со слабым полом. Новый директор считал, что запретный плод — опасная приманка и что свобода, руководимая опытной дружбой, остановит юношу от многих ошибок. Он поощрял сближение с женским обществом под неусыпным наблюдением, поощрял зарождавшийся платонизм в чувствах: по его мнению, этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий. Неко-

торые лицеисты, как товарки, стали делиться своими тайнами с директором, а он был их конфиденнтом, судьей и ментором.

Егор Антонович был тип старинного франта, и таким он оставался до своей кончины. Ходил он всегда в светло-синем двубортном фраке с золотыми пуговицами и стоячим черным бархатным воротником, в черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. Осенью и зимою надевал он, сверх этой обуви, штиблеты. Жилет, галстух — все как в восемнадцатом столетии: он хвалился этим постоянством как бы спартанской добродетели.

— Иезуит и шутикар, — смеялся Каверин и находил понимание у Пушкина. — Говорит беспрестанно о чести и правдушии, а сам берет...

— Неужели берет? — удивлялся Пушкин.

— Берет, но по-немецки, то есть понемногу, не зарываясь. Да и кто ж нынче не берет! — смеялся Каверин. — Только тот, кто имеет приличное состояние. Очень-очень приличное.

Над подъездом директорского дома можно было увидеть своеобразную эмблему Лицея, состоящую из символов мудрости — совы, силы — ветви дуба и искусства — лира.

— Придите к мудрой сове, под листья дуба и играйте, играйте на лире, вдохновенные певцы, — ерничал перед подъездом Паяс Яковлев, показывая один из своих двухсот номеров, а именно директора Энгельгардта. Он выступал важно, грудь — колесом, подбородок — вперед, держа одну руку сзади на поясе. — А где у нас певцы?! Попрошу певцов вперед! Фотий Петрович, начнемте! — И Яковлев затанул низкую ноту.

Пушкин с друзьями рассмеялись. Модинька Корф слегка поморщился, он любил директора.

Яковлев еще раз прошелся перед друзьями походкой старинного франта, чуть двигая бедрами, потом вдруг съежился, сжался в комочек и, приотворив входную дверь, мелко кланялся:

— Пожалуйте, пожалуйста, господа!

Лицеисты, подчеркнуто вежливо пропуская вперед Пушкина и Дельвига, один за другим потянулись внутрь дома.

Энгельгардт почти бежал, насколько он мог это делать при своей немецкой чопорности. Вдруг у него расстегнулась пряжка на башмаке, и он потерял его прямо посреди гостиной. Башмак соскочил и полетел по натертому наборному паркету. Егор Антонович запрыгал на одной ноге, поскольку башмаки были на высоких каблуках, доковылял до улетевшего и принялся надевать его снова, прислушиваясь к пению в соседней комнате.

— А, Пушкин? — увидел он из-под своего локтя входившего лицеиста. — Вы куда выходили?

— По надобности! — глядя ему в глаза, сказал Пушкин.

— По какой? — спросил Егор Антонович, растерявшись, что его застали за собственным туалетом.

— Вас это действительно интересует, Егор Антонович?

— Да нет же, разумеется. Скорее идите на балкон, государь следует мимо дома!

Он подскочил, притопнул ногами — башмаки сидели.

— Не жмут? — спросил Пушкин, кивая на башмаки.

— Напротив, слишком свободны! — пояснил Энгельгардт. — Пойдемте же, мой друг!

Они вошли в соседнюю комнату, из которой двери выходили на балкон. Энгельгардт бросился их раскрывать, на ходу выкрикивая Калиничу, который пел вместе с лицеистами, и Тепперу де Фергюсону, сидевшему за роялем:

— Гимн, быстро гимн!

Калинич оборвал песню, оглянулся на лицеистов:

— Не подведем, пичужки вы мои! — и первым затащил: — Боже, Царя храни!

Лицеисты хором его поддержали. Пели тогда на мотив английского гимна, Львов написал свою музыку значительно позже.

Балкон был затянут парусиной, и Энгельгардт пробрался на него и выглядывал на улицу в дырочку, проделанную нарочно в материи.

Фотий Петрович Калинич особенно любил петь гимн; прежде малолетний придворный певчий, он боготворил царя и в такие минуты чувствовал себя причастным земному богу. Среди лицеистов особенно старались Корф и Комовский.

У Фотия слеза катилась по щеке.

Александр Павлович медленно шел по улице один, без свиты. Из директорского дома, когда он уже миновал его, донесся до слуха царя гимн. Царь остановился и оглянулся. На балконе, верх которого был затянут парусиной, он сквозь чугунную решетку увидел черные шелковые чулки Энгельгардта, наблюдавшего за ним.

Царь усмехнулся и двинулся дальше. Потом он еще раз оглянулся — Энгельгардт чесал одну ногу о другую. Когда Александр шел по Царскому Селу, улица как вымирала. Никто не знал, как отнестись к тому, что царь идет один.

Царь знал про убийства, которые то и дело происходили в Царском Селе, но ему нравилось дразнить и щекотать собственное самолюбие, а также потакать слабому обывателю, желавшему видеть сильного и смелого царя. Он и в самом деле был настолько уверен в себе, что ничего не боялся.

От дома Энгельгардта выскочил черный кобель и побежал рядом с ним, высунув язык.

«Надо бы дать указание Захаржевскому, чтобы собак всегда держали на привязи, — подумал царь. — Должно разработать кодекс содержания собак. Какова, например, вина хозяина, если собака укусит прохожего? Сколько платить за причиненные раны и увечья? Надо учесть в нем, что, если ты обороняешься и убьешь собаку, тот не обязан никаким вознаграждением хозяину, а кто, напротив, убьет нарочно, без всякой причины чужую собаку, тот отвечает хозяину ее».

Александр Павлович подсвистнул кобелю и зашагал веселей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой Александр I опережает Александра Пушкина у сестер Велио, а дядька Сазонов, уличенный во многих убийствах, кается перед христианами. — Чужая душа — потемки! — Лето 1816 года

Когда после спевок у Энгельгардта Дельвигу с Пушкиным удалось сбежать от надсмотрщиков, они первым делом направились к дому сестер Велио, где каждый из них имел интересы. Приблизившись к подъезду, они остановились, чтобы другой раз договориться о плане действий.

— Еще раз прошу тебя, — сказал барон Дельвиг другу, — ты отвлекаешь мамашу сестер...

— Тося! Все помню: а ты в это время развлекаешься с гувернанткой. Надеюсь, что хоть сегодня ты сорвешь хотя бы поцелуй, — докончил Пушкин, смеясь. — Потом ты отвлекаешь мамашу, а я развлекаюсь со старшей сестрицей... Звоним?

— Звоним, — согласился Дельвиг.

Они позвонили в колокольчик. Постояли на крыльце, переглядываясь, как заговорщики, и дождались наконец, что им открыл привратник.

— Ну, принимай гостей! — попытался пройти Пушкин, но привратник заслонил ему путь.

— Никак нельзя, сегодня не принимают.

— Как же?! Ты что-то напутал, братец, мы приглашены, — заволновался Дельвиг.

— Не принимают, — твердил слуга.

— Да что случилось? Заболел кто? — поинтересовался Пушкин.

— Государь у нас, — понизив голос, сообщил слуга.

Друзья переглянулись.

— Один? — спросил Пушкин.

Слуга кивнул.

Пушкин замурлыкал какой-то расхожий мотивчик и двинулся вдоль дома. Дельвиг потащился за ним. Когда они отошли на несколько метров, Пушкин принялся заливисто хохотать, обнимая Дельвига.

— Один Александр опередил другого Александра. Он — царь, ему и карты в руки. Но ты не беспокойся, на твою мамзельку Шредер он не позарится! Он хоть и плохо видит, но может пощупать! — Он снова принялся хохотать.

Слуга не ушел с крыльца, а смотрел им вслед, сокрушенно покачивая головой. Он понял, над чем смеются господа.

— Вот дураки! — продолжал хохотать Пушкин. — Пока мы подбираемся, царь уже развлекается. Пойдем назад, авось повезет и в коридоре пощупаем горничную княжны Волконской.

Дельвиг захохотал:

— Наташку? Да с удовольствием. Она хоть не жеманится!

И они отправились обратно в Лицей, где надеялись в темном дворцовом коридоре полюбезничать со сговорчивой горничной.

В это время трое полицейских, старший чин с двумя младшими, вошли в здание Лицея.

Старший спросил швейцара:

— Где у вас тут черный ход?

Швейцар, почти лишившийся от страха дара речи, показал назад, под лестницу.

— Больше нигде нельзя выйти?

— Ежели... Оно... Ваше благородие... — забормотал швейцар растерянно. — Куды ж...

— А-а, — махнул на него рукой полицейский и сказал подчиненному: — Встань там и стереги крепче. Преступник может быть с оружием.

— Преступник?! — ахнул швейцар. — В заведении?

Лицеисты, бывшие на рекреации, высыпали во двор, куда должны были вывести дядьку Сазонова. С ними был гувернер Чириков, который сообщил им, что дядька обвинен в последнем нашумевшем преступлении — убийстве разносчика и мальчика, сопровождавшего его.

— Сергей Гаврилович, как же никто не заподозрил его? — спросил Комовский, заглядывая в глаза Чирикову.

Чириков только растерянно пожимал плечами:

— Не знаю, господа. Да все ли еще известно?

Обвиненный в преступлениях дядька показался на крыльце. Этот двадцатилетний малый был почти ровесником многих лицеистов. Его вели полицейские. Дядька шел и не упирался с лицом растерянным и жалким. Увидев всех воспитанников перед собой, он повернулся к полицейскому и попросил:

— Дозвольте попрощаться!

— Неча! — толкнул его в бок полицейский, но дядька не послушался, рухнул на колени посреди улицы и завопил, заголосил, как баба, тонким пронзительным голосом: — Детишки, простите меня, грешного. Виноватый я перед вами! Креста на мне нет!

— Ребятенка зачем убил, супостат?! — толкнул его один из полицейских.

— А зачем он кричал-то? Кричал зачем?! — почти обиделся на полицейского дядька.

Настоящие обильные слезы хлынули у него из глаз, он стал растирать их кулаком по физиономии и громко сморкаться.

— Пошли, пошли! — подхватили его полицейские и волоком потащили в коляску, дожидавшуюся их.

Полицейские потащили его дальше, но он вцепился в стоящего рядом Пушкина:

— Иван Иванович, попросите за меня, может, меня отпустят?

— Да как же тебя, Сазонов, отпустят, ты ведь человека убил!

— Уби-ил! — завыл Сазонов. — Уби-ил! Черт меня попутал! Все расскажу, только отпустите!

Насилу полицейские и от Пушкина его оторвали.

Когда Сазонова затащили в коляску, он уже немного успокоился. Полицейские сели и прижали его с двух сторон, старший полез на облучок рядом с кучером.

Сазонов сидел, опустив голову, и на лицейских больше не смотрел.

Коляска тронулась. Из окна пролетки Сазонов увидел возвращавшихся Пушкина и Дельвига.

— Александр Сергеевич, простите Христа ради! — закричал он. — Прости меня.

Друзья, ничего не понимая, посмотрели пролетке вслед.

Кюхельбекер, встретивший их в подъезде, почти закричал о том, что произошло. Он все мотал головой, как будто у него был нервный тик, и говорил, заикаясь:

— С-самое с-странное, почему никто из нас ничего не за-за-замечал?

— И почему не замечало начальство? — подошел к ним Корф. — Коему и положено нанимать работников, токмо проверенных, с хорошей аттестацией... Подумать только, мы жили бок о бок с убийцей!

— А он ведь в лазарете за мной ухаживал! — улыбнулся Пушкин. — Горшок выносил. Спал на соседней кровати. Мог придушить ночью, а вот не тронул!

— Чужая душа — потемки! — сказал барон и громко зевнул.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,

в которой Николай Михайлович Карамзин посещает Лицей. — Статский советник с Анной через плечо. — Знакомство Вяземского с Пушкиным. — Дела арзамасские. — Визит Пушкина к Карамзину. — Описание китайского домика. — Кто должен наблюдать за придворным истопником. — Знакомство Пушкина с лейб-гусаром Петром Яковлевичем Чаадаевым. — Щеголеватые сапожки Чаадаева. — Фрески в гостиной китайского домика. — Супруга Карамзина, Екатерина Андреевна. — Летом стихи не пишутся. — Нет красивее гусарской формы. — Рассказы Чаадаева о другом Париже. — 25 марта — конец мая 1816 года

25 марта был праздник Благовещения. По случаю табельного дня ученья не было. После утренней службы в церкви и прогулки, лицейские занимались в библиотеке, как в ней появился своей чопорной походкой директор Энгельгардт и сообщил:

— Господа! Мы ждали этого события несколько дней! К нам приехал наш великий современник, поэт и историк Николай Михайлович Карамзин. Господа, соблаговолите

Не слушая более директора, воспитанники с ревом повскакали с мест, бросив книги, и, несмотря на восклицания директора, покатались по лестнице вниз.

Энгельгардт поправил свой светло-синий фрак с золотыми пуговицами, передернул плечами и вышел следом. На лестнице ему встретился Куницын, шедший отчего-то наверх.

— Все встречают Карамзина, — остановил его Энгельгардт и добавил внушительно: — Николай Михайлович был принят государем и обласкан.

— Да-да, — согласился Куницын и сделал вид, что обрадован этой вестью, хотя на самом деле был скорее к историку равнодушен. По мнению Куницына, Карамзин был фигурой не демократической.

Снег уже сошел, пора была весенняя, тренькали на деревьях синицы, звонко и однообразно.

Несколько карет стояло возле подъезда Лицея. Возле них толпились ожидавшие хозяев кучера и слуги.

Часть лицеистов, окружившая Карамзина, Жуковского и Энгельгардта с Куницыным, слушала их разговор. В их числе были Горчаков, Корф, Комовский, возвышались над ними Суворочка с Большим Жанно. Другие же собрались вокруг князя Вяземского, шурина Карамзина и в какой-то степени его воспитанника, молодого человека с благородным, правильным лицом, с чуть насупленными бровями, но веселым взглядом темных глаз с раскосинкой. Среди окруживших князя были Пушкин, Малиновский, бандит Броглио; тарашил косые глаза Мясоедов, глухо гыкал, услышав какую-нибудь скабрёзность; князь был неводержан на язык, употреблял, как говорится, русский титул, что весьма льстило господам лицейским. Пронзительный хохот Пушкина долетал до первой группы, заставляя оборачиваться с недовольным видом Энгельгардта и снова обращать свой взор к высокому гостю.

— Государь милостиво меня принял, я сделан статским советником и получил Анну первой степени через плечо, — смущаясь, отвечал Энгельгардту Карамзин.

Это был высокого роста человек, немолодых лет и прекрасной наружности. Лицо его было продолговатое; чело открытое, нос правильный, римский. Глаза блестели умом и живостью, а весь вид выдавал человека благодущного. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы, шапку он держал в руках.

— Кажется, ни одному статскому советнику еще не давали Анны первой степени! — в восторге смотря на историю, воскликнул Энгельгардт. — Это такая честь!

— А главная радость, — продолжил Карамзин, — что я получил на напечатание истории 60 000 рублей ассигнациями и дозволение печатать в Военной типографии... Кроме того, государь предложил мне жить летом в Царском Селе на государственный счет... Так что с мая я ваш сосед, буду жить в Китайской деревне, вот только съезжу в Москву и перевезу сюда семью...

— Вы шапочку наденьте, Николай Михайлович, — ласково попросил Егор Антонович. — Пора весенняя, опасная для здоровья.

А в это время Пушкин говорил Вяземскому после очередного приступа смеха:

— Безбожно держать молодого человека взаперти и не позволять ему даже участвовать в невинном удовольствии погребать покойную Академию и «Беседу» — губителей Российского Слова!

Князь улыбнулся:

— Говорят, вам год всего остался находиться в заточении?

— Да! — воскликнул Пушкин. — Еще целый год плюсов и минусов, прав, налогов, черта в ступе... Целый год еще дремать перед кафедрой... Я согласился бы с радостью двенадцать раз перечитать все двенадцать песен пресловутой «Россиады» с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточенья в этом монастыре...

— Слышал, что нравы в этом монастыре порицают, — усмехнулся князь Вяземский.

Лицейские довольно подсмеивались ему: еще бы, тут ребята — не промах, не пальцем деланы.

Из здания Лицея вышли Сергей Львович и Василий Львович Пушкины, когда они находились рядом, то было видно, что они очень похожи.

— Серж, — сказал Василий Львович, — я слышал от Александра анекдот, что Державин, когда прибыл на тот знаменитый экзамен, когда племянник читал стихи, первым делом спросил: «А скажи-ка, братец, где у вас тут нужник?»

— У кого спросил? — не понял Сергей Львович. — У Александра?

— Какая разница у кого! Просто я хотел отметить, что мы с тобой, приехав сюда, первым делом отправились по святым местам, где бывал и отливал старик Державин! — Он первым захохотал, и его поддержал мелким залиvistым смехом его брат.

Почти тут же они разделились, Сергей Львович присоединился к группе, если так можно выразиться, официальной, Василий Львович же пробежал дальше, к молодежи, собравшейся вокруг Вяземского. Его всегда можно было найти среди молодых.

— Извини, дорогой мой, — сказал он князю Вяземскому, беря в то же время за локоть своего племянника, — я похищу у тебя на время Александра.

Он повел Пушкина в сторону, нашептывая ему по дороге:

— Друг мой, ты мне почти брат, — начал он.

— Дядюшка, не смейтесь, — усмехнулся сам Пушкин. — Вы же мне дядюшка, тоже близкое родство.

— Я брат твой по Аполлону, а в жизни — дядюшка! — с радостью согласился он. — Но будешь ли ты слушаться дядюшку, как старшего брата? Обещай мне, Александр.

— Обещаю, дядюшка...

— Николай Михайлович в начале мая отправляется в Сарское Село и будет жить в китайском домике. Сразу по приезде будь у него с визитом. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем, Александр! Мы, арзамасцы! — с гордостью добавил он. — Я ведь теперь староста «Арзамаса»! Какой почет на старости! — чуть не прослезился Василий Львович.

— Поздравляю, дядюшка! — сказал Пушкин. — И какое у вас имя арзамасское?

— Вот! — сообщил Василий Львович. — Или Вот я вас! Частица... — скромно добавил он. — А без частицы в русском языке — никуда! Скоро примем тебя в наше общество, сначала заочно, как приняли заочно и других, а потом уж... Скажу тебе по секрету: прием в общество так тяжел, я еле выдержал испытание... Кажется, уже пора собираться? — вдруг заволновался он, увидев, что в официальной группе началось движение в сторону колясок. — Иди попрощайся с отцом. Ты недостаточно к нему любезен, а между тем его все так ценят, сам Карамзин... Прощай, друг мой, дай поцелую! — Он обнял Пушкина и первым победил к коляске, в которую сажился Карамзин.

Возле коляски столпились лицейские, петухом выступал в синем своем двубортном фраке с золотыми пуговицами Энгельгардт. Пушкину не захотелось подходить, но, когда он увидел, что дядюшке не досталось места в той коляске и он вместе с князем Вяземским прошел ко второй, направился к ним.

Отец его с Жуковским возвращались в Петербург и поэтому садились в третью коляску.

Пушкин подошел к этой коляске и сказал отцу:

— До свидания, папа!

— Прощай, мой друг! Поездка была замечательной. Жди нас с матерью и сестрой в первый табельный день!

Пушкин протянул Жуковскому листки со стихами, которые достал из-за пазухи, и сказал:

— Это вам, Василий Андреевич!

— Стихи?

— Послание вам...

— Я счастлив, — отвечал тот. — Прочтем в дороге!

— Навести Льва, — напомнил отец. — Мальчик подает большие надежды, — сказал он Жуковскому. — У Льва прекрасная память на стихи, но сам пока не пишет!

Потом среди гусар и в гостиных Царского Села стали рассказывать, будто Карамзин пришел в класс, вызвал Пушкина и сказал ему: «Молодец, пари как орел! Не останавливайся в полете!»

Пушкин, когда его спрашивали об этом, отмалчивался, посмеиваясь в пробивавшиеся усики. Он не считал нужным ни отвергать, ни подтверждать сей анекдот.

А вот когда через месяц Карамзин вернулся в Царское Село вместе с семьей, он счел нужным тотчас же нанести ему визит.

Карамзин с семьей жил в отведенном ему китайском домике, в двух шагах от Лицея.

Надо бы сказать несколько слов для любопытных читателей о сих китайских домиках вообще. Поставлены они были еще при императрице Екатерине Второй вдоль сада, разделяемого с ними каналом. Это было пристанище секретарей и очередных на службе царедворцев. Теперь они служили постоем для особ обоего пола, которым государь, из особенного к ним благоволения, позволял в них приятным образом проводить всю летнюю пору.

Китайскими сии дома прозваны потому, что наружность их имеет вид китайского зодчества, кое-где на стенах видны еще большие крылатые драконы, крыши цветные, на концах загнутые, как пагоды, а со въезжей дороги к домикам ведет выгнутый мост, на перилах коего посажены глиняные или чугунные китайцы, с трубкой или под зонтиком.

В каждом домике постоялец найдет все потребности для нужды и роскоши: домашние приборы, кровать с занавесом

и ширмами, уборный столик, комод для белья и платья, стол, обтянутый черной кожей, с чернильницей и прочими принадлежностями, самовар, английского фаянса чайный и кофейный приборы с лаковым подносом и, кроме обыкновенных простеночных зеркал, даже большое, на ножках, цельное зеркало. Всем этим вещам, для сведения постояльца, повешена в передней комнате у дверей опись на маленькой карте, за стеклом и в раме.

Пушкин в передней комнате дожидался, когда о нем доложат Карамзину и от нечего делать читал сию опись. За его спиной, в других комнатах, раздавался девичий смех. Пушкин оглянулся — мелькнули в дальних дверях две отроковицы нежного возраста и скрылись. Пушкин снова обратился к описи.

Тихими, неслышными шагами приблизился Николай Михайлович Карамзин.

— Добрый день, Александр Сергеевич! — сказал он Пушкину и, когда тот повернулся, протянул ему руку. Надо сказать, что Карамзин всех называл по имени-отчеству и на «вы»; возраст, титул, чин не имели для него значения; разумеется, исключением для него была только царская фамилия.

— Добрый день, Николай Михайлович!

— А сверх того, — усмехнулся Карамзин, показывая на опись, — нам определен для услуг придворный истопник, а для надзора за тем, чтобы истопник исправно исполнял свои обязанности, — один из придворных лакеев.

Пушкин расхохотался неудержимо, почти залаял.

— Поэт, а для надзора за ним, чтобы он исправно исполнял свои обязанности, — цензор! — пошутил он. Находясь первый раз в доме, Пушкин совершенно не чувствовал ни малейшего смущения и принуждения. С Карамзиным было легко и свободно разговаривать и думать.

— У меня цензором — сам государь. В нашем отечестве все занимаются не своим делом, — сказал хозяин и улыбнулся Пушкину, который посмотрел на него с искренним удивлением, ведь его слова относились до особы самого государя. — Проходите, — пригласил его Карамзин, ободрительно обнимая за плечи. — Я как раз только что вернулся с прогулки в зеленом кабинете, беседовал с государем, я удо-

стоен чести не токмо бродить по дорожкам, как простые смертные, но и забредать на царские лужайки.

— Рискую показаться нескромным, — улыбнулся, поддерживая тон, Пушкин, — но мы, лицейские, эту честь присвоили себе давно... Весь розовый луг принадлежит нам. И государь не протестует... Смирился!

— Государь любит лицейских... Проходите... У нас гость, Петр Яковлевич Чаадаев. Вы ведь не знакомы с этим замечательным молодым человеком? Я его спрашивал. Он несколько дней как в полку...

— Несколько дней как в полку, а вот об вас уже слышал и даже читал ваши стихи. Впрочем, ваши стихи известны мне были и раньше. «На возвращение государя из чужих краев» мне давал читать ваш тезка Александр Сергеевич Грибоедов, я с ним учился в Московском университете, — сказал Чаадаев, пожимая руку Пушкину, когда их представляли друг другу. — А в полку вас любят. Но, как мне кажется, в друзьях у вас самые кутилы?

Пушкин отметил про себя, что стихов он не похвалил, как делали все до него. Это задело его самолюбие, и он внимательней присмотрелся к молодому человеку.

Двадцатидвухлетний Чаадаев был очень красив, скромно величествен: белый, с нежным румянцем, стройный, тонкий, изящный, с великолепным, как бы мраморным лбом, с безукоризненными светскими манерами и приятным голосом; гусарский мундир сидел на нем, как на знаменитом Петре Фредериксе, с которым, как впоследствии из его же рассказов узнал Пушкин, Чаадаев поселился в Париже на одной квартире, чтобы перенять у него щегольской шик носить кавалерийский мундир. Он держал себя с пышно-барскою небрежностью, с кажущейся наружной беззаботностью, с теми тонкими тактом и умением, при помощи которых давал очень ясно понимать присутствующим, что светская беседа, как и вообще светская жизнь, это его стихия, как вода — стихия рыбы, что она дана ему от рождения и ничего необычного в этом не заключается.

— Что ж? Все это люди достойные всяческого уважения, храбрецы, рубаки...

Они сели в кресла. Пушкин осмотрелся — стены в гостиной были расписаны, и на одной из них он увидел большой

портрет самого Карамзина, довольно схожий, в окружении муз. Историк был изображен со свитком в руках. Рядом с ним были еще две фигуры. Пушкин сидел и гадал, кто они такие. Один, судя по одежде, по шляпе, которые носили крестьяне, был летописцем Нестором, второй — тоже, видимо, относился к российской истории.

— И рубахи-парни, — тонко улыбнувшись, продолжал Чаадаев. — Мне кажется, время молодечества проходит. Шампанское пьянит смолоду, с возрастом думаешь только о похмелье...

— Петр Яковлевич по матери — внук князя Щербатова, к «Истории» которого я постоянно обращаюсь. Да и сам он собрал замечательную библиотеку... — плавно отвлек всех на другую тему Карамзин. — До вашего прихода, Александр Сергеевич, мы начали разговор о его книгах, — обратился он к Пушкину, который все разглядывал настенную фреску.

«Щербатов! Это, вероятно, Щербатов!» — вдруг догадался Пушкин про вторую фигуру.

— Да, наверное, в вашем возрасте я начал собирать свою библиотеку, — сказал Чаадаев Пушкину. — Помнится, мне было лет четырнадцать, когда я вошел в сношения со знаменитым Дидотом в Париже и выписывал оттуда необходимые мне книги.

Пушкин раздул ноздри, услышав про четырнадцать лет. Было ему уже почти семнадцать, но маленький рост подводил его.

— Вы знаете Дидота? — продолжал как ни в чем не бывало лейб-гусар, покачивая ногой в гусарском сапожке *à la Souwaroff*, с щеголеватыми кисточками и желтыми, не по форме, отворотами. Таких, как Чаадаев, называли отчаянными франтами, ибо любое нарушение в военном костюме могло грозить им гауптвахтой.

— Дидот — представитель старинной семьи французских печатников и книгопродавцев, — пояснил Карамзин Пушкину, увидев, что тот смутился.

— Я общался с кем-то из них, когда был в Париже... У Петра Яковлевича в библиотеке есть даже «Апостол» Франциска Скорины 1525 года. В России, сколько мне известно, их два, вместе с его экземпляром...

— Но я не библиотека, — сказал Чаадаев, — не зарыватель книг. У меня и здесь, в полку, есть кое-что интересное. Охотно с вами поделюсь... Вы не читали Локка?

— Нет, — сказал Пушкин и снова против своей воли посмотрел на портрет Карамзина.

— Обязательно прочтите, я дам вам книгу. Я имел уже удовольствие наблюдать лицейских на прогулках... Сколько я заметил, бывает, вам читают лекции даже на прогулках?

— Бывает... — сказал Пушкин.

Вошла Екатерина Андреевна Карамзина, она принимала всех по-простому, в белом полотняном капоте.

— Моя супруга, Катерина Андреевна! — представил ее Карамзин. — Господин Пушкин. С Петром Яковлевичем ты, Катерина Андреевна, знакома...

Чаадаев и Пушкин при ее появлении встали. Чаадаев, а вслед за ним и Пушкин поцеловали ей руку.

Она была холодна и надменна на вид, но так же прекрасна, как, видимо, и в молодости. Брат Петр Андреевич называл ее характер ужасным, но об этом знали только самые близкие и никогда не догадывались ни друзья, ни гости карамзинского дома. Было ей в то время тридцать шесть лет и, увидев ее, Пушкин почувствовал, как мучительно жаль его сердце. Она улыбнулась подростку почти по-матерински.

— Я слышала про вас от вашего дядюшки Василия Львовича, — приветливо сказала она. — И от своего брата. Он познакомился с вами раньше меня. Мы все ждем ваших новых стихов.

— Дядюшка меня незаслуженно хвалит. А стихи не пишутся. Начинается лето, а кто ж летом пишет? Пишу письма и дядюшке, и князю Петру Андреевичу, прошу их стихов и жду, когда хромой софийский почтальон доставит мне их ответы... Вы не знаете, отчего все почтальоны хромые?

— Нет, не знаю, — простодушно ответила Екатерина Андреевна.

— Вот и я не знаю, но это наводит на размышления. Мой дядюшка увидел в Яжелбицах хромого почтальона и тут же состряпал эпиграмму на Шихматова...

— Прочтите, Саша. Позвольте, я вас буду так называть? — сказала Екатерина Андреевна.

— Это было при мне, Катенька, когда мы ехали в Москву. Петя задал Василию Львовичу эту эпиграмму... О сходстве Шихматова с хромым почтальоном...

— Вот она: «Шихматов, почтальон! Как не скорбеть о вас? — начал читать Пушкин. — Признаться надобно, что участь ваша злая; у одного нога хромая, а у другого хром Пегас».

— Я слышал еще про вашу эпиграмму: «Угрюмых тройка есть певцов... — сказал Петр Яковлевич Пушкину.

— Есть, извольте.

И он прочитал свою известную эпиграмму, первым же и рассмеявшись после прочтения. В этом он был похож на дядюшку: сам первым радовался своим творениям.

— Но это давняя безделица, сейчас стихи не пишутся, — вздохнул он.

— А мне, рабу грешному, приходится писать во всякое время, — с мягкой горечью сказал Карамзин, поднимаясь. За ним встали и молодые люди.

— Я должен извиниться и покинуть вас, господа. До свидания. А свой портрет я прикажу закрасить, — пояснил он Пушкину, любопытство которого, видимо, его слегка задело, — это придворный реставратор картин Бруни постарался к моему приезду. У меня был с визитом сосед граф Толстой, так теперь все ходит по гостиным и удивляется, за что мне такая честь?

— А кто это рядом с вами? — не удержался и задал мучивший его вопрос Пушкин.

— Это летописец Нестор и Щербатов, дед нашего Петра Яковлевича.

Чаадаев тонко и со значением улыбнулся, раскланиваясь с покидавшим их хозяином.

— Садитесь, господа! — сказала Екатерина Андреевна после ухода мужа. — Петр Яковлевич, вы ведь были в Семеновском полку, а перевелись в лейб-гусары? Что так?

— Не сразу из Семеновского, Екатерина Андреевна, еще в Париже я перешел в Ахтырский гусарский полк.

— И все-таки: что так? — повторила свой вопрос Карамзина.

— Тому много причин, но главная, наверное, это форма, на мой взгляд, нет красивее гусарской формы! — то ли

серьезно сказал, то ли пошутил Чаадаев и посмотрел на свои холеные руки, на длинные ногти.

Пушкин отметил эти длинные ногти и подумал: «Как в службе ему удастся сохранять свои ногти?»

— Мне гусарская форма тоже нравится, — вдруг неожиданно для самого себя сказал Пушкин. — Если я пойду в военную службу, то непременно в кавалерию!

— Вступайте в наш полк!

Они с Чаадаевым улыбнулись друг другу, после чего Пушкин украдкой глянул на Екатерину Андреевну.

А Екатерина Андреевна посмотрела на них с сочувствием и пониманием взрослого человека: «Господи, как они еще оба молоды!»

— Может быть, чаю, господа? — предложила она.

Чай и кофе вообще ввели в обиход карамзинисты. Не случайно еще в журнале Новикова «Детское чтение» Николай Михайлович опубликовал два перевода с немецкого «Чай» и «Кофе». Впрочем, тогда друг его юности Петров не оценил глубины его замысла и вопрошал в письме: зачем, мой друг, пишешь о такой ерунде? Дядюшка Александра, Василий Львович, наиболее последовательный карамзинист, в своих посланиях постоянно использовал чайные мотивы, восклицая о «пекинском нектаре».

— Чаю! Чаю! — вскричал Пушкин.

Потом они шли по Царскому вдвоем с Чаадаевым, и молодой человек рассказывал Пушкину про Париж, про парижских букинистов на набережной Сены, про то, что книги в Париже дешевы, и сыпал и сыпал названиями этих книг, ценами на них попеременно со сведениями об издателях, переплетчиках, авторах.

Александр и прежде слышал от гусар о Париже, но это был Париж Пале-Рояля, увеселительных заведений, ресторации Веггу, игорных домов, рулетки, варьете, где блистали Потье и Брюнэ, а также Париж Китайских теней, Кабинета Оливье, в котором карточные фокусы и фантазмагии, и еще Париж косморама, панорама, стереорама и прочей чепухи. Оказалось, что Чаадаев знает об этом Париже только понаслышке, весьма поверхностно, что этот предмет ему неинтересен, он мягко уклонился от разговора о парижских жрицах любви, и Пушкин, умевший слушать и вести беседу, к этой теме больше не возвращался.

Они шли, и Пушкин, поглядывая на красавца лейб-гусара, любовался его умению носить мундир, щеголеватые сапоги, его утонченными манерами, спокойствию и хладнокровному величию осанки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

в которой князь Вяземский тоскует в Гомбурге на даче Киселева. — Софья Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая. — «Похотливая Минерва». —

Князь получает по счету за варшавские мадригалы Киселевой. — Жизнь с княгиней на киселевской даче. —

Шереметевское колено князя Вяземского. — «Я давно живу одними преданиями». — Зарытый живым в могилу.

— Кое-какие разъяснения князя Ивану Петровичу. —

Осень 1874 года

Дело происходило в заштатном прусском городке Гомбурге, с населением в несколько тысяч человек, где был известный курорт. Гомбург имел, как и полагалось каждому уважающему себя немецкому городку, древний замок, несколько маленьких фабрик, но главным его капиталом оставались гомбургские воды, создававшие славу курорту, а при них курзал и казино с рулеткой. В сезон население городка удваивалось, а то и утраивалось. Воды здесь были слабые, но возбуждали аппетит и лечили малокровие. Городок находился всего в полчаса езды от Франкфурта-на-Майне; сюда обыкновенно ездили подлечиться выздоравливающие, страдающие разными расстройствами. Князь Петр Андреевич Вяземский давно страдал бессонницей, потерей аппетита и вследствие этого раздражительностью, меланхолией и тоской. В лето одна тысяча восемьсот семьдесят четвертое он, как всегда, проехавшись с княгиней Верой Федоровной по Европе, пробыл несколько дней в Висбадене и под конец затосковал в Гомбурге, и, кажется, надолго.

Тосковал он на даче Киселева, в которой княгиня занимала весь нижний этаж, а кабинет князя был наверху. Впрочем, дачей Киселева ее называли скорее по привычке. Несколькими дачами в Гомбурге владела Софья Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая, с которой сам Павел Дмитриевич Киселев, граф, бывший министр государствен-

ных имуществ, теперь уже покойный, окончательно разъехался еще в начале тридцатых годов.

С тех пор она проживала за границей, то в Бадене, то в Ницце, то в Париже, где у нее была собственная квартира, но каждое лето проводила в любимом Гомбурге, с одиннадцати часов утра до одиннадцати вечера играя в рулетку и покуривая испанские пахитоски, модные тогда длинные соломинки, набитые табаком, пока наконец рулетку, как и на других немецких курортах, в Гомбурге не запретили. Некогда она была красавицей, ее сравнивали с французской актрисой Рашелью, на которую она была похожа чертами лица. Князь Вяземский был влюблен в нее еще до замужества, встречал ее во время службы своей в двадцатых годах в Варшаве, писал ей мадригалы, называл ее «похотливой Минервой». Пушкин, как подозревал князь, тоже был тайно влюблен в нее в Петербурге. Кажется, стихотворение его «Платонизм» — о ней, и уж не она ли и ее сестра Ольга вдохновили Пушкина написать свой «Бахчисарайский фонтан»? Есть в письмах его некоторые намеки на это, есть и намеки на то, что именно эту любовь он утаил от публичности.

Полька по происхождению, она стала политическим противником собственного мужа, верного государственного мужа российского, брат ее Мечислав был сослан в Сибирь в 1845 году, что окончательно сделало ее врагом России. За границей она плодила незаконных детей Киселеву от своих многочисленных любовников, пользовалась его именем даже и до последнего времени, когда он уже при Наполеоне III завершал свою карьеру в Париже послом, и сдавала в наем соотечественникам принадлежащие ей несколько гомбургских домов. Князь Вяземский имел с ней короткую курортную интрижку, получил по счету за свои варшавские мадригалы, и на всю жизнь они остались друзьями, и всегда, когда князь с княгиней проживали в Гомбурге, дом нанимали у Киселевой.

В свой кабинет на киселевской даче князь почти никого не приглашал, а вечера напролет просиживал внизу у княгини Веры Федоровны в обществе русских дам, приносящих к княгине свои рукоделия. Княгиня полулежала в глубоких креслах с затейливым шитьем в руках или просто с тростью на коленях, с опахалом, с подушками, в старо-

модной чепце, который она иногда снимала среди оживленного разговора, полная юношеского пыла, неподдельной веселости и остроумия. Князь любовался ею, как во дни молодости.

Случалось, в Гомбург приезжали его сын Павел и шереметевское его колено, внучка с правнуками; тогда дом оживлялся детскими криками и начинал теплиться, как любил говорить князь, семейный очаг. С их отъездом печка, по образному выражению князя, замазывалась и стояла холодной.

Будучи членом Государственного совета, сенатором, обершенком двора (то есть главным хранителем вин), он искренне любил Россию, но тем не менее жил исключительно по заграницам, постоянно испрашивая себе при дворе отпуск. Словно какой-то бес гнал его по миру, не позволяя нигде задерживаться подолгу. За князем невозможно было угнаться. С тех пор как он передал родное Остафьево единственному сыну Павлу Петровичу, он и в России-то толком не жилал. Каждый год — Гейдельберг, Франкфурт, Карлсбад, Веймар, Бонн, потом Париж, Венеция, снова Германия, лишь ко второй половине лета, к осени он затихал, в основном в Висбадене, в Гомбурге или в Баден-Бадене.

Князь Вяземский, как и большинство людей, доживших до его лет, а было ему за восемьдесят, страдал от множества болезней, но более всего бессонницей, что не сделало его характер мягче.

— Я вас понимаю, вы хоть и молодой человек, но очень быстро стали ощущать то, что, честно говоря, давно понимаю я... — говорил князь Вяземский Ивану Петровичу Хитрово на вечернем променаде. — Перебирая свои старые бумаги и старые письма лиц, которых давно уже нет, кажется, мимоходом и снова переживаешь себя самого, всю свою жизнь и все свое и все чужое минувшее. Тут, после давнего кораблекрушения, выплывают и приносятся к берегу обломки старого и милого прошлого. Смотришь на них с умилением, перебираешь с любовью, дорожишь между ними и мелочами, которым прежде как будто не знали мы цены. Предания нередко бывают дороже и выше самих событий... Мелочи быта, я давно это понял, порой вернее характеризуют эпоху, чем эпохальные события... — Князь посмотрел на Ивана Петровича, ища согласия. — Я давно живу одними

преданиями, так что могу засвидетельствовать: это жизнь наполненная, почти реальная... Да, прошлое, казалось старое и забытое, может очнуться, стоит только притронуться к нему. Оно будет источником добросовестных изысканий, училищем, в котором новые поколения могут почерпнуть, если не уроки, не образцы, то предания, не лишённые занимательности и ценности не только для нового, настоящего, но и для будущего... Границы настоящего должны не только выдвигаться вперед, но и отодвигаться назад. Душе тесно в одном настоящем: ей надобно надеяться и припоминать...

— Мне так близки ваши мысли, князь... — искренне согласился Иван Петрович.

— Кому нужны теперь мои мысли? Теперь другие времена... Все считают меня ретроградом... Многие помнят еще, что довольно долго я промышлял делами цензуры, стороною доходят до меня слухи, что в некоторой заливчатской печати хожу я под разными прозвищами, забавными и насмешливыми. Как-то в Берлине одна из наших заграничных непризнаваемых знаменитостей, проходя мимо меня, пробормотала: «Вот идет наша русская цензура». А я ведь до цензуры не безусловный охотник, хотя и служил по этому ведомству одно время. Не безусловный поклонник я и безусловных льгот свободной печати. Не следует забывать, что льготы, дарованные печати, не всегда еще открывают путь истинным успехам литературы. Бывает и так, что они только развязывают руки самонадеянным посредственностям. Я давно уже перестал слыть либералом, а по сознанию Белинского, главного основателя, пророка и законодателя нового верования, вся суть литературы заключается в... либерализме! — закончил князь почти весело. — Вот так! А наш либерализм заключался в правилах и чувствах, а не в жаргоне, не в искусственном, поддельном наречии, на котором они пишут и говорят. — Он помолчал. Молчал и ждал Иван Петрович. — Я был ими отпет: кругом могилы моей, в которую меня живого зарыли, глубокое молчание. И что же? А ничего. Натура меня наградила большою живучестью, и телесною и внутреннею... Как говорили в Лицее, а Пушкин любил повторять: «Вы не знаете всех внутренних происшествий»... Нет дня в году, чтобы я три-четыре раза не вспом-

нил Пушкина. Так что спрашивайте, дорогой мой друг, я вам многое могу рассказать...

— Меня сейчас интересует история возникновения «Арзамаса», вы ведь последний из его членов, оставшихся в живых!

— Все много раз уже описано, мне особенно и нечего добавить. Одно могу сказать, что по сути своей арзамасцами мы были уже за несколько лет до создания общества, с «Липецких вод» началась уже так называемая официальная история общества. Хотя премьера комедии состоялась в Петербурге, списки ее чрезвычайно быстро распространились и в Москве, и в Царском Селе... Я написал несколько эпиграмм... и послал их Жуковскому в Петербург... Тогда было легко и весело жить. А я вот теперь, когда напишу что-нибудь, чем сам доволен и что кажется мне удачно, не чувствую потребности, увлечения прочесть сгоряча написанное мною друзьям моим, — сказал князь Вяземский. — Не могу бежать к Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы поделиться с ними свежим, только что созревшим плодом моей мысли, моего вдохновения... Одиночество.

— Я буду издавать журнал, пишите в него. Все, что вы ни напишете, будет в нем напечатано...

— Благодарю вас, любезный Иван Петрович. Я за границею получаю несколько русских газет и журналов, но, признаюсь, мало читаю их, а выписываю больше для очистки совести. Жизнь так коротка, а мой остаток и так еще окорочен, что берегу время свое на более полезное и приятное... Сейчас перечитываю свои старые записные книжки и перелистываю вместе с ними жизнь...

— Как я вам уже говорил, в тот год я приехал в Петербург вместе со своим зятем Николаем Михайловичем Карамзиным. Жуковский был уже там. Василий Львович Пушкин приехал в Петербург или перед нами, или вслед за нами, но положительно не с нами, а только в обратный путь примкнул к нам. С ним по дороге в Москву мы и заезжали в Лицей, вероятно, по предложению Василия Львовича, души не чаявшего в своем племяннике. Оставались мы там с пол часа, не более... — рассказывал князь Петр Андреевич Ивану Петровичу.

— Это была первая встреча Пушкина с Карамзиным?

— Первая, если не считать того, что Карамзин, как говорят, его видел ребенком, когда бывал в доме у отца его, Сергея Львовича... Что маловероятно. По крайней мере, не помню Сергея Львовича в Москве ни у Карамзина, ни у себя.

— А это значит, — догадался Иван Петрович, — ежели не было ответных визитов...

— То и не было визитов к нему, — dokonчил его мысль князь Вяземский. — Карамзин, вероятно, знал Сергея Львовича, но никогда у него не бывал... — Не помню и тогда, в наш приезд, особенных отношений Карамзина с Пушкиным. Вероятно, управляющие Лицеем занимались им. Ну, конечно, его захватил Энгельгардт... А меня окружила молодежь, ведь я сам тогда был молод... Один из лицеистов, Ломоносов, за несколько лет был товарищем моим или в иезуитском пансионе, или в пансионе, учрежденном при Педагогическом институте, — в точности не помню... С Пушкиным я тоже был знаком...

— А ведь к тому вашему приезду относится анекдот, что будто бы Карамзин пришел в класс, вызвал Пушкина и сказал: «Молодец, пари как орел!»

Князь Вяземский расхохотался.

— Меньше всего похоже на Карамзина! В класс никто не заходил, напротив лицейские вышли к нам. А это рассказ какого-то служаки. «Пари как орел!» Квасом пахнет.

— Да, — согласился Иван Петрович, вспомнив при упоминании кваса, что именно князь Вяземский является отцом термина «квасной патриотизм». — Так оно и есть. Это Иван Васильевич Малиновский рассказывал, его однокашник, человек чересчур восторженный.

— Кстати, — сообщил князь Ивану Петровичу. — В Гомбург приезжает другой однокашник Пушкина, граф Модест Андреевич Корф. Вы с ним знакомы?

— Да, но не думал, что мне посчастливится его здесь встретить.

— Послушайте Модеста Андреевича: ум острый, характер резкий, но трезв и никогда не завирает.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

в которой у Камероновой галереи воспитанник Вольховский учит наизусть речь Цицерона, другие воспитанники потешаются над ним, а Пушкин дерзко отвечает царю. — Прогулки дам с чичисбеями по Царскому Селу под звуки полковой музыки. — Знакомство Пушкина с молоденькой вдовой госпожей Смит, прелестной родственницей директора Энгельгардта. — Осень 1816 года

Шло лето 1816 года. Воспитанники Лицея прохлаждались возле большого пруда, к которому спускался пандус знаменитой Камероновой галереи.

По красным дорожкам вокруг пруда медленно прогуливалась царскосельская публика, основу которой составляли дамы под летними зонтиками. Некоторые из воспитанников полулежали на траве, что было строжайше запрещено в парке, наблюдая за дамами издалека.

Гувернер бродил возле лежащих на траве лицеистов, то и дело обращаясь к ним с просьбой:

— Господа, прошу вас, пойдемте. Ну как появятся служители? Сраму не оберешься. Вы ведь знаете, нельзя топтать траву: будут нарекания, господа!

Ничего не добившись, он уходил в сторону, вздыхая и охая.

Суворочка ходил в стороне от всех с каменным лицом, произнося пламенные речи. Размахивая руками и жестами помогая себе, тем не менее он говорил с невероятным трудом, потому что набил себе за щеки мелкие камешки, подражая великому оратору древности Демосфену. Однако зубрил он наизусть речь не грека, а римлянина Марка Туллия Цицерона, речь знаменитую, образец совершенного, непревзойденного красноречия:

— До каких же пор, наконец, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? Сколь долго еще ты будешь упорствовать в своем диком безумии? Доколе же ты, забывая всякую меру, будешь кичиться своей дерзостью?

Он остановился на мгновение и посмотрел туда, где, свободные, вольные, ни от чего не зависимые, болтались

на вакациях его сотоварищи по учебе, и ему захотелось к ним, на волю, но Палатинский холм призывал его к себе властно и требовательно. Он решил, как всегда, преодолеть соблазн, ведь его ждали великие дела. Так ему думалось, так ему хотелось думать.

— Неужели на тебя не произвели ни малейшего впечатления ни военная охрана, ночью сберегающая Палатинский холм, ни городские патрули, ни страх народа, ни собравшаяся снаружи толпа благонамеренных граждан, ни это неприкосновенное место сенатского собрания, ни выражения лиц здесь присутствующих сенаторов? Неужели ты не чувствуешь, что твои умыслы у нас на ладони?!

Он остановился, сам потрясенный достигнутым эффектом речи, в горделивой позе покорившего толпу оратора, мысленно потрогал застежку тоги на левом плече, представил себя на Палатинском холме в виде статуи, и тут вдруг завыли, заулюлюкали, вернув его на грешную землю, подбравшиеся к нему незаметно записные лицейские шалуны Пушкин, Броглио и другие паясы.

— До каких же пор, наконец, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? — завыли они. — У-лю-лю!

— Фы што? — прошепелявил Вольховский. — Не мешайте, я жанимаюш! — Камешки, до тех пор удачно расположившиеся у него во рту, теперь перепутались, и дикция совершенно нарушилась.

— Ты мало камешков набрал! На тебе еще! — дружески протянул ему камней Броглио и хитровато подмигнул своим косым озорным глазом.

— Господа! — махнул рукой Пушкин. По его команде Маличовский и Пуцин подняли и принесли большой серый валун. Положили его под ноги Вольховскому.

Броглио покатился со смеху в буквальном смысле слова — упал на траву и задрал ноги. Приблизились на смех и остальные воспитанники, окружили Вольховского.

— Это тебе камешек, Суворочка, — сказал Пуцин, — без которого тебе не стать Демосфеном. Смотри только, не проглоти его случайно от чрезмерного усердия.

Засмеялись и другие воспитанники.

— Глупая шутка! — пробормотал Вольховский, двигая за щекой камешки языком. — А попробуйте сами с камешками

говорить? — Он взял у Броглио еще несколько камешков и героически сунул себе в рот.

Только он хотел заговорить, встав в соответствующую его речи позу, как за их спинами, совершенно не замеченный не только ими, но и гувернером, возник император Александр Павлович. Никто не заметил, как он спустился по пандусу галереи и вышел к пруду. С ним не было свиты, лишь рядом бежала собачка, рыжеватый спаниель.

Малиновский с Пушиным тем временем опять подняли бульжник и, с криками раскачав его, зашвырнули в воду. Взвился фонтан брызг, а когда все отсмеялись, то услышали приятный бархатный голос:

— Здравствуйте, господа лицейские!

Воспитанники вздрогнули, увидев так близко от себя царя, почтительно сорвали с голов картузы.

Издали кланялся, боясь приблизиться, гувернер, прошлепавший приближение царя.

Но подростки есть подростки, смех не сразу стих. Тогда царь, не обращая на это внимания, спросил дружелюбно:

— Ну что, господа лицейские, вы буянить горазды! А кто из вас первый в учении?

Многие посмотрели на Суворочку, который действительно был первым. Царь, перехватив взоры, тоже обратился к нему, но тот словно окаменел и стоял красный как рак, ворочая камешки во рту языком и не зная, что с ними делать, если разговор продолжится и выплюнуть нельзя, и говорить невозможно.

— Ты?! — спросил впрямую царь.

Вольховский был нем как рыба и рисковал показаться неучтивым.

— Ну же! — в нетерпении сказал Александр Павлович и повернулся к другим, надеясь от них хоть что-нибудь услышать.

И тут нашелся, выступив вперед, Александр Пушкин.

— Ваше величество, у нас нет первых, у нас все — вторые!

Царь усмехнулся удачному, но дерзкому ответу, смерил Пушкина оценивающим взглядом и пошел вдоль пруда, кликнув собаку.

Некоторое время все молчали, царь уходил величественной походкой, а к ним на дрожащих ногах приблизился гу-

вернер, который на протяжении разговора стоял в стороне, умирая от страха.

— Г-г-господа! — пробормотал он испуганно. — Это... Это... Пойдемте-ка домой, господа. Я же вам говорил! Что будет?! Что будет?!

Вольховский наконец с облегчением выплюнул камешки на ладонь.

— Ну что ж ты, — усмехнулся Пушкин, обращаясь к Суворочке, — тебе представился случай поговорить с государем, а ты? Что ты будешь рассказывать своим детям?

Вольховский молча зашвырнул камешки далеко в пруд.

— Мы будем рассказывать детям, как Пушкин ответил государю, — сказал Малиновский.

Некоторые рассмеялись, но были и те, что промолчали.

— Пойдемте, господа, — снова жалобно обратился к воспитанникам перепуганный гувернер. — От греха подальше!

Прогуливаясь дальше в одиночестве, Александр повстречал Карамзина.

— Рад видеть вас, Николай Михайлович, в своем зеленом кабинете.

Царь протянул Карамзину руку. Тот пожал ее.

— Здравствуйте, ваше величество.

— Вы получили от императрицы приглашение на завтрашний обед?

— Да, ваше величество. Я очень благодарен ей за оказанную мне честь.

Царь остановился и показал Карамзину на тропинку:

— Видите тропинку?

— Разумеется, ваше величество.

— Я сказал своему садовнику Лямину: где увидишь протопанную тропинку, там смело прокладывай дорожку — это указание на то, что есть потребность в ней! — Он сделал паузу, снова оборотился к Карамзину, который спрятал улыбку на его почти наполеоновское поведение. — Как вы думаете?

— Да-да, — поспешил согласиться Карамзин.

В государе было какое-то врожденное качество, которое привлекало к нему людей. Французы называют это качество «le charme». Шарм творит чудеса и обвораживает всех, кто соприкасается с его носителем: чарующая улыбка, выражение глаз, кротость во взоре, манера общения — все это по-

коряло сердца. В собственной семье его все, и мать, и супруга, и братья, и невестки, называли «notre ange», нашим ангелом.

На веранде, возле дворцовой гауптвахты, как и во все это лето, перед вечерней зарей играла гусарская полковая музыка. Гвардейская музыка состояла из труб, валторн, фоготов, кларнетов и флейтраверсов, большого и малого барабанов и флейты. Царскосельская публика прогуливалась под шумными деревьями, внимая ей. Среди публики находились и лицеисты.

Остановилась коляска с Бакуниной — они смотрели на нее. Катенька приветливо им улыбалась.

Прошли, беседа между собой, дамы под зонтиками. Лицеисты смотрели им вслед.

Прошла замужняя дама из знакомого им дома, сопровождаемая своим верным чичисбеем. Чичисбей был во фраке, но это был знакомый поручик Преображенского полка, ибо гвардейцы еще пользовались парижским разрешением царя надевать вне строя штатское платье. Лицеисты поклонились парочке. Дама чуть заметно кивнула, поручик чинно приветствовал их. Пушкин знал его по гусарским пирушкам.

Воркуя и щебеча, пронеслись легким облачком сестры Велио. Старшая с тех пор, как стала любовницей Александра Павловича, заметно похорошела, но по-прежнему была скромна, дорогих украшений, не положенных девушке, не носила.

Пушкин ловил женские взгляды, сердце его устремлялось то к одной, то к другой, он чувствовал, что ему в конечном счете сейчас не важно, за какой из них бежать, нестись, устремляться, лишь бы чувствовать идущий от них тонкий аромат иноземных духов, лишь бы иметь возможность тайком пожать белую ручку выше локтя, а то и поймать прелестницу в уголке и сорвать поцелуй. Любая возможность флирта волновала его, он не мог долго задерживаться вниманием ни на одной из них.

Полковая музыка все играла, деревья все шелестели своей шумной листвой, дамы все перемещались в пространстве, словно ведя какую-то одним им понятную партию не-

обыкновенного чувственного танца, служащего только прелюдией к самому главному.

Дельвиг обратил к нему свой близорукий взор:

— Грустно, Пушкин?

— Грустно... — согласился тот. — К вечеру всегда как-то грустнее.

— Пойдем с нами к Энгельгардту. Он удивляется, что ты к нему не ходишь...

— А вы сегодня званы?

— Мы званы к нему каждый вечер. И право, у него бывает приятное общество.

— Идем, Тося? — приблизился к барону Большой Жанно.

— Идем, — согласился Дельвиг. — И Саша сегодня с нами?

Пушкин молча кивнул.

Деревья шелестели своей шумной листвой, скользили в теплом воздухе стрижи и ласточки, а полковая музыка все играла и играла.

К дому Энгельгардта гурьбой, а не попарно с гувернером, как раньше у них было принято, шла лицейская молодежь. Говорили громко, шутили, у самого подъезда посторонились, пропуская карету, которая остановилась у подъезда, и с интересом наблюдали, как вышедший швейцар вместе со слугой, сопровождавшим двух дам, помогает им сойти по откидным ступенькам кареты. Обе были в трауре, но траур одной можно было считать полутрауром: под ротондой было лиловое платье, да и шляпка была лиловая с серым с белыми цветочками, а вот другая была в глубоком трауре: в черной ротонде, черном платье и в траурной шляпке из черного крепа, с цветком из гагата.

— Кто эта молоденькая дама в столь глубоком трауре? — спросил Пушкин у Пущина.

— Это мадам Смит, — пояснил тот, — она дальняя родственница Егора Антоновича, вдова...

— Вдовушка? — обрадовался Пушкин. — Мне это нравится. И хороша собой! Что ж ты мне про нее не говорил?

Мадам Смит сошла по ступенькам кареты и уже на пороге дома взглянула в сторону лицеистов и сделала общий легкий поклон. Молодые люди ответили ей.

— Сам виноват, давно не был у Егора Антоновича, — тихо сказал Пущин. — Она француженка, после смерти мужа, англичанина, живет у Егора Антоновича в семье, очень милая и весьма приятная во всех отношениях женщина.

— Это мы проверим, во всех ли? — хохотнул Пушкин. — Или ты против? Тогда не буду мешать другу!

— Я не против, но как посмотрит на это Егор Антонович? К тому же она только что овдовела, двух недель не прошло.

— Егор Антонович — кисейная барышня, пошел он на хрен с его политесом! А мадам Смит не похожа на затворницу.

— Никак не могу понять, отчего ты так не любишь Егора Антоновича!

Карета отъехала, двери за дамами закрылись, и Пушкин сказал Пущину:

— Пошли? И запомни, для нас, молодых людей, вдова из общества — это подарок судьбы!

Госпожа Смит, сухощавая, с правильными чертами лица брюнетка, в черном шерстяном платье с белыми плерезами, однако, с шалью, накинутой на плечи, уже сидела на балконе с книгой в руке. Перед ней стоял маленький ломберный столик, на котором лежали письменные принадлежности, листы бумаги.

Сначала на балкон выглянул Большой Жанно и бархатым голосом сказал:

— Добрый день, мадам Смит, мы вас не побеспокоим?

— Рада вас видеть, Жанно! А кто это с вами? — улыбнулась она. — Попробую угадать? Это знаменитый Пушкин.

Пушкин встал на порог балкона и был теперь почти ровень с Большим Жанно, стоявшим на полу комнаты.

Он пристукнул ногой и представился:

— Александр Пушкин, недоросль...

— Да нет же, — посмотрел ему в глаза Жанно, — вполне дорос...

Пушкин улыбнулся, а мадам ничего не поняла, была она француженка, вдова англичанина, и сии тонкости диалога с каламбуром, прозвучавшие по-русски, остались ей непонятны.

— Мадам тоже пишет? — поинтересовался Пушкин.

— Егор Антонович попросил перевести пьесу для представления с лицедейскими, но я вижу, что перевести мало, надо кое-что и дописать. А почему вы у нас не бываете?

— Я не знал всех наших внутренних происшествий. Друзья не посвятили. Теперь все изменится, мадам, — улыбнулся Пушкин, — коли у Егора Антоновича такая прелестная родственница.

— Значит, вы будете участвовать в спектакле?

— Этого я вам не обещаю, я не охотник до лицедейства.

— А до чего же вы охотник?

— Не заставляйте, мадам, отвечать меня на этот вопрос. Я боюсь показаться нескромным, так сразу, едва познакомившись с вами...

— Вы не охотник до лицедейства, но мастер играть в слова. Вас трудно переиграть.

— Я не играю нынче, я искренен. Мой друг может подтвердить, что я всегда искренен. — Он посмотрел на Жанно.

Тот наклонил голову в одну сторону, в другую и пробормотал:

— Ну, разумеется... Я подтверждаю, мадам.

— Ну, разумеется, — ответила она. — Ведь вы — его друг!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

в которой Николай Михайлович Карамзин обедает с царской семьей. — Описание императрицы Марии Федоровны. — Камер-пажи. — Анекдоты Александра Львовича Нарышкина. — За честную службу сделайте меня арапом. — Истории граф Карамзин. — Государь интересуется княжной Туркестановой. — Нелединский-Мзлецкий получает заказ от императрицы на стихи по случаю бракосочетания великой княжны Анны Павловны и принца Оранского. — Стихи пишет Пушкин. — Нелединский-Мелецкий придумывает себе подагру. — Часы от императрицы юному стихотворцу. — Пушкин щупает в темноте престарелую фрейлину Волконскую. — Жалоба императору. — Князь Горчаков делает куверты и советует Пушкину не волноваться. — Осень 1816 года

Царская семья летом обедала то в Лебеде, то в Розовом павильоне, а вот сегодня собрались по-семейному, в Камероновой галерее: сам Александр Павлович, обе императ-

рицы, вдовствующая Мария Федоровна, прибывшая из Павловска, и Елисавета Алексеевна, супруга царя.

К обеду, по обыкновению, были приглашенные: начальник Генерального штаба князь Волконский; обер-гофмаршал Александр Львович Нарышкин, главный директор императорских театров, любимый Марией Федоровной за легкий нрав, анекдоты и шутки; престарелый сенатор князь Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий, толстый, маленький, плешивый; посланник одного из немецких домов, сухопарый немец с выпученными глазами на замученном лице, и впервые историограф Николай Михайлович Карамзин, который наблюдал и все примечал, две-три безгласные фрейлины.

У дверей столовой их встретил немолодой арап мрачного вида, с русским курносым лицом, в придворной ливрее с золочеными орлами.

Императрица Мария Федоровна появилась в сопровождении двух камер-пажей, дежуривших сегодня и сопровождавших ее повсюду; подростки были в зеленых галунных мундирах с красным воротником и казимириновых белых панталонах. Шла она, переваливаясь на высоких каблуках, и была так туго зашнурована, что еле дышала. Как и государь, императрица всегда приветливо улыбалась, так же, как и он, она была близорука, но лорнеткой, в отличие от сына, не пользовалась. На ней было короткое платье декольте с высокой короткой талией и с буфчатыми рукавчиками, на голой шее три нитки жемчужного ожерелья, у левого плеча, на черном банте, белый мальтийский крестик, белые лайковые перчатки и башмаки с высокими каблуками. Как впоследствии понял Карамзин, таково было ее ежедневное одеяние, исключения составляли только торжественные случаи. Сын оказывал императрице все знаки внимания, подчеркивал ее главенство, и потому она приковывала внимание и всех остальных. Один из камер-пажей ловко отодвинул и в меру придвинул стул, пока Мария Федоровна садилась. Двое других камер-пажей служили Елисавете Алексеевне, которая была тиха и неприметна, как мышь.

После императриц и императора стали усаживаться и другие.

Мария Федоровна положила веер на золотую тарелку справа, которую любезно приподнял ее камер-паж, потом

сняла и положила сверху перчатки, после чего паж убрал тарелку на столик у стены столовой. Карамзин обратил внимание, что камер-пажи служат за столом, в отличие от появившихся официантов, без перчаток.

За каждым двумя стульями встали официанты, напудренные, в белых перчатках, мундиры в галунах с орлами, на ногах — шелковые чулки, туфли с пряжками.

Мария Федоровна, не поворачивая головы, протянула назад к камер-пажу руку с тремя соединенными пальцами, которую юный паж вложил золотую с бриллиантами булавку; этой булавкой императрица сама ловко приколола к пышной открытой груди, на самый край декольте, салфетку с вензелем Александра.

Александр Львович Нарышкин, еще только усаживаясь, стал рассказывать, как некто преследует его просьбами помочь с зачислением в дворцовую прислугу.

— «Нет вакансии, милый», — отвечаю я ему. «Да пока откроется вакансия, — говорит проситель, — определите меня к смотрению хотя за какою-нибудь канарейкою». — «Что же из этого будет, что можно взять с канарейки?» — «Как что?! — удивился мой проситель. — Все-таки будет, пока не откроется вакансия, чем прокормить себя, жену и детишек!».

Он залиvisto рассмеялся, поддержали его и другие.

Он тут же рассказал, что один камер-лакей, при выходе в отставку, просил за долговременную и честную службу отставить его «не в пример другим» арапом. И опять залиvisto зашелся в смехе.

— Что ж, с его стороны это было очень разумно, а не смешно! — возразила императрица Мария Федоровна. — Жалсзанье, получаемое арапами, превышает жалованье прочей прислуги.

Попробовал пошутить и Карамзин. Он по-русски рассказал историю, как пришел в дом к одному вельможе, но того не оказалось дома. «Как записать вас?» — спросил лакей. «Историограф Карамзин!» Лакей, свесив язык набок, стал писать в книгу. Карамзин заглянул через плечо, лакей записал: «Истории граф Карамзин».

Императрица улыбнулась, но, кажется, не оценила его юмора. Что смешного в том, что Карамзина называли графом?

Мало-помалу завязался и серьезный разговор.

— У нас теперь Библия в моде, — продолжал говорить Карамзин по-русски. Он всегда старался говорить в обществе по-русски, и с этим пришлось считаться даже в царской семье, где разговор обыкновенно шел по-французски. — В газетах, в журналах говорят текстами Священного Писания, но лучше ли стали люди? Не вижу того ни в Москве, ни в Петербурге...

Государь улыбнулся, глядя на Карамзина, который своей вольной беседой нарушал всяческий этикет, и мягко заметил:

— А я вот, грешный, с начала событий двенадцатого года каждый день читаю по одной главе или из Святого Евангелия, или из Библии, я что, по-вашему, следую моде или, может быть, все-таки это есть веление сердца? — При этих словах он взглянул на фрейлину княжну Туркестанову, на которую лишь недавно стал обращать внимание.

Карамзин не стал возражать государю.

Немецкий посланник взглянул на Нелединского-Мелецкого и сделал «большие глаза», тот в ответ пожал плечами.

«Она очень мила, хотя уже не первой свежести, — подумал государь, — возможно, она моя ровесница? Но отчего она сохранила ту юную прелесть, которая только и бывает в краткие мгновения созревания? Матушка ее очень ценит, — значит, она умна! И эта восточная кровь, страсть, но почему ни разу не было слышно ни о каких ее романах?! Надобно проверить, в чем тут дело, что за тайна?»

— Юрий Александрович, — обратилась императрица Мария Федоровна к Нелединскому-Мелецкому на своем наречии, которое с большой долей натяжки можно было считать за русское, — я шестого июня устраивать празднество в Павловск по случаю бракосочетания великой княжны Анны Павловны и принца Оранского. Десятого июня они уезжать из России... Я хотел бы заказать вам стихи на этот случай, вы сами найдете главную мысль, напомню вам только, что принц Вильгельм храбро сражался при Ватерлоо...

Вдовствующая императрица говорила очень быстро, глотая окончания слов, отдельные буквы, и понять ее было совершенно невозможно, когда к тому же она говорила еще и по-русски, на языке, которого она за все сорок лет, прожитые в России, так толком и не выучила.

— Осмелюсь вам сказать, ваше величество, мне думается, что это лучше сделает молодой поэт, не обремененный годами, как ваш покорный слуга. Вот ежели б здесь был шурин Николая Михайловича князь Вяземский... Вы помните его милый стих на «Отъезд Вздыхалова», в нем подразумевается князь Шаликов. Я вам читал когда-то. «С собачкой, с посохом, с лорнеткой и с миртовой от мошек веткой, на шее с розовым платком, в кармане с парой мадригалов и чуть звенящим кошельком по свету белому Вздыхалов пустился странствовать пешком». — Юрий Александрович первым рассмеялся, заулыбались и другие.

— Но князя Петра, к сожалению, в Петербурге нет. Вот Николай Михайлович говорил мне наемни об одном стихотворце, воспитаннике Лицея... — вспомнил Юрий Александрович.

— Это молодой Пушкин, — сказал Карамзин. — Надежда нашей словесности, как считают многие.

— А вы как считаете, Николай Михайлович? — спросила Елисавета Алексеевна; от смущения на ее лице выступили красные пятна. Кроме того, от нее не укрылось, что Александр чересчур обращает внимание на княжну Туркестанову, переходя все границы приличия.

— Перо легкое, пишет живо, остроумно, но не совсем еще зрело, — ласково улыбнувшись, ответил ей Карамзин.

— Хорошо, — согласилась Мария Федоровна, — пусть написать ваш Пушкин, но вы, Юрий Александрович, поправьте рукой гения.

— Повинуюсь, ваше величество, и немедленно, сразу после обеда, еду в Лицей... — сказал старик Нелединский-Мелецкий.

Через некоторое время по галерее вдоль ряда античных бюстов шли маленький Нелединский-Мелецкий, мягко ступавший в бархатных сапожках, и сухопарый высокий немецкий посланник в длинных чулках и туфлях с пряжками

— Как можно не слушать царя?! — возмущенно говорил посланник Нелединскому-Мелецкому о Карамзине. — Как можно говорить так?!

— Карамзину можно, — посмотрел на него Нелединский-Мелецкий и пожал плечами, как давеча за столом.

— Глупый страна, где можно так говорить царь, — фыркнул немец и отвернулся лицом к пруду.

Посмотрел туда и Нелединский-Мелецкий. На берегу пруда он увидел лицеистов, толпу разновозрастных юнцов в обносившихся, куцеватых сюртуках, кормивших хлебом черных и белых лебедей.

— А княжна Туркестанов, это новый фаворитка? — поинтересовался немецкий посланник.

— О! — обрадовался придворный, не ответив на вопрос немца. — Никуда ехать не надо. Лицейские здесь. Но вы обратили внимание, как государь смотрел на Туркестанову и даже говорил с ней после обеда несколько минут. Можете делать выводы, сударь.

— О да! — кивнул немец и присвистнул: — Фьюить!

Нелединский-Мелецкий понял, что его свист что-то значит, но не понял что именно, а потому наугад добавил со скабрёзным личиком:

— Фьюить-фьюить-фьюить! — и несколько раз двинул туда-сюда оттопыренным мизинчиком правой руки.

Немец зашелся в смехе, как малое дитя, и тоже подвигал мизинцем взад-вперед.

Вскоре именитый царедворец сидел на чугунной скамейке около пруда, кругленький, маленький, с вытянутыми вперед перекрещенными ножками в бархатных сапогах, и наблюдал за Пушкиным, который на коленях заканчивал стихи. Он достал массивные золотые часы и посмотрел на них. В это время Пушкин приблизился и поднес ему стихи.

— Так-так! — Он взял тот листок бумаги, на котором почти начисто было написано несколько строф, и стал медленно читать.

Пушкин, чтобы не мешать царедворцу и поэту, отошел в сторону. Тот поманил его к себе пальцем, снова в его присутствии посмотрел на часы.

— Что ж, — произнес раздумчиво Нелединский-Мелецкий, — двух часов не прошло, как стихи готовы. В тебе есть что-то от Батюшкова. Знаком с ним?

— Знаком, — сказал Пушкин. — Ваше замечание — честь для меня.

— Стихи умелые. Смею тебя заверить, что пойдут. С небольшой переменою, но пойдут... — И, перехватив взгляд

Пушкина на часы, спросил: — Нравятся? Подарок государыни... — Он ободряюще кивнул ему и покачал часы перед собой, держа за золотую цепь. — Жди такие же. Петруша Вяземский мне тоже про тебя говорил — был прав. Дядюшку переплюнешь, если уже не переплюнул. — Он рассмеялся, а Пушкин теперь смотрел на его бархатные сапоги — князь приподнял сначала один сапожок, потом другой: — Тоже нравятся?

Пушкин в ответ улыбнулся и кивнул.

— Скажу тебе по секрету, сапоги — моя хитрость. Видишь ли, при дворе надо являться в шелковых чулках, а я не люблю чулки. Их надо натягивать, они постоянно морщат, ноги кривые. Короткое исподнее тоже не люблю, ляжки мерзнут. Вот я и придумал себе подагру. При подагре ноги в тепле держать надо! Никто не возражает! Императрица милостиво разрешила. — Он залиvisto рассмеялся. Пушкин поддержал его. — О! — Нелединский-Мелецкий, прервав смех, зацокал и закивал головой, заметив двух дам, шедших по дорожке.

Одна из них, помоложе и помиловидней другой, взглянула в их сторону. Пушкин раскланялся — это была мадам Смит. Когда они прошли, Нелединский-Мелецкий взглянул на Пушкина.

— Мадам Смит! — пояснил тот и тоже поцокал языком, как и престарелый царедворец.

Старик рассмеялся.

— Мадам? — спросил он.

— Мадам, — согласился Пушкин. Он почему-то вспомнил, что этот милый старичок написал за свою жизнь всего несколько прелестных стихов и кучу непотребных. Видно было, что самая грубая чувственность играет в нем до сих пор. — Молодая вдова, — уточнил Пушкин и сделал печальный вид, подобающий сообщению.

— Вижу, вижу.

Старик тоже с виду запечалился, однако глазки его по-юношески шаловливо блестели. Он снова посмотрел на часы, потом на Пушкина.

— А может, попросить для тебя у государыни перстень?! — спросил он хитро. — Нет, пожалуй, лучше часы. Они тебе надобней. А перстень еще сдуру подаришь.

Оба рассмеялись, понимая друг друга.

Как Нелединский-Мелецкий и обещал, императрица Мария Федоровна пожаловала Пушкину золотые часы-луковичку на массивной золотой цепи. С нескрываемым удовольствием Пушкин показывал их друзьям.

Стояли они в коридоре, который вел из лицейского флигеля во дворец.

— Дай, взгляну! — чуть ли не вырвал у него часы Малиновский. — А вокруг циферблата — маленькие бриллиантики, видишь? — присмотрелся он.

— Знатные часы, Француз! — сказал рыжий Данзас, взъерошивая волосы. — А как ты их получил? Такие получают все камер-пажи от государыни при производстве в офицеры.

— Императрица Мария Федоровна передала мне через Энгельгардта. Стихи мои пелись во время ужина!

— Поэт не должен заискивать перед царями! — как всегда, заикаясь и волнуясь, гордо сказал Кюхельбекер, что, впрочем, не мешало ему с интересом разглядывать часы. — Вот я бы... — начал было он, но не договорил, потому что его оборвал Малиновский:

— Ты еще такой чести не удостоился!

— Какой еще чести? — вскричал Кюхельбекер. — Писать стихи на случай для двора?

— А хотя бы! Кишка тонка, глист! — вспомнил он, хотнув, детское прозвище Кюхельбекера.

Тот побледнел и несколько раз подряд нервно зевнул.

— Держи, пиит! Заслужил! — отдал часы Пушкину Малиновский и первым устремился с грохотом по коридору.

За ним помчались остальные, а Пушкин замешкался, убирая часы в карман.

Коридором лицеисты обыкновенно проходили к дворцовой гауптвахте, где перед вечерней зарей играла полковая музыка. В этот дворцовый коридор между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елисаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и княжна Волконская, брат которой, Петр Михайлович Волконский, был в ту пору начальником Генерального штаба.

Коридор был темен. Лицеисты шумной толпой миновали его, лишь Пушкин еще стоял, когда увидел тень, как ему показалось, премиленькой горничной Наташи, мелькнув-

шую в просвете одного из окон. Он ринулся туда, чтобы перехватить ее, и ему это удалось, он прижал ее к стене, она слабо охнула, едва сопротивляясь. Он обнимал ее, нимало не стесняясь, дав полную свободу рукам.

— Наташенька, свет мой! — шептал он, удивляясь, что руки его все время натываются на твердый корсет, тогда как Наташа корсета не носила и под юбками у нее было голое тело. — Ну, поцелуй меня!

Как вдруг дверь одной из комнат открылась, и свет хлынул в темный коридор. Княжна Волконская, а это была она, увидев перед собой подростка, вдруг истерично завопила. Пушкин замер, пораженный как громом. Княжна была немолода и нехороша собой, классический случай старой деви, и во фрейлины она попала не за красоту и молодость, как частенько бывало, а за происхождение и связи.

— Простите, княжна! — пролепетал Пушкин, но она, словно не услышав его, снова заголосила на одной ноте, перебирая в воздухе костлявыми руками.

— Простите, простите, — поклонился несколько раз Пушкин и побежал по коридору, потому что стали открываться двери других комнат.

Пушкин примчался к гауптвахте, где на веранде играла полковая музыка. Толкнул в бок торчавших там Дельвига с Пушиным.

— Что делать? — спросил он. — Я только что в коридоре обознался и облапал княжну Волконскую.

— Эту старую гримзу? — ахнул Пушин.

— Ее. И не только облапал, но и поцеловал. И не только поцеловал, но и лез под юбку.

— Ты бы запросто мог стать у нее первым! — заметил Дельвиг.

— Оставь шутки, Тося! Меня выгонят к черту. Она фрейлина императрицы. Или уж, во всяком случае, ждут большие неприятности.

— Может, она никому не скажет? — предположил Пушин.

— Не скажет?! — вскричал Пушкин. — Она голосила на весь дворец! Как будто я лишал ее девственности.

— А ты?.. Не? — намекнул Дельвиг.

— Иди к черту! — возмутился Пушкин. — Жанно, надо бы как-то поправить дело. Я напишу ей письмо с извинениями! — придумал он. — А?

— Лучше открыться Егору Антоновичу и просить его защиты, — посоветовал Пущин. — Другого выхода нет.

— Нет, только не это...

— Тогда жди!

— Чего ждать? Вот так вот ни за что ни про что погибнуть? Нет уж, я ей стихи напишу!

— Не поможет. Не нужны ей твои стихи, честь дороже! — продолжал иронизировать барон Дельвиг.

— Так что же делать, — вздохнул Пушкин, не обращая на него внимания. — Может, Саша Горчаков что посоветует? А?

Князь Горчаков повертел перед собой белый лист бумаги, как фокусник, показал его Пушкину и быстро, по-деловому, свернул дипломатический конверт, не прибегнув к помощи ножниц.

— Каково? — спросил он Пушкина, хвастаясь своим умением.

Сидели они в лицейской библиотеке, где за отдельными столиками занимались и другие лицеисты.

— И на эти пустяки вы тратите время с Егором Антоновичем?

— С этих пустяков начинается служба, — наставительно сказал князь Горчаков. — Как говорит Егор Антонович, таковые куверты делают только в Иностранной коллегии, по принятому токмо в ней обычаю.

— Хорошо, прекрасный конверт! — Он повертел конверт в руках. — Просто великолепный. А мне-то что делать?

— Без ножниц! — напомнил князь Горчаков.

— Без ножниц, — согласился Пушкин.

— Саша, — сказал ему Горчаков, — а что касается тебя, то дам тебе совет: перестань проверять, что находится под каждой юбкой! Там всегда одно и то же. И ничего больше!

— Смех смехом, а пизда кверху мехом, — пробормотал Пушкин. — Что же мне делать? Все только смеются...

— А помочь бедному стихотворцу никто не хочет. Так, что ли?

— А хотя бы и так!

— Ну что ж, давай рассуждать логически. Старая фрейлина Волконская — сестра начальника Генерального штаба князя Петра Михайловича Волконского, она первым делом пожелает брату? Согласен?

— Вероятно, — согласился Пушкин.

— А он — государю! Волконский каждый день у него с докладом. К тому же он его друг детства. Государь вызовет Энгельгардта и прикажет!

— Что прикажет? — вырвалось у Пушкина.

— А это уж как он решит! Государь у нас — самодержец! Но, логически рассуждая, могу предположить следующее: если государь сам лезет под каждую юбку, то... значит, он должен быть снисходителен к ловеласам... А поскольку ты попал впросак со старой девой, я думаю, что государь только посмеется и назначит незначительное наказание. Наложит на тебя епитимью.

— Твоими устами да мед бы пить, — вздохнул Пушкин. Он достал часы и посмотрел на них.

— Нет, я думаю, простят все-таки, — усмехнулся своей тонкой, как ему казалось, остроте Горчаков. — Ты ведь теперь придворный поэт! Поэтам много прощается! А я вот в службу собираюсь, учусь делать конверты и различные пакеты, писать депеши...

— Ты со своими связями мог бы...

— Связи связями, а конверт запечатай правильно...

Пушкин, пока они разговаривали, смастерил из бумаги хлопушку и громко ею хлопнул.

— Француз, — оторвался кто-то от книги. — Иди в сад, не мешай.

— Иди в сад, Француз, — согласился с замечанием князь Горчаков.

— Иду в сад! — объявил во всеуслышание Пушкин, встав во весь рост, после чего глубоко поклонился присутствующим.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,

в которой Пушкин посещает историка Карамзина и дает ему советы. — Болтовня Пушкина с Соней Карамзиной. — Комендант Царского Села Захаржевский. — Осень 1816 года

Пушкин сидел в гостиной карамзинского домика. На стене, где прежде красовался портрет историка, теперь были только набивные цветочки по забеленной штукатурке.

Карамзин вошел в гостиную.

— Здравствуйте, Саша, — сказал он, протягивая руку вставшему ему навстречу Пушкину. — Я ничего не буду говорить, не в моих правилах вмешиваться в такие дела, а вот следом идет супруга, она устроит вам головомоюку...

Действительно, следом вошла Екатерина Андреевна, как всегда в простеньком платьице.

— Здравствуйте, милый друг, признавайтесь в ваших прегрешениях.

— Не в чем признаваться. Виноват только в том, что обознался, если вы имеете ввиду случай с фрейлиной императрицы.

— А весь двор уже шумит об этом, и только об этом, — сказал Карамзин. — Государь недоволен, советовался со мной: может быть, выпустить вас всех в службу поскорей, чтобы не беспокоили двор, или перевести Лицей куда-нибудь в другое место.

— Я всегда подозревала в вас необузданность африканских страстей, — сказала, улыбаясь, Екатерина Андреевна. — Мы подумаем, не отказать ли вам от дома, ведь у нас дочери скоро на выданье будут, — пошутила она.

— Не отказывайте! — взмолился Пушкин, складывая перед собой руки. — Ваш дом — единственное место в Царском, где мой ум и сердце не находятся в противоречии. Что я буду делать без вас? — И заинтересованно спросил Карамзина: — Как продвигаются дела, Николай Михайлович, с печатью первого тома?

— Лучше не спрашивайте, первый лист будет готов едва ли не через месяц-полтора, хотя уже дано вперед 8000 руб-

лей. — Карамзин стал мрачен. — Примечания тяжелы, прежде всего для глаз, и даже для меня оттого скучные: каковы же будут для читателей? — Он махнул рукой. — Я требую, а типография смотрит на меня медведем... Тоска зеленая. Хуже нет истории, как быть издателем! Когда-нибудь меня поймете. Пойдемте ко мне, я вас заставлю выслушать предисловие к истории, которое я закончил править перед отдачей в набор... Катерина Андреевна, пришли к нам Соню, пусть принесет чаю...

Екатерина Андреевна переглянулась с Пушкиным. Тому показалось, что смотрит она со значением.

Пушкин с хозяином перешли в его кабинет, который находился во флигеле. Там Карамзин усадил его на диван в первой комнатке (кабинет был в две комнаты) и стал читать корректурные листы; Пушкин внимательно слушал.

— «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков их потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего...» — Карамзин остановился и посмотрел на Пушкина: — А было так: «История для народа то же, что Библия для христианина». Может быть, так и оставить? Первая фраза задает тон всему.

— Может быть, вначале было и проще, но тон взят вернее теперь... История — это в некотором смысле священная книга народов!

Пушкин осторожно глянул в окно и увидел, что к ним прямо через двор идет Соня Карамзина с подносом. Соня была дочкой Карамзина от первого брака. Он улыбнулся и подумал, не преударить ли и за ней, но отогнал от себя эту мысль. Четырнадцатилетняя Соня была мила той мимолетной прелестью, которую дает этот возраст даже любой дурнушке, а Соню дурнушкой назвать было нельзя.

— Можно, папа? — спросила, заглядывая в кабинет, Соня. Она принесла на подносе чай и подсушенный в печи ржаной хлеб, лежавший ломтиками на тарелке. — Папа любит со ржаным хлебом чай пить, — пояснила она Пушкину. — Может быть, вам принести конфет?

— Ну уж коли не принесли, так и не надо, — махнул рукой Пушкин. — Я ржаной хлеб тоже люблю. Как твой маленький братец?

Лицо Сони засветилось от счастья.

— Он тоже ржаной хлеб любит. Мякиш ему дашь, он ручонкой держит и сосет его.

— Кланяйся ему, — сказал Пушкин. — И передай, что я непременно зайду к нему поиграть.

Соня засмеялась.

— Непременно передам.

Когда он уходил от Николая Михайловича, то остановился поболтать с Соней, которую спросил между прочим и о фреске на стене. Соня, смеясь, рассказала, что новый начальник Царского Села полковник Захаржевский, сердитый за что-то на Карамзина, приказал закрасить все фигуры, хотя Карамзин сам просил закрасить, но только его. Таким образом творение кисти реставратора Бруни было спрятано под слоем краски.

Пушкин уже слышал про этого хромого генерала, храброго вояку, но весьма недалекого человека, и пересказал историю, которая много всех посмешила, когда ее рассказывали в гусарской компании.

Этот забавный случай произошел в деле при Фер-Шампенуазе в 1814 году во Франции. Как известно, великий князь Константин Павлович испросил позволение у государя пустить в дело гвардейских кирасир, не принимавших участия в битвах с самого Лейпцига. Надо было атаковать французскую пехоту. Дело происходило рано утром, еще многие на бивуаках спали. Вдруг затрубили тревогу; все вскочили впопыхах, и полковник Захаржевский, генерала он получил при выходе в отставку, старый уже дивизионер, встал второпях, и спросонья камердинер подал ему енотовую шубу наизнанку, т.е. мехом наружу. (Ему, как человеку больному, дозволено было великим князем носить шубу; он один во всем корпусе пользовался этим позволением.) Время стояло холодное. Накануне шел дождь, шуба промокла и была выворочена, чтобы мех просох; так камердинер и подал ему. Захаржевский надел каску, лядунку, палаш сверх шубы и толстые большие сапоги со шпорами. В этом виде он походил на огромного медведя.

— Вы видели полковника? — поинтересовался Пушкин.

— Нет, — сказала Соня. — Он не был у нас.

— Он необъятных размеров и еле двигается от своей толщины. Можете представить себе, как он уселся на лошадь,

выхватил из ножен огромный палаш и понесся вихрем во главе своего дивизиона. Французские пехотинцы, большею частью из молодых рекрутов и неотесанных мужиков, видя эту гигантскую массу русских кирасир, скакавших на них, да еще впереди одного дивизиона медвежьей фигуру огромного Захаржевского, обратились в бегство и побросали ружья. Многие из них сдались. Тогда кавалергардские эскадроны ворвались в ряды пехоты и начали было их рубить палашами. Император Александр Павлович, свидетель этого дела и бывший в это время сам в огне, поскакал в каре и остановил кавалергардов, говоря им, что сдавшихся не бьют. Фигура Захаржевского много способствовала успеху дела. Офицеры и сам государь долго смеялись и рассказывали о том.

Соня тоже смеялась и от смеха хорошела на глазах. Пушкину нравилось, как она берется ладонями за щеки, зардевшиеся от смеха, как пытается остановиться, но не выдерживает и снова прыскает. Пушкин тоже не выдержал и поцеловал ее в щеку, чтобы хоть как-то выразить свое умиление, а Соня не обиделась, а только отмахнулась от него, как от назойливой мухи, и сказала:

— Я теперь боюсь, что ежели увижу Захаржевского, то непременно буду смеяться. Что ты наделал!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ,

в которой государь обсуждает с Энгельгардтом конфуз с фрейлиной Волконской. — «Старушка, может быть, в восторге от ошибки молодого человека». — Государь вызывается быть адвокатом Пушкина. — Пушкин пишет письмо фрейлине с извинениями. — Карикатура Пушкина на Энгельгардта. — Любовные письма мадам Смит и Катерине Андреевне Карамзиной. — Мадам Смит у сестер Велио. — Французская эпиграмма. — Пушкин соблазняет мадам Смит и ретируется через балкон. — Осень 1816 года

Государь прогуливался по галерее в сопровождении Энгельгардта и говорил ему:

— Что же это будет? Твои воспитанники не только снимают через забор мои яблоки, бьют сторожей садовника Лямина, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей...

— Вы меня предупредили, государь, — почтительно преклоняя голову, отвечал ему Энгельгардт. — Мне, разумеется, все известно, и я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянье; приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление...

— Так в чем там была соль? — поинтересовался государь, чуть улыбаясь. — Князь Петр Михайлович не входил в подробности.

— Понимаете ли, государь, молодость имеет свои недостатки — излишняя пылкость, впрочем, вполне невинных шалостей.

— Не понимаю? — поднял брови государь.

— Он думал, что это горничная княжны, хотел полюбезничать... Я уже сделал ему строгий выговор!

— *La vieille est peut-etre enchantee de la meprise du jeune homme, entre nous soit dit*, — шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту. — Так и быть, я возьму на себя адвокатство за вашего Пушкина, но скажи ему, чтоб это было в последний раз. Пусть пишет письмо.

Он слегка пожал руку Энгельгардту и пошел быстрым шагом по галерее к пандусу, потому что заметил внизу, у пруда, императрицу.

Елисавета Алексеевна тоже заметила его.

Энгельгардт стоял и думал вослед Александру Павловичу над французской фразой государя: шутка про то, что старушка, может быть, в восторге от ошибки молодого человека, с его точки зрения была сомнительна, но ему не хотелось ставить под сомнение нравственность государя, хотя он, безусловно, знал, что говорили о ней разное, и все же, поразмыслив, он пришел к выводу, что в устах государя эта фривольная шутка просто свидетельствовала о его, государевой, бесконечной доброте, о его любви к воспитанникам и просто о хорошем настроении в сегодняшнее утро, и никак ни о чем другом.

Егор Антонович посетил воспитанника Пушкина в его кельюшке, где тот сочинял письмо «старой мартышке» княжне Волконской. Прежде письма Александр написал французскую эпиграмму на княжну и был ею доволен. Там она

называлась старой мартышкой. Эпиграмма, впрочем, была спрятана в ящике конторки.

Встречая директора, Пушкин встал:

— Дописал, Егор Антонович, и даже перебелил.

Взяв лист бумаги, директор пробежал глазами написанные строки.

— Ну что ж, превосходно! Почерк хорош! Слог отличный! Твой французский безукоризнен! Во французском у тебя нет ошибок. Княжна, я думаю, удовлетворится сим извинением. Благодарю государя в своих молитвах, он вызвался быть твоим адвокатом.

— Благодарю прежде всего вас, Егор Антонович! Это вас я должен помянуть в моих молитвах!

— Сначала государя. Всегда сначала государя! — подчеркнул Егор Антонович.

— А я думал, сначала Господа Бога! — съязвил Пушкин.

Энгельгардт положил лист бумаги на конторку, где лежали черновик и чистые листы бумаги, укоризненно покачал головой и вышел. Пушкин тут же присел за конторку и принялся набрасывать какой-то рисунок на полях черновика.

Энгельгардт шел по коридору и вдруг вспомнил, что государь с ним говорил и о скорейшем выпуске лицейских, а потому он хотел поговорить с первым поэтом о стихах на окончание, не пора ли уже приняться за их сочинение и не возьмется ли за них сам Пушкин. Он поспешно повернул назад.

Он вошел в номер Пушкина, когда тот что-то увлеченно рисовал. Услышав за спиной шаги и обернувшись, Пушкин растерялся, однако успел быстро спрятать листок бумаги под другие. Энгельгардт заметил это и спокойно протянул к нему руку:

— Дай-ка!

Пушкин не мог противиться, и директор завладел листком. К его удивлению, он увидел на нем злобную карикатуру на себя.

— Вот ваша благодарность, господин NN, — печально сказал он и снова вышел в коридор, положив листок на конторку и забыв про стихи. Он шел, подергивая плечами от чувства неприязни и гадливости, которое возникло в нем при очередном свидетельстве людской неблагодарности.

Пушкин взял в руки карикатуру, внимательно посмотрел на нее, потом добавил несколько штрихов.

В этот момент заглянул к нему Большой Жанно.

— Ушел?

— Ушел, — сказал Пушкин и усмехнулся. — Но сначала перешел... на «вы», что, как ты знаешь, выражает у него высшую форму неодобрения. Право, он смешон. В своих кюлотах, чулках и туфлях! Что-то есть в нем лакейское...

— Ты же знаешь, что при дворе положено ходить только в коротких штанах! — напомнил Пушин. Он не любил, когда Пушкин задевал Егора Антоновича.

— Однако князь Нелединский-Мелецкий в туфлях и чулках не ходит, не расшаркивается, а носит сапожки! — парировал Пушкин. — Все зависит от человека. Ну да Бог с ним! Посмотри-ка, Жанно, вот это послание. — Пушкин достал из ящичка конторки совсем другое письмо.

Жанно, присев на кровать, стал читать послание, но почти тут же с удивлением взглянул на друга:

— Это же любовное послание? Надеюсь, не княжне?

— Конечно, нет... Это...

— Мадам Смит?

— Не только ей. Я его пошлю в два адреса.

— Кому еще? — удивился Жанно.

— Я не могу открыться. Но они друг друга не знают, так что всякая случайность исключена.

Жанно снова заглянул в текст письма, потом поднял глаза на Пушкина:

— Вторая тоже вдова?

— С чего ты решил? Нет.

— Посмотри, ты отправил ее мужа на небеса.

Пушкин взял письмо и принялся хохотать.

— Нет, ее муж здоровствует! И дай Бог ему здоровья! Надо же, не заметил. Вот следствие лени, во втором письме исправлю.

— А если письмо попадет Егору Антоновичу? Ведь он тебя узнает по почерку!

— Будем надеяться, что оно попадет адресату. А вот взгляни: на княжну эпиграмма! — Он достал листок из ящичка конторки.

— Ты неисправим, — покачал головой Пушин.

Мадам Смит была с визитом у сестер Велио; многие царскосельские дамы, по связи старшей сестры с императором, о чем знали все в Царском Селе, искали их благосклонности. Впрочем, принимала сегодня только старшая сестра София.

— Этот юный Пушкин заставляет о себе говорить не только как о поэте, — сказала молодая вдова Софии Велио. — Как ты думаешь, Софи, это правда, что государь приказал Егору Антоновичу его высечь? Егор Антонович это отрицает, я его спрашивала. Но при его деликатности он может и скрывать это? Ведь он не исполнил приказания своего государя?

— Мне думается, Мария, это — сплетни... — сказала София. — Государь добр; лицеистов никогда не секли; к тому же невелика шалость... Каждый может обознаться — ночью все кошки серые...

— Так это было ночью, Софи? — с придыханием спросила мадам Смит.

— Может, и вечером, но было темно. Но эта Волконская такая мерзкая особа, похожа на старую мартышку, мне просто жаль обознавшегося молодого человека...

— Я с ним едва знакома, но он показался мне таким милым... Я даже была бы не против, чтобы он обознался так со мной... — пошутила она.

— Ты это серьезно?

В это время в гостиную вошел слуга и объявил:

— Князь Горчаков, барон Дельвиг, господа Пушкин и Яковлев.

— Проси, — сказала София, взмахнув веером. — Легко на помине, шалун. — И посмотрела на мадам Смит. Та, неожиданно для себя, вспыхнула. — Хотя подожди... — Лакей остановился и ждал приказаний. — Мне кажется, Мария, если ты подождешь в соседней зале, — тихим голосом предложила она мадам Смит, — я смогу прислать к тебе этого безумца. — Она видела, что Мария колеблется. — Ну, решайся же!

— Я пошутила...

— Нет, я заметила, как ты вспыхнула, когда мы заговорили о нем...

— Если... — Мадам Смит встала и замешкалась.

— Ну же!

— Может, на минуту. А повод?

— Брось, меньше об этом думай, я пришлю его, и все тут. А ты уж найдешь, о чем с ним поговорить...

Мадам Смит недоуменно передернула плечами и все же вышла в соседнюю залу, неплотно притворив за собой дверь.

— Зови, голубчик, лицейских, — сказала София Велио лакею.

Лакей вышел, на сей раз оставив дверь открытой, и через мгновение появились лицейские, ожидавшие приглашения в прихожей. Миша Яковлев, шедший впереди, как всегда кого-то изображал.

— Я так рада вам, господа. На той неделе мы почти не принимали, татап до сих пор немного больна. Надеюсь, мое общество вам не наскучит.

— Сударыня, какие прекрасные розы! — сказал князь Горчаков, заметив букет свежих чайных роз.

— Это государь прислал татап из своей оранжереи, узнав о ее болезни, — потупившись, сказала София Велио. — А вы, Пушкин, большой шалун! И не вздумайте отрицать, в Царском Селе все становится известным тотчас.

— Если бы вы еще нам сказали, от кого вы узнали про это происшествие, — усмехнулся Пушкин.

— Дерзите, милый! — игриво отшутилась София.

— Такие уж мы — шалуны! — развел руками Пушкин. — Кроме того, княжна должна быть мне благодарна, она теперь, как никогда, в центре внимания.

— Александр удостоил ее своей эпиграммы, — сообщил Горчаков. — Позволь, я прочитаю Софии? — спросил он Пушкина.

— Читай, — небрежно бросил Пушкин.

— Погодите, князь, — попросила София. — Александр, — взяла она под руку Пушкина, — у меня к вам просьба. Вы простите нас, я сейчас вернусь... — сказала она остальным.

Она провела Пушкина в соседнюю с гостиной комнату, где укрывалась мадам Смит.

... И оставила, ничего не объяснив, его один на один с молодой вдовой, на сей раз плотно притворив дверь комнаты и на прощание выразительно посмотрев ему в глаза.

Они долго смотрели друг на друга, ничего не говоря. Черное шло к ней, а эти белые батистовые плерезы, сколько в них было грусти и томления. Он усмехнулся.

Наконец она спросила:

— Это вы мне писали?

Он кивнул.

— Да как вы посмели? И еще смеетесь?— спросила она, и голос ее предательски дрогнул.

Пушкин сделал шаг к ней.

— Ой! — сказала она.

Когда София Велио вернулась в гостиную, Яковлев уже сидел за роялем и наигрывал романс, пробуя голос.

— Где обещанная эпиграмма? — поинтересовалась она, как бы между прочим, у князя Горчакова.

— Эпиграмма французская, — уточнил князь и добавил:

— Воля ваша — слушайте:

On peut tres bien, mademoiselle,
Vous prendre pour maguerelle,
Ou pour une vieille guenon,
Mais pour une garce, — oh, mon Dieu, non.

София Велио рассмеялась.

— Вот и я говорю, что Волконская похожа на старую мартышку. Я сочувствую Александру...

Смех Софии доносился в комнату, где возле окна, запутавшись в портъере, задыхаясь от страсти, целовались Саша Пушкин и мадам Смит. Он прижимал ее к стене, и она все более и более чувствовала, что не может далее сопротивляться его неистовому напору.

— Подождите, подождите, — шептала она. — Мне что-то там давит... В ногу...

— А! — вспомнил он. — Это часы в кармане.

Он подвинул ногу в сторону и снова принялся за мадам Смит, опытно, по-молодецки, управляясь с ее платьем.

— А что за часы? — спросила она, задыхаясь.

— Государыня подарила...

— Государыня? Вам?

Затрещала, падая, тяжелая портъера. Повалились на пол и они.

В гостиной слышали шум из соседней комнаты. София села за рояль рядом с Яковлевым.

— Играйте! — приказала она.

И они заиграли польский в четыре руки.

Князь Горчаков, улыбнувшись, покачал головой.

София посмотрела на князя и тоже ему улыбнулась. Барон переглянулся и с Софией и с князем. Все всё поняли.

Но никто ничего не сказал.

В это время в гостиную снова вошел слуга и объявил:

— Его величество государь император Александр Павлович!

Лицейские повскакивали со своих мест. Музыка оборвалась. София растерялась, не зная, как себя вести в этой ситуации. Она смотрела то на лицейских, то на закрытую дверь соседней комнаты, то на проходную комнату, откуда уже слышались приближающиеся шаги императора.

Пушкин и мадам Смит уже поднялись с пола, но Пушкин никак не мог застегнуть панталоны.

— Ну же! — волновалась мадам Смит. — Это — государь! Боже! Если он войдет?!

— Черт! Панталоны новые, а нитки гнилые! Черт бы побрал Энгельгардта!

— Боже, при чем здесь дядюшка?

— Панталоны новые сшил, а на нитках сэкономил, — пояснил Пушкин.

Придерживая панталоны на поясе рукой, Пушкин присел и стал шарить по полу возле окна. Наконец он нашел, что искал, и показал мадам Смит. Это был вырванный с мясом крючок, на котором они держались.

— О нет! Дядюшка не виноват! — обрадовалась мадам Смит. — Вы сами так сильно тянули, — обрадовалась французенка, разглядывая крючок. И вдруг, схватившись за голову, ужаснулась: — Вы же не можете идти в гостиную? Что же теперь делать?

— Я в окно, — прошептал Пушкин. — Одно лишь слово. Вы меня любите? Когда еще?

— Это уже много слов! Боже, я не знаю! — Она посмотрела на его панталоны, там, где он держал руку. — Нужна булавка! Как вы пойдете?

— Пустяки! Скажите когда?

— Все так неожиданно! Я ничего не почувствовала...

— Скажите! Я не переживу долгой разлуки. Давай у тебя. Я знаю, где твоя комната... Могу пробраться хоть ночью...

— Нет! Нет! Я не могу. Только не дома. Егор Антонович...

— А где?

— Не знаю... И не пишите мне больше, письмо могут перехватить... Милый! — На нее вдруг нахлынули чувства, и она бросилась к нему в объятия.

Пушкин тоже обнял ее, отпустив пояс, который придерживал, и панталоны при долгом поцелуе упали на пол. Злополучные часы грохнули об пол.

Последний лицеист покидал гостиную, когда раздался этот характерный стук. Император насторожился и посмотрел вопросительно на Софию, та пожала плечами. Мало ли что роняют слуги. Тогда, приблизившись к ней, император обнял ее.

— Нельзя, ваше величество! — прошептала девушка и показала глазами на соседнюю комнату.

— Там все-таки кто-то есть?

София многозначительно кивнула.

— Вы кого-то прячете от меня? — улыбнулся государь.

— Там лицеист Пушкин пишет в альбом моей приятельнице.

— В альбом? — переспросил глуховатый государь, наклонясь к Софии.

— Нуда, кажется... В альбом... В такой... В кожаном переплете... — нарочито погромче сказала София. — Она в трауре, — прошептала София. — По мужу.

Когда государь, открыв дверь, вошел в комнату, там у окна, едва прикрытого, стояла насмерть перепуганная мадам Смит и прижимала к груди альбом в кожаном переплете. Тяжелая портьера лежала на полу.

— Ну как, написал? — улыбнулся государь, сделав вид, что ничего не замечает.

Онемевшая мадам Смит в ответ только кивнула.

— А она мила, — сказал он Софии и снова обратился к мадам Смит: — Ну же, очнись, дитя! Горе не вечно. — И вдруг удивился: — А где сам поэт? — Дамы молчали. — Понимаю, — сказал государь, — он опасается встречи со мной после этой истории с княжной Волконской. Пусть не опасается.

Сам поэт тем временем висел на руках, спускаясь с балкона. Панталоны неудержимо спускались раньше его. Он прыгнул и упал, оказавшись подхваченным своими товарищами.

— Пушкин, вот это страсть! — закричал Яковлев. — Штаны лопнули!

— Тише! — зашипел Пушкин. — Государь услышит!

— Хуже будет, если увидит! — улыбнулся Горчаков. — При дворе не положено появляться без штанов.

— У тебя булавка найдется? — никак не отреагировал на остроту Пушкин.

Он полез в карман и достал часы.

— Черт! — вздохнул он. — Так и знал — разбил!

Он посмотрел на приятелей, которые в свою очередь насмешливо смотрели на него. Он тоже улыбнулся.

— Пошли, что ли? Обед скоро...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

в которой Карамзины делают Пушкину выговор за письмо, а Карамзин требует сатисфакции у поэта. —

Разговоры о монархии. — «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой». — Осень 1816 года

Карамзин с супругой вошли в гостиную вместе. Вид их был строгий. Пушкин, почуяв неладное, поспешно встал им навстречу.

— Милостивый государь, позвольте с вами объясниться, — сказал Карамзин. Он протянул Пушкину лист бумаги, в котором тот сразу же признал свое письмо. — Вы ли писали это письмо?

Пушкин растерянно посмотрел на историка, потом на его жену и сразу отвел взгляд.

— Да... Но...

— Мне очень лестно, — сказала Екатерина Андреевна. — Давненько я не получала подобных писем.

— Мы, несмотря на всю его пошлость, сразу догадались, что сие послание принадлежит вам, молодой человек, — продолжил Карамзин.

— И, вероятно, списано с *новейшего письмовника*... — предположила Екатерина Андреевна. В голосе ее он слышал улыбку, которая была ему особенно обидна.

— Да нет, отчего же, — возразил он. — Я сам писал, но произошло недоразумение, разносчик доставил его сюда по ошибке. Оно предназначалось другой даме. Простите меня, Екатерина Андреевна, великодушно.

Она рассмеялась.

— Екатерина Андреевна вас, может быть, и простит, — строго возразил Карамзин, — но я требую сатисфакции. — Он сделал паузу, во время которой Пушкин пережил несколько неприятных мгновений. — Вы пойдете со мной в кабинет и выслушаете от меня очередную порцию исторических штудий...

Пушкин облегченно вздохнул: гроза, кажется, миновала. Карамзин, как и его жена, тоже улыбнулся.

Екатерина Андреевна посмотрела на Пушкина лукаво:

— А мне жаль, что письмо писано не ко мне! Николай Михайлович, а ты не забыл, что тебя ждут на обеде во дворце? Так что Пушкин сегодня достанется нам, мы будем им распоряжаться в полной мере. Тем более что он кругом виноват.

— Ничего-ничего, пока я буду одеваться, он успеет прочитать и скажет мне свое мнение.

Пушкин развел руками и жалко улыбнулся. Карамзин поманил его пальцем, и он поплелся за ним.

Екатерина Андреевна улыбнулась ему вслед. И пошла в дом отдать приказания по хозяйству.

Две ее дочери появились на пороге одной из комнат.

— Пушкин? — спросила Соня.

— Пушкин, — сказала Екатерина Андреевна.

Девочки рассмеялись, а мать погрозила им пальцем.

— Матап, он такой забавный и похож на ручную обезьяну.

— Ручные обезьянки, бывает, ведут себя препогано, — сказала Екатерина Андреевна.

Карамзин вертел перед зеркалом Аннинскую ленту. И так, и сяк... Подтягивал концы. Наконец надел ее, как ему показалось, верно. Оборотился к Пушкину, сидевшему на диване.

— И все же Россия имеет сорок миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с доб-

рым намерением, которое служит нам вероятностию будущего исправления ошибок...

— Но если монарх — изверг? Как Иван Грозный? — спросил Пушкин. — Как быть в сем случае?

— Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий: закон должен располагать тронем, а Бог — жизнью царей!

— Но если деспот — Нерон, Калигула, Павел, наконец, — который сам себя считает и верой, и мнением, и народом? Что сделает с ним народ и что велит ему ваша «мудрость веков»?

— Что ж, тогда снесем его, как бурю, землетрясение, язву — феномены страшные, но редкие, ибо мы в течение девяти веков имели только двух тиранов... И второй был не Павел, как думаете вы, молодой человек. Вторым был Петр Первый. Заговор возможен... Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!

— То есть вы хотите сказать вслед за госпожой де Сталь, что правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой...

Карамзин посмотрел на своего молодого, но бойкого собеседника и ответил без тени улыбки:

— Спаситель в таких случаях говорил: ты сказал!

Он снова повернулся к зеркалу, поправил ленту, потом снял ее и перевернул. Так, кажется, она была на месте. Он глянул на Пушкина искоса и не смог удержаться от смеха. Пушкин тоже прыснул, и они оба расхохотались.

— И кстати, запомните, молодой человек: те в России, которые более прочих вопиют супротив самодержавия, носят его в крови и в лимфе! — вдруг очень серьезно добавил он, обращаясь к Пушкину. — Не уподобляйтесь им.

— И чем же вы занимаетесь вечерами, когда остаетесь одни, в кругу семьи? — спросил Пушкин Екатерину Андреевну с дочерьми.

— Читаем Вальтера Скотта, — выскочила вперед матери София.

Екатерина Андреевна улыбнулась поспешности дочери и добавила:

— Супруг любит говорить, что когда мы заживем когда-нибудь домом, то поставит он в саду благодарный памятник Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное им в чтении его романов. Как жаль, что вы не можете покидать Лицей вечерами...

Пушкин замялся, хотел сказать, видно, о чем-то другом, но отшутился, по обыкновению:

— Я не силен в английской речи. Как, впрочем, не силен и в немецкой... Но постараюсь наверстать. У нас Саша Горчаков лучший англичанин, буду брать уроки.

Он смотрел на Екатерину Андреевну как-то странно, переходя какую-то невидимую грань приличия. Она вдруг поняла, что он смотрит на нее как мужчина, оценивая и восхищаясь.

— И вот что: пойдите-ка погуляйте в саду с дочерьми, я вам их доверяю, Пушкин! — приказала она.

— Что-то меня все сегодня посылают в сад, — вздохнул Пушкин. — А показать вам зверинец? — обратился он к Сонечке.

— Показать, милый Пушкин, показать! — захлопали девочки в ладоши.

Пушкин раздул щеки, выпучил глаза, вспрыгнул на стул, ловко, как обезьяна, со стула перепрыгнул на диван и залепетал что-то по-звериному, схватил моток шерсти из рукоделия Екатерины Андреевны и, подбрасывая его, стал кружить по гостиной. У Сонечки показались слезы на глазах от смеха, и она только отмахивалась от него рукой.

— Отдайте шерсть, — строго сказала Екатерина Андреевна. — Вы ее запутаете.

— А вы поймайте меня, поймайте! — закричал Пушкин.

— Ну вот еще, что это с вами? Отдайте шерсть! — И Екатерина Андреевна двинулась к нему, чтобы самой отобрать. Пушкин подбрасывал клубок с руки на руку, следя за ней.

Тут из соседней комнаты выскочила мамушка Марья Ивановна и принялась бутузить Пушкина. Он, смеясь, отбивался.

— Прошу милости, Марья Ивановна, прошу милости! — упал он на диван.

— Вы меня, Катерина Андреевна, всегда зовите, я усмирю этого охальника и бедокура! — гордо сказала мамушка и снова ушла к детям.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ,

в которой мадам Смит оказалась брюхатой. — Ночное свидание с мадам Смит в доме директора Энгельгардта. — Объяснение Энгельгардта с Пушкиным. — Интрижка Пушкина с корнетом Zubовым. — Поздняя осень 1816 года

К большому удивлению охальника и бедокура, оказалось, что мадам Смит брюхата. Открылось ему все так. Как-то ему все-таки удалось под предлогом подготовки спектакля переговорить с мадам Смит, избегавшей его после того случая у царской любовницы Софии Велио, и назначить ей свидание. Как она ни отнекивалась, Пушкин настоял, что заберется к ней в окно ночью, благо ее комната была на первом этаже. Единственное затруднение представлял большой черный кобель Энгельгардта, который не признавал никого, кроме директора и его родных. Да еще, как говорили, императора Александра Павловича, которого он признал сразу, к удивлению всех видевших, как грозный кобель ласкается и прыгает вокруг него. Пушкин понимал, что он не государь и почтения за одно это у кобеля не вызовет, а потому зачастил к директору, приучая кобеля, для чего он таскал с лицейской кухни, выклянчивая у эконома, лакомые кости. Кобель быстро сдался и признал Пушкина за своего. Признал за своего Пушкина и Энгельгардт, радовавшийся неожиданному для него сближению с непокорным лицеистом, и, поскольку близился выпуск, он обратился к воспитаннику с просьбой написать прощальную песню для торжества. Пушкин обещал подумать. Но думал он о другом.

Мария сама открыла ему ночью окно, и он оказался у нее в комнате. Ему мало казалось просто близости с ней. Он принялся раздевать француженку, она слабо сопротивлялась, но, когда ему все-таки удалось это сделать, он обнаружил, что живот ее крепок и выдается вперед, а налившись груди оседают на него, укладываясь на нем, как на полочке.

Она, смущаясь, поведала любовнику, что уж некоторое время как понесла. Пушкин похолодел от ужаса, испугавшись, что плод от него, но Мария успокоила любовника, рассказав, как запечатал ее муж перед самой смертью. Умер

он скоропостижно от воспаления легких, но перед смертью, несмотря на жар и слабость, он снова и снова укладывал ее в постель и извергал в нее семя, обливаясь смертельным потом.

— Он никогда не был силен как мужчина... Но эти последние дни. Это было как наваждение.

Потом, смеясь, она объяснила молодому любовнику, что оттого-то и пошла так легко на связь, что проход был запечатан и опасаться ей было нечего. В семье Егора Антоновича ее берегли и знали, что она ждет дитя.

— Самое золотое и беззаботное время, — сказала французенка, — когда можешь получать удовольствие, не опасаясь никаких последствий.

И она снова тянулась к нему за удовольствием.

Пушкин с радостью и облегчением принял эту весть. Ему нравилось рассматривать ее тело, изменившее привычную форму, он трогал необыкновенно крепкий живот и, поворачивая ее на бок, качал со спины, сжимая крепкие, наливавшиеся молоком перси, но порой ему начинало казаться, что кто-то на них смотрит, что есть какая-то неназванная сила, следящая за ними, и он неожиданно для самого себя спросил у вдовы, где похоронен ее муж.

Оказывается, муж лежал неподалеку, на Казанском кладбище Царского Села.

— А есть ли памятник?

— Есть. Он пока стоит в сарае у Егора Антоновича. По весне он обещает поставить.

— А ну как он явится к нам, — рассмеялся Саша.

— Кто?

— Памятник.

— Не явится, — сказала она, ласкаясь. — У него ножек нет. Это — бюст!

— Зато у тебя есть и ножки, и бюст! — рассмеялся Пушкин и снова удивился тугости живота брюхатой французенки; ноги у нее были тонкие, почти девичьи, но таз уже поженски раздался.

Потом они сидели на кровати, подложив подушки под спины, и тихо шептались и вдруг одновременно захотели есть. Голод был настолько силен, что бурчали наперебой их животы. Они пытались угадать, у кого из них бурчит, но их тела находились так близко друг от друга, что звуки слива-

лись, словно исходя из одного источника. Гадание вызывало у них приступы безудержного смеха. Потянувшись, Александр достал часы из кармана панталон, валявшихся на стуле, и посмотрел на циферблат. Было около трех часов ночи.

— Я спущусь и найду в буфетной еды, — решительно сказала мадам Смит.

Он смотрел, как она боком сползает с кровати, и в созерцании этой изящной неловкости он испытывал много желания.

На рассвете он покинул гостеприимную комнату, все так же через окно. Черный кобель встретил его, зевая и потягиваясь, потом долго бежал рядом с ним, радостно виляя хвостом.

Он брел по ночной улице и внезапно обнаружил, что забыл у Марии в комнате свои часы. «Не везет мне с мадам Смит на эти часы, они как заговоренные», — подумал он. Часы было жалко, тем более что отец только что привез их из Петербурга починенными.

— Ну да черт с ними, вернет, — бросил думать об этом Пушкин.

Утром мадам Смит спустилась в гостиную лишь в легком трауре: на ней было лиловое платье с плерезами.

Встретившийся ей Егор Антонович раскланялся и, с удивлением поднимая бровки, спросил:

— У нас кончается траур или, быть может, сегодня праздник?

Мадам Смит, улыбаясь, пояснила:

— Это дофиновый цвет, при французском дворе дофины не носят черного.

— А мы разве при французском дворе? Или, может быть, вы дофин?

— Егор Антонович, черный цвет так надоедает, я ведь женщина!

— А-а! — понимающе кивнул Энгельгардт.

И смотрел ей вслед, пока она не скрылась в другой комнате, после чего подозвал горничную:

— Приберись-ка, милая, в комнате у мадам Смит и доложи, если найдешь что-нибудь... странное...

Горничная кивнула молча и ушла наверх.

— Цвет дофина, — покачал он головой.

На следующий день в Лицее Егор Антонович подошел к нему и, вынув из кармана часы, спросил:

— Не ваши ли часики, господин NN?

Обращение на «вы» и с этим дурацким NN не сулило лицейским ничего хорошего.

Пушкин не знал, что ответить, и стоял, мучительно соображая. Наконец он выдал из себя заведомую ложь:

— Нет, Егор Антонович, не мои...

— А я так думаю, что это ваши, — подчеркнуто жестко сказал Энгельгардт. — Вот вензель императрицы, извольте взглянуть; к тому же я сам передавал их вам.

— А-а, — глянул на часы еще раз подросток, — может быть, вы и правы, Егор Антонович.

— Может быть, вы мне скажете, где вы их забыли?

— Откуда ж мне знать, если я сами часы не помню!

И вдруг странная мысль пришла ему в голову: представилось Пушкину, что Энгельгардт сам нашел эти часы в кровати Марии, и он тонко улыбнулся этой сальной мысли. Директор смотрел ему в лицо, увидел эту улыбку с непристойным намеком в глазах, хорошо понял, что сие означает, и ужаснулся испорченности подростка.

— Вы лжете, господин лицеист, вы постоянно лжете и хорошо знаете почему! — закричал он в негодовании. — Знайте же, что ваше поведение, ваше холодное пустое сердце...

Пушкин тоже рассвирепел и закричал:

— Оставьте мое сердце в покое!

Он выхватил у Егора Антоновича часы и прямо на полу раздавил их каблуком. Это уже видели остальные воспитанники, шедшие в класс на занятия.

Егор Антонович подернул плечами, закатил печально глаза и, ничего не говоря, пошел прочь, продолжая на ходу дергаться, словно его била лихорадка. Она его действительно била: порок — в Лицее, порок — у него в доме. Что-то надо было делать. Первый выпуск был не вполне его выпуском, много порочного было заложено при прежнем директоре и во времена безначалия, но вина лежит и на нем.

Он сделал так, что больше воспитаннику Пушкину не удалось встретиться с мадам Смит наедине. Несколько дней она вообще не показывалась, а когда он ее увидел вновь на прогулке, Мария была бледна, грустна и ходила уже, как утка, тяжело переваливаясь с боку на бок и беременность

свою не скрывая. Однако траура в ее наряде было все-таки меньше.

— Меня перевели во второй этаж, — шепнула ему Мария. — Горничная нашла часы под подушкой, когда прибирала постель. Егор Антонович установил за мной слежку.

— Ханжа, — прошипел Пушкин, а сам посмотрел на плотную, округлую фигуру Марии Смит в лиловом платье с белыми плерезами, и желание пуще прежнего загорелось в нем. Он заметался по Царскому в поисках жертвы, но не так просто было найти новую любовницу.

Закончились его поиски попойкой с гусарами, после которой, как он и сам не понял, он оказался в одной постели с корнетом Zubовым. Zubов был нежный мальчик его возраста, но выглядел значительно моложе, почти ребенком; утром он глядел на Пушкина ласково и отчего-то виновато, все трогая сережку в ухе, и Пушкин написал ему в альбом стихи, решив больше не встречаться, а об этом эпизоде забыть. Zubов, наклонившись, поцеловал его на прощание.

От истории с мадам Смит у князя Горчакова в архиве остался перебеленный самим Пушкиным мадригал, написанный для молодой вдовы еще в период, весьма короткий, ухаживания за ней, да неясная легенда, почему недолюбливали друг друга Пушкин с Энгельгардтом. Каждый пытался объяснить ее по-своему. Горчаков знал истинную причину этой нелюбви. И от мадам Смит тоже. Он вскоре стал с ней короток.

А про связь поэта Александра Пушкина с корнетом Алексеем Zubовым пошла сплетня, впрочем, не лишенная основания. Над ними смеялись уже тогда, когда они покидали с Zubовым вечеринку. Пьяный корнет был высоченного роста, но тонкий как тростинка, голова его безвольно болталась, когда крепкий, коренастый Пушкин вел его под руку. Яшка Сабуров с мефистофельской улыбкой коварно подмигивал Пушкину, Молоствов делал вид, что ему все равно, хотя и ревновал. Саша Пушкин всегда эту связь отрицал. Пытался отшутиться эпиграммами. А про себя думал: случай, пьяная лавочка, бес попутал, нечего и говорить.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

в которой лицеистов впервые отпускают на рождественские вакации. — Публичный дом Софьи Астафьевны. — Воспитанницы Софьи Астафьевны, их нравы. — «При несчастье хуерык и на родной сестре подхватишь». — Вино кометы. — Санкт-петербургский обер-полицмейстер Иван Саввич Горголи. — Пушкин встречает Мартына Степановича Пилецкого. — 25—31 декабря 1816 года

В первый раз нескольких воспитанников из Лицея отпустили на рождественские вакации в Санкт-Петербург в конце 1816 года.

«Слышу опять звук колокольчика, который, вероятно, у нас еще кого-нибудь отнимет», — писал князь Горчаков тетушке за конторкой в своей кельюшке.

Уехали многие, а ему, к сожалению, не к кому было ехать. Отец лицеиста Юдина, который был к нему очень расположен, хотел взять его непременно, но Горчаков поблагодарил его от души и все же остался. Во-первых, он не любил одолжаться, во-вторых... Он бросил перо и задумался. Он только что вернулся с прогулки, отведя дам до дому. Дорогой беседовали о Пушкине, мадам Смит расспрашивала о нем с нескрываемым интересом. Князь привычно любезничал, становясь почти ее конфиденнтом: мадам Смит отчего-то ему доверяла. Ее глаза вспыхивали живым огоньком и погасали. От Пушкина они перешли на французскую пьесу, которую сочиняла Мария, потом снова вернулись к Пушкину.

— Сознайтесь, вы стали сочинять, потому что он — поэт? Вас это задевает? — поинтересовался Горчаков.

— Да, задевает, — не стала спорить Мария и отвернулась, потому что голос ее дрогнул. — Но сочинять я стала раньше.

— Раньше чего? — довольно смело спросил он.

Князь знал, что Пушкин быстро охладел к мадам Смит, и потому жалел француженку. И опять же ее глаза, даже его слепота не отделяла от их чувственного света, к тому же к

жалости явно примешивалось и еще что-то, князь не назвал бы это любовью, но его к ней влекло.

— Всего, — капризно ответила она. — Почему он совсем перестал заходить к нам? — спросила она чуть ли не со слезами в голосе. — И не появляется на прогулках?

— Он пишет, Мария, что может быть важнее для поэта? А сейчас уехал к родителям в Петербург.

— В Петербург? А вы что ж?

— Я все каникулы пробуду здесь...

— Вы меня не забудете? — спросила она, заглядывая Горчакову в глаза. Ее лицо было так близко, что близорукий князь, может быть, впервые рассмотрел ее и понял, что Мария в самом деле хороша собой. Она была прекрасна в своей беременности, свежий на морозном воздухе цвет лица, живые, чуть грустные глаза.

Конечно же, он не мог ей сообщить того, что знал сам: господа лицейские уехали в Санкт-Петербург не только для встречи Рождества и Нового года в кругу родственников, но и еще для одного важного дела, зачинщиком которого был Пушкин.

Он снова принялся за письмо, дотошно перечисляя все последние слухи: и о том, что выпуск их будет летом, что публичный экзамен будет блестящ, ибо ждут в Царское Село австрийского императора, короля Прусского и некоторых других князей из Германии, что государь уже отдал распоряжение, чтобы приготовили несколько домов в Царском, между прочим, и Александровский дворец, который будет занимать король Прусский... Он остановился, чтобы перевести дух, а мысли его снова вернулись к друзьям, отправившимся в Петербург. Как бы он хотел сейчас быть с ними!

После пяти лет заключения это был первый выезд лицейских в столицу. Град Святого Петра наполнился синими мундирами с красными воротниками, которые старались навеселиться в одну неделю за все шесть лет заточения. В Царском Селе они бывали в частных домах в основном у своих преподавателей и у директора, изредка посещали балы, сами давали их, а вот так, чтобы оказаться одним в большом городе, полном соблазнов, это случилось впервые.

Первоначально лицейские направились каждый к своим родственникам, договорившись прежде об одном деликатном дельце, которое они вознамерились осуществить совме-

стно в ознаменование возвращения в жизнь. Дело это в их возрасте было чуть ли не главным. Намечалось посещение одного из веселых домов, слухи о которых давно докатывались до лицейских через гусар, через офицеров других полков, с которыми были знакомы лицеисты.

В Петербурге, в Мещанской, располагались лучшие бордели, и там же, поблизости, селились образованные шлюхи, которые занимались проституцией без разрешения полиции и принимали мужчин, держа у себя нечто вроде салонов. Таких трудно было уличить в их ремесле, а значит, и невозможно преследовать по закону. Среди же законных публичных домов славилось заведение, которое содержала некая Софья Астафьевна; его-то и предпочитала всем остальным молодежь из лучших домов, петербургские гвардейцы. Девки в нем были высокого сорта, знали и по-французски, музицировали, пели, что, впрочем, волновало опытных мужчин, но не лицейских, большая часть из которых еще не знала женщин с этой стороны (дам они встречали только на прогулках, на редких балах и в гостиных своих преподавателей), поэтому прелюдия была для них не столь важна.

Впервые отпустили из Лицея только тех, у кого родственники жили в Петербурге, чтобы было кому за них отвечать. Дельвига, по договоренности с Энгельгардтом, который к нему благоволил, отпустили погостить с Кюхельбекером к его матери. Однако его поездка к другу была лишь звеном в плане, в который сам Кюхельбекер не был посвящен, ибо, когда ему намекнули на подобную возможность, Кюхля с гневом отверг предложение. По мнению Кюхли, получать любовь за деньги было оскорбительно для поэта. Однако двое других лицейских поэтов, Пушкин и Дельвиг, ничего оскорбительного в этом не находили, посмеиваясь над Кюхлей.

Дельвига умыкнули из дома Кюхли тайком. Уже в санях хохотали и подшучивали над бледным, против обыкновения, бароном, который, однако, пытался держаться полицейски дерзко и заносчиво. Ваня Малиновский хохотал громче всех, но, когда всей компанией прибыли в Мещанскую, к Софье Астафьевне, даже он притих, не говоря уж о других. Кроме Пушкина к девкам направились его ближайший друг Ваня Пушин, Костя Данзас, без которого, как и без кривого Броглио, не обходилась ни одна лицейская шалость. Броглио, впрочем, остался в Царском Селе, а вот

с ними, вообще уж неизвестно как, затесался тихоня Семен Есаков, который, видимо, до конца так и не понял, куда они едут. Впрочем, у них был поводырь в эту преисподнюю — царскосельский гусар, поручик лейб-гвардии Гусарского полка Петр Каверин, с которым Пушкин последнее время все более и более сдруживался, в основном на почве женского пола. Мужики, слава Богу, того не интересовали. Лихого гусара и попросили лицейские сопроводить их по кругам ада; одним, без поводыря, было все-таки боязно.

По его поведению можно было подумать, что Каверин простой рубака, бретер и кутила, но за его спиной были и Благородный пансион при Московском университете, и кратковременно сам Московский университет, а потом Геттенгенский, он прошел не одну кампанию, был с нашими войсками в Париже, дружил с Грибоедовым еще со времен Московского университета, с князем Вяземским, любил стихи, переписывал их в особый альбом, но прославился не знанием немецкой логики и не любовью к стихам, а загулами и заплывами в винном море.

— Где нам, дуракам, чай пить, да еще со сливками! — любил говаривать Каверин на любой случай в жизни. Повторил он свою прибаутку и на просьбу лицейских и добавил своим характерным тенорком: — Мы люди простые, нам изыски не треба, любим старым способом. Туда-сюда, рачком и на спинке.

Чем вызвал одобрительный смех лицейских. Всем хотелось старого способа, — уходили в Лету времена скотобратства, поневоле побратавшего их в Лицее.

Знаменитая Софья Астафьевна оказалась женщиной достаточно молодой, дородной, с черными усиками и несколькими родинками на пухлых щеках и открытой шее. Каверина она принимала, как родного, приветила и прибывшую с ним молодежь.

Само заведение Софьи Астафьевны, расположенное в трех этажах, с огромной залой во втором, обставленной приличной мебелью, совсем не было похоже на вертеп и тем более на преисподнюю. В зале по стенам, в каждой простенке между окнами, висели большие зеркала в золоченых рамах, под ними стояли стулья и диванчики, на другой стене довольно плотно друг к другу висели картины французов и

голландцев, на ломберных наборных столиках стояли вазы с фруктами, на подоконниках и по углам — цветы в горшках и кадках. Присмотревшись, можно было понять, что французы и голландцы всего лишь плохо намалеванные копии, но поскольку сюда приходили смотреть отнюдь не на картины, то и такие сходили с рук.

Единственный лакей, седовласый крепкий старик, не производивший впечатления евнуха, внес на подносе несколько бутылок шампанского и тихо удалился.

Пощелкивая веером, хозяйка салона сначала поведала молодым людям о некоторых правилах, которые они должны соблюдать в ее заведении: вино и еда подаются за отдельную плату, девушек можно угощать только бокалом шампанского и не более, девушку можно брать в комнату только одну, а если берешь двоих или более, то платить придется за каждую, но иметь дело только с одной, другие в таком случае поддерживают беседу, и главное, отметила Софья Астафьевна, девушек не развращать, ибо она отвечает за их нравственность, нарушение последнего правила влечет за собой отказ от дома. Кроме того, отметила Софья Астафьевна, девочек младшего возраста, которые находятся здесь на воспитании, брать запрещается и нельзя развращать беседою, а ежели какая понравится, надо особо договариваться с воспитательницей и за особую плату в будущем можно будет получить этих чистых девочек для утех. При последних словах Софья Астафьевна сделала выразительные глаза и закрылась стыдливо веером.

— Дядюшка, дядюшка, я еще маленькая, — протянул Каверин тоненьким голоском и добавил бархатным сытым баритоном: — Ну, расти, расти, покуда бант отстегну!

Сидевшие вокруг Каверина молодые люди поддержали гусарскую шутку дружным хохотом.

А между тем по знаку Софьи Астафьевны в гостиной стали появляться девушки, одетые по последней парижской моде, их набралось, наверное, около двадцати, и все были так красивы, что у лицейских разбежались глаза.

Девушек она называла своими воспитанницами, однако, по понятным причинам, только по именам, без фамилий. Девушки чинно расселись по стульям; лицейские неуверенно толпились гурьбой. Несколько девушек по знаку Софьи Астафьевны взяли скрипки и заиграли в унисон,

покачивая головками. К удивлению лицейских, вечер начался польским, как на балах в высшем обществе; Софья Астафьевна сама двинулась в первой паре с Кавериним. Их примеру последовали остальные, пригласив понравившихся воспитанниц.

Первым не выдержал Пушкин: он, едва девушки появились в зале, присмотрел себе расфранченную охтенку с золотистыми волосами, как потом выяснилось, недавно поступившую в заведение, двинулся с ней в польском, но желание было так велико, что он, несколько раз споткнувшись, не выдержал и потащил ее по лестнице наверх, где, как он предполагал, находились комнаты. Девушка по-французски вовсе не понимала, и он считал весьма пикантным ее своеобразный окающий и цокающий говорок, доставшийся ей от архангелогородских предков, издавна поселившихся на Охте. На ней было шелковое малиновое платье с накинутым безвкусным пурпурным платком, синие шерстяные чулки и красные башмаки с высокими каблуками. Охенок всегда можно безошибочно отличить в толпе простонародья, поскольку в платье своем они старались по возможности избегать великорусской крестьянской традиции, примешивая к ней барскую моду и оставшиеся со времен Петра I в их среде голландские мотивы, унаследованные от жен корабельных мастеров. В ушах и на груди у нее блистали неподдельные бриллианты, что в среде охенок было совсем не редкостью. Она и в веселом доме сохранила свой праздничный наряд, не захотела его поменять.

Дельвиг же, напротив, сразу потерял всю свою лицейскую наглость, не танцевал, а забился в угол с трубкой. Пришлось его оттуда буквально выкуривать. За дело, после польского, когда уже и Малиновский с Пушиным удалились со своими гетерами, взялся сам Каверин.

Он был на взводе, то есть в своем обыкновенном состоянии, подшофе, ведь завтракал он бутылкой рома с булкой и после обеда принимал вместо кофею, бутылку коньяку. Холодным шампанским со льда он лечил французскую болезнь, когда подхватывал ее, правда, потом ему все равно ж приходилось обращаться к лекарю, но он свято верил в чудодейственность шампанских вин. Подсев к барону, он спросил, отчего тот не выбирает себе девуку.

Барон печально сообщил, что плохо видит и боится выбирать не ту, что хотел бы.

— Ты, Антоша, уже взрослый малый, — называя ласково и по имени на правах старшего, пояснял Каверин лицейскому. — Пора тебе приобрести очки. Выпей рюмочку коньячку, — предложил он Дельвигу.

— Пожалуй, — согласился барон.

Они выпили, и Каверин продолжал:

— А скажи мне, Антоша: тебе чего надо-то, войти да выйти! Да желательно без стука, со стуком ты по неопытности не совладаешь!

— Со стуком, это целка, что ли? — спросил шепотом барон.

Каверин гомерически захохотал.

— Верно! Она самая! Крепко запертая дверь!

— Так откуда ж здесь целки, Каверин? — удивился барон.

— Ну вот! Понимаешь! Кто тебе ее здесь даст? — согласился с ним Каверин. — Так что для твоего дела, милый, любая девка хороша! И чем проебанней, тем лучше! Адрес ты, барон, выбрал правильный. Хотя и целки у Софьи Астафьевны есть, душа моя, но дороги! Очень дороги! Зачем они тебе?

— А я вот хотел спросить тебя, Каверин, — смущенно обратился к Каверину Дельвиг, — нельзя ли здесь... ну, зарезаться чем-нибудь...

— Хуерык подхватить? При несчастье хуерык и на родной сестре подхватишь! Недавно у меня открылся маленький, так мы его быстро закрыли, — улыбнулся тот и добавил серьезно: — Но подцепил я его не в сем заведении, а у приличной замужней дамы. Девки у Софьи Астафьевны проверенные. Без фрянок...

Дельвиг хотел было спросить, что такое «фрянки», да постеснялся. Ясно было, что связаны они как-то с Венерой. Впоследствии он узнал, что это старинное слово обозначает язвы, сопровождающие сифилис, да и вообще все, даже более легкие болезни, как считали наши предки, иностранного, то есть «фряжского», происхождения.

Каверин вел флиртующие разговоры и между делом подливал барону коньяку. Через некоторое время он встал и пошептался с хозяйкой. Вновь явились скрипки и оставшиеся девушки заиграли на них что-то томительно прекрасное.

Они покачивали стройными станами, молодые груди колыхались под легкими одеждами. Когда они приблизились, барон не выдержал и заплакал под прекрасную песню скрипок. Грусть его была так возвышена, что ничего не хотелось. Разве что писать стихи. Писать стихи и плакать. Тут, видимо, Каверин и решил, что пора.

Он посадил одну из девок к барону на колени, забрав у нее скрипку. Оказалось, что сам гусар совсем недурно играет. Склонившись над парой, он играл, пока девица целовала барона Дельвига в губы. Потом она встала и потянула за собой чуть упавшегося барона.

— Подожди, — сказал барон. — Дай мне рому, Каверин!

— Рому! — закричал Каверин.

Седовласый лакей внес ром.

— Лей! — приказал Дельвиг.

Лакей налил рому в бокал.

Дельвиг поджег ром свечой, вынув ее из подсвечника.

Потом стал пить горящий ром.

— Ай да барон! — вскричал Каверин.

— Вот теперь пошли! — схватил Дельвиг за руку девку.

— Вперед! — хлопнул девку по задку лихой гусар и добавил, подмигнув барону: — Дорога наезжена!

— Одерните, барин, — попросила девка. — Замуж не выйду.

Каверин захохотал, но все же одернул ей юбку.

Девка увела смущенного Дельвига за собой наверх, он шел прихрамывая, ибо в одном кармане тащил явно мешавший ему предмет.

— Антоша, не подведи! — крикнул ему вслед Каверин. — Вломи ей до горла.

Софья Астафьевна из дальнего угла гостиной погрозила Каверину сложенным веером — излишне не шали, Пьер! Она видела его чересчур вольную выходку с воспитанницей, но молодой, красивый и богатый Каверин, сын сенатора, не мог ей не нравиться, и за все шутки она его только слегка журила. Гусар привычно отмахнулся от Софьи Астафьевны, подхватил свободную Лаису и отправился с ней в номер.

Дельвиг не двигался дальше порога номера, ноги ему словно отказали.

— Идем-идем, — потащила его улыбающаяся жрица Венеры.

— Как тебя звать-то? — поинтересовался барон, чтобы что-нибудь сказать.

— Мадемуазель Элиза!

— Бедная Лиза, — прошептал барон.

— Отчего же бедная? — услышала его Элиза. — Кое-что уже накопила. Идите сюда, барин, — грубоватым голосом позвала она его за ширму.

Странно, почему за ширму, когда кровать в другом углу, под пологом, завешенная шторой из шелка, вышитого золотой нитью, подумал барон, рассматривая эту золотую нить, но решил подчиниться. За ширмой оказался туалетный столик, на нем — тазик с кувшином воды. Рядом — красная веревка, на которой висели юбки и другая одежда девушки.

— Раздевайтесь! — приказала Элиза, но барон остался недвижим.

В голове крутились самые разные мысли, одна из которых выражалась в простом восклицании: «А где же поцелуй?!»

Не дождавшись барона, Элиза сама быстро скинула с себя юбку и кофточку, осталась нагишом и принялась раздевать барона. Тот стоял истукан истуканом, смотрел на остренькие соски ее молодых персей и чувствовал, как все больше и больше восстает и напрягается его плоть. Элиза взяла в одну руку кувшин, в другую — его игрушку и, забавляясь ею, приоткрывая и закрывая крайнюю плоть, поливала теплой водой...

— Ой! — сказал барон через мгновение и содрогнулся.

Элиза беззаботно рассмеялась, а смущенный барон, опустив голову, посмотрел на ее руки, продолжавшие обмывать его.

— Ты в первый раз? — участливо спросила она.

Барон кивнул.

— Ничего, пойдем отдохнешь.

На кровати лежало, отвернутое уголком, белого шелка одеяло с атласной зеленой подкладкой. Под толстым и легким одеялом, набитым птичьим пухом, он сладко уснул. Сквозь сон он слышал внизу рояль и скрипки. Ему представлялось, что играет мадемуазель Шредер, которую он безуспешно пытался второй год соблазнить.

В гостиной оставшиеся девицы, поджидая возможных гостей, пили кофей, одна из них играла на рояле, двое на скрипках.

Саша Пушкин гонял по номеру свою охтенку. Он обнимал ее и шептал ей нескромные слова, а охтенка утыкалась лицом ему в плечо, и от нее пахло молоком, как и должно пахнуть от всех охенок. Этот запах пока не перебили ни пудра, ни духи. У нее был замечательный говорок, и он все дразнил ее:

— Скажи «ноченька»!

— Ноченька.

— Вот у нас сейчас ноченька. А теперь скажи «печка»!

— Пецька.

— А вот это у нас пецька! — Он запустил ей руку между ног, засунул палец.

— Ой, барин, ой! Ой! Потихе, пецька горит...

— Вижу!

— Жжет, барин!

Пушин слышал за стеной голос своего друга Пушкина, все было так привычно, как и в Лицее, только он отмахивал ритмично свою Елизавету, осязая и руками и похотливым взором ее белое тело, и, раскачиваясь, думал:

— Женюсь! Же-нюсь! Же-нюсь! Это — справедливо! Это — возвышенно! Наконец, честно! Какая жопа! Сейчас умру!

Про Есакова все забыли. Он провел целый вечер в обществе нескольких свободных воспитанниц, которые ему пели и играли на скрипках, до неприличия нализался шампанским и уснул прямо в гостиной на диване. Когда ночью все снова собрались внизу за столом, отмечая историческое для некоторых событие, его даже не стали будить.

Заказали *vin de la comète*, шампанского урожая 1811 года. Когда открывали первую бутылку, Пушкин поднял с полу вылетевшую пробку. На внутренней ее стороне был чернильный штемпель кометы. Он вспомнил про комету, как летела она в тот вечер, когда открывался Лицей. Грусть набежала на его чело, но он согнал ее и продолжал веселиться вместе с другими.

Он прочитал стихи «К портрету Каверина». Каверин остался доволен, только попросил изменить неприличные строки.

— Какие ж? — рассмеялся Пушкин, будто не понимая.

— Вот эти: «В борделе он ебака». Оно, конечно, правда: я и рубака, и ебака изрядный, — сказал он не без удовольствия, — но мне хотелось бы читать твои стихи дамам.

— Что ж!.. — Пушкин задумался на мгновение и прочитал измененные строки:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

Каверин захохотал, стал обнимать Пушкина и, снова отправляясь наверх, сообщил:

— Пойду ее, душку, домочаю! — И затянул свою всегдашнюю унылую песню:

Сижу в компании,
Ничего не вижу,
Только вижу деву рыжу,
И ту ненавижу!

Поднявшись на галерею, он пустился вприсядку, напевая:

Только вижу деву рыжу,
И ту ненавижу.

Уже на следующее утро санкт-петербургскому обер-полицмейстеру Ивану Саввичу Горголи донесли, что непотребный дом посетили лицейские, а верховодили среди них гусар Каверин и какой-то Пушкин.

— Лицейские? Откуда же они здесь?

— Отпущены к родителям на Рождество, — сообщил агент.

— А Пушкин? Это какой же Пушкин, уж не автор ли «Опасного соседа»? Не он ли развращает молодежь? Тогда надо сделать внушение... — рассуждал вслух Горголи.

— Нет, — отвечал ему агент, — это его родной племянник. Лицейский Пушкин. Он еще называл себя в подпитии Энкашепэ...

— Энкашепэ? Что сие значит?

— Не выяснил.

— Так выясни! Еще один появился, этих Пушкиных как собак нерезаных, и все шутники, — проворчал Горголи. — А я подумал уж, Василий Львович в Петербурге опять объявился! Он любит непотребные дома.

Горголи не стал уточнять, что встречал дядюшку в сих домах довольно часто, пока место петербургского обер-полицейстера, которое он занял в 1809 году, навсегда лишило его возможности посещать эти милые заведения. А ведь когда-то он был повесой, никто так не бился на шпагах, как он, никто так не играл в мяч, никто не был таким модником и щеголем; даже тугие галстуки на свиной щетине, которые он первым стал носить в Петербурге, до сих пор называли горголиями. Впрочем, Софья Астафьевна, кроме того, что исправно доносила ему, о чем говорят господа в подпитии у девочек, еще и привозила к нему этих девочек тайком. Не бесплатно, разумеется; Иван Саввич никогда не пользовался своим служебным положением, человек был благородный.

Он поправил свой галстук.

— А Алексей Михайлович Пушкин, — вспомнил вдруг Иван Саввич, — его двоюродный брат, любил, бывало, подшутить над Василием Львовичем. Я помню, как он потешался, что Василий Львович единственный, кто не узнал, что он имел шуры-муры с его женой.

— Этот племянничек тоже хорош, — поддакнул ему агент. — Василису, новенькую, теперь она Зинаида, с Охты которая, в одних чулках на люди вывел...

— В чулках? — переспросил Горголи.

— Да, в синих, — подтвердил агент, улыбаясь.

— И что, хороша? — поинтересовался Горголи.

— Хороша-с.

Горголи прошелся по приемной.

— По лицейским никакому делу хода не давать! Они опущены под присмотр родителей, так пусть родители за них и отвечают, — резюмировал он. — Дело сугубо частное...

Все-таки Иван Саввич всегда продолжал себя чувствовать гвардейцем и сохранял благородство замашек, не позволявшее ему заниматься прямым сыском.

Пушкин, вырвавшись из Лицея на волю, носился по Петербургу. Первым делом он навестил Жуковского и вернул книги, которые поэт оставлял ему и Кюхельбекеру. Он договорился с Василием Андреевичем, что составит для него антологию своих лучших стихов: зуд и нетерпение работы просыпались в нем. Он ездил на извозчике по Невскому,

платил ему, не торгуясь, из денег, которые Сергей Львович отпустил на рождественские подарки, заходил в книжные магазины, сначала робко, осторожно, будто слепой, нащупывающий дорогу, но быстро пристрастился, стал рыться в книжных отвалах, смотреть каталоги и приказывать, чтобы доставляли книги в дом Клокачева, у Калинкина моста, статскому советнику Пушкину, ибо батюшка вот-вот должен был получить отставку с чином пятого класса. Сергей Львович, несмотря на скупость и вечный недостаток средств, за книги все же исправно платил, ибо в доме Пушкиных денег на книги никогда не жалели.

Однажды вечером, в рождественской кутерьме, когда пушистый снег кружил вокруг фонарей на Невском, среди криков разносчиков всевозможной снеди, бродивших под сводами Гостиного двора, Пушкин встретил, едва выйдя из очередной книжной лавки, Мартына Степановича Пилецкого-Урбановича, бывшего лицейского надзирателя.

Пушкин застрял возле торговли апельсинами. Она торговала ими с лотка, висевшего у нее на длинном ремне. Пушкин перебирал оранжевые плоды, надавливая их длинными, коричневатыми от природы пальцами с длинными и крепкими ногтями. Дух заморских фруктов распространялся в морозном воздухе. И тут он увидел Мартына, который с горящими глазами, ничего не видя перед собой, устремлялся к какой-то, одному ему ведомой цели. Странно, но за все эти годы Пушкин почти не вспоминал о нем, а сейчас даже обрадовался встрече, никакой вражды в его сердце к тому не осталось. Пушкин остановил его, Пилецкий узнал своего бывшего ученика, даже обрадовался, моргая красноватыми, словно с недосыпа, глазами. Оказывается, он служил теперь директором Института глухонемых. Пушкин мысленно усмехнулся, порадовавшись за учеников Пилецкого, которые не могут слышать его нотаций. Они говорили несколько минут, вспоминая былые годы.

— Как Вильгельм Карлович? Сеня Есаков? — интересовался Пилецкий.

— Вильгельм Карлович много говорит, а Сеня — напротив, все молчком!

— Да-да, — вздернул голову Пилецкий, словно что-то высматривая вдаль. — Сеня — тихий мальчик. Кланяйтесь ему и Кюхельбекеру. Вижу страдание, скорблю о них.

— Хотите апельсин, Мартын Степанович? — перебил его Пушкин.

Пилецкий отказался, смотря на руки Пушкина, которые дьявольски ловко очищали кожуру, спадавшую с апельсина, словно стружка.

Они расстались любезно. Пушкин кинул скрученную кожуру торговке на лоток.

— Вкусный апельсин, ваша милость? Лакомьтесь, лакомьтесь... — улыбнулась она, прибирая кожуру.

Пилецкий, пройдя несколько шагов, обернулся и посмотрел вслед своему бывшему ученику, вызывавшему всегда в нем такую неприязнь.

Шел крупный снег, и Пушкин, с непокрытой головой, как бес, растворился в снежной мгле, всколыхнулся за ним столб снежной поземки, побежали по бульварнику в разные стороны белые змейки.

— Свят! Свят! — Пилецкий, осенив себя крестным знаменем, направился дальше, мимо пухлощекого бухарца с мясистым носом и с глазами навывкате, который кричал от дверей своей лавки:

— Платки набивные, шали и полушали, ситцы и полуситцы, круазе, пике! А может быть, чаю желаете? — попытался завлечь он Пилецкого, заглядывая ему в лицо маслянистыми карими глазками. — Цветочного, сквознику, ординарного, ваша милость! А может, ханского или полуханского? Какого угодно, милостивый государь? Чай настоящий, без обману: нет ни бетоники, ни вероники, ни зверобою, ни шалфею, ни березовых листьев, ни капорской запрещенной травы! — все надрывался бухарец вслед уходящему от него диковатому господину, а потом стал обращать взор своих масляных глазок на всех остальных прохожих.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой Мартын Степанович посещает радение у Татариновой. — «Корабль» Татариновой. — Свальный грех, разговоры о первой чистоте и пророчества. —

«Убеляйтесь, агнцы! Режьте тайные уды!» —

Пилецкий познает маменьку. — Все врут про оскпление. — Маменьку посещает министр князь Голицын. — 25—31 декабря 1816 года

Сегодня Мартын Степанович намеренно не взял экипажа, направляясь к статской советнице Татариновой, урожденной графине Буксгевден, в Михайловский замок, где у нее была квартира и куда он с недавних пор зачастил. Ему пришлось идти туда пешком, потому что он имел основание скрывать свои посещения, прежде всего от полиции, которая весьма интересовалась мистическими собраниями у Татариновой, так как недавно перехватила письмо Татариновой к госпоже Фриц, жившей в Литейной части в доме Латкина, содержащее возмутительные факты. Как человека, умудренного опытом, религиозного до обмороков, сведущего в богословских вопросах, в которых полицейские чины, ведущие дознание, были не сильны, как чиновника, имеющего изрядный срок негласной службы в полиции осведомителем да к тому же дальнего родственника мужа Татариновой, его подослали к ней для выяснения всех обстоятельств. Однако получилось так, что вдохновенная женщина, пророчица, обратила его самого в свою веру, уговорив не бросать перлы перед свиньями, и теперь, написав о ее кружке оправдательную записку, он стал исправно посещать собрания ее «Союза братства», а говоря по-простонародному, хлыстовского «корабля». Там собирались божьи люди, ищущие Христа для совместной молитвы. Искал Христа и он. И с недавних пор ему показалось, что Христос уже рядом.

Екатерина Филипповна Татаринова была дочерью знатных родителей барона фон-Буксгевдена и урожденной баронессы Екатерины Федоровны Малтиц. Мать ее была главной дамой при великой княжне Марии Александровне, первенце будущего Александра I, в течение ее короткой жиз-

ни, пока княжна не умерла, как считалось, от трудного прорезывания зубок.

Екатерина Филипповна закончила Смольный институт; за отличное образование и совершенное владение русским, немецким и французским языками была ошастливлена фрейлинским приданым. Вышла замуж за Ивана Михайловича Татаринова, который впоследствии участвовал в Бородинской битве и получил за нее чин майора и Анну 2-й степени, а также тяжелую контузию; пулю в грудь, так и неизвлеченную, он получил в великой битве при Лейпциге.

Ко времени наполеоновского нашествия единственный восьмилетний сын Татариновой умер, и она отправилась в путешествие на Запад следом за нашими войсками. Тогда многие из дам высшего общества следовали за нашими войсками по Европе, считая своим долгом морально поддерживать наших воинов. Возвращаясь после заграничной кампании в Россию, она познакомилась в Риге с президентом лифляндского обер-гоф-герихта Егором Егоровичем фон-Гюне, теософом, который «открыл ей дальнейший путь к Иисусу Христу».

Он был первым, кто рассказал ей о хлыстах, которых в павловское время доставлял из Риги по приказанию государя в столицу. Один из тех праведных хлыстов, сосновский первооскопленник Сафон Попов, был предтечей самого Кондратия Селиванова, скопческого бога, и, по словам фон-Гюне, предсказал ему в приватной беседе безвременную кончину государя Павла I; фон-Гюне, не зная, как сообщить государю страшную вестъ и не веря ей, скрыл от высочайшего внимания его слова, которые сбылись, однако, через некоторое время в точности.

Вернувшись в Петербург, Татаринова устроилась в казенной квартире своей матери баронессы Буксгевден, которая находилась в Михайловском замке, принадлежавшем Александру I. Израненный в битвах супруг ее, Иван Михайлович, вышедший в отставку то ли полковником, то ли подполковником, был отлучен маменькой от своей персоны и отправлен в Рязань, где служил директором местной гимназии. Там же был у него маленький собственный домик. Правда, еще сказывали, что ему было запрещено жить в Петербурге, так как он был одним из непосредственных убийц императора Павла; он помог Яшвилю и Мансурову

задушить императора собственным его шарфом: когда Павла Петровича принялись душить, ему удалось всунуть руку между шеей и шарфом, тогда Татаринов проявил сметливость, схватил железной рукой императора за яйца и сжал их, тот застонал и выпустил шарф, пытаясь сорвать руку истязателя; чрез мгновение все было кончено.

Мать будущей пророчицы, Екатерина Федоровна, порой наезжала из Остзейского края, где теперь проживала, и тоже участвовала в ее собраниях. В Михайловском замке, совсем рядом с дворцовой церковью, и проходили радения ее хлыстовской секты. Младший брат ее, барон Петр Филиппович Буксгевден, тоже был ревностным ее прихожанином.

Говорили, что Татаринова связана тайными духовными узами с главным скопческим богом Кондратием Селивановым, и насколько крепка была эта связь (ибо говорили даже, что она занимается скоплением не только мужчин, но и женщин), и предстояло выяснить давнишнему полицейскому осведомителю Пилецкому-Урбановичу, который еще по службе в Лицее состоял в осведомителях, за что и получил при выходе из одного благодарность и денежное вознаграждение.

По счастью, а вернее, по долгу службы, Пилецкий уже знал этого женоподобного старичка, последователем которого считалась Татаринова, — «спасителя» или «государя батюшки искупителя», как его звали в своей среде скопцы. Хотя сам Селиванов называл себя в рифму «скопителем». Хлысты и скопцы любили говорить в рифму, изобретая новые слова и даже особый боговдохновенный язык, понятный, как они считали, только им и Богу. Язык этот обладал даже известной долей поэзии, которая зачастую и в обыденной литературной реальности теряет смысл, оставляя только ритм и размер, а у хлыстов со скопцами вообще превращалась в тарабарщину, музыку херувимскую.

Он хорошо помнил свое первое посещение Кондратия Селиванова. Тот жил в доме богатого купца Михаила Назарова Солодовникова, ворочавшего миллионами и украшенного знаками царского отличия: дорогими кафтанами и даже орденами. Дом стоял на углу Знаменской улицы и Ковенского переуллка, задами примыкал к двору скопца Кострова.

Будочки, стоявшие на углу этого огромного, вновь отстроенного для скопческого бога поместительного дере-

вянного дома, со священным трепетом указывали вопрошающим обывателям на него, называя его, на манер скопцов, Божьим домом или Горним Сионом. Дом состоял из нижнего этажа в девять окон и мезонина в пять. Сам дом, запертый наглухо, охраняли отставные солдаты. Чтобы пройти, надо было сказать тайное слово.

Мартына Степановича провели по длинному коридору вниз, и они оказались в комнатке, где сидели несколько бледных мальчиков с синими кругами под глазами, весь вид их показывал недавно перенесенную тяжелую болезнь, и Мартын Степанович с болезненным замиранием сердца понял, что перед ним недавно оскопленные отроки, и содрогнулся.

Отроки подали им белые халаты с веревочкой, пришитой к поясу сзади, и тапочки с такими же веревочками.

Мартын Степанович переоделся и подпоясался.

— Теперь пойдем к богу! — сказал ему приведший его.

Откуда-то сбоку слышалось пение, визгливые женские голоса выводили:

— Овцы, вы овцы, овцы белые мои!

Его повели вверх по лестнице, и снова через длинный коридор попали в комнату, где сидели три скопца. Почему-то при взгляде на них сразу становилось понятно, что это скопцы. Особый цвет лица, землистый, потеки под глазами, отсутствие бороды и усов, лишь несколько торчащих волосков напоминали о былой мужской возможности, розовато-синие губы с блаженной улыбкой шептали молитвы.

— Кого привел, Варлаам? — спросил один из скопцов спутника Пилецкого.

— Овцу заблудшую!

Скопец встал и повел их дальше.

В большой комнате в полутьме виднелась необъятная кровать под пологом с задернутыми кисейными занавесками с золотой нитью и золотыми же кистями. Перед кроватью лежал ковер, вытканый ликами ангелов и архангелов, херувимов и серафимов. Вошедшие остановились в нерешительности перед ковром, но скопец показал на тапочки и сам первым вступил на него. Ковер был мягок, и нога в нем утопала.

— Государь батюшка спаситель, — позвал скопец.

Занавесочка шевельнулась и отдернулась. Пред ними явился старчик, полулежавший на подушках в батистовой рубашечке и сафьянных спальных полусапожках. Ссохшееся личико старого младенца оживляли светящиеся глаза.

Пилецкий поймал себя на мысли, что против воли ищет в этом старичке сходства с Павлом I, ведь Селиванов объявил себя Петром III, чудом спасшимся от убийства и принявшим впоследствии скопчество. Самым удивительным в этой истории для Пилецкого было то, что уже много лет этот самозванец, каторжник свободно проживал в Петербурге и никто его не трогал. Конечно, деньги у скопцов были огромные, не всегда понятно, откуда взявшиеся, но не все же в мире решают деньги.

В свое время его вызвал из Сибири Павел I и после короткого разговора заключил в сумасшедший дом при Обуховской больнице, откуда уже при Александре его вызволили скопцы, за что боготворили Александра и усматривали в его действиях признание Селиванова за своего деда.

— Чего пожаловал? — спросил его старец. И резкие морщинки вокруг его юного рта побежали в разные стороны. Голос у старца был птичий, высокий.

— За благословением, батюшка, — сказал Пилецкий, не желая открыться. Время для диспута со скопцами, как он считал, тогда еще не настало, следовало сначала присмотреться, разузнать их обычаи.

— Повидал меня — иди! — остался недоволен им старец. — И впредь не приходи. Не признал ты отца небесного! Заблудишься. Постой-ка! — Он потянулся к блюду, стоявшему на столике рядом с кроватью. Он взял с блюда просфору и протянул Пилецкому: — Возьми да зайди к пророкам! Тебе все скажут.

И сказали ему пророки, что придет он к пророчице, а та пророчица родит от царя земного, внука плотского царя небесного, и будет сия девица непорочная, и будет он жить с девицей непорочной в церковном браке, как Иосиф с Марией, как убежденный с убежденною, до самой смерти своей.

Ничего не поняв из сказанного, вышел тогда Пилецкий от Селиванова в темный Ковенский переулок и только впоследствии, когда попал к Татариновой, заплясал, заходил ходуном на ее радениях, вспомнил он слова селивановских пророков.

Кого только не встречал он в корабле Татариновой: среди первых был полковник Александр Петрович Дубовицкий, очень богатый рязанский помещик, кажется, он был дальним родственником Татариновой по мужу и его соседом; Попов Василий Михайлович, директор Департамента народного просвещения, при недавно назначенном новом министре духовных дел и просвещения князе Александре Николаевиче Голицыне; Иов, законоучитель Морского кадетского корпуса; офицеры гвардии, несколько лиц из простонародья, ибо маменька никому не отказывала.

Все члены Союза называли Татаринову «матушкой» или «маменькой». Называл ее маменькой и Пилецкий, целовал ей худые нервные руки и жадно ловил каждое слово. Потому-то каждый раз, когда он шел к ней в корабль, сердце его замирало, как у любовника, идущего на первое свидание.

Во время совместной молитвы и следовавших после оной плясок, верчений до полного изнеможения и песнопений отверзались уста матушки-пророчицы и она пророчила.

Еще перед выходом в молельню обособь мужчины и женщины наряжались в одинаковые длинные белые рубахи на голое тело. Мартына Степановича поначалу смущала столь странная одежда, он стеснялся своего худого, жилистого тела, скрюченных пальцев на ногах, но потом привык и к своему виду и виду других, а когда начинался общий экстаз, плоть его, давно умолкнувшая, вдруг подавала признаки жизни, и иногда ему казалось, что, может быть, и он добьется подвига, на который некоторые были способны.

При приеме в секту, как показывали в полиции принимавшиеся девицы и женщины (Пилецкому дали прочитать их показания), их опаивали зельем и они оказывались в постели, где им непременно являлся ангел с пророчествами, не трудно догадаться, какого рода. Роль ангела часто играл монах Козьма, сбежавший из монастыря и подвизавшийся у Татариновой, а до него Иов, в последнее время проявлявший странное беспокойство и постоянно говоривший о первой чистоте, к которой должен прийти каждый.

Иногда на радениях доходило и до свального греха, который, впрочем, в такие моменты не мог считаться грехом, а только высшим проявлением божественного откровения. Выше откровения в плясках могло быть только скопчество, о котором Мартыну Степановичу было жутко и подумать,

но он все-таки думал, испытывая чувство почти священного страха.

Вопрос о скопчестве стоял как главный, когда Пилецкого отрядили к маменьке. Вину маменьки в членовредительстве он начисто отрицал и стал писать брошюру о скопчестве, чтобы разобраться с этим вопросом. Особенно его приводили в содрогание слухи, что у маменьки скопят не только мужчин, но и женщин, вырезывая у них в тайном месте малые губы, клитор и, как признак высшей чистоты, даже груди.

Собирались члены Союза каждое воскресенье, а порою и в будни, к шести часам вечера.

Квартира маменьки во втором этаже располагалась в той части дворца, что выходила на Фонтанку. У самых дверей Пилецкого нагнал монах Козьма из Коневского монастыря, расположенного на одном из островов Ладожского озера, неподалеку от Валаама. Монах этот, совсем простой, но грамотный мужик, был одним из наиболее ревностных поклонников маменьки. Козьма дружелюбно с ним раскланялся и пропустил вперед.

Маменька приняла их в гостиной, сказала каждому несколько ласковых слов. Целуя ее руку, Пилецкий вдруг поймал ее взгляд, полный таинственного и лукавого, сердце в оцепенении замерло.

Когда мужчины переодевались, Иов, ероша редкие волосы на плеши, снова заговорил о чистоте.

— Да что ж ты понимаешь под этим? — спросил Пилецкий.

Иов посмотрел на него безумным взором и, загребая пятерней в кальсонах, которые собирался снять, стал трясти мужское достоинство как погремушку, приговаривая:

— Убеляйтесь, агнцы! Режьте тайные уды!

Пилецкий хотел вступить с ним в спор, но почему-то сдержался.

Каждое собрание у Татариновой начиналось с богослужения. Женщины запели, заходили посолонь.

Царство, ты царство, духовное царство,
Во тебе, в царстве, благодать великая,
Праведные люди в тебе пребывают...

Потом последовал петый всем собранием церковный стих из канона Пасхи:

«Богоотец убо Давид, пред сенным ковчегом, скакаше играя, людие же божии святии образом сбытие зряще, веселимся божественне, яко воскрес Христос, яко всемогущ».

Вот и в этот раз Иов начал скакать, как Давид пред ковчегом, потрясая лапами то ли светлой рысы, то ли ночной рубахи, в которую он был одет. Ноги его все больше и больше заголялись, он дразнил своими ногами неискушенных. Иов вертелся на левой пятке вокруг себя, седоватая длинная его борода торчала в сторону. То один, то другой молящийся вихрем взвивался рядом и начинал однообразное верчение. Некоторые же все еще продолжали ходить вокруг них кораблем посолонь, то бишь по солнышку, как оно ходит по небу, иногда перебегая крестообразно, из угла в угол.

Раскинув руки, летала по комнатам голубицею помолодевшая Татарина, летал рядом с ней Пилецкий, чувствуя, как струями катится по нему пот, затекает в пах, щекочет сладостно, как молодеет-играет плоть. Все быстрее и быстрее крутились на пятках хлысты, и вот уже некоторых из них глаз не мог ухватить, очертания сливались в общую массу.

«Театр! — вдруг пришло ему в голову. — Тридцать два фуэте! Не грешно ли?» — закралась мысль.

Молодые овечки ползали под ногами радеющих с полотенцами и утирали мокрый от катившегося пота пол.

Сухошавая, остроносенькая, с черными подглазниками, которые, как ни странно, ее украшали, не отличавшаяся красотой маменька преображалась во время молитвы пророчества: глаза ее метали молнии, грудь высоко вздымалась, и, если не слышать слов о Господе, можно было подумать, что из уст ее вылетают самые страстные слова грешной земной любви. Татарина вскрикивала и вертелась, вскрикивала и вертелась, и сам он все вертелся и вертелся на левой пятке, мелькала и мелькала перед ним Татарина, пока так же, как и остальные, не слилась в одно пятно неопределенного цвета. А потом, когда свечи, погашенные вихрем, взвитым верчением, скрыли всех от всех, показалось перед ним лицо маменьки с полузакрытыми глазами, и он понял, что берет ее обезумевшую прямо на мокром полу. Последнее, что он помнил, так это свою мысль: «Не может быть, чтобы у нее было что-то в тайном месте вырезано! Не может быть! Как мягко, влажно, горячо. Вот и грудь, слава Богу, на месте».

И увидел, что рядом кто-то поднимает белый балахон, оголяя зад стоящей на коленях молодежи, как она выгибается, подъерзывая, чтобы длинный кривоватый шкворень вошел между сильных рук, развернувших ее ягодицы, и зачавкал у нее за спиной. Визги, чавканье, бесноватое песнопение с непонятными словами, мокрый шкворень, вылетающий и снова залетающий в грешную плоть, завораживающий его своим движением, сок, текущий из самки.

«Не грешно ли? Что делаем? — вновь шевельнулась поздняя мысль и успокоилась: — Маменька все знает, ей дано знание от Господа! Маменька, ты со мной!»

Очнулся Мартын Степанович на диване, за ним ухаживала одна из овечек.

И вдруг, как холодным потом окатило, вспомнил он про маменьку, и показалось ему, что не просто так он оказался на диване: он чувствовал какую-то пустоту, а потому в страхе пощупал себя между ног. Его опасения, к счастью, были напрасны. Тряпочкой, но лежал изумленный уд на месте.

«Врут, — подумал он, — все врут про оскотление. Не зря говорит маменька: “К чему скопить тело, когда душу оскотить не могут!” А вот про Катерину Филипповну говорили верно, будто она прельщает даже черных монахов». Что ж, он должен был сознаться, что и его она прельстила не только духовно, но и плотски, однако теперь он был ей более предан, чем когда-либо раньше, и готов был пойти из-за нее на муки.

Он услышал дальний звонок колокольчика в прихожей. Забегали слуги. Вышла и вернулась простая женщина, сидевшая с ним.

— А где же маменька? — спросил он капризно, как больной ребенок.

— К ней пожаловал министр князь Голицын, — был ответ.

— Министр! — задохнулся в восторге Пилецкий. — Здесь бывает сам министр!

Пилецкий слышал, что князь Александр Николаевич Голицын, новый министр народного просвещения, назначенный вместо графа Разумовского и давнишний обер-прокурор Святейшего Синода, очень набожен и самый близкий друг государя. Он понял, что за судьбу маменьки при таких покровителях можно не опасаться.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ,

в которой рассказывается история князя Александра Николаевича Голицына и раскрывается цель его визита к Татариновой. — Как эпикурец стал обер-прокурором Священного Синода. — Государь и Мария Антоновна Нарышкина. — Соперник государя князь Гагарин. — Баронесса Крюденер. — Домовая церковь князя Голицына. — Князь и его камердинер. — Государь с князем читают Евангелие по одной главе в день. — Перед Новым 1817 годом

Князь Александр Николаевич Голицын, маленький, сухонький, с живыми веселыми серыми глазами, в сером фрачке старинного покроя, сидел, настороженно выпрямив спину, в большом кресле в гостиной у Татариновой, и ножки его, как всегда, не доставали до пола. Иногда он оттого, что чувствовал себя не совсем в своей тарелке, как ребенок начинал болтать короткими ножками, скрещивать их и постукивать каблучками туфелек, нервно улыбаясь, но вдруг спохватывался, и лицо его снова принимало серьезное выражение. Так иногда он себя чувствовал у императрицы Марии Федоровны, которая любила его принимать в Павловске в комнате, где висела огромная картина обнаженной женщины. Кто именно на картине был изображен, князь не знал, потому что всегда отводил глаза от ее раскинувшегося под деревом ослепительного тела, прежде чем успевал что-либо рассмотреть, но и когда, что чаще, ему удавалось сесть к картине спиной, он спиной чувствовал всю неприличность ее истомной позы. Подобное чувство он испытывал и в доме у Татариновой; он не знал, как это объяснить, но и сейчас госпожа Татаринова, которая должна была вот-вот появиться, заставляла его трепетать и волноваться в ожидании. На самом деле он, разумеется, прекрасно знал, что это такое, но гнал греховные мысли от себя.

Смолоду князь Голицын был игрив, ветрен и совсем не подвержен религиозным мыслям. Можно сказать, что он был деист, как и многие в те годы, и религия ему претила, так как в самой ее основе отвергалась чувственность, сластолю-

бие и рассеянность, присущие страстной натуре князя. Будучи несколькими годами старше будущего государя, а тогда наследника великого князя Александра Павловича, он попал в его окружение, как говорили, при юбке Марии Саввичны, статс-дамы и попросту старой сводницы Екатерины II. Он не прошел, как многие, через постель сначала Марии Саввичны, а потом и самой императрицы, вероятно, прежде всего потому, что был довольно невзрачен, но изрядно повертелся возле молоденьких великих княжон, впрочем, безуспешно. Вокруг него тоже повертелись молодые и не очень вертопрахи, и он познал то, что называли тогда наглым развратом. Так долгие годы он не мог выбрать, что же ему нравилось больше — быть с женщинами или быть женщиной. Сама же Екатерина Великая полюбила своего камер-пажа как отменного остро слова и весьма комичного имитатора. В остроумии и подражательстве с ним мог соревноваться только Федор Ростопчин, будущий московский главнокомандующий в 1812 году, да и тот больше паясничал и каламбурил при дворе великого князя Павла Петровича.

Екатерина особенно любила, когда князь Голицын показывал ее самое и престарелого канцлера Федора Андреевича Остермана, ныне уже покойного. Как самую ценную реликвию своей жизни князь берег трость, перчатки и нижнее платье императрицы, полученные им от Перекусихиной после ее кончины. Перекусихина в то время была уже стара и, видимо, что-то перепутала, думая, что князь имел какое-то отношение к нижнему платью императрицы. Это было немудрено, ибо императрица старалась не пропускать никого из молодых людей, кого отличала.

Государь Александр Павлович был с ним короток, настолько короток, что сказал как-то, сразу по возвращении князя из московской ссылки, куда его отправил Павел: «Неловко тебе, князь, без публичной должности, всяк в Петербурге знает, как ты у меня короток, так что пора и служить». С тех пор князь и стал делать карьеру, сам того не сильно желая, но именно карьера и перевернула всю его жизнь. В 1802 году он был назначен обер-прокурором 1-го департамента Сената, и пошло и поехало. Через год он, опять же против своей воли, сделался обер-прокурором Святейшего Синода.

До той поры он не то что Старого Завета, даже Евангелия не читал, воспитанный на французском вольнодумстве, но, чувствуя себя обязанным по должности ознакомиться с сим сочинением, основательно принялся за дело. Поначалу дело шло медленно, в русском богослужении, которое велось на церковнославянском, он ничего не понимал; Евангелие пришлось читать на французском. Привычный к шутивому тону в обществе, он поначалу пытался шутить и на религиозные темы, но, встретив у Александра Павловича, воспитанного в уважении к православию, инстинктивный отпор, такого рода шуток более себе не позволял.

Однако, как эпикуреец, проводивший большую часть своего времени в обществе тогдашних прелестниц, он не отказывал себе в удовольствии иной раз и сообщить какой-нибудь из них, что развлекается она с обер-прокурором Святейшего Синода. В обществе его прозвали «князь синодальный» и посмеивались, когда он в церкви подлетал к архиерею, пожимал ему руку, а порой и перебрасывался во время службы словом-другим. Архиереи побаивались всесильного князя и даже не протягивали ему руки для целования.

Речь его состояла из ошметков былых остроумств, которые он часто применял к вопросам, в которых остроумия были совсем неуместны. Но со временем он изменился, вдруг стал набожен; сам себе он объяснил это страхом смерти. Мысль о ней пришла к нему во всей наготе неожиданно и настолько поразила его, что он на долгое время занемог, а когда вновь появился в свете, то многие нашли в нем перемену. Он заговорил о стяжании Духа Святаго, и живые его всегдашние глазки становились при этом оловянными, а лицо светлело. Правда, случалось, что набегало на него и прежнее смешливое состояние духа, и тогда он вдруг отпускал соленую шутку, после чего долго крестился и замаливал грех.

К Татариновой он был с визитом не впервые. Его интересовали все пути постижения Бога, он пытался объединить все религии, и в его доме перебивали все: от английских квакеров до хлыстовских христов. Со временем в голове у него сделалась такая каша, что он и сам не помнил, что и откуда было взято, и даже стал сочинять собственную религию, основанную на едином Божестве. Он говорил себе,

что истинная вера — это не следование догматам определенной церкви, а мистическое парение в горний мир.

Он шлялся по хлыстовским радениям, заходил к самому Кондратию Селиванову, почитавшемуся у скопцов за бога, долго обретался в кружке Анны Петровны Плещеевой, экзальтированной смолянки, а вот теперь зачастил к Татариновой. Он вообще лучше себя чувствовал в обществе женщин, если бы иногда не просыпалось в нем стародавнее чувство, приходившее к нему через запах. Женщины пахли, влекуще пахли. Нет, не духами, каждая женщина пахла женщиной, самкой, и он шел на запах, как юный кобель, забывая про горний мир, про воспарение духа на какие-то мгновения, а когда, очнувшись, он понимал, что сии дела и козни диавола, он бросался на колени у себя в домашней церкви и усердно молился до утра. Как человек чуткий, он не мог не замечать, что, когда он появлялся два или три раза у Татариновой на собраниях, все чувствовали себя скованно и даже не бывало столь обыкновенных у нее, по слухам, верчений. Тогда богословствовали за общей трапезой и за кубком вина, который Татаринова по-братски пускала по кругу.

Сегодня он намеренно пришел позже, рассчитывая, что собрание уже кончилось, ибо у него была определенная цель: договориться с Екатериной Филипповной о визите государя.

Некоторое время назад государь завел с ним разговор о Марии Антоновне Нарышкиной. Он сообщил, что только что окончательно убедился в неверности Марии Антоновны (о чем, впрочем, в обществе знали все и давно); его соперником оказался статс-секретарь князь Григорий Гагарин, которому он доверял, как самому себе.

Александр рассказал, что отправляет Гагарина в отставку и приказывает ему отбыть за границу, туда же рекомендовано немедленно выехать и неблагодарной Нарышкиной. Государь рассказывал Голицыну все это со слезами на глазах и под конец добавил, что все его прежние подозрения теперь подкрепились неопровержимыми доказательствами.

— Мой друг, — говорил он, — все было как в водевиле. Я пришел, а он — в шкафу. В подштанниках...

Непроизвольно князь захохотал, представив себе вытянутое лицо государя, и тот печально и укоризненно сказал ему:

— Грешно тебе, Саша, смеяться, ты ведь знаешь, как я ее любил. Она мать моей Софии... Единственной, которой Господь у меня не отобрал. Я теперь не уверен насчет Эммануила, неотступно свербит мысль, что он может быть выбродком Гагарина...

— Что вы, ваше величество, вспомните ту страшную осень двенадцатого года. Мария Антоновна была с вами каждую минуту, только от нее вы имели безусловную поддержку в тяжкие минуты народной скорби. — И князь Голицын сделал скорбную мину.

— Зачем я заглянул в этот шкаф? — печально вздохнул государь. — Мне теперь нужно участие, совместная молитва, чтобы укрепить свою волю, я хотел бы не изменить своего решения, пока Мария Антоновна еще в Петербурге. Как помогла мне в свое время баронесса Крюденер, но ее, к великому сожалению, сейчас нет в России. Ты мне говорил как-то о госпоже Татариновой, дочери Буксгевден, что проживает в Михайловском замке. Я хорошо помню ее еще воспитанницей Смольного института. Сделай как-нибудь так, чтобы я посетил ее вечером.

Государь, как и сам Голицын, всегда в трудные минуты обращался к женщинам. И к Евангелию. Так в Вене во время конгресса государь познакомился с автором известного романа «Валерия» баронессой Варварой-Юлианой фон Крюденер, или, как ее все звали за глаза, Крюднершей. Именно после встреч с Крюднершей государь, как замечал князь Голицын, исполинскими шагами пошел по пути религии. Сам Голицын пока с Крюднершей не был знаком, но слышал о ней неоднократно рассказы самого государя и фрейлины Стурдзы, особо приближенной к государю и государыне. Впрочем, об отношениях Александра и Крюднерши ходил анекдот, который рассказывали как-то Голицыну. Александр в Вене позвал Меттерниха с ним и Крюднершей отобедать. Когда тот пришел, за столом стояло четыре прибора. На его недоуменный взгляд Александр пояснил Меттерниху: «Это для Господа нашего Иисуса Христа».

В гостиную вышла Екатерина Филипповна, на щеках ее играл румянец, глаза блеснули. Князь встал ей навстречу, наклонился поцеловать руку и задохнулся от греховного ощущения женской плоти. Он желал бы вообще не смотреть на нее, как древний саддукей укрыться покрывалом, чтобы

случайно не увидеть женщины, но обстоятельства требовали беседы, и беседы доверительной.

К счастью, Екатерина Филипповна быстро нашла верный тон беседы, дела ее касались самого насущного.

— Ваша светлость, — обратилась она к князю, — мой брат во Христе, — добавила она смиренно. — Обстоятельства моей жизни вынуждают обратиться меня к вашему покровительству. Вероятно, вы знаете, что с отъездом моей матери в Лифляндию я лишаясь крова в казенной квартире, которой мы столько лет с матерью пользовались благодаря благодетельству нашего государя... Все мои личные средства уходят на дела благотворительности, и мне не хотелось бы лишать несчастных того вспоможения, которое я еще пока могу предоставить.

— Екатерина Филипповна, — сказал князь, стараясь на нее не смотреть, что было не совсем вежливо. — Удобней и верней случая не будет. Не обещаю многого, но я сам знаю, что такое нуждаться, с молодости я был не обеспечен, и лишь благодеяния моего государя позволяют мне жить с достоинством. У государя будет к вам конфиденциальная просьба, поэтому он будет рад выполнить и любую вашу...

— У государя просьба ко мне? — изумилась Екатерина Филипповна.

— Да-да.

И князь приступил к изложению того, ради чего он сегодня явился.

— Я почту за самую высокую честь принять моего государя, — склонила голову Екатерина Филипповна, и князь вдруг явственно ощутил тот терпкий и стойкий дух самки, который исходил от нее.

Вернувшись домой, он тут же прошел в домовую церковь, где, кроме алтарной, рядом находились еще две комнаты, в одной из которой перед большим деревянным крестом висело сделанное из пунцового стекла изображение человеческого сердца, и в этом сердце теплился неугасимый огонь лампадки.

Когда он поднимал глаза и смотрел на крест, сгорающее сердце казалось ему кровавым и раскаленным, распятым страстями настоящим человеческим сердцем.

В молитвенной князя находилась родовая икона Нерукотворного Спаса, перед которой князь во младенчестве,

едва родившись, по семейной традиции был положен, прежде чем его передали в руки матери.

Кроме этой иконы было много подаренных икон, то есть икон от людей светских, и благословенных, поднесенных лицами духовными. Почти все подносимые иконы были изображениями Спаса Нерукотворного, ибо всем было известно, что князь с особым усердием собирал изображения Христа. «Ибо и человека любишь, — говаривал князь, — так желаешь его портрет иметь, а Господа моего лик нерукотворенный желал бы постоянно в сердце и вокруг себя видеть».

Так и смотрел на него лик Христов со всех стен молитвенной комнаты.

— Все чины свои и всё охотно променяю, лишь бы быть новою тварью... Жажду брашна и питания духовного... — шептал он.

Горело пунцовое сердце, лик Спаса Нерукотворного смотрел со всех стен, пахло живыми цветами, которые украшали моленную, свечным ароматом, казалось, что благоухание издают и цветы сухие, которые тоже во множестве стояли по моленной, и пасхальные яйца, искусно изукрашенные, лежавшие по полочкам вдоль стен.

— Прельщение женскими чарами источает мою ослабшую душу, сделай так, чтобы я мог вместо хуторных жертв других моих страстей принести эту жертву упитанную... Милосердный Боже! — прибавил князь с глубоким вздохом. — Сколько Ты был терпелив ко мне, и сколько раз милость Твоя меня щадила! Ну если бы сейчас пресеклась жизнь моя? Что бы тогда было со мной, слепым и несчастным грешником?!

В золотом сосудце у него находились Св. Дары, он недавно узнал способ причащаться их без священника, что и исполнил, встав с колен. Этот сосудец он всегда брал в дорогу с государем, чтобы и в дороге он имел возможность вкушать таинственный хлеб. Сделав сейчас это, он стал думать о своем государе, мысли о котором его почти никогда не покидали. Все ли правильно он сегодня сделал, не было ли чего в его разговоре с Татариновой бросающего тень на государя, какого, что ли, намек, но, испросив свое сердце, решил, что все было правильно. Однако, вспомнив собственное искушение, он снова бросился на колени.

Так он иногда стоял по нескольку часов, пока усталость не ломала его настолько, что, еле дойдя до опочивальни, он без ног падал на постель, где его раздевал камердинер. Но сегодня сон не свалил его, запах греха продолжал витать над грешным телом.

— Подожди, — сказал он камердинеру, протянув руку к его панталонам.

Петруша все понял и спустил штаны; князь взял его игрушку и быстрыми движениями расшевелил. Насладившись видом восставшего члена, его невиданными размерами, он приказал Петру раздевать его дальше, потом лег на живот, рослый камердинер пристроился сверху, подгребая утлое тельце князя под себя. Князь стонал и вскрикивал женским голосом.

Когда камердинер ушел, князь, перед тем как провалиться в глубокий сон, еще раз вспоминал о государе Александре Павловиче. «Бабы, бабы... Женская плоть — весь грех от нее», — подумал он.

Наутро князь, как всегда, был у Александра Павловича. Тот ничего не спрашивал о поручении, но смотрел вопросительно. Голицын все рассказал. Государь улыбнулся, мол, чего еще было ждать другого, но тотчас тяжело задумался.

Почти тут же было решено, что государь будет платить Татариновой из своего кабинета шесть тысяч рублей в год как вдове недавно умершего воина и оплачивать казенную квартиру в Михайловском замке.

— С помощью таких обществ я раз и навсегда покончу с масонством и прочими тайными обществами, пытающимися совратить мой народ, — сказал Александр князю Голицыну.

Голицыну нравилась мысль государя.

— Читал ли ты сегодня нашу с тобой главу? — спросил государь.

— Разумеется.

— Давай сверимся. Что день сегодняшний нам несет.

Император достал толстую, переплетенную в пунцовый бархат книжку, открыл ее, нашел сегодняшнее число.

— Ну, что же ты читал из Ancien Testament?

Заглавия в книжке были все французские, что говорило о привычке государя к французской Библии.

Еще со времен кампании 12-го года они договорились с государем, что будут читать в день по главе из Ветхого и по главе из Нового Завета, что свято и исполняли изо дня в день.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

в которой Сергей Львович Пушкин устраивает обед, вспоминает молодость и ссорится со старшим сыном, который собрался в лейб-гусары. — Второе посещение Софьи Астафьевны. — Елизавета Шот-Шедель. — Календарь на новый 1817 год. — Дорога в Царское Село вместе с Модестом Корфом. — 25 декабря 1816 года — 1 января 1817 года

Сергей Львович Пушкин ждал отставки, которая должна была днями последовать, и мечтал о свободной жизни.

Ради прибытия Александра и Левушки из Царского Села устроили семейный обед, взяли у Корфов, живших ниже этажом, серебро и посуду, пригласили Василия Андреевича Жуковского и Петра Александровича Плетнева, с которым недавно познакомился Сергей Львович благодаря Жуковскому. Жуковский, к сожалению, не смог пожаловать — прислал записку с извинениями, что должен быть на обеде у императрицы Марии Федоровны. А Плетнев пришел и стал свидетелем безобразной сцены отца со старшим сыном.

За столом Сергей Львович стал рассказывать, как служил в гвардии.

— Между прочим, как вы знаете, я всегда питал отвращение к перчаткам и почти всегда терял их или забывал дома. Вот раз, будучи приглашен с другими товарищами своими на бал к высочайшему двору, я, по обыкновению, не позаботился об этой части своего туалета и оробел порядком, когда государь Павел Петрович, подойдя ко мне, спросил по-французски: «Отчего вы не танцуете?» — «Я потерял перчатки, ваше величество!» — отвечал я в сильном смущении. Государь поспешно снял перчатки с рук и, подавая их, сказал с улыбкою: «Вот вам мои!» — потом взял меня под руку с одобрительным видом и, подводя к даме, прибавил:

— А вот вам и дама!

Плетнев удивился, что Павел, про которого только и говорили, что он был сумасшедший, был так любезен.

— Да, — сказал Сергей Львович. — Он был романтик на троне и в жизни. Но дворянства он никогда не понимал.

— Возможно, потому, что, как рассказывают, был сыном чухонки? — предположил Плетнев.

— Ложь, — отмахнулся Сергей Львович. — Скорее, он был сыном Салтыкова. А вся эта история с подмененным младенцем выдумана. История наша еще не скоро станет историей, а будет собранием анекдотов, которые рассказывают друг другу, но никогда не печатают. Вот тебе, Александр, поле для литературной деятельности, дерзай!

— Батюшка, по вашему примеру, я хотел бы начать с военной службы, — сказал вдруг Александр. — Разрешите вступить мне в Лейб-гусарский полк.

Отец поперхнулся, а матушка сразу отрезала:

— Не хочу, чтоб ты шел в военные!

— Отчего же, матушка? — спросил он.

— Не хочу, и все, — повторила Надежда Осиповна.

Тут уже вступил отец.

— А может быть, тебе пойти в кавалергарды? — ядовито спросил Сергей Львович. — Отчего же не в кавалергарды?

— Я думал об этом, но решил все-таки в гусары!

— Он думал! — захохотал Сергей Львович. — Еще бы тебе в кавалергарды с твоим росточком и состоянием. Кавалергарды — дураки — подпирают потолки, а ты можешь подпереть разве что потолок в людской на антресолях, а твоего состояния хватит разве что на уздечку!

— Батюшка, я попрошу тебя! — вскипел Александр.

— А знаешь ли ты, милостивый государь, сколько стоит гусарская форма, все эти ментики, доломаны, чакчиры? — ударил себя по ляжкам Сергей Львович. — Ты думал, золотое шитье тебе Манька с Санькой в Михайловском вышьют? А лошадь из Болдина от дядюшки пришлют? Да одна лошадь обойдется в пять тысяч рублей, милостивый государь!

— Ну, я ведь буду получать жалованье! — возразил Пушкин.

— На это жалованье ты сможешь купить ваксу для сапог да плетку для денщика, чтобы пороть его, когда переберет лишнее! — вскричал батюшка тонким, визгливым голосом.

Левушка, который, как и Александр, мечтал о военной службе, увидев, как возмущен батюшка, молчал.

— А если тебе так хочется послужить отечеству в военной службе, ты можешь вступить в армейскую пехоту, — наконец смиростивился Сергей Львович, увидев, что сын убит.

— Я? В армейскую пехоту? — возмутился Александр.

— Да, — пожал плечами Сергей Львович, делая вид, что не понимает сына. — Служба отечеству всякая почетна.

— Я в пехоту? — задыхался Александр. — Когда все мои друзья в Лейб-гвардии гусарском? За кого ты меня считаешь?

— Я считаю тебя за глупого мальчишку! — вскричал папенька, совершенно не принимая во внимание, что за столом сидит гость.

— А я тебя за скупца и скопидома! — выкрикнул Пушкин.

Он взбесился еще и оттого, что ему уже пришлось сегодня выдержать скандал из-за денег, он просил у отца пять рублей серебром, тот такой суммы не давал, пенял ему, что поиздержал на книги почти сто рублей, и требовал объяснения, на что ему эти пять, а именно столько, и никак не меньше, стоила девка у Софьи Астафьевны, правда, говорили, что есть веселые дома и попроще, где можно взять девку всего за рубль, но те посещают только мещане и те из простонародья, кто побогаче.

Александр возьми и скажи отцу. Сергей Львович сморщился так, будто вовек не пользовался девками, а денег все-таки дал, отчего Александр чуть было не расцеловал его, и вот снова скандал, скандал неприличный.

Отец похлопал глазами, сник, Александр сдержался, обед прошел сухо. После обеда они ушли с Плетневым из дома, поскольку Жуковский, извинившись, что не может быть на обеде, звал их к себе на вечер. Шли они пешком, поскольку ни у одного, ни у другого денег на извозчика не было. Пушкину понравилось, что Плетнев нимало этим не стеснялся. Кроткий, тихий, ласковый в речах и совершенно спокойный, Плетнев нравился буйному и невоздержанному Александру, однако он и здесь не удержался, сказал-таки при нем непристойность и тут же сам пожалел, потому что увидел, что тонкий и проницательный Плетнев отнесся к этому как к мальчишеской выходке, снисходительно и почти

по-отечески. А ему меньше всего хотелось, чтобы его считали за мальчишку. Больше при нем Александр старался так не шутить.

Неделя пролетела как один день. Деньги, данные отцом ему на девку, он по иронии судьбы истратил на книги и потому пришлось просить взаймы у сестрицы. Она дала из своих девичьих сбережений, и деньги эти осели в кармане у Софьи Астафьевны. Во второй раз она встретила его как родного, шутила и сообщила, что знает, что молодой человек уже известный поэт, девушки у нее читают журналы и наслышаны о том, что его благословил недавно умерший поэт Державин. На этот раз она предложила ему девушку постарше и поопытней.

— Кто же это? — поинтересовался Александр. — Я про некоторых тоже наслышан.

— Она вам понравится, это моя любимица, Лизанька Шот-Шедель.

Пушкин слышал про нее и улыбнулся, вспомнив, как Каверин говорил про нее с характерной растяжкой:

— Образо-ованная блядь!

— Милый мой, — говорила она, играя веером, — отчего же вы мне не сказали, что вы — поэт? Наши девушки умны, образованны, с ними можно и поговорить, не то что с крестьяночкой, которую вы ангажировали прошлый раз. Елизавета мечтает встретиться с вами. Позови Елизавету Шот-Шедель, — обратилась она к юной, тринадцатилетней девочке, спускавшейся по лестнице.

Девочка повернула назад, оглядываясь на Пушкина.

Елизавета Шот-Шедель, известная дева веселья, приятельница многих молодых людей из хороших фамилий, скучала в своем двухкомнатном просторном номере, когда появилась юная Катенька, прислуживавшая ей.

— Лиза, — сказала она. — Там барин молодой...

— Ты его знаешь?

— Нет. В первый раз вижу... На арапа похож. Темный, волосы кучерявые... Говорили, что поэт.

— А! — обрадовалась Елизавета. — Знаю. Меня не было, когда он здесь был, с Зинкой... Зови! — И она стала прихорашиваться перед зеркалом.

— Милый друг, вам с Лизой будет интересней, чем с нашей молочницей, — напутствовала Пушкина Софья Астафьевна. — Она спрашивала про вас. А вы — скрытный! Что же вы не сказали нам, что вы сочинитель? Энкашепэ! Какой выдумщик! Вы же — Пушкин!

Она сложила вышитый золотом веер стрелой, взмахнула им и раскрыла полностью. Если бы юный Пушкин понимал тайный язык веера, он бы мог прочесть по его движению, что Софья Астафьевна советовала ему быть настойчивым и решительным, даже прямо признавалась: «Вы мой кумир!»

Сама она, разумеется, его стихов не читала, но кто-то что-то говорил, гусары, когда куликали, читали, и эту фамилию уловило ее чуткое ухо. Она была тщеславна и иногда сама, еще по старой памяти, обслуживала мужчин, но мальчик не догадался.

Сверху спускалась девочка.

— Проводи господина к Елизавете. Она готова?

— Да, — кивнула девочка, во все глаза рассматривая Пушкина.

— Только, милостивый государь, — улыбаясь, остановила его Софья Астафьевна, — сегодня вы один, без поручителей, так будьте добры, деньги пожалуйста вперед.

Пушкин, смутившись, полез в карман сюртука.

— И еще! — Она взмахнула веером. — В прошлый раз вы вели себя неприлично. Впрочем, Лиза вам этого не позволит.

У Лизы были небесные очи, вздернутая верхняя губка, чуть приоткрытый рот и блестящие ровные белые зубки. Она лепетала по-французски, пока не затихла возле его ног, и началась французская премудрость без слов: иногда она смотрела на него с приоткрытым ртом, облизывая губы, и прозрачно улыбалась, словно не видя его. Ничего подобного он еще не испытывал в своей жизни, это было похоже на сладостный недуг, словно волны уносили его, а когда он возвращался, то видел, как Лизанька поправляет распущенные волосы, прилипающие к вспотевшему лбу и пылающим щекам. В эту ночь он не шалил, он и не вышел от нее ни разу в залу, не хотелось.

В последний вечер перед отъездом в Царское Село Пушкины сидели всей семьей и читали купленный Сашей в

Гостином ряду календарь на новый, 1817 год. Читал Сергей Львович:

— «В полночь на 1-е генваря, за один миг перед тем, как часовой колокол пробьет 12-ть, дряхлой 1816 год по двенадцатимесячном царствовании вдруг обомрет и ринется в бездну вечности, к своим предкам, которых там не одна тысяча. Единочадный сын его, 1817 год, по праву наследства, мгновенно вступит на престол. От развозимых и принимаемых поздравлений с Новым годом — вскружатся головы жителей просвещенных держав. Застучат модники по улицам всеми своими достоинствами на четырех колесах, а хорошего тона особы обоего пола, нарядив своих камердинеров и горничных девушек, посадят вместо себя в кареты и велят развозить имена свои, чисто и ясно отпечатанные на разнокалиберных бумажках. Никто не найдется думать о чем-либо ином, кроме нового года; ни кому и в голову не войдет, что с кончиною старого уносится в вечность часть собственной жизни каждого!

Новый царь, как законный наследник имени покойного 1816 года, обратит тотчас все свое внимание на сию часть. — Но увы! покойный не зарывал, опричь людей, ничего в землю. Все его имение рассеяно или растрчено по судебным местам, модным магазинам, откупам...»

Слуга Никита Козлов сидел в углу и слушал внимательно. У него была хорошая память, и многие пассажи он запоминал с первого раза. У Левушки странно блестели глаза, а потом оказалось, что он приболел, распухло горло, и уже ночью послали к Корфам спросить, не возьмут ли они с собой в карету Александра: так маменька с папенькой решились сэкономить двадцать пять рублей на извозчике.

Утром Александр с Модестом уехали в Царское Село. Дорогой Пушкин дразнил Модиньку рассказами о девках, передразнивал архангелогородский говорок Зинаиды, но ничего не рассказал о Елизавете, скрыл, однако не пожалел красок для всех остальных, наслаждаясь смущением барона. Модест вынужден был слушать назойливого собеседника, морщился, видя, как вытягивается всем корпусом от чрезмерного любопытства его слуга, сидевший рядом с кучером на козлах; наконец Егозе Пушкину надоело ерничать, и он захрапел, привалившись Модесту на плечо. Во

сне ему привиделись Лизанька Шот-Шедель и Каверин. «Образованна, образованна!» — тянул Каверин и глядел выпученными глазами на Лизаньку сверху вниз. Лизанька приятно занималась своим излюбленным делом.

А Модест лицезрел зимнюю дорогу в наезженных кучах старого и свежего лошадиного навоза, шурился на серебрящийся снежный наст в полях и старался думать под звон поддужного колокольчика о своей будущей службе, о государственной карьере, о которой так много говорили в протяжении сего времени у него дома, но мысли его все время соскакивали на девок, про которых рассказывал Пушкин, и он заливался краской от сознания собственной испорченности.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

в которой граф Корф страдает бессонницей в Гомбурге, князь Вяземский пишет ему послание, а Иван Петрович Хитрово выясняет, сколько времени должно пройти, чтобы частная жизнь стала общественным достоянием.
— Осень 1874 года

Почему-то эту дорогу, возвращение с первых каникул, вспоминал граф Модест Андреевич Корф в дни бессонницы в маленьком городке Гомбург, где с князем Вяземским они пребывали на водах. Он вспоминал эту дорогу и даже чувствовал запах свежего конского навоза, лежавшего в кучах на дороге, и этот запах напоминал ему родину. От зимней дороги в сторону скакал заяц, и этого зайца он видел сейчас, как живого.

Он не спал уже третьи сутки, от этого мельтешило в глазах, и как только он смежал веки, то начинал скакать по белому полю белый заяц — прыг-скок, прыг-скок. Иногда он повторял, как заклинание, строчки из только что написанного послания к нему князя Петра Андреевича:

Между собой все так похоже:
День каждый завтрашнему дню
Передаёт одно и то же,
И ночи ночь тоску свою.

Бессонница, как ведьма злая,
И с нею дочь ее, хандра,
Ночь напролет, надоедая,
Торчат у праздного одра.

И в самом деле хандра не отходила от него, не отступала ни на шаг. Даже сейчас, когда он вспомнил ту дорогу, тот твердый наст и того зайца, скакавшего к ближайшему перелеску, за которым он долго наблюдал.

Странно, он помнил свои мысли о карьере, неотступно обступавшие его в молодые годы, и сейчас, по прошествии стольких лет, прожив долгую жизнь, он видел, что все его честолюбивые мечты сбылись. Кроме него удачливей был только Саша Горчаков, у того был чин канцлера, последняя ступенька, о которой Модест и не мог мечтать. И светлейший князь еще продолжал занимать свою должность, тогда как Модест Андреевич уже был в отставке. Но это судьба, судьба! Ведь было время, когда он считал Горчакова неудачником, человеком конченным, а его карьеру неудавшейся.

За жизнь долгую много с тобой случается. Какой долгий путь он сам прошел до отставки, до графского титула, пожалованного ему Александром II в столетний юбилей его учителя и благодетеля Сперанского, которого он боготворил и о котором издал книгу.

Он хорошо понимал и чувствовал, что отжил свой век и пережил давно свою репутацию, но хандра и бессонница возвращали и возвращали его в былые годы, поскольку только там он находил то, что примиряло его со здешним миром, полнокровное существование. Без воспоминаний жизнь для него потеряла бы всякий смысл. Чаще всего он вспоминал Публичную библиотеку, директором которой он был долгие годы и которой посвятил все свои силы, и почему-то лицейские времена, которых не любил.

На последнее, видно, повлияло то, что в последнее время за ним стал таскаться Иван Петрович Хитрово, молодой лицеист какого-то ...надцатого выпуска, познакомившийся в нем на общей лицейской сходке в день 19 октября в Петербурге и нанесший на следующий день ему визит. Сейчас он торчал в Гомбурге, вертелся вокруг сановитого, но простого в обращении князя Вяземского и не забывал Модеста Андреевича.

Раз на вечернем променаде князь Вяземский преподнес Корфу стихи.

Граф, смеясь, сказал, что его однокашник Пушкин стихов ему не посвящал, на что князь совершенно по-светски возразил, что, проживи он дольше, то непременно посвящал бы.

— Просто в юности мы поклоняемся другим кумирам, — добавил он. — Все мы начинаем либералистами, а под старость вспоминаем, что родились аристократами... И что только среди аристократов нам место.

— Возможно, — сказал Модест Андреевич. — В последние годы он стал обращаться ко мне за советами.

Модест Андреевич углубился в чтение стихов. Князь знал о его перемежающейся бессоннице и потому заключил стихи такими строками:

Судьба свела нас издалеча
В чужой и тихой стороне;
Будь в добрый час нам эта встреча!
Чего желать и вам, и мне?

«Царевичу младому Хлору»
Молюсь, чтоб, к нам он доброхот,
«Нас взвел на ту высокую гору,
Где без хлорала сон растет».

«Да, хорошо бы на ту высокую гору», — вздохнул про себя Модест Андреевич, утирая платком невольные слезы и прикрывая красные с недосыпу или от хлорала и выпученные от природы глаза.

— Благодарю вас, князь! Замечательно! — сказал он вслух Вяземскому.

Разговор происходил в присутствии Ивана Петровича Хитрово, который робел в их обществе и большей частью молчал, вежливо выслушивая их старческую болтовню и лишь иногда задавая хитрые, как потом понимал Корф, вопросы.

По просьбе Хитрово Модест Андреевич составлял записку о Лицее, уточняя записи из своих записных книжек и дневников.

Записка, читанная ими в один из душевных вечеров, вызвала ожесточенные споры стариков, однако не привела, как опасался Хитрово, к скандалу, люди они были светские, и

не просто светские, а еще и умные, спорить любили и умели и, видимо, в глубине души понимали правоту каждого.

— Возьмем звездочки вместо имен, у вас в записке все дешифрованы, нынешняя печать не уважает охранительные звездочки. А между тем не следует забывать, что имя собственное, как и собственная судьба, частная жизнь, есть вместе с тем и личная собственность, собственность родовая, наконец, семейная, — объяснял свою позицию князь Вяземский. — С таким имуществом посторонним лицам должно обращаться осторожно и почтительно, пока эта собственность, как, например, литературная, авторская, не поступит за истечением срока в область общественного достояния...

— А какой срок, ваше сиятельство, должен быть для подобного рода собственности? — поинтересовался Иван Петрович.

— На мой взгляд, такая собственность должна оставаться неприкосновенною не только при жизни собственника, но должна быть признаваема во втором и третьем поколении. Печать унижает себя, когда печатает то, что человек не осмелился бы гласно и прямо сказать в лицо другому человеку; или когда говорит на листках своих то, что подсказывающий ей никогда не решился бы сказать в порядочном доме и пред порядочными людьми.

— Между тем, Петр Андреевич, — возразил граф Корф, — я не сказал ничего такого, чего, может быть, в иных выражениях не говорил самому Александру, ведь мы довольно долго, более десяти лет, прожили бок о бок. Кроме того, вы отрицаете возможность остаться в памяти поколений хоть одному здравому мнению среди сонма осанн, пропетых личности не вполне чистоплотной, если не сказать попросту грязной! Я не прошу никого печатать свою записку, меня спросили, я ответил, что думал и думаю, — указал он на Ивана Петровича. — Далее все на его совести. Моя же совесть чиста.

— Вот-вот, — согласился князь. — Печатное слово должно быть брезгливо, целомудренно и совестливо. А наша журналистика — это *enfant terrible* наступившей гласности...

— Времена меняются... — на этот раз князю возразил уже Иван Петрович, — и неизвестно, что будет приличным и

неприличным в следующем веке. Хотелось бы только увидеть и прочитать правду.

Старики рассмеялись:

— До следующего века нам, увы, не дожить!

В одном они сходились — это в презрении к анекдотам, которыми обросла жизнь их великого сотоварища. Корф опровергал почти все, что пытался проверить у него Иван Петрович. Даже историю, которую Иван Петрович особенно любил, про ответ Пушкина государю Александру Павловичу.

— Все это не более чем красивый анекдот, придуманный впоследствии его поклонниками и льстецами, — объяснял граф Корф Ивану Петровичу, улыбаясь его наивности и восторженности. — Император Александр был при нас в Лицее всего только два раза: при открытии Лицея и при нашем выпуске. Мы часто встречали государя в саду и еще чаще видели его проходящим мимо наших окон к дому госпожи Велио; наконец, видели его и всякое воскресенье в придворной церкви, когда он жил в Царском. Но поверьте мне, у меня прекрасная память, любезный Иван Петрович, он никогда не говорил с нами, ни в массе, ни с кем-либо порознь... Никогда! И никаких «вторых» не было.

— Ну как же, я столько раз представлял эту сцену, что мне порой кажется, будто я сам там присутствовал, — сказал Иван Петрович. — Жаль, если этого не было! Красивый анекдот, красивый ответ: у нас нет первых, у нас — все вторые!

— С государем так, — граф подчеркнул слово «так», — не разговаривали! Кто же вам это рассказал?

— Это из лицейских преданий... Когда мы сами учились, то слышали...

— Вот-вот, преданий! — согласился Корф. — А Вольховский действительно, подобно Демосфену, клал камешки в рот, чтобы улучшить свою дикцию. И знаете, ему это удалось! Правда, Демосфеном он не стал... Но дикцию улучшил! А с государем так не разговаривали!

А князь Вяземский спросил его просто:

— Вот вы, милый Иван Петрович, когда-нибудь разговаривали хоть с одним государем? Представлялись?

— Нет, — признался тот.

— Если случится попасть «за кавалергардов», то поймете, о чем говорит Модест Андреевич. Если случится, — покачал князь головой.

Иван Петрович прекрасно знал: чтобы быть представленным государю, надо было иметь хотя бы придворный чин камер-юнкера, которого у него не было, или первые четыре чина гражданских или военных, стало быть, быть чином не ниже генерал-майора, а он вышел в отставку всего лишь титулярным советником, то есть в чине IX класса. «За кавалергардов», то есть в залу, ближайшую к царским покоям, за пикет несших охрану царских покоев кавалергардов, могли попадать только вышеозначенные лица.

— Или вот я недавно слышал анекдот, как Пушкин с Кюхельбекером ездили к девкам из Лицея, — вдруг сказал граф Корф. — Можете себе представить такое? Во-первых, Кюхля был целомудренности самой чистой, во-вторых, из Лицея нас отпускали один только раз, и верно, Пушкин был тогда у девок, он мне сам рассказывал, а в третьих, весь анекдот придуман людьми, которые не знают ничего о той нашей жизни, ради красного словца.

— А что это за анекдот?

— А вот слушайте: будто бы Пушкин во время своего пребывания в Лицее задумал удрать в Петербург погулять. Отправляется к гувернеру Трико, тот не пускает, заявивши при этом, что будет следить за ним. Пушкин махнул рукой на это заявление и, захватив с собой Кюхельбекера, удирает в Питер. За ними следом едет и Трико, к заставе первым подъезжает Александр Сергеевич. «Фамилия?» — спрашивает заставный. «Александр Однако», — отвечает поэт. Заставный записывает фамилию и пропускает едущего. За Пушкиным подкатывает Кюхельбекер. «Фамилия?» — спрашивает опять заставный. — «Вильгельм Двако!» — отвечает Кюхельбекер. Заставный записывает, но начинает уж догадываться, с сомнением качает головой. Подъезжает, наконец, гувернер Трико. — «Ваша фамилия?» — окликает его сторож. — «Трико». — «Ну, врешь, — теряет терпение заставный, — здесь что-нибудь недоброе! Один за другим — Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Шалишь, брат, ступай в караулку!..» Бедняга Трико просидел целые сутки под арестом при заставе, а Пушкин свободно покутил у девок со своим товарищем. Вот

такой анекдотец, — закончил граф Корф. — Глупый донельзя. Одна в нем только правда, был у нас действительно губернатор Трико, губернатор и учитель французского, порядочная шельма. На этом вся правда и заканчивается. Кстати, и преподавал он не нам, а младшему возрасту — стало быть, второму курсу.

— Этот Трико потом издал в Петербурге французскую грамматику, — подхватил Иван Петрович.

— Совершенно верно.

В подобные анекдоты Иван Петрович, конечно же, не верил и потому поддержал графа Корфа, посмеявшись над глупым анекдотцем, да еще и сам рассказав пару, относящихся к лицейским годам.

— Однажды побился Пушкин об заклад, что рано утром в Царском Селе выйдет перед царским дворцом и, подняв рубашку, встанет раком к окнам. Так он и сделал. Несколько часов спустя зовут его к императрице Марии Федоровне. Она, оказывается, сидела у окна и видела его фарсу. Императрица вымыла ему голову порядочно, но никому не сказала.

Старики посмеялись.

— Прodelка по существу похожа на него, но, знаете ли, в некоторых вещах Саша был... — Корф искал слово, — осторожен...

— Или в другой раз. Идет царь один вдоль по аллее. Пушкин пошел за ним, передразнивая походку. Царь увидел. «Пушкин, иди сюда!» Дрожа подошел он к царю. «Стань впереди меня. Ну! иди передо мною так, как ты шел». — «Ваше величество!» — «Молчать! Иди, как ты шел! Помни, что я в третий раз не привык приказывать». Так прошли они всю аллею. «Теперь ступай своею дорогою, а я пойду своею, мне некогда тобой заниматься».

— Гиль, — буркнул князь Вяземский. — Впрочем, такая чушь только подтверждает мысль, что только оригинальные личности удостоиваются анекдотов, — добавил он. — Человек, за которым нельзя закрепить ни одного анекдота, — человек пропащий: это лицо без образа, по выражению поэта. Он тонет в толпе... Пушкин — великий поэт и в частной жизни был оригинален. Кюхельбекер — хоть и слабый поэт, но личность тоже, безусловно, анекдотическая.

Иван Петрович был согласен с князем. И, пользуясь случаем, поинтересовался у графа Корфа, что это была за история, когда в Лицее Кюхельбекер пытался утопиться.

— Верно, пытался, впрочем, именно в таком пруду, где нельзя было утонуть и мыши. Ссора случилась в столовой, причина была пустячной, что-то из-за солонки с солью. Малиновский, вечно потешавшийся над Кюхельбекером, как-то его задел, кажется, сказал про его длинные руки, — вспоминал граф Корф.

— При чем здесь мои руки? — стал повторять как сумасшедший Кюхельбекер. — При чем здесь мои руки?

— Да просто так сказал, — отвечал Малиновский. — Без всякой задней мысли. Длинные руки, длинный нос, длинные уши...

— Уши? — возопил Кюхля. — Длинные уши? Да как ты смеешь обсуждать меня? И на что намекаешь?

— Оставьте, господа! — вмешался тогда Есаков.

— Нет, я попрошу извиниться, — восстал Кюхельбекер. — А иначе...

— Что иначе? — разозлился Малиновский.

— А вот что! — воскликнул Кюхля и, схватив солонку, сыпанул солью в сторону Малиновского.

— Нет, вы посмотрите, — удивился Малиновский. — Это что же, вызов?

Он встал, обошел стол и направился к Кюхельбекеру. Тот сидел, уткнувшись носом в тарелку.

— Если хочешь, считай, что вызов, — пробормотал он.

— А вот тебе мой ответ! — спокойно сказал Малиновский, взял у соседа полную тарелку супа и опрокинул на голову Кюхли.

Тот закричал благим матом. Суп еще был горяч.

Вылупив глаза, он смотрел на Малиновского, потом вдруг упал и забился в истерике.

Быстро позвали доктора Пешеля. Пока он не пришел, держали голову Вильгельму, а тот повторял, как в бреду:

— Какой позор! Какой позор!

Малиновскому стало неудобно, он пожал плечами и отошел в сторону:

— Вы же видели, я не хотел.

Пешель констатировал горячку.

— Будем чинить! — сказал Пешель.

— Он всегда говорил «чинить» вместо «лечить», — усмехнувшись, пояснил граф Корф.

Но Иван Петрович потом долго размышлял, где же та грань, где кончается анекдот исторический, доподлинный и начинается примесь наносного, а то и просто сочиненного людьми малограмотными, невежественными и тупыми. Два анекдота, в которых участником является Вильгельм Кюхельбекер, один — ложь, другой похож на правду, но имеет совершенно неправдоподобный конец с утоплением. От этой мысли он перешел на собственную персону. Что есть его распутывание клубка надежных и ненадежных воспоминаний? Не есть ли это столь же малограмотное и невежественное построение? Ведь известно же, что можно, основываясь на одних и тех же приметах, составить совершенно отличные друг от друга картины. А сколько наслоений легло в памяти современников за все эти годы, и не проще ли попытаться понять что-то самому, зная только факты и на них основываясь, но тут же сам отвергал эту мысль, потому что понимал, что прежде всего нельзя точно определить, что есть факт.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

*в которой князь Горчаков строит себе мундир,
а Жуковский присылает Пушкину своего «Певца
в Кремле». — Мадам Смит соблазняет князя Горчакова.
— Утопление Кюхли. — Весна 1817 года*

Князь Горчаков начал строить себе мундир загодя. Он знал, что вскоре после окончания Лицея им представляться министру. Он затеял по этому поводу деятельную переписку с дядюшкой Пещуровым и тетушкой. Дядюшка подарил и прислал ему шпагу. Он советовался с Егором Антоновичем, с мадам Смит, с товарищами, из которых барон Корф понимал его озабоченность больше всех.

Однажды к нему в номер ворвался Пушкин и крикнул:

— Смотри, Жуковский прислал мне своего «Певца в Кремле»! Читай: «Поэту товарищу Александру Сергеевичу Пушкину от сочинителя»!

Горчаков заглянул в книгу.

— Да-да, очень хорошо, — пробормотал он, но будущее представление занимало его больше, и князь перебил Пушкина вопросом: — Ты шьешь фрак? Кроме мундира, в котором мы будем представляться в Коллегии, нужен и фрак.

— Это еще так далеко. Вот батюшка получит из деревни деньги.

— Но нам же выдали по семисот рублей на обмундирование. Куда ты их дел?

— Как-то разошлись.

— Разошлись? Казенные деньги? — удивился князь Горчаков.

— Нет, разумеется, что-то шьют, — успокоил его Пушкин.

— Но этих денег может не хватить! — предупредил Горчаков. — Впрочем, я уже все подсчитал, смотри: я купил 4 аршина пике по 10 рублей аршин и 2 с половиной аршина черного и белого казимира, белый — по одиннадцать рублей, черный — по 10 рублей 50 копеек. А взял я его у Егора Антоновича, у него дешевле, чем в городе. Теперь отошлю Штинеру: из пике он сделает пять жилеток, а из казимира одну пару белых штанов для мундира и одну пару черных штанов. Еще надо купить сукна для шинели, опять же Егор Антонович обещал купить дешевле. Нам должно быть экономными. Мадам Смит посоветовала взять у Рено пряжки башмачные и шлифные... — Он увидел, что Пушкин смотрит на него как-то чересчур насмешливо, и добавил: — А воротник мундирный вышить! Забыл! — воскликнул он и полез в шкафчик, — Видишь, дядюшка прислал мне шпагу. Хоть ее купить не надо.

Пушкин повертел в руках шпагу, отдал.

— Я пошел, — сказал он.

— Я еще не все тебе рассказал...

— Про мадам Смит? — съязвил Пушкин.

— Мадам Смит — мой друг, она заботится обо мне, — смутился все же князь Горчаков.

— Можешь не оправдываться, — отмахнулся Пушкин.

А ведь оправдываться было в чем. Когда восемнадцать человек лицейских уехали в Петербург на рождественские каникулы, князь коротал время в переписке с родными, но мысли о мадам Смит, такой несчастной и соблазнительной

одновременно, неотступно теснились у него в голове. Наконец он не выдержал и помчался в дом к Энгельгардту. Через некоторое время он сидел на стуле напротив дивана, на котором полулежала мадам Смит. Она принимала его одна.

— Летом у нас будет последний публичный экзамен, — говорил он мадам Смит.

Она слушала его, чуть откинувшись назад и слегка задышавшись, видимо, от своего положения.

— Он будет блестящ, — продолжал князь. — Вы, вероятно, слышали, что сюда ожидают австрийского императора, короля Прусского и некоторых князей из Германии. Государь уже отдал распоряжение, чтобы приготовили несколько домов в Царском Селе, между прочим, и Александровский дворец, который будет занимать король Прусский.

— Вам это, наверное, все будет интересно? — улыбнулась Мария. — Это целый конгресс. Вы ведь готовите себя в дипломаты?

— Да, — усмехнулся он. — Пока мы с Егором Антоновичем учимся клеить конверты. Но надо понять, как это важно! — Он старался не смотреть на нее, но глаза против воли опускались на ее волновавшуюся грудь. — Я всегда был уверен, что молодой человек, который чему-нибудь учился и имеет желание служить как должно, может, ограничивая и отказывая себе во многом, жить своим собственным трудом. Мысль быть в тягость бедным и добрым родителям была для меня всегда непереносима.

— Князь! — вздохнула она. — Ваше сердце. Как оно прекрасно! Если бы у всех было такое сердце! — воскликнула она, вспомнив постоянно повторявшиеся слова Егора Антоновича о холодном сердце Пушкина.

— Правда, Мария, вы меня понимаете? — Князь бросился перед ней на колени, покрывая ее руку поцелуями.

— А вот это уже не надо! — строго, но в душе улыбаясь, сказала мадам Смит. — В моем положении...

— Что вы, что вы! — страстно сказал он и с нежностью посмотрел на нее, не вставая с колен, и совсем уж неожиданно для себя погладил ее округлый живот.

Мадам Смит рассмеялась, смотря на глупое выражение его лица. И подумала, что, в отличие от несносного Пушкина, князь совсем недурен, даже очень красив.

— Ну-ка, встаньте.

Горчаков подчинился.

— Дайте мне руку, — приказала она.

Горчаков подал ей руку и помог встать с дивана. Теперь они стояли близко-близко, и Мария дала себя поцеловать.

— Егор Антонович тоже уехал в Петербург, — прошептала она.

Князь Горчаков испугался, подумав о том, как же все с ней получится, если она в положении, но выяснилось, что переживал зря, все получилось как нельзя лучше, хоть и было это с ним в первый раз.

Потом мадам Смит быстро развеселилась, рассказывала о том, как Пушкин лазал к ней в окно, и даже сказала, что ежели б не живот, то и сама лазала бы к ним в Лицей. Ко всем по очереди.

Увидев смущение князя, она сморщила носик и пояснила, что шутит.

— Пойми, Александр, — сказал князь Горчаков Пушкину, — мадам Смит принимает во мне участие, я так ей благодарен.

— Я думаю, что и она тоже, — усмехнулся Пушкин.

Он все понял, но совсем не обиделся на друга. Горчаков увидел это и спешно перевел разговор на будущую службу в Министерстве иностранных дел, однако Пушкин, как видно, серьезно служить не собирался, а потому раскланялся.

Он решил зайти к Кюхле в лазарет, где тот лежал в горячке, происшедшей с ним после истории в столовой с Малиновским, и показать ему подарок Жуковского. Размышляя об этой истории, он понимал, что Кюхля, разумеется, со своим характером сам наварлся, но и Казак был — не сахар.

Но до лазарета он не дошел — услышал на улице вопли. Толпа воспитанников старшего и младшего возраста неслась к пруду Александровского сада.

— Кюхля утопился! — слышались крики.

Он вздрогнул от неожиданности и от совпадения своих мыслей с происходившим, но тут же усмехнулся: как-то не верилось, что с Кюхлей может произойти что-то серьезное. Однако побежал вместе со всеми на пруд.

Кюхлю уже извлекали багром из пруда, а он пытался убежать от него. Убежать, потому что утонуть в мелком пруду

ду было невозможно. Педагоги гнались за ним на лодке, на носу которой размахивал короткими ручками Давид Иванович де Будри и причитал по-французски, мешая профессору Куницыну работать багром. Кюхля, по грудь в воде, брел от них, раздирая сросшиеся зеленые заросли водорослей руками, и иногда решительно опускался с головой в воду, пуская пузыри. Однако через некоторое время голова его снова возникала над зеленоватой пучиной пруда, он кашлял, давился и стонал.

Наконец удалось багром зацепить его за воротник больничного халата и подтащить лодку к нему. Все вместе затянули Кюхлю на борт. Он плакал навзрыд и, когда его доставили на берег, все повторял одно и то же:

— Никто меня не любит!

Впрочем, в лазарет его не несли, шел сам, мокрый до нитки, со слипшимися волосами, шел и шмыгал огромным красным носом, с которого ручьем лились слезы и вода.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,

в которой граф Аракчеев поутру будит императора Александра I. — История их дружбы. — Вручение государем воспитанникам Лицея медалей и похвальных листов. — Зачисление Пушкина в Коллегию иностранных дел. — Характеристика Пушкина Энгельгардтом. — Грузино Аракчеева. — Процветание пахнет известкой.

— Змей Аракчеев защищает государя от всех. —

Посещение таинственного павильона на острове в Грузии. — Архитектор Минут. — Встреча государем принцессы Шарлотты, невесты великого князя Николая Павловича. — 18 июня 1817 года

— Батюшка, — кланяясь императору, говорил граф Аракчеев, стоя возле его постели. — Хватит почивать, родимый! Пора ехать встречать принцессу Шарлотту!

Голос его был родной и ласковый. Александр Павлович помнил его таким еще со времен своей ранней юности, когда они с Елисаветой валялись в постели, а граф, тогда еще, впрочем, барон, приходил к нему в покои. Елисавета от смущения пряталась под одеяло и дышала ему в бок, приятно будоража и возбуждая его снова, хотя утреннее

любовное игрище только что было закончено. Он и сам порой удивлялся своей неумолимости, возможности, едва закончив, начинать снова.

Граф Аракчеев в ту пору покрывал леность и эпикурейство наследника от строгого Павла Петровича. Александр Павлович был первым военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга, и в пять часов утра на столе у императора должен был лежать рапорт, им подписанный. И каждый день в назначенное время рапорт появлялся на столе, потому милый друг барон Алексей Андреевич подписывал его в спальне, а императору Павлу докладывал, что Александр давно на ногах и занимается делами. После ухода Аракчеева он и занимался делами, только совершенно иного рода, извлекая из-под бока худенькую смеющуюся девочку, вскидывая ей одну ногу, как вскидывает ее балерина, и наваливаясь всем телом на другую. Он смотрел ей в глаза, и его каждый раз волновало, что она будто пугается происходящего, словно с ней это случается впервые.

— Да-да, мой друг, — ответил он Алексею Андреевичу, оторвавшись от теплых постельных видений. — Встаю. Ты уж меня прости. Где Александр Иванович?

— Я здесь, ваше величество, — отозвался из-за спины Аракчеева камердинер императора.

Аракчеев собрался выйти.

— Напомни-ка, Алексей Андреевич, где мы встречаем принцессу?

— В Каскове, батюшка, ваше величество.

Брат императора, великий князь Николай Павлович, уже встретил свою нареченную невесту, дочь прусского короля, ехавшую из Берлина, на самой границе и каждый день эстафеты доносили в Петербург, что поезд движется в сторону столицы, однако задержка происходит оттого, что на каждой станции великий князь показывает своему будущему шурина принцу Вильгельму войска и производит им учения.

Наконец Александр с матерью выехали их встречать, чтобы вместе прибыть в Павловск, где их дождалась императрица Елисавета Алексеевна, как всегда, по нездоровью оставшаяся дома.

Не проехали и нескольких верст, как кареты императрицы Марии Федоровны остановились.

— Что там произошло? — поинтересовался Александр у Аракчеева, сидевшего со стороны, откуда лучше было видно.

Граф пригляделся. Несколько дюжих гайдуков вынесли кресло с горшком наружу и встали вокруг него плечо к плечу, спинами внутрь; за живой частокол проскользнула фрейлина Волконская, прижимая руки к животу.

Граф рассмеялся:

— Кажись, фрейлина обосралась.

При государе мог ругаться только Аракчеев, почему-то только от него Александр мог сносить это непотребство и ничто в нем не возмущалось.

Они помолчали, и государь, отнесшийся к этому вполне равнодушно, вдруг спросил:

— А кто?

— Княжна Волконская, батюшка.

Тогда государь рассмеялся: он сразу вспомнил анекдотичную историю Волконской с этим молоденьким лицеистом Пушкиным, зажавшим ее в темном коридоре. «Как она тогда-то не обосралась?» — подумал он про себя.

Он уже вспоминал эту историю совсем недавно, когда был на выпускном акте в Царскосельском Лицее. Этот Пушкин, маленького роста, худощавый, подвижный, стоял у него перед глазами, почему-то выделившись среди остальных.

Александр собственноручно вручал воспитанникам медали и похвальные листы. Исправляющий должность министра князь Александр Николаевич Голицын представлял императору каждого из сих воспитанников. Лучшие получали свидетельство из рук государя, следовавшую каждому отличившемуся медаль и к оной похвальный лист.

Среди награжденных Пушкина не было. Когда объявляли, кто с какой медалью закончил курс, какой получил чин при выпуске, куда выпущен, в гражданскую или военную службу, он все ждал появления этого шалуна, взбаламутившего Царское Село, и дождался только в самом конце, когда свидетельства об окончании Лицея вручал уже директор Энгельгардт. Пушкин ничего, кроме свидетельства, не получил и был выпущен в гражданскую, в Коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря. Успехи в учении у него были неважные, потому-то и такой чин можно было расценивать как подарок судьбы; в честь первого

выпуска Лицея решили ниже чинов не давать. Тем более подарком судьбы было зачисление Пушкина в Коллегию иностранных дел, куда зачисляли лучших из лучших: князя Горчакова со второй золотой медалью, Кюхельбекера с третьей серебряной, Ломоносова с четвертой серебряной, Корсакова, достойного серебряной медали.

Накануне император Александр сам просматривал и утверждал эти списки и, увидев в них фамилию Пушкина, задумался, хорошо ли в столь малые лета быть известным, и далеко не с лучшей стороны, и сам себе ответил: чаще всего из таких что-нибудь да получается. Пусть послужит отечеству на ниве дипломатии.

После вручения они прошли с директором Энгельгардтом по Лицею. Александр захотел осмотреть физический кабинет, классы, пожелал посетить и спальни воспитанников, чего не ожидал директор, который от волнения чуть не лишился сознания. В дортуарах творилось черт знает что: воспитанники собирались домой, но даже этим нельзя было объяснить то, что стулья были переломаны, зеркала побиты, пух из подушек летал почти в каждой келье. Кругом стояли раскрытые чемоданы, баулы, ящики, полунабитые вещами, коробки с книгами и мотки веревок.

Государь остановился посередине одной из спален и вдруг ясно и громко произнес:

— Пушкин. Ты скажи мне, как он?

Энгельгардт вскинулся, ему показалось, что эта фамилия из уст самого государя ему послышалась.

Но государь продолжил:

— Ведь это за него ты просил как-то? Тогда, с Волконской...

— Да-да, ваше величество! За него!

— Ну и как он, по твоему мнению? Только не выгораживай! Знаю, что ты любишь своих учеников.

— Поэтический дар его, ваше величество, огромен, да, боюсь, и его растратит.

— Что так?

— Цель его — блеснуть и именно поэзией. Но нет прочного основания, он всегда боялся всякого учения. Ум его, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум! Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине.

Александр усмехнулся.

— Похоже, ты его не жалуешь?

— Его сердце, ваше величество, холодно и пусто! — Энгельгардт с силой и отчаяньем постучал себя в грудь, и она гулко отозвалась. — В нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало пусто юношеское сердце!

Такая страсть и боль были в словах Энгельгардта, что Александр посмотрел на него пристальней.

— А ты не пристрастен к нему? Характеристика человека почти гениального...

— Воля ваша, ваше величество, сказал, что думал, — поклонился Энгельгардт.

— Проводи меня, — приказал Александр.

— Ваше величество, осмелюсь напомнить, что воспитанники к акту разучивали «Прощальную песню». Сейчас все уже подготовили в зале.

— Кто написал?

— Слова воспитанника барона Дельвига, музыка Теппер де Фергюсона. «Шесть лет промчалось, как мечтанье...»

— А что же ваш хваленый Пушкин не написал? — усмехнулся Александр.

— Отказался за недосугом, ваше величество, — сказал директор.

— Вот и мне недосуг, Егор Антонович. Пошли.

Так что «Прощальную песню», которая писалась для государя, пели без него. Он оставил в зале князя Голицына...

Александр посмотрел на Аракчеева. Тот как будто давно ждал, когда государь к нему обратится.

— Батюшка, а когда ко мне в Грузино, когда пожалуете? Который раз уж приглашаю, — вдруг сказал граф Аракчеев. — Обижаете старика.

«Старика! — усмехнулся про себя Александр. — Старше меня всего-то на восемь лет. Хотя, если присмотреться, Алексей Андреевич стал в последнее время как-то опускаться, за собой не следит, плащ старый и мятый».

— Господь с тобой, Алексей Андреевич! — сказал он вслух. — Недавно ведь были.

— Ну как недавно? Давненько... Восьмого июня прошлого года, год уж прошел с хвостиком. А ведь в честь вас вот-

чина-то. Пожалована мне вашим батюшкой в ваш день рождения.

— Помню. Девятнадцать лет мне тогда исполнилось, — вздохнул Александр и вспомнил, что именно тогда он был в отчаянье, подхватив французскую болезнь, не простой французский насморк, который лечился сравнительно легко, а именно ту болезнь, от которой гниют кости, вваливаются носы, и не знал, к кому обратиться, с кем посоветоваться.

Дойди это до Павла Петровича, трудно было представить, что ожидало бы наследника. Тогда тайно представленный ему медик Виллие оказал неоценимую услугу и навсегда остался его лейб-медиком. Впрочем, лечиться пришлось долго, неотвязная болезнь была прилипчива, постоянно возвращалась; болела и Елисавета, рождавшиеся девочки умирали во младенчестве. Говорят, что болезнь передается и детям. Неважно, от отца или от матери. Хотя из двух девочек только первая, Маша, могла быть от него. Но она, по игре случая, была черноволоса, а они с Елисаветой белобрысы. Они тогда были молоды и наслаждались любовью втроем с Адамом Чарторижским, жгучим брюнетом. Александр сам подбил жену на эту связь, сам уложил ее в постель друга, чтобы наслаждаться и брать ее теплую из этой постели. Вторая дочь, Елисавета, была от кавалергарда Охотникова, которого так любила императрица. Но ведь мать была та же. Где-то теплилась эта болезнь, говорили, что она никогда до конца не проходит. Умиравшим девочкам всегда ставили диагноз простой: то воспаление от прорезывания зубок, то еще какое-нибудь воспаление, но он-то знал, всегда чувствовал отцовским сердцем, что есть их болезнь на самом деле. Во младенчестве умирали и девочки у Марии Антоновны, жива только София да сын Эммануил, родившийся в тринадцатом году, да и то как не вспомнить тут князя Григория Гагарина, на которого шепотком указывали как на истинного отца Эммануила. От воспоминаний защемило сердце, и он постарался вырвать их с корнем, после чего обратился к Аракчееву, терпеливо ждавшему, когда государь вернется к прерванному разговору.

— А ты чего-нибудь новое в Грузии построил?

— Строимся, батюшка, ваше величество, помаленьку строимся.

«Прцветание пахнет известкой», — вновь усмехнулся про себя император, вспомнив французскую поговорку, но переводить ее Аракчееву, не знавшему французский язык, не стал. «И воровством», — додумалось как-то само собой для красного словца. Хотя в воровстве графа никак нельзя было упрекнуть.

— Сейчас, видишь, недосуг ехать к тебе, Алексей Андреевич, — сказал Александр. — Сегодня встреча принцессы, потом ее миропомазание, обручение, свадьба, потом Москва. Много дел накопилось.

Аракчеев посмотрел в сторону поезда императрицы Марии Федоровны — гайдуков уже не было. Махнул кучеру Илье — тронулись! Но вздорный Илья, верный государев пес, не обратил никакого внимания на графа, ждал приказания от государя и, только получив его, тронулся.

Государь откинулся на сиденье и стал вспоминать свою вторую поездку к графу, о которой тот помянул.

Грузинская обитель, как любил называть ее нынешний хозяин, богатейшая Грузинская волость, была пожалована Аракчееву императором Павлом I указом от 12 декабря 1796 года; прежде село принадлежало князю Александру Даниловичу Меншикову. Сто сорок верст от Петербурга до Грузина промчались за восемь часов. Граф любил отмечать, что более чем за восемь часов он не ездит, а ездил он часто. Еще чаще ездили к нему вельможи и министры, ибо после Парижа Аракчеев остался почти единственным, кроме начальника штаба Волконского, докладчиком государю, и любой, кто хотел чего-либо от Александра Павловича, должен был пройти через прихожую Грузина.

А граф ведь мог и не принять. Помотаешься вот так по сто сорок верст туда и обратно, так и подумаешь, важно ли твое дело, стоит ли оно таких дорожных мук. Александр понимал, что граф нарочно почти постоянно жил так далеко от Петербурга и Царского Села.

Последние версты летели по дамбе, воздвигнутой среди новгородских болот и обсаженной деревьями. Александр похвалил графа за дорогу.

— Таких дорог, Алексей Андреевич, и в Европе нет.

— Стараемся, ваше величество, все своими силами, своими руками, — расплылся в улыбке почти никогда не улыбавшийся граф.

Но Александр, разумеется, знал, что для работ по имени граф использует солдат, однако смотрел на то сквозь пальцы, это его отец подобные шалости не прощал, а Александр был терпелив и никогда не высказывал всего, что знал, приберегая кое-какие сведения на всякий случай.

Вообще император к графу благоволил. Граф стал главным действующим лицом на государственной сцене. Когда говорили про него, то называли графом, без имени, как будто в России был всего лишь один граф. Или вельможей, ибо вельможа в России был тоже один. Еще его называли Змеем Горынычем или просто Змеем. Змей в России тоже был один, и не надо было объяснять кто; иногда с иронией называл его так и император Александр.

Ему было на руку, что все вокруг думали, будто Змей управляет империей, будто Змей захватил власть над ним, полонил его душу и волю; пусть думают, так было удобней. Змей действительно защищал его ото всех, Змей принимал на себя всю ответственность за самые непопулярные решения, вместо десятка министров с докладом он теперь слушал одного Змея, и, главное, он знал, что тот никогда его не подведет. Но направлял все действия Змея только он сам, и никто другой; Аракчеев не имел своей воли, он имел грубую силу, напор, хамство, испорченную натуру, упрямство и много других качеств, порой не хватавших Александру для управления, но воли не имел. Впрочем, подумал Александр, что касается упрямства, они были похожи.

Александр посмотрел на Аракчеева — тот в неудобной позе, завалившись назад, заснул; из приоткрытого рта вырывался свист, большие мясистые уши лежали на воротнике плаща, а по открытой шее можно было изучать анатомию мышц, жил и вен: шея жила, пульсировала, дергалась, острый кадык вздрагивал; на груди Аракчеева висел медальон с портретом Александра, единственная награда, которую граф принял, отказавшись в Париже от фельдмаршала, и носил с тех пор постоянно; длинные ноги графа безвольно разъехались коленями в разные стороны, пола старого плаща лежала на грязном полу кареты. Александр осторожно поднял полу плаща и, отряхнув ее перчаткой, заботливо укутал графу колени, после чего снова погрузился в грузинские воспоминания.

Он вспомнил, как они переезжали Волхов и он сам сел на весла, а обер-гофмаршал граф Николай Александрович Толстой мялся на берегу и боялся садиться в лодку. Наконец его уговорили и тронулись в путь, но, когда они достигли середины реки, Александр стал раскачивать лодку. Толстой завопил как зарезанный, хватаясь за борт, а они с Аракчевым смеялись, хотя, как он отметил, граф и сам был бледен.

Как и в первое посещение, в имении графа, уже на берегу Волхова, их встречал староста в золотом кафтане с хлебом и солью на подносе. Богатые крестьяне окружали старосту, крестьянки в праздничных одеждах тянули заунывную песню, которая почему-то считалась веселой и величальной.

После обеда и недолгого отдыха они поехали на лодке по пруду к таинственному павильону, расположенному на островке. Чичероне был графский архитектор Минут, по совместительству бывший и управляющим Грузина. Павильон был построен ранее, но теперь завелись в нем некоторые кунштюки, которые Аракчев мечтал показать государю, считая, что до подобных вещей государь большой охотник.

Островок зарос цветущими акациями, опускавшими свои ветви в укромную гавань, где они и пристали к рундуку. Дежуривший там инвалид помог им выбраться на берег.

На фронтоне павильона была надпись: «Воспитавшему меня генералу Мелиссино», а в павильоне при входе висел портрет генерала, писанный живописцем Лампи. Мелиссино был директором шляхетского артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, в котором учился Аракчев.

Они вошли в круглый зал павильона, и архитектор Минут встал возле лакированной деревянной ручки, спрятанной в углублении возле двери. Граф поставил государя посередине зала и дал знак Минуту. Тот крутанул ручку, шелкнули скрытые пружины, узкие зеркала в простенках между окнами повернулись, и вместо зеркал открылись картинки самого непристойного содержания, так называемая «Китайская библия», иллюстрирующая всевозможные положения любовных игр. Александр не успел рассмотреть хотя бы одну из них, как снова закрылись они зеркалами и, открывшись вновь, были уже другими, но с теми же персонажами.

Зеркала открывались и закрывались, движения архитектора Минута становились все быстрее и быстрее, звенела и щелкала скрытая пружина, и вот уже императору начало

казаться, что в зеркалах отражаются те картинки, и император невольно осматривался вокруг себя: иллюзия отражения в зеркалах становилась настолько сильной, что казалось, он сам участвует в этих оргиях. Женщины скакали на мужчинах, мужчины — на женщинах, зады приподнимались и опускались, ноги дергались.

Змей стоял рядом с ним — ни тени улыбки, горящие как уголья, вдруг почерневшие серые глаза, и безрассудный огонек в глубине их.

«О! — подумал государь. — Грузинский отшельник!»

Государь был много наслышан про его утеху, но видел это впервые, вероятно, в первый приезд, еще до войны двенадцатого года, Змей не рискнул показать ему тайный павильон. А может быть, и не было тогда у него сих картинок, привез, наверное, старый бес, в четырнадцатом году из Парижа. Александр тогда уехал в Лондон, а Алексей Андреевич пожелал остаться в Париже, якобы для поправки здоровья попросил отпуск; теперь ясно, хотел, бес, порезвиться на свободе, без чужого догляда.

Государь посмотрел на Аракчеева еще раз. Глаза у Змея горели, и казалось, что сейчас из ноздрей пыхнет огнем. Граф стал ковырять в носу, как будто его уже обжигало изнутри. Он всегда при сильном возбуждении запускал палец в ноздри.

Государь никогда не понимал, как любовные утехы могут быть связаны с истязаниями, а Змей, судя по всему, только так и мог наслаждаться. Говорили, что он истязает молодых крестьянок, а потом рассматривает на них кровоточащие раны. Какая мерзость! «А может быть, я чего-то не понимаю, а Змей достиг совершенства, может быть, любовь и страдание сливаются в какую-то высшую гармонию?»

Александр посмотрел на серьезные лица Змея, его управляющего и вдруг улыбнулся: их серьезность была смешна, да и картинки были смешные. Скачут себе человечки, не чувства, не любви, не красоты.

— Ну что ж, довольно, Алексей Андреевич, насмотрелся я твоих скромных картинок. Больше не желаю.

Зеркала снова закрыли все простенки...

— Давай-ка, Алексей Андреевич, поговорим серьезно о военных поселениях. Наш опыт с Елецким мушкетным полком надо продолжить, — вернулся он прямо в павильоне к

разговору, начатому не в тот раз, а много раньше. — Ты меня огорчил своими возражениями, стрелецкие бунты мне пророчишь, а я тебе скажу на то: военные поселения будут по всей России, даже если придется выложить трупами до-рогу до Петербурга.

Теперь граф посмотрел на императора с некоторым удивлением.

— И начнешь ты их создавать здесь, в Новгородской губернии, чтобы не было времени у тебя скучать в своей пус-тыньке.

Выходя из павильона, он повернулся к графу и добавил:
— Шалун ты, Алексей Андреевич! Шалун!

Государь очнулся от воспоминаний и подумал, что всегда врезается в память самое яркое, а в ту поездку самым ярким было все-таки впечатление от павильона Мелиссино.

Граф уже не спал. Серое лицо его со сна немного порозовело. К карете подскакал флигель-адъютант и доложил, что поезд с принцессой Шарлоттой выехал из Каскова им навстречу.

Встреча состоялась в чистом поле. Вышли из карет и направились навстречу друг другу. Александр представил императрице Марии Федоровне принцессу и ее брата Вильгельма.

— Представляю вам, матушка, моих новых брата и сестру!

— Что ж, — сказала императрица, — значит, теперь у меня будет еще одна дочь и еще один сын. Добро пожаловать в Россию!

Мария Федоровна обняла свою будущую невестку. Принцесса была в скромном сером дорожном платье и соломенной шляпке с мелкими красными розочками на тулье.

Аракчеев одиноко стоял в стороне, сутулясь и сцепив сухие пальцы длинных рук перед собой на ручке портфеля с государственными бумагами, с которыми он никогда не расставался, похожий на старую печальную обезьяну в мундире и плаще. Александр лишь один раз бросил взгляд в его сторону и отвернулся: ему стало жаль графа. Великий князь Николай Павлович даже не посмотрел в его сторону, не раскланялся; граф знал, что тот его не любит. Граф великого князя тоже не жаловал.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ,

*в которой князь Горчаков с Иваном Петровичем
Хитрово празднуют лицейскую годовщину. —*

*Воспоминания князя о первом лицейском выпуске. —
Мадам Смит рождает ребенка, похожего на Пушкина.*

*— Горчаков, Кюхельбекер, Пушкин и другие
представляются графу Карлу Васильевичу Нессельроде.*

*— Присяга. — Пушкин знакомится с Никитой
Всеволожским. — Анекдоты князя Горчакова. —*

*«Он уже метит на мое место». — Бренное тело
директора Энгельгардта. — Старинные часы
с портретом Александра I. — Июнь—июль 1817 года,
19 октября 1882 года*

— Ну что ж, — сказал князь Горчаков Ивану Петровичу, — вот и наступил сей день. Скажу вам честно, впервые буду праздновать лицейскую годовщину. Хотя всегда был верен старой дружбе и старым воспоминаниям. Да, впрочем, я вам уже говорил об этом...

Камердинер накрыл им стол для двоих. Кушанья, как князь и предупреждал, были от местного кухмейстера. Присутствовал запотевший графинчик с любимой английской водкой князя.

— Странно, что было принято праздновать поступление в Лицей, тогда как логичней было бы праздновать окончание сего заведения. Ведь именно с того момента, с девятого июня 1817 года, началась наша взрослая жизнь... «Прощальную песню» пели мы без государя, он ушел... Пели сами перед собой и несколькими гостями. Как сейчас вижу эту картину: все в стареньких мундирах, у кого-то заплатки на локтях... Почему-то до сих пор помню Ваню Пущина, который до того лежал в лазарете с тяжелой простудой и совершенно больной выпросился на выпускной акт. Он не пел, не было голоса, а только открывал рот, но был счастлив вместе со всеми, глаза его были красны, то ли от простуды, то ли от невольных слез...

Князь вдруг тихонечко запел, дребезжащим старческим голосом выводя каждое слово:

Шесть лет, шесть лет промчалось, как мечтанье...
В объятьях сладкой тишины,
И уж Отечества призыванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!

Тебе, наш царь, благодаренье!
Ты сам нас, юных, съединил
И в сем святом уединенье
На службу музам посвятил.
Прими ж теперь не тех веселых
Беспечной радости друзей,
Но в сердце чистых, в правде смелых,
Достойных благодати твоей.

Шесть лет, шесть лет промчалось, как мечтанье...
В объятьях сладкой тишины,
И уж Отечества призыванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!..

Наконец он остановился со слезами на глазах.

— Поверьте, многие из нас плакали! — уверил князь
Ивана Петровича Хитрово.

Вечером, после акта, когда воспитанники сами перед собой пропели песню Дельвига, собрались у директора в доме, где должен был состояться спектакль по французской пьесе, написанной мадам Смит.

Сама она сидела в стороне, не участвуя в подготовке, видно было, что даже присутствие на людях дается ей тяжело. Несколько раз князь Горчаков перехватывал ее взгляд и замечал в глазах у нее слезы.

Перед спектаклем Егор Антонович обратился ко всем воспитанникам с прочувствованной речью:

— Господа лицейские, я никогда не забуду этот день, счастливейший, прекраснейший в моей жизни! Вы пели сегодня и голосом и сердцем! Сейчас у нас будет представлена пьеса, написанная мадам Смит, но прежде я хотел бы... — Голос Егора Антоновича дрогнул, и директор сбился. — Эта песня... Тысяча сладких сердцу воспоминаний прошло перед моим мысленным взором: рыцарства, вечеринки, маскарады, даже ваши шалости, вроде похищения ляминских яблок, за которые я имел выговоры от нашего отца-благодетеля государя императора Александра Павловича! —

При словах о государе голос его снова задрожал, губы затряслись, но он совладал с собой и продолжил речь: — Я понимаю, что в большом свете ваши сердца остынут, на место сердцу придет рассудок. Что делать, такова жизнь! Но хотелось бы, чтобы вы сохранили в глубине сердца, этом святилище добродетелей, те символы веры, каковым вы поклонялись в нашем родном Лицее. Я знаю, что мои надежды, быть может, и напрасны, я весь живу в прошлом, и мысли мои и чувствования давно устарели, они давно вышли из моды, как вышли из моды мой фрак, мои кюлоты, туфли с пряжками и круглая шляпа, но все-таки я приготовил вам подарок, который, как надеюсь, вы будете хранить всю свою жизнь до гроба!

Он подал знак слуге, и тот поставил на стол перед ним шкатулку. Егор Антонович открыл ее, и лицо его приняло благоговейное выражение.

— Вы все получили медали разного достоинства, у кого-то был похвальный лист, у кого-то токмо свидетельство, одни вышли титулярными советниками, другие — коллежскими секретарями, кто-то — в гвардию, кто-то — в армию, но вот эти кольца, которые я заказал, совершенно равного достоинства, сделаны из чугуна нашего лицейского колокола, который, как помните, господа, невзначай разбился, и теперь пусть в этом простом металле всю вашу жизнь будет звучать его песня, напоминая о священном союзе сердец, спаявшем нас под сводами Лицея. Они ничем не отличаются друг от друга, носите их как память сердца, помните друг о друге, помогайте друг другу и не забывайте меня, старика!

Егор Антонович, долго сдерживавший рыдания, вдруг навзрыд заплакал тоненьким бабьим голосом, и вместе с ним заголосили некоторые из воспитанников.

— Храните... — всхлипывал он, раздавая одной рукой кольца, а другой платочком утирая слезы. — Эти кольца... как символ... нашей лицейской веры! И храни вас Господь, господа лицейские!

Поднялась со своего кресла и ушла, прижимая платочек к глазам, мадам Смит.

«Было бы странно носить эту чугунную чушку, — усмехнулся про себя князь Горчаков, рассматривая кольцо, полученное от директора. — Что же теперь, каждому, с кем встреча-

ешься, объяснять, что это кольцо — память о годах, проведенных вместе, память о добром Егоре Антоновиче. Но хранить его надо». — Он незаметно спрятал кольцо в карман.

Воспитанники примеряли кольца, и многим они оказались велики, а чугун — это ведь не золото, кольцо не переделаешь у ювелира. Последнее, тридцатое кольцо Егор Антонович торжественно надел на свою руку: ему оно пришлось в пору, вероятно, мерку, чтобы все держать в тайне, он снимал с собственного пальца.

Так что акция директора увенчалась относительным успехом. Однако он упорно называл их в протяжении всего вечера «мои чугунники», подчеркивая свою роль в их воспитании.

— А теперь, господа «чугунники», — воскликнул Егор Антонович, — теперь мы наконец перейдем к французской пьесе, которую вы готовили для этого торжественного дня.

Егор Антонович осмотрелся и спросил недоуменно:

— А где же автор пьесы, мадам Смит?

К нему подошла жена и знаком отозвала его в сторону. Князь Горчаков заметил, что она взволнована, и против воли поискал глазами Пушкина: тот сидел задумчиво и ни на кого не смотрел.

— Будем играть без автора! — сообщил Егор Антонович. — Мадам Смит нездоровится.

Первые роды были долгими, всю ночь продолжались схватки, и мадам Смит родила только на следующее утро.

Князь Горчаков счел обязательным нанести визит одним из первых, вечером того же дня. К его удивлению, она его тотчас же приняла.

— Благодарю вас, князь, за визит, — сказала она усталым голосом. — Посмотрите на дитя — оно прелестно!

Нянька поднесла ему девочку в кружевном пакете. Девочка не спала и была спокойна.

Горчакова, когда он увидел девочку, прошиб холодный пот.

«Матерь Божья! — воскликнул он про себя. — Эти арапские губы, кучерявые светлые волосики, большие, даже у младенца, глаза. И взор ясный, осмысленный. Здесь ошибиться было нельзя».

Он взглянул на мадам Смит и сказал:

— Она мила, Мария. Я не знал вашего мужа, но она и на вас похожа.

— На меня в меньшей мере, — печально улыбнулась Мария.

Больше они ни о чем друг другу не сказали. И никогда не виделись. Когда ему через некоторое время случилось быть у Егора Антоновича проездом в Москву, мадам Смит уже покинула дом своего родственника. Горчаков был уверен, что никто, кроме него, так ничего и не заметил. Видно, никто ничего не знал. Кроме него и, вероятно, Егора Антоновича. А Пушкин к Энгельгардту после того вечера не ходил, уехал из Царского через день, и разговору об этом у него никогда с Горчаковым не было. Князь не позволил бы себе такой не деликатности.

Надо сказать, что на следующий же день князь слышал, как на пруду судачили две служанки, одна из которых была Энгельгардтова.

— Ну и что ж, очень даже бывает, что рождаются дети и через одиннадцать месяцев после смерти законного супруга, и даже через двенадцать. Семья, оно, Матреша, очень живучее.

«Какой мусор в голове у простолюдинов», — усмехнулся про себя князь Горчаков, проходя мимо.

Лицей был позади. Перед самым отъездом князь Горчаков три раза пытался попасть к графу Каподистрия. Сначала тот был в Павловске — Горчаков бегал туда, потом работал с князем Голицыным — тоже не приняли, в третий раз Каподистрия был у государя. Повидать он его не смог, однако не преминул каждый раз сказать лакею, чтобы он ставил графа в известность об его визитах. О своих визитах и о своей мечте попасть в канцелярию графа он написал дядюшке Пешурову, надеясь на дядюшкину помощь.

В последний вечер перед отъездом по коридорам Лицея бегал профессор Кошанский в белой горячке, заговариваясь на латыни, прятался по углам, где разговаривал с Данте, и доктор Пешель по размышлении приказал все же двум дядькам сыскать профессора в коридорах и связать.

— Данте! — кричал Кошанский, бившись в руках у мужиков. — Прощай. Вспомни обо мне, когда выйдешь из ада!

Когда утром Горчаков уезжал, за его каретой бежал гвернер Фотий Петрович Калинин и плакал. Таковы были последние воспоминания.

Через несколько дней после выпускного акта в Петербурге несколько человек лицейских, зачисленных в Коллегию иностранных дел, встретились в здании Коллегии на Английской набережной, чтобы быть представленными Карлу Васильевичу Нессельроде, который в должности статс-секретаря заведовал Коллегией.

Горчаков с Пушкиным подъехали к подъезду почти одновременно, дружески обнялись на пороге, с такой теплотой, как будто не виделись годы. Следом, вскочоченный, помятый, будто не спавший, вылез из пролетки Кюхля и тут же собрался замучить их новыми стихами, но они отговорились недостатком времени. Ломоносов, Корсаков и другие находились уже в приемной.

Пока ждали аудиенции, к ним подошел молодой человек, их ровесник, представился.

— Актуариус Коллегии Никита Всеволодович Всеволожский, — сказал он с некоторой усмешкой в голосе. Усмешка, как понял князь Горчаков, относилась к тому, что он был всего лишь актуариусом, то есть чиновником последнего, XIV класса. Однако фамилия богачей Всеволожских говорила сама за себя. — Вы ведь, если не ошибаюсь, господа лицейские?

Услышав подтверждение, Всеволожский добавил:

— Чин актуариуса существует только в нашей Коллегии. Отвечаю за исправность переписки разных дел и хранения оных в целости и порядке, равно и за надлежащее ведение протоколов и регистратур.

— В Англии это называется clerk, — сказал Горчаков и слегка поклонился:— Князь Горчаков.

— Очень рад.

— И много приходится работать? — поинтересовался Корсаков.

— В том-то наше отличие от Англии, что совсем не приходится, если, разумеется, нет желания. Я только состою в Коллегии. — Он вдруг переменял тему, поворачиваясь к Пушкину: — Ну, а кто же из вас Пушкин?

— Всегда был я, — улыбнулся Пушкин.

— Значит, угадал. Очень рад. Наслышаны, читали, любим, — коротко объяснил Всеволожский. — Друг Петруша Каверин много рассказывал. Всегда ждем у себя. Живу в доме Паульсена напротив Большого театра, на Екатерининском канале. Как театр отстроится после пожара, буду ходить туда пешком, говорят, работ осталось на месяц-два. А до Театрального училища два шага, — уже посмеиваясь откровенно, добавил он.

— И до прелестей его воспитанниц? — смело предположил Пушкин.

— Путь к воспитанницам училища и танцоркам труппы охраняется самым петербургским генерал-губернатором графом Милорадовичем. Это его самое главное дело в мирное время. Победить «русского Баярда», как его величали французы, не так просто. Он страстный поклонник и защитник прелестей молодых воспитанниц. Кроме него, на второй линии закрепился князь Шаховской, этот уже по должности. Как вы знаете, он заведует репертуарной частью петербургских императорских театров. Я с ним недавно познакомился, человек прелюбезный и преумный. У него на «чердаке», так называется третий этаж дома, где он снимает квартиру, собирается лучшее общество, все истинные театралы столицы. Короче, если удастся пройти между Сциллой-Милорадовичем и Харибдой-Шаховским, то, глядишь... Прелести воспитанниц в руце Божьей!

Тут их пригласили в кабинет Нессельроде, Всеволожский пожелал им ни пуха, ни пера.

Их начальник оказался тщедушным, маленьким человеком с большим горбатым носом. За глаза его звали «карлой». Он был чрезвычайно напыщен и невнимателен к своим новым подчиненным. Когда ему представляли бывших лицейских, он едва смотрел на них. Лишь один раз Горчаков увидел, как он прищуривается, и понял, что Нессельроде близорук, а значит, толком их и не видит. Сказал он всего несколько незначительных слов по-французски, ни к кому не обращаясь, и на этом представление было закончено. Человек он, по мнению Горчакова, который интересовался своим будущим начальником, был самый ничтожный, пять раз за свою жизнь менявший подданство, не говоривший толком по-русски, чуждый всему русскому и попавший на место руководителя международной политики лишь пото-

му, что Александр I считал, что министр иностранных дел ему вовсе не нужен. Правда, в это время Нессельроде делил власть в Коллегии с греком Каподистрия, человеком умным и просвещенным, протекцией которого пользовался Горчаков, но чиновников представляли все-таки в первую очередь ему.

Позже священник сенатской церкви отец Никита привел их к присяге: поклялись на Евангелии, целовали Святой Крест, подписались под присяжным листом. Потом им дали прочитать указы Екатерины II и Петра I и подписаться под ними. Горчакова удивило, как много листов было подшито к указу. Если полистать, верно, можно было найти подпись и самого Нессельроде, подумал Горчаков. Ибо положено было ознакомлять с указами каждого, кто начинал свое поприще на ниве дипломатии.

— Могу сказать, что все мы хотели отметить как-то этот день, — продолжал свои воспоминания князь Горчаков, — но Пушкина тут же умыкнул дождавшийся его Никита Всеволожский, и они двинулись пьянствовать, кажется, к тому в Рябово, знаменитое имение его отца. За Пушкиным тогда уже охотились, скоро он станет моден и нарасхват. Только и слышалось в гостиных: Пушкин, Пушкин, Пушкин. Даже в Москву, куда я был послан с походной канцелярией, доходили эти слухи. Он закрутился, завертелся в коловерти петербургской светской жизни, которая оторвала его от возможной карьеры.

— А может быть, и не нужна поэту карьера? — предположил Иван Петрович.

— Моему другу Федору Ивановичу Тютчеву не помешала. А поэт ведь тоже был не последний. Александру Сергеевичу Грибоедову, с которым мы в один день были зачислены в Коллегию, не помешала... Впрочем, Пушкин не хотел делать карьеры и не сделал. Моя же служба с того момента продолжалась, с коротким перерывом, более шестидесяти лет. При самом начале службы я уже возбуждал, до известной степени, чувство зависти. Мне покровительствовал будущий президент греческой республики Каподистрия — этого было достаточно, чтобы вызвать ко мне нерасположение Нессельроде... Однажды дядя мой, князь Андрей Иванович Горчаков, человек весьма храбрый, богатый, но весьма и

весьма недалекий, приехал к Нессельроде с ходатайством о производстве меня в камер-юнкеры. «Вашего племянника Александра Горчакова? Да ни за что! Посмотрите, он уже теперь метит на мое место!» — вскричал Нессельроде. Отказал наотрез. Он меня невзлюбил, почуял опасного соперника. И надо же такому случиться, что сменил его на посту министра иностранных дел именно я, только аж в 1856 году, при следующем императоре. Он меня не любил, да и я его тоже, но надо признать: какое чутье было у старой крысы, за одно это его можно было уважать.

— Пожалуй, водки хватит, — сказал князь Горчаков после трех привычных рюмочек перед трапезой. — Выпьем наконец шампанского, — предложил он Ивану Петровичу. — Мы ведь собрались не просто обедать, а отмечать годовщину Лицея. Сегодня 19 октября 1882 года, доживу ли я до следующей? Пока сижу ведь, пью шампанское и совсем не один, как предполагал наш поэт. — Старик засмеялся. — Один — это поэтическое преувеличение, а в жизни все по-другому.

— А кольцо, ваша светлость? Чугунное кольцо у вас не сохранилось? Что на нем было написано? Я всех, с кем смог и успел встретиться, спрашивал...

Князь вопросительно поднял брови — ну и?!

— Никто мне не показал. Наследники ничего не знают.

— И у меня тоже нет, — против воли соврал князь. Впрочем, сделал он это легко, привычно, сам не зная зачем, ибо, как величайшему дипломату, а именно таковым он себя считал, делать это ему было крайне легко и приятно. — А написана там была какая-то строчка из стихов барона Дельвига.

Разгорячась от водки и шампанского, князь говорил без умолку, по старчески скакал с одной темы на другую, цепляясь в разговоре за какое-нибудь слово, уходил в сторону и уже не возвращался, руководствуясь в беседе одному ему ведомым внутренним движениям души.

— Умру в Бадене, как моя Маша. Больше нигде не хочу умирать. И будут недруги опять говорить, что князь Горчаков не любил России, хотя я более шестидесяти лет верой и правдой служил только ей. Как написали в моем деле после той истории с Бенкендорфом: князь Александр Горчаков не без способностей, но не любит Россию. А вот и не люблю, —

сказал он капризно, — но не позволю, чтобы кто-то мне на это указывал!

— Неужели на вас было дело?

— Разумеется. А что тут удивительного? — воскликнул князь. — За лицейскими следили особо. Знаете ли, даже выражение было: лицейский дух! Вольнодумство! А ознакомился я с этим делом, когда стал министром. Тогда, милейший Иван Петрович, была замечательная традиция. Как только новоиспеченный министр появлялся в своем кабинете, начальник секретной полиции выкладывал ему на стол дело, заведенное на него в прежние времена. Вот бы вам для вашей работы полистать эти дела.

— Ваша светлость, я не устаю удивляться вашей необыкновенной памяти. Поверьте, это не лесть, это только признание неоспоримого факта.

Князь Горчаков был доволен и слегка пожурил Ивана Петровича:

— Иван Петрович, мы ведь договаривались — между лицейскими без титулов. А если говорить о памяти, то, слава Богу, я пока еще в сознании. Помню, как тело Егора Антоновича, нашего незабвенного директора, которого мы столько вспоминали в последнее время, еще было с нами, а дух уже отлетел: лета его тогда совсем уничтожили память. Когда я заезжал к нему на дачу, где он жил у своей дочери Сакен, он каждый раз спрашивал: зачем я в Петербурге? А я каждый раз объяснял ему, что служу министром иностранных дел. «Да? — каждый раз удивлялся он. — Уже министром?» Я дружил со стариком, он был мне очень близок. В 1877 году я пожертвовал 16 тысяч рублей для учреждения в Лицее стипендии в благородном воспоминании о Егоре Антоновиче. Я вечно чувствовал себя обязанным Егору Антоновичу. Как он любил нас, лицейских, как следил за нашими успехами, как радовался! Хотите, покажу медаль? С ней связана целая история. — Он позвал камердинера и попросил принести из спальни шкатулку. Из шкатулки он извлек медаль, потертую, с облезшим золотом. — Малая золотая медаль. Ее у меня во время оное украли вместе со всеми вещами и незначительными документами посольства в Лондоне. Однако это послужило одной из причин моего перевода в Рим.

— Я слышал об ином, — сказал Иван Петрович. — Вернее, читал у Долгорукова в «Листке», что вы, выведенный однажды из терпения полнейшей неспособностью посла графа Ливена, сказали кому-то: «Вы не можете себе представить такое положение: быть живым, привязанным к трупу». И хотя эти слова были сказаны с глаза на глаз, но немедленно же дошли до Ливена, который воспылал к вам непримиримой ненавистью.

— Было и это, — улыбнулся князь Горчаков. — Но нужен был и формальный повод. Я думаю, кража была подстроена супругой посла, графиней Долли Ливен, Дарьей Христофоровной, родной сестрой небезызвестного всем нам графа Александра Христофоровича Бенкендорфа. Собственно, послом в Англии была она, ее звали посольшей, а ее мужа «супругом посольши». Я мешал ей делать свои мелкие делишки. Известная авантюристка, одно время любовница Меттерниха, она давно умерла в Париже, где жила в доме, купленном ею у наследников Талейрана, содержа в нем блестящий салон. Так вот, Егор Антонович, добрейшая душа, прислал мне в Италию копию медали, сделанную из меди и позолоченную. Поэтому она такая облезлая, но дороже мне той, первой! — Он повертел медаль в руках и передал ее Ивану Петровичу, вздохнув: — Дарья Христофоровна... Я вам рассказывал про то, как в Вене повздорил с Бенкендорфом? Я был тогда всего старшим советником посольства, правда, исполнявшим должность посланника в его отсутствие, а он — всесильным жандармом, главой III отделения. Нет?! Но это особая история, о ней в другой раз. Вы ведь не покидаете Баден?

— Нет, ваша светлость, — сказал Иван Петрович.

— А я пока не умираю, — улыбнулся князь Горчаков неожиданно светлой детской улыбкой, достал большие серебряные карманные часы с барельефным портретом Александра I, изображенного с надетой на голове шляпой, и посмотрел, который на них час. Иван Петрович заинтересовался часами, но постеснялся спросить, побоявшись, что он и так утомил за сегодняшний вечер князя.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

*в которой князь Горчаков рассуждает о смерти. — Немцы заливают покойников растопленным салом для перевозки. — Православная церковь в Бадене. — Отец Иоанн Базаров. — Однополая любовь в Лицее и в Пажеском корпусе. — Анекдот в связи с этим о Якове Ивановиче Ростовцеве. — Бугры и бардаши. — Александр Иванович Соллогуб. — «Вспомни обо мне, когда тебя в Константинополе будут сажать на кол». — Бугры-либералисты. — Любовь Горчакова к Корсакову. — Тайна брегета Александра I. —
Конец октября 1882 года*

— А я пока не умираю, — сказал давеча князь Горчаков.

Сказал как сглазил. Видно, черт за язык дернул. Наутро он не мог пошевелинуться. Казалось, что смерть близка. Лежал он сначала тихо, прислушиваясь к слабым токам организма, потом, набравшись сил, позвонил в колокольчик и вызвал камердинера. Тот вошел с неременным утренним набором; на подносе лежали все принадлежности старческого туалета: флаконы с румянами и белилами, щеточки и кисточки, рыжеватые накладки на деревянном болване и искусственные челюсти на серебряном блюдечке. Горчаков, однако, челюстей не вставил, а шепотом принялся отдавать приказания камердинеру. Немец все выслушал с недовольной миной на лице, отворачиваясь от желтой мумии князя и явно показывая всем своим видом, что он князю не сиделка и не собирается заниматься не своими обязанностями. Первым делом Горчаков отослал его на почту проверить, нет ли писем от сыновей, которые были извещены о его болезни.

Немцы вообще не любили смерти, не любили ее приближения и совершенно не понимали православного к ней отношения. Умерших русских они выкидывали из гостини-

цы в тот же день, стараясь это сделать под покровом ночи, чтобы никто из постояльцев не видел печального зрелища, и не давая скорбящим родственникам попрощаться с умершими по православному обряду и вынести их из дома только на третий день.

Князь Горчаков вспомнил одну историю, которую ему пришлось улаживать во время оно, когда он был нашим посланником в Штутгарте и при Германском союзе в пятидесятых годах.

Одна богатая русская фамилия везла больную мать семейства проездом в Италию для лечения и остановилась в одном из лучших отелей одного из германских городов. В эту же ночь больная скончалась. Хозяин гостиницы предложил немедленно убрать тело из номера, на что ему отвечали решительным отказом, объявив, что до отправления тела в Россию, на что потребуются не менее трех суток, они не позволят удалять покойницу. Хозяин замолчал, но, когда все процедуры были закончены и семейство вслед за телом собралось выехать, он подал им за эти три дня счет в 30 000 гульденов, сумму астрономическую, основываясь на том, что за время пребывания покойника в гостинице у него никто не хотел останавливаться, к тому же большая часть живших у него гостей выехала из отеля, что вместе с другими расходами, как-то истребление кровати и мебели в комнате умершей, а равно и ее полный ремонт с заменой обоев, причинило ему убыток на указанную сумму. Из-за этой безудержной наглости возник процесс, который и поддержало наше посольство в Штутгарте и кончившийся тем, что сумма была уменьшена, но все-таки значительную ее часть пришлось уплатить.

Не дай Бог умирать русскому за границей! Тут же всплыла в памяти и другая история, которую ему поведал отец Иоанн, как тело одного русского готовили к отправке на родину. Для транспортировки были сделаны все приготовления и заказы, оформлены все документы, как вдруг выяснилось, что посланные в соседний городок за профессорами для бальзамирования тела вернулись ни с чем, в местном университете были каникулы и профессора разъехались.

Кому-то пришла мысль залить тело в свинцовом гробу салом и отправить, как пересылают ошипанных гусей. И вот

немцы принялись за эту ужасную операцию, конечно, за глазами родственников покойного, иначе бы они не потеряли такого поругания.

Прежде всего, рассказывал отец Иоанн, вытащили гроб с покойником из капеллы во двор гробовщика; здесь развели костер, на который поставили чугунок с салом; тело вынули из гроба, раздели догола, потом снова уложили в свинцовый гроб и стали поливать кипящем салом. Кожа вздувалась пузырями и ломалась с ужасающим звуком. Немцы посмеивались и лили на него все новые и новые ковши растопленного сала, так что окоченевшие руки трупа стали дергаться, а потом и вовсе согнулись в локтях. Присутствовавший при этом псаломщик, читавший Псалтирь, не выдержал жуткого зрелища и, крестясь, поспешно покинул дворик. «Сколько же этот несчастный нагрешил в своей жизни, если еще на земле попал в такое адское пекло», — жаловался псаломщик отцу Иоанну.

«А ну как меня зальют салом, — подумал Горчаков, — меня, государственного канцлера великой России. Нет, такого не привидится и в самом страшном сне. Дети приедут, дети не позволят. Слава Богу, теперь в Германии нет прежних сложностей с православными священниками».

Он помнил, как в Баден выписывали, если успевали, священника из Висбадена или из Штутгарта для причастия. Обыкновенно священник ехал к больному для причастия, но захватывал с собой на всякий случай псаломщика и траурную ризницу. Так, помнится, к ним приехал отец Иоанн, когда бесценная Маша была при смерти. Именно эта ризница перепугала тогда князя насмерть, ибо, увидев ее, он все понял окончательно.

Теперь, слава Богу, в Бадене была своя церковь, и к этому ему тоже удалось приложить свою руку. В пятьдесят восьмом году он приехал отдохнуть в Баден, и ему пришла в голову счастливая мысль пригласить из почти родного Штутгарта, где он прожил столько лет, отца Иоанна Базарова. Благо он знал, что княгиня Ольга Николаевна, бывшая замужем за наследным принцем Вюртембергским Карлом, на все лето уехала в Россию. К тому же русское посольство в Штутгарте состояло сплошь из немцев и было не православным со времени его отъезда оттуда. Граф Бенкендорф, Штофреген, барон Мейендорф. Все русские были на водах,

и он вызвал томившегося от безделья своего друга, с которым был в постоянной переписке.

Отец Иоанн Базаров переселился в Баден-Баден с походной посольской церковью и со всем причтом и семействами; службы стали почти ежедневными. Русских в Бадене было много, они постоянно приезжали и уезжали, и князь, сам внеся большую сумму на церковь, предложил учредить денежный сбор на церковь. Один из псаломщиков являлся к каждому приезжавшему со сборной книжкой и просил подписаться на нужды церкви. При этом зачастую он делал это на рулетке, особенно тогда, когда замечал, что русский в выигрыше. Выигравший человек всегда щедр, ему кажется, что жизнь будет к нему постоянно благосклонна, и он охотно жертвует. Однажды австрийский офицер со славянской фамилией сорвал банк, выиграв несколько тысяч гульденов; псаломщик заставил и его подписаться, приняв за русского. Ничего не соображавший от радости австриец столь же охотно, как и остальные, отпустил значительную сумму на православную церковь.

Помнится, они тогда очень смеялись с отцом Иоанном над этим случаем: так правдами и неправдами было положено начало капитала для строительства Баденской церкви.

Вернулся камердинер, принес письма с почты. Одно было от старшего сына Михаила, служившего посланником в Мадриде. Он брал отпуск и ехал к нему. Убедившись, что Михаил не сегодня завтра уже будет здесь, он хотел было послать в Карлсруэ за священником, но вспомнил, что сегодня не его день, когда он приезжает в Баден, чтобы отслужить обедню в маленькой баденской церкви, не имеющей пока собственного причта.

Пока он лежал и думал о смерти и связанными с ней неудобствами для родственников, ему стало лучше. Он вдруг понял, что просто перебрал вчера на лицейской вечеринке лишнего, и улыбнулся. Мысль о свинцовом гробе и кипящем сале показалась смешной. Он решил думать о чем-нибудь приятном. Но прежде взял челюсти, пощелкал ими перед собой, усмехнулся и засунул в рот, утвердив языком на место, и продолжил ход своих мыслей:

«О чем мы вчера говорили-то с Иваном Петровичем на вечеринке? Об актуариусе Никите Всеволожском, который умыкнул Пушкина. И как они тогда загуляли. Вообще, Ни-

кита безумствовал недолго. Очень быстро, кажется, быстрее самого князя, стал камер-юнкером, получил доступ «за кавалергарды», потом прицепил камергерский ключ, а когда сам князь в чине тайного советника был русским посланником в Штутгарте и при Германском союзе, Никита Всеволожский находился при дворе уже в должности гофмейстера. Нет, — вдруг сам себя уточнил Горчаков, — камер-юнкером Никита стал чуть позже меня. Я был пожалован в апреле 1819-го, а Никита — осенью 1820-го». Он стал вспоминать атмосферу, которая царила тогда в Коллегии иностранных дел. Еще со времен канцлера графа Николая Петровича Румянцева, который ушел в отставку в 12-м году, принято было набирать в Коллегию юношей приятных, красивых, умеющих нравиться, что было немаловажно в дипломатии, и безусловно хороших фамилий. Утонченный разврат преобладал в Коллегии, протекции часто имели определенный привкус. Говорили, что, когда в начале 20-х годов высылали из Петербурга за скандальные похождения сына историка Бантыша-Каменского, Владимира, он называл на допросе в числе людей с его вкусом и графа Румянцева, который доживал, полуразбитый и оглохший, свои последние годы в отставке. Князь Горчаков еще с лицейских времен сторонился всего этого; в Лицее с однополой любовью обстояло не хуже и не лучше, чем, например, в Пажеском корпусе, или в Конном, или в Преображенском полку. Князь в связи с этим любил вспоминать забавный анекдот.

До императора Николая I дошли слухи о широком распространении среди кадет педерастии, и он поручил военному министру светлейшему князю Александру Ивановичу Чернышеву разобраться с этим. Тот призвал к себе Ростовцева, тогдашнего начальника военно-учебных заведений, знаменитого своим доносом на декабристов Николаю, впоследствии бывшего одним из главных деятелей крестьянской реформы.

— Яков Иванович, такое поведение не токмо развращает нравы, но и вредно действует на здоровье мальчиков.

— Помилуйте, ваша светлость, — искренне удивился Ростовцев. — Скажу вам откровенно, что когда я был в пажах, то у нас этим многие занимались; я был в паре с Траскиным; не знаю, как насчет развращения нравов, но удо-

вольствия было много, и на наше здоровье это никак не подействовало.

Светлейший князь расхохотался, видимо, вспомнив, что и сам был воспитанником Пажеского корпуса.

«Ну и кто же из вас был бугром, а кто бардашом?» — видимо, должен был спросить Чернышев: так домысливал этот анекдотец князь Горчаков.

«По очереди, — ответил бы насмешливый Ростовцев. — У нас были и дежурства, кому стоять раком».

Собственно, разделять охотников до своего пола на бугров и бардашей стали позднее, подразумевая, кто сверху, кто снизу, а раньше всех их звали bougre, что означало по-французски и просто «парень», и «плут», и на жаргоне «педераст». Помнится, князь просил Пушкина, когда он читал ему «Бориса Годунова» в Лямонове, убрать всех этих педерастов и задницы из сцены в корчме, и вообще весь французский и русский мат, а Пушкин хохотал обворожительно и обещал подумать, но, видно было, что ему жаль расставаться с матерщиной. «Знаешь, — повторил тогда Пушкин свою излюбленную мысль, — когда в России отменят цензуру, то первым делом напечатают всего Баркова, а после Баркова издадут и меня без точек».

Князь Горчаков, конечно, помнил хорошо и всю гурьевскую историю, и что bougre Костя Гурьев, отчисленный из Лицея, впоследствии объявился в Коллегии иностранных дел, служил секретарем русского посольства в Константинополе. Вспомнив Константинополь в связи с этой скользкой темой, князь усмехнулся, кстати вспомнив и анекдотец про отца писателя графа Владимира Соллогуба, автора знаменитого в свое время «Тарантаса». Александр Иванович Соллогуб имел определенные вкусы и, бывало, в Павловске на гуляньях при публике целовал руки поддужным, и форейторм, и у молодых жокеев, хорошо с ним знакомым.

Так вот он, встретясь как-то с Титовым, который был назначен посланником в Константинополь, сказал ему на прощанье: «Когда там, mon cher, посадят тебя на кол, то вспомни обо мне». Судя по всему, Титов с Гурьевым были в Константинополе в одно время, в начале 30-х годов... Кто кого, интересно, сажал из них на свой кол?

Вот эта слишком хорошая осведомленность об отношениях в мужских заведениях и помешала самому князю Гор-

чакову после смерти жены отдать в одно из них своих двоих сыновей, несмотря на советы не очень сведущих в этом друзей. Ну да черт с ней, с этой темой, с чего это он стал думать об этом? Это Никита Всеволожский навел его на эту мысль, было в нем и в его старшем брате, Александре, что-то развратное, утонченное, содомское. Да и поговаривали разное про их общество «Зеленая лампа». Говорят, что и там драли друг друга в жопу либералисты. Но об этом, пожалуй, не стоит распространяться с Иваном Петровичем... Этак и о Пушкине начнет расспрашивать... Но если положить руку на сердце, так ли чист был сам князь, как хотелось ему думать теперь, много лет спустя. Что он мог бы сказать о Нике Корсакове, так рано умершем «под миртами Италии прекрасной», о своей платонической любви к этому юному отроку, божественному юноше, стихотворцу, музыканту, бедному трубадуру, чья смерть отозвалась в его сердце незаживающей раной. Были ли тогда, в лицейские времена, греховные мысли? Уж во всяком случае ревность к Косте Гурьеву, который следовал за Ником по пятам, была, и спустя годы замирало сердце, когда он допускал мысль, что между ними не обошлось без греха. Князь до сих пор помнил тот густой кипарис, под которым он отыскал спустя несколько лет могилу Корсакова, у церковной ограды во Флоренции; он тогда сам, на собственные средства, заказал мраморный памятник другу юности. Рассказать ли об этом Хитрово? Пожалуй, можно... Одна поэзия... Если исключить из рассказа Гурьева.

Вошел камердинер и доложил, что явился с визитом господин Хитрово.

— Легок на помине, — вздохнул князь. — Проси в гостиную, а мне помоги одеться.

Иван Петрович дожидался в гостиной, когда в своем длинном архалуке и черной бархатной шапочке, наподобие ермолки, въехал на кресле светлейший князь. Иван Петрович встал и раскланялся с ним. После обмена любезностями князь отчего-то сказал совсем не о том, о чем думал перед самым приходом собеседника, а язвительно, зло и капризно стал словно за что-то отчитывать Ивана Петровича:

— Бисмарк считал меня немцем из-за того, что моя мать была урожденная Ферзен, а я русский, русский, и полити-

ка моя была русская; а из-за того, что я от природы реалист и не подвержен русским мессианским идеям, я не хочу, чтобы меня считали немцем, я православный и хочу, чтобы меня хоронили по православному обряду, а не выкидывали из моего дома в ту же ночь.

Он замолчал и посмотрел внимательно на Ивана Петровича. Тот, не зная, что ответить, пробормотал:

— Ну да, я вас вполне понимаю, ваша светлость.

— А вы сегодня что-то рано пожаловали, — сказал князь, доставая часы, которые вчера заинтересовали Хитрово.

— Не терпится...

— Я вижу, как ваш взгляд цепляется за каждую мелочь, — сказал князь Горчаков Ивану Петровичу.

— Покойный историк Погодин прозвал меня «дразнилкою»...

— Дразнилкою? Это что такое?

— Видите ли, ваша светлость, когда льют колокол, то бросают в растопленную медь кусочки дерева, необходимые для того, чтобы к ним собирался всякий сор и медь становилась чище; эти деревяшки и называются дразнилками. Он считал, что я собираю, как дразнилка, всякую биографическую мелочь...

— И сор...

— И сор, — смиренно согласился Хитрово.

— Ну, старинные серебряные часы, положим, не сор и не мелочь, однако слушайте и про них. Весною этого года я был в Ницце и получил от государя Александра Александровича к годовщине смерти императора Александра II вот эти часы фабрики Брегета-младшего. Они хранились в его кабинете. Обратите внимание, на крышке — портрет Александра I. Вот здесь, — он открыл часы с другой стороны, — под глухой крышкой, серебряный профиль Наполеона I. Эти часы были подарены Наполеоном Александру Павловичу, кажется, в Эрфурте, от него перешли Николаю Павловичу, затем Александру II. С тех пор постоянно находились в кабинете его величества среди прочих вещей. Там же, в Ницце, я получил отставку по моей просьбе и двойной портрет почившего в Бозе императора Александра II и нынешнего государя, осыпанный алмазами, для ношения на груди. Портрет спрятал в шкатулку, а часы ношу.

— Не боитесь держать такие ценности в шкатулке?

— Ну что вы! У меня нет русских слуг. Немец тебя, конечно, облапошит при случае, но всегда сделает это по закону. А вот взгляните, в часах есть секрет! — Князь показал прикрепленную под крышкой часов прядь темно-каштановых волос. — Это, как я думаю, Александр Павлович носил с собой прядь на память. Чью? Что скажете?

Иван Петрович задумался.

— Эта прядь — разгадка, кого все-таки любил император. Всегда и до конца жизни...

— Это, безусловно, не императрица. У нее были русые волосы, — сказал Иван Петрович.

— Я полагаю, — вздохнул Горчаков, — что это волосы Марии Антоновны Нарышкиной, любимицы императора Александра Павловича. — Горчаков захлопнул крышку и покачал часы на цепочке. — Эти часы мне особенно дороги, как принадлежавшие императору Александру Павловичу. Государь рано стал отличать меня своей благосклонностью, и я этого никогда не забывал.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

*в которой совершается бракосочетание великого князя
Николая Павловича и великой княгини Александры
Федоровны. — Николай Павлович пытается переменить
мундиры камер-нажей, а император делает ему
замечание. — Первая брачная ночь великого князя. —
Похождения великого князя до свадьбы. — Пушкин
и Всеволожский в Немецком театре и на бульваре
Невского проспекта. — Камер-нажи Дараган
и Шереметев. — Порядки в Пажеском корпусе. —
Поездка к Театральному училищу. — Заутреня. —
Воспитанница Овошникова. — Инспектор Рахманов. —
Очередной скандал Александра Пушкина с отцом. —
У братьев Тургеневых. — Знакомство с Кривцовым. —
Что Бог послал на обед Тургеневым. — 1—2 июля 1817 года*

В воскресенье 1 июля 1817 года, в день рождения великой княгини Александры Федоровны (так звали теперь принцессу Шарлотту, принявшую православие, как того требовали законы Российской империи), было совершено ее бракосочетание с великим князем Николаем Павловичем. Бра-

косочетание прошло в придворной Зимнего дворца соборной церкви. Венец над женихом держал великий князь Михаил Павлович, а над невестой — ее брат прусский принц Вильгельм.

Потом был большой обед, а вечером — бал. Жених волновался, он отозвал в сторону одного из камер-пажей, назначенных от штата Марии Федоровны служить молодой великой княгине. У них уже несколько дней как было договорено, чтобы переменить мундиры камер-пажей, и двое положенных для «половины» Александры Федоровны камер-пажей, Петр Дараган и Саша Шереметев, уже успели новые мундиры с синими воротниками справить и даже представлялись в них великому князю в Аничковском дворце, где ему было назначено жить с будущей супругой. Николаю страстно хотелось, чтобы камер-пажи его супруги имели на мундирах синие воротники, цвета, присвоенного придворному штату великого князя, а не красные Большого двора.

— Господа, пора переменить мундиры, — заговорщицки шепнул он камер-пажам во время бала.

Господам было по семнадцати лет, великому князю двадцать один, и вели они себя как мальчишки.

Бесконечный польский тянулся по комнатам. Император сменял дам во второй паре, в первой он только по традиции открывал бал. Генерал-адъютант, шедший теперь в первой, незаметно наблюдал, насколько государь интересуется своей дамой и как протекает беседа, судя по этому, он кончал или продолжал круг. При перемене дамы государь строго соблюдал старшинство чина и общественное положение мужей.

В этот раз государь с императрицей Елисаветой Алексеевной раньше всех покинули Зимний дворец и поехали в Аничков, чтобы там встретить молодых, или, как их все называли, высокобрачных.

Через некоторое время тронулся и поезд новобрачных. Впереди всех двигался эскадрон лейб-гусар с обнаженными саблями, следом кареты с придворными чинами и дамами, потом верхами восемь камер-пажей; за ними шли скороходы, эскадрон конной гвардии и, наконец, открытая золотая карета-ландо вдовствующей императрицы в восемь лошадей, в которой сидели новобрачная, ее брат принц Виль-

гельм и сама императрица Мария Федоровна, искренне полюбившая великую княгиню и почти не расстававшаяся с ней во все это время от приезда до свадьбы.

За каретой ехали верхами обер-шталмейстер, шталмейстер, дежурные камер-пажи и адъютанты великого князя, среди которых был и близкий друг Николая Павловича Эдуард Федорович Адлерберг, сын начальницы Смольного монастыря.

Заклучала процессию карета жениха с братом Михаилом и принцессами Вюртембергскими.

В Аничковом дворце хлебом и солью молодых встретили император с императрицей. Александр покосился на двоих камер-пажей в новых мундирах, но ничего не сказал. Статс-дамы увели великую княгиню для раздевания в покои, а братья остались наедине.

Только тогда Александр Павлович сказал великому князю:

— Ты мог бы, Ники, и спросить меня, прежде чем менять мундиры. Я считаю, что поскольку камергеры и камер-юнкера у тебя от Большого двора, то и камер-пажи не должны носить другого мундира, так что верни на место красные воротники.

Александр видел, что брат его опечалился, но он, как и его августейшая мать, был строг к этикету и нарушений его не прощал.

— Верни на место, — еще раз ласково добавил он.

Вскоре невеста явилась пред ними, уже сняв венчалное платье, а с головы корону и множество крупных коронных украшений, под тяжестью которых великая княгиня к вечеру была едва жива. Теперь на ней было утреннее платье из брюссельских кружев на розовом чехле. Император Александр Павлович снял у нее с платья приколотую белую розу и поцеловал ее. Поужинали в семейном кругу с некоторыми из старейших приближенных: графом Ламсдорфом, княгиней Ливен и прусскими дамами, сопровождавшими везде Шарлотту, обер-гофмейстериной, графиней Трухзес и графиней Гаак, урожденной Таунцен.

Ночью Николай довольно ловко разыграл перед супругой полную невинность и неопытность (он считал это необходимым условием счастливого брака); Шарлотта так и осталась до конца дней своих уверенной, что была у него первой женщиной. Но поскольку он для нее был действительно

первым мужчиной, она даже не догадалась, как деловито, сноровисто он расправился с ее невинностью. Дефлорация («срывание цветка», если перевести это слово с латыни) была ему не впервой. Несколько девушек из Смольного монастыря, совращенных Николаем, против своей воли обучили его этому искусству. Ему и своему сыну Эдуарду-Вольдемару, ставшему впоследствии Владимиром Федоровичем, покровительствовала начальница сего заведения, бывшая нянюшка Николая и Михаила Павловичей, Юлия Федоровна Адлерберг, или, как ее звали в Петербурге, «Адлербергша». Родители совращенных девушек из хороших семей никогда не роптали, ведь в деле был замешан великий князь, родной брат императора. Особенно Николай гордился победой над одной из них, крепость которой никак не мог взломать его наперсник и поделился с ним своей незадачей. Сколько ни бился Эдуард, она ускользала из-под него, взвизгивая от боли.

— Может, привязать ее покрепче, чтобы не могла шевельнуться? — подумал вслух Адлерберг.

— погоди, позволь мне попробовать?

На следующую ночь Николай пробрался к ней, и девушка, узнав великого князя уже в постели, от неожиданности, почти теряя сознание, перестала напрягаться, он вошел легко, а через мгновение и девушка задышала ровнее, подлаживаясь к нему. Потом Николай посмеивался над Адлербергом, сколько можно долбиться в одно место, надо было сменить тактику, например, зайти с другой стороны? И он, горделиво посмеиваясь, уступил девушку Адлербергу. О, как весело было чередоваться, захаживая к ней по ночам! От былой стыдливости смолянки не осталось и следа, от зажатости и духа, и, раскованная, пылая страстью, в одну ночь она принимала их обоих.

— Золотую жену, — пошучивали они, — подготовили мы мужу.

Николай был брезглив, но другом не брезговал. Он знал, что Адлерберг, так же как и он, никогда не пользуется любовью продажных женщин. С самой ранней юности лишь страх перед возможной болезнью удерживал Николая в рамках приличия. Он старался не изменять своему правилу иметь дело только с девственницами.

Эдуард был ближайшим другом его детских игр, старше его на пять лет, в условиях почти не прекращавшихся войн

это была, безусловно, очень большая разница в возрасте; старший друг и стал его просветителем. Они настолько сдружились в своих похождениях, что и свадьбы свои хотели устроить одновременно, лишь невозможность в таком случае быть друг у друга заставила их развести свадьбы на две недели во времени. Свадьба Адлерберга должна была состояться через две недели, 15 июля. Адъютант великого князя, поручик лейб-гвардии Литовского полка должен был жениться на фрейлине императрицы Марии Федоровны Марии Васильевне Нелидовой. А Николай с Шарлоттой обещали быть посаженными отцом и матерью у жениха.

Лежа в постели с Шарлоттой, он думал про эту свадьбу и, желая своему другу такого же счастья, обратился к жене:

— Charlotte, дорогая моя, давай предложим Эдуарду квартиру в Аничковском дворце. Мне было бы приятно, чтобы мой друг жил рядом. К тому же он небогат, а хорошая квартира стоит в Петербурге больших денег.

— Хорошо, милый, — согласилась тут же Шарлотта. Ей нравилось, что он продолжает называть ее прежним именем, и хотелось, чтобы так осталось навсегда. — Это так благородно, Никс! Ты знаешь, милый, — прижалась к Николаю Шарлотта, — я ведь сегодня впервые надела бриллианты, папа нас воспитывал в простоте, мы украшений никогда не носили. И еще, Никс, ты так нежен и ласков со мной, когда мы наедине, а на балах и в обществе вы сидите со своим братцем Мишелем, надутые, скучные, с вытянутыми физиономиями, словно два медведя или марабу. Посмотри на моего брата Вильгельма, как веселится он, как танцует, будь молодым человеком вполне...

— Тебе этого так хочется? — спросил Николай.

— Конечно. Я прошу тебя об этом. Впереди медовый месяц. Пусть и другие видят, как ты счастлив.

— Я постараюсь, — пообещал великий князь супруге. Он вскочил, схватил кочергу у камина и с каменным лицом стал делать перед Шарлоттой оружейные приемы, будучи совершенно голым.

— Никс, перестань! Перестань, Никс, я сейчас умру! Я больше не могу, Никс! Перестань! — хохотала Шарлотта, видя, как болтается из стороны в сторону его мужское достоинство.

Этот вечер Пушкин с Никитой Всеволожским провели в Немецком театре, где временно давала спектакли русская труппа. Там аншлага не было, ложи и кресла оставались почти все пусты, ибо многие записные театралы из великосветских тузов отправились на бал во дворец по случаю бракосочетания великого князя; пустовала и директорская ложа, в которой раньше почти на каждом спектакле появлялся директор императорских театров Александр Львович Нарышкин в камзоле с голубой лентой через плечо, чтобы подать знак к началу спектакля, или все чаще замещавший его в последнее время вице-директор князь Петр Иванович Тюфякин, зато партер, в котором стоя теснились за рубль журналисты, педагоги, гвардейская молодежь, мелкие чиновники и приезжие провинциалы, как всегда, был полон, и известный трагик Яковлев в заглавной роли имел успех в драме «Карл XII при Бендерах».

Пушкин первый раз видел Алексея Семеновича Яковлева, о котором слышал дотоле много: самая известная трагическая история с ним была в 1813 году, когда он в белой горячке перерезал себе бритвой горло, но его удалось спасти. Слава Богу, не пострадал и его голос. Яковлев происходил из петербургского купеческого звания, и частенько купцы после спектаклей устраивали для него корпоративные пирушки. По купеческим понятиям, чтобы доказать свое горячее сочувствие к любимцу, надо было напоить его до бесчувствия. Говорили, что пьянки свои он возобновил с еще большей силой.

После театрального разъезда Пушкин с Никитой заглянули к последнему на квартиру, где обнаружили Каверина, уничтожавшего запасы спиртного. Ему прислуживал мальчик-калмык, крепостной Всеволожского.

— Я тут, Никита, решил, что тебе, должно быть, скучно жить одному. Я к тебе, ебена мать, переехал, а тебя нету, один твой калмык здоровья желает.

Калмык подошел к Каверину и, поклонившись, сказал:
— Здравия желаю!

Все улыбнулись, как и всегда, когда калмык на матерное слово кланялся и желал здоровья матерщиннику.

— Вот видишь, слова под русским титулом не скажешь, тут же твой калмык на страже нравственности... Я надеюсь, ты не против, что я тринкену задал?

— Пей, Петруша, — ласково разрешил Всеволожский и отправился переодеться после театра, позвав с собой калмыка.

— Сашка, — обратился Каверин к Пушкину, — садись ром пить. Я только что от Сашки Грибоедова, твоего тезки, ты с ним знаком?

— Шапочно, — отвечал Пушкин. — Вместе служим в Коллегии, а виделись один раз, когда приводились к присяге.

— Познакомлю поближе. Человек гениальный. Но это мало кто понимает! Публика глупа, ей подавай славу, как билет в вечность. Они верят только славе. Они и не догадываются, что гениальные люди ходят среди нас так же просто, как и все остальные. Какой поэт! Музыкант! А человек! Ты поймешь. Ты один, Сашка, поймешь. Поехали к нему? Он живет на квартире с приятелем, графом Завадовским, — вдруг предложил он.

— Так ты только что от него! — удивился Пушкин.

— Верно, — вспомнил Каверин. — Будем пить здесь.

Ночью втроем отправились гулять на бульвар. Ночь была светлая, теплая, покойная, и в бледном ее сумраке по случаю праздника зажгли на Невском плошки, которые мерцали по тротуарам вдоль домов. Неугомонная публика прогуливалась по Невскому проспекту, посередине которого шел Невский бульвар, обсаженный недавно с двух сторон тощими липками, по образцу, как заметил Каверин, Unter den Linden в Берлине. Все ждали обратного проезда императорской четы и императрицы-матери из Аничковского дворца. Каверин развлекал рассказами про Берлин, уверяя друзей, что по части разврата Берлин далеко обогнал Париж. В девять часов вечера на Unter den Linden всякая девка пойдет с тобой куда хочешь и можно быть уверенным, что никогда не получишь отказа.

На бульваре вскоре встретили двоих знакомых камер-пажей, Петра Дарагана и Сашу Шереметева.

— Вот гуляем, — сказал Шереметев. — Служба закончена.

— А как в корпусе отнесутся к вашей гульбе? — спросил Всеволожский.

— День такой, думаю, и не заметят нашего отсутствия. А потом, кто же знает, когда в ночь бракосочетания мы закончили свою службу? — улыбнулся Шереметев.

Шереметев был знаком Всеволожскому; Саша был младшим братом кавалергардского штабс-ротмистра Васи Шереметева и тоже метил в кавалергарды. Вася Шереметев уже два года как остепенился, перестал шалить и жил почти по-семейному с актрисой императорских театров Истоминой на одной квартире. Впрочем, поговаривали, что он ревнив и даже побивает порядком свою подругу. А Саша начинал так же, как и его брат, приударяя вместе с Всеволожским за воспитанницами Театральной школы. Камер-пажи часто, исполнив свои обязанности у императрицы Марии Федоровны, могли быть свободны на весь день, который каждый тратил по своему нраву, и обязаны были лишь к одиннадцати часам вечера возвратиться во дворец, откуда их в дворцовой карете отвозили в Пажеский корпус. Как и его брат, Саша Шереметев был высок, строен, белокур. Пушкин залюбовался им.

Всеволожский спросил Шереметева, как его успехи у воспитанниц.

— Вот надену форму кавалергарда, и вопросов больше не будет! Только бы набрать тысячу баллов на экзаменах, чтобы можно было выйти в гвардейский полк! У камер-пажей есть право выбрать себе любой, — гордо сообщил Шереметев.

А порядок в Пажеском корпусе был таков: из второго класса пажи, получившие по экзамену пятьсот баллов, выпускались в армейские полки; тем же, кто получал семьсот пятьдесят, предоставлялось выходить в артиллерию, в инженеры или свиту, а в гвардию имели право поступать только камер-пажи, которых оставляли в первом классе, только шестнадцать человек. При этом к выпуску они должны были набрать не менее тысячи баллов по экзаменам, если было менее, ни одна протекция не могла тебе помочь. Можно было, конечно, сидеть в этом классе и два и три года, пока нужная сумма баллов не набиралась. Но Саша Шереметев хотел выйти из корпуса в офицеры гвардии как можно скорее и бредил этой тысячью во сне и наяву и даже с несколькими другими камер-пажами организовал общество, чтобы постигать науки.

— Перед таким кавалергардом ни одна танцорка не устоит, — усмехнулся Пушкин, еще раз окидывая взглядом фигуру Шереметева. Он и в камер-пажеском мундире с зо-

лотыми шевронами на фалдах, со шпагой выглядел почти офицером. — Говорят, перед кавалергардом как-то не устояла и сама императрица.

— Сплетни, — сказал камер-паж Дараган, и это было единственно произнесенное им слово.

— Ну да, разумеется, жена Цезаря выше всяких подозрений, — усмехнулся Пушкин. Он умел быть ядовитым и желчным. Хотя к императрице Елисавете лицейские относились с восторгом, некоторым даже казалось, что они влюблены в нее. Но, разумеется, не ему.

— Саша у нас первый парень на деревне! Если не считать его брата, — усмехнулся Каверин. Все рассмеялись его простонародной шутке. — Перед ним никто не устоит.

Каверин был близким приятелем и собутыльником Васи Шереметева. Впрочем, кому только он не был приятелем и собутыльником? С Грибоедовым учился в Московском университете, с Николаем Тургеневым — в Геттингене, с Чаадаевым служил в Гусарском полку, все у него были друзья, и собутыльники, и соратники в любовных похождениях.

Камер-паж Дараган смотрел на подвыпившую компанию и молчал. А когда повесы стали собираться в веселый дом, поскольку на бульваре становилось невыносимо скучно, Дараган в ответ на приглашение посетить оный только печально покачал головой и откланялся.

— Только не вздумай до утра возвращаться в корпус, а то подведешь меня, — сказал ему на прощанье Шереметев.

— Что это он? — удивился Пушкин внезапному бегству камер-пажа.

— Он, кажется, не на шутку влюбился в великую княгиню, — пояснил Шереметев.

— Но ведь одно другому не мешает, — искренне удивился Пушкин. — Хотя, говорят, она очень и очень мила.

Взяли двух «ванек» с «гитарами», так назывались некрытые дрожки, на которые садились верхом, как на лошадь, притом возница сидел чуть ли не на коленях у седока, и, попрощавшись с Дараганом, поехали со свистом к Театральному училищу на Екатерининский канал; на одной «гитаре», едва поместившись, — Пушкин, уцепившись за Никиту, на другой — Пьер Каверин. Подъехали в три свиста: окна в третьем этаже, где помещались спальни воспитанниц, были темны, воды канала тихи и безмолвны.

Они вылезли из дрожек на набережную и принялись читать под окнами училища монологи из пьес, кто что мог вспомнить. Больше всех отличался в сем искусстве Всеволожский. Окна по-прежнему были темны, но порой казалось, что за ними чуть колышутся шторы и белеет белье воспитанниц. От мысли про них сжималось сердце.

— Овошникова, — вздыхал Никита и театрально целовал ее платок, который удалось ему заполучить, подкупив горничную в училище. Овошникова Дуня только поступила в училище, и было ей неполных пятнадцать лет. Стройная, гибкая, тонкая как тростинка, она своей невинной свежестью сокрушала сердце Никиты Всеволожского. Да, правду сказать, и сам Пушкин был к ней тайно неравнодушен. Впрочем, это неравнодушие, скорее всего, относилось не к ней самой, а к ее обвораживающему возрасту, тем несколькими годам, а порой только месяцам, неделям, дням, когда девушка цветет и источает нежнейший аромат; сорвать цветок в это время — нет большего счастья.

— Овошникова! Быть может, некогда восплачешь обо мне! — стонал Никита, прижимая платок уже не губам, а к глазам, полным слез.

Пушкин захохотал, потешаясь над приятелем, затеребил его и крикнул:

— Ты пьян, Никита!

— Да, я пьян, только обещаю тебе, что протрезвишь меня и пойдем к заутрене. Жить не могу без Овошниковой.

Потом приказали «ванькам» — гони! — и скоро подъезжали к знакомому крыльцу Софьи Астафьевны, у которого всю ночь горел масляный фонарь и, по распоряжению обер-полицмейстера Горголи, дежурил инвалид, дневавший и ночевавший в полосатой будке, чтобы следить за порядком и увещевать молодежь, которая в последнее время по ночам повадилась шалить.

Утром, полусонные, они отправились на заутреню в церковь Театральной дирекции — так называли церковь, расположенную в самом училище. Там каждый желающий мог лицезреть предмет своей страсти. Для того чтобы Всеволожский стоял на ногах, Пушкин вдвоем с Каверинным трезвили его холодной водой со льдом и стаканом горячего пунша. Шереметев же не вернулся в корпус, а заночевал в веселом

доме, видимо, будучи уверен, что день свадьбы великого князя в Пажеском корпусе все спишет.

Церковь училища была в третьем этаже, рядом со спальнями воспитанниц, и на службу их приводили полусонных, теплых, еще пахнувших постелями. Числом их было до шестидесяти, и столько же воспитанников. Всегда на службе присутствовал инспектор Рахманов, актер-пенсионер, человек необыкновенной тучности, вечно в одном и том же сером фраке и белом галстуке, которых никогда не переменил, так же как и китайчатые бланжевые, или, как их еще называют, лососиновые панталоны с таким же жилетом. Представительный, высокий ростом, широкий в плечах, он постоянно пыхтел и отдувался, кроме этого, в самые неподходящие моменты у него начиналась икота.

Пропуская воспитанниц в дверях, он щупал их, как щупает пастух овец в своем стаде.

Александр, стоя на службе, думал о том, что совсем недавно вот так же каждый день стоял на молитве в Лицее и был, собственно, таким же воспитанником. Вспомнил Бакунину, посещавшую с матерью праздничные службы в дворцовой церкви, когда жили они в Царском.

Воспитанники с воспитанницами переглядывались, случалось, даже перешептывались. Рахманов отдувался и равномерно икал, равнодушно поглядывая на пришлых молодых людей. Овощникова лишь слегка поворачивала головку в их сторону, чтобы они могли видеть ее, как все считали, божественный профиль. Она заметила их и готова была встретиться, если кто-то приблизится, но пройти к ней было невозможно: стояла она среди других воспитанниц, и пришлось наслаждаться ее видением в полумраке церковного мира.

Проспал Александр в этот день, как и во все послелицейские дни, долго и, лишь проснувшись в час пополудни, вспомнил, что должен был подать прошение в Коллегию об отпуске: всей семьей собирались в Михайловское, которое теперь принадлежало его матушке. Голова была тяжелая, и, разумеется, в этот день он никуда не поехал. Вечером он должен был отправиться на бал и потому первым делом решил поговорить с отцом о новых бальных башмаках. Он откладывал этот разговор уже два дня, но больше отклады-

вать было нельзя. На бал к Лавалям надо было идти в новых башмаках или не идти вовсе.

Сергей Львович читал у себя у кабинета и взглянул на него ласково. От этого ласкового взгляда Александру стало еще тоскливей, он предвидел, что кончится все скандалом, но все же сказал отцу, что едет вечером на бал к графу Лавалю.

— Очень похвально, — сказал отец. — У Ивана Степановича собирается приличное общество.

— В приличное общество, — улыбнулся Александр, — хорошо бы появиться в приличных бальных башмаках. Я, батюшка, приглядел хорошую пару себе в магазине... Модные, с пряжками...

— Для чего же ездить по каждому пустяку в магазин, когда к тому же и денег нет, — усмехнулся Сергей Львович. — У нас одна нога, я покажу тебе свои. Они как новые... — Он тут же приказал слуге принести их.

Башмаки оказались павловского времени, тоже с золотыми пряжками, на высоких каблуках, вроде тех, что носил директор Энгельгардт. Александр содрогнулся от одной мысли, что кто-нибудь увидел бы его в таких башмаках, с пряжками, которых теперь не носят, и прямо сказал об этом отцу:

— Батюшка, да это же не те пряжки. С такими пряжками стыдно на бале появиться. Кроме того, — добавил он, — мне нужны деньги на куафёра. Во всем Петербурге стрижет хорошо только один Heliot.

— Ну, не преувеличивай. Твой дядька подстрижет тебя не хуже. Меня всегда стрижет Никита.

— А я желаю подстричься у Heliot...

— Пять рублей за то, что он пощелкает ножницами у тебя над ушами. Не дам!

— Скупердяй! — вскричал Саша. — Чтоб тебе Никита уши отрезал по пьяной лавочке.

— Надежда Осиповна! — завопил Сергей Львович, и мать на его зов явилась, всплыла, неся впереди себя большое острое брюхо, в коем по народной примете должен был находиться будущий братец Александра.

— Утихомирьте своего сына, — воззвал к супруге Сергей Львович. — Я не собираюсь с ним более разговаривать.

Мать, как всегда, взяла сторону отца, и Саша в бешенстве покинул дом, решив на бал к Лавалям не ходить. Он отправился к братьям Тургеневым, проживавшим на Английской набережной в доме Министерства народного просвещения, или, как его обыкновенно называли по имени министра, дом князя Голицына.

Денег на извозчика не было. Дорога от дома до центра Петербурга обходилась в восемьдесят копеек. Пока он тащился по своей захолустной Коломне, кареты почти не встречались. Потом попалась одна, другая, и пошло, и поехало.

На улицах Петербурга (Коломну, где они жили, с ее немощеными улочками, непролазной грязью, можно было за Петербург и не считать) все звенело от проезжающих карет. Петербург проснулся, и началось время утренних визитов. Четверки, шестерики неслись по мостовым, мальчишки-форейторы издавали один нестерпимо высокий звук «и-и-и...». Говорили, что были такие мастаки, что тянули его выше, чем знаменитый тенор Рубини. Это «и» было из слова «пади-и-и!». Особенным шиком считалось протянуть его от моста до моста, когда лошади мчались во всю прыть, а пристяжные отворачивались от коренной под прямым углом. Пена брызгала с лошадиных морд прямо на нерасторопных прохожих. Казалось, что пристяжные вот-вот порвут постромки. Мальчишки устраивали на улицах города целые соревнования, кто кого перекричит.

По тротуарам шли торговцы, время гуляний людей благородных еще не наступило, и Пушкин, в одиночестве, даже без слуги, бредущий среди мещанства и простолюдин, испытывал жесточайшую муку. Наконец он не выдержал и взял все-таки простого «ваньку», договорившись за полтинник и решив, что попросит заплатить за него Александра Ивановича под предлогом того, что забыл деньги. Но неожиданно, еще раз обыскивая карманы плаща, нашел полтинник и гривенник, лежавшие как-то неприметно в самом уголку.

Он ехал на извозчике по Невскому, смотрел ему в спину. У того на синем кафтане висел номер из двух дюжин «24 — 3 Адм. часть». И думал о том, что с извозчиком повезло, да и монетки нашел, значит, день сегодня будет счастливый.

Возле книжной лавки он тронул «ваньку» за плечо:

— Здесь.

Заплатил он извозчику сверх того, что договаривались. Всего на гривенник.

— Спасибо, барин, — улыбнулся тот, посмотрев на деньги. — За что прибавили?

Пушкин посмотрел ему на спину еще раз.

— Номер у тебя счастливый. А я человек суеверный.

— Это верно, — усмехнулся «ванька». — Две дюжины...

Ну так, может, за счастье еще добавьте?

Пушкин расхохотался над его простодушием и сметливостью.

— Я бы добавил, да нет больше ни гроша! — честно признался он. Ему всегда было легко разговаривать с простолюдином.

Пушкин полистал в лавке газеты, посмотрел каталог новых поступлений и, ничего не купив, отправился к Тургеневым.

Из братьев только Николай был дома, да и тот сразу не вышел. У Тургеневых приходили в любое время на сколько хотели, никто не чинился визитами, здесь не существовало обычая, столь тягостного в других домах, представлять гостей друг другу. Раз введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя.

Именно поэтому с молодым человеком, который сидел в гостиной, далеко отставив ногу, они сами представились друг другу. Незнакомец встал и протянул Пушкину руку с улыбкой на добродушном и одновременно самоуверенном, типично русском лице.

Встал он как-то с трудом, и Пушкин догадался, что тот на деревянной ноге. Он даже услышал, как она скрипнула.

— Кривцов Николай Иванович, — представился молодой человек, смотря на Пушкина сверху вниз.

— Пушкин Александр Сергеевич, — ответил Александр.

— Я сразу догадался, кто вы, как вы только вошли. Слышал о вас и от хозяев, и от моего хорошего друга Николая Михайловича Карамзина, и от дяди вашего Василия Львовича. Мы с вами будущие сослуживцы по Коллегии. Вы уже служите, я только поступаю. К тому же, как видите, все арзамасцы мои друзья, и странно, что до сих пор мы не были знакомы.

С Кривцовым они как-то легко и непринужденно разговаривались. Выяснилось, что Кривцов после ранения (ему под Кульмом оторвало левую ногу на глазах у государя) и долгого лечения три года путешествовал по Европе: в Женеве, а затем и в Париже слушал лекции по физике, политической экономике, литературе и праву, посещал музеи...

Но всего больше он хвалил англичан, из чего можно было сделать заключение о его англomanии. В довершение он, засучив штанину, показал Пушкину свою механическую ногу.

— Лучше англичан никто не смог бы ее сделать. У меня сначала была немецкая, так та все время натирала, да ломалась. Немцы кичатся своим качеством, а на поверку оказываются не лучше русских. Англичане же сделали на славу — из пробочного дерева, нога мягко пружинит, кожа высшего качества, а механика такая, что чувствуешь ногу как живую. — Он подвигал механической ногой. — При ходьбе она сама выбрасывается вперед. Англичане преуспели в частной жизни больше всех. Для меня идеал частной жизни теперь — жизнь в английском замке. Дело за малым, нет английского замка! — Он расхохотался.

— Вы мечтаете о том, о чем тайно мечтает и ваш друг Карамзин. Он мне говорил, что его идеал — читать вечерами в кругу семьи романы Вальтера Скотта... Как я понимаю, лучше всего их было бы читать в замке, как у Вальтера Скотта, — съязвил Пушкин.

— Ну это вы, положим, для красного словца... — возразил Кривцов. — Карамзин — аскет, он довольствуется малым, а я люблю жизнь дорогую и качественную. И желательно, с английским комфортом. Путешествия стирают с нас клеймо русского характера.

— Если есть возможность, так чего же не устроить себе такую, — согласился Пушкин. — Если есть возможность, отчего же не путешествовать.

— Возможность есть, но пока и отечеству послужить надобно. Пока определяюсь на службу, я еще за границей подал государю через моего друга и государева воспитателя Лагарпа записку о ланкастерском обучении... Мы, пока молодцы, должны служить России...

— Значит, не до конца с вас еще стерли клеймо русского?

Кривцов рассмеялся.

— Если честно сказать, это клеймо несмываемое. Не знаю уж, к счастью или несчастью?

Тут в прихожей звякнул колокольчик на двери, и через мгновение появился Александр Иванович, за которым слуга внес несколько тяжелых фолиантов.

— А! — вскричал Александр Иванович. — Встретились два карбонария! А где Николай? Почему он бросил гостей? А я только что от князя Голицына, старик заболтал меня рассказами про старину, замечательно рассказал про свое первое посещение Святейшего Синода уже в чине обер-прокурора.... Положи книги здесь, — указал он слуге.

— Ничто меня так не интересует, как анекдоты прошлых лет, — вздохнул Пушкин.

— Так вот, назначенный против своей воли обер-прокурором Синода князь по должности своей должен был посещать его слушания. Воспитанный, как сам князь выразился, в неверственной школе XVIII столетия, которая пустила в нем глубокие корни, он не мог серьезно смотреть на такие вещи, будучи в душе деистом. Отправляется князь на Васильевский остров, входит в сию готическую храмину, видит синодский декор. Видит по другой стороне зеркала служебное распятие. Перед его глазами какой-то византийский трон из позолоченного дерева. Входя, князь старается быть степенным, важным, серьезным, как того требует минута. Приступает к слушанию дела, и надо же так случиться, что в первый раз слушаются дела о прелюбодеях, и в таких подробностях, что неверственный князь едва сдерживается от смеха, и главным образом потому, что он видит, что святые отцы совсем не прочь эти подробности смаковать... Каково же ему не потешаться, молодому холостяку?

— Table talk полны очарования, — согласился англоман Кривцов.

— Кстати, о столе, не пора ли нам отобедать, чем Бог послал! — вскричал Александр Иванович. — У князя, который вечно постится, меня заморили голодом. Да к тому же он не обедает дома, а столуется у Гурьева.

— Гурьев — известный гурман, у него и посятся по-царски, чего стоит одна его гурьевская каша... — напомнил всем известное Кривцов.

Послали за поваром узнать, что на обед, а тем временем Александр Иванович рассказал последний анекдот, совсем свежий, про великую княгиню Екатерину Павловну.

— Однажды за столом, кажется, в Вене на конгрессе, великая княгиня пожаловалась графине Браницкой (знаете, верно, племянницу Потемкина, из тех, которых он дефлорировал, а потом повывадал замуж), что большое количество прислуги и лошадей вызывает большие расходы, — затараторил Александр Иванович. — «А сколько у вашего величества дворовых людей и лошадей?» — поинтересовалась графиня. «Человек до ста, а лошадей до восьмидесяти», — отвечает великая княгиня. «Как же вы обходитесь таким малым количеством, когда я имею дворовых до трехсот да лошадей столько же...» «Да на что вам такая толпа?» «Потому что я графиня и знатная помещица. Мне они в год не много понадобятся; но когда нужно — не занимать же у соседей?!

Александр Иванович рассмеялся простодушно. Конец анекдота слышал вошедший в гостиную его брат Николай, хромой с детства, его так и звали Хромой Тургенев.

— Александр Иванович, вы напрасно смеетесь, ведь рассказанное вами не смешно, а мерзко.

— Мерзко, мерзко, — поспешно согласился Александр Иванович. — Рабство всегда мерзко. Вот мы живем с братом по-холостяцки, людей здесь почти не держим, только три человека...

— Всего? — удивился Кривцов. — Как же вы обходитесь?

— Берем еще наемных.

— К несчастью, мы, рожденные и воспитанные в стране рабства, никогда, возможно, не увидим эти позорные цепи расторгнутыми, — начал было Кривцов, но тут появился повар, приведенный слугой.

— А ну-ка, скажи нам, братец, что нам Бог сегодня на обед послал? — обратился к нему Александр Иванович.

— Кулебяка и рыбник, говядинка в перекладку с ветчинкой, два соуса: белый и красный, — начал перечислять повар. — Уха да суп французский протертый, жареные рябчики да рыбка...

— Умолкни, не рви мне сердца, чтобы немедля все было на столе, — вскричал Александр Иванович. — А сладкое не забыл? Пирожное, что я заказывал, вот то, что топырится

кверху балдахином, с обливными бисквитами, с миндальным печеньем и марципанами?

— А то как же, Александр Иванович: сердечки из леденца, лавровые венки из миндаля, грибки шоколадные... — дополнил повар.

— Лавровые венки из миндаля, — расхохотался Александр Иванович. — Это в честь нашего Пушкина.

— Неплохо распорядился вашим меню Господь Бог, — подцепил Тургеневых Пушкин.

— Не зря же я уже который год занимаюсь его делами на земле и в нашем государстве, — улыбнулся Александр Иванович, напоминая, что служит он директором департамента вероисповеданий. — Пройдемте, господа, и выпьем по рюмке перед обедом у меня в кабинете.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой рассказывается, как семья Пушкиных едет в Михайловское. — День ангела у Павла Исааковича Ганнибала, дяди Пушкина. — История помещика Хрунова. — Биография Ганнибала. — Девушка Лошакова. — Ссора с дядей. — Тося всему обучена. — «Восемь раз на дню покушать да три раза соснуть». — Ганнибальчики. — Подстреленный конюх. — Сломанный ноготь. — Июль 1817 года

Проснувшись на следующее утро, Пушкин понял, что так устал за месяц живой петербургской жизни, что если не прервется хотя бы на время, то серьезно заболит. И предлог для отдыха был неплох — семья собиралась в деревню. Он подал прошение в Коллегию об отпуске, получил жалование и вместе со всей семьей впервые поехал в село Михайловское Опочецкого уезда, приданую вотчину его матери, впервые, если не считать того раза, когда его, полугодовалого, возили показать деду Осипу Абрамовичу Ганнибалу, о чем он знал по рассказам.

Мать была на сносях, потому ехали медленно, дорога заняла почти четыре дня, хотя при желании можно было доехать и за два. Ночевали на вонючих станциях, правда, со своим бельем, со своей посудой и харчем, только кипятки брали у смотрителя.

Матушка капризничала, понукала отцом и вообще всем была недовольна. Отец суетился вокруг нее, подкладывал подушки в карете, носил сам на станциях холодный с ледника квас. Александр ехал, к счастью, в другой карете, с Левушкой, тот бормотал не переставая что-то, и под его детское бормотание череда мыслей безвольно скользила, перебрасываясь с одного предмета на другой.

После Царского Села, где он провел последние шесть лет, с его императорскими дворцами, дачами вельмож, тоже похожими на маленькие дворцы, с его вечной стройкой и суетою, дневными и вечерними променадами многочисленной публики, маленькое тихое Михайловское с крошечным по меркам Царского домиком показалось райским уголком. Но, вытерпев в доме с родителями день-второй, Александр пустился во все тяжкие по своим ганнибаловским родственникам, которые во множестве расплодились по округе.

Когда-то царскую вотчину Михайловская Губа императрица Елисавета Петровна пожаловала прадеду Александра, Абраму Петровичу Ганнибалу. Теперь дядя, двоюродные деды и прочая, и прочая, темнокожие, с густыми курчавыми волосами, необузданные в страстях, непокорные и просто скандальные, известные в народе под прозванием «ганнибаловщины», расплодились, поделив земли и вотчины; они привлекали его и своим характером, и легендами о эфиопском происхождении, которые он надеялся от них услышать. Впрочем, Ганнибалы уже давно и вполне обрусели, потому-то, как у истинно русских людей, знакомство с родственниками начиналось с обыденной пьянки. Так было и у дяди Павла Исааковича Ганнибала в селе Воскресенском того же, что и Михайловское, Опочецкого уезда, куда Александр Пушкин прибыл с визитом и где собрались прочие дядья и деды.

Стол у отставного ротмистра Павла Исааковича Ганнибала был накрыт «покоем», то есть буквой «п», таким образом стол всегда накрывали на его именины, приходившиеся на шестнадцатое июля; скатерть была усыпана лепестками роз, белыми, чайными и розовыми, они лежали волнами, чередуясь оттенками цветов. Поверх лепестков стояла посуда и лежали приборы, а перед каждым кувертом стоял в стаканчике маленький букетик полевых цветов, для дам — розовый, для мужчин — голубой, васильковый.

Дядя в нетерпении каждые полчаса забегал в столовую, хватал в буфете рюмку, всякий раз подзывая к себе племянника, чтобы тот поддержал его. Александр сначала поддерживал, но вскоре понял, что забористая настойка на травах еще до обеда сшибет его с ног. Павел Исаакович хохотал, обнимал его, совсем по-простонародному называл «мой племяш», и тогда вместо Александра заставлял пить друга своего и приживала Василия Петровича Хрунова.

Помещик Хрунов лет двадцать назад заехал на пару часов на своей тройке к приятелю, да так и остался уже на двадцать лет и, видимо, собирался жить здесь до самой смерти. Иногда он вдруг впадал в меланхолию, ему начинало казаться, что здесь унижают его достоинство, и тогда он начинал собираться домой, просил запрячь тройку, забывая, что лошади его давно околели, а бричка развалилась и стоит без колес в каретном сарае, однако дядюшкины настойки быстро приводили его в чувство, он веселел и, забывая обо всем, становился так же беззаботен, как и двадцать лет назад, когда случайно заехал проездом к Ганнибалу. Вообще-то Хрунов был в доме фигурой главной: заведовал всем хозяйством дяди, а когда тот уходил со своим полком в поход, оставался в доме за хозяина.

Потихоньку собиралось местное общество. Жена дяди, Варвара Тихоновна, была больна и не выходила. Зато прибывала девица Лошакова, о которой с многочисленными намеками прожужжал ему уши дядя. Лошаковой было под тридцать, она криво улыбалась, чтобы скрыть, чего ей, впрочем, не удавалось, вставные зубы. Но, несмотря на вставные зубы, Лошакова была чертовски мила, здесь Александр согласился с дядей.

На шестерке лошадей, что для деревни было необычно, прибыл старый арап (*vieux negre*), двоюродный дед Александра Петр Абрамович Ганнибал и тут же попросил себе водки. Его усадили в покойные кресла, принесли водки. Старый арап велел поднести и Александру, Пушкин выпил, стоя перед ним, — не поморщился и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа.

— Ну-ка, — сказал старый арап, — покажи нам, чему ты выучился? Матушка твоя говорила, что ты стал стихотворцем, в журналах печатаешь свои опусы.

— Печатаю, — согласился Пушкин. — У нас в Лицее все, Петр Абрамович, печатали...

— Да что ж ты меня по батюшке величаешь, зови дедом. Я ведь тебе дед, хотя и двоюродный.

Он позвал слугу и поинтересовался, принес ли он из кареты корзину с бутылками. Узнав, что еще нет, слегка ударил того палкой по спине.

— Занимаюсь на досуге перегонкой водок, — пояснил он Александру. — Вот привез племяннику на именины гостинца.

Павел Исаакович услышал об этом, подходя к ним, и радостно захлопал в ладоши и потер руки:

— А у меня пиво приготовлено, пряное и тонкое. Как хлебнешь — упадешь, вскочишь — опять захочешь. — Он расхохотался довольноно. — Все три родственничка: дедушка, батюшка и сынок.

— А что же это за родственнички? — поинтересовался Александр.

— Так пиво различается, — пояснил Павел Исаакович. — По степени крепости. Кто старше будет. Как мы вот: дедушка, батюшка да сынок, — похлопал он Александра по плечу.

Слуга поставил перед старым арапом корзину с бутылками. Арап ткнул в одну из них палкой — слуга достал ее.

— Вели открыть, — приказал он Павлу Исааковичу, — пусть внук мой Александр Сергеевич оценит.

У Пушкина уже снова начинала кружиться голова, столько и такой крепости напитков он еще никогда не пил. Он все время думал, как бы вернуть словцо старому арапу о их родословной, выяснить, нет ли у него каких-нибудь старых бумаг, до нее относящихся, не оставил ли прадед записок, но никак не мог приступить к делу. Он с недавних пор начинал понимать, что его эфиопское происхождение — подарок судьбы, поэту надобно выстраивать свою биографию, как и судьбу.

Наконец он решился спросить, когда они остались вдвоем, нет ли биографии Абрама Петровича Ганнибала. Его с детства интересовала история его прадеда, арапчонка Ибрагима, подаренного Петру Первому, который и стал его крестным отцом.

— Как же! Есть биография Абрама Петровича. Ее зять мой составил, Адам Карпович Роткирх. Он был женат на

младшей моей сестре Софье Абрамовне. Оба уже преставились, спаси, Господи, их души. Список где-то хранится у меня, надобно поискать. Ты приезжай ко мне в Сафонтьеву. Кажется, список там... Да я тебе хоть сейчас расскажу. Отец мой служил в российской службе, превосходил в оной чинами и удостоился генерал-аншефом чина ордена святых Анны и Александра Невского; был он родом африканский арап из Абиссинии... Отец его был знатного происхождения, владетельный князь, и за бунт, поднятый князем противу турок, был взят его младший сын в аманаты, то бишь в заложники, и увезен в Константинополь. Отец мой из Константинопольского двора был выкраден или выкуплен, тут уж точно не помню, и отослан к государю Петру I... Впрочем, на бале надобно заниматься, друг мой, девицами, а не биографиями. Я тебе потом как-нибудь все покажу...

— А там есть частные подробности биографические? — с нетерпением спросил Александр.

— Подробностей предостаточно.

Но тут подошел дядюшка, ведя под руку девицу Лошакову, и прервал их разговор, а девица Лошакова залопотала на плохом французском о его поэтических опытах. Пушкин спел ей один-другой мадригальчик и Лошакова зарделась, запунцевела, грудь ее стала вздыматься чаще. А тут и бал объявили открытым, заиграл небольшой оркестр, и начались танцы. Как всегда, с польского, в первой паре которого пошел дядюшка с Лошаковой.

В одной из фигур котильона, когда Александр уже подбирался к сердцу девицы Лошаковой, нашептывая ей французские любезности, если не сказать вольности, дядюшка довольно грубо отбил ее у Александра.

— Милостивый государь, — вскричал тут же Пушкин, — извольте извиниться! А то я вынужден буду требовать сатисфакции!

— Какой я тебе милостивый государь?! — в свою очередь возвысил голос Павел Исаакович. Музыканты продолжали играть, но котильон рассыпался, танцующие смешались, и те, кто стоял рядом, с интересом дожидались, чем окончится ссора. — Я твой дядька, а ты Сашка — племяш. И драться я с тобой не стану. А ежели ты пьян, прикажу тебя вязать, чтобы не буянил. Ну как Гришку нашего вяжут... Кучера...

— А я вас вызываю! — вскричал Пушкин и сам почувствовал, как вздулись вены у него на шее.

— Помилуйте, господа, как можно в день светлый, именины сердца, — бегал вокруг них Хрунов, — надобно помириться.

Хрунов был так смешон и мил, такая у него была жалостливая физиономия, что дядька обнял его и поцеловал:

— Люблю Хруна, он хоть и Хрун, но не вун! Давай, Сашка, мириться! — Он первым протянул племяннику руку.

И Пушкин вдруг успокоился, все показалось смешным, и девица Лошакова, и сам дядюшка с раздувающимися эфиопскими ноздрями и копной густых курчавых черных волос, в которых пробивалась седина, и маленький оркестр с хромым капельмейстером, и провинциальные белолицые барышни и дамы, и мельтешение черных лиц вокруг них, лиц жизнерадостных, грубых и родных, и бедный Хрунов, смотрящий на него с надеждой.

— Забудем, дядюшка, сегодня твои именины, — сказал он Павлу Исааковичу. — А я просто погорячился.

— Наша кровь! — воскликнул дядюшка. — Горяч, буен, но отходчив.

А тут прибыл другой дядюшка, отставной артиллерии подпоручик Семен Исаакович, и все с криками высыпали на улицу, потому что он привез в карете маленькую мортирку, и вскоре уже палили из нее в честь именинника.

За ужином все уже были совершенно пьяны. Павел Исаакович, подняв бокал и глядя на племянника, произнес:

Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-Богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал.

Александр, опрокинув стул, при всей публике бросился к нему в объятья. Как он любил дядюшку и все эти черные лица, смеявшиеся вокруг. Он и не помнил, как его унесли наверх в отведенную ему комнату.

Утром дверь в его комнату распахнулась. На пороге стояла вся честная компания: дядюшка Павел Исаакович, дядюшка Семен Исаакович, Хрунов и даже девица Лошакова. Павел Исаакович, держа перед собой поднос с шампанским, пропел:

Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право слово Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Свет-Исакыч Ганнибал.
Сделай милость, Ганнибал,
Тьфу ты, пропась, Ганнибал!

Пушкина подняли с постели, заставили выпить шампанского.

— Сашка, не в обиде? Оставьте нас, оставьте нас, господа! Я тебе сейчас Тоську пришлю, прибраться в комнате... — сказал он с намеком, когда все вышли. — Тоськи не бойся, всему обучена, к тому же наша родственница, хоть и дворовая. Не торопись, Тоську никто не хватится.

Пришла Тося. С кувшином, полотенцем и мылом.

— Здравствуйте, барин. — Положила полотенце, поставила кувшин с водой. Наклонившись, стала доставать из-под кровати задвинутый туда медный таз.

— Пожалуйста, умыться...

Когда она наклонилась, Александр, стоя над ней, оценил ее формы, она перехватила этот взгляд, томно улыбнулась, словно приглашая к действию. Он жадно обхватил ее сзади, ткнул лицом в подушки, задрал юбку.

Тося поворачивала к нему голову, пытаясь губами прихватить его губы. Как ни странно, ей это удавалось. Стан у нее был гибкий, изворотливый, она билась под ним как в истерике. Губы большие и мягкие, как у лошади, подумалось Александру.

Когда все кончилось, они, оправляясь, посмотрели друг на друга внимательней и рассмеялись: одинаковые курчавые волосы, смуглое, почти черное лицо, припухлые широкие губы.

— Ты чья дочь-то? Кто родители?

— Маменька Кондакова Варвара Харитоновна.

— А папенька?

— Папенька тоже Кондаков Василий Никифорович.

— Василий Никифорович? А почему такая черная?

— Так папенька у меня еще черней, — искренне удивилась Тося.

Пушкин рассмеялся. Все стало ясно.

— Давай теперь мыться, — сказал Пушкин.

Тося поливала ему из кувшина и напевала что-то приятным, чуть надтреснутым голосом.

Гости почти все разъехались. Дядя был в шлафроке, пил рюмку за рюмкой. Жена дяди так и не появилась. Опять сказывалась, как догадался Александр, больной.

— Ни шнуровок тебе, ни затяжек, ни причесок, ни перчаток, — рассуждал за рюмкой дядя. — Что может быть лучше, чем восемь раз на дню покушать да три раза соснуть.

На столе стояли наливки, дядя стал перечислять, тыкая в каждую бутылку пальцем:

— Малиновка, смородиновка, вишневка, рябиновка и розановка, а также и холодное со льда мартовское пиво. Все советую попробовать, — резюмировал он. — прежде чем ехать домой, а то дома, может быть, и не дадут выпить.

Провожать поехали Александра на тройках, размахивая бутылками шампанского.

По дороге завалились еще к одному Ганнибалу, как его назвал дядюшка, «Ганнибальчику». Ганнибальчик был настолько мал, что походил на карлика, хорошо играл на балалайке и был черен как бес из преисподней; все это походило на номер в простонародном балагане. Под балалайку пошла уже горькая. Ганнибальчик плясал русскую вприсядку и пил водку прямо из горлышка бутылки. Палили из всех ружей, которые были в доме, случайно подстрелили конюха, не опасно, в икру; напоили его до бесчувствия, чтобы ему не было обидно. Это было последнее, что помнил Пушкин; в целости и сохранности его самого доставили домой и свалили как мешок на кровать.

В Сафонтьево, что было в шестидесяти верстах от Михайловского, к деду Петру Абрамовичу в тот раз Пушкин так и не собрался, уехал в Петербург уже через месяц. Деревня наскучила, если не сказать обрыдла. К тому же, гуляя с Ганнибалами и Ганнибальчиками, он сломал свою любимый ноготь на мизинце, который отращивал уже полгода, еще с лицейских времен. И страсть как хотелось в Петербург! В Петербург, где жизнь бьет ключом. В Петербурге его ждало неожиданное знакомство, но он, разумеется, ничего про это не знал, лишь душа что-то смутно предчувствовала. Бросив родных, он умчался, сославшись на дела в Коллегии, в которую он, разумеется, и не думал являться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой император Александр I соблазняет фрейлину княжну Вареньку Туркестанову, а его самого Екатерина Филипповна Татаринова. — Август 1817 года

Государь Александр Павлович пребывал в дурном расположении духа. Вчера Нарышкина была на бале и, как все нашли, еще более похорошела. Он тоже это нашел, и тем неприятнее ему было в этом самом себе признаваться. Хотя ей и было предписано выехать за границу, но выезд этот под самыми разными предложениями все откладывался; не мог же он, на самом деле, применить силу и выслать ее; обществом это было бы расценено как мелкая месть. А государь очень заботился о своей мужской чести.

У Александра Павловича за время их разрыва завязался легкий флирт с княжной Туркестановой, любимой фрейлиной императрицы Марии Федоровны, флирт в любую минуту готовый перерасти в страсть. В последнее время Александра тянуло на женщин в возрасте, но с княжной Туркестановой было нечто другое. Хотя она и была на несколько лет, кажется на два года, старше императора, но выглядела очень молодо. Так молодо, что трудно было представить, что ей уже за сорок лет. Она была образованна, умна, как он успел заметить, и, кажется, равнодушна к нему. Странно, что он вообще только сейчас обратил на нее внимание, тем более что во фрейлинах она была с 1808 года. Впрочем, а сколько времени он был с тех пор дома, с гулькин нос: все походы, разъезды да конгрессы с конференциями.

Княжна Туркестанова воспитывалась как сирота в доме своего московского родственника князя Бориса Голицына. Среда, в которой она выросла, была могущественной аристократической средой, с которой приходилось считаться и двору. Княгиня Вогіс принимала весь город, когда же государь и государыня бывали в Москве, визит к княгине всегда входил в программу; все три ее дочери сделали блестящие партии, и при таких двоюродных сестрах Варенька долго оставалась в тени. Может быть, потому она так поздно, в тридцать три года, попала ко двору во фрейлины ко вдовствующей императрице.

Странно было, что сам Александр ее так поздно заметил. Хотя он не знал, что она уже успела отдать свое сердце другому — молодому офицеру, адъютанту государя Владимиру Голицыну, человеку довольно пустому, ветренику, самохвалу, но не лишенному мужского обаяния; его называли Геркулесом, ибо он удерживал на месте телегу, запряженную битюгом, и ладонью вгонял в пол серебряные монеты. Он мог в одну ночь выиграть два миллиона золотом, а через пару дней спустить их до последней копейки. Правда, их страсть еще не зашла слишком далеко, но Голицын уже поспорил с приятелями, что соблазнит ее, и уже подкупил горничную фрейлины.

Не замечал княжну Туркестанову Александр Павлович, видно, еще и потому, что она всегда предпочитала оставаться в тени в салоне его матушки, да к тому же многочисленные интрижки венценосного донжуана отвлекали его от глубоких страстей, лишь одну страсть он терпел постоянно, как неотступную зубную боль, — к Марии Антоновне Нарышкиной. Но, когда он обратил внимание на Вареньку Туркестанову, ничто уже не имело значения, даже ее возраст, тем более что она порхала как мотылек, играя в любительских спектаклях роли субреток, что чрезвычайно нравилось Александру, или присутствуя по должности на многочисленных балах. После традиционного в таких случаях, уведомляющего визита обер-гофмаршала графа Толстого ноги императора в мягких сапогах стали постоянно пересчитывать все сто три ступени, ведущие в ее маленькую квартиру в Зимнем дворце, и двор, и он сам, и, главное, сама Варенька вскоре поняли: чему быть, того не миновать. Но свидания пришлось на лето и были редки, только тогда, когда матушка приезжала в Петербург из Павловска, чтобы провести свои благотворительные заведения; занимало это обыкновенно два дня. В эти дни княжна ночевала в своей квартире в Зимнем дворце.

Но странно устроено сердце девушки, и Варенька в свои сорок лет оставалась таковой; она сумела полюбить обоих. Она их не сравнивала, для нее не важно было, что один — царь, а другой — молодой офицер, много моложе ее. Она просто любила.

Самое поразительное для Вари было то, как изменилось к ней отношение толпы — так она про себя называла при-

дворных. Лишь только царедворцы заметили интерес императора к ее особе, то как будто в первый раз увидели ее. Каждый старался подойти и заговорить с ней. Смеясь, она про себя думала: неужели все эти люди видят меня в первый раз? Но это было, конечно, приятно. Особенно когда он принял обыкновение на приеме ли, на рауте, обойдя дам, садиться возле нее и не отходить до конца вечера. Пересудам тут уже не было конца. Два-три таких разговора с императором, посещение им ее квартиры, и она уже была влюблена без ума, он ей бесконечно нравился, особенно в сюртуке и фуражке, скрывавшей лысину, она считала его одним из красивейших людей на свете, и лишь одно обстоятельство омрачало ее любовь — он был императором.

В ее трехкомнатной квартире поменяли обивку на мебели, обили штофом от Казимира Верда, заново перекрасили драпировки, комнаты заметно посвежели. Она устроила себе удобный уголок с вольтеровским креслом и небольшим столиком напротив; на этажерке лежали ее книги, которые иногда брал в руки император, посещая ее. Дружила она в основном с иностранцами из посольств, последнее время наладилась крепкая связь с мадам Свечиной, которая ее, ярую православную, исподволь пыталась склонить в католическую церковь, но Свечина уехала в Париж, кажется, навсегда, а княжна осталась православной. Правда, теперь зачастили придворные.

В тот вечер он пришел поздно, гости уже расходились. Увидев в гостиной императора, они будто испарились, и Варенька осталась с ним вдвоем. Слуга пришел и снял нагар со свечей, затем неслышно удалился. Свечи разгорелись ярче, воск потрескивал, Александр Павлович думал отчего-то о Нарышкиной и мысленно сравнивал ее с княжной. Как ни странно, то ли вечер был таков, то ли освещение, но сравнение было в пользу последней. Княжна Варенька была привлекательна, как никогда.

— В последнем спектакле в Павловске вы восхитили всех зрителей, — сказал император. — К сожалению, я тогда не смог выразить как должно свое восхищение. Я знаю, что завтра ваши именины, я хотел бы сделать вам подарок, но не при всех, чтобы память о нем принадлежала только нам.

Он протянул ей кожаный футляр, тисненый золотом.

Она дрожащими руками открыла его: там был его замечательно схожий портрет в форме камен. Она подняла на него глаза, полные слез.

— Государь... — только и вымолвила она. — Как жаль, что мое время прошло. Было бы мне восемнадцать—двадцать лет, я упала бы в обморок от счастья. Я и сейчас счастлива, но... «My time is finished» — я хотела бы выгравировать эти слова на моей печатке, — сказала она императору. — Чтобы каждый раз, запечатывая письма, я вспоминала об этом. Это нечто вроде «Memento mori».

— Это ваше-то время прошло, милая Варя, ваше время только начинается. — Он схватил ее руку, не так, как всегда, для церемониального поцелуя берут руку мужчины, а жадно приник к ней и стал покрывать поцелуями.

«Ну вот, — подумала она, — это все. А как же Вольдемар?»

И сама опрокинулась на диван. На диване он жадно ее и взял, с трудом, с видимым напряжением, недоумевая, потому что не мог представить себе девственницу в сорок один год. Княжна, кусая губы, даже не вскрикнула. Они поднялись: все ее юбки и его панталоны были перепачканы кровью.

— Простите, княжна, — только и сказал Александр. — Я не знал... Вероятно, должно было быть все по-другому.

— Простите меня, это я с собой не совладаю, — потупила взор Варенька.

Она скрылась в другие комнаты, а Александр, надев сюртук, ее любимую фуражку и запахнувшись в плащ, покинул квартирку, по дороге, однако, не забыв пересчитать все сто тридцать три ступени.

«И не ошибся!» — отчего-то радостно подумал он, но тут же ему стало совестно. Он вспомнил просветленное лицо Вареньки, еще не отошедшее от боли, ее влюбленные глаза и побежал один от подъезда к подъезду. Часовые вытягивались во фронт и делали на караул, приветствуя императора.

«Вот тебе и Марья Антоновна, что, взяла? Княжна, красавица, берегла невинность, наверное, давно меня любит...»

Но, придя к себе, он встал по привычке перед образами и стал молиться. Грех — не грех эта любовь, ему трудно было разобраться, а молиться все равно надобно. От каждодневных стояний на коленях у него давно образовались мозоли.

Но эта неделя была просто сумасшедшая. Голицын напомнил о Татариновой. И с умиротворенным сердцем Александр Павлович решил посетить ее, вспомнив свои вечера с баронессой Крюденер, совместные чтения Библии. «Как мне сейчас необходимо духовное общение, чтобы разобраться во всем», — думал он, направляясь в Михайловский замок инкогнито.

Татаринова была вся такая торжественная, величественная и вместе с тем скромная, как голубица.

Потупив нежный взор, она обратилась к Александру Павловичу:

— Ваше величество, я не смею вам предложить, но необходимо для молитвы облачиться в белую рубашу.

Она протянула рубашу из тонкого, почти прозрачного беля.

— Но под рубашой ничего не должно быть. Белая рубаша — это знак вашего приобщения к Богу. Не стесняйтесь, ваше величество, нас никто не увидит, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Я даже прислугу отпустила.

Что-то кольнуло в сердце у Александра, но он не решился возразить, тем более он сам просил об этой встрече.

— Ну если этого требует молитва, я готов.

Когда он, облаченный в белую рубашу, трогая свои располневшие ляжки и стесняясь, словно он был нагим, вышел из комнаты, Татаринова встретила его тоже в совершенно прозрачной белой рубаше, такой, что он увидел торчащие коричневые соски ее груди; она бормотала что-то, устремив очи горе, что-то совершенно невразумительное и его, казалось, не замечала.

«Ну вот, началось» — отчего-то с испугом подумал государь и снова потрогал свои мягкие ляжки, но в то же время чувство какого-то несказанного экстаза сразу стало овладевать и им. Вероятно, вся абракадабра, которую несла Татаринова, имела какой-то магнетизм на слушателя. Он стал прислушиваться, вырывались отдельные слова про Господа нашего Иисуса Христа, про Богоматерь, их-то он и старался повторять.

«Волчица», — отчего-то без всякой связи с происходящим подумалось ему.

Вдруг речь Татариновой участилась, слова спутались, она повернулась один раз вокруг себя, второй и завертелась на

пятке все быстрее и быстрее. Император испугался, но поймав себя на том, что ему тоже хочется хотя бы повернуться. Он повернулся разок. Перехватил взгляд Татариновой, замутненный, но проникающий ему в душу, и стало радостно, что она его видит оттуда, из своих горних высей. В какой-то момент он понял, что тоже вертится, не так быстро, но все же вертится вместе с ней в одну сторону, вдруг Татаринова ухватила за него, как будто падая, он галантно поддержал ее, и они осели прямо на пол.

«Надо же, на пол», — подумал император.

Она сама взяла его, хотя обыкновенно он брал женщин, и не просто взяла, а с силой, неистовством, словно бы стала грызть. «Так вот почему волчица, — подумалось ему. — Вот почему!..» Но в какой-то момент он пересилил ее, крепко сжал ей ноги под коленками, зачастил, и она завопила в экстазе, забила, тоже в ответ сжимая его ногами. Обессиленные, они наконец упали, отвалились рядышком друг с другом на пол; император посмотрел на нее: рубаха сбита на шее, тело колыхается, груди немного развалились набок, стали плоскими, а соски, напротив, вытянулись и торчат, пот струями течет между грудей и по вздымающемуся животу. «Волчица! — опять подумалось ему. — Однако какая грязь! Княжна Варя, прости меня».

Если бы он знал, что в эту самую минуту княжна билась, задыхаясь от страсти, под князем Володькой Голицыным, который бесновался над ней почти без остановки уже в шестой раз.

«Какая все грязь! — снова думал он, идя от Михайловского замка под холодным ветром. — Есть ведь княжна, так нет, тебя еще и на эту фанатичку потянуло. Какая грязь!»

Он полночи простоял перед образами, отбивая поклоны и читая привычные молитвы. Потом достал брегет из кармана, посмотрел на циферблат — было три часа ночи. Это были часы, подаренные ему Наполеоном, которые он всегда носил с собой. Он открыл глухую крышку с другой стороны, там, где был скрытый портрет Наполеона, лежала под серебряной крышкой прядка волос Марии Антоновны. Он вдохнул их запах, задержав часы у лица, поцеловал прядку.

— Прости меня, Маша.

В ту ночь стояла перед образами и совершенно обессиленная княжна Туркестанова, совершенно не понимая, как могло так получиться, что, не зная мужчин до сорока лет, она в одну неделю по своей воле, безо всякого принуждения, узнала двоих и понять не может, кого же из них она любит.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

*в которой Пушкин снова посещает братьев Тургеневых, пишет у них оду «Свободу», бродит вечером по театральным креслам, пляшет перед молодыми генералами, отшучивается с Пуцциным, знакомится с Александром Грибоедовым и аплодирует актрисе Семеновой. — История Семеновой. — Левый фланг кресел. — *Princesse Nocturne*. — Конец августа — начало сентября 1817 года*

Напрасно Александр Иванович Тургенев постоянно корил Пушкина, что он бездельничает, не заканчивает поэму «Руслан и Людмила», о которой уже столько говорили по Петербургу и которую он начал еще в Лицее, в дороге тот от нечего делать написал послание ему, а дома утром в постели только перебелил послание, с которым и направился на квартиру к братьям.

Войдя, он с порога закричал:

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
Иезуитов и глупцов...

Появились оба брата, причем старший был еще в халате.

...И лени моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благотворных снов!

— Впрочем, дальше читайте сами, — передал он лист бумаги старшему Тургеневу.

Заглядывая через плечо брата, стал читать и Николай. Иногда они смеялись, что Пушкину было приятно. Наконец они дочитали.

— Ну как? — небрежно спросил Пушкин.

— Несерьезно, — сказал всегда вразумительный Николай. — Пустая трата таланта, пусть и настоящего, сильного...

— А по-моему, так серьезней не бывает, — вскричал Пушкин.

Пушай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд и холоден и пуст;
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст! —

воскликнул он и захохотал во все горло.

Улыбнулись и братья, не смогли удержаться от обаяния этого веселого, безудержного молодого человека.

— Ты бы мог употребить свой талант на гораздо более серьезные вещи, посмотри, что нас окружает, в каком мире мы живем... Вон, — показал он через Фонтанку, — Михайловский замок. Мрак. Злодейство. Цареубийство. Насилие над законом. Все, на чем держится Россия. Чем тебе не тема?! А ты все про улыбки сладострастных губ.

— А что? — согласился Пушкин. — Давайте перо и бумагу... Сейчас и напишу.

Братья переглянулись — шутит? Не шутил.

— Давайте, давайте! Пошли в кабинет!

Все направились в кабинет.

— Только я пишу лежа, а замок с дивана не виден! — Он бесцеремонно сдвинул книги и рукописи Александра Тургенева и лег животом на длинный стол.

— Ждите, — отпустил он братьев.

Те послушно вышли.

В это время явился Кривцов, стал что-то громко рассказывать, на него все зашикали: Пушкин пишет в кабинете. Про Михайловский замок! Про цареубийство!

Кривцов потер ладонями, предвкушая что-то уж очень резкое, противоправительственное. Такая тема, без этого не обойтись.

Через полчаса Пушкин вышел, весьма довольный собой. На вопрос, где стихи, похлопал себя по сюртуку.

— Был уговор, читай немедленно, — вскричал Николай.

— Читай! — поддержал его Кривцов.

— Не было уговора, был уговор написать, я должен еще перебить!

— Ты лжешь, сударь! Был уговор, что ты напишешь тут же, а стало быть, и прочитаешь! — не сдержался Николай.

— Что?! Я лгу?! К барьеру, немедленно! — взорвался Пушкин.

— Арзамасцы, побойтесь Бога! Сверчок! Варвик! — воззвал Александр Иванович, называя их арзамасскими именами.

Насилу ему удалось развести их по углам, уговорить Пушкина прочитать хотя бы несколько строф. Тот согласился, но нехотя. Услышав первые строфы, Николай бросился Пушкину на грудь и, всегда сдержанный, чуть не разрыдался.

— Вот теперь я уверен, ты — великий поэт России! Тебе нет равного по чистоте слога, воображению и вкусу. Брось все, езжай домой, пиши, завтра ода будет ходить в списках.

Пушкин задумался:

— Ты так уверен, что мне этого хочется?

— Хочется, хочется, — уверил его Николай. — К тому же здесь ты не волен! — патетически воскликнул он. — Вся Россия будет ее читать!

Пушкин пожал плечами, пожалуй, ему действительно хотелось, чтобы его читала вся Россия.

Однако вместо того, чтобы заканчивать оду, он вечером направился в театр.

Кресла у них были абонированы на левом фланге, почти всегда за них платил Всеволожский, это как-то само собой сложилось и не менялось годами. Первым, кого он встретил среди толпы в партере, был Пушин, закадычный его лицейский друг. Они обнялись. Пушин был в гвардейском конно-артиллерийском мундире.

— Что, брат, служишь? — серьезно спросил Пушкин.

— Пока учусь фрунту. Осенью экзамен...

— И тогда в офицеры?!

Пушин кивнул, но Пушкин, впрочем, слушал его невнимательно, а непрестанно вертелся, егозил, раскланивался, рассматривая проходящих.

Партер клубился, раек был забит уже пару часов, но ложи почти пустовали, кресла едва начинали занимать.

Вдруг кто-то хлопнул Пушкина по плечу. Александр обернулся — перед ним стоял Каверин, как всегда, полупьяный, и грозил пальцем.

— Мне, сударь, — говорит, — прочитали твой ноэль на Лейб-гусарский полк. Задета честь полка, не моя собственная! Что, сударь, будем извиняться или сразу на шести шагах?!

— Так это ж было давно, ты слышал его сто раз, еще когда мы были в Лицее, да и ответ я тебе написал, а вот, ежели желаешь, послушай, как я его переделал!

— Слушаю... — качнулся с носков на пятки и обратно Каверин. — А там посмотрим, может быть, все-таки будем стреляться.

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи... —

начал было читать Пушкин, а Каверин закричал:

— Да помню я, Сашка! Помню! Они у меня в тетради переписаны. Прости, ради Бога!

— Нет, ты все-таки послушай, коли в претензии:

Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье:
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Каверин, расчувствовавшись, расцеловал Пушкина вза-
сос. Сзади Пушкина кто-то сделал два хлопка. Он обернулся.

— Сашка! — закричал Каверин. — Грибоедов. Твой сослуживец по Коллегии. Давно обещал вас представить друг другу. Любите себя, как меня. Вернее, меня, как себя. Тьфу ты! Любите, и все тут!

— «Что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом...» Гениально! К Петруше относится?

Надо же... — Грибоедов протянул руку Пушкину, с чуть саркастической улыбкой на лице; остренькие глазки внимательно и насмешливо смотрели сквозь маленькие круглые очки. — Грибоедов Александр Сергеевич.

— Пушкин, — улыбнулся тот в ответ, протягивая руку. — Александр Сергеевич. Мы часто встречаемся с вашим близким другом Вильгельмом Карловичем.

— Кюхля мне много рассказывал о вас.

Каверин познакомил Грибоедова и с Пушиным.

Пушкин, вдруг кого-то увидев, извинился и убежал в кресла; там кланялся, хохотал, смешил. Возле оркестровой ямы, в первых рядах уже появились братья Орловы, Алексей и Михаил, его близкие знакомцы, Михаил также и товарищ по «Арзамасу», по прозвищу «Рейн»; молодые генералы Александр Чернышев, Павел Киселев, герои кампании 12-го года и заграничных походов, особо приближенные к государю, заслужившие его доверие ратным трудом, сделавшие блестящую карьеру и в армии, и при дворе, несмотря на разницу в состоянии и общественном положении при начале этой карьеры, светские львы, те, кто считал себя обязанным всегда бывать в театре, тем более на премьерах: зевать на трагедиях, дремать в операх и просыпаться лишь в балетах, с горящими глазами рассматривая ножки воспитанниц Театрального училища, танцевавших в кордебалете, как это любил делать вскоре к ним присоединившийся генерал Милорадович, который по этой причине тоже любой ложе предпочитал первый ряд кресел.

Пушин смотрел, как извивается Пушкин, как из кожи вон лезет, чтобы рассмешить этих господ, и ему было обидно за друга, ведущего себя как шут гороховый. Конечно, доброму малому, честному, искреннему, но недалекому Пушину было невдомек, насколько сам Александр хорошо понимал блистающих золотым шитьем генералов, но еще и понимал, как важна для него светская молва и хроника его остроумия. Потому и плясал, и выкаблучивался.

— Мартышка, — вдруг услышал он голос Грибоедова и повернулся к нему, чтобы понять вернее, к кому относится это слово, хотя догадывался, что к Пушкину. Грибоедов все еще стоял рядом, но его глаз Пушин не увидел, только блеснули стекла маленьких круглых очков, отражая театральные огни.

А театр все наполнялся. Давали первую в этом сезоне премьеру: драму Коцебу «Сила клятвы», переведенную Краснопольским и, как говорили, перемаранную и перепорченную, всесильной, капризной и тщеславной госпожой Семеновой.

Семенова уже много лет царила на русской сцене. Едва увидев ее, Пушкин стал ее поклонником, был представлен и тут же попытался приволочнуться, но, разумеется, безуспешно. Она жила почти что в браке с князем Иваном Алексеевичем Гагариным, виднейшим масоном, учредителем ложи Орла Российского, который был шталмейстером Высочайшего двора, а до того шталмейстером двора великой княгини Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I. По переезде из Твери, где он состоял при дворе великой княгини, уже после того, как она вступила в новый брак с принцем Вюртембергским, князь Гагарин безумно влюбился в Семенову и стал ее покровителем. Надо сказать, что при таком покровителе актриса могла позволять себе все что угодно. Она и позволяла: сама назначала себя на роли, убирала неугодных соперниц, интриговала. В это время она уже родила от Гагарина первую дочь, которая получила фамилию Стародубской, но замуж за могущественного вдовца не шла, не желая прекращать столь успешную артистическую карьеру.

Судьба ее была странна и вместе с тем довольно обыкновенна, достаточно вспомнить актрису Парашу Жемчугову, крепостную, любовницу, а потом и жену графа Шереметева.

Начиналось все так. Некий поручик Жданов, учитель кадетского корпуса, обрюхатил свою крепостную девушку Дарью и выдал ее замуж за своего же мужика Семена. От так называемого отца родившаяся девочка и получила фамилию Семенова, а называли ее Екатериною. Училась она в училище под руководством знаменитого актера Дмитревского. Впоследствии роли с ней разучивал Шаховской, а потом Гнедич, с их голоса она и пела, то есть мелодекламировала, и, надо сказать, неплохо, голос у нее был чистый, звучный, приятный. Успех же у публики был колоссальный. Пушкин, едва увидев ее, сразу решил, что она лучше бездушной мадемуазель Жорж, хотя саму Жорж никогда не видел и не слышал. Но это для него не имело никакого зна-

чения, если он был чем-нибудь увлечен. Он уже даже начал писать статейку «Заметки о русском театре», где пел дифирамбы Семеновой, рассчитывая через Гнедича, боготворившего актрису, «Заметки» напечатать и выступить на поприще критика.

Особы высшего общества, разубранные и разукрашенные, как всегда равнодушные ко всему, кроме как к себе подобным, стали потихоньку располагаться в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел.

Пушкин прискакал опять в партер к Пушкину.

— Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них не найдешь ты сочувствия, — печально сказал ему Пушин.

— А я будто не знаю. А меня сейчас Гнедич с самим Катениным познакомил, — захохотал Пушкин, затеребил его, зашекотал под мышками, обнял и тут же снова хотел убежать плясать перед первыми рядами, но взгляд его упал в одну из лож, где он увидел необыкновенную красавицу, окруженную толпой склонявшихся к ней мужчин.

— Кто это? — чуть ли не взвизгнул он.

— Где? — посмотрел Пушин. — Не знаю... Это ты у нас, друг, вращаешься в высшем обществе.

— Надо узнать, непременно узнать, — забормотал тот. — Ты в кресла? Я тоже... на левый фланг. Еще увидимся...

Никита Всеволожский и вообще вся золотая молодежь того времени абонировала кресла слева, за что и получила прозвище «левого фланга». Место Пушкина было среди них. Часто тут же появлялся, как появился и сегодня, раз выступала его любимая ученица, кривой, обезображенный оспой поэт Гнедич, прозванный «ходульником» за походку и ходульность речей и жестов.

Молодежь лорниловала ложи, и через минуту Пушкин уже знал, что поразившая его в одной из лож красавица — это знаменитая *Princcese Nocturn* (княгиня Полуночная), княгиня Голицына, урожденная Измайлова.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

*в которой князь Вяземский беседует в Гомбурге
на киселевской даче с Иваном Петровичем. — Рябчики,
паюсная икра и запотевший графинчик. — Рассказ
о княгине Голицыной, урожденной Измайловой. —
Осень 1875 года*

— Зайдемте ко мне, милый друг, — предложил князь Вяземский Ивану Петровичу. Дело происходило в тихом Гомбурге, осенью, близ дачи Киселева, в 1875, кажется, году. — Мне мои внуки и правнуки шереметевского колена прислали рябчиков и паюсной икры. Жить без рябчиков не могу, а здесь их нет, не знаю уж почему, но нет. Я более порадовался бы рябчикам в их натуральном виде, а не в маринованном, но в натуральном они не доходят. А эти, конечно, слишком отдают восточным вопросом и заготовлены консервами, в чаянии будущих походов и побед, — не удержался он, чтобы, как всегда, не пройтись по поводу восточной политики России. Вообще князь держался молодцом, совсем не то было в Бонне еще этой весной, где князь Вяземский содержался в дорогой частной клинике нервных болезней. Показав на сапоги, подвигав носками, Вяземский добавил: — Уже послал им стишки:

Господь вам, детки, помоги!
И даруй вам во всех делах победу
За то, что старому хрычу и деду
Вы новые прислали сапоги!
А чтоб Господь вам дал век долгий и хороший,
На эти сапоги пришлите мне калоши.

На даче, поприветствовав княгиню Веру Федоровну, которая в кругу дам вела свой светский тонкий, как кружево в ее руках, разговор, поигрывая вечной тросточкой в руках, они, против обыкновения, не остались внизу, а поднялись к князю в кабинет.

— Я не хотел при дамах рассказывать о княгине Голицыной. Многие, а вы заметили, что в гостиной у Веры Федоровны много товаров почти ее возраста, знавали ее уже безобразной старухой, считали за сумасшедшую. У всех на ус-

тах еще лет тридцать назад была история ее безуспешной борьбы с картофелем. Да-да, с картошкой, которую весь наш народ трескает с большим удовольствием и жить без нее не может. Она считала, что насаждение картофеля в России отразится на здоровье и, главное, на нравственном здоровье русской нации. Она боролась, писала письма в правительство, затерроризировала министра государственных имуществ Киселева, на даче которого мы, кстати, живем, все безуспешно, она умерла, проиграв, — картошка растет по всей России. — Князь, улыбаясь, расположился в креслах. — Но это в сторону, дорогой Иван Петрович, какова она была в молодости, пусть не в первой, а тогда, когда ее знал Пушкин? Ведь вас это интересует? И был ли роман?

— Разумеется, ваша светлость, для историка нет запретных тем.

— Но они есть для приличного человека, — усмехнулся князь Вяземский. — Ну так слушайте и стенографируйте в свой блокнот. О! Княгиня Голицына была в свое время замечательная и своеобразная личность в петербургском обществе. Она была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в первой своей молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извивистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное — и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное. По обеспеченному состоянию своему, по обоюдно согласному разрыву брачных отношений она была совершенно независима. Вследствие того она устроила жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния, которому подчинил себе несколько чопорный и боязливый Петербург. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в стро-

гих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия не отемняли чистой и светлой свободы ее.

— Она ведь разъехалась с мужем?

— Он был недалеко, некрасив, хотя и несметно богат. Она дочь действительного тайного советника Ивана Михайловича Измайлова от брака с княжной Александрой Борисовной Юсуповой. Рано осиротев, воспитывалась в доме дяди Михаила Измайлова, сенатора и московского главнокомандующего. Ее выдал замуж за нелюбимого Павел, раз — захотел и выдал. В день смерти Павла она покинула мужа, тоже — раз и навсегда...

— Так был ли роман с Пушкиным? — с нетерпением спросил Иван Петрович.

— Вы, как всегда, спешите.

Тут принесли бутерброды с паюсной икрой и графин с водкой. Лакей налил рюмки.

— Перекусим? — предложил князь. — А потом продолжим.

Выпили, крикнули по русскому обычаю (хотя водка была хорошая, пилась легко), закусили икоркой.

— Я не был в то время в Петербурге, а потом на мои нескромные вопросы Пушкин всегда отмалчивался. Думаю, что Пушкин в медовые месяцы своего вступления в свет был маленько приворожен ею. Это все видели: Тургенев, Карамзин писали мне об этом в Варшаву. Могу еще добавить, что такая личность, как княгиня не могла проходить бесследно и не пробуждать нежных сочувствий в том или ином сердце. Она на своем веку внушила несколько глубоких и продолжительных привязанностей, почти поклонений. До какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это остается тайной... Но повторим еще раз, доброе имя ее, и при той довольно строгой общественной цензуре, оставалось безупречно-неприкосновенным.

Князь подождал, пока Иван Петрович закончит стенографировать его рассказ, и предложил:

— Повторим еще? — Князь указал на запотевший графинчик.

— Отчего же нет? — радостно согласился Иван Петрович.

По русской привычке, которую отчего-то особенно приятно было осознавать на чужбине, первая прошла хоть и не колом, зато вторая как полагается — соколом!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой Батюшков сидит у Жуковского и смотрит, как тот примеряет новый мундир. — Павловский Пудрамантель — учитель русского языка у великой княгини Александры Федоровны. — Николай Николаевич Новосильцов. — Батюшков грустит. — Ахилл и Сверчок. — Клятва Сверчка на куриной гузке. — К Батюшкову ходят крысы, он снова грустит и хочет в Италию. — «Это не умирающий Тасс, а умирающий дядюшка Василий Львович». — Конец августа — начало сентября 1817 года

Батюшков сидел у Жуковского. Дождался, когда тот выйдет в гостиную в своем новом облачении. Дело было в том, что совсем недавно Жуковский был назначен, не без протекции Карамзина, учителем русского языка к принцессе Шарлотте, теперешней великой княгине Александре Федоровне. Императрица Мария Федоровна сначала не соглашалась, говоря, что Жуковский слишком молод для учителя, но Карамзин сказал, что ему уже 34 года, и не пожалел слов, чтобы описать все благородство его характера. Жуковскому сшили новый, полагающийся учителю мундир. В воскресенье он уже представлялся ученице своей и обедал с ней в Павловске у императрицы Марии Федоровны, но следующая встреча должна была быть непременно в мундире. К тому же при дворе императрицы Марии Федоровны до сих пор, как при покойном ее супруге Павле Петровиче, полагалось пудриться, чего давно уже не делали при императоре Александре Павловиче, и Жуковский пригласил куафёра с парижской выучкой, но с совершенно русской физиономией.

Батюшков только третьего дня вернулся из своей вологодской вотчины. Осенняя погода, наводившая на него особенную тоску, выгнала его в город; между Москвой и Петербургом он выбрал последний, тем более что у него вы-

ходила книга у Гнедича, Гнедич же обещал помочь с продажей имения. Жить Батюшкову было не на что, одна надежда на это имение. Он рассчитывал продать его и поступить на службу, мечтой его было отправиться в Италию хоть кем-нибудь при нашей миссии. Друзья по «Арзамасу» хлопотали об этом.

Вчера состоялось заседание «Арзамаса», на котором он наконец был принят в его члены под именем Ахилла. Речь при его вступлении произносил Блудов; происходило все в доме у Александра Ивановича Тургенева. Впрочем, он давно уже, как и остальные, считал себя арзамасцем, просто обстоятельства складывались так, что удалось принять его только теперь. Странно, подумал он тогда на заседании, что нет Пушкина. Говорят, что он вообще был едва ли не один раз. Его более увлекает светская жизнь и шумные холостяцкие пирушки с блядами и шампанским у Всеволожского, а не мужские собрания, пусть и не чопорные. Не было и Михаила Федоровича Орлова (Рейна), хотя два предыдущие собрания, когда Батюшков еще не приехал из деревни, проходили у него. Он вообще хотел придать шутливому литературному обществу более серьезный политический характер и даже выступил с программой, в которой говорилось в первую очередь об уничтожении рабства. Все присутствующие были согласны с необходимостью уничтожения рабства в России, но средства предлагаемые не всех устраивали. Жуковский же вообще был против придания обществу политического характера и потребовал больше не отклоняться от литературы во внутреннюю политику.

Жуковский появился из соседней комнаты в мундире придворного учителя, при шпаге и с напудренной белой головой. Он даже не снял пудрамантеля, накидки, в которой пудрились.

— Ну как я тебе? — снимая теперь пудрамантель и осторожно, чтобы не обтрясти пудру, отдавая его куафёру, поинтересовался у Батюшкова Жуковский. — Князь Вяземский в последнем письме Александру Ивановичу так и назвал меня Павловский Пудрамантель. Смешно, правда? Есть во мне что-то от этого важного слова — пудрамантель! Что-то высокое, чопорное и белое...

— Высокое, чопорное и белое — это цапля! — сказал Батюшков и рассмеялся. — Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла! — расхохотался и Жуковский.

Жуковский важно, как цапля, стал прохаживаться перед Батюшковым, выпячивая утлую грудь и выкидывая вперед длинные ноги, потом не выдержал, упал головой на стол и закашлялся от приступа смеха. Смеялись они до надсаду.

— Я радуюсь за тебя истинно, что все так хорошо сложилось, — сказал наконец Батюшков, когда смех прошел.

— Надеюсь, мы и тебя пристроим, и пройдет твоя хандра. Глаза Батюшкова снова стали грустными.

— Как устроили Вяземского в Варшаву к Новосильцову, — добавил Жуковский.

Николай Николаевич Новосильцов при вступлении Александра Павловича на престол в 1801 году был вызван из Лондона, где он в течение четырех лет посещал университетские лекции по физико-математическим и медицинским предметам, и первое время состоял при особе государя, был членом негласного комитета во дни александровских романтических начинаний. Был и такой факт в его биографии: в 1809 году он отправился для поправки здоровья в Вену, где неосторожно предался крепким напиткам, иными словами, пил три года как извозчик. Но в 1812 году он, вызванный в Россию, почти бросил пьянство и снова приобщился к государственным делам. С 1813 года и по сей день служил он в Польше, где теперь исполнял должность главы царской администрации при наместнике великом князе Константине Павловиче.

— Ты знаешь, сначала мне это не понравилось, я ахнул, князь с его свободолюбием под начальство Новосильцова, который теперь славится жестокостью и нетерпимостью, несмотря на все его прежние конституционные мечтания. Я готов был прибить Александра Ивановича за его хлопоты. Но сейчас примирился с этой мыслью и полагаю, что его вступление в службу имеет вид хорошего начала. Я познакомился у Карамзина с Новосильцовым, кажется, для Вяземского лучше нельзя начать. Служба — доброе дело для человека, который может быть полезен. Поэтому мне так нравится и твоя служба при дворе. Сколько добрых дел ты сможешь сделать, имея там влияние. А я хочу в Италию... — вдруг неожиданно закончил он и пригорюнился.

Батюшков был единственным из всех окружавших его литераторов, кто в совершенстве знал итальянский язык,

так называемое тосканское наречие, которое являлось основным литературным языком того времени; он мечтал об Италии всю жизнь, грезил ею во сне и наяву, даже говорил во сне по-итальянски. Наяву же по-итальянски ему удавалось поговорить только со старшим Тургеневым.

Через несколько дней Жуковский уехал в Дерпт попрощаться с близкими и, вернувшись в Петербург всего на день, проследовал в первопрестольную столицу, где теперь находился двор и, следственно, его ученица великая княгиня Александра Федоровна.

Провожать его до Царского отправились Батюшков с Пушкиным.

Еще в Петербурге их благословил Александр Иванович Тургенев, велеречиво сказав:

— Ахилл и Сверчок, от имени арзамасского братства на вас возлагается ответственное поручение сопровождать Светлану до Царского, там по-царски отобедать и вернуться живыми и невредимыми. А Светлана при мне должна взять со Сверчка клятву на ляжке арзамасского гуся, что он перестанет прыгать по блядам и сядет наконец на свой шесток, где и будет петь песни, услаждая слух арзамасцев, о членстве в обществе которых он забывает.

— Даешь клятву? — спросил Жуковский Пушкина.

— Даю, учитель! На гусиной гузке! — подхватил тот весело, и остальные захохотали. — И не так уж я прыгаю, ну разок-другой...

— Третий... — подхватил Тургенев и залился тонким смехом. — А что там за история с приемщицей билетов в зверинце?

— Нет еще никакой истории...

— Просто тебе нравится наблюдать физиономии скотов в зверинце и сравнивать их с родом человеческим?

— А что за приемщица билетов? — взволновался Жуковский, и в глазах его появился блеск. — В этом есть что-то романтическое. Так и просится в балладу...

— Никуда она пока не просится, — словно обиженно процедил Пушкин.

— Может, поедем? — уныло спросил Батюшков, молчавший все это время.

— С Богом! — стал подталкивать всех к карете Тургенев. — С Богом, друзья! Дай я тебя, Василий Андреевич, на про-

щение расцелую. Рад за тебя безмерно, наш Павловский Пудрамантель!

Уселись все в одну карету и двинулись к заставе. Выехали на бревенчатую московскую дорогу, вытрясавшую в худших своих местах всю душу, но до Царского Села она, слава Богу, более или менее поддерживалась в приличном состоянии.

Отобедавши в Царском, распрощавшись с Жуковским, обнявшись и перекрестив его, остались вдвоем и поехали в нанятой карете обратно в Петербург. Пушкин сначала молчал, настроение было грустное, как всегда, когда он после выпуска посещал родное Царское Село. При виде его аллея священный трепет сжимал ему грудь. Батюшков тоже был грустен. Осеннее Царское Село вообще наводило на грустные мысли своим печальным величием. Потом все же разговорились.

На днях вышел второй том «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова, том поэтический в отличие от первого, в котором была собрана проза и который вышел полугодом раньше. Пушкин уже успел прочитать книгу, многие стихи он знал наизусть по ранним публикациям. Он заметил Батюшкову, что, на его вкус, сократил бы многое, от этого книга только бы выиграла.

— Есть и просто неточности. Исправь стих: «Как ландыш под серпом убийственным жнеца склоняет голову и вянет...» Надобно не под серпом, а под косою: ландыш не растет на пашнях засеянных, а только в лугах и рощах...

— Да, — печально согласился Батюшков. — Ландыш растет в лесах, редко — на опушках... А что касается слабых стихов, так я просил о том Гнедича, там много дряни, едва ли не половина, он кое-что поправил. Думали том издать за месяц, а ушло около года. За год, кажется, можно было и более сделать, мы в свое время Францию завоевали за шесть месяцев, а тут книгу довести до ума... — грустно сказал Батюшков. — Вот коли бы ты это сделал, у тебя другая рука. Да ты сидел еще в Лицее... И пел песни запечные... — усмехнулся он, вспомнив арзамасское прозвище Пушкина. — Меня сейчас ласкают за книгу добрые люди: я на розах как автор и на иглах как человек. Успехи в словесности ни к чему не ведут, и ими восхищаться не должно. Те, которые хвалят, завтра же бранить станут. Я видел, милый друг, тому приме-

ры. Мое же положение печально, — признался он. — Ничего верного не имею, кроме четырехсот рублей дохода в год... А как жить на четыреста рублей в Петербурге?

Колеса кареты долбили по бревенчатой московской дороге, на некоторых ее участках вытрясая душу.

— И этакая дорога в царскую резиденцию, — сокрушено заметил Батюшков. — В Европе с дорогами много лучше.

— В Европе климат лучше, — полусогласился Пушкин. — Да и эта московская дорога совсем неплоха.

— Хочу в Италию, — признался Батюшков. — Если не удастся с Италией, полечу в Тавриду лечить грудь мою и рассеять тоску и болезнь на берегах Салгира, на высотах Чатырдага и на долинах Поморья. А там сяду на корабль к каким-нибудь грекам и убегу в Италию... На корабле, правда, крысы... — вдруг неожиданно сменил он тему. — Крысы. Они в деревне меня замучили, глазки умненькие, морда гадкая... Тут, в Петербурге, тоже приходят крысы. К тебе приходят? — серьезно спросил он, глядя Александру в глаза.

От его взгляда стало не по себе.

— Нет, — сказал Александр. — Ко мне не приходят.

— Еще придут, — печально предсказал Батюшков. — Одна из них особенно умная, умеет бегать вокруг люстры. По потолку... — уточнил он.

Пушкин, чтобы отвлечь его, предложил ему посмотреть тетрадку стихов одного молодого своего приятеля. Батюшков полистал их в дороге, помолчал, потом вернул равнодушно, сказав, что не находит в них ничего особенного.

— Да посмотри, какие гладкие стихи! — воскликнул Пушкин.

— Да кто же теперь не пишет гладких стихов, — вяло отозвался Батюшков и стал смотреть в окно кареты.

Этот ответ навсегда врезался в память Пушкину. До самого Петербурга он думал все над этой фразой. И о крысах, мучивших Батюшкова. И еще он подумал, что знаменитая элегия Батюшкова «Умиравший Тасс», которая до этого издания уже более года ходила в списках, конечно, ниже своей славы. Торквадо Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия, ничего не видно. Это умирающий дядюшка Василий Львович, а не Торквадо. Но ничего из этого он, разумеется, Батюшкову не сказал. Он не любил до конца откровенничать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой Пушкин у Карамзиных знакомится с княгиней Евдокией Голицыной и получает приглашение бывать у нее. — История Ивана Борисовича Пестеля, рассказанная Карамзиным. — Ростопчин. — Княгиня Голицына в сарафане и кокошнике. — Кто все-таки сжег Москву? — Война 1812 года. — Борзописцы Тургенев, Воейков и Греч выдумывают подвиги русского народа, не выходя из петербургских квартир. — Пушкин протестует против быта, но интересуется его княгиня Евдокия. — Дом княгини. — Роман Пушкина с приемщицей билетов в зверинце. — Обратная сторона всего приятного, что имеешь с женщинами. — Сентябрь—октябрь 1817 года

Еще в середине сентября переехал в Петербург из Царского Села на зиму Карамзин с семьей, но только теперь Саша Пушкин, сам вернувшись из Царского, где он вспомнил о нем, на следующий день удосужился нанести Карамзину визит на набережную Фонтанки; историк проживал в верхнем этаже дома Муравьевой, через несколько домов от дома Министерства народного просвещения, где он постоянно бывал у братьев Тургеневых. Дорога в дом Муравьевой тоже была привычная: Екатерина Федоровна была тетужкой Константина Батюшкова, у которой он всегда останавливался в свои приезды в Петербург, и Пушкин бывал у него неоднократно с визитами.

Когда слуга впустил Пушкина в гостиную без доклада, он увидел там собравшееся общество. В первой комнате за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина. Сам он сидел в некотором отдалении, в полукруге посетителей. Батюшков, кстати, уже был в гостинной, но стоял отдельно ото всех, у дверей, и молча подал Саше руку. Среди гостей, окруживших хозяина, Пушкин увидел и Александра Ивановича Тургенева, который радушно с ним раскланялся издалека. Карамзин что-то рассказывал внимательно слушавшим его гостям. Среди них, неожиданно для Пушкина, оказалась и княгиня Ночная, встречи и знакомства с которой он искал последнее время.

Карамзин прервал на время свой рассказ, встретил Пушкина на середине комнаты, громко произнес его фамилию, представляя другим собеседникам и попросив садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотой патриархальных времен. Общество в его гостиной было самое разное, но добродушная его нежность разливалась равно на всех. Извинившись перед собеседниками, он продолжил, пояснив Пушкину:

— Я рассказываю про Ивана Борисовича Пестеля, нынешнего сенатора, а при Павле Петровиче петербургском почт-директоре и президенте Главного почтового ведомства, который пользовался особым благоволением императора. Чем, разумеется, был недоволен Ростопчин, бывший при императоре в роде первого министра. Вот какую западню устроил Ростопчин против Пестеля. Он написал письмо от неизвестного, который уведомляет своего приятеля за границею о заговоре против императора и входит в разные подробности по этому предмету. А в конце письма добавляет: «Не удивляйтесь, что пишу Вам по почте; наш почт-директор Пестель с нами». Ростопчин приказал отдать письмо на почту, но так, здесь уж я не знаю, каким способом, чтобы оно возбудило внимание почтового начальства и подверглось перлюстрации. Граф Ростопчин хорошо знал характер Павла, но хорошо знал его и Пестель. Он не решился показать письмо императору, который по мнительности и вспыльчивости своей не дал бы времени порядочно исследовать достоверность этого письма, а тут же бы уволил его или сослал. Граф Ростопчин также все это сообразил и ждал, потирая руки. Несколько дней спустя, видя, что Пестель утаивает письмо, доложил Ростопчин о ходе всего дела, объясняя, разумеется, что единственным побуждением его было испытать верность Пестеля и что во всяком случае повергает он повинную голову свою пред его величеством. Государь поблагодарил его за прозорливое усердие к нему. Участь Пестеля была решена...

— Ловко, — сказал кто-то из гостей. — Проиграть в этом случае было невозможно.

— Разумеется, — согласился Карамзин, — но этим не довольствуется торжество Ростопчина. Он человек ума на-смешливого, и ему захотелось пошутить. До сообщения Пе-

стелю именного повеления он приглашает его к себе на обед. Тот, обольщенный успехами своими, является к обеду впопыхах и с некоторой самоуверенностью. Хозяин расточается пред ним в особенных вежливостях и ласках. Пестель при этом думает, что Ростопчин начинает опасаться его и хочет задобрить. Он предается мечтаниям и проговаривается о своих видах на будущее. Однако, возвратившись домой, он находит официальную бумагу, вовсе не согласную с розовыми мечтаниями честолюбия своего.

Карамзин закончил рассказ и развел руками: мол, судите сами, гости дорогие.

И гости принялись судить. Ростопчин после войны двенадцатого года и сожжения Москвы был одной из главных тем аристократических гостиных.

— Граф Ростопчин складом ума чистый француз, хотя французов ненавидит и ругает на чистом французском языке. За остроумие его жаловала еще императрица Екатерина, — сказал Александр Иванович. — Надо признать, что и в этой истории есть остроумие...

— При императрице он был чуть ли не шут, — возразил ему другой собеседник.

— Положим, быть шутом и остроумным человеком — это разные вещи, и не стоит их путать, — это уже сказала княгиня Голицына. — Та же Екатерина Великая говорила о нем, что у молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум.

— Как бы то ни было, за ним навсегда останется слава Герострата! — возразили ей тут же.

В обществе помнили и часто рассказывали друг другу, когда после окончания войны двенадцатого года на обыкновенный бал Благородного собрания явилась княгиня Голицына в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Кажется, многие тогда просто не поняли, почему так вырядилась княгиня, как не понимали всего русского. Это было в те времена, когда граф Федор Васильевич Ростопчин, известный своим патриотизмом и тем, что якобы сжег Москву, еще оставался главнокомандующим Москвы, но уже вызывал ненависть всех тех, кто потерял в сожженной Москве имущество. Всеобщий патриотизм и воодушевление двенадцатого года уже прошли, а горечь от потерянного состояния осталась. И главный виновник этого, как считали мно-

гие, все еще сидел в кресле главнокомандующего Москвы. Лишь в 1814 году, вернувшись из заграничного похода, Александр Павлович уволил его от должности, а в 1815-м граф Ростопчин, всеми презираемый, уехал в Париж к французам, которых до сих пор ненавидел и клеймил, и с тех пор не возвращался. Говорят, правда, он был во французских салонах нарасхват и там поначалу от славы поджигателя Москвы не отказывался, как он это делал на родине. Княгиня же при каждом удобном случае вставала на защиту графа, будучи одних с ним убеждений, признавая, что он сжег Москву, и доказывая, что поступил совершенно правильно.

— Мне писали, — сказал один из собеседников, — что в Париже про Ростопчина теперь в ходу такой каламбур: он сжег Москву, чтобы не видеть нас, мы сгораем от нетерпения видеть его.

— Милостивые государи и государыни, не кажется ли вам, что приписывать кому-то одному поджог Москвы дело неблагодарное? — начал один из гостей. — Помните, как во время войны говорили о том, что Наполеон поджег Москву, потом переметнулись на Ростопчина? Хотите я скажу вам, как все было на самом деле? Огромный город, в два дня оставленный всеми или почти всеми жителями без всякого присмотра. Кучка сволочи, которая есть во всяком народе в любых обстоятельствах, а в таких так тем более, кучка сволочи, оставшаяся в городе, чтобы хорошо пожить-ся на чужой счет. Грабеж, взломы, невольные и намеренные поджоги, чтобы скрыть следы воровства, — вот главная причина пожара Москвы. Мародеры сожгли Москву. Давайте смотреть правде в глаза. А не Наполеон, не Ростопчин!

— Я не согласна, вы хотите подвиг низвести до уровня быта! Подвиг Ростопчина останется в веках! — резко возразила княгиня Голицына.

Пушкин немедленно встал на сторону княгини Голицыной.

— Вы хотите отнять у нас поэзию! Что-то величественное было в поступке Ростопчина, который сжег Москву, чтобы она не досталась врагу! Он — не Герострат, не для своей славы он это сделал, а для славы духа русского! — искренне поддержал княгиню Пушкин и посмотрел на нее, и гордая красавица ответила ему благодарным взглядом. —

Детьми мы плакали тогда о Москве и гордились ею, — продолжил Пушкин. — Москва пережила много пожаров, но лишь один навсегда останется в памяти народной.

— Во всяком случае, в моей памяти эта картина осталась навсегда, — тихо сказал Батюшков, но его, кажется, никто не услышал, тем более когда он прошептал, как молитву: — Да прилипнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду!

Разговор рассыпался вместе с кругом гостей. К Пушкину подошел Александр Иванович Тургенев и, слегка приобнимая, сказал:

— Поэзия есть поэзия. Но не надо путать ее с правдой, мой юный друг. Помнишь все подвиги народные, описанные в «Сыне Отечества»? Журнал, верно, выписывали в Лицее?

— Еще бы! — воскликнул Пушкин. — Мы зачитывались и подвигом русского Сцеволы, который отрубил себе руку...

— И о старостихе Василисе, которая перевязала голодных французов и привела их на веревке к начальству, тоже, наверное, читывали?

— Да, — обрадовался Пушкин. — Как мы радовались каждому такому случаю!

— Так вот, мой милый поэт, все эти анекдоты, а также про казака, который нагайкой трех французов победил, и многие другие ваш покорный слуга, Воейков да Греч придумали, не выходя из петербургских своих квартир, а Греч напечатал в «Сыне Отечества» для поднятия духа народного. Потом Теребенев гравировал эти анекдоты, и разошлись они по всей необъятной матушке России... Народ, если и поднимался сам, то для того, чтобы пограбить, порой и своих...

Пушкин задумался.

— Я думаю, про старостиху Василису еще долго будут помнить, как и про других...

— Пусть думают, — усмехнулся Александр Иванович. — А старостиха Василиса была у нас в имении, где не ступала нога француза.

Стали звать к чаю. Пушкин, извинившись перед Тургеневым, поспешил оказаться возле княгини Голицыной, вблизи она оказалась еще прекрасней, чем издали. Разговор с Тургеневым почти не задел его сознания, поскольку он думал

в этот момент только о княгине Голицыной. Он обратил внимание, что с другой стороны гостиной за ней все время наблюдает Батюшков, и догадался, что тот тоже влюблен в нее, но он видел его нерешительность и только посмеивался. Себя он считал вполне опытным ловеласом, совершенно не думая, что такая добыча может оказаться ему не по зубам. Хотя ко времени знакомства Пушкин уже знал всю ее подноготную: историю ее свадьбы и разъезда с мужем, единственной известной ее связи с князем Михаилом Долгоруковым и отказом мужа дать развод, смертью возлюбленного на войне в Швеции.

Княгиня много чем прославилась в гостиных, многие поступки ее не были поняты обществом, но тем не менее ей многое прощалось. Общество, которое собиралось у нее, было исключительно мужским, она не оттеняла его женскими образами, даже тусклыми, которыми другие дамы разбавляют атмосферу вокруг себя для сравнения, ей никто не был нужен, княгиня должна была царить одна. К тому же женское общество было ей просто неинтересно. Самым верным ее поклонником был теперь Михаил Орлов, знаменитый герой, подписавший капитуляцию Парижа, к которому Пушкин испытывал самые добрые дружеские чувства. Познакомился Орлов с княгиней еще в пятнадцатом году в Париже и с тех пор следовал за ней неизменно, когда ему позволяла служба. Но теперь он, к счастью, был в Киеве, и соперничество с двадцативосьмилетним генерал-майором не грозило Александру. Все, что он знал о княгине, влекло его, как мотылька на огонь. Он кружился мыслью вокруг нее даже во время разговоров с другими.

«Интересно, умна ли княгиня Евдокия?» — отчего-то подумалось Александру.

— Александр, — обратилась в этот момент к нему княгиня Голицына, — я буду всегда рада видеть вас у себя. Верно, вы знаете, что в своем доме на Большой Миллионной я принимаю часов с двенадцати ночи и до утра.

Александру рассказывали, что когда-то в юности ей предсказали, что умрет она ночью, поэтому княгиня, боясь умереть во сне, сменила день на ночь и ночью всегда бодрствовала, за что ее и прозвали княгиней Ночной. Ему и эта легенда нравилась, он сам был чуток на приметы и верил предсказаниям.

— Могу ли я сегодняшней ночью воспользоваться вашим приглашением, ваше сиятельство? — любезно спросил Пушкин.

— Разумеется, — улынулась княгиня мягкой, почти материнской улыбкой. Впрочем, почему у него мелькнула мысль про материнскую улыбку, он не знал, его родная мать так никогда не улыбалась и любви с лаской он от нее не видел.

— Жду вас к себе в полночь! — еще раз улынулась княгиня.

Он был чуть ниже ее ростом, с глазами голубыми, почти стеклянными, и ей показалось, что этот зверек, заморская обезьянка, даже прехорошенькая. Но отчего он дрожит? Боятся? Привыкнет. Сгорает от страсти? Остынет. Надо бы приручить его у себя в салоне.

Пушкин стал постоянно бывать у *Princcese Nocturn*. Ее дом на Большой Миллионной был украшен кистью и резцом лучших современных живописцев. Хозяйка была словно вписана такой же кистью в изящный и строгий интерьер, в котором не было ничего преходящего из прихотей своенравной и скороизменчивой моды.

Всегда, даже летом, в гостиной горели дрова в камине, возле которого собирались гости. Корзины с цветами, напротив, стояли даже зимой. В гостиной находилось несколько музыкальных инструментов: клавесин, арфа, рояль, несколько прекрасных гитар. Играла и пела княгиня очень редко, но если начинала петь итальянские арии, подыгрывая себе на гитаре, то это могло продолжаться до утренней зари.

В полночь в этот, так и хочется сказать, храм, к жрице высокого служения собирались скорее не гости, а некие посвященные. Сам назначенный час был уже неким символом. Перед ней преклонялись, ее боготворили, но с ней и спорили, тем более что убеждения ее во всем были крайние. То она была за конституцию, то против, сегодня становилась монархисткой, а завтра республиканкой.

Салон ее удивлял посвященного новичка, сама она восхищала, но самое главное — Александра влекло к ней как к женщине. Он буквально задыхался, когда княгиня подходила к нему и невзначай наклонялась над столиком, возле которого он сидел. И тогда он мог видеть совсем рядом ее

легко вздымавшуюся белую грудь, зажатую в декольте роскошного и, как всегда, нестерпимо яркого платья.

Ему хотелось сказать ей о своей любви, но он понимал, что в этом случае лира его бессильна, ибо княгиня защищена как броней своим равнодушно-ровным ко всем отношением. Впрочем, иногда ему казалось, что княгиня дразнит его нарочно, но слова колких любезностей, готовые сорваться с грешного языка, застревали в горле; он смущался и терял нить разговора. Он чувствовал, что тоже интересен княгине, но едва он вновь пытался приблизиться к заветной теме, как чуткий женский ум княгини, только что зазывавший его охотно, улавливал возникавшее в нем нетерпеливое волнение, и она отступала в сторону на шаг, на два, чтобы, отступив, снова приманивать его к себе. Александр понимал, что в этой игре надобно терпение, но, впервые столкнувшись с серьезным соперником, все время терял самообладание. Тогда он срывался, убегал в ночь, ехал в веселый дом, где, натягивая очередную Лизетту, продолжал вздыхать о княгине.

Одновременно он не забывал про приемщицу билетов в зверинце. Ее звали Настасьей. Ежедневно он посещал зверинец, смотрел на смиренного льва, который обыкновенно весь день лежал посередине клетки, лишь приоткрывая на посетителей то один глаз, то другой, слушал то ли рев, то ли стон бегемота, похожий на звук басовой струны виолончели, любовался кудахтающими фазанами с длинными золотистыми хвостами. А более всего любовался на стройную златокудрую Настасью, выдававшую посетителям билетики. Когда никого рядом не было, он болтал с ней непринужденно. Снимая широкополую шляпу и обмахиваясь ей, он театрально запахивался в длинный плащ и принимал вид одинокого и гордого странника, никем не понятого и отвергнутого всеми. Когда же к ней подходили за билетами, он отходил в сторонку и обыкновенно принимался рассматривать свой длинный ухоженный ноготь на мизинце, сняв золотой наперсток, которым недавно обзавелся. Наперсток предохранял ноготь от повреждений с тех пор, как в деревне, гуляя с Ганнибалами, он невесть как сломал ноготь, выращенный за полгода.

Поначалу он не говорил ей, что стихотворец, но, видя, что дело не продвигается, стал читать ей стихи. Она смея-

лась и говорила, что ничего в стихах не понимает. Как-то он привел с собой барона Дельвига, который к тому времени вернулся с Украины в Петербург и, службой в соляном департаменте себя не утруждая, бездельничал, пил и гулял, как и Пушкин. Он тоже прочитал свои стихи в русском духе, но успеха не имел. Настасья снова смеялась и снова говорила, что ничего в стихах не понимает. Дельвиг благословил Пушкина, но посоветовал прежде пообещать ей денег.

— Мне кажется, она целочка, — вздохнул Пушкин.

Дельвиг зауhal как филин и больше в зверинце не появлялся.

Пушкину отчего-то мысль о деньгах претила. Как-то Настасья рассмеялась над его ногтем и сказала, что ежели б он отрастил такие же ногти на всех пальцах, она непременно подумала бы, что он бес.

— А я и есть бес! — серьезно, глядя ей в глаза, стал уверять ее Пушкин. — Хвост показать? — И он принялся снимать панталоны.

— Боюсь вас, сударь! — отмахивалась она, и видно было, что ничего она не боится. — Застегните, люди увидят.

— Хвост увидят?! — хохотал во все горло Пушкин. — Черт с ними, пускай смотрят!

Он стал упрашивать Настасью о встрече, но она умело уводила разговор в сторону.

Как-то, когда он особенно напирал на нее, а посетителей долго не было, она спросила Александра напрямик:

— А у вас есть деньги-то?

— Деньги? — удивился он и подумал: «Ах, Дельвиг, Дельвиг!»

— А то вот и в зверинец вы ходите бесплатно, — намекнула она.

— На что мне твои звери! У нас знаешь сколько в Царском Селе зверей было! — охотно соврал он. Он знал, что когда-то зверинец в Царском Селе был наполнен стадами диких коз и оленей, водились и медведи, но сейчас в нем обитало всего несколько лам да две огромные черепахи, привезенные прошлым летом на корабле Российской американской компании. — А в ваш зверинец я хожу от скуки, когда ты, Настя, занята.

— Знаю, знаю... — усмехнулась она.

— А много ли денег тебе надо? — спросил Александр.

— Пяти рублей хватит.

Он удивился, что дальше пяти рублей фантазия ни у кого из них не разыгрывается, и ему стало грустно, когда он понял, что этот едва расцветший цветок уже грешен.

— Да вот, бери, — предложил он ей пять рублей. На удивление, они у него в этот раз оказались, деньги.

— Нет, потом, — заговорщицки прошептала она. — Мне некуда положить, у меня вон хозяйские деньги на руках. Вечером приходите, когда мы закрываемся. Я отдам деньги, и мы с вами пойдем.

— Куда пойдем? Ты с кем живешь-то?

— Живу я с тетушкой, да мы пойдем здесь же, рядом...

— Боишься тетушки?

— Тетушка деньги отберет, а мне и своих скопить надо!

Вечером пошли действительно недалеко, в сам зверинец, где между клетками лежала гора сена, заготовленная для животных. На ней они и расположились и провели едва ли не всю ночь. Бегемот стонал, шевелился в своем бассейне, чавкая намешанной в нем глиной, басовито пел, как контрабас. Под утро стали кричать птицы, а Настасья уснула, склонив голову на его плечо. Он уснул и проснулся, она ровно дышала ему в шею и в ухо, и он почувствовал к ней особую нежность, которую, ему показалось, он ни к кому до сих пор не ощущал.

На третий день после встречи с ней он, встав утром и справляя малую нужду в горшок, почувствовал рези в канале и в промежности.

«Хуерык», — похолодел он от спины до затылка, и мурашки побежали на голове под волосами.

Первым делом он кинулся к Петруше Каверину.

Тот захохотал, хлопая его по плечам:

— У девушки, у сиротки, загорелось в середке, а у доброго молодца покапало с конца! Ну, с боевым крещением, братец! Когда капает, это ничего, не было бы хуже.

— А что же хуже, Пьер?

— Известно что, сифилис. Но он так быстро не проявится. Месяца через два жди бобонов. Хотя, впрочем, и сифон теперь лечится большими дозами ртути. Сам лечился.

— Ты?

— Чего ты смотришь с таким удивлением? Каждый гусар за время походов по несколько раз переболел всеми этими

болезнями нерусского имени. А ты крепись, сие происшествие есть оборотная сторона всего того приятного, что ты имел с женщинами.

Каверин сам отвез его к доктору Лейтону, тот сделал ему промывание, прописал лекарства и постельный режим на две недели.

Родителям пришлось сказать, что он простудился. Он залег в постель и принялся снова за тетрадь своих лицейских стихов, которую вернул ему перед отъездом Жуковский со своими поправками и предложениями, а потом за «Руслана и Людмилу».

Узнав про его болезнь, Александр Иванович Тургенев хохотал:

— Вот она-то и будет кормилицей его поэмы. Черт знает, чего еще пожелать, чтобы засадить его с пером за лист бумаги.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой происходит четверная дуэль Завадовского и Шереметева, Грибоедова и Якубовского. — Авдотья Истомина, Вася Шереметев и другие участники событий. — Черный Вран Якубович. — Завадовский отдает часы Петру Каверину. — Доктор Ион взывает к милосердию. — Шереметев намерен прикончить графа Завадовского, но падает сраженный его пулей. — «Ну что, Вася, репка?» — Поездка к Талону. — Шампанское и котлеты. — Ужасная тоска Грибоедова. — 12 ноября 1817 года

Петр Каверин встал поутру и никак не мог решить, опохмелиться ему или нет. С одной стороны, надо было ехать на дуэль, так вроде бы нехорошо быть пьяным, с другой стороны — стреляться не ему, так почему бы не выпить. Пока денщик Ивашка брил Каверина, мучительное сомнение не оставляло его, а внутри у него все бродило и переворачивалось. Он смотрел в зеркало на свое лицо с щегольскими подкрученными усами, на заплывшие от пунша глазки, в которых читался сей мучительный вопрос, и, решив наконец, что немножко коньяку не повредит, отбросил всяческие сомнения и велел Ивашке принести бутылку француз-

ской водки, как называли иногда коньяк. Французская водка, французская любовь и французский насморк — традиционный букет французских удовольствий.

Дуэль сегодня должна была состояться преважная. Четверная. Стреляются две пары: в первой — Вася Шереметев и граф Завадовский, а во вторую очередь — Якубович и Сашка Грибоедов. У двух Сашек, Грибоедова и Завадовского, он и должен быть секундантом.

Дуэль, конечно, романтическая, но во всей этой истории Каверин никак не мог взять в толк, какую роль играет здесь корнет Якубович, при чем он здесь, это храброе и буйное животное?

Вася Шереметев, штаб-ротмистр Кавалергардского полка, красавец, не Бог весть какого ума, но добрый малый, два года жил на одной квартире с танцовкой Истоминой. Дело обыкновенное. Каждая актрисочка ищет себе богатого покровителя. Как только заканчивает молодая актрисочка школу, так князь Шаховской приискивает ей молодого или немолодого, но обязательно богатого покровителя. За свой, разумеется, процент со сделки. За целочек, разумеется, процент выше, чем за тех, с кого уже пробу сняли.

Некоторое время назад любовники рассорились, и Истомина съехала с квартиры Шереметева. Тут, разумеется, стоял вопрос, рассорились ли они совсем и была она свободна от обязательств, или же такой разъезд был обыкновенен в их отношениях? День-два ссоры, потом — примирение, так многие живут. Впрочем, для дуэли это уже не имело значения. Еще поговаривали, что карман у Васьки в последнее время обмелел и страсть у Истоминой малость поутихла, что еще более распаляло неумного Васю Шереметева. Вот это было уже серьезней.

Грибоедов знал Истому давно, встречал ее на чердаке у князя Шаховского, где собирались все завязанные петербургские театралы, бывал у нее дома, но никогда не привлекался за ней, быв с ней просто в коротких дружеских отношениях. Вася его не ревновал, зная, что он совсем ею не интересуется. Так вот, зная, что Дуня теперь свободна, Грибоедов предложил ей после спектакля заехать к нему на квартиру, которую он снимал вместе с камер-юнкером графом Александром Завадовским. Разумеется, Сашка знал, что Завадовский имеет виды на Авдотью Истому и только

ищет случая. Случай предоставился, да еще какой! Дуня красива, стройна, как всякая танцовка, с личиком миловидным и страстными черными глазами, и, по правде сказать, между ног у нее всегда чешется. К тому же Завадовский, сын екатерининского фаворита, прозванный Англичанином, и собой хорош, и достаточно богат, что могло иметь решающее значение.

Всякий знал, что обожателей у нее была тьма, сама же она была недалеко, строила куры многим и многим подавала надежды, что служило поводом к недоразумениям, уже приводившим к поединкам, но, слава Богу, бескровным. Теперешний же, пожалуй, таковым не будет: сходиться решено с восемнадцати шагов, с барьером на шести. На шести промахнуться трудно, тем более таким стрелкам, как были все четверо, это верная смерть.

Когда Сашка Грибоедов договаривался с Истоминой ехать к себе на квартиру, она все-таки опасалась каких-либо действий со стороны Шереметева, и условились, что из театра она, чтобы не вызывать подозрений, уедет в казенной театральной карете и лишь у Гостиного двора переседет в карету Грибоедова. Видел ли их кто у Гостиного двора, донес ли Шереметеву кто из ее товаров, бывших в казенной карете, неизвестно, только Вася узнал, что она уехала на квартиру Грибоедова и Завадовского. Потом то же самое, через несколько дней, Васе подтвердила и сама простодушная Истомина, утверждая, что после чаю ее увезли ночевать к подруге, танцовщице Азарьевой, где она прожила почти три дня и где ее нашел Шереметев. Вася был в бешенстве и ни в какие объяснения не входил. Может быть, и правильно, трудно поверить, что Завадовский не воспользовался таким случаем, к тому же зная саму Авдотью, подверженную вспышкам страсти. Угрожая ей пистолетом, он вырвал у нее признание в том, чего, может быть, на самом деле и не было.

И вот в это дело ввязывается Якубович, раззадоривает Шереметева так, что тому уже невозможно не стреляться, из чистого фанфаронства и хвастовства сам лезет на рожон и почитает себя оскорбленным за друга, хотя он-то тут совсем уж ни при чем. Да, видимо, такой уж человек, — где пахнет кровью или падалью, он как вран тут же машет крыльями. Черная, бесчестная душа. Для него сие происшествие

нечто вроде спорта. Или игры в карты. Теперь дело никак невозможно решить примирением.

Шереметев вместе с Якубовичем едут на квартиру к Завадовскому и Грибоедову, чтобы объясниться. После попытки разъяснений Вася вызывает Грибоедова, на что тот спокойно ему отвечает:

— Нет, братец, я с тобой стреляться не буду, потому что, право, не за что, а вот если угодно Александру Ивановичу, — указывает он кивком головы на Якубовича, — то я к его услугам.

Вася требует немедленно драться насмерть, но происходит это в четыре часа пополудни, и, пока доедешь до места, уже стемнеет, и то и приводит в довод Завадовский, приглашая всех сегодня у него отобедать, а уж после обеда и договориться окончательно о дуэли. Он ведет себя спокойно и с достоинством, как истинный англоман.

— Да чем же ты и кем обижен? — пытается выяснить у Шереметева Завадовский.

— Вовсе я ничем не обижен, но я дал клятву, и поединок должен быть смертельным. — Он смотрит на Якубовича, и тот довольно кивает ему, мол, все правильно.

— Тогда я требую от тебя картели, а без письменного вызова и без достаточного основания поединок был бы странным, согласишься? — поясняет Завадовский.

— Хорошо, мы отложим дуэль до завтра, — решает за всех Якубович, — но обедать не останемся.

— Дело хозяйское, — пожимает плечами Завадовский.

На следующий день переговоры продолжились уже без Шереметева, так как ему драться первому и он вызвал, в них уже участвовал как секундант и Каверин, и решили, что драться будут Шереметев с Завадовским, хотя последний снова пытался отклониться от дуэли, утверждая, что не понимает ее причины. Да и Каверин, все-таки имея доброе сердце, предложил отправиться к Талону и отобедать за примирение, но его предложение было отвергнуто. В этот день так и не выбрали место дуэли, но у Талона Каверин с Грибоедовым все-таки отобедали. На следующий день случилась метель, не прекращавшаяся весь день, и вот только сегодня дуэль должна была состояться.

Каверин выглянул в окно, сыпала мелкая снежная крупа, но метель стихла.

Ивашка принес коньяку, и Пьер выпил тут же, без всякой закуски. На глазах выступили слезы, которые почти тут же высохли. Просветлевшим взором Пьер увидел тарелочку с нарезанным лимоном, поставленную на трюмо Ивашкой, и серебряной вилочкой подцепил дольку. «Кто-то ведь придумал коньяк лимоном закусывать. Светлая голова была!» — подумал он.

Пора было ехать за Грибоедовым и Завадовским. Уже запахиваясь в плащ, он не удержался и хлопнул еще коньяку, но уже не рюмку, а целый бокал.

Господа дуэлянты его уже ожидали; в нескольких каретах на полозьях тронулись к Волкову полю, где в два часа пополудни была назначена встреча.

Была середина ноября, двенадцатое число, мела поземка по замерзшей земле, а на буграх выдувая снег до земли, заметая глубокими сугробами низинки.

Шереметев с Якубовичем уже ждали. В отдельной карете прибыл доктор Богдан Иванович Ион, с которым Каверин дружески обнялся и расцеловался.

— Богдан, сказал бы, что рад тебя видеть, да вроде не повод для радости, — сказал Каверин.

— Пьер, неужели никак нельзя решить без крови? — заглядывая в глаза товарищу, спросил доктор Ион.

Богдан Иванович был дружен со всеми, но с Грибоедовым его связывала близкая, почти домашняя дружба. Саксонский уроженец, он прибыл когда-то в Россию и устроился гувернером в семью Грибоедова. Он был всего лишь десятью годами старше своего ученика. Что-то помешало ему на родине закончить университет, и бывший геттингенский студент Ион поступил своекоштным студентом вместе со своим учеником в Московский университет. Так гувернер и его воспитанник стали каждое утро отправляться из московского дома Грибоедовых «под Новинским» на занятия. С тех пор и знал добродушного немца Богдана Ивановича Пьер Каверин, со времени общей учебы в университете. Двенадцатый год всему положил конец, а вот Богдану Иону все-таки удалось закончить университет и получить диплом доктора медицины.

— Нельзя, Богдан! Без крови никак невозможно.

— Иногда мне кажется, что вы, русские, — звери!

— Э-э, шутишь, брат, — помотал пальцем перед его носом Каверин. — А пожалуй, может, и есть малость что-то от зверей. Якубович только птица, ворон называется.

Якубович в уланской форме, без плаща, со своим огромным носом, большими густыми усами и жгучими черными волосами в самом деле напоминал врана. Все присутствующие были хорошо знакомы и поздоровались весьма любезно, Каверин даже подмигнул Васе Шереметеву, приободряя, но тот отвернулся.

Завадовский был спокоен и даже при словах, положенных при начале дуэли, о примирении неопределенно пожал плечами: как вам будет угодно, а я, мол, не против и много раз предлагал это. Против был Шереметев и, разумеется, Якубович.

— Давайте, господа, начинать! — вскрикнул Якубович. — Тут речи не может быть о примирении!

Разыграли пистолеты, развели первую пару, Шереметева и Завадовского.

Завадовский был равнодушен. Вдруг он знаком подозвал к себе Каверина и, вынув из кармана сюртука серебряные часы-луковичку, протянул ему:

— Возьми, не желаю быть ничем защищенным, даже случайно.

— О! Английские! — посмотрел на часы Каверин. — Премилая штучка.

Каверин побежал в сторону.

— Сходитесь! — раздалась команда.

Дуэлянты шли медленно, в этом месте земля была в снегу, из которого торчали ледяные каменья. Ноги то скользили, то проваливались в наметенный сугроб. Первым поднял пистолет и стал целиться Шереметев. Стал поднимать пистолет в его сторону и Завадовский. Раздался выстрел — горячий и несдержанный Шереметев выстрелил первым. Опытные дуэлянты никогда первыми не стреляли. Пуля попала в воротник сюртука Завадовскому. Он тронул горячую ткань руками, совсем рядом с шеей, где пульсировала жилка, и криво улыбнулся. Еще чуть-чуть.

— Господа! Граф! — обратился к Завадовскому доктор Ион. Он говорил с легким немецким акцентом. — Взываю к милосердию. Помилуйте, пощадите единственное, что есть у человека, — жизнь...

Граф Завадовский опять по своей привычке неопределенно повел плечами и сказал:

— Хорошо, я буду стрелять в ногу. К барьеру!

Шереметев, услышав эти переговоры, приблизился к барьеру и сказал сопернику:

— Напрасно соглашаешься, граф, лучше убей меня, или в следующий раз я прикончу тебя.

— Ну что ж, тогда следующего раза не будет, — совершенно спокойно согласился Завадовский, — тем более что ты посягал на мою жизнь! — Он еще раз тронул свой оторванный воротник, чтобы убедиться в серьезности намерений соперника.

От выстрела с шести шагов Шереметева подбросило в воздух, развернуло, потом он рухнул на землю и стал нырять как рыба, обагрят снег кровью.

Все бросились к нему. Подошел к нему и Каверин. Чуть улыбаясь, спросил раненого:

— Ну что, Вася, репка?

И он вытянул руку, как будто держал репу за хвост. Так в кадетских корпусах вручали шуточный орден, репу с хвостом, тому кадету, кто на учениях первым сверзился с лошади.

Шереметев открывал и закрывал рот и, разумеется, не услышал вопроса; глаза его заволакивала смертная истома, которую не раз случалось гусару видеть на поле боя. В голове у Каверина чуть туманилось, приятная истома от выпитого разливалась по телу, ведь он дернул коньячку еще в карете, и он меланхолично подумал, что и собственная смерть произвела бы на него не большее впечатление. Еще он подумал, что в дуэли, где должны были стреляться три Александра и Василий, пуля поймала, конечно же, одного Васю. Скажи, не судьба, блядина!

Пьер качнулся, едва удержавшись на ногах, достал чужие часы и раскрыл луковичку — был четвертый час пополудни. «Если бы он сейчас умер, я бы мог заметить время для истории, — подумал он. — Часики ведь тоже репка!»

Доктор Ион склонился над Шереметевым, расстегнул сюртук, повернул молодого человека. Мундир был весь в крови — пуля попала в живот и застряла в левом боку.

— Не считаете ли возможным отложить нашу дуэль до следующего раза? — спросил Якубович Грибоедова. — Я должен доставить раненого домой.

— Как вам будет угодно! — поклонился Грибоедов.

Слуга Шереметева с помощью доктора Иона и Якубовича понес барина в карету. Каверин проводил их, на прощание сказав Васе:

— Крепись, Вася! Еще не вечер!

— Рана, кажется, смертельна, — шепнул ему доктор Ион.

Потом, уже втроем сев в одну карету, они поехали на Невский к Талону обедать, где, по обыкновению, они котлеты запивали шампанским. Завадовский был задумчив, а Каверин весел и беспечен и все пытался развеселить друзей. Он достал часы, собираясь вернуть их владельцу, но Завадовский остановил его:

— Оставь себе на память!

— Кто-то с убытком, а кто-то и с прибылью, — рассмеялся неунывающий Пьер.

Через день стало известно, что Шереметев умер. Под следствие попали только Завадовский, Грибоедов и Якубович, поскольку по взаимной договоренности имена Каверина и доктора Иона, как участвовавших в дуэли секундантами, подследственными не упоминались. Якубович даже соврал, что первую перевязку Шереметеву сделал он сам. Виновные подверглись весьма легкому наказанию: Якубович был переведен из лейб-уланов на Кавказ в 44-й Нижегородский драгунский полк, в «кавказскую гвардию», где традиционно служила кавказская знать да куда ссылались именитые разжалованные гвардейцы, и гордился этой ссылкой; камер-юнкер Завадовский после нескольких недель ареста был уволен в отпуск за границу, то есть фактически выслан, а для губернского секретаря Грибоедова дуэль видимых последствий не имела, кроме того, что на него напала ужасная тоска и по ночам во сне он часто видел, как ныряет в розовом снегу смертельно раненный Вася Шереметев, а Каверин стоит над ним и улыбается:

— Ну что, Вася, репка?!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой Пушкин у себя дома в бухарском халате выслушивает сплетни от Кюхельбекера, а получив от доктора Лейтона заверения, что здоров, немедленно отправляется к княгине Голицыной. — Араб Луи Обенг. — Тургенев у Голицыной рассказывает историю Соковнина, влюбленного в княгиню Веру Вяземскую. — Княгиня предлагает Пушкину на посошок, а он надеялся на нечто большее. — Конец ноября 1817 года

Вскоре дома у Пушкиных стало невыносимо. Матушка разрешилась от бремени братцем, которого нарекли Платоном. В тесной для большой семьи квартире, в которой было всего семь комнат, постоянно раздавался детский плач, бегали мамки и нянюшки, а всем заправляла бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Взрослое мужское население, Сергей Львович и Александр Сергеевич, уже выздоровевший, предпочитали почаще сбежать из дома, благо оба были людьми светскими. Левушка в то время был уже переведен из Благородного пансиона при Лицее в Благородный же пансион в Петербург при Главном педагогическом институте и жил там. Дома он бывал редко, хотя и присутствовал на крещении Платона и был его воспитником вместе с бабушкой.

В Пансионе педагогического института, куда поместили Левушку, служил гувернером и преподавал в младших классах русскую словесность Вильгельм Карлович Кюхельбекер, свой лицейский брат Кюхля. Жил он там же, в бельведере. Подростки души в нем не чаяли. Кюхля успевал работать гувернером, служить, вернее, числиться, как и Пушкин, в Коллегии иностранных дел, иметь несколько частных учеников и писать, писать с утра до вечера свои гекзаметры, а в свободное время носиться по редакциям журналов, устраивая в них стихи. Казалось, он успел везде напечататься и все редакции обойти. Он был принят во все литературные общества, знал все новости и, кажется, как подозревал по его намекам Пушкин, вступил в масонскую ложу. Кроме того, у него нашлось время заходить почти каждое утро, пока Пушкин болел, и докучать ему своими опусами.

Весть о четверной дуэли во время болезни принес Александру Кюхельбекер. Он был уже дружен с Грибоедовым, с которым у самого Пушкина была лишь холодная приязнь, и узнал подробности от него в тот же вечер. Об этой дуэли много и разное говорили в обществе. Кюхля бегал по комнате, взмахивал руками, а Александр в полосатом бухарском халате, который недавно приобрел, валялся на кровати, грыз по дурной привычке старое перо и слушал. Иногда Кюхля останавливался и, выпучив глаза, смотрел на Александра, как будто не узнавая и размышляя, кто это перед ним.

Потом вдруг сказал:

— Грибоедов будет стреляться с Якубовичем. У них дуэль только отложена. К тому же тот нехорошо говорит о нем.

— Что же нехорошо?

— Будто бы Грибоедов отказался стреляться сразу. Я не верю.

— Так, верно, нельзя было, — вслух подумал Александр. — Шереметев умирал. А в Якубовиче много романтического, мог и присочинить. Врет он мастерски. Я сам, когда вру женщинам, всегда его вспоминаю.

— А зачем же врать-то? Пусть даже и женщинам, — удивленно поморгав глазами, спросил Кюхля.

Он был так смешон, что Александр расхохотался своим заразительным смехом, переходящим в карканье.

Получив от доктора Лейтона заверения, что он совершенно здоров, Александр в этот же вечер явился в салон к княгине Голицыной. Встретил его, как обычно, высокий араб в чалме Луи. Луи Обенг, как уже знал Пушкин, был французский подданный, которого княгиня наняла в Париже. Русского языка он не знал и очень тосковал в Петербурге.

— Ну что, Луи, поедem в Париж? — привычно поддел его Александр.

— Поедем, господин Пушкин, поедem! — также привычно загорелся Луи.

— А здесь, что ли, плохо?!

— Россия! Стра-ашно! — закатил глаза Луи.

Пушкин расхохотался от всей души.

Авдотья Ивановна принимала в тот вечер всех, лежа на кушетке, в своей гостиной. Она куталась в длинную шаль с

большими кистями и жаловалась на нездоровье. Александра она встретила радостно, протянула ему руку для поцелуя. Он прижался губами к ее горячей руке и почувствовал, как она чуть дрогнула. «Или мне показалось», — подумал он, поднимая на княгиню глаза.

— Что вы так надолго меня покинули? — поинтересовалась княгиня. Взгляд ее черных глаз был слегка насмешлив. — Верно, вам у меня скучно?

— Как может мне быть скучно у единственной умной и образованной женщины в Петербурге?! Я болел, княгиня.

Вслед за ним в салон явился Александр Иванович Тургенев, как всегда, с кучей светских новостей.

— Милейшая княгиня, прежде всего я должен, — говорил он, прижимая ее руку к своей груди, на правах старого друга имея право на такую вольность, — если до вас уже дошли слухи, оправдаться за князя Вяземского, который получил назначение в Варшаву. Он просит в последнем письме из Москвы нарочно съездить к вам. Он говорит, что эта Варшава будет для него Сибирью, если он заслужит ваш гнев. Он все тот же, поверьте мне княгиня, и не осуждайте его. Обстоятельства выше нас. Его чувства к России все те же!

— Я уже слышала про его назначение к Новосильцову, — печально сказала княгиня. — Мне жаль князя.

Все знали, как рьяно выступала княгиня против дарования государем конституции Польше в 1815 году, а теперь против тех проектов царя о присоединении к Королевству Польскому провинций, завоеванных ранее и принадлежащих России, о которых ходили упорные слухи, и вообще она была против хоть какой-нибудь самостоятельности поляков.

— Помяните мои слова: пройдет десять—пятнадцать лет и нам придется приступом брать взбунтовавшуюся Варшаву, — говорила она. — Я знаю заносчивость и гонор поляков.

Пушкин стоял в стороне, поглядывая на княгиню, потом отошел к клавесину, сел за него, постучал по клавишам, прислушиваясь к томным звукам.

А Александр Иванович уже рассказывал княгине и ее гостям, чем завершилась совершенно неприличная история князя Вяземского с неким Соковниным. Этот Соковнин, заметил Тургенев, воспитанник, как и Жуковский, Мос-

ковского университетского благородного пансиона, имел несчастье влюбиться, как мальчишка, в жену князя Вяземского. Мало того, он посмел написать ей письмо, которое княгиня Вера Федоровна показала мужу. Ему было отказано от дома и решено на семейном совете не предавать дело огласке. В свете они встречались как ни в чем не бывало, соблюдая внешние приличия. Оно уже стало забываться, как вдруг, нынешней весной, на Никитском бульваре в Москве, где происходили главные ежедневные гулянья знати, Сергей Соковнин встречается княгиню и при всей публике бросается перед ней на колени, умоляя его простить за то, что он оскорбил ее своим письмом. Насилу княгине удастся уйти от него. Через день, однако, история повторяется, — завидев княгиню на бульваре, Соковнин приближается и снова встает на колени. Коляски останавливаются, гуляющая любопытная публика толпится вокруг.

Вся эта история наделала такого шума в Москве, что несколько дней кряду более пятисот экипажей и толпы народа стояли по обе стороны бульвара, ожидая повторения любопытного зрелища. Но княгиня более не появлялась на бульваре, так как Соковнин дал ей клятву, что будет вставать на колени каждый раз при ее появлении. Вяземский обратился в письме к Тургеневу, тот побежал к Екатерине Андреевне Карамзиной, она — к императрице, дело дошло до императора. Соковнина взяли под стражу, долго решали, сумасшедший ли он, наконец военный генерал-губернатор Москвы граф Тормасов взял на себя смелость не найти его довольно виновным для помещения в сумасшедший дом. Соковнин избежал сего наказания и был отправлен в Феодосию заштатным членом губернского правления под притвором местного градоначальника.

Александр впервые слышал эту историю, и она его позабавила. Более всего его позабавило, что князь Петр Андреевич не решил сам этой истории, поставив наглеца к барьеру, а прибегнул к помощи властей, но он промолчал, ничего не сказал, видимо, и остальные слушатели, как и Тургенев, считали такой порядок вещей правильным. Хороши же наши либералисты! Еще Александр подумал, слушая рассказ Тургенева, что, верно, прелестна княгиня Вера Федоровна, вызывающая такие чувства, и когда-нибудь будет случай с ней познакомиться.

— А вы знакомы с княгиней Верой Федоровной? — поинтересовалась Авдотья Ивановна у Александра, который во время рассказа приблизился к кушетке, где она возлежала. И, видно, не из праздного любопытства спросила, почувствовала его заинтересованность бабьим сердцем и захотела проверить Пушкина. И он это заметил, сказав, что пока незнаком с женой князя, ибо она не приезжала в Петербург, а он с детских лет не бывал в Москве, а вот с самим князем дружит и состоит в переписке.

— Мы с ним свойственники, — сообщила ему княгиня. — Я очень люблю князя Петра, как любила и его отца, в салоне которого я бывала еще девицей. Там женский элемент вполне уживался наравне с мужским, между двумя полами было истинное равноправие.

— А возможно ли оно? И нужно ли? — усмехнулся Александр. — Мне кажется, княгиня, женщина всегда должна быть выше, а никак не одной ногой с мужчинами.

В два часа пополудни сели ужинать, вставали около четырех и начинали разъезжаться. Александр все тянул время, чтобы остаться последним, и ему наконец это удалось, укрывшись в уголок с папкой гравюр.

Когда княгиня Голицына вернулась в гостиную, проводив последнего гостя, то с улыбкой обнаружила там Пушкина.

— А вы, Александр, еще почивать не желаете? — спросила она.

— Желаю, мучаюсь, сплю на ходу, хотите, упаду у вас в гостиной, но, чувствую, до дома мне сегодня не доехать, Авдотья Ивановна, — забарабанил он.

— Где же вы проживаете? — поинтересовалась княгиня.

— В Коломне, у Калинкина моста...

— Далече, — согласилась княгиня. — Но вы не беспокойтесь, я прикажу запрячь своих лошадей.

— Погодите, княгиня, — было рванулся он к ней, но Голицына глянула величаво, улыбнулась снисходительно, и он не смог продолжать, слова застряли в горле.

— Хотите на посошок выпить? — спросила она просто.

— На посошок? — удивился Пушкин. Так непривычно было услышать это выражение из уст светской неприступной дамы. — Хочу.

— Ну вот и хорошо, — снова улыбнулась она. — Сейчас выпьем.

Когда она вышла, Александр разозлился и укусил себя за руку, да так больно, что чуть было не заплакал.

Лакей принес поднос, на котором стояли два бокала с шампанским. Слабая надежда шевельнулась в душе у Александра. Но вернувшаяся в гостиную княгиня только пригубила с ним шампанского.

Потом появился ее дворецкий венгр Иоганн Шот и сообщил, что лошади поданы. Ничего не оставалось, как покинуть княгиню. В прихожей Луи подал ему трость и цилиндр a la Bolivar с широкими полями, который Пушкин одним из первых начал носить в Петербурге.

— А может, в Венесуэлу, Луи, к Боливару, воевать за свободу?

— Нет-нет, я — не военный, я — гражданский человек, — покачал головой Луи, — только в Париж. В Париже всегда свобода.

— Ну что ж, поеду пока в свою захолустную Коломну. С посошком, — усмехнулся Пушкин, помахивая тростью с набалдашником и выходя от княгини. — А потом, может быть, запишусь все-таки в гвардию.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой Якубович прощается с Петербургом перед отъездом на Кавказ, и, переодевшись сбитенщиком, проникает за кулисы Каменного театра, чтобы поцеловать девицу Дюмон. — За Якубовичем гонится квартальный. — Якубович скрывается у Никиты Всеволожского. — Живые картины с голыми девками. — Слуга-калмык. — «Зеленая лампа». — Декабрь 1817 года

Квартальный поручик гнался за Якубовичем через театральную площадь от самого Большого Каменного театра. Сначала по пандусу, потом через площадь, где еще не были убраны строительные материалы и мусор. Якубович был в черной накладной бороде, шапке набекрень и с баклагой сбитенщика наперевес, которая при каждом шаге пребольно ударяла его по ляжке; наконец он догадался сорвать с себя мешавшую баклагу и бросить ее под ноги квартально-

му. Квартальный, почти догнавший его, споткнулся, упал, матерясь, а Якубович, сверкая глазами, обернулся и, демонически хохоча и прыгая через препятствия, как горный козел, еще пуще прибавил к подъезду дома Паульсена, где проживал Никита Всеволожский.

Сегодня Якубович перед отбытием на Кавказ прощался с Петербургом, прощался на свой лад. Прежде всего ему надо было увидеть воспитанницу Дюмон, за которой он волочился. Для того он и прибыл на репетицию под видом сбитенщика, который часто посещал репетиции, что позволялось администрацией. Хотя Каменный театр еще не был открыт для посещения публикой и спектакли в нем не давались, репетиции, однако, проводились каждый день. На лесах дописывались росписи, монтировалась лепнина, в отдельных фойе работали паркетчики, одним словом, посторонних было много, и затеряться среди них было легко.

Якубович взял одежду у настоящего сбитенщика, дав ему щедро на водку; надел кафтан, фартук, только сапоги из брезгливости оставил собственные, в баклагу он налил не сбитень, а настоящий шоколад, а вместо обыкновенных кренделей, булочек да сухарей он потчевал воспитанниц конфетами, бриошками и бисквитами, накупленными на Невском в кондитерской Вольфа и Беранже. Весть о сбитенщике, который потчует всех бесплатно, разнеслась по театру, и тут же прибыла целая команда тритонов в зеленых длинноволосых париках с чешуйчатыми длинными хвостами на проволочных каркасах. Они бежали наперегонки, подобрав хвосты, чтобы удобней было бежать. Плохо кормленные воспитанники всегда были голодны как собаки и буквально дрались за место рядом со сбитенщиком. Якубович, хохоча, кормил зеленоволосых тритонов с руки конфетами и приговаривал:

— Жаль, господа воспитанники, рачков-червячков не прихватил! А может быть, лобстеров от Дюме?

А сам высматривал девицу Дюмон, которой быстро сообщили о нем опознавшие Якубовича ее товарки. Она появилась, скромно выплыла из-за кулис и, зардевшись, замерла рядом с ним. Окружавшие их жующие тритоны большей частью были роста высокого, шестнадцати-семнадцатилетние парни, и Якубович приказал им:

— Прикройте-ка нас, господа, своими хвостами!

После чего обнял воспитанницу Дюмон и поцеловал.

— Прощай, милая! — сказал он. — Еду на Кавказ. Может быть, убьют, а ну как не убьют, то вернусь и доцелуемся. — Целку береги! Сам сломаю, — добавил он ей шепотком на ухо, отчего воспитанница чуть не упала в обморок, но ее вовремя подхватил один из тритонов.

Однако, как водится, весть о странном сбитенщике в мгновение ока долетела до инспектора Рахманова. Отдуваясь и икая на ходу, он, насколько позволяла его комплекция, примчался в залу, крича на ходу служителям:

— Держите его, зовите квартального!

Якубович, уже не скрываясь, еще раз при всех поцеловал воспитанницу Дюмон и побежал к выходу. На выходе из театра его попытались остановить, но он сбил с ног двоих служителей, а перед третьим выхватил из-под кафтана офицерскую шпагу, перед которой служитель спасовал. Художники с лесов потешались над этой комедией.

Полупустая баклага с шоколадом висела у Якубовича наперевес, и он гордо вышел на пустынную в это время Театральную площадь, но, на его беду, квартальный, которого звали из окон во весь голос, оказался поблизости. Квартальный, поддерживая шпагу, кинулся за ним. И тогда Якубович припустил в единственное место, где он надеялся скрыться, к Никите Всеволожскому, жившему напротив театра, через площадь.

У Никиты гуляли, пили шампанское Клико под зеленой лампой, а в соседней комнате бывшая воспитанница и один из гусар готовились изобразить сцену «Адама и Евы из рая». Запыхавшегося Якубовича, все еще в пышной черной бороде, провели в гостиную, и Никита закричал, распростерши руки:

— А вот и господь бог пожаловал. Нам так тебя не хватало. Будешь изгонять согрешивших Адама и Еву из рая. Сегодня у нас сцена в раю.

— Хоть в аду! Только сначала, Никита, изгони квартального, который гонится за мной, — тяжело дыша, вымолвил Якубович. — Мне и так уже ехать на Кавказ, не загнали бы прежде в крепость.

— Иди в кабинет! — направил его Никита. — Только не грешь раньше времени, все должно быть по сюжету.

И действительно, в то время когда Якубович скрылся в кабинете, колокольчик зазвонил в другой раз — на пороге стоял квартальный поручик.

— Премного извините, ваше благородие, говорят, сюда пробрался сбитенщик, нарушающий порядок.

— Сбитенщик?! — удивился Всеволожский. — Господа, кто-нибудь видел сбитенщика.

— Мы пьем шампанское, сбитень не потребляем, — отозвался Мансуров.

— Поручик, хотите Клико? — любезно предложил Пушкин.

До Якубовича долетали их слова, но сам он не мог оторвать взгляда от обнаженной танцовщицы, которая стояла, опершись на письменный стол, и улыбалась ему. Она была из тех дам, которую вся честная компания употребляла для плотских утех. Рядом с ней в одних подштанниках и кивере на голове курил сигару молодой, незнакомый ему гусар. Якубович сдержанно кивнул ему.

— Хотите Клико? — повторил свой вопрос квартальному Пушкин.

Квартальный в прихожей совсем потерялся и озирался по сторонам отчужденно и затравленно, как будто это его ловили; маленький полицейский чин, выслужившийся из простого звания, не совсем понимал, как вести себя в богатом доме, куда он не имел намерения заходить, а вбежал случаем; потом все-таки выдавил из себя:

— Лучше бы «ерофеича», ваше благородие.

— Ева! — крикнул Никита. — Подай поручику «ерофеича».

В соседней комнате зашевелились, раздался сдавленный смех, и наконец в костюме Евы выплыла танцовщица, мягко ставя по-балетному босые ступни и неся перед собой поднос, на котором стояли графин со стаканом.

Все молча и с почтением смотрели на квартального, который потерял дар речи, уперевшись остановившимся взглядом в приподнятые молодые груди молодой прелестницы.

— Угощайтесь, милости просим, поручик! — подбодрила его Ева и чуть повела плечами, отчего ее груди вздрогнули.

Квартальный побыстрее хватанул стакан и поставил его на поднос. Стакан тут же наполнили снова. Квартальный и этот опрокинул, третий пролетел без остановки.

— Я понял, — сказал квартальный. — Сбитенщика не было. Бес попутал!

— Ищите на Сенном рынке, — посоветовал Сабуров. — Там много сбитенщиков.

— Премного благодарен за совет, — раскланялся квартальный и удалился, надевая фуражку.

— Мне жаль, — сказал Никита Всеволожский, когда за квартальным закрылась дверь, и обнял Якубовича, — что тебя высылают на Кавказ. Без твоих шалостей будет скучно жить.

— Учись, Чудо-Черкес, — посоветовал Пушкин Мансурову. Свое прозвище тот получил от чеченца Ушурмы, прозванного Мансуром, который объявил в конце века «газават» христианам на Кавказе, но был пленен Гудовичем и дни свои кончил в Шлиссельбургской крепости. Друзья шутили, что Мансуров за свои шалости тоже кончит дни в Шлиссельбургской крепости. — Это тебе не вывески менять на Невском!

— А-а! — вдруг вскричал Якубович, выбежавший из кабинета, и сорвал наконец с себя черную бороду. — Последний день гуляю, надобно согнать всех девок.

— Всех, кто свободен сегодня, — уточнил Всеволожский. — Давайте адреса. Я пошлю своих людей.

Пушкин назвал адрес прелестной польки Анжелики, которая жила неподалеку и которую они частенько пользовались вместе с лицейским другом Ваней Пушиным.

Пока люди разошлись и разъехались, решили все-таки под шампанское разыграть намеченную сцену.

Сабуров вынес в большой кадке пальму, Мансуров приволок апельсиновое дерево с настоящими апельсинами, среди которых было прикручено большое ярко-красное яблоко. Поставили их посередине гостиной. Чудо-Черкес спрятался за пальмой.

— А ты, Сашка, бороду надень снова, спектакль не отменяется, — приказал Никита Всеволожский Якубовичу.

— Хорошо, только с одним условием, — согласился Якубович. — Я, как господь бог, перед тем как изгнать Еву из рая, вставлю ей первый.

— Хозяин — барин! — захохотал Мансуров из-за пальмы.

— А ты змей, что ли? — спросил его Якубович.

— Он самый, искуситель!

— Рай. Невинность, Адам и его жена наги и не стыдятся этого, — загробным голосом объявил Никита Всеволожский. — Господь Бог отдыхает. Приглушите свечи. Иди в кабинет, — шепнул он Якубовичу.

Остальные гости с бокалами шампанского в руках расположились на диванах и в креслах. Слуга-калмык с кривой ухмылкой прошел по гостиной и погасил часть свечей, а с других щипцами снял нагар.

Появилась, пританцовывая, Ева. Она совсем не стыдилось отсутствия всякого наряда, за ней вышел розовощекий стройный гусар, изображавший Адама. Подштанников на нем уже не было, но был в наличии фиговый листок, вырезанный из бумаги.

— Хорошо ли тебе, Адам? — спросила Ева и притронулась к нему.

— Мне хорошо, — сказал тот, и фиговый листок предательски зашевелился.

— А сейчас будет еще лучше-е! — зашипел из-за пальмы Сабуров. — Подлинно ли сказал Господь, что не ешьте ни от какого дерева в раю?

— Плоды с деревьев мы можем есть, — возразила Ева. — Только плодов дерева, которое среди рая, не ешьте, сказал Бог, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

— Пустое, не умрете! — заверил змей. — Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете знать, как боги, знающие добро и зло.

— Змей был хитрее всех зверей полевых, — объявил Всеволожский, — которых создал Господь Бог.

— Это змей! Папа запретил с ним разговаривать! — вскричал вдруг Адам.

— Но, милый, папа спит! Давай попробуем?

Ева грациозно сорвала яблоко и надкусила его.

Из-за пальмы раздался довольный шип.

— Кусай! — протянула она яблоко Адаму. Тот откусил. Ева потянулась к нему, обняла и поцеловала, фиговый листок приподнялся и встал торчком — все присутствующие захохотали.

— Ой, мы наги! — Прелестница прикрыла грудь и подбритый лобок шаловливыми руками.

— Господь Бог пробуждается! — объявил Никита, и из кабинета появился Якубович, на котором из всей одежды была только накладная черная борода.

Хохот стал просто гомерическим, когда рассмотрели, что волосы на его лобке были почти так же черны и густы, как и борода.

— Адам, где ты? — Он замечает Адама и Еву. — Вы съели яблоко?! Несчастные! — вскричал он. И схватился за голову. — Вон из рая, вон, бесстыдные! Нет, Ева, дай твою руку, иди сюда, а ты, Адам, стой на месте, раз уж ты потерял свою невинность.

— Змей обольстил меня! — вздохнула Ева.

Якубович за руку утащил ее в кабинет, и некоторое время все молча ждали.

— А мне-то что делать? — поинтересовался у постановщика молодой гусар.

— Жди, — сказал Никита, — а как получишь ее обратно, веди в те комнаты и делай все, что тебе подскажет твоя плоть.

Ева появилась чуть смущенная, с румянцем на щеках и сказала, взяв Адама за руку:

— Пойдем, мой милый, папа нас выгнал!

— Папа сначала вогнал, а потом выгнал, — уточнил появившийся Якубович. — Странно! — Он развел руками. — Ева не оказалась девственницей! Может, это змей, похабник, меня обскакал?

Все снова захохотали и посмотрели на Мансурова.

— А до змея, — обиженно сказал Мансуров, вылезая из-за кадки с апельсиновым деревом. — По крайней мере еще полк гусар... обскакали!

А тут непрестанно стал звонить колокольчик в прихожей и стали прибывать новые прелестницы, благо большинство из них проживали неподалеку от Екатерининского канала в Мещанских. Среди них были и Фанни, любимица Щербинина, и не только его, и Наденька Форст, но сколько ни высматривал Пушкин Анжелику, ее не оказалось; впрочем, горевал он недолго, прелестниц вызвали так много, что хватило на всех, а некоторым, в том числе и Пушкину, перепало и по две.

Шампанское лилось рекой, кувыркались вволю; на диванах, на коврах, стоя у подоконников... Как всегда, за все платил Никита Всеволожский.

Все свечи потушили, лишь горела зеленая лампа, и бродившие под ней полуголые люди напоминали Пушкину ру-

салок и утопленников своими мертвенно-зелеными лицами. Не спалось. Неподалеку на диване белело тело Дельвига, уснувшего в обнимку с одной из Лаис.

К Пушкину приполз Никита.

— Саш, а давай общество организуем?

— А разве у нас не общество?

— Нет. Я имею в виду литературное. Название выберем...

— «Зеленая лампа», — подсказал Пушкин.

— Во-во! «Зеленая лампа». Цвет надежды. Перстни закажем с лампой.

«Это уж кому что напоминает, — подумал про себя Пушкин, вспомнив про утопленников. — Мне зеленый цвет напоминает утопленников, а Мишелю Щербинину, возможно, знамя Аллаха. Все мы тут как утопленники своих страстей, лежим вперемешку, толком не знаем, кто с кем».

Вдруг заиграла скрипка в дальней комнате, и под ее звуки и звуки бубна выплыли в женских платьях Мишель Щербинин и Пьер Каверин, игравший на скрипке. Мишель держал бубен над головой и вертелся словно восточная женщина. Этому он научился, когда в свите Ермолова был с посольством у шаха персидского и от нечего делать веселил сотрудников посольства женскими танцами вместе с приятелем подпоручиком Боборыкиным.

— Надобно в следующий раз изобразить Содом и Гоморру, — мечтательно сказал Всеволожский. — И черт с ней, с литературой!

— Для Содома надобно Кривцова из Англии выписать, Молоствова пригласить...

— А может, своими силами обойдемся? — подмигнул ему Всеволожский.

Пушкин захохотал во все горло.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой Пушкин после очередной неудачи у княгини Голицыной едет к Лизаньке Шот-Шедель, но она его не принимает. — Ночь любви с Евдокией Голицыной. —

«История государства Российского» скончалась в 25 дней. — Женщина в гусарском мундире посещает больного Пушкина. — Декабрь 1817 года — февраль 1818 года

Пушкина свалила гнилая горячка. Придворный доктор Лейтон за него не отвечал. А началось все с обыкновенной простуды.

Как часто бывало, от Карамзиных Пушкин к полуночи поехал к княгине Авдотье Голицыной, был принят, обласкан, обедал в два часа ночи с прочими гостями, шутил напрапую, позволил себе прочитывать несколько эпиграмм, но ухаживания его за княгиней остались без внимания с ее стороны, снова ему дано было понять, что надежд никаких он не имеет. Или почти никаких, женское кокетство не могло опуститься до окончательного «нет». Со злости он оставил княгиню и помчался к Лизаньке Шот-Шедель, надеясь на вполне реальные плотские ее ласки. Петербургская погода в сей час была хуже некуда: пронизывающий зимний туман, оттепель, промозглая атмосфера. Швейцар у Шот-Шедель сказал ему, что велено никого не принимать. Александр взъерепенился, петушась, стал насакивать на швейцара.

— Да ты знаешь, кому ты это говоришь? Вели сказать, что сам Пушкин приехал. Пусть гонит в шею того, кто у нее есть.

Швейцар ушел. Пушкин, кутаясь в плащ, бродил под темными окнами, бормотал проклятия, сожалея, что так опрометчиво отпустил извозчика. Хлестал мелкий снег с дождем, куда ни повернись, он все время бил в лицо, но хмель пока согнать не мог.

Швейцар вернулся и сообщил, что госпожа Шот-Шедель принять никак не может и настоятельно просит господина Пушкина ехать домой.

— Да какая же причина? Лизка — стерва! — вскричал он. — Вот лягу тут, у нее на крыльце, пока сама не выйдет и под белы руки не уложит в пуховую кровать!

И он действительно лег на каменное крыльцо.

— Барин, вы простудитесь, — наклонился к нему швейцар и шепотом добавил: — А к госпоже днем доктора вызывали.

— Доктора? Так чем же она больна?

— Не могу знать, только принимать никого не принимает.

Полежав даже немного на холодном крыльце, Пушкин почувствовал ломоту в костях, еле-еле поднялся.

— Придется идти. А ты не врешь, братец? Может, у нее кто-нибудь есть из господ.

— Никого уже нет третий день.

Улица была пустынна, хлестал мелкий дождь вперемешку с крупитчатым снежком. Александр побрел по улице, надеясь на случай, и сам не понял, как (видно, уже начиналась горячка) снова оказался у крыльца дома княгини Голицыной. Свет во втором этаже еще горел. Он позвонил. Вышел араб Луи в чалме.

— Господин Пушкин? Все уже разъехались. Что с вами? Александр внезапно ослаб и сел на ступеньки.

— Господин Пушкин, господин Пушкин!

Луи подхватил его под мышки и затащил в подъезд. Потом по красному ковру до дверей квартиры. Княгиня появилась уже в ночном пеньюаре.

— Бедненький, — сказала она ласково и тронула ладонью его голову. — У тебя жар.

Сквозь жар Пушкин все же отметил, что назвала она его на «ты».

Луи и еще один слуга провели его в спальню и помогли раздеться. Княгиня не отходила от него.

Принесли халат, княгиня сама проследила, чтобы приготовили травяной настой. Села рядом на кровать и стала поить его с ложечки. От самой домашней атмосферы ему полегчало, тем более княгиня отослала всех слуг, велев им ложиться спать.

Выбрав момент, он притянул Авдотью к себе, княгиня не противилась.

— Ты зачем меня мучаешь? — спросил он, глядя сверху в ее глаза, но она ничего не ответила, а глаза закрыла.

Только через некоторое время она сказала сквозь прерывистое дыхание:

— Какой ты сильный, совсем не похож на мальчишку.

Он был горд, ибо давно мальчишкой себя не считал.

— У меня репутация, Александр, никому ни одного слова, — предупредила его княгиня, когда они отдыхали. — Я надеюсь на твою честь. Это священный уговор!

— О чем ты говоришь? — вскричал он.

— Я слишком хорошо знаю мужчин.

Утром, проснувшись, он не увидел рядом с собой княгини, зато услышал в прихожей визгливый голос Сергея Львовича, отчего на мгновение потерял понимание, где же он находится.

«Это еще что? Папаша зачем? У нее?» — удивился он, попытался пошевелиться и понял, что все тело совсем разбито, болезнь окончательно взяла над ним верх.

— Где наш больной? — Сергей Львович вошел в спальню вместе с княгиней. — Не знаю, как вас и благодарить, милая княгиня. Весь свет говорит о вашей доброте.

— Была поздняя ночь, ветер, Сергей Львович, и везти его по такой погоде было опасно. — Княгиня взглянула на Александра ласковым и вместе с тем отчужденным взглядом.

«Играет, — подумал он с удовлетворением в душе. — Она моя. Моя! Моя!»

— Еще раз благодарю вас, ваше сиятельство. Ваша доброта не знает границ, так же, как и ваша красота. — Отец поцеловал руку княгине. — Мы уже послали за доктором Лейтоном, — добавил он.

Никита, прибывший вместе с отцом, завернул Пушкина в плед, поднял на руки и понес в карету. От Никиты несло перегаром.

— Отверни морду, скотина, — попросил Александр слугу.

— Слушаюсь, Александр Сергеевич.

Укладывать в карету Александра ему помогал Луи, на прощание шепнувший ему:

— Выздоровливайте, Александр Сергеевич, и поехали отсюда к чертовой матери!

Пока Александра везли домой, он потерял сознание. Доктор нашел у него гнилую горячку. Семья была в отчаянье.

Выздоровление было сладостным. Он с нетерпением ожидал весны, хоть это время года наводило на него тоску и даже вредило его здоровью. Душный воздух и постоянно закрытые окна так надоели во время болезни, что весна являлась его воображению со всею поэтической прелестью.

В феврале первые восемь томов «Русской истории» Карамзина наконец вышли в свет. Он читал их в постели с жадностью и со вниманием.

Заходили друзья. Дельвиг, идя к нему, встретил на Невском Карамзина на прогулке. Он в темно-зеленом бекеше с бобровым воротником, в теплых темного цвета перчатках и с тростью в руке. С ним была старшая дочь, Софья Николаевна.

Говорили о Пушкине, желали ему скорейшего выздоровления. Карамзин с радостью сообщил, что его «История государства Российского» скончалась в 25 дней.

— Как скончалась? Такой успех! — не понял его барон. Софья Карамзина рассмеялась.

— Батюшка имеет в виду, что весь тираж в три тысячи экземпляров распродан в 25 дней.

— Мы, конечно, еще не равняемся с Англией, — довольно улыбнулся Карамзин, — но и это уже успех! Наша публика почтила меня выше моего достоинства; мне остается только быть благодарным и смиренным. Но какое счастье быть свободным от типографщиков и переплетчиков. Жду не дождусь, чтобы снова взяться за перо.

И, раскланявшись с бароном, они двинулись по Невскому.

Рассказывая о встрече Пушкину, Дельвиг сообщил, что уже ходит по рукам записка Никиты Муравьева, которая начинается словами «История принадлежит народам».

Пушкин рассмеялся.

— Уел старика! — Он раскрыл посвяtitельное письмо. У Карамзина оно заканчивалось словами: «История народа принадлежит царю». — Но старика Карамзина можно понять. Кто освободил его от цензуры? Кто дал шестьдесят, кажется, тысяч на печатанье «Истории», да еще со всем доходом в его пользу? Кто дал пенсион для работы? Пожалуй, еще не такую гиль напишешь. Вольно же Муравьевым с их состоянием рассуждать. Какие еще новости?

— Есть кое-что от Лизаньки...

— Стерва! По ее милости я заболел и доктор Лейтон мучил меня ледяными ваннами.

— Ты несправедлив, друг мой! Ты должен благодарить Лизаньку, — сказал барон Дельвиг. — Она спасла тебя от новой венериной болезни. Потому она тебя и не приняла, чтобы не заразить.

— Да? Для меня это новость! А теперь-то Лизанька здорова?

— Теперь здорова. И снова принимает. Хотела бы тебя навестить, да не знает, как это сделать, чтобы не вызвать толков. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. Забавненькое, — ухмыльнулся барон. — Ты уже способен принять женщину?

— Я способен принять сразу троих. Если бы ты знал, как мучительно болеть и целый день тереться хуем в простынях.

— Потерпи, мой милый!

Через несколько дней к Пушкину с визитом прибыл молодой царскосельский гусар. Пушкин сначала не узнал его, гусар был мал ростом, совсем юн, без пушка на щеках, но когда он снял кивер и улыбнулся, когда пухлые губы раскрыли ровный ряд жемчужных зубов, а собранные под кивер волосы упали на плечи, Александр задохнулся от счастья.

— Лизанька!

— Александр!

Она кинулась к нему, обняла, провела ладонью по бритой голове.

— Ты как каторжник.

— Я и есть каторжник. Без женщин, без вина...

В дверях появился улыбающийся Дельвиг.

— С твоего позволения, Александр, я пойду побеседую с твоими родственниками. Посмотрю на твоего маленького братца.

— Тося!

— Не надо слов. Приступай к делу! — И барон скрылся.

Лиза развязала и сорвала ментик, стала расстегивать доломан, под доломаном была батистовая рубашечка, а под ней просвечивала юная упругая грудь прелестницы. Александр, приподняв рубашку, стал покрывать ее поцелуями.

Однако труднее всего оказалось совладать с плотно натянутыми чакчирами, еле-еле они вдвоем содрали их с пышных бедер, стащили до сапог, но более терпеть не было силы.

— Дальше не снимай, я и так их еле-еле натянула!

Уложив Лизаньку животом на кровать, он так и взял ее в сапогах и со спущенными чакчирами на икрах, сжимая и разжимая в ладонях ее упругие белые ягодицы.

Потом она оделась, скромно присела рядом с постелью; они беседовали, по очереди курили трубку.

— Смотри! — Александр достал из-под подушки парик. — Скоро появлюсь в обществе. Хорош паричок?

Он надел его набекрень, Лиза неудержимо рассмеялась и была так прелестна, что Александр не выдержал, страсть возгорелась в нем, он кинулся к ней и чакчиры мигом снова слетели до сапог, и все повторилось снова.

Наутро он написал стихотворение, что бывало с ним теперь так редко.

Тебя ль я видел, милый друг?
Или неверное то было сновиденье,
Мечтанье смутное, и пламенный недуг
Обманом волновал мое воображенье?
В минуты мрачные болезни роковой
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
В одежде воина с неловкостью приятной?..
Бессмертные! с каким волненьем
Желанья, жизни огонь по сердцу пробежал!
Я закипел, затрепетал...

Явись, волшебница! пускай увижу вновь
Под грозным кивером твои небесны очи,
И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги...

Ножки у Лизаньки особенно были хороши. Ах, эти ножки!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

*в которой Иван Петрович проводит расследование
о женщине-гусаре, беседует с графом Корфом, который
ее видел, и рассуждает о русском человеке, не умеющем
вести диалог. — Осень 1875 года*

— Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя. Здравья дар благой
Мне снова ниспослали боги,
А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной и шалости молодой.

Иван Петрович Хитрово долго расследовал эту историю о посещении Пушкина переодетой в гусарский мундир женщиной. Прелестный воин, кто она была, для чего понадобился сей маскарад? Была ли это замужняя дама из общества, которой нужно было скрыть свое имя? Княгиня Ночная, как предположил кто-то? Глупость, княгиня была слишком известна, чтобы ехать к Пушкиным, да к тому же возраст не скроешь никаким мундиром и кивером. Ни про какие другие светские романы Пушкина в этот период толком не было известно. Учитывая, что маскарадного гусара могли увидеть родители Пушкина, дама должна была быть совершенно незнакома им, быть не их общества. Тогда кто? Верно, одна из прелестниц, чью любовь в своих стихах поэт то отвергал, то воспевал. Разгадка пришла, как это часто бывает, совершенно неожиданно. Помог граф Модест Андреевич Корф.

— Жили мы на Фонтанке, близ Калинкина моста, против родильного дома, в доме тогда графа Апраксина, потом Путятина, потом Трофимова, теперь не знаю кому принадлежит, — вспоминал в одно из посещений Ивана Петровича граф Корф. — Мы жили в первом, а Пушкины во втором этаже. Коломна — почти окраина, здесь можно было снять квартиру побольше да подешевле. Все семейство Пушкиных представляло что-то эксцентрическое. Отец, доживший до глубокой старости, всегда был тем, что покойный князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский называл «шалбером», то есть довольно приятным болтуном, немножко на манер старинной французской школы, с анекдотами и ка-

ламбурами, но в существе — человеком самым пустым, бесполезным, праздным и притом в безмолвном рабстве у своей жены. Последняя, урожденная Ганнибал, женщина не глупая и не дурная, имела, однако же, множество странностей, между которыми вспыльчивость, вечная рассеянность и особенно дурное хозяйничанье стояли на первом месте. Дом их был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана.

Пушкин не был создан, как я уже вам говорил, ни для службы, ни для света, ни даже — думаю — для истинной дружбы. У него было только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными, все это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками, блядами и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата... Можете представить себе, что я однажды встретил на лестнице девку, шедшую прямо в родительский дом?! В дом, где жили его незамужняя сестра, мать!

— А вы откуда-то, простите за нескромный вопрос, ваше сиятельство, эту девку знали? — не выдержал Иван Петрович.

— Иван Петрович, это дело случая, и только. Она была дама полусвета и имела наглость прогуливаться по Невскому среди светской публики со своей так называемой тетушкой, там-то мне ее и показывали. Представьте себе, она шла с нашим лицейским другом, бароном Дельвигом, и, что самое интересное, девка была одета в гусарский мундир...

— Какого полка? — уточнил Иван Петрович.

— Лейб-гусарского, среди лейб-гусар у Пушкина и Дельвига было много приятелей, у Дельвига его родственники, кузены Рахмановы, служили в этом полку; я поздоровался с бароном — он ответил мне. Милый, добрый лентяй и приятный поэт, он был все тот же, что и в Лицее, кто из нас не любил барона? Я посмотрел внимательно, не знаю ли я гостя, рассчитывая, что ежели не знаком, так барон меня представит. Но барон потащил гусара наверх, ни слова мне не говоря. Право, мне это показалось странным. Когда они повернулись на лестничном марше, гусар взглянул на меня сверху вниз, и тут я понял, что знаю этого гусара, который и не гусар вовсе, а известная публичная девка. Но надо признать, что маскарад был удачным, она была все-таки похожа на молоденького безусого гусара.

— Как ее звали, вы случаем не помните?

— Бог мне дал хорошую память, помнится, ее фамилия была Шот-Шедель!

Иван Петрович так и подпрыгнул от радости. Про Лизаньку Шот-Шедель он уже знал, это была известная петербургская прелестница, дальняя родственница дворецкого княгини Ночной Иоганна Шота, венгерского подданного. Вероятно, венгерское происхождение и надоумило Лизаньку надеть гусарский мундир. А может быть, Дельвиг с приятелями устроили Пушкину этот сюрприз.

Иногда Ивану Петровичу начинало казаться, что он слишком разменивается на мелочи быта, что общая картина жизни у него начинает дробиться и оттого теряет очертания. Ну скажите, зачем ему было вспоминать, да еще выяснять и выпрашивать тех, кто еще помнил прежние времена, о прелестнице Лизаньке Шот-Шедель и с кем в родстве она состояла? Кому нужно было знать про дворецкого Шота, служившего у княгини Авдотьи Ивановны?

А вот еще недавно, роясь в старых журналах, он наткнулся на рассказы о том, как барон Дельвиг водил Боратынского и самого рассказчика обедать в трактир, что крайне изумило их. Они-то думали, как говорит рассказчик, что барон поведет их обедать к Талону или Фёльтету? Что-то остановило его в этой фразе: Талону или Фёльтету. Иван Петрович предпринял разыскания и выяснил, что Талон и Фёльтет на самом деле был один и тот же ресторан, сначала он принадлежал французу Петру Талону, который весной 1825 года

уехал за границу, в его помещении разместилось «Справочное место», и лишь позднее, после 1825 года, снова был открыт французский ресторан, уже Фёльета. Евгений Онегин ездил к Талону, стало быть, молодой Пушкин тоже. А вот рассказчик всего через десяток лет, когда писал свои записки, а именно в 1832 году, уже не помнил таких подробностей. Так зачем было знать эти подробности самому Ивану Петровичу? Чтобы донести их до потомков? А что потомки будут знать и какая путаница будет у них в головах? Как поймут они намеки современников в записках, когда зачастую нельзя было сказать о чем-либо прямо, или частную переписку, которая тоже, за редким исключением, велась с оглядкой на перлюстрацию? А как верить словам, написанным через много лет после происходивших событий, если человек толком не помнит, о чем говорил или думал вчера, позавчера? Как верить лишь одному современнику, когда об одном и том же событии все рассказывают по-разному? И как вообще быть с русскими, которые никогда не умели и не умеют вести диалог, сплошь и рядом не понимая смысла слов, которые сами произносят, не говоря уж о смысле слов, которые произносят другие. На эти вопросы, сколь ни силился Иван Петрович, он не находил ответа.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой Пушкин с Всеволожским посещают гадалельницу Кирхгоф и узнают свое будущее. — Она предсказывает смерть Пушкина от белой лошади, белой головы или белого человека. — Драка с немцами в Красном Кабачке. — Весна 1818 года

— Кажется, князь Цицианов, известный поэзией своих рассказов, говорил, что в его деревне одна крестьянка решила от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: дай мне водки! — Пушкин захохотал на всю улицу над словами Никиты Всеволожского. — Может быть, и мы пропитание свое начали не с молока матери, а прямо с водки.

Большая колымага, «колбасообразный» экипаж, так называемая русская линия или линейка, где пассажиры сиде-

ли спиной друг к другу на длинных скамьях, шестериком тащиась по Петербургу. В Петербурге ее видеть было странно, ибо такие употреблялись для прогулок по павловским и царскосельским садам. Эта же линейка принадлежала Всеволожским и была пригнана из их имения Рябово. Все общество «Зеленая лампа» после ночных возлияний совершало утреннюю прогулку. Ездили кругами по улицам Петербурга, по набережным его каналов, но каждый раз возвращались к зданию Театральной школы.

Иногда, заведя кого-нибудь в окна аристократических домов, молодые люди вежливо раскланивались, хотя заметившие их спешили поскорее задернуть занавески и отозвать от окон девушек. Общество в линейке выглядело престранно: все мужчины были в рубашках, несмотря на весьма прохладную весеннюю погоду, а Саша Пушкин, хоть и заворачивался в испанский плащ, но непременно вставал, заведя кого-нибудь в окне, снимал с бритой головы парик и кланялся поясно, как простолюдин. На сверкающей его лысине были тушью нарисованы буквы «Н.К.Ш.П.».

— Пушкин! Пушкин! — шептались за окнами. — Болел гнилой горячкой. Чуть Богу душу не отдал. Теперь выздоровел. Гуляют. Говорят, у него каждый день дуэли. Как вышел из дому, так сразу и дуэль. Но все бретерские, чтобы храбрость показать; выстрелят друг в друга, промахнутся, обнимутся и — к Демуту шампанское пить. Таков ритуал.

— Нет, мой милый, — поправил лежавший в пустом шампанском ящике Пьер Каверин Никиту, — это просто-напросто начало пропитание с водки, а мы — с шампанского, — постучал он по краям ящика. — Шампанский ящик послужит гробом мне, как послужил и колыбелью! Калмык, твою мать, подай же наконец новую бутылетту!

— Шампаньский, — улыбнулся калмык и вытащил со дна колымаги из другого ящика со льдом новую бутылку. — Здравия желаю!

— Стой! — вскричал Никита. — За здравие воспитанниц Театральной школы!

Линейка в третий раз встала напротив школы. Выпили стоя, повернувшись к окнам. В третий раз лихо грохнули бокалы о брусчатую мостовую.

— А теперь в Морскую! — крикнул Никита. — Хочу наконец узнать свою судьбу.

Поездка сия была не простая. Утром, как проснулись, Никите втемяшилось в голову, что надобно узнать свою судьбу. В то время в Петербурге все только и говорили о гадательнице Кирхгоф, которая недавно поселилась в Морской. Старая немка на картах предсказывала всем судьбу. Тайнственно привлекала сама ее фамилия, Kirchhof — по-немецки «кладбище».

Пьер Каверин его отговаривал:

— Мне Сашка Грибоедов говорил, что Кирховша врет, хуже Загоскина комедий. Он ездил, чтобы узнать, что с ним будет, да, как оказалось, она знает об этом не больше его. Хотя наболтала, что умрет не своей смертью и опознают его в груди тел по искривленному загнутому пальцу. Вот смехуто было. Сашка музыкант, у него пальцы музыканта, все длинные и тонкие, залюбуешься.

Но пьяное любопытство молодежи трудно было сдержать, и скоро они прибыли в Морскую к гадалке. Как только ввалились в две не очень прибранные комнаты немки, так сразу же и попритихли. Немка, высокая, с прямой спиной старуха, в черном шерстяном платье и в накинутой черной же шали, сидела за столом и, выпучив глаза, смотрела на входящих. Почти сразу она указала когтистым пальцем на Пушкина и сказала:

— Сначала буду гадать ему. Он человек замечательный! А будет самым знаменитым в вашей стране. Сейчас болел, чудом избежал смерти. Я вижу, она стоит еще за его плечом.

Пушкин оглянулся, за его плечом стоял Мансуров.

— Черкес, — пошутил Пушкин, — я с тобой драться на дуэли не буду.

— Сегодня вечером получишь деньги, — сказала немка Александру.

— Да откуда же?! — усмехнулся он. — В карманах дыры. Папаша — скуп, к тому же и нищ.

— Получишь, — уверила его немка. — Вскоре поедешь на юг. Будешь служить там, а потом сошлют тебя в деревню. Большой начальник пожалуется на тебя другому большому начальнику. Красавица жена у начальника. Будешь любить ее, а друг предаст. А в деревне будешь любить и мать, и дочь, и другую дочь...

Друзья рассмеялись.

— Александр, тебя ждут такие приятные вещи. Ты получишь деньги. У тебя будет целый гарем! К тому же мамаша с дочкой — это так пикантно! Но как же мы без тебя здесь? Не отпустим!

— Не вам решать. — Кирхгоф подняла очи горе. — Белые листочки полетели, полетели, не соберешь. Зачем писал?

Пушкин промолчал на ее вопрос.

— Ответишь! — покачала она головой и опустила лицо к картам. — Женишься на красавице, а лучше бы не женился, — пробормотала она. — Тогда бы прожил долго. А так смерть примешь от белой лошади, или белой головы, или белого человека (*weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch*).

Все, что она говорила, раскладывая карты, ему переводили, но последние слова он понял сам. И сердце захолонуло.

— Белая лошадь, белая голова, белый человек!

О чем она гадала остальным, он не упомянул, все думал о белом человеке и о красавице, на которой он женится.

Когда вывалились от гадалки, то принялись обсуждать, чем же заняться сегодня дальше, и поскольку немка всех так взбудоражила, хотя никто почти не поверил в ее предсказания, то решили поехать поразмяться и поколотить немцев в Красном Кабачке, где те любили посиживать за кружкой пива. Для сего действия у Всеволожского всегда был наготове целый гардероб чистой, но ношеной и штопанной одежды, чтобы не выделяться среди немцев.

Вскоре уже линейка мчалась по петербургской дороге к Красному Кабачку, расположенному в нескольких милях от города.

Ввалились гурьбой, прошлись между столов, высматривая себе жертву. Взгляд остановился на одном господине, судя по одежде, ремесленнике, который тихо и мирно в одиночестве пил пиво. Барон Дельвиг стал похаживать вокруг него и рассматривать сквозь круглые очки, иногда протирая стекла.

— Что это у вас, муха-с?! — залез пальцем в кружку к немцу барон Дельвиг. Вскочивший господин оказался довольно большого роста. Он выплеснул недопитую кружку Дельвигу в лицо и что-то прокричал по-немецки. Немецкий язык барон Дельвиг мог переводить только с листа, разговорного вообще не понимал, а больше в их компании не-

мецкого вообще никто не знал, актер Сосницкий, который переводил у гадалки, от компании отстал, так как был труслив, да к тому же служил в императорских театрах и за подобную шалость мог получить серьезное наказание, а некоторые, вроде Саши Пушкина, испытывали к немецкому языку нечто вроде отвращения. Непонимание друг друга и придавало особую остроту стычкам. Из-за других столов тоже повскакивали немцы и кинулись на помощь товарищу, которого с двух сторон колошматили Пушкин с бароном. Кривцов в недавнее время успел обучить братию некоторым приемам английского бокса. (Сам он, по причине увечья, в подобных побоищах не участвовал.) Но, когда драка разгорелась, стало не до приемов бокса. Били всем чем попало, в ход пошли даже стулья.

Компания неожиданно для себя с русского, которым они бравировали, перешла на всем привычный французский, и их маскарад был мгновенно раскрыт соперниками. Несколько человек схватили Дельвига и потащили в заднее помещение трактира, туда, где помещалась кухня, и друзьям пришлось употребить немалые усилия, чтобы отбить барона у немцев. У Дельвига от разбитых очков, которые он не успел снять, текла по лицу кровь. От немцев уж был отряжен гонец за полицией, и молодежь поняла, что пора ретироваться, оставя поле боя противнику.

Тем не менее, несмотря на синяки и ушибы, возвращались домой весело. Встряска для молодого организма была необходима, к тому же без всяких условностей, можно было по-простецки бить друг другу морду. Пушкин рассматривал содранные фаланги пальцев на правой руке и иногда дул на болячки.

Дома его ждало неожиданное известие. Оказывается, перед своим отъездом в Италию, куда он уезжал в итальянскую миссию, к нему заходил лицейский товарищ Николая Корсаков и оставил давнишний карточный долг, о котором сам Александр и думать забыл. Так сбылось первое предсказание гадалницы Кирхгоф.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

в которой дельфийская пифия выговаривает Пушкину и издевается над Карамзиным. — Праздник закладки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах 12 октября 1817 года. — Архитектор Витберг. — Смерть младшего сына князя Вяземского. — Рождение великого князя Александра Николаевича. — 17 апреля 1818 года. — Жуковский пишет прошения. — Батюшков получает место в Неаполе. — Пушкин понтирует. — «Кормить его молочным супом и логикой». — Осень 1818 года

Эта чертова княгиня Ночная, Евдоха, больше не хотела ему давать. И главное, Евдоха делала вид, что между ними ничего не было, а Пушкин, связанный словом, и бесился, и пытался порвать с ней, и снова, взбешенный, приезжал, надеясь, что все-таки опять что-нибудь произойдет. Окружающие втихомолку посмеивались, ибо Пушкин не умел скрывать своих чувств. «Пушкин лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви, — писал Карамзин своему шурина князю Вяземскому, посмеиваясь над любовными судорогами поэта. — Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом».

Когда Пушкину удавалось остаться наедине с княгиней, она полушуткой, полувсерьез говорила ему:

— Да что вы! Вам показалось, Сашенька, в жару, в бреду, в болезни, несчастный! Ведь ничего же и не было.

— Как? — кричал он.

— Тихо-тихо, нас услышат, вы дали слово.

— Как же не было, когда вы сами мне сказали, что я сильный. Да, в жару, да, в бреду, но сколько раз, вы забыли?!

Она улыбалась его детской и наивной мужской гордыне и говорила:

— Я и сейчас могу сказать, что вы сильный, у вас крепкое телосложение, вы перенесли тяжелую болезнь и остались живы, но значит ли это что-нибудь, на что вы намеряете?

— От вас дышит холодом! — вскричал он.

— Кажется, мне это уже не раз говорили. И представьте себе, мужчины...

— Не говорите мне про мужчин!

— И еще меня называли дельфийской пифией, — поддразнивала поэта княгиня, — и еще кем-то, и мраморной античной статуей, но мне это безразлично, вы имели возможность убедиться, что я не пифия, не мраморная статуя, и хочу вам сказать напоследок, запомните, мой юный друг, что я всегда делаю только то, что я хочу. А я... больше... этого... не хочу... — склонила она набок голову.

Потом Голицына раскрыла лежавший у нее на столе (а разговор проходил у нее в кабинете) томик «Истории» Карамзина, вторую его часть, прочла вслух:

— «Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...» *Однако!*.. Зачем не *но*? *Однако!* как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? *Однако!*

Она резко повернулась и ушла в гостиную к обществу. Она подчеркнула голосом *вашего Карамзина*, словно хотела добавить *и всю ничтожность вас самого*. «Интересно, умна ли Евдоха?» — вспомнил он вопрос, которым задавался вначале их знакомства, и должен был сознаться себе теперь: «Глупа. Несет полнейший вздор, но таким прелестным голосом, что все хочется ей простить. А так глупа, как всякая светская дама. Но поебаться Евдоха любит, сучара! Не зря кобели за ней в очередь так и тянутся. Что я, не помню, как она сидела на мне, как пифия на треножнике?! И раскачивалась и бормотала бессвязно, хуй в лапу загребала, а теперь из себя целку строит».

Он постоял, покачиваясь с носков на пятки, потом сказал сам себе, разом переменившись в настроении: «Пожалуй, Пушкин, еще у нас есть надежда. Может быть, вставим разок-другой нашей пифии горяченького».

И он застучал, зацокал каблуками вслед за ней в гостиную, забормотал бойко по-французски.

С сентября 1818 года возвратившийся в Петербург вместе со двором из Москвы Жуковский поселился в Коломне на квартире вместе со своим старым другом Алексеем Александровичем Плещеевым на углу Крюкова канала и Екатерингофского проспекта, в доме Брагина, совсем недалеко от Пушкина. Вернулся он еще раньше, но первое время про-

живал со двором в Царском Селе и в Павловске, лишь с осени перебравшись в столицу.

Почти год он не был в Петербурге, сопровождая великую княгиню Александру Федоровну как ее учитель русского языка. Приехав из Петербурга в Москву, он почти сразу попал вместе со всем двором на праздник закладки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, на котором присутствовал сам император. Храм собирались строить по проекту архитектора Витберга на правом берегу реки Москвы, между Смоленской и Калужской дорогой. В этом усматривалось знамение Божие — по Смоленской злодей вошел в Москву, а по Калужской вышел из нее.

Молодой, никому не известный художник, едва окончивший курс академии и получивший золотую медаль за живопись, выиграл конкурс у лучших и известнейших архитекторов России, Италии и Германии.

Его проект был исполнен мистической религиозной поэзии, так близкой императору Александру в это время. Храм должен был состоять из трех храмов, стоящих один на другом: нижний, посвященный Рождеству Христову, средний — Преображению Господню, верхний — Воскресению Христа. По размерам храм должен был превзойти все существовавшие в мире постройки. Достаточно сказать, что он простирался на версту, а в высоту на девяносто метров превосходил самую большую египетскую пирамиду. На выставке проектов именно этот проект потряс императора, вскрыли конверт с незнакомой фамилией — он тут же утвердил его и пожелал видеть молодого человека.

— Вы камнями говорите, как композитор звуками, — сказал он архитектору при первой встрече.

По просьбе императора Витберг в подробностях поведал ему свою идею. Нижний храм в виде гробницы должен был быть высечен в скале и как бы исчезать в дикой природе. Храм должен был освещаться лампами в высоких канделябрах, дневной свет попадет в него лишь из второго храма. В этой величественной гробнице должны были быть перезахоронены все убиенные на полях битвы за Россию, а имена их, от рядового до полководца, высечены золотом по стенам.

На этом гробе стоял второй храм в форме равноконечного греческого креста. А третий, в виде ротонды, ярко освещенный, был храмом духа.

— Для такого величественного сооружения нужно и место подобающее. Его преосвященство архиепископ Августин уже готовит такое в Кремле, приказав снести церковь Николы Гостунского, что рядом с колокольней Ивана Великого...

— Ваше величество, мне кажется, что лучшего места, чем Воробьевы горы, в Москве для храма-пантеона не найти. Притом, ежели срывать кремлевский холм, неизвестно, что может произойти с другими кремлевскими постройками.

— Кремль мал для такого сооружения. Воробьевы горы — корона Москвы, — согласился император, — и она должна быть достойна увенчана. При сооружении подобного храма нечего смотреть на какие-либо издержки.

Закладка камня состоялась 12 октября в пятую годовщину ухода Наполеона из Москвы. Ученица Василия Андреевича великая княгиня Александра Федоровна не смогла присутствовать на закладке по причине нездоровья, она была уже беременна. Кроме императора присутствовали обе императрицы, великий князь Николай Павлович, брат Александры Федоровны прусский принц Вильгельм и архиепископ Московский Августин.

Для участия в торжествах из Петербурга прибыл сводный отряд из всех полков гвардейского корпуса; гвардейцы стояли от самого Кремля до Воробьевых гор. Москва через шесть лет, прошедших со времени пожара, уже отстроилась, но его следы еще кое-где оставались: кирпичные подклеты домов, подвалы и черные трубы печей на развалинах.

В церкви Тихвинской Божьей Матери, близ Девичьего монастыря, совершили литургию и отправились крестным ходом по вновь насыпанной дороге через временно навешенный мост к месту закладки.

В большом гранитном камне было выдолблено крестообразное углубление, в которое была вложена бронзовая закладная доска и положены камни из белого сибирского гранита с именами всех присутствующих членов императорской фамилии.

Через некоторое время у Константина Яковлевича Булгакова, московского почтдиректора, Василий Андреевич познакомился с самим Александром Лаврентьевичем Витбергом, тридцатилетним молодым человеком, и сказал ему несколько слов о чудесном празднике, участником которо-

го ему посчастливилось быть. Александр Лаврентьевич долго и увлеченно рассказывал ему, что храм его должен будет олицетворять человека.

— А так как человек состоит из тела, души и духа, то в соответствии с этим и самый храм должен выражать тело, душу и дух человека. Вместе с тем он должен напоминать и три главнейшие события в жизни Спасителя, которому посвящен храм: Рождество, Преображение и Воскресение Христа.

Молодой человек был обуян идеей своего храма и, казалось, говорить мог только о нем; грандиозность его замысла, превосходящего все исторические аналоги, наводила на мысль о безумии творца.

Неожиданно за Василием Андреевичем прислали из Остафьева человека князя Вяземского. Уже несколько дней болел его младший сын Митенька; сегодняшним утром Жуковский был у них, и, кажется, наступило облегчение. С мыслью, что надежда жива, он уезжал от них днем.

Когда он приехал, Митенька был еще жив. Он застал несколько минут жизни малютки. Вся семья в молчании сидела вместе. Доктор был над умирающим. Жуковский явственно слышал шаги, то были шаги смерти. Он даже посмотрел вокруг себя на лица. Кажется, эти шаги слышали все.

Несчастливая мать, княгиня Вера Федоровна, тихо сказала Митеньке как живому:

— Прости, мой голубчик!

И все бывшие при этом заплакали. «Как ни кошунственно это звучит, но вид мертвого младенца дружит со смертью», — подумал про себя Жуковский.

Он уехал в три часа ночи.

Когда он ехал от Булгакова в Остафьево, луна светила ярко; Кремль был прекрасен; главы на церквях сияли; на земле было светло, и за лунным светом, озарявшим землю, исчезали звезды. Теперь, на обратном пути от Вяземского, все уже было иное: луна спряталась; все покрыто туманом: ложбины, дорога, кусты; но звезды сияли гораздо ярче: все на земле стало темнее, зато на небе все сделалось ярче.

«Митенька теперь на небесах», — думал Жуковский и еще раз вспомнил его одухотворенное личико мертвого мальчика: «Вид мертвого младенца дружит со смертью».

Великая княгиня Александра Федоровна часто недомогала, но, отменяя уроки, все же не отменяла приема. За теснотой Кремлевского дворца молодые заняли двухэтажный митрополичий дом. Жуковский бывал у великой княгини постоянно. На этот раз урок отменили из-за флюса, которым страдала княгиня. Но ее недомогание совсем не мешало заниматься ей выбором камней, в котором ей помогал гофмаршал двора великого князя Николая Павловича Кирилл Александрович Нарышкин.

— А вы любите камни? — поинтересовалась Александра Федоровна у поэта.

— Не знаю, люблю ли, потому что никогда не имел их... Но больше думаю, что не люблю... — отвечал Жуковский.

Она не выучила в этот раз басни, как, впрочем, бывало довольно часто с ее уроками. Горе ее было неподдельно.

— Как же я могла выучить, когда *la princesse Moustache* была у меня после обеда и пробыла целых два часа. Вы же знаете Наталью Петровну! Когда к вам являются эти кавалерственные дамы, то нельзя уже более шутить. А я так люблю, чтобы послеобеденное время было в полном моем распоряжении.

«Слава Богу, что я ее не застал», — подумал Василий Андреевич. Статс-дама Наталья Петровна Голицына, которой в то время было уже под восемьдесят и у которой от старости появилась растительность на лице, отчего ее и прозвали *la princesse Moustache*, то есть княгиней Усатой, была кавалерственной дамой ордена святой Екатерины меньшего креста. К ней ездили на поклон весь Петербург и, разумеется, вся первопрестольная Москва. Она всех, за исключением одного только государя, принимала сидя и не трогаясь с места. Перед ней трепетали собственные дети, заслуженные генералы, и не смели сесть в ее присутствии. Она была умна, строга, а в молодости, во что сейчас трудно было поверить, даже красива. К ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать, а каждый молодой гвардейский офицер, только что получивший эполеты, являлся к ней как по начальству. К стыду своему, Жуковский, как и многие, побаивался усатую старуху Голицыну.

Идя пешком по Кремлю после несостоявшегося урока в свою келью Чудова монастыря, куда он переехал в небольшую квартиру, чтобы быть поближе к своей ученице,

Жуковский с некоторой тоской думал о том, что любит свою должность и ему отнюдь не кажется отдыхом тот день, в который не удастся ею заняться. Он надеялся сделать со временем свои уроки весьма интересными. Они будут не только со стороны языка ей полезны, думал он, но дадут пищу размышлению и подействуют благотельным образом на сердце. Он чувствовал себя совершенно счастливым в своей должности. Честолюбие молчало; в душе одно желание доброго. Но лень, расслабление: никак не мог закончить грамматические таблицы, все на пальцах, никаких пособий. Поэзия! Свобода! А надобно приняться и за прозу.

Но тем не менее с большим удовольствием переводил для великой княгини из Уланда, Гёте, Шиллера, Гебеля... Каждая баллада издавалась крошечным тиражом для немногих и служила учебным пособием для великой княгини. Она учила наизусть «Лесного царя», переведенного им из Гёте, но учение почти не продвигалось, вскоре ей было рожать, а стихотворение каждый раз вызывало у нее поток слез.

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;

Обняв, его держит и греет старик.

— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?

— Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:

Он в темной короне, с густой бородой.

— О нет, то белеет туман над водой.

Когда Жуковский переводил «Лесного царя», он, конечно же, думал о малютке Митеньке Вяземском.

Ездок оробелый не скачет, летит;

Младенец тоскует, младенец кричит;

Ездок погоняет, ездок доскакал...

В руках его мертвый младенец лежал.

Великая княгиня родила в среду на Пасхе, 17 апреля 1818 года, в исходе 11-го часа утра, в архиерейском доме, что при Чудовом монастыре, сына-первенца, нареченного Александром. По сему случаю дом сей был причислен к придворному ведомству и стал именоваться Николаевским дворцом. Никс целовал супругу, заливаясь слезами, еще не зная, кого даровал им Бог. Радостную весть о том, что родился

сын, сообщила молодой чете императрица-мать Мария Федоровна.

Утро было прелестное, Жуковский, кажется, давно не чувствовал себя так весело и ясно душой. Наступил конец беспокойству последних перед родами дней. Он был здесь рядом, этот великий младенец, и поэт вышел во двор Чудова монастыря и долго стоял, слушая 201 выстрел из пушек, поставленных в Кремле у Алексеевского монастыря, возвещавший первопрестольной столице о рождении великого князя.

При таинстве св. крещения в церкви Чудова монастыря присутствовали императрицы Елисавета Алексеевна и Мария Федоровна. Восприемниками были: император Александр Павлович, находившийся в это время в поездке по Польше и России, императрица Мария Федоровна и дед новорожденного со стороны матери — Фридрих-Вильгельм III, король Прусский, который ко дню крещения успел прислать знаки ордена Черного Орла.

Статс-дама графиня Ливен внесла младенца во храм, по сторонам ее шли, поддерживая подушечку, главнокомандующий Москвы генерал от кавалерии Тормасов и действительный тайный советник князь Юсупов. Снова, как и при рождении, был произведен салют из 201 выстрела при колокольном звоне всех церквей московских.

Присутствующий на крещении Жуковский, смотря на прелестного ребенка, беленького, пухленького, с большими темно-синими глазами, уже тогда начал нашептывать строки, посвященные рождению великого князя, строки, обращенные к его августейшей матери:

Прекрасное России упованье
Тебе в твоём младенце отдаёт,
Тебе его в младенческие лета!..
Да встретит он обильной честью век,
Да славного участник славный будет,
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек!

А между тем августейшая восприемница Мария Федоровна возложила на младенца знаки ордена Св. Андрея Первозванного, высшего российского ордена, а потом ее величество, следуя примеру матери Петра Великого, положила

младенца в раку, где почивают нетленные мощи св. Алексия, митрополита Московского.

Император Александр получил радостное известие о рождении великого князя через десять дней в местечке Бельцы в Бессарабии. Государь тотчас назначил «маленького Сашу» (*le petit Sacha*), как он сам с улыбкой назвал новорожденного великого князя, шефом Лейб-гвардии гусарского полка. Так при рождении будущий император Александр II стал царскосельским гусаром.

Съездив на родину в Белёв, Жуковский вернулся в начале июня в Москву. Первым делом с дороги он забрался в любимые Сандуновские бани, где до хрипоты все утро поспорил с книгопродавцом Поповым, уговаривая его не издавать дурных книг. Да разве ж книгопродавца уговоришь на такое, плевать ему, дурные книги он издает или нет, был бы барыш. После бани он чувствовал себя свежо, голова была ясной, и, решив навестить Батюшкова, который сидел и хирел в Москве, он тут же к нему и поехал. Уже год, как тянулось дело с устройством Батюшкова в миссию в Италию, и все — ни с места. Жуковский попросил бумагу, перо, чернила и сам сел писать письмо государю от имени Батюшкова. А Батюшков тем временем начал письмо Александру Ивановичу Тургеневу, который более всего о нем и хлопотал.

Когда Жуковский кончил, он тут же объяснил Батюшкову, как должен вести себя Тургенев:

— Пусть немедленно с письмом идет к графу Каподистрии, рассказывает ему, что ты, ехавший в южную Россию для морских бань, которыми можно пользоваться только в июле, решился, однако, в надежде на его, Каподистрии, явное желание действовать для его пользы, пожертвовать двумя неделями и ждать ответа в Москве. Впрочем, надо, чтобы он отдал экземпляр твоих сочинений графу. Дай письмо, лучше я сам все припишу, а то ты чего-нибудь перепутаешь.

Жуковский сделал свою приписку к письму Батюшкова Тургеневу.

— Вот так, думаю, теперь дело будет в шляпе. Не знаю уж, какой тебе чин дадут и пожалуют ли камер-юнкера, который был бы тебе очень кстати, но место, я думаю, ты наконец получишь. Я в твоём письме, зная характер госуда-

ря, все хитро обставил. Знаешь ли ты, несчастный поэт, что в России главное научиться писать не стихи, а прошения. И учить в заведениях надо не логике, не стихосложению, не русскому, не французскому языкам, а прежде всего правильному составлению прошений. Но я тебе этого не говорил.

Голубоглазый Батюшков тряхнул светлыми кудрями и улыбнулся.

— А в Одессу я все-таки поеду, ответа можно дожидаться и там. Не будет ответа, так переберусь в Крым.

— Это уж твое дело, милый! Делай как хочешь, раз уж ты меня не слушаешь. Но письмо подай в этом виде, разве если только Александр Иванович не решится что-нибудь добавить. На месте ему виднее. Через неделю-полторы император и двор уже будут в Петербурге. Я уезжаю вместе со двором и при случае, разумеется, замолвлю словечко, но думаю, все решится в твою пользу и без меня. Императора трудно отловить, он исколесил не только всю Россию, но и всю Европу. И, по моим сведениям, в конце августа он собирается на конгресс в Аахен. Времени осталось мало. Нынешние торжества — удобнейший момент.

Торжества прошли. Место Батюшков получил вместе с чином надворного советника и тысячью рублей жалованья, да сверх того — годовое жалованье на проезд в Неаполь. Узнав об этом, он вернулся в Петербург из Одессы, так и не доехав до берегов Тавриды.

Наследный принц прусский пробыл в Петербурге у сестры до конца июля. Император Александр уехал 27 августа в Аахен на конгресс, обе императрицы — за границу. В Петербурге единственными представителями царской семьи остались великий князь Николай Павлович с супругой и *la petite Sacha*.

Жуковский по приезде первым делом нанес визит Тургеневу. После обмена привычными любезностями, свадьбами да смертями Жуковский показал ему свою надпись к портрету великой княгини Александры Федоровны, которую он сделал в альбом графа Милорадовича. Тургенев посоветовал последние четыре стиха откинуть; тут же в разговоре перескочили на Пушкина. Жуковский и в Москве жадно ловил каждый слух о нем.

— Пушкин пролетел как комета, — сказал Жуковской приятелю, — в тот же день, как я приехал. В широких панталонах с башмаками. В Москве еще таких не носят. Рассказал, где последние ночи не спал, поведал, каким блядам делает визиты, как будто я с ними знаком, почему-то в один ряд с ними поставил и княгиню Авдотью Голицыну, раскланялся и отправился понтировать с надеждой сорвать банк. О стихах ни слова!

— Если о тебе можно сказать, что ты, мой друг, изленился, то Пушкин — просто исшалился. Мне жаль, что этот повеса уже не влюблен в княгиню Голицыну, а то бы передал ее в поэтическом свете потомству, — посетовал Тургенев.

— Мне кажется, он не только не влюблен, но и за что-то зол на Авдотью Ивановну.

— За что мужчина может быть зол на женщину. Не дала, — рассмеялся Тургенев.

— Этому — дала, этому — не дала, какое наше дело?! Расскажи лучше, как его поэма, главы из которой ты привозил мне в Москву?

— Кажется, на четвертой песне так и застрял, а всего грозитя шесть выдать. Праздная леность как грозный истребитель всякого таланта парит над Пушкиным. Ему бы пару хорошеньких хуерыков, провел бы недельки три в постели, так и дело в шляпе, была бы готова поэма. Первая французская болезнь была и первою кормилицей его поэмы.

Жуковский рассмеялся.

— Батюшков не так жесток. Он предлагает его запереть годика на три в Геттинген и кормить молочным супом и логикой.

— И ты говоришь, что он не жесток?! — вскричал Александр Иванович. — Хуерык — хоть следствие удовольствия. Меркурия поглотаешь — и снова не капает. А какое ж удовольствие в молочном супе и логике? Хотя для меня время учебы там — лучшие годы моей жизни. Мой брат Сергей заехал на один день в Геттинген, будучи рядом с корпусом графа Воронцова. Какое счастье увидеть вместилище просвещения, истинной классической учености и памятник британской любви к просвещению в Германии.

— Эко загнул, а говоришь, Пушкину ничего из того не надо. Как только он ко мне снова появится, я намылю ему

шею и заставлю работать, — сказал Жуковский. — Учитель я ему или нет? — капризно добавил он.

— Учитель, батюшка свет Василий Андреевич! Ты всем нам учитель! — согласился Александр Иванович. — С тобой нам никакого Геттингена не надо!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

*в которой Пушкин вызывает на дуэль майора
Денисевича. — Иван Иванович Лажечников. — Петр
Яковлевич Чаадаев. — «Table talk». — Стихи к портрету
Чаадаева. — Дуэль Ивана Анненкова с Ланским. —
Английский магазин Никольса и Плинке на углу
Невского и Морской. — Сапоги из Лондона
для Чаадаева. — Осень 1818 года*

Саша Пушкин, вопреки своей привычке после балов да ночных бдений за стаканами спать до полудня, проснулся уже в пять часов утра и более глаз сомкнуть не смог. Этот подлец майор Денисевич с блестящими, жирными эполетами стоял у него перед глазами и заскорузлым, желтым от табаку пальцем грозил ему прямо в лицо.

— Молодой человек! Вы мешали мне слушать пьесу! Это неприлично, невежливо! Нехорошо кричать в театре, мешать вашим соседям!

— Да, я не старик! — ответил Пушкин майору, отчитывавшему его в фойе театра на глазах у разъезжающейся публики. — Но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Позвольте узнать, где вы живете?

Майор назвал свое имя, дом графа Остермана на Английской набережной, где он проживал, и попросил прибыть к нему к восьми часам утра. Это был настоящий вызов.

— Буду! — коротко сказал Пушкин и бросился к приятелям. Тут же в театре он отловил Каверина.

— Везет мне на всякие истории! — улыбнулся Пьер. — Не бзди! Завтра подстрелим этого майора, как вальдшнепа. На зорьке.

Вспомнив слова Каверина, Пушкин с улыбкой подумал, что с большим удовольствием отстрелил бы этому дудаку его желтый кривой палец, а не убивал бы его. Еще когда

они сидели в креслах и майор шипел потихоньку на ядовитые реплики Пушкина, его зевки во весь голос, раздражался и грозился вызвать полицию, он был скорее смешон Пушкину, чем неприятен. Особенно смешон был его откровенный хохляцкий выговор.

— Скучно и несносно! — говорил Пушкин. — И полиция здесь не поможет.

— Вас выведут как дебошира! — шипел майор.

— Посмотрим! — усмехался Пушкин, продолжая повесничать.

Ему просто нравилось дразнить это тупое существо, ничего не понимавшее в театре и пустяшную пьеску считавшего за событие.

Тем не менее в три четверти восьмого Пушкин во фраке и Каверин с Щербининым в кавалерийских мундирах, погромыхивая своими шпорами и саблями, прибыли на квартиру к майору Денисевичу, которая оказалась не в самом доме графа Остермана на Английской набережной, а в маленьком флигеле его, на Галерной, поэтому по указанию внушительного швейцара им пришлось протопать захламленным заулком, чтобы выйти на Галерную, шедшую параллельно Английской набережной.

Флигель оказался рядом с каретными и дровяными сараями, лестница довольно грязна, квартира в нижнем этаже.

— Вот, хохляцкая душонка, — презрительно усмехнулся Пушкин, — приврал для весу!

Сожитель майора, маленького росточка адъютант, встретивший их, сильно разволновался и на вопрос: «Здесь ли живет майор Денисевич?» — отвечал, что майор Денисевич сейчас выйдет. Сам же он во все глаза смотрел на Пушкина и, видимо, что-то хотел спросить, но напряженность и натаянность ситуации его удерживали.

Появился майор Денисевич и довольно сухо спросил Пушкина:

— Что вам угодно?

— Вы должны это хорошо знать, — отвечал тот, — вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место...

— Позвольте узнать, кто ваш секундант, и мы обсудим с ним все вопросы! — тихо и спокойно добавил Каверин.

Майор Денисевич вдруг покраснел как рак и, путаясь в словах, отвечал:

— Я не за тем звал вас к себе... я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать моим соседям слушать пиесу. Это неприлично!

— Вы эти наставления уже читали мне вчера при многих слушателях! — уже резче сказал Пушкин. — Я не школьник. Я пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный, — Пушкин указал на маленького адъютанта. — Он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно...

Денисевич не дал ему договорить.

— Я не могу с вами драться. Вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер.

Каверин заржал как лошадь, поддержал его и Щербинин. Похоже, майор боялся дуэли. Они значительно переглянулись.

Маленький адъютант побледнел, поняв, как глупо ведет себя его товарищ, и посмотрел на него почти с ненавистью, а Пушкин, выставив вперед ногу, сказал твердым голосом:

— Я русский дворянин, Пушкин, это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мною дело.

— Вы Пушкин? — вскричал маленький адъютант, он понял, почему его так мучила внешность этого статского. — Автор «Руслана и Людмилы»? — Статский молча кивнул. — В таком случае, — адъютант перешел на французский, из чего все присутствующие поняли, что хохол Денисевич не знает французской мовы, — позвольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином, и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.

Ему вкратце объяснили, не скрыв и вины Пушкина.

— Позвольте мне переговорить с этим господином в другой комнате, — сказал адъютант военным.

Они кивнули в знак согласия.

Адъютант пересказал свой разговор Денисевичу и спросил, так ли было дело.

— Совершенно так! — набычившись, подтвердил тот.

— Вы не понимаете, что вы сейчас совершаете, — сразу навалился на своего сожителя адъютант. — Зачем вы вновь затеяли ссору при выходе из театра? Зачем так дерзко грозили пальцем и зачем, наконец, сделали формальный вызов?

— Я не делал вызова, я не собирался мериться с фразочным, я просто хотел еще раз внушить ему, как безобразно он вел себя в театре.

— Дав свой адрес и назначив время, вы вызвали его! — вскричал адъютант. — И теперь не имеете права отказаться. Вас обвинят в трусости. Это может кончиться тем, что вам придется выйти в отставку. Ежели будет дуэль, то знайте, что этот молодой человек сын очень знатного человека и дуэль с ним — конец вашей карьеры. — Маленький адъютант тут приврал, но он знал, что майор и слыхом не слыхивал про поэта Пушкина. — Ваше счастье, если господин Пушкин согласится принять извинения.

Денисевич покраснел еще больше и по красноте пошел белыми пятнами.

— Так что же мне делать?

— Извиняться! Немедленно извиняться.

И, не дав ему опомниться, адъютант почти вытолкнул его в комнату, где поджидали господа.

— Господин Денисевич считает себя виновным перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас.

— Надеюсь, это подтвердит сам господин Денисевич, — сказал Пушкин.

— Примите мои извинения, господин Пушкин, — сухо сказал Денисевич ... и протянул руку.

— Извиняю, — сказал Пушкин, руки ему не подав, и двинулся к выходу.

Его спутники любезно раскланялись с адъютантом.

— Я провожу вас, — сказал адъютант и уже на выходе, в подъезде, представился: — Лажечников Иван Иванович, тоже в некотором роде литератор. Начинаящий, — улыбнулся он. — Счастлив, что все закончилось мирно. Я ваш поклонник, друзья давали мне читать в отрывках «Руслана и Людмилу» и оду «Вольность», о которой...

— Silence! — воскликнул Пушкин, прерывая его и поднимая обе руки кверху, тем самым давая понять, что не

желает слышать о них. С недавних пор он стал, подражая Чаадаеву, порою употреблять в речи английские слова.

Чаадаев, хотя и числился в Лейб-гусарском полку, который квартировал в Царском Селе, однако проживал в роскошном бельэтаже Демутова трактира в Петербурге, так как был адъютантом генерала Иллариона Васильевича Васильчикова, командира отдельного гвардейского корпуса; адъютанты обыкновенно оставались в свитах своих генералов, а форму всегда носили полка, в котором служили.

Встретил их и проводил в комнаты Иван Яковлевич, камердинер Чаадаева, щеголеватый, с чрезвычайно утонченными приемами молодой человек в голубом фраке изящного покроя, которому Пушкин даже подал руку, зная, что он для Чаадаева более друг, нежели слуга своего господина, даже, возможно, более, чем друг.

Пока Чаадаев одевался, чтобы их принять, Иван Яковлевич подал им чай. Наконец их пригласили в другую комнату. Петр Яковлевич предстал перед ними в домашнем халате, перед туалетным столиком, извинившись, что будет заниматься своими ногтями. Ножницы кривые и прямые, торчавшие из серебряных стаканов, щеточки с костяными ручками, костяные же гребенки, стальные пилочки разной формы, все было разложено перед ним на мраморной столешнице в исключительном порядке. Странно, но он никому не доверял эту процедуру, и она занимала у него порой по несколько часов до выезда из дому. Пушкин и ноготь свой собезьянничал с Чаадаева, только ему не хватило терпения, чтобы ухаживать за всеми ногтями одинаково, и он решил выделить и холил только левый мизинец. Сначала, не сообразив, он стал отращивать ноготь еще и на правом мизинце, но он мешал писать, корябал ладонь, пришлось его гильотинировать, как шутил Пушкин.

Александр, как обезьяна, с ногами забрался в кресло, стоявшее на возвышении, в котором Чаадаев обыкновенно принимал посетителей; оно стояло между двумя кадками с вечнозелеными лавровыми деревьями, под которые посетители стряхивали пепел сигар и трубок, справа от него находился портрет Наполеона, слева — Байрона, а на противоположной стене висел портрет самого хозяина в виде скованного гения. Не усидев на месте и минуты, Пушкин

соскочил с кресла, чтобы подхватить раскрытую книгу, лежавшую у Чаадаева на столе под фарфоровой лампой с абажуром, и снова забрался с нею в кресло. Это была книга Hazlitte W. Table talk, сборник статей по вопросам искусства и морали; язык ее был довольно сложен, но Александр наткнулся в ней на имя Байрона и спросил Чаадаева:

— Пьер, могу ли я ее взять на время? Для практики в моем английском.

— Бери, конечно, — махнул рукой Чаадаев.

— Застольные разговоры, — говорил он, перелистывая книгу, — я подумал об этом нечто другое. Исторические анекдоты, быть может, литературные портреты... Мое любимое занятие слушать старых дам, когда они вспоминают прежние времена за чаем или за картами по мелочи. Знаешь ли, никакой философии, сплетня, но сколько за ней живого, настоящего, из крови и плоти. Я удивляюсь, как Карамзин мог написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Может быть, анекдота и не хватило, чтобы картина стала полной. Я уверен, что мы непременно должны описывать современные происшествия. Ты, — обратился он к Чаадаеву, — и ты, Каверин! Где Бородино, где ваш Париж? Где записки? Кому, как не вам, описать сии великие минуты! Впрочем, я уверен, что Михайла Орлов напишет.

— Вот Михаила пускай и пишет, он, говорят, в двадцать минут на коленке капитуляцию Парижа написал, — рассмеялся Каверин. — Ему и карты, то бишь перья в руки. А нам в руки — разве только стаканы можно вставить. — Он повертел заскорузлой пятерней.

Чаадаев мягко и грустно улыбнулся.

— Приказать принести чего-нибудь? — спросил он Каверина.

— Не чего-нибудь, а французской водки, я сегодня из-за этого шалопая, — указал он на Пушкина, — не позавтракал.

Чаадаев дернул широкую расшитую ленту, зазвенел колокольчик, через некоторое время явился слуга и принял заказ.

— Вот почему ты живешь в трактире, — рассмеялся Пушкин. — Здесь и поесть быстрее принесут. И подешевле.

Чаадаев криво усмехнулся наивности молодого товарища: Демутлов трактир на самом деле только назывался трактиром, а на самом деле был фешенебельной дорогой гостиницей, чего, возможно, по неопытности Пушкин не знал.

— Когда меня сделают шутком, мне волей-неволей придется нарядиться на приличную квартиру, а жаль, я привык к Демуту.

— Каким шутком? — не понял его Пушкин.

— Я имею в виду, что когда-нибудь меня назначат все-таки флигель-адъютантом к государю.

— Ты этого так хочешь?

— Во всяком случае, я этого более достоин, чем другие. А хочу ли я этого? — Чаадаев пожал плечами. — Не более, чем хотят красивой мебели или экипажа, одним словом, игрушки...

Пушкин посмотрел на портрет скованного гения. В голове промелькнули строки.

— Дай бумагу, я напишу стихи к твоему портрету. Уже почти готовы.

Принесли бумагу, и Пушкин написал, зачеркнув одно-два слова:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

— Перепиши покрупнее и повесь под портретом, — сказал он, подавая стихи Чаадаеву.

Тот молча прочитал и кивнул довольно: да, мол, все правильно, так...

— А вот и коньячок! — вскричал Каверин. — Боже, каким все кажется скучным, пока не принесут выпивку.

За завтраком Пушкин с Кавериним, смеясь и перебивая друг друга, рассказали историю с майором Денисевичем. Чаадаев, занимаясь своим туалетом, с грустью смотрел на них. Он вспомнил, как недавно стоял на публичной дуэли кавалергарда Ивана Анненкова с его товарищем по полку Ланским. Дуэль была по совершенно ничтожному поводу, Ланскому досталось стрелять первым, и он великодушно выстрелил в воздух. Иван Анненков же стоял и целился целых пять минут, после чего грохнул выстрел и сразил напо-

вал Ланского. Глупость и бессмысленность этой истории, ничем не обоснованная кровожадность Анненкова, гнусность его поступка поразили многих присутствующих на дуэли. Молодой человек, красавец, единственный сын у родителей — и такая нелепая смерть. Мысль об этой смерти преследовала Чаадаева, он даже не подозревал в себе такой чувствительности. Впрочем, были и такие, которые считали Анненкова чуть ли не за героя.

С тех пор сам Чаадаев несколько раз отказывался от дуэлей, открыто высказывая свое презрение к ним. Ответ его на вызовы был неизменен: «Если я в течение трех лет войны не смог создать себе репутацию порядочного человека, то, очевидно, дуэль не даст ее».

Позавтракав, они пешком отправились в Английский магазин Никольса и Плинке, который находился на углу Невского и Большой Морской. Дня не проходило, чтобы Чаадаев не посетил сей модный магазин.

Если Петербург был столицей империи, то Английский магазин можно было считать столицей всех петербургских магазинов. Собственно, неясно, почему он назывался Английским, ибо в нем продавались русские, французские, немецкие, голландские товары и товары из многих других стран: бриллианты и глиняная посуда, золото, серебро, бронза, сталь, железо, посуда, всевозможные ткани для женских уборов и платья, перечислять которых не хватит терпения, все принадлежности дамского и мужского туалета; здесь все было перемешано: вместе с духами, помадой и кружевами — вино, ликеры, горчица и даже салат в банках.

Чаадаев прошел в отдел, где стояли кожаные английские чемоданы и, хотя в ближайшее время он никуда не собирался уезжать, долго разглядывал их, раскрывал и принюхивался к запаху кожи. Он очень любил этот запах. Они долго бродили по магазину, их постоянно окружали неназойливые и очень вежливые продавцы, советовавшие, какой товар лучше, но выбрать ничего не могли. У Пушкина, как всегда, не было денег, Каверин тоже сидел без гроша, у Чаадаева в магазине был постоянный кредит, однако он скучал — ничто не радовало. Он хотел отделаться покупкой пары дюжин белых перчаток, как всегда делал, когда не мог ничего подобрать себе по вкусу, но тут они зашли в отдел,

где стояли большие китайские вазы с драконами, и неожиданно для себя самого он вдруг, рассматривая одну из этих ваз, сначала легонько постучал по ней тростью, прислушиваясь, каким трепетным звоном она отозвалась, посмотрел на продавца, занятого в стороне другим покупателем и не обращавшего на них никакого внимания, потом громко спросил, обращаясь к товарищам:

— А крепка ли вазочка?

— А на что тебе знать-то? Ты хочешь ее купить? — поинтересовался Каверин.

— Любопытно. Сейчас посмотрим. — Чаадаев довольно сильно ударил тростью по вазе, и она разбилась вдребезги. Продавец, бросив покупателя, тут же подбежал, появился и старший приказчик.

— Запишите на мой счет и не беспокойтесь, — улыбнулся Чаадаев, видя их волнение. — Мне сегодня ничего не приглянулось. Как мой заказ? — спросил он приказчика.

— К сожалению, еще не пришел.

— Я сапоги заказываю только в Лондоне, — пояснил он приятелям. — Только англичане умеют по-настоящему работать с кожей, сапог у них всегда мягок, на ноге сидит как перчатка. У них есть одна хитрость: некоторые гвоздики в подошве они ставят деревянные, придавая ей тем самым особенную эластичность.

Они шли по магазину к выходу, и приказчик, уважительно кланяясь, провожал их.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,

в которой Иван Саввич Горголи обсуждает грубости Пушкина с его непосредственным начальством. — Скандалы Пушкина с отцом. — Софья Константиновна Клавона-Витт-Потоцкая, роман ее жизни. — Граф Витт продает жену за два миллиона. — Софья Потоцкая, новая любовь Пушкина, и легенда о Бахчисарайском фонтане. — Осень 1818 года

Иван Саввич Горголи давно уже хорошо знал, кто такой молодой Пушкин, и теперь не спутал бы племянника с дялюшкой Василием Львовичем. Помнил его с тех пор, как в первый раз услышал его имя. Кажется, тогда он шалил в

веселом доме. Но веселый дом на то и есть веселый дом, чтобы в нем веселиться. На шалости молодежи в этом возрасте в допустимом пределе принято смотреть сквозь пальцы. Но этот пиит уже наделал много других неприличных дел в Петербурге, с тех пор как был выпущен из Лицея. Чуть ли не каждый месяц с ним случались истории, о многих из которых докладывали петербургскому обер-полицмейстеру. Вот и теперь Иван Саввич морщился, когда полицейский чиновник ему рассказывал, что новые стихи «Noël» чуть ли не в открытую распевают на улицах города и, по имеющимся сведениям, стихи эти принадлежат перу Пушкина.

— Но ведь только что мы делали ему внушение! Дайте мне дело! — раздраженно сказал Иван Саввич, проглядывая список.

«Ура! В Россию скачет кочующий деспот...» — читал он стихи про себя.

Принесли дело. В отдельной папочке лежали два письма: копия письма самого Ивана Саввича и ответ советника Иностранной коллегии Петра Яковлевича Убри, непосредственного начальника по службе Александра Пушкина.

Иван Саввич снова прочитал казенную переписку.

«Милостивый государь мой

Петр Яковлевич!

20-го числа сего месяца служащий в Иностранной коллегии переводчиком Пушкин, быв в Каменном театре в Большом Бенуаре, во время антракту пришел из одного в креслы и, проходя между рядов кресел, остановился против сидевшего коллежского советника Перевощикова с женою, почему г. Перевощиков просил его проходить далее, но Пушкин, приняв сие за обиду, наделал ему грубости и выбранил его неприличными словами.

О поступке его уведомляя Ваше Превосходительство, — с истинным почтением и преданностью имею честь быть

Вашего Превосходительства
покорный слуга
Иван Горголи».

«Милостивый государь мой Иван Саввич!

Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 23-го минувшего декабря под № 15001. Я не оставил сделать строгое замечание служащему в Государственной Коллегии

иностранных дел коллежскому секретарю Пушкину на счет неприличного поступка его с коллежским советником Перовошиковым с тем, чтобы он воздержался впредь от подобных поступков; в чем и дал он мне обещание.

С истинным почтением и преданностью имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою
Петр Убри».

«Дал обещание, — подумал про себя Горголи. — Да первая ли это история и последняя ли? На днях рассказывали его *bon mot*. Как же там было?» — попытался он вспомнить остроту Пушкина, да так и не вспомнил. Зато вспомнил с раздражением, что в стихах есть и его имя, и так несправедливо упомянутое.

...Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли». —
От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»

А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

«Это я-то беззаконен, — действительно обиделся на Пушкина Горголи, — по закону его давно пора на съезжую выпороть, а потом сослать. Уж ежели я беззаконен, то только тем, что слишком мягок. Вот и сейчас ничего не сделаю и расследованию по стихам никакого хода не дам. Да и со скандалом в Каменном театре никакого письма не писал бы, ежели б ко мне этот Перовошиков сам не обратился с жалобой. Пусть бы сами разбирались, хоть стрелялись бы, какое мне до того дело? А тут пришлось дать жалобе ход».

Горголи, разумеется, не знал, что молодой Пушкин посчитал письмо полицмейстера за оскорбление и мгновенно нанес свой укол. Пушкин любую обиду, даже самую малую, запоминал и рано или поздно отмщал. Ничего не мог с собой поделаться, помнил зло, долго хранил это воспоминание, и в нужный момент оно выплывало из закромов его

памяти. А тут и долгой памяти не понадобилось, тут же и уколол, благо фехтовал словом отменно. Хотя если б дошло до настоящего фехтования на шпагах, то тут бы Горголи дал фору поэту — Иван Саввич и прежде был одним из лучших фехтовальщиков Петербурга, однако и с летами не потерял форму.

— Что ты делаешь? Что ты делаешь, безумец? — кричал Сергей Львович Пушкин сыну Александру. — Дуэли едва ли не каждый день, ссоры, о которых все говорят, наконец, твои эпиграммы! Зачем задираешься к каждому встречному? Зачем поссорился с Карамзиным? Зачем накатал на него эпиграмму, обидел старика, который так привечал всегда тебя?! Ради красного словца? Ты понимаешь, как тебе может быть нужен Николай Михайлович с его влиянием у государя, у государыни? — Он понизил голос. — А на государя стихи? Ты сошел с ума! Никому не сознавайся! Ни одной душе! А на Аракчеева эпиграмма? — Сергей Львович схватился за голову, все более и более сам пугаясь того, что говорил. — Змей узнает — не простит! Тебя забреют в солдаты, пойдешь на Кавказ под пули чеченцев!

— Лучше пуля чеченца, чем духота Петербурга.

— Слова! Бахвальство! Поза! — заметался по комнате отец. — Всё слова, пока по-настоящему не запахло жареным! Куда ни приду, кругом только и говорят о моем сыне, во всех гостиных, на вечерах, обедах, балах, и чаще всего, заметить, неодобрительно.

Александр усмехнулся и сказал спокойно:

— Без шума, батюшка, еще никто не выходил из толпы. Пусть говорят, и говорят как можно больше! Принимают меня, однако, во всех домах охотно. О чем еще может мечтать поэт! Это ж слава...

— Полно, батюшка, о поэте ли говорят? О шалуне, о безобразнике, бретере, пропойце!

— Какой я бретер! Ни одной смертельной дуэли. А последнее — вообще ложь! Бахвалюсь я часто, но пью умеренно.

— В компании завятых пьяниц... — подхватил Сергей Львович. — Василий Андреевич говорил со мной о твоём поведении. Он не одобряет твою дружбу с царскосельскими гусарами.

— Среди гусар, батюшка, много образованных, мне есть чему поучиться.

— Образованные! Куда там! Василий Андреевич, пока жил при дворе, насмотрелся в Царском Селе и Павловске на их выходки. Их не сдерживает ни в чем даже присутствие императорской фамилии. Говорят, один из них голую жопу, поворотившись спиной к дворцу, показывал. Императрицы видели...

Александр рассмеялся беззаботно и подумал: «Надо бы спросить у Пьера, кто это отчудил?»

— Смейся, смейся, как бы плакать не пришлось, — укоризненно покачал головой Сергей Львович. — Ты бы посмотрел на других своих старших друзей: я не говорю о Василии Андреевиче, тебе и мечтать о таком положении, как у него, не можно. Возьми князя Вяземского, добился места, уехал в Варшаву, служит достойно, речь государя на сейме кто переводил? Князь! Батюшков года два добивался места и уехал! В Неаполь! Сверх штата в миссию! И ведь они тоже поэты, да не хуже тебя, милый друг. Теперь на службе, достойное жалованье получают. А Плетнев?

— Я, батюшка, сегодня не намерен с тобою ссориться. Ну не служу я! Не желаю... И ничуть об этом не жалею. А о чем действительно жалею, так это о том, что под горячую руку написал эпиграмму на Карамзина. Да и то только одну, а мне с десятков приписали. Теперь, батюшка, всякое вольное слово, всякое сочинение возмутительное приписывается мне, как всякие остроты — князю Цицианову. От дурных стихов я не отказываюсь, надеясь на свою добрую славу, а от хороших, признаюсь, сил нет отказаться, — рассмеялся Александр. — Вот и гуляет под моим именем что попало.

— Вот такое у тебя имя, — вздохнул Сергей Львович.

— Да, — согласился Пушкин. — Имя есть. Плохое или хорошее, но есть.

Он замолчал, ему не хотелось ссориться, сегодня предстояло идти на бал к Лавалям, где он рассчитывал увидеть свою новую любовь, о которой он молчал и чувствами к которой ни с кем не делился.

В этот зимний сезон стала выезжать на балы восемнадцатилетняя Софья Потоцкая, дочь когда-то знаменитой красавицы-гречанки графини Софьи Константиновны Потоцкой. Дочь с матерью недавно приехали из Варшавы, где были

проездом и где дочь уже успела вскружить голову князю Вяземскому, о чем рассказывал Александр Иванович Тургенев, принимавший в этой семье участие. Князь Вяземский в своих письмах Тургеневу называл младшую Софью Потоцкую «похотливой Минервой» или «Минервой в час похоти». Минерва была богиня-девственница, покровительница ремесел и искусств.

— Девственница в час похоти! Каков образ! И можно представить, чем она занимается в этот час, — смеялся, передергивая плечами, Тургенев. — Ты посмотри на нее, Пушкин. Представляю, какова была ее мать в ее годы в объездах светлейшего князя Потемкина!

— Она была любовницей Потемкина? — У Пушкина загорелись глаза от любопытства. — Расскажите, Александр Иванович, все, что знаете.

И Тургенев поведал Пушкину совершенно фантастическую историю матери Софьи Потоцкой, Софьи Константиновны Клавона-Витт-Потоцкой.

Тринадцатилетней девочкой красавица гречанка была куплена в Константинополе у собственной матери за тысячу пятьсот пиастров секретарем польского посольства при Оттоманской Порте. Она прислуживала в трактире и была необыкновенно хороша собой. Секретарь перепродал ее послу, вероятно, за сумму гораздо большую. Возвращаясь в Польшу, посланник остановился в крепости Каменце, где в нее влюбился сын коменданта майор Иосиф Витт и тайно обвенчался. Эта сделка, ибо нет никаких сомнений, что и тут имела место купля-продажа живого товара, тоже осталась тайной. С Виттом София покорила Париж, где знаменитая французская портретистка Виже-Лебрен, понимавшая толк в женской красоте, сказала, что ничего прекрасней, чем эта юная мадам де Витт, она не видела в своей жизни.

Однако Иосиф Витт был парень не промах, имея такой капитал, как прелести своей жены, он направляется в Россию, в российские военные лагеря на границе с Речью Посполитой. За генеральский чин русской армии и графское достоинство, доставленные ему фельдмаршалом Потемкиным, он отдает свою жену в наложницы фельдмаршалу и светлейшему князю. С тех пор на всех праздниках и пиршествах, которые щедро устраивал князь Потемкин, царила

только она. Он гордился гречанкой, как лучшим своим трофеем. Он расточает перед ней самые изысканные любезности, устраивает праздник, на котором было до двухсот дам, а после обеда — лотерею, но так, чтобы каждой даме досталось по шали, и, конечно же, лучшая из шалей выпадает на долю самой прекрасной из дам — Софьи Витт. Даже во время осады Очакова, когда войско умирало от голода, холода и житья в землянках, князь в главной своей квартире давал пиры, жег фейерверки, дни и ночи напролет куртизанил с молодой гречанкой в землянке-дворце с колоннами, обставленной роскошными диванами с отдельным будуаром, куда приглашались только избранные и где князь принимал их в халате, непричесанный, возлежа на диване со своей полураздетой гречанкой.

Вскоре граф Витт был послан Потемкиным вместе со своей женой на сейм в Польшу, где она должна была очаровать царственно богатого польского магната и коронного гетмана Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного, возможного претендента на польский престол, и сделать его сторонником России, что ей легко удалось.

Но с ее мужем начинается торговля, которая, видимо, шла не один год. В конце концов Потоцкий покупает Софью у Витта за два миллиона польских злотых, но женится на ней только через несколько лет, когда умирает его вторая жена, известная художница Жозефина-Амалия Мнишек-Потоцкая, не дававшая мужу развода.

А за это время Софья, которую все время покупали и продавали, не спрашивая ее самое, может быть, впервые полюбила. И кого? Пасынка графа Потоцкого, сына Жозефины-Амалии, Юрия Потоцкого. Как тут не вспомнить Федру, «новой Федрой» и прозвали распутную гречанку. В Тульчине, где находились два дворца влиятельного польского магната, начинается сумасшедшая жизнь. Мачеха в объятьях отца и пасынка была царицей в толпе шулеров и сорвиголов, стекавшихся под кров дворцов чуть ли не со всей Европы. Старший Потоцкий не выдерживает соперничества с пасынком и, затосковав, запирается с ксендзами и предается мистицизму. Однако графиня успевает родить ему троих сыновей и двоих дочерей, кто от кого именно рожден, видимо, известно только Господу Богу. Умирает старший Потоцкий, умирает и Юрий, еще при их жизни графиня начи-

нает появляться в Петербурге. Говорят, что ее чар не избежал и молодой великий князь Александр Павлович.

И вот старшая дочь неистовой гречанки выехала в свет, младшая же, Ольга, не менее красива, но в свет пока не выезжает. Наполовину полька, наполовину гречанка Софья Потоцкая сочетала два типа красоты: славянский и греческий. Гордая осанка, греческий очерк лица, прямой нос, открытый лоб и притом голубые глаза, светло-русые волосы, завитками закрывающие точеные, словно слепленные из алебаstra, ушки. От влюбленности Александра Пушкина в княгиню Голицыну не осталось и следа, разом кончились все любовные мучения и все попытки склонить ее к продолжительной связи: княгиня для второго раза осталась неприступна. Иногда он думал, что, может быть, именно так она привязывала к себе своих постоянных обожателей и попадание в ее клуб предусматривало такой кратковременный роман.

Короче, конституционная или неконституционная княгиня Ночная истаяла в ночи. Он же, представленный Тургеньевым Потоцким, уже бывал у них в доме с визитами, танцевал на балах с Софьей и начинал бредить, как больной Батюшков, если не Италией, так Тавридой. К тому же на неделю приехал князь Вяземский из Варшавы, тоже закрутился вокруг сестер Потоцких. Они наперебой острили и впервые выступили соперниками. Князь, получив двухмесячный отпуск, оставил семью в Варшаве и, погуляв уже в Москве, только в Петербурге окончательно почувствовал себя холостяком. Соперничество еще более сдружило их, и они скрепили эту дружбу, вместе посетив веселый дом.

— В молодости я любил горячить кровь, я прокипятил на картах и гульбе до полумиллиона, — откровенничал князь в обществе девок. — И на девок денег никогда не жалел. Но девки — не владычицы моего воображения. Это ты, милый, ухитрился воспеть не одну блядь! Воспой же теперь нашу Минерву, в которой все нездешнее, кроме взгляда, в котором горит искра земных желаний. Будешь счастлив, если эту искру раздуешь; в ней тлеет огонь поэзии...

Пушкин промолчал, ни в чем не признался, хотя князь поглядывал на него испытующе сквозь круглые очки в золотой оправе. Князь Вяземский скоро уехал, а Пушкин остался в толпе поклонников юных сестер Потоцких.

Потоцкие были сказочно богаты, за старшей дочерью, говорили, мать отдавала крымское имение в Ай-Даниле, местечке близ Гурзуфа, где мать хотела основать городок Софиополь. Девушки рассказывали Пушкину о Тавриде, где проводили не одно лето. Крым и так был полон очарования, еще и полвека не прошло, как он вошел в состав Российской империи, куда своей могучей рукой и почти без крови привел его светлейший князь Потемкин, но он стал еще желанней и вожаденней, когда Пушкин слушал милый лепет красавиц о полуострове.

А сам думал о соблазнении. У него почти не было опыта соблазнения светских дам, не говоря уж о девушках, иногда ему казалось, что соблазнить великосветскую девушку почти невозможно, но порой в мужском обществе он слышал рассказы о подобных случаях, и совсем не обязательно любовные истории кончались браком, часто чужие шалости покрывал браком кто-нибудь другой. Жениться ему еще было рано, об этом он даже не думал, а вот побаловаться, ежели девушка созрела, он был не против. К тому же он хорошо понимал, что Софью за него никогда не отдадут, слишком она была богата и знатна.

Молодые графинюшки рассказывали ему предания крымской старины. Крым был близкой и славной страницей российской истории. Он слушал с упоением рассказы о столице крымских ханов Гиреев, Бахчисарае, о сказочных богатствах, собранных когда-то там, и о нынешнем запустении. Одна из историй особенно запомнилась ему. О молодой Марии Потоцкой, привезенной из похода в Польшу одним из Гиреев, о христианке, в которую влюбился мусульманин и поместил ее в свой гарем, но позволил сохранить веру отцов. О ее неожиданной, загадочной смерти и тоске хана, о мраморном фонтане, который он соорудил в ее память, который все теперь называли «фонтаном слез».

Когда Софья Потоцкая рассказывала Александру историю девушки из ее рода, на глазах ее навернулись слезы, а щеки побледнели.

— Да ведь не может быть, чтобы хан, поместив ее в свой гарем, не навещал ее, как навещал он других наложниц! — сказал Пушкин.

— Может! Может! — в один голос вскричали обе красавицы.

— Не может, — подразнил их Пушкин.

— Может! Как вы, поэт, и ничего не смыслите в высокой чистой любви! — возразила еще раз Софья. — Мама, — обратилась она к старшей Потоцкой, которая подошла к их кружку, — ведь история бедной Марии Потоцкой не просто легенда, это правда? Скажи господину Пушкину.

— Разумеется, правда, — слегка усмехнулась Софья Константиновна. Усмехнулась она потому, что, когда она появилась в Крыму в первый раз и в первый раз посетила Бахчисарай, эту легенду о девушке-христианке никак не связывали с именем Потоцких. Она сама придумала, что эта христианка была из славного рода Потоцких. До того девушку по имени никто не называл, она была безымянной, да и родом, говорили, то ли из Грузии, то ли из Польши. — Она умерла от тоски по родине, — добавила графиня, глядя на Пушкина. — Для поляка нет ничего святее родины.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

в которой Жуковский принимает у себя по субботам петербургских литераторов. — Александр Алексеевич Плещеев. — Камергерский ключ Александра Тургенева. — Усатая княгиня Голицына. — Последние новости двора. — Пушкин с друзьями пьют водку в трактире. — Ссора с Кюхельбекером из-за эпиграммы. — Дуэль Кюхельбекера с Пушкиным. — «На четырех шагах да в глаз». — Пистолеты заряжены клюквой. — Осень 1818 года

С возвращением в Петербург из Москвы Жуковский стал принимать у себя по субботам. Он нанимал квартиру с давним другом Александром Алексеевичем Плещеевым, Черным Враном по «Арзамасу».

Плещеев, совершенный парижанин в речах и манерах, был сосед Жуковского по имению. В юности он жил в Петербурге, где приобрел некоторую известность своим необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно мастерски он умел кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. Так же легко он вошел в образ француза, и с первого взгляда его ни за что нельзя было принять за русского: все поговорки, прибаутки и шуточки были у него французские. К тому

же и на лицо он был темен, за что и получил прозвище Черного Врана. Он писал русские и французские стихи, но в печать ничего не пускал; он прекрасно музицировал, сочинял романсы, но, пропев, их тут же забывали; он играл на домашнем театре, но его драматический талант был широко известен лишь в узких избранных кружках. В молодости он мелькнул в Петербурге и надолго сошел со сцены. Женившись, он после свадьбы до самой смерти супруги своей, Анны Ивановны, проживал в имении, и в Петербург не показывался: тому была своя причина. Женился Плещеев по указанию Павла I, чтобы прикрыть чужой грех. Жена его, урожденная графиня Чернышева, дочь генерал-фельмаршала по флоту графа Ивана Григорьевича Чернышева, очень любимого Павлом, фрейлина императрицы Марии Федоровны, после смерти отца в 1797 году перед всем двором обнаружила стыд свой; тут очень кстати случился Александр Алексеевич, который был вхож в дом отца ее. Молодых скоро обвенчали, и они надолго сокрылись в деревню. После смерти супруги в 1817 году он вернулся из деревенского своего заточения в Петербург, привез старшую дочь на выданье и двоих сыновей, черномазых цыганят, столь похожих на отца, что их тут же прозвали Воронятами, и устроил их в Благородный пансион при Педагогическом институте.

Повертевшись в Петербурге и, видимо, восстановив прежние связи, Черный Вран по протекции своего дальнего родственника Карамзина попал в чтецы к императрице Марии Федоровне. Вечерами читал он ей и близкому ее обществу Мольера и другие драматические произведения, он читал пьесы так искусно, что никогда не называл действующих лиц, а означал всякий новый персонаж только изменением голоса. Вскоре его пристроили и в театральную дирекцию, где он занимался французским репертуаром. Жуковский любил приятеля, хотя тот был человек вполне ничтожный, однако, надо отдать ему должное, славный от природы актер.

Когда принимали гостей, Плещеев частенько сживал за роялем и наигрывал меланхолические импровизации. Так было и на сей раз, когда раньше всех забежал вездесущий Александр Иванович Тургенев, который называл всех собиравшихся у Жуковского «праздношатающимися авторами и литераторами», причисляя и себя самого к таковым.

Тургенев недавно получил камергера, и сегодня он надел золотой с бриллиантами камергерский ключ, на огромной розетке из голубой андреевской ленты, прикрепленной к левой фалде фрака сзади, над карманным клапаном, поскольку должен был ехать на бал к великому князю.

Стесняясь своего камергерства, он стал рассказывать о том, как брат Николай рассвирепел, когда узнал о камергерстве, и назвал сию должность темным пятном тургеневской фамилии. Николай бывать в обществе не любил, он предпочитал обществу уединение и сидячую жизнь. Александр Иванович благоговел перед младшим братом и столько говорил о нем, что весь превратился в кадило, вечно курящееся перед его образом, в трубу, громогласно гремящую во все концы света о его гениальности.

— Не знаю уж, гордиться ли мне тем, что никому еще не вздумалось поздравить меня, а все приходят с изъявлением соучастия в том, что меня так неожиданно постигло? — говорил Александр Иванович, искренне недоумевая. Василий Андреевич молча курил сигарку, к которым в последнее время пристрастился. — Княгиня Наталья Петровна оскорбилась равнодушием моим (ибо я скрыл от нее мое огорчение) и рассказала при сем случае, с каким восхищением приняла сию милость фамилия графа Чернышева при пожаловании графа, не знаю, уж которого она имела в виду.

— Вполне возможно, что моего тестя, — вставил Плещеев, обернувшись через плечо от рояля. — Но было это, видимо, во времена его молодости. Усатая Голицына живет, по-моему, уже при четвертом императоре.

— Да, ей под восемьдесят, — вспомнил Василий Андреевич, попыхивая сигаркой. — И она кого хочет отчитает, милый Шушка. Честно говоря, я и сам ее побаиваюсь...

— Да еще граф Лаваль вчера целый час мне доказывал, как много это значит в мнении государя. — Александр Иванович расхохотался. — И лучшее его доказательство было то, в год не более как два камергера являются в «Северной Почте», в отделе объявлений, кто куда выехал, а всего прочего — великое множество...

— Какие еще новости? — меланхолично спросил Жуковский.

— Вы хотите новостей, то есть милостей? — вскричал, обрадовавшись Тургенев. Он целыми днями переносил но-

вести из одной гостиной в другую. — Пожалуйте, слушайте. Вот они: Александр Львович Нарышкин — канцлер всех орденов, а на его место главным директором театральной дирекции князь Тюфякин...

Плещеев кивнул головой, — как чиновник театральной дирекции, он уже знал об этом.

— Это не новость, — поддержал друга Жуковский. — Что еще?

— Кирила Нарышкин — гофмаршал. Алексей Васильчиков, что женат на Архаровой, шталмейстером и сидеть в Конюшенной конторе с жалованьем. Альбедил — бриллиантовую Анну, князь Яков Иванович Лобанов получил 1-го Владимира, Кикин — в другой раз бриллиантовую Анну, Соколов

— 2-го Владимира, граф Ламберт — тоже, Рибопьер, граф Лаваль, князь Оболенский (московский куратор), граф Пален (министр) и князь Хованский (Капелька) — тайными советниками. — Новости сыпались как из рога изобилия. — Филарет, епископ, — 1-ю Анну, Филарет, московский архимандрит, — 2-го Владимира, княжна Вяземская (племянница Кочубея) и Голицына, дочь бывшего пензенского губернатора, — фрейлины. Забыл, Родофиникин, Дивов — бриллиантовую Анну. Граф Санти — сенатором. Мелких милостей довольно, но все по двору, и более — великого князя Николая Павловича... Колычев, Байков и ваш покорный слуга — камергерами...

При этом о своем камергерстве он снова отозвался крайне пренебрежительно и даже повторил шутку князя Вяземского, что римское правительство венчало головы лавровыми венками, а наше — венчает жопу.

— Хотя я хлопочу о чине камер-юнкера князю Вяземскому, по его же просьбе, ибо он свое пребывание в Варшаве у Новосильцова меньше двух чинов не ценит. Кстати, вы слышали, граф Воронцов женится на графине Елизавете Ксаверьевне Браницкой, — добавил он.

— Точно? — спросил Плещеев.

— Совершенно точно. Вчера мне подтвердила ее тетка, княгиня Юсупова... А где же остальные праздношатающиеся авторы и литераторы? — поинтересовался Александр Иванович.

Под празднующимися авторами и литераторами подразумевалось и старшее поколение: Крылов, Гнедич, Иван Козлов, с парализованными ногами, но продолжавший ездить на литературные вечера; и молодые поэты, которые зачастили к Жуковскому, вместе и порознь: Пушкин, барон Дельвиг, присоединившийся к ним поэт Евгений Боратынский, рядовой лейб-гвардии Егерского полка, новый знакомец, который с недавних пор жил на одной квартире с Дельвигом, в Семеновских ротах; Плетнев, бывший постарше других, но еще не создавший имени себе в литературе; чаще же других в гостиной можно было увидеть тощую, скрюченную фигуру Кюхельбекера где-нибудь на стуле, в углу, с книжкой стихов в руках или, напротив, жарко спорящего посреди гостиной. Молодежь любила эти вечера, потому что Жуковский чуть ли не единственный во всем Петербурге жил открытым домом и на вечерах подавали шампанское и пунш, пившиеся в знак соединения российской образованности с иностранною, ибо читались не только стихи русские, но и Байрона, и Гёте; звучала речь немецкая, английская и итальянская так запросто, что Тургенев, сам знавший пять-шесть языков, мог спросить собеседника между прочим: «Душа моя, не помню, знаешь ли ты по-итальянски? Не знаешь, ах, жаль! Тебе, яко сатирику и поэту, надо было бы выписать: «*Satire di Angelo d'Elci Fiorentino*», второе флорентийское издание в 4-ю долю листа. Он достоин стать подле Ювенала, Горация и Персия; осмеивает и пороки, и слабости нашего времени с итальянским остроумием. Выучи, мой друг, итальянский... Это такая безделица!»

Обыкновенно молодые празднующиеся поэты вваливались к Жуковскому шумной, почти лицейской компанией. Кюхельбекер, живший рядом с Пушкиным, только на другой стороне Фонтанки, в мезонине дома Благородного пансиона при Педагогическом институте, ставшем недавно Петербургским университетом, переходил Калинкин мост и будил долго спавшего Пушкина. Пушкин надевал бухарский халат, ермолку и пил кофе, возлежа в постели, пока милый друг Кюхля мучил его новыми стихами. Читая свои гексаметры, слабый грудью Кюхельбекер визжал и задыхался, видимо, рассчитывая наполнить страстью мерт-

вый слог, особенно увлекшись, он начинал брызгать слюной, и тогда его надо было сторониться. Пушкин каждый раз пытался уклониться от докучливой обязанности слушать творения Кюхельбекера и сбивал его на литературные разговоры. Литературный вкус Кюхельбекера был далеко не безупречный, хотя рассуждал он о литературе складно, слушать можно было, но собственные его стихи, длинные, напыщенные, Александра утомляли. Переев его стихов, он даже чувствовал признаки тошноты физической. Хотя князь Вяземский, послушав в свой приезд не только стихи, но и рассуждения Кюхельбекера, поделился с Пушкиным: «Друг мой, у Вили упоение пивное, тяжелое... Послушать его, как отделявает он Жуковского, Батюшкова, а вместе с ними и Горация, и Байрона, и даже Шиллера! Чтобы врать, как он врет, нужно иметь язык звонкий, речистый, прыткий, а уж нет ничего хуже, как мямлить, картавить и заикаться во вранье: даешь время слушателю одуматься и додуматься, что ты дурак!»

Кюхля и сам быстро утомлялся и чтением своих стихов, и рассуждениями о литературе, столько он вкладывал к ним страсти; согбенный и уставший, садился на стул и просил дядьку Пушкина, Никиту, подать ему клюквенного морса, а ежели его не бывало, так не отказывался и от сахарной воды.

Когда они выбирались из дома, то иногда, когда бывали деньги, брали извозчика, чаще же шли пешком. Сначала возвращались через Калинкин мост в Семеновские роты к Дельвигу и Боратынскому, все было рядом, на одном пятчке Петербурга, и до Жуковского на Крюков канал было рукой подать, не более десяти—пятнадцати минут ходу.

На сей раз они собрались все вчетвером. Когда Пушкин с Кюхлей зашли в квартиру, где жили их приятели, первым делом они наткнулись на мертвецки пьяного Никиту, камердинера Дельвига, валявшегося прямо на полу в маленькой прихожей.

— Пьян, сволочь, уже третий день. Снова обчистил мои карманы, — пояснил им барон, потягиваясь в постели и улыбаясь своей задумчивой и тихой улыбкой. Он не надел еще свои очки в черепаховой оправе, они лежали на стуле поверх раскрытой книги, и взгляд его голубых глаз под густыми бровями был беззащитен и ясен. — Мы не ужинали и

не завтракали, потому что я боюсь его беспокоить. Не знаю, право, братцы, оставить сие происшествие, как всегда, без последствий или все-таки отправить его на съезжую, чтобы ему сделали отеческое внушение? Все удовольствие будет стоить мне три рубля на розги.

— Зная тебя, можно быть совершенно уверенным, что все останется по-прежнему: вор Никита будет пьян, ты — голоден и без денег. — Александр тоже улыбнулся.

— Да, пожалуй, — согласился барон. — Но надо же нам где-нибудь позавтракать. Евгений! — крикнул он в соседнюю комнатку, и оттуда в халате выполз бледный Боратынский с печальной улыбкой. — Сводим господ Пушкина и Кюхельбекера отобедать?

— Разбогател, что ли, барончик? — поинтересовался Александр.

— На обед хватит...

— Куда поедет? К Талону или Дюме? Или к Чаадаеву, в Демутов? Может, и его пригласим?

— Тут рядышком, — ласково сказал барон Дельвиг. — И очень мило, правда, Евгений? Но для Чаадаева слишком по-мужицки...

— Да, — сказал Боратынский. — В русском духе. — И замолчал надолго. Иногда он бывал неразговорчив. На задумчивом лице, оттененном черными волосами, поблескивали живые глаза.

Друзья оделись, трое были в партикулярном платье, лишь Боратынский появился в темно-зеленом мундире рядового лейб-гвардии Егерского полка и кивере без султана, который носили егеря.

Едва они вышли на улицу, как Боратынский повеселел, и они с Дельвигом, завывая так, что прохожие оглядывались на странную пару, стали читать вслух, чеканя шаг, сочиненное вдвоем стихотворение:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко,
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили, шутя: какое в россиянах чувство!

Ускоряя шаг, вся компания вскоре свернула в маленький переулочек и остановилась перед питейным домом. От него на карачках уже полз растрепанный мужик.

— По обычаю предков наших перед трапезой должно выпить рюмку водки! — указывая на пьяницу, воскликнул барон.

— Водки? — удивился Кюхельбекер и с некоторым недоумением отступил назад.

— Я с удовольствием, — подхватил Пушкин. — Я у Ганибалов к водке приохотился...

— Странная мысль — пить водку поутру. К тому же в таком месте, — сомневался Кюхельбекер.

— Вильгельм Карлович, разве вы не видите двуглавого императорского орла над дверьми, и можно ли считать непристойным войти в казенный дом? — ёрничал барон Дельвиг. — Впрочем, вы можете быть покойны: во всем переулке нет ни души.

— Ты что, подумал, что я боюсь начальства? — возмутился Кюхля и первым открыл дверь кабака.

На самом деле начальства надо было бояться рядовому Евгению Боратынскому, но он смолчал и пошел вместе с остальными.

Спертый воздух ударил им в нос. С одной стороны всю длину комнаты занимал широкий стол, за которым стояли целовальники и в оловянных кружках подавали желающим любимый напиток, но не иначе, как получив вперед деньги.

С противоположной стороны по стене стояли лавки да ветхий столик под закопченным образом в углу, на стене же висела картина, изображающая генерала, украшенного множеством лент и орденов, который на коне перескакивал через всю французскую армию, понизу шла крупная подпись: «Храбрый генерал Кульнев». По бокам висели изодранные, раскрашенные яркими красками лубки с изображением Кутузова и Барклая де Толли.

— О! — Пушкин указал на портрет Барклая Кюхельбекеру. — Твой великий родственник. А ты водку собрался пить.

— Я водку пить не буду, — подчеркнул Кюхельбекер. — Я зашел, чтобы вы не подумали, что я стесняюсь бывать среди народа. Но водку я не пью.

Посреди комнаты два здоровых бородатых мужика, один молодой, другой, судя по бороде с проседью, пожилой,

сбросив кафтаны, плясали вприсядку. Близ них молодой парень, в коротком кафтане, с кудрявой бородой и пеньковой ермолкой на голове, играл на балалайке, подпевая и отшибая такт ногой. Иногда он вскрикивал, приседая, или, приплясывая, обходил вокруг комнаты. Прочие зрители с кружками в руках толпились вокруг них и делали свои замечания.

— Вишь, как старик-то наш выплясывает.

— Седина — в бороду, бес — в ребро!

— Покажи молодым, старинушка!

На лавке два мужика, обнявшись, с полузакрытыми глазами, во все горло орали протяжную песню, пытаясь перекричать звонкую балалайку, а возле них ободранный деревенский мужичишка, видно, приехавший в город с возом сена, угощал свою дражайшую половину, чистенькую господскую горничную, штофом браги и все пытался подъехать к законной супруге, отвыкшей от мужика, на кривой козе.

На другой лавке занимал место господский кучер из богатого дома, в зеленом кафтане, с желтым персидским кушаком, с гладко причесанной черной бородой, пил за здоровье приехавшего из деревни кума, который, разинув рот, слушал речи своего важного барского знакомого.

Но над всем этим шумом раздавался голос маленького человека в изодранном сюртуке, который кричал:

— Эй, Тимошка! Поднеси-ка еще на двадцать копеек!

— Нет, брат! Ты уж и так взял две мерки!

— Экой жид! — гневался человечек. — Ведь я каждый день захожу к тебе. Нешто не поверишь?

— Оно так, Бог с тобою. Да заплати прежде, а потом выпьешь!

— На, жид! Обирай честных людей! — Пьяница кинул на стол несколько грошей. — Теперь подавай!

Целовальник, с самой типичной великорусской физиономией, не обиделся на «жида», а преспокойно собрал деньги, налил крикуну мерку и осмотрелся, надо ли услуживать другим гостям. Тут к нему подошли наши приятели, и барон Дельвиг потребовал налить им по рюмке «ерофеича».

— «Ерофеич» от всего лечит, на сорока травах настоян, — пояснил друзьям барон. — Был лекарь Ерофеич, который

Орлова-Чесменского от смертельной болезни вылечил настойкой собственного приготовления.

— То-то мой Никита такого могучего здоровья, — смеялся Пушкин. — Он постоянно «ерофеичем» лечится. Меня так точно переживет.

Целовальник меж тем окинул их испытующим взглядом и достал из-под стола грязные рюмки, подул в каждую рюмку и протер внутри пальцем, после чего наполнил их «ерофеичем».

— С вас рубль, — сказал он.

— Рубль так рубль, — усмехнулся барон и достал деньги.

Тогда целовальник пододвинул к ним налитые рюмки.

Друзья переглянулись, испытание на брезгливость выдержали до конца только Дельвиг да Пушкин. Боратынский со словами «Собрату по Аполлону» поднес свою рюмку балалаешнику, который тотчас опорожнил ее, приговаривая: «Во здравие ваших благородий!»

— Выпей и мою, — протянул ему рюмку Кюхельбекер.

Балалаешник оприходовал и вторую, после чего друзья покинули питейный дом. Вслед им неслись звуки повеселевшей балалайки.

В этом же переулке они подошли к старому, пошатнувшемуся домишке, над дверью которого висела полинявшая вывеска с нарисованным окороком, жареными курами и пирогами; спустились по лестнице, прыгая через недостающие ступеньки, в подвальчик.

Посреди большой комнаты стоял большой стол, вокруг него — старые, изломанные стулья. На столе лежали ножи и оловянные ложки, прикрепленные к столу железными цепочками. Дельвиг постучал по столу кулаком и закричал:

— Хозяин! Хозяин!

И только тут они заметили огромного детину в красной рубахе и белом заляпанном переднике, растянувшегося на скамейке во весь рост. Дитина поднялся, протер глаза.

— Чего угодно?

— Давай нам завтракать! — приказал барон.

— Помилуйте, — отвечал дитина обиженно, — все уже отобедали.

— Хорошо, давай отобедать. — Дельвиг первым сел за стол, стали рассаживаться и другие. — Разве у тебя нет ничего? Господа, мои друзья, непременно хотят отобедать у

тебя. Помнишь, мы заходили с этим господином? — Он указал на Боратынского.

— Народу много ходит, всех не упомнишь, — проворчал детина.

Кюхельбекер сел за стол и постучал ложкой.

— Давай обед!

— Я уже докладывал — обеда нет. Ужин, пожалуй, могу подать.

— Ну, а что же у тебя будет за ужином? — поинтересовался барон.

— Да то же, что и за обедом!

Пушкин не выдержал и захохотал.

— Тогда какая разница между обедом и ужином? — продолжал спрашивать барон, поглядывая на приятелей.

— Как не быть разницы? Когда народ пообедал, мы снова наливаем в щи воды и привариваем: вот и ужин.

— Стало быть, это дешевле?

— Вестимо, дешевле! В обед берем по пятнадцати копеек, да и то без говядины, с говядиной — двадцать пять; ну а в ужин пустые щи идут у нас по восьми, а коли с говядиной требуется, так и по шестнадцати берем.

— Ну давай по шестнадцати.

— Стало быть, с говядиной?

— С говядиной, мил человек, — согласился барон.

Хозяин взял большую деревянную чашку, деревянной же ложкой на длинной ручке зачерпнул из чугунного котла, дымившегося на плите, щи и наполнил в несколько раз чашку до края. Поставив ее посередине стола, он принес каждому деревянный кружок, на котором был кусок говядины и щепотка соли.

— А нет ли у тебя вилок? — спросил хозяина Кюхельбекер.

— Вилки не держим, черному народу это не требуется.

— А как же они едят говядину?

— Знамо дело, на то и пальцы есть.

Пушкин снова расхохотался. И вслед за бароном опустил гремящую на цепи ложку в щи.

Похлебали щи из одной чашки. Съели говядину, отрезая мясо ножом и руками отправляя его в рот. Говядина оказалась вкусной. Уходя, барон Дельвиг сунул в руки хозяину сверху полтинник, и эта щедрость показалась ему столь необычной, что он сначала не верил глазам своим и не знал,

что сказать. А когда друзья выходили, он с низкими поклонами кричал им вслед:

— Милости просим и вперед жаловать!

Но до Жуковского в этот раз не дошли. Недалеко от его дома Пушкин вдруг громко захохотал.

— Ты чего? — поинтересовался барон.

— Да так. Эпиграмму вчера написал... Вот вспомнил...

— Скажи, — попросил Кюхельбекер.

— А не обидишься? Она до тебя, друг Кюхля, относится.

— Не обижусь. Читай скорее...

— Читай, — вдруг закричал Дельвиг и обхватил Кюхельбекера сзади. — Я его держу.

— Да пусти ты, Тося, — слабо отбивался Вильгельм.

Боратынский, призрачно улыбаясь, смотрел на их шалости.

— Уж коли держишь его, то пожалуйста, — согласился Пушкин. — Жуковского как-то пригласили на вечер, а он не пришел. Его спросили, почему вы не почтили нас своим присутствием? Василий Андреевич со свойственной ему откровенностью отвечал, что у него был понос и к тому же пришел Кюхельбекер, и ему пришлось остаться дома.

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И *кюхельбекерно* и тошно.

Боратынский с Дельвигом покатались со смеху. Боратынский ржал как лошадь и бил ногой в мостовую как копытом. Заливался хохотом и сам Пушкин. Отпущенный Кюхельбекер стоял неподвижно, хлопая глазами и пошмыгивая носом.

— Ой, не могу, мне кюхельбекерно сейчас будет, — вскричал Боратынский, держась за живот.

Кюхельбекер переводил свой взгляд с одного на другого. Так длилось некоторое время. И вдруг он затопал ногами и завопил:

— Стреляться! Немедленно! На шести шагах!

— Брось, Кюхля! Ты обещал не сердиться, — попытался успокоить его Пушкин, дружески улыбаясь. У Кюхли, кажется, начиналась всем знакомая по Лицею истерика. — Пойдем к Василию Андреевичу. Вон Козлов приехал.

Александр увидел, что у подъезда дома Жуковского на Крюковом канале стояла коляска, из которой Лукьян, слуга Козлова, с помощью слуги Жуковского Якова выносил своего барина. В руках у Козлова была трость, которой он издали поприветствовал молодых друзей.

— А то Яков дверь еще запрет, — все так же улыбаясь, добавил Александр.

— Дверь? Понос? Кюхельбекер и понос?! Дверь и Кюхельбекер?! — с ненавистью, заговариваясь, смотрел на него Вильгельм. Рот его кривился и дергался. — Ты мне за это ответишь! — Он повернулся к Дельвигу: — Любезный барон, попрошу вас как друга быть моим секундантом.

— Забавно, — печально произнес Дельвиг и добавил: — Как тебе, Виля, будет угодно. — Он уже не смеялся, видя всю серьезность намерений своего друга. — Но, право, смешно обижаться на дружескую шутку.

— Он перешел все границы! Я заставлю его ответить!

— Ну прости меня, — сказал Пушкин.

— Стреляться, — упорствовал Вильгельм.

— Он же извинился, — попытался поправить дело барон.

— Никаких извинений!

— Оставь его! Стреляться так стреляться! Как тебе будет угодно, — согласился Пушкин. — Мне тебя бояться нечего: ты не белая лошадь и не белокурый человек... К тому же я должен сначала жениться, а до дуэли не успею, — пожал плечами Пушкин.

— Все шутишь, да? Шутишь?! — вскрикивал Кюхельбекер.

— Отчего же шучу?! Будешь моим секундантом? — Пушкин обратился к Боратынскому, которому ничего не оставалось делать, как согласиться. Хотя после одной истории в Пажеском корпусе, откуда Боратынский был исключен и про которую друзья не знали всех подробностей, он никак не мог мешаться ни в какие дела. Ему участие в дуэли грозило гораздо более серьезными последствиями, чем другим.

— Хорошо, — сказал Боратынский. — Только давайте, друзья, стреляться, как у нас, егерей, обучают застрельщиков.

— Как?! — поинтересовался барон Дельвиг.

— Прикладыванием в глаз...

— В глаз? — удивился Кюхля.

— Да. Происходит это так: застрельщик с незаряженным ружьем становится в четырех шагах от обучающего и целится в его правый глаз! А обучающий этим правым глазом следит, правильно ли тот прикладывает ружье. — Евгений жмурился, показывая, как целится застрельщик и смотрит в дуло ружья обучающий. — Иногда на полку насыпают порох, только тогда целится обучающий, чтобы ученик научился не бояться вспышки пороха.

— Так ведь на четырех шагах да в глаз — это верная смерть, — ужаснулся против воли Кюхельбекер.

— На шести может быть то же, Виля, — усмехнулся Боратынский и переглянулся с Пушкиным.

— И все-таки лучше на шести, — не так уже напористо сказал Вильгельм. — В глаз это варварство какое-то.

Через два часа уже ехали на Волково поле, где обыкновенно происходили дуэли, Дельвиг с Кюхельбекером, Боратынский с Пушкиным.

Тянули жребий. Кюхельбекеру досталось стрелять первому.

— Слава Богу, — усмехнулся Пушкин.

Дельвиг, стоя неподалеку от Кюхельбекера, который уже поспешил занять позицию, в последний раз предложил примириться. Пушкин, в который раз уже, согласился. Но Вильгельм замахал руками и закричал на одной ноте:

— Не хочу-у! Только стреляться! К барьеру!

— Пусть стреляет, — спокойно сказал Пушкин, вставая к барьеру и поворачиваясь лицом, и вдруг, засмеявшись, крикнул Дельвигу: — Барон, лучше встань на мое место! Здесь безопасней!

— Что?! — снова вскричал Кюхельбекер и резко повернулся к Дельвигу, рука его дрогнула, и он нажал на курок. Пуля пробила фуражку у Дельвига.

— Ого! Забавно, — сказал барон, снимая фуражку и рассматривая дырку.

Пушкин захохотал и, отбросив пистолет в снег, побежал к Кюхельбекеру.

— Встань к барьеру! Стреляй! — кричал тот. — Стреляй! Так не честно!

Но Пушкин обнял его:

— Полно дурачиться, мой милый, пойдем чай пить, коли ты водки не пьешь!

— К тому же в ствол набился снег — стрелять нельзя! — подошел к ним Боратынский, неся пистолет Пушкина.

— Подайте друг другу руки, — предложил барон.

Кюхельбекер улыбнулся. После нечаянного выстрела всю злость и обиду как рукой сняло. Он охотно подал Пушкину руку.

Об этой дуэли много было говорено в литературных кругах, Николай Греч договорился даже до того, что пистолеты были заряжены клюквой, потому дело и кончилось ничем. Но, слава Богу, его слова не дошли до друзей, а иначе не избежать бы еще одной дуэли.

Но словечко «кюхельбекерно» на долгое время застряло в обиходе друзей. А над эпиграммой больше всех смеялся Василий Андреевич. И повторял ее при каждом удобном случае. Тем более что он часто страдал расстройством желудка, любил сообщать подробности своего пищеварения и частенько пердел за столом даже при дамах. Как-то не удержался за чаем у Катерины Андреевны Карамзиной и извинился тем, что ему кюхельбекерно. Ее девочки и мальчики очень смеялись, а маленький Андрей ответно салютовал Жуковскому задорной трелью.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

в которой описываются путешествия Александра I за весь 1818 год. — Княжна Туркестанова в свите матери-императрицы посещает тайного советника Гёте. — Неожиданный обморок. — Княжна рождает девочку и принимает яд. — Князь Вольдемар Голицын. — Тайное крещение «воспитанницы» Татариновой. — Владимир Лукич Боровиковский душою слаб. — Зима—весна 1919 года

В конце декабря 1818 года государь вернулся в Царское Село из заграничного путешествия. Новый, 1818 год государь встречал в Москве, теперь намеревался встретить год 1819 в столице. Первую половину прошедшего года он ездил по своим владениям: сначала в Варшаву на первый конституционный сейм, потом в Бессарабию, Кишинев, Одессу,

снова вернулся в Москву, где повидал месячного шефа лейб-гвардии Гусарского полка великого князя Александра Николаевича, своего племянника, и принял короля Прусского Фридриха-Вильгельма, отца великой княгини Александры Федоровны, предпринявшего поездку в Россию по случаю рождения внука-первенца; в августе, уже из Петербурга, куда вернулся и весь двор, Александр уехал на конгресс в Аахене, затем на один день в Париж, потом в Брюссель, где встретился с сестрой Анной, принцессой Оранской, в августе родившей второго сына, названного в честь него Александром, откуда через Аахен и Франкфурт проследовал в Карлсруэ, столицу герцогства Баденского, где навестил императрицу Елисавету Алексеевну, гостившую у родителей; в Штутгарте он посетил сестру Екатерину, ставшую королевой Вюртембергской, а в Веймаре — вторично за этот год сестру Марию, принцессу Саксен-Веймарскую, у которой гостила императрица Мария Федоровна. Наконец через Вену, Брест и Минск он возвратился в родное Царское Село. С начала 1818 года и до 22 декабря, дня его возвращения, он проехал, как сам прикинул по картам, по дорогам России и Европы 14 тысяч километров. Сердце его нигде не находило покоя.

Разное случалось в дороге, но особенно запомнился приезд в Париж после конгресса в Аахене, где был подписан протокол о выводе союзных войск из Франции, которым была поставлена точка в войне. В провинции Валансьен он провел смотр русского экспедиционного корпуса, после чего на один день заехал в Париж и хотел было ехать в Брюссель, но тут ему сообщили, что на него готовится нападение. Сторонники Наполеона будто бы хотели захватить его в заложники, чтобы потребовать обязательства выпустить Наполеона. Они должны были напасть на карету, когда он будет ехать из Парижа в Брюссель.

Александр размышлял недолго, хотя сердце его сжималось от недобрых предчувствий. Судьба, которую он столько раз испытывал, посылала ему новое испытание, но он не стал усиливать свою охрану, не испугался, даже не изменил своего маршрута, а фуражку, в которой всегда ездил в дороге, сменил на треугольную шляпу с белым плюмажем, чтобы заговорщики могли узнать его издалека, после чего

полностью вверился судьбе. Безусловно, его охраняла местная полиция. На французской территории за его охрану взялась французская полиция и жандармерия, на бельгийской — нидерландская полиция вновь созданного на Венском конгрессе Нидерландского королевства, объединившего Бельгию и Голландию, но полицейские посты на пути следования императора Александра I были расставлены так, чтобы не попадаться ему на глаза. Часть полицейских, переодетых в крестьянское платье, прятались под мостами, сидели в телегах на перекрестках дорог и даже на деревьях. Все, к счастью, обошлось, и в Брюсселе Александр Павлович везде появлялся без охраны, во фраке, вызывая восторженные чувства бельгийцев, поверивших в слухи о покушении и восхищавшихся бесстрашием русского императора.

Перед самым Новым годом вернулась из Европы и императрица-мать, двор готовился к зимним празднествам, как вдруг было получено известие, что скоропостижно скончалась Екатерина Павловна, королева Вюртембергская, проболев не более суток. Смерть любимейшей сестры, которую он видел всего несколько недель назад, потрясла Александра. Нелепая смерть, по официальной версии от рожи на голове. Но его же никогда не оставляла мысль, что французская болезнь, несколько раз возвращавшаяся к нему со времен юности, так никогда до конца и не долеченная, резко проявилась у его сестры, о чем, разумеется, в официальном заключении врачей сообщено быть не могло. В таких заключениях почти никогда не пишут правды. Достаточно вспомнить заключение о смерти батюшки: скончался от апоплексического удара.

Вместе с вдовствующей императрицей вернулась из чужих краев и княжна Туркестанова, которая сопровождала ее в поездке. Варенька осунулась и почти не выходила из своих покоев. С летних свиданий, резко прерванных после того, как Александр столкнулся у нее со своим флигель-адъютантом князем Голицыным, император встретил ее один-единственный раз, когда навещал матушку при Веймарском дворе, и теперь был поражен изменениями в ней, произошедшими за считанные недели. В этот раз они говорили всего несколько минут, Александр смотрел в ее несчастные глаза и понимал, что прежней любви уже нет, да и была ли она! Осталась только жалость к этой стареющей

женщине. Куда делась ее красота, она отцвела в сжатый срок, как разителен был этот переход от невинной девы к старухе. Видно, это понимала и сама княжна, которой никто не мог отказать в уме и проницательности.

Безусловно, она поняла, что все кончено. Поняла, когда встретила его еще в Веймаре, надеясь хоть на одно тайное свидание и какое-то объяснение, хотя в глубине души она знала, что никакое объяснение ничего не даст: она виновата перед ним, виновата перед Богом. Он вел себя с ней, как и с другими фрейлинами, подчеркнуто вежливо и отчужденно. Теперешняя встреча убедила ее окончательно в том, о чем она догадывалась уже с осени: кратковременный роман окончен. И она знала, что по ее вине.

Еще осенью княжна Туркестанова была назначена сопровождать императрицу-мать в поездке по Европе и обрадовалась этой поездке, главной целью которой было посещение императрицей Марией Федоровной дворов своих дочерей — Марии Павловны, наследной принцессы Саксен-Веймарской, Анны Павловны, принцессы Оранской, и Екатерины Павловны, королевы Вюртембергской. При этом княжна была удостоена чести ехать в карете ее величества. Как тогда шутили, что императрицу сопровождают: Александр Львович Нарышкин — для шуток, княжна Туркестанова — для ума, гофмаршал Петр Романович Альбедил, вице-президент Придворной конторы, — для денег, графиня Софья Самойлова, фрейлина, — для смазливой рожцы, статс-дама графиня Ливен — для порядка и просто фрейлина Нелидова.

Первая остановка была на несколько дней в Варшаве, но надолго они расположились только в Веймаре. Уже в самом начале пути княжна почувствовала нараставшее недомогание, ее тошнило в дороге по утрам, но к врачам она пока что не обращалась. После обильных обедов она недомевала, как немцы могут столько есть, и даже шутила про старика-немца, бывшего как-то ее соседом за столом, что если он не умер, а, напротив, появился еще и за ужином, то это означает только одно: он — бессмертен!

В Веймаре ей посчастливилось увидеть великого поэта Гёте, тайного советника Гёте, с которым дружила Мария Павловна, наследная принцесса Саксен-Веймарская. Марию Павловну боготворили в герцогстве, она покровительство-

вала искусствам. Великий поэт был представлен императрице Марии Федоровне. В том, что он говорил, княжна Туркестанова напрасно искала следы его пламенного воображения: перед нею был холодный и рассчитанно-приличный царедворец. Его движения как-то странно противоречили прекрасной и благородной его наружности, напоминающей античные изваяния Юпитера. Низкопоклонный бог-царедворец, вполне удовлетворенный лентою и чином, что могло быть удивительнее. По его приглашению императрица со свитой посетила дом тайного советника, где дочь ее бывала почти каждую неделю.

Тайный советник, одетый во все черное, со звездой на груди, принимал их в плафонной комнате, где над красным диваном висела картина, изображавшая свадьбу. Императрица обратила внимание на понравившееся ей полотно.

— Да, — согласился с ее оценкой Гёте. Взор его несколько оживился. — У стариков были не только большие замыслы, они умели также и воплощать их. У нас, современных художников, тоже имеются большие замыслы, но мы редко способны с такой силой и жизненной свежестью осуществить их, как задумали.

Императрица улыбнулась своей фрейлине, приглашая ее к разговору, и княжна Туркестанова добавила:

— Человеку всегда свойственно чувствовать больше, чем он может выразить. Художник тем и отличается от обыкновенного человека, что разрыв между чувством и его выражением у него меньше.

Благодаря отодвинутым зеленым занавесям на окне картина была хорошо освещена. Гёте заговорил о свете, что он ни в коем случае не есть смешение различных цветов; свет не может сам по себе создавать никаких цветов, для этого необходима известная модификация и смесь света и тени.

Гёте сказал, что в последнее время работает над учением о цветах.

— Нам, немцам, вообще свойственно разъять гармонию, посмотреть, из каких кирпичиков составлено мироздание.

— Для меня учение о цветах есть китайская грамота, — сказала императрица.

— Если бы вы, ваше величество, — обратилась принцесса Мария Павловна к матери, — присутствовали на опытах,

которые проводит господин тайный советник, вам открылись бы многие тайны.

— В библиотеке великого герцога, — почтительно улыбнулся Гёте, — есть глобус, который был изготовлен в царствование Карла V одним испанцем; на нем имеются значительные надписи, как, например, следующая: «Китайцы суть народ, который имеет много общего с немцами».

— Вы меня убедили, я немка по рождению и, пожалуй, займусь этой китайской грамотой, — согласилась императрица.

— Я хотел бы, чтобы и в вашей Академии наук повторили мои опыты для сравнения результатов. Получение независимых результатов совершенно необходимо для науки, — пояснил Гёте. — Я уже заготовил письма вашему новому президенту господину Уварову, они касаются не только моего учения о цветах...

— Я готова сама, — предложила императрица, — передать ваши послания Сергею Семеновичу, тем более что он часто бывает на моих вечерних посиделках в Павловске, где мы читаем последние новинки европейской литературы, в том числе и ваши сочинения, господин тайный советник.

Гёте отвесил благодарный поклон, после чего предложил перейти в гостиную и послушать, как правительственный советник Шмит, гость Гёте, исполняет Бетховена.

Неожиданно, когда шли анфиладами комнат, рассматривая картины, висевшие по стенам, княжна Туркестанова упала в обморок. Срочно послали за доктором, а высочайшие особы перешли в гостиную. Госпожа фон Гёте, невестка поэта, оставшись с пришедшей в себя Варенькой, которую уложили на кушетку, наклонилась над ней и тихонько спросила:

— Милая, мне кажется, что вы ждете ребенка.

Княжна снова потеряла сознание. Потом постепенно до нее стали доноситься звуки рояля, значит, советник Шмит играл все-таки Бетховена. И она заплакала, поняв, что с ней произошло.

— Прошу вас... — умоляюще обратилась она к госпоже фон Гёте.

Княжна была умна, проницательна, но наивна в житейских вопросах, а потому очень долго не догадывалась, что

забеременела, и теперь впервые услышала об этом из уст мадам фон Гёте. Лейб-медик императрицы Рульль продолжал и после этого случая давать ей лекарства от женских недугов. Ей не к кому было обратиться, посоветоваться, наконец, просто поделиться; немецкие доктора, приглашенные для консультаций, не знали всей правды, не знала этого императрица и уж тем более другие фрейлины, девицы много младше ее. Гофмейстерина графиня Ливен, правда, поглядывала на нее подозрительно, но вслух ни о чем ни с княжной, ни с императрицей не говорила.

Княжна и после того, как узнала об этом, затаилась и тщательно скрывала свое положение. Правда открылась только по возвращении в Россию, когда беременность стало трудно скрывать.

Императрица Мария Федоровна, одна из немногих, кто знал, что ее сын навещал княжну Туркестанову, сказала ему об этом.

Александр только пожал плечами, он не знал, что делать.

— Может быть, отправить ее куда-нибудь за границу? — предположил он.

— Это скандал, — решительно отвергла эту мысль Мария Федоровна, — она будет рожать под моим присмотром. В строжайшей тайне. В моем дворце.

— Хорошо, — согласился он.

— Знаешь ли ты, что княжна, как говорят, была в связи с князем Владимиром Голицыным?

Александр кивнул, не отвечая, ибо разговор об этом был ему неприятен. Он помнил ту августовскую ночь. Князь Голицын явился неожиданно, когда он был у княжны. Визит в такое время мог означать только очень близкие отношения, и княжна, плача, во всем призналась государю. С тех пор его не оставляла мысль, что он существует у своих женщин на вторых ролях, и эта неотвязная мысль была ему крайне неприятна. Отчего-то он вспомнил мадемуазель Жорж, эту французскую актрису, которую привез из Парижа Александр Бенкендорф и предоставил на пробу ему и великому князю Константину. Александр продегустировал комедиантку из любопытства, что могло в ней привлечь Наполеона, и не нашел ничего интересного. Страсть ее была искусственна, крики в постели деланы и излишне экзальтированы.

ны. Константин же со свойственным ему кавалерийским юмором сказал, что любая лошадь в его Конно-гвардейском полку ебется лучше, чем эта французская блядь. Больше ни он, ни Константин к актерке не возвращались, чем вызвали в ней неподдельную ненависть за разрушенные надежды, которые она питала, отправляясь в Россию за счастьем и деньгами, и даже обвинения в том, что русский император — импотент. О ее наветах, смеясь, поведал ему в Париже граф Толстой, его конфидент в любовных похождениях.

— Я думаю, Александр, — услышал он голос матери, — что князь не откажется взять ребенка. Не помещать же дитя в воспитательный дом. Но я думаю, что князя хорошо бы негласно убрать на это время из Петербурга.

Александр согласился с матерью, и его флигель-адъютант был произведен в майоры и переведен из лейб-гвардии Конно-егерского полка в Тираспольский конно-егерский полк, стоявший в Тамбове. Хотя флигель-адъютантский чин был за ним сохранен.

Сама княжна понимала, что такого позора ей не пережить. Она твердо решила покончить с собой, но ей было жаль будущего ребенка, хотя она и не знала, от кого этот ребенок, от государя или от добродушного великана Вольдемара Голицына.

Уезжая, Вольдемар встретился с княжной Туркестановой. Княжна взяла с него слово, что если с ней что-нибудь случится, то он возьмет ребенка и воспитает его как своего.

Князь был добрым, беспечным и веселым малым. Он не мог знать, что задумала княжна. Подобной мысли ему самому никогда не пришло бы в голову, и он не мог предположить ее в других. Он даже не чувствовал за собой особенной вины за эту интрижку, продолжал играть в гостиных на фортепьяно, петь сатирические куплеты собственного сочинения и ночи напролет отписывать мелом на зеленом сукне. В конце января он уехал в Тамбов, обещая ей писать, и свое обещание сдержал.

Княжна родила девочку, которую у нее сразу забрали. Она попросила назвать девочку Мими и крестить Марией. В эту же ночь княжна приняла яд, но то ли яд был слаб, то ли доза маловата, сразу она не умерла. Мучения ее длились несколько недель. Было сообщено, что у княжны холера. Им-

ператрица приходила к постели любимой фрейлины и читала ей Евангелие.

В конце концов доктор Руль сказал княжне по ее просьбе правду о том, что надежды на выздоровление никакой нет.

Княжна улыбнулась слабой улыбкой и сказала:

— Я давно знаю об этом и свыклась с мыслью о смерти.

Перед смертью она попросила императрицу, чтобы та позволила ей увидеть императора Александра. Императрица с сожалением, но с твердым духом отказала любимице. Варенька смирилась и с этим. Причастилась и по весне тихо отошла. Был конец мая, под окном комнаты, где она лежала, уже допевали соловьи.

Великий сплетник Александр Тургенев отметил в своем письме князю Вяземскому это событие:

«Вчера скончалась княжна Туркестанова. Что ни говори, но она была и добрая, и любезная, и необыкновенно умная женщина. Благодетельствовала многим, несмотря на недостаточное состояние, и оставила приятные воспоминания в многочисленном знакомстве. Государыня Мария Федоровна накануне смерти навестила ее; а сегодня и в Павловске, несмотря на праздник, нет приему, вероятно, в память о ней. Но все эти почести не помешали спустить ее из окна, ибо мертвые во дворце в двери не ходят».

Правды о том, что случилось с Варенькой Туркестановой, никогда не узнала императрица Елисавета Алексеевна, она написала своей матери Амалии Баденской, что княжна Туркестанова умерла 20 мая от последствий холеры.

По Петербургу ходили слухи об этой странной смерти, возникшие еще до самой смерти. Всем было понятно, что она умрет, ибо тогда уже шепотом говорили про яд. Говорили и про ребенка, но, как всегда, когда слухи питаются не фактами, а домыслами, совершенно разные вещи.

Князь Владимир Голицын взял дочь в свою семью. Но сплетни преследовали его всю жизнь, рассказывали, что он соблазнил княжну на спор с товарищами, что он подкупил горничную и та подлила княжне наркотическое вещество, после чего он ее изнасиловал. Говорили, что, когда стало известно о ее беременности, князь из трусости пал к ногам императора. Говорили, что князь отравил княжну Туркестанову, чтобы, наоборот, ничто не открылось. Потом

стали говорить, что князь царские грехи взял на себя; сам князь никогда не опровергал никакие слухи. Он любил дочь, как свою.

Почти в то же время родила девочку и Екатерина Филипповна Татаринова.

Пророчица вернулась с крошечным ребенком из поездки к матери в Остзейский край, где у той было родовое имение, малышку она привезла в Петербург как свою воспитанницу, безродного подкидыша. Многие в это поверили, но не Мартын Степанович Пилецкий. Как верный пес, заглядывающий в глаза хозяину, он сразу подметил, как Екатерина Филипповна смотрит на девочку, как искрятся глаза у матушки. Он знал, что по времени это не его ребенок, а когда пронюхал, что на тайное крещение был приглашен сам император, то захлебнулся от охватившего его озноба при величии момента. Государь крестит детей у своих ближайших родственников либо у генерал-адъютантов и высших придворных, а мамушка не придворная и не генерал-адъютант, тем более не родственница, стало быть... тут тайна. Его охватывала прекрасная жуть от пришедшей в голову мысли. Уж не та ли это девица непорочная, о которой ему пророчили пророки у Кондратия Селиванова?! Все сходилось. Ведь сказали ему тогда пророки, что придет он к пророчице (Татариновой), и пришел, а та пророчица родит от царя земного (Александра Павловича), внука плотского царя небесного (царем небесным скопцы почитали самого Селиванова, объявлявшего себя чудом спасшимся от убийства Петром III), и будет сия девица непорочная, и будет он (Мартын Степанович) жить с девицей непорочной (Анной Александровной) в церковном браке, как Иосиф с Марией, как убеленный с убеленною, до самой смерти своей... Он решил посвятить себя этому ребенку во что бы то ни стало и воочию убедиться, что пророчество до конца исполнится.

Татаринова через князя Александра Николаевича Голицына позвала государя на тайное крещение с тем, чтобы он был восприемником. Он соблаговолил явиться. Смотря на очередную девочку, Александр думал, что девочки — это знамение Божье: девочки, девочки рождаются и умирают,

всего один мальчик, шестилетний Эммануил Нарышкин, да и тот, кажется, не его сын.

«У меня нет и, теперь уже ясно, не может быть наследника», — думал он, глядя на ребенка в купели. Пора решать с вопросом о престолонаследии. С этого момента, когда он стоял рядом с купелью, где крестили маленькое дитя и нарекали ее Анной Александровной, с отчеством в честь ее восприемника, Александр Павлович решил окончательно, что престол надо передать брату Николаю.

У Константина есть только один внебрачный сын Павел, получивший по имени императора, который был при крещении восприемником, фамилию Александров, да и то, поговаривают, что сын не Константина, ибо англичанка, когда-то бывшая замужем за офицером русской службы Фридрихсом и давно разведенная с ним, с которой великий князь до сих пор жил, зачала сына не от Константина, а от кого-то другого, желая покрепче привязать любовника к себе: сам Константин, как говорил Александру лейб-медик Виллие, был бесплоден, но, кажется, не знал этого. Да, пора определиться. Иногда ему приходит мысль абдикировать, то есть отречься от престола, и сделаться частным лицом. Благо у Николая будет прелестный легитимный наследник великий князь Александр Николаевич, единственно возможный прямой наследник Павла по мужской линии. Надо бы поговорить с молодой великокняжеской четой, выбрав удобное время, пусть знают, что им придется царствовать, ведь Константин, имевший почти врожденное отвращение к трону и никогда не желавший царствовать, уже вполне и определенно в частных беседах с ним от этого не раз отказывался. Пусть счастливая молодая чета узнает о его решении раньше, а не тогда, когда наступит срок.

— От непорочной Анны родится Мария, от непорочной Марии придет на Землю Иисус Христос, — услышал он тихие нашептывания Екатерины Филипповны, наблюдавшей за оглашением и искося за ним.

«Кругом ложь, как жить с этой ложью? Вот и сейчас оба родителя стоят при обряде крещения, хотя по церковным канонам должны находиться вне церкви, и разыгрывают из себя восприемников, то есть крестных родителей. Зачем я вообще согласился быть восприемником?

Уйти бы от этой лжи, сменить имя, облик, укрыться в просторах необъятной страны и лишь издалека наблюдать, как живут они, бывшие его родственники и придворные, как царят и прислуживаются, как воруют и проживаются, как женятся и мрут. Издалека, словно частное лицо. Как простой мещанин. Или купец. Отпустить бороду, чтобы не узнали, и жениться на купеческой дочери где-нибудь в маленьком городке. А куда же денется Елисавета? Не подумал... Не быть же двоеженцем? Тогда спрятаться в монастыре? В скиту... И жене стать монахиней. А на что жить? Послать заранее деньги, но от двора нельзя, а кому довериться? Разболтают вмиг, не осталось надежных людей, а были ли они? Волконский разве...»

Он повернулся к Татариновой и увидел, что она поглядывает на него искрящимися хитроватыми глазками, вроде бы просветленными от торжества минуты, но все же блудливыми, самковатыми, любострастными.

«Похотливая сучка, выносили в чреве царское дитя», — подумал он и отвернулся; хотелось плакать. И вдруг он вспомнил, что про ныне покойного мужа Татариновой полковника Ивана Михайловича говорили, что это он душил батюшку шарфом, кажется, с князем Яшвилем да Мансуровым.

— Прости меня, Господи, как все запуталось!

Вечером у Татариновой, пока все пели, в белом балахоне, босой, пробрался в комнату, где находился ребенок, и стоял над его колыбелью, едва дыша, Мартын Степанович. Девочка лежала в кружевном пакете, вся в розовых лентах, спала.

— Анна Александровна, — шептал Пилецкий. — Анна Александровна, дитя невинное, ниспосланное с небес, до конца века моего буду служить тебе, как верный раб.

— Плачу и рыдаю... — доносилось из моленной.

«Надобно запечатлеть лик младенца... Он ангел лепостью земной, так писали про самого Александра Павловича, и как не сказать то же самое про его младенца! По какому праву дух мира и лести, — с неприязнью вспомнил Мартын Степанович о дьяволе, — присвоил себе пение, музыку, живопись, бесценный дар слова и прочие дарования?! Они опять должны быть возвращены Богу, своему началу».

Вскоре он привел своего свояка, известного художника Владимира Лукича Боровиковского, в корабль Татариновой. Владимир Лукич был душою слаб, напивался почти каждый вечер, а по утрам искал Бога и молился, отбивая лоб перед образами. Екатерина Филипповна приняла его, обласкала, милосердно пророчила, не осуждая грехов художника, а когда он растрогался и целовал руки у матушки, подарила пятнадцать рублей на раму да столько же на краски, попросив написать картину с пророчествующим Никитой Ивановичем, а перед ним все братья и сестры на коленях, и ее самое с младенцем на руках.

— Напиши девочку, — просил его Пилецкий, провожая художника до дому на Миллионной улице, где тот жил уже без малого двадцать лет.

— Трудно, — вздыхал художник. — Младенец мал. Образа не имеет...

Около дома толпились нищие, которым по субботам подавал Владимир Лукич. Они окружили подошедших.

— Как не имеет? — отбивался от назойливых нищих Пилецкий. — Ангел во плоти... Крылушки напиши... Пошел-пошел, — толкнул он одного из побирушек взашей. — Я тебе рома, Владимир Лукич, знатного принесу. Чай будешь пить с ромом. Ты ведь любишь чай с ромом, Владимир Лукич?

— Люблю. Детей Божьих не трогай...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

в которой Пушкин приобретает новых друзей. —

Книжный граф Соболевский. — Павел Воинович Нащокин и его дворня. — Карла-головастик. — Китаец Мартын, привезенный в чемодане. — Буфетчик Севолда.

— Модинька Корф колотит слугу Пушкина и отказывается стреляться с Пушкиным. —

Весна 1819 года

С недавних пор у Саши Пушкина появились новые друзья, соученики брата Левушки. Ибис, Сергей Александрович Соболевский, явившийся однажды утром к Пушкину в Коломну, был одним из них. Внебрачный сын московского богача Александра Николаевича Соймонова, рослый и стат-

ный в свои шестнадцать лет малый, остроумный и начитанный собеседник. Он всунул свой бесконечный и острый нос, за который в пансионе его и прозвали Ибисом, в комнату к Пушкину и сказал:

— Шушка, пойдем к Нашоке? Я слышал, там затевается нечто невообразимое.

— Пожалуйте, ваше высокослеповронство! Посидите, пока я закончу, — отвечал Пушкин, не выпуская пера из рук и не поднимая головы. На полу рядом с кроватью лежали стопками нераскрытые книги, а некоторые, развернутые, лежали страницами вниз.

Белобрысому сыну любви Соймонова был выбран польский герб Слепой Ворон, принадлежащий вымершему роду Соболевских, и куплено дворянское звание, отсюда и величали его «высокослеповронством». Ибис ни на что не обижался, а пулял в насмешников эпиграммами, порой очень обидными. Человек он был не только остроумный, но и умный, начинал писать и лирические стихи, но, познакомившись с Сашей Пушкиным, быстро забросил это занятие, без всякого, надо сказать, принуждения со стороны нового друга. Просто раз и навсегда про себя все понял.

— Что ж, — улыбался он, когда называли его Ибисом или величали «высокослеповронством», — ибис птица не жирная; ее есть нельзя; но египетская мудрость ей поклоняется. Даже великий бог египетский Тот изображается с головой ибиса. А ворон птица мудрая, слепой — вдвойне, и тоже в пищу не годится, к тому же живет долго.

Соболевский получал в пансионе от отца по двести пятьдесят рублей в месяц на книги и лакомства. Книг он покупал много, жадно проглатывал вместе со сладостями из кондитерской и часто потом раздаивал. Дарил кое-что и Пушкину, поэт до книг всегда был охоч. Но у Соболевского страсть к книгам была особая, он уже в юном возрасте понимал, что такое уникам и особый переплет. Зародившаяся в ранней юности страсть к книгам осталась в нем на всю жизнь. Он и сейчас явился со стопкой французских книжек, которые забрал у своего переплетчика.

Павел Нашокин, знакомый Пушкину еще по царско-сельскому пансиону и короткое время учившийся с Левушкой в пансионе при Педагогическом институте, к девятнадцатому году уже благополучно бросил всякую учебу, пото-

му и остался на всю жизнь полуграмотным, несмотря на хороший вкус и любовь к литературе. 25 марта 1819 года он вступил в военную службу подпрапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка, ждал офицерского чина. Друзья прозвали его Нащокой, так звали одного из его предков, боярина Дмитрия Нащоку, служившего великому князю Симеону Гордому и имевшему на щеке отметину от татарской кривой сабли. Отец Павла Воиновича, генерал-поручик Воин Васильевич Нащокин, умер давно, а мать новоиспеченного гвардейца-измайловца, Клеопатра Петровна, баловала сына свыше всякой меры и никогда не отказывала в деньгах.

Хотя Нащокин и жил с матерью в квартире на Литейной, однако он снял целый бельэтаж в большом доме на Фонтанке, где предался в свободное от дежурств и строя время свободной и совершенно независимой жизни. Он был в полной мере то, что французы называют *viveur*, то есть прожигатель жизни. И прожигать ее вместе с ним всегда было приятно, ибо он сам эпикурействовал с размахом и удовольствием и другим потворствовал в любых желаниях.

Пока его бывшие друзья по пансиону посещали занятия, слушали лекции Куницына и Галича, лицейских преподавателей, и Вильгельма Кюхельбекера, у которого в мезонине Педагогического института любили собираться, восемнадцатилетний Поль Нащокин вел жизнь разгульную. Деньги ему были нипочем. Он покупал все, что попадало ему на глаза: китайские вазы, французские безделушки, фарфор, бронзу, все подряд, что бы ни стоило. Самое большое удовольствие ему доставляло купить вещь и в тот же день подарить ее кому-нибудь из своих друзей, а то и просто новому знакомцу, которого он мог и не увидеть впоследствии.

В наследство от отца Воина Васильевича остались ему его потешные люди, дураки, которых он выписал из отцовского имения, где они тосковали после смерти батюшки, и поселил в своей необъятной квартире. Главным среди этой балаганной компании был дворецкий Алексей Федорович, но за глаза его все звали Карла-головастик. Старый и умный как бес карлик был долгие годы домашним дураком фамилии Нащокиных; ходил он даже дома в большом средневековом бархатном берете, сдвинутом набок, в коротких штанишках, кюлотах, камзоле с золотыми пуговицами и в туф-

лях на больших каблуках с золотыми же пряжками. В прежние времена при батюшке он едал жареных галок и ворон, в степи сажали его на дикую лошадь и пускали на волю Божию, он был очень силен в ногах и со своими кривыми ногами очень крепок на лошади; бывало, травили его козлом рогатым, которого он ловко кидал под ножку, кидали с балкона вниз головой на ковер да подкидывали в несколько рук обратно, короче, Алексей Федорович не даром ел хлеб свой. Но Павел Воинович, любя его и уважая, сделал дворецким, и карлик превосходно с этой должностью справлялся. Вместе с ним управляла всем старая и безобразная арапка Мария, старуха высокого роста, которая еще при отце его исполняла роль камердинера и была в том же качестве и теперь. Она ходила в русском сарафане и кокошнике, расшитом мелким белым и черным жемчугом из наших северных рек, следила за всеми дураками и была беспутную дворню деревянной скалкой. Поля она любила беззаветно и на все безрассудства веселой компании смотрела сквозь пальцы.

По бесконечным анфиладам нащокинского бельэтажа как тень слонялся боязливый китаец Мартын, совершенная кукла, произносившая всего два слова: «Бурррр!», когда он обращался к господам, и «ава», когда величал дам. Этого китайца отец Нащокина купил когда-то за 1000 червонцев у купца, который привез его в чемодане. Воспоминание о заточении в чемодане, видимо, было самым страшным в его жизни, и угроза запереть его в чемодан, чем, бывало, пользовался Карла-головастик, приводила его в трепет.

Еще у Нащокина проживал буфетчик Севолда, тоже наследство отца, толстый, румяный, белокурый, среднего роста, он любил ходить в голубом фраке и красном камзоле, обшитом золотым галуном, в чулках по моде павловского времени и башмаках. Когда он не подавал ничего из буфета, то просто сидел на стуле в столовой и спокойно вязал чулок. Нащокина он любил, как сына, ибо присутствовал при его рождении и любил об этом рассказывать. Родился Поль за полночь, в ночь с 14 на 15 декабря то ли 800, то ли 801, то ли 802-го года. Севолда точно помнил, что за полночь, точно помнил число, а год запомнил. То ли при императоре Павле, то ли уже при Александре, говорил он. Отец новорожденного в честь знаменательного события вы-

пил рюмку мадеры с крепостным и домашним подлекарем, вывезенным из Польши жидком, маленьким, худеньким, черненьким, с впалыми сверкающими глазами, курносый и с впадиной на подбородке, в старом сюртучке. Мадеру им подавал Севолда, и вот об этой-то рюмке мадеры он рассказывал всем и каждому, кто имел желание его слушать. Он больше ничего не помнил, помнил только ту рюмку мадеры да кто в чем был одет. Батюшка Поля был в жупане, заменявшем у него наши нынешние халаты, да в плисовых сапогах, ибо, как и все баре того времени, он имел подагру. Итак, что было совершенно точно, так это: время — за полночь, месяц декабрь, год неизвестен, рюмка мадеры, жидок подлекарь, жупан, плисовые сапожки да подагра. А новорожденный надывается в соседней комнате. Глотка луженая. Клеопатра Петровна после родов заснула.

Когда Севолда рассказывал о сем знаменательном событии Саше Пушкину, тому сразу вспомнился барин прежнего времени князь Юрий Александрович Неледицкий-Мелецкий, его плисовые сапожки и выдуманная подагра.

Закончив свой рассказ, Севолда подал ему рюмку мадеры, той самой:

— Откушайте, Александр Сергеевич, за здоровье Павла Воиныча!

— За Воиныча с удовольствием!

Дворянка Нашокина, привыкшая к безобразиям и жуткому характеру его отца, легко сносила сравнительно милые чудачества и распутства сына. Карла-головастик, которого теперь никто не кидал головой вниз с балкона, однажды поведал Пушкину историю о том, как отец Нашокина дал пощечину самому Суворову.

— Покойный Воин Васильевич, — рассказывал крохотный дворецкий, взгромоздясь на высокое кресло и подбрав под себя короткие ножки, — был роста маленького, но сложения сильного, гордый и вспыльчивый до крайности. После одного похода, в котором Воин Васильевич отличился, он вместо всякой награды выпросил себе и многим своим офицерам отпуск и уехал с ними в деревню, где и жил несколько месяцев, занимаясь охотой. Между тем вновь начались военные действия. Суворов успел отличиться, и Воин Васильевич, возвратясь в армию, застал его уже в Александровской ленте. «Так-то, батюшка Воин Василье-

вич, пока вы травили зайцев, я затравил красного зверя». Шутка показалась Воину Васильевичу обидной, он дал Суворову пощечину. Суворов перевертелся, вышел, сел в перекладную, — дальше уже шли невероятные подробности, которые карлик рассказывал, качая своей крупной, почти квадратной головой и размахивая короткими ручками, — и поскакал в Петербург. Там он бросился в ноги государыне, жалуясь на обидчика. Екатерина, во избежание напрасного шума, решила дать Нащокину Георгия, но добавила, что он получает орден по личному ходатайству Суворова. Он не принял ордена, сказав, что не хочет быть никому обязанным, кроме как самому себе. Можете себе представить, что он, батюшка Воин Васильевич, мог сделать с остальными, если уж самому Суворову влепил пощечину? — вздыхал старый карлик, видимо, что-то вспоминая из прошлой жизни.

Младший Нащокин был назван Павлом в честь императора Павла, в то время еще царствовавшего, а может быть, уже и убиенного. Во всяком случае генерал-поручик Нащокин свято чтит его память: в день коронации Павла, 5 апреля 1797 года, он был удостоен ордена Святой Анны II класса и пожалован 500 душами, но попросился в отставку, когда император стал звать его в службу, прямо сказав Павлу Петровичу:

— Вы горячи, и я горяч; служба впрок мне не пойдет! — и удалился в пожалованную деревню.

Вообще он никого не почитал не только высшим, но даже и равным себе. Князь Потемкин как-то заметил, что Воин Васильевич и о Боге отзывался хотя и с уважением, но всё как о низшем по чину, так что когда он был генерал-майором, то на Бога смотрел как на бригадира. Когда же Нащокин был пожалован в генерал-поручики, Потемкин заметил: «Ну, теперь и Бог попал у Нащокина в IV класс, в порядочные люди».

Мать Клеопатра Петровна, у которой Павел Воинович появлялся каждый день, почти всегда завтракал и изредка обедал, души в нем не чаяла и долгое время не подозревала о том, что творилось в огромной квартире на Фонтанке, где гости, званные и незванные, клубились у него с утра до вечера и даже ночи напролет.

Саша Пушкин знал, что во всякий час ночи можно завалиться сюда, одному или сам-друг, привести приятелей,

пусть и незнакомых Нащокину, а придя с дамой полусвета, найти свободный кабинет с парным матрасом, где тебя обслужат (сам он являлся сюда с Оленькой Массон, беспутной дочкой Шарля Массона, автора известных «Секретных записок о России», бывшего секретаря великого князя Александра Павловича), или провести вечер за картами, а заночевать вповалку прямо на полу в большой комнате, где ночевали, проводя ночь в разговорах, молодые холостяки, а чай и кофе им разносил молчаливый старый китаец, низко кланяясь каждому и произнося один только звук:

— Буррр! Буррр!

— Покажи-ка, что у тебя за книги? — спросил Пушкин Соболевского, закончив писать и положив перо.

— Буррр! — сказал Ибис с поклоном и показал ему французские книги, взятые от переплетчика. Он с крайней неохотой выпускал книги из своих рук; пальцы его крупных рук долго ласкали свежую кожу переплетов и касались подушечками золотых букв и орнамента тиснения, он еще не успел вдоволь ими насладиться.

Пушкин взял книги, начал листать, но вдруг бросил и снова схватился за перо, махнув Соболевскому, чтобы тот не мешал, и указал рукой на стол: возьми почитай новую главу.

Прочитав новые строфы «Руслана и Людмилы» и видя, что Пушкин закончил, Соболевский поинтересовался:

— Правда ли, что ты идешь в военную службу? Мне говорили, что ты собираешься в Тульчин, а оттуда — на Кавказ...

— Этот вопрос как-то связан с моими стихами? — спросил Пушкин сухо, продолжая взмахивать пером. Он не любил, когда его так напористо расспрашивают о чем-нибудь. Тем более что намерен он имел разговор с Алексеем Федоровичем Орловым, братом Михаила, и тот почти убедил его, что не стоит идти ему в военную службу.

— Напрямую: военная служба в твоем лице ничего не выиграет, а писателя с недюжинным дарованием мы лишимся.

— Ну лишимся — не лишимся, это еще вопрос спорный, — посмотрел на Соболевского Пушкин, — вовсе не обязательно, что меня убьют...

— Мы можем лишиться тебя, даже если ты будешь жив.

— Как ваш белоглазый Кавелин? — сменил тему разговора Пушкин. — Все притесняет тебя? Как ваши теологические споры?

— Все бы ничего, — отозвался Соболевский, — да вздумал теперь утверждать, что всю политическую экономию должно основывать на Евангелии.

— А куда же мы денем Адама Смита?

— Тебе смешно, а меня он пытается оставить в нижних классах, хотя по всем остальным предметам дела идут успешно.

— Я знаю, что надо сделать в таком случае. Позволь, я обращусь к Александру Ивановичу, нашему камергеру Тургеневу? Он наместник Бога в нашем отечестве, во всяком случае служит директором Департамента духовных дел, авось поможет тебе избежать инквизиторства Кавелина, ради их же Христа. Тем более Кавелин состоит членом «Арзамаса», коего членом состою и я.

— Был бы тебе благодарен, моему благодетелю Соймонову навряд ли понравится, если меня попрут из пансиона. — Он все еще держал листки поэмы в руках и спросил: — У тебя уже есть издатель? — Пушкин отрицательно покачал головой. — Дозволь мне, Александр, наблюдать за печатаньем поэмы, кто бы он ни был. Когда ты ее закончишь?

— Я ее начал еще в Лицее... — он вдруг махнул рукой, — а все сижу на четвертой песне... Когда закончу, тогда закончу, чего загадывать... В деревню собираюсь, там, возможно, дело пойдет. За пятую примусь. Так чего, ты сказал, ожидается сегодня у нашего Воиньча?

В это время они слышали доносившиеся со стороны лестницы крики и шум.

— Никита мой, кажется, орет!

Никита, камердинер Александра, орал как зарезанный. Пушкин с Соболевским выскочили в парадный подъезд и увидели этажом ниже, как Модинька Корф колотит увесистой палкой с серебряным набалдашником пушкинского слугу.

— Ты что делаешь, Модест? Ты убьешь его! — закричал Пушкин Корфу.

— Своего я уже выучил, теперь твоего пьяницу учу, если у тебя на это нету времени, — отвечал Корф, продолжая работать без усталости палкой.

— Это мой человек, — вскричал Пушкин. — Ежели он виноват, то учить его буду я! А ты, Модя, не суйся и не указывай мне, пожалуйста!

— Батюшка Александр Сергеевич! — взмолился Никита. — Забили насмерть ни за что ни про что! Ихний камердинер...

— Иди домой, Никита! — приказал Пушкин. — А от тебя, Модя, я требую извинений, и немедленно.

— Вот еще! Твой подлец завязал драку с моей сволочью, и я же еще проси извинения. — Он напосл едок врезал палкой по спине уходящему Никите.

— Ну это уж слишком! — вскричал Пушкин. — Стреляться! Вот мой секундант, — указал он на Соболевского, — решайте немедленно. Я согласен на любые условия. — И пошел наверх вслед за Никитой.

Соболевский представился и вопросительно посмотрел на Модеста Корфа. Тот улыбнулся ему и хладнокровно сказал:

— А я барон Модест Корф. Передайте господину Пушкину, что я отказываюсь с ним стреляться из-за такой бездельницы, не потому, что он — Пушкин, а потому, что я — не Кюхельбекер.

Тут уже усмехнулся Соболевский, он прекрасно знал их пансионского гувернера и учителя Вильгельма Карловича и вполне оценил острое словцо барона Корфа.

— Так и передать?

— Так и передать, милостивый государь.

Пушкин, который к этому моменту поостыл, только посмеялся над словами Корфа и добавил:

— Вообще-то он правильно поучил моего Никиту, совсем от рук отбился. Все какая-то польза есть. А пристрели я Модеста, быть может, Россия потеряет великого ученого, он уже книжечку выпускает, я подписался: «Графодромиа или искусство скорописи, сочинение Астье, переделанное и примененное к русскому языку Модестом Корфом», — на память продекламировал Пушкин и рассмеялся беззаботно. — Возьми себе на заметку, как библиограф, книжный граф Соболевский.

— Скорее книжный шкаф Соболевский, — поддержал его шутку Ибис.

Пушкин обнял Ибиса, который по сравнению с ним смотрелся действительно как книжный шкаф.

— Кстати, в твою книжную копилку: Карамзин мне рассказывает, что только что подписался на книгу князя Шаликова. Я спрашиваю его: «Зачем же, Николай Михайлович?» «А затем, — говорит наш великий историк, — что у него хоть и мало таланта, но много детей».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

*в которой Карла-головастик и арапка развозят
карточки с приглашением к Нащокину. — Шальные деньги
жгут руки. — Знатная попойка. — Соло Куликовского.
— Рецепт кулебяки в десять слоев. — Весна 1819 года*

А в это время Карла-головастик уже выехал из ворот дома на Фонтанке на маленьком и таком же злом, как и сам карлик, пони, который при случае норовил укусить не только любую попадавшуюся ему лошадь, но и ее кучера. Головастик сидел в старой полосатой одноколке, одна полоса — золотая, другая — голубенькая, и сам правил; пони был в бантах, в шорах, с перьями на голове, бежал резво, потряхивая пышной гривой, частично, в верхней части холки, заплетенной в косички с лентами. Рядом с ним, высокая и худая, как жердь прямостоящая, сидела нарумяненная арапка Мария в цветастом платке с кистями и сарафANE. Между козлами и каретой находился ящик, в котором, скрючившись, пристроился казачок. Карла-головастик бабьим голосом пел: «По улице мостовой шла девица за водой», арапка басисто подпевала.

Карлик развозил по всему Петербургу карточки Павла Нащокина с приглашением пожаловать на званый вечер. Карточки передавал швейцарам казачок.

— В честь чего вечер? — интересовались приглашенные.

— В честь именин, — отвечал казачок. — А больше ничего не могу знать.

Не успели Пушкин с Соболевским выйти из дома, как получили от одного казачка приглашение с присовокуплением невразумительного объяснения. Карлик, привстав, кланялся им с козел и тонким голосом оповещал:

— Ждем-с, господа! Ждем-с!

— А когда же ждете, Алексей Федорович? — поинтересовался Ибис.

— А хоть сейчас и приходите, Павел Воинович уже ждут. Батюшкин халат надели и ждут. Пушки заряжают.

— Будем, сейчас же и будем, — пообещал Пушкин карлику и повернулся к Соболевскому: — Черт его знает, что придумал наш Воиныч, но день ангела у него в декабре, а не в июне... Это я точно знаю.

— Да нам-то что, пушки заряжают — бутылки ставят, — усмехнулся Соболевский. — Может, Поль в крупном выигрыше? — предположил он.

— Или в сильном подпитии...

— Или в том и другом, — решили они и были правы.

Павел Воиныч действительно был в крупном выигрыше, и шальные деньги жгли ему руки. Князь Вяземский называл карточные столы четырехместными омнибусами петербургского общества еще тогда, когда омнибусы в Петербурге не пустили, и на этом омнибусе Павел Воинович прибыл сегодня с утра на одну из главных станций.

По дому бегали собаки, которым передалось возбуждение, царившее в доме. Это было потомство серого в яблоках датского кобеля Амура и такой же масти суки Психеи, любимцев его отца.

Вернулся Карла-головастик, которого сразу препроводили на кухню, где колдовали повара. Зачем понадобился карлик, было неизвестно, но его ждали, торопили, подталкивали в спину другие дураки.

Ожидался вечер в старинном вкусе.

Гости не заставили себя ждать. В прихожей, как всегда, сидел дурак Андрей Иванович и, мыгча что-то невнятное себе под нос, ковырял большой булавкой булыжник.

— Бог в помощь, Андрей Иваныч, — приветствовал его Пушкин.

Андрей Иванович кивнул и, мыгча, показал ему источенный булыжник. Пушкин втянул носом воображаемый запах и сделал скукоженное лицо, как будто собирался чихнуть. Дурак радостно рассмеялся. Лет десять назад он замыслил сделать табакерку для нюхательного табаку из камня и ковырялся булавками все эти годы, и задуманная табакерка уже начинала обретать форму.

Пушкина с Соболевским уже собравшиеся гуляки встретили радостными криками, но далее буфетной никого сегодня не пустили. Севолда опорожнял бутылки, наливая

рюмки и бокалы каждому желающему. Но вход в столовую был закрыт, однако оттуда доносились неслыханные ароматы восточных специй.

— Что же затеял Воиных? — Этот вопрос был у всех на устах.

Кто-то сообщил, что видел, как привезли целую карету прелестниц, да еще карету коробок из модных магазинов.

Из дальних комнат доносился девичий смех и возбуждал внимание молодежи. Много было офицеров, как Измайловского полка, сослуживцев Нащокина, так и гвардейцев-кавалеристов.

Среди гостей бродил мрачный дурак Иван Степанович, с плешью, прикрытой красным колпаком, маленького роста, но не карлик, а просто малоросток, тот самый, что когда-то был отдан на потеху императору Павлу, а потом возвращен после смерти императора хозяевам. Он был чем-то недоволен и сегодня не шутил и ни к кому не приставал. Даже от предложенного бокала Иван Степанович отказался.

В голубом жупане, накинутом на белую исподнюю рубашку, и зеленом картузе выскочил из дверей Павел Воинович в сопровождении нескольких прелестниц, наскоро обнял и расцеловался с друзьями.

— А вот вам и дамы! — Девушки обнимались и по-своему целовались с гостями. Видно было, что многие давно знакомы.

— Что это на тебе, душа моя? — обнял Нащокина Пушкин, а другой рукой подхватил и приблизил к себе прелестницу.

— Батюшкин польский жупан и его же картуз, — объяснил Нащокин.

Севолда, появившийся следом, поднес белого вина в стопках.

— Хлопнем по стопке за батюшкину память, сегодня день его ангела, — сказал Нащокин.

— Ах, вот в чем дело, я же помню, что твой-то в декабре, — сказал Пушкин. — Хлопнем.

— Увеселения будут в честь батюшки и в его вкусе, — утирая салфеткой рот и не закусывая, сообщил Нащокин. — Прошу занимать места: скоро попросят в столовую.

— Надеюсь, на пушку сажать не будут? — расхохотался Пушкин.

Нащокин погрозил ему пальцем — когда-то он рассказывал приятелю, как батюшка его, чтобы приучить матушку к военной жизни, сажал ее на пушку и приказывал палить из-под нее. Или в волновую погоду сажал на шлюпку и, чтобы отучить от водобоязни, катал по Волге. Не отучил, боялась и выстрелов, и воды пуше прежнего, и даже теперь, когда ездила по набережной Фонтанки, в карете всегда садилась с противоположной от воды стороны, а по набережной Невы старалась и вовсе не ездить.

Нащокин бросил их, догнал мрачного Ивана Степановича, бродившего между гостей, зашептал ему что-то на ухо и утащил с собой за двери столовой.

— На какую пушку? — поинтересовался Соболевский у Пушкина.

— На единорога, — нашелся тот.

— Никогда я не могла хорошенько понять, — хлопая большими ресницами, спросила прелестница, прижимавшаяся к Пушкину, — какая разница между пушкой и единорогом?

Пушкин расхохотался и спросил, чуть отстраняя ее от себя и заглядывая в глаза:

— А звать тебя не Екатериною?

— Нет, Фаиною...

— Разница большая, Фаина: как бы тебе это объяснить... Пушка сама по себе, а единорог сам по себе... — сказал Пушкин.

Прелестница, продолжая хлопать ресницами, смотрела на него.

— Ну, ну... — подначивал ее Александр.

И та наконец выдала:

— А-а, теперь понятно...

Соболевский, с нетерпением дожидавшийся ответа, вместе с Пушкиным расхохотался. Он знал, что анекдот с таким вопросом и точно таким же ответом рассказывали про Екатерину Великую и одного из ее генералов.

— Женщина есть женщина, ваше высокослеповронство, — сказал Соболевскому Пушкин, — хоть царица, хоть...

В этот момент торжественно открылись высокие резные двери в столовую. В дверях появился Иван Степанович, все

такой же мрачный и сохранявший чувство собственного достоинства, и пригласил всех в столовую. Исполнял он почему-то должность дворецкого Карлы-головастика, а самого Алексея Федоровича отчего-то не было, про себя отметил Пушкин.

На столе был подан серебряный сервиз на сорок персон, жалованный отцу Нащокина императрицей Екатериной. Но посреди стола было незанятое пространство, куда, видимо, собирались что-то поставить. Вперед выступил один из людей Нащокина, старый поляк Куликовский, мальчиком вывезенный отцом из Польши и противу закона сделанный крепостным. Он, как знал Пушкин, славился искусством подражать барабанному бою тем отверстием, которое находится на месте, которое обыкновенно в приличном обществе не называют, а в народе да среди своих и баре именуют просто жопой. Сегодня Куликовский выступал не соло, как ему случалось подрабатывать на базарах, веселя купчиков да лабазников, а с оркестром: несколько парней дуло в большие и маленькие рога, всего несколько их осталось от большого, кажется, в сорок рогов, оркестра батюшки, но все же, к радости всех присутствующих, а в особенности хозяина вечеринки, так и не переодевшегося к столу, всеми был узнан гимн «Боже, Царя храни».

Несколько человек под гимн, исполняемый потешным оркестром и поляком, внесли в столовую на большом блюде огромный паштет в виде огромной задницы с дыркой, и яйцами под нею, и поставили его на стол. Вздыхающаяся коричневая паштетная задница была украшена по краям зеленью, а из дырки торчал длинный свежий огурец.

Вдруг раздался громкий хлопок, и огурец выскочил из дырки, паштетное произведение развалилось надвое, и из паштета выступил Карла-головастик с другим подносом, на котором был паштет в виде такой же точно, но маленькой задницы и маленьким соленым огурчиком в ней, в другой руке карлик держал букетик цветов, который, галантно раскланявшись, преподнес одной из прелестниц.

Собравшиеся расхохотались, некоторые, не выдержав смеха, попадали на диваны. Улыбались и прелестницы, которые в своей жизни ко всему привыкли.

— Прошу за стол, прошу за стол, — царским жестом пригласил всех Нащокин, и друзья стали рассаживаться

согласно карточкам, поставленным перед приборами. Перед каждым прибором стояли гигантские стеклянные члены, в которые наливались вина.

Карла-головастик бродил по столу и подливал каждому. Датские собаки бегали вокруг стола и просовывали свои большие умные морды между гостей. Нащокин целовал своего любимого кобеля и вспоминал батюшку, которого на самом деле почти не помнил, ибо он умер, когда Павлу было лет пять.

Он ждал, когда подадут кулебяку в десять слоев, по старинному рецепту батюшки: сначала каша из обварных круп, затем — рубленые яйца, потом семушка, фарш из телятины, потом, кажется, тешка, снова каша из смоленских круп на молоке, стерляди, налимы и налимовы печенки (тут Нащокин почувствовал, как слюна собирается во рту), далее фарш из налимов и щук, сладкое мясо да мозги из говяжьих костей. Уф!

— Кулебяку! — закричал он. — Несите, черти, кулебяку! И опрокинул целый фаллос красного вина.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,

в которой князь Вяземский, помещенный в лечебницу для душевнобольных в Бонне, ищет былую Россию, но находит лишь золу и пепел. — Зима 1874 года

«Все близкое и знакомое мне в России год от году исчезает», — думал князь Вяземский, перед самой смертью помещенный в Бонне в лечебницу для душевнобольных, а попросту, если сказать по-русски, посаженный в сумасшедший дом. За запертой дверью в коридоре сидела на стульчике, опершись на трость, старая княгиня Вера Федоровна и прислушивалась к тому, что происходит к его комнате. Она развязала и сняла старинный чепец, чтобы лучше слушать, что происходит за дверью. Но там была тишина, потому что князь просто думал: «Россия все более и более становится для меня Помпеей. Как отыскать в ней жизнь, которую я знал, что, собственно, и было жизнью для меня, не осталось даже внешности, под слоем лавы погребены люди, идеи, мечты, весь материальный мир, лишь иногда какая-то по-

павшаяся на глаза старая вещица вроде табакерки или пенковой трубки вызовет из памяти целый сонм воспоминаний, и опять все канет под слоем золы и пепла».

— Зола и пепел! — сказал он вслух и прокричал: — Зола и пепел! Помпея!

Вера Федоровна привстала, прислушиваясь, но крик не повторился, князь затих. Она снова села и стала с обидой вспоминать, как вчера на гулянье он кинулся на нее с кулаками, приревновав к проходившему мимо молодому человеку, который им поклонился, это ее-то приревновал, восьмидесятилетнюю старуху с клюкой.

Вера стала объяснять ему про молодого человека, что это их хороший знакомый Иван Петрович Хитрово, что он лицейский, давно знаком с князем, что сегодняшним утром они уже виделись и даже говорили, а сейчас Иван Петрович, видимо, спешил на почту, но все было бесполезно, князь не хотел ничего слышать, закричал, что знает он этих лицейских, насмотрелся за свою жизнь, позволил себе выражаться даже по-матерному, а пока он кричал, вдруг откуда-то появились врачи с санитарями, подхватили под белы руки и увели в комнату, сняли и отдали княгине его очки.

Бессонница, раздражение, одиночество, нестерпимое, вечное, как муки ада... Дайте хлорала, чтобы забыться. Морфий, хлорал, без этого нет уже сна и покоя... «Нас взвел на ту высокую гору, где без хлорала сон растет». Хрен с маслом, сон давно не растет без хлорала!

Вот доктор приносит в флаконе едкую бесцветную жидкость, к ней привыкаешь и уже не можешь без нее обходиться... Перед сном-забытьем приходят и обступают тебя друзья, давно ушедшие, сгоревшие в помпейском огне, но не поблекшие в памяти, вот почему так явственно потом кажется, что Вера молода и кокетничает, ведь было когда-то, было... Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ее плечи, целует у нее руку... Однажды княгиня Вера, посылая к нему слугу, велела спросить, с кем он тот день уезжает. «Скажи, что сам-третий», — отвечал Пушкин. Услышав этот ответ, «Третьею, верно, ты», — заметил тогда князь.

Где она сейчас? Уехала? А свой веер забыла на стуле. А что это болтается здесь и свисает с кровати? Ремень? Зачем?

Он наклонился: их два, таких ремня, как это он раньше их не заметил! Привязывать буйных к кровати. «Не дай мне Бог сойти с ума». Неужели сошел?! Как Батюшков?! Неужели заперли?! Но разве я буйный? Нет. Ночная ваза стоит, пустая, не закрытая крышкой. Вера забыла закрыть, она старается не пускать к нему служанок, сама ревнует, он видит: для того и сидит у дверей, чтобы он не побежал налево. Ха-ха-ха, а он уже и не может побегать, не стоит у него давно прибор, но Вера этого не знает... Или делает вид, что не знает? Он стал прислушиваться, что происходит в коридоре, он знал, что она сидит там, сидит каждый день, но не одна, порой она говорит с кем-то. Это, наверное, врачи. Советуется с ними. Вот уже хлорал действует, хорошо, что он упросил увеличить дозу. Кто это? Где я? В Петербурге? Но я же был в то время в Варшаве, откуда я знаю про гульбу у Пашки Нащокина? Про хуи в стаканах, нет, про стаканы в виде фаллосов. Ах да, сам он мне рассказывал, и Сашка что-то говорил, смеялся. Пушкин тоже сошел бы с ума, если бы не погиб, а вот Пашка Нащокин нет. Нащокин умер давно, а вдовушка его, надолго пережившая мужа, тоже Вера, кажется, Александровна, сколько раз приходила к нему с просьбами, всегда доставала потрепанные письма Пушкина мужу из старого ридикюля, зачитывала отрывки, всплакивала, но из рук письма не выпускала и даже не давала списать. При той любви, которая была еще в те времена к другу ее мужа, великому поэту, она всегда получала помощь. Помнится, благотворительная Александра Васильевна Протасова была так ею разжалоблена, что сняла для нее годовую квартиру и снабдила всем нужным для порядочного житья.

А сколько раз он сам писал ей рекомендательные письма ко двору, когда двор приезжал в Москву, и всегда она что-то там выцыганивала, какое-нибудь щедрое пособие. Выцыганивала, надо же, словечко очень подходящее к Нащокину, который постоянно жил с цыганками, хотя Вера цыганкой не была, а видно, стала по характеру от общения с покойным супругом.

Но она про тот Петербург ничего не знала, была последней любовью Пашки Нащокина, московской любовью.

— Вера! — тихо позвал он княгиню. Никто не ответил. «Сбежала! — похолодел он. — С Керубино Пушкиным, в карете. Так она, распутная, звала его в Одессе. Нашла себе пажа, обезьяну. А ведь убежала! Надо остановить! Как мне без нее?» — Пушкин, сукин сын! — Он вскочил, бросился к дверям, но на самом деле все только снилось; Керубино пел свою арию, бритый наголо Пушкин сидел в клетке, а утомленный князь спал на кровати в частной клинике, далеко назад закинув седую голову, и храпел.

А Вера Федоровна беседовала за дверями с Иваном Петровичем, рассказывая, как познакомилась с Александром Пушкиным в Одессе:

— Он был непослушен, как паж, довольно дурен собой, но я все же звала его про себя Керубино. Когда он вертелся возле других дам, так и хотелось крикнуть ему: «Керубино, ко мне!» — И она ударила тростью об пол и для чего-то надела очки своего мужа.

Но до Одессы было еще далеко-далеко.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

в которой Василий Назарьевич Каразин вынашивает свой верноподданнический донос. — Овцы стадаются, а лев всегда ходит один. — Эпиграммы Пушкина. — Попойка у Пьера Каверина. — 27 мая 1819 года

Пока еще Пушкин шлялся по Петербургу, хотя злоба против него в обществе нарастала. Без шума, разумеется, еще никто не выходил из толпы, но толпа не прощает чрезмерно шумных. Некто Василий Назарьевич Каразин, человек Пушкину незнакомый, уже вынашивал, лелеял свой верноподданный донос. Впрочем, сам он свою записку доносом не считал. Каразин стал недавно членом Вольного общества любителей российской словесности, где председателем был полковник гвардии Федор Глинка, чиновник особых поручений при военном генерал-губернаторе Санкт-Петербурга графе Милорадовиче, известный поэт.

Чуть ли не в первом же заседании при Каразине литератор Плетнев говорит Глинке:

— Надо бы, Федор Николаевич, избрать в члены общества и Александра Пушкина. Странно выглядит общество

любителей словесности без него. Тем более что здесь давно все его лицейские друзья: барон Дельвиг, Кюхельбекер, барон Корф...

Глинка только рассмеялся:

— Овцы стадаются, а лев всегда ходит один. К чему мы Пушкину? Он создает российскую словесность, а мы ее просто любим.

У Василия Назарьевича так и захолонуло сердце. Вот оно что: и здесь крамола. Львом они Пушкина считают!

А тут вылезает Николай Греч и с хохотком так приговаривает:

— Слышали новую эпиграмму на Стурдзу?

Холоп венчанного солдата,
Достойный славы Герострата
Иль смерти шмерца Коцебу,
А впрочем, мать твою ебу!

— Да не так, — поправляет его барон Дельвиг: хоть молод, но уже действительный член общества — и, поблескивая стеклами круглых очков в ореховой оправе, читает по-другому:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.
А впрочем, в рот тебя ебу!

Хороши любители российской словесности, опустились до матерщины, да еще смакуют ее, обсасывают, хохочут. Ладно, мальчишки, а Федор Николаевич, штаб-офицер с густыми эполетами, с Владимирским крестом на шее и Анной 2-й степени в петлице. Позор!

— И кто же сие написал?

— Не говори, не говори, — завывает патетически Кюхельбекер и клует длинным носом. — «Не говори худого о властях, ибо Птица перенесет слова твои!» Кажется, из книги Сираха.

— Да я и не знаю, кто написал, — нагло улыбается барон Дельвиг, — но, по-моему, забавно.

— Забавно?! — возмущается Василий Назарьевич. — Пакость! Одного человека убили, другого чуть не убили, и это повод для злой шутки? А кто имеется в виду под «венчан-

ным солдатом»? — Молодежь посмеивается — знает кто. — И что это еще за птица, Вильгельм Карлович? — спрашивает он у Кюхельбекера. — Я чувствую, здесь какой-то намек.

— Боже упаси, — отвечает ему Кюхля. — Никаких намеков. Так говорят про известного шпиона Фогеля, которого прозвали Библейской Птицей и который везде прилагает ухо свое. Vogel — птица.

— Он служит у Балашева в министерстве полиции. Пожалуйте образчик его работы, — вступает в разговор Глинка, приосанившись и подвигав шеей в тугом воротнике мундира. — В конце 1811 года с весьма секретными документами на имя французского посла в Санкт-Петербурге выехал из Парижа тайный агент. Его перехватили и привезли прямо Шлиссельбургские казематы, а коляску его представили к Балашеву, по приказанию которого ее обыскали, но ничего не нашли. Фогель понюхал, разведal и сообщил: если его посадят в казематы, как преступника, рядом с заключенным, есть надежда кое-что узнать. Надо заметить, что на французском он говорит как француз, на немецком как немец. Посадили Фогеля за перегородку от номера арестанта. Тот быстро своими вздохами, жалобами и восклицаниями привлек внимание француза, а через два месяца вызнал и тайну. Возвратясь в Санкт-Петербург, Фогель отправился прямо в каретный сарай, где среди министерских экипажей стояла и коляска французского агента, снял правое заднее колесо, велел отодрать шину, из выдолбленного под ней углубления достал все бумаги и поднес министру. Вот какого полета эта Птица!

— Не знал, — говорит Каразин и замолкает. «Не знал! Вон как у вас в столице-то».

Странной судьбы, мыслей и дел был сей человек, Василий Каразин. Всеми силами души он хотел служить России и, чтобы понять, что ей необходимо, предпринял в юности ряд путешествий по родным местам юга России, ибо происхождением он был малоросс с какими-то, кажется, давними греческими предками. Начавшаяся болезнь и необъятность задач, стоящих перед родиной, привели его к мысли о невозможности их решить, и он пожелал удалиться на Запад, для чего подал прошение императору Павлу и получил решительный отказ в паспорте. Тогда он пытался с женою и дворовым человеком бежать за границу, как объяс-

нял впоследствии, чтобы закончить там свое образование и среди просвещенного народа, среди природы, искусством доведенной до завидного совершенства, среди лучших способов питать свою нравственность провести последние дни своей, как ему тогда казалось, скоротечной жизни, но был задержан разездом екатеринославских гренадер за Ковно при переправе через Неман и посажен на гауптвахту. Однако его письмо к Павлу I с покаянием и признанием, что он желал укрыться от его правления, страшись его жестокости, поразило государя, в душе рыцаря, но полусумасшедшего рыцаря. Он простил молодого человека, и Каразин был принят в гражданскую службу в канцелярию государственного казначейства коллежским переводчиком. По восшествии на престол Александра I, дней через десять, на царском столе была найдена анонимная записка замечательного содержания, рисующая перед царем программу либерального царствования и говорящая о надеждах, возлагаемых Россией на молодого императора. Предприняли розыски и нашли автора, который, впрочем, и не очень скрывался. С этой записки начал Каразин свою головокружительную карьеру и на время стал близким человеком императору Александру, теперь же, спустя годы, он был оттеснен от трона взыскующими царских милостей более его, но мысль снова приблизиться к трону никогда не оставляла его. Ему казалось, что он безупречен во всем, что касается царских милостей, никогда этим особо не пользовался; его волнует только государство, его благосостояние и спокойствие. Он шлет Александру I новый свой проект «О невмешательстве в дела Европы». Царь выходит из терпения и велит слободско-украинскому губернатору статского советника и кавалера Каразина за нелепые его рассуждения о делах, которые до него не принадлежат и ему известны быть не могут, взяв из деревни под караул, посадить на харьковскую гауптвахту на восемь дней. После чего следует царский указ истребовать от статского советника Каразина подписку, чтобы он под опасением жесточайшего наказания не отваживался более беспокоить его величество.

Но Каразина никогда и ничто охладить не могло. Никакая гауптвахта. Государя он пока не беспокоил, однако совсем недавно напечатал в «Харьковском вестнике» записку о Москве Карамзина, написанную для вдовствующей им-

ператрицы Марии Федоровны и не предназначавшуюся для печати, чем возмутил историка, тем более что записка была напечатана с неверного списка и обезображена многими ошибками. В записке (не для публики) критиковался план храма Витберга, и Карамзин счел напечатание неприличным после торжественного заложения храма на Воробьевых горах. Но Василию Назарьевичу Каразину, кажется, всегда было наплевать на приличия, любые средства для него оправдывала цель. Недавно он прибыл в столицу из Харькова, где по его инициативе и по подписке среди дворян был открыт несколько лет назад Харьковский университет, и то, что происходило теперь в столице, потрясло его до глубины души. Сначала его буквально осрамили эпиграммой известного поэта Милонова, написанной на Сенат и господ сенаторов:

Какой тут правды ждать
В святилище закона!
Закон прибит к столбу,
И на столбе корона.

Правда, Милонов этот, говорят, совсем уже спился и с гауптвахты не вылезает... Чего от него ждать? А вот какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, *в благодарность*, сукин сын, написал презельную, то есть преядовитую, оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр был назван кочующим деспотом...

Теперь же этого мальчишку предлагают в члены общества, куда его самого, заслуженного человека, приняли, как сказано было в протоколе, «отмечая познания в науках и отечественном слове, особенное усердие к благу общества и приобретенную летами опытность».

«К чему мы идем? — вопрошал себя Василий Назарьевич, пока не вступая с членами общества в дискуссию. — Боже праведный, что происходит? Надобно это остановить, открыть глаза государю. Но все молчат как рыбы, а кто не молчит, тот рукоплещет, как тот же кривой Гнедич, когда Пушкин среди этой поганой армии вольнодумцев, собираемой и комплектуемой под шумок библейских обществ и масонских лож, читает свои эпиграммы, где в непотребных и неприличных словесах затрагиваются высочайшие лица государства. Что-то дальше будет?!»

А ничего, пока идет-бредет себе Саша Пушкин по Петербургу и напевает что-то себе под нос, как вдруг слышит, что его зовут; поднял голову и увидел, что из окна бельэтажа кричит и машет ему его друг Пьер Каверин, а из-за его спины выглядывают Мишель Щербинин с Васей Олсуфьевым, гусарским корнетом, сослуживцем Чаадаева и свояком Каверина: старший брат Олсуфьева, Александр, был женат на одной из сестер Каверина.

— Здорово, Пьер! — кричит Пушкин, задрав голову. — У кого это ты?

— У себя. Я теперь здесь квартирую... А это мои гости любезные. Узнаешь? — Он подтолкнул к окну, вперед себя, приятелей: — Покажитесь ему! Теперь узнал? Все свои. Шампанское вскладчину куплено, мы его в лед за сутки поставили, поднимайся, Сашура, — шампанского залейся.

На улице жара совсем не майская, не петербургская, где в мае частенько еще топят в домах; Пушкин оттирается платком, пот льется по лицу, а там у друзей — шампанское со льда, бывает же счастье. Громыхают за его спиной по мостовой кареты, едет в одной из них Василий Назарьевич Каразин на заседание Вольного общества любителей российской словесности, смотрит в окошечко и размышляет:

«Иной наш брат, украинец, подумает, что в столице-то, в Петербурге, в присутствии двора, под глазами государя императора, соблюдается на особе его уважение и дается пример преданности... А тут такое пишут! Либералисты совсем распоясались. А как ведут себя в обществе. Вот хотя бы стоит у дома и кричит на всю улицу какой-то молоденький штатский, наглый коротышка, машет цилиндром, как фокусник, того гляди зайца оттуда вынет, оттирается платком; подбежала собака и лает на него, уж больно страшен да черен, а он встал на четвереньки и тоже собаку облаял, ломает собачью комедию, вольнодумец, масон, черт... Окоротить бы надо! Куда смотрит обер-полицмейстер Горголи? Ведь и его имя треплет Пушкин. А генерал-губернатор граф Милорадович? Кто, в конце концов, отвечает за все безобразия? Все и никто! Ах да, при Милорадовиче полковник Глинка за все отвечает, могу представить себе, что он врет графу. Надобно войти с проектом, что должен быть особый департамент. Пора, как потом не было поздно...»

Уехал Василий Назарьевич, а Пушкин пошел в дом, не встретились они, да никогда и не встретятся, а вот судьбою связаны навек.

— А мне вчера двадцать лет стукнуло, — сообщает Пушкин, когда уже садится с друзьями за стол.

— Наливай! За новорожденного! — кричит Каверин. — По сколько мы бокалов выпили? — спрашивает он у друзей.

— Кажется, по шесть. Или по пять? — отзывается с сомнением Мишель Щербинин.

— Какая разница! — говорит Олсуфьев Каверину. — Мы сколько с тобой ящиков на ледник поставили? Без счета. Без счета и пить будем.

— Нет, Вася, разница есть, и она в том, Вася, что Пушкин должен быть в одном с нами наливе, иначе у нас могут выйти разночтения! А чтобы этого не произошло, ему придется выпить тоже шесть бокалов!

— С превеликой радостью, — откликается Пушкин. И пьет холодное шампанское бокал за бокалом, пока не начинает икать.

Друзья смеются:

— Сделай передышку.

— Откуда такие апартаменты? — интересуется Пушкин. — Наследство получил?

— Какое наследство! Мой батюшка сам наследства проматывает, никому сие ответственное дело не поручает. Матушка моя, ангел, умерла еще в 1808 году; свое, матушкино наследство, наследство двух незамужних теток, двоюродного деда батюшка промотал, больше ждать неоткуда, попытался он в Москве остатки стены Белого города продать, которую подарил ему император Павел, да никто, братцы, сию стену не покупает. Вот и пришлось ему теперь вторым браком жениться на богатой калужской помещице, старой деве Авдотье Сергеевне Богдановой, особе чванной, но чваниться ей раньше нечем было, баба роду незнатного, а теперь стала тайная советница да сенаторша, чванься себе на здоровье, а батюшка снова кутит да в картишки играет, да детишек своих не забывает. Супруг он всегда был плохой, а вот отец нежный и любящий.

— Мне, что ли, жениться на богатой старой деве? — хохочет Пушкин. — Посоветуйте!

Каверин раздевается по пояс с позволения товарищей, и начинается лирика.

Каверин влюблен, имени дамы не называет, поскольку дама и не дама вовсе, а девица непорочная, поведения самого примерного. Он волочился за ней месяц, она была падчерицей его друга, и родители ничего не подозревали, тем более что мамзель была на их стороне, и, когда дочь оставляли с мамзелью, мамзель удалялась, оставляя влюбленных наедине.

— И вот, друзья мои, я сажаю ее на колени, левой рукой за шею, а правой под щеку, чтобы крепче целовать, потом правую руку опускаю все ниже и ниже и начинаю своевольничать, все далее и далее, все глубже и глубже. Чувство нежной страсти изливается во мне с головы до пят. Она трепещет, когда моя рука проникает в самые ее сокровенные места. Я ее довожу до самого крайнего желания увенчать нашу любовь, но, каюсь, господа, я всегда к девицам жалостлив был, не делаю последнего шага. Она же стонет и своей рукою, представляете, господа, лезет ко мне: лосины тугие, сами знаете, мокрыми надеваем, чтобы на теле обсыхали, а чтобы снять их, двоих камердинеров надобно. Наконец кое-как общими усилиями достаем драгоценный предмет ее вожделения, готовый излиться. И девочка, умудренная страстью, сотворяет все, чему какая-нибудь Лаиса научается за долгое время. Что это? Наитие? Природа? Знание? Откуда?

— От мамзели, — смеется Пушкин, — которая сидит в соседней комнате, подсматривает и дрожит на вас сама.

Господа хохочут.

Каверин немного обижен, он думал, что рассказывал о высоком.

— Во всяком случае, — говорит он, — я не довел девицу до нарушения ее девичьей драгоценности.

Он встает, подходит к окну, пьет холодное шампанское из бокала и смотрит на проходящий мимо дома петербургский люд; проносятся кареты, бегут по своим делам собаки, принюхиваясь у каждого угла. Оглянувшись, видит, что Пушкин, попросив себе бумагу и перо, что-то пишет. Он везде свой, потому и нравится Каверину. Снова посмотрел Каверин в окно, видит — мимо идет его красавица, для удовлетворения плотских желаний, отчего-то грустна; Каверин крикнул ей:

— Нинон, лапушка моя, поднимайся!

Друзья подбежали, сгрудились у окна. Красавица, приободрившись под их взглядами, направилась в подъезд.

Пушкин прячет написанное, пока друзья встречают с криками Нинон.

— Видел, видел, — кричит Пьер. — Покажи, что написал, Александр! Нинон, это великий поэт Пушкин. Надежда России! Я — друг многих великих людей... Вот ты умрешь, Нинон, кто тебя вспомнит? А меня вспомнят, потому что я шампанское с Пушкиным пил. Ей-Богу, вспомнят! Напиши, Саша, как мы пили шампанское вот здесь, у меня в бельэтаже, 27 мая 1819 года, во вторник. Напишешь? Я потом детям покажу...

Пушкин усмехнулся и взял еще лист бумаги. Нинон, взопревшая от жары, уселась за стол с друзьями, рассматривая кавалеров по очереди.

Вскоре Мишель дошел до кондиции и запел арии из итальянских опер, а Пьер повздорил с ним и назвал Россини «кондитером».

— Россини — великий композитор! — возмутился Мишель. — Ты слышал певицу из Вены Borgondio? Как она играет и поет «Танкреда»! Ты вообще слышал «Танкреда» Россини?

— Слышал ли я Боргондио? Слышал, *mon cher ami*. На вечере у светлейшей княгини Екатерины Ильиничны Кутузовой-Смоленской. Старуха вечно покровительствует всем заезжим знаменитостям. Она все пыталась доказать, что в театре певица выступила неудачно. Но, на мой взгляд, она плохо пела и у старухи. Твоя Боргондио обманула мои ожидания, и не только мои, а выходит, и всей петербургской публики.

— Только за всех говорить не надо! — воскликнул Мишель. — Не надо, мой друг. Некоторым она даже очень пришлась по душе.

— Некоторым по душе любая залетная птичка. Что мне твоя посредственная итальянская певичка! Знаешь ли ты, что я, живя в отеле во Флоренции, как-то спускаюсь по лестнице, навстречу идет этот кондитер, вами боготворимый Россини, а мы были знакомы. Остановились поболтать, и Россини говорит мне, закатывая глазки: «Что-то не могу я найти подходящую музыкальную фразу для моей

новой оперы «Севильский цирюльник». — «Да что вы говорите, милостивый государь?! Нет ничего проще, берите хоть эту». И я ему пропел: «Ах, на что было огород городить, ах, на что было капусту садить!..» Теперь можете послушать в опере, — захохотал Каверин.

— Да если хочешь знать, он эту мелодию сначала использовал для кантаты, которую посвятил княгине Багратион в Вене, а потом уже в «Севильском цирюльнике». Я это знаю наверное, в пятнадцатом году в Вене на конгрессе я был при князе Волконском и при особе государя. Александр Павлович, в числе прочих дам, поимел и княгиню Багратион, за нею все ухлестывали, и в Вене, и в Париже, пытался и Россини свой фагот пристроить, — воскликнул Мишель. — Трам-па-ра-пам-пам-пам! Музыку писал.

— Ничего нового придумать не могут кондитеры, — вздохнул Каверин. — Сами у себя воруют, черти итальянские. Но сначала у нас, у нас!

— Люблю тебя, Пьер!

— И я тебя, Мишель!

И вдруг приятели, обнявшись и не сговариваясь, затаили вдвоем:

— Ах, на что было огород городить, ах, на что было капусту садить...

— К черту итальянцев! — пробормотал Олсуфьев и пристроился прикорнуть на краешке стола.

Нинон тупо и бессмысленно улыбалась, пока не встретила взглядом с Пушкиным. Он посмотрел на нее случайно, но Нинон, видимо, сочла этот взгляд за проявление интереса с его стороны и согласно взмахнула пышными ресницами, прикрывая в томной неге очи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой семейство Пушкина уезжает в Михайловское. — Похороны младшего брата Платона Пушкина. — Жуковский учит великую княгиню русскому языку. — Обер-черт Пушкин. — «Ода на Свободу» и две болезни не русского имени. — Розовый павильон императрицы Марии Федоровны. — Лето 1819 года

В очередной раз переболев, опять обритый наголо, в парике барашком, Пушкин уехал с родней в Михайловское. Когда он болел, лежал в полузабытьи, в горячке, к нему заезжал князь Горчаков попрощаться перед отъездом за границу, но его не пустили. Узнав, что друг болен, князь оставил свою карточку, пожелав ему скорейшего выздоровления.

В Михайловском Александр работал над пятой песнью «Руслана и Людмилы» и почти не выходил из дома. Тихо, через несколько дней после приезда в деревню, преставился братец Платон; отпевали его в Святогорском монастыре. Была только семья да несколько дворовых. Деревянный некрашенный гробик стоял посреди церкви весь в цветах, крошечный, словно игрушечный, а братец лежал в нем, словно восковая кукла, наряженная в платьице, то самое, в котором малютка, топоча ножками, бегал всего лишь несколько дней назад по михайловскому дому. Пушкин, слушая священника и привычно крестясь вместе со всеми, вспоминал другого помершего братца Николеньку, который перед самой смертью показал ему язык. Священник откадил, пройдя вокруг гроба, и провозгласил последнее целование. При последнем целовании усопшего младенца никто не плакал, кроме Сергея Львовича да Ольги. По лицу Надежды Осиповны нельзя было понять, какие чувства она испытывает. «Для чего являлся в этот свет сей младенец, для кого покинул нас, не прожив и двух лет, — тайна великая», — думал Пушкин, стоя со свечкой в церкви.

Похоронили Платона Пушкина в монастыре, который за последние годы стал родовой усыпальницей Ганнибалов, а теперь вот и Пушкиных. Здесь в прошлом году похо-

ронили бабушку Марью Алексеевну, которая нашла последнее успокоение рядом со своим беспутным мужем Осипом Абрамовичем Ганнибалом. Пушкин знал, что сей брак был несчастлив; ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Представив фальшивое свидетельство о смерти бабушки, африканский безумец пытался жениться на другой, но бабушка подала жалобу императрице, и Святейший Синод расторг новый брак. Дед до самой смерти в 1806 году жил в Михайловском, куда маленького Сашу привозили всего нескольких месяцев от роду для знакомства. По смерти Осипа Абрамовича Михайловское досталось его дочери Надежде Осиповне. Все это вспомнилось возле их могил, верно говорят: смерть навечно соединила их. Отчего-то еще подумалось: «Хорошо бы и мне здесь лежать, на воле...» — о чем он и сказал брату Льву, с которым они ехали домой в одной карете.

Через месяц Пушкин уже вернулся в Петербург. Его привычный собутыльник Пьер Каверин в это лето был почти невменяем, пил по-черному, у него во Флоренции в мае умерла молодая сестра, та, что была замужем за старшим Олсуфьевым и которую Пьер очень любил. Каверин пил и плакал, плакал и пил, у него то неожиданно начинались, то также неожиданно заканчивались пароксизмы лихорадки. Он мерз в самую жару, заговаривался и видел чертей. Пушкин перестал его посещать: слушать пьяные сетования было крайне скучно, а напиваться вместе с Пьером до чертей — тошно.

Из деревни Пушкин привез с собой пятую песню «Руслана и Людмилы» и еще «Деревню», которой он очень гордился. Начались его поездки: в Рябово к Всеволодскому, к соседу его Оленину в Приютино и, разумеется, в Царское Село к Карамзину, к которому он обыкновенно ездил с Тургеневым.

Бывало, закатывались к историку и втроем, прихватив из Павловска от императрицы Марии Федоровны Василия Андреевича Жуковского. Павловский Пудрамантель уезжал всегда с неохотой, он пригнулся около фрейлин, был тайно и небесно влюблен в одну из них, графиню Софью Самойлову, и, страдая сердцем и желудком, писал стихи на смерть умершего чижика фрейлины графини Шуваловой или

поэму на оброненный в море во время катания на лодке платок фрейлины графини Самойловой, приводя в поэтический экстаз эти юные создания.

Жуковский недавно закончил свою грамматику для великой княгини, успехи которой в русском языке оставляли желать лучшего; она до сих пор стеснялась говорить целыми фразами, и беседа с ней протекала чаще на немецком, чем на русском. К тому же Александра Федоровна была летом на сносях, а последний месяц беременности и вовсе провела возле свекрови, растянувшись на кушетке в беседке у Розового павильона, так как не могла ходить из-за опухоли в ногах. 6 августа великая княгиня снова родила, на этот раз девочку, которую назвали в честь бабушки Марией; поэтому занятия русским языком в это лето почти прекратились у Василия Андреевича появилось много свободного времени для стихов.

Еще как-то в июне императрица Мария Федоровна, когда встали из-за ужина, а любопытные, которые глазели из кустов на трапезу, уже разошлись, вышла в сопровождении камер-пажа Якова Ростовцева, смазливой стройной юноши, на террасу Розового павильона. Все пять больших окон-дверей, выходящих на террасу, были раскрыты. Летний вечер был тих, на ясном звездном небе сияла полная луна. Перед дворцом играла музыка, все лето она играла каждый вечер до самой зари.

Императрица велела пажу позвать из зала Василия Андреевича. Тот, сидевший возле фрейлины графини Самойловой и что-то шептавший ей на ушко, поинтересовался:

— Не знаете, за чем?

— Не знаю, — сказал Ростовцев, — но что-то о луне.

— Ох, уж эта мне луна, — вздохнул Василий Андреевич и пошел на террасу.

Последовало высочайшее повеление написать отчет о луне, которое Жуковский смиренно принял к исполнению. Он так увлекся, что написал сам отчет, а потом писал постскрипты к этому отчету почти все лето и зачитывал их императрице и приезжавшим к нему друзьям:

От вашего величества давно

Я высочайшее имею повеленье —

О павловской луне представить донесенье...

Тургенев назвал его стихоплетство «болтовней о луне и солнце», Жуковский не обиделся.

Александр Иванович, как директор департамента, часто ездил в Царское Село по службе к министру князю Голицыну и брал Пушкина в свою карету. Ехали по Московской дороге, а вокруг Петербурга горели леса и травы, дымы бывали так густы в низинах на дорогах, что встречную карету можно было услышать только по поддужному колокольчику.

Ночевал Александр Иванович обыкновенно у Жуковского в Павловске или у Карамзиных на диване, во второй комнатке кабинета во флигеле. Спал он много и охотно, лишь бы желудок был полон. Саша Пушкин всякий раз, позабавив старших товарищей то собачьей комедией, то попрыгав по диванам обезьяной, то почитав стихи, в основном свои вакхические послания к друзьям или что-нибудь пародийное на своего старшего товарища Жуковского, исчезал как привидение в ночи, отправляясь к гусарам, где пили ночи напролет и спорили до посинения.

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый, но живой:
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной... —

выкрикивал Пушкин одно из своих посланий, напившись, крутил парик на сабле или швырял его в воздух. Утром гусары отправлялись в манеж, а Пушкин всласть отсыпался на чужих квартирах, ничья мучительная лапа не тяготела над ним, а поутру, уходя, он обыкновенно долго искал парик, пока не находил его в пыли за каким-нибудь креслом. Иногда он находил за креслом и брошенную гусаром книжку, подхватывал ее и проглатывал единым махом.

Карамзин с женой любили смотреть на шалости Пушкина, но после его ухода вздыхали обычно с облегчением: он утомлял, главным образом историка, своей неумной энергией хуже, чем непослушный ребенок. У Карамзиных и своих детей было достаточно, все, кроме старшей, Сонечки, малолетние, весь дом звенел криками, а два месяца назад к этим крикам прибавился еще и настойчивый крик младенца Владимира, лежавшего пока в люльке.

Как-то после ухода записного шалуна Николай Михайлович заметил Тургеневу, что, к сожалению, нет мира у Пушкина в душе, а в голове нет благоразумия.

— Ежели не исправится, будет чертом еще до отбытия своего в ад, — добавил он с улыбкой.

— Не исправится, батюшка, — покачала головой старшая дочь Софья. — А черт он уже и сейчас, посмотри на его черную физиономию, как будто весь вымазался в саже, орудуя у сковородки.

— Не черт, а обер-черт! — добавил Тургенев.

Мужчины рассмеялись.

— Когда у меня бывают друзья и мне хочется, приглашая кого-нибудь, сказать: будут вся християны, я одергиваю себя, вспоминая, что будет и молодой Пушкин, — сказал Александр Иванович.

— Чур, чур меня, — рассмеялся Карамзин. — Будет Пушкин! Прямо из ада. — Перекрестился и посерьезнел. — Но жаль его талант; талант, действительно, прекрасный. Раскреплет его по мелочам.

— Что из этой головы только не лезет?! Жаль, если он ее не сносит. Но что можно требовать от юноши, который с двенадцати лет жил в виду дворца и в соседстве с гусарами? Обвиняй его после за его «Оду на Свободу» и за две болезни не русского имени!

Карамзин покосился на Александра Ивановича, словно укоряя его за нелестный отзыв о дворце и за болезни не русского имени, но ничего не сказал. Софья вспыхнула, услышав вольность, которую позволил в ее присутствии Александр Иванович. Ей стало неприятно думать о черномазом Пушкине, которого она все же уважала. Но Тургенев, казалось, ничего этого не заметил, а продолжал тараторить без остановки:

— Хорошо, Пушкин хоть не пьет, как Милонов, которого мне пришлось выключить из своего департамента.

— Пока не пьет, как Милонов, — уточнил Карамзин. — В России всегда есть возможность допить до такого состояния.

— Да-да, — торопливо соглашается Александр Иванович. — Да минует Пушкина чаша сия. Прости Господи! Говоря о Пушкине, невольно станешь богохульником. Милонов таскается теперь по всем гауптвахтам и допивает век и талант свой с арестантами. Недавно мне сказали, что его за дебош посадили в крепость. А так как там все крепко, кроме напитков, то, вероятно, это его протрезвит, или он умрет

от засухи... Вроде той, от которой горят теперь поля и леса... Ну да Бог с ним, с Милоновым! Твой шурин князь Петр прислал мне стихи, которые все разойдутся на пословицы чувствительных сердец; там есть слова, которые можно отнести к нашему молодому другу Пушкину: «По жизни так скользит горячность молодая и жить торопится и чувствовать спешит...» И этим все сказано!

Однажды Пушкин, прежде чем отправиться к гусарам на квартиры, пошел провожать Карамзина на чтение французской пьесы к императрице Марии Федоровне в Павловск. Карамзин любил прогулки или верхом, или пешие, карету не любил.

Шли пешком, говорили о стихах Василия Андреевича. Пушкин смеялся над литургией по умершему чижику, говорил, что напишет к Василию Андреевичу шутовское послание о павловских фрейлинах.

— Хотя, справедливости ради, — заметил он, — надо сказать, что Тургенев два последние стиха в литургии о чижики находит прелестными. Наш камергер всегда найдет, что сказать приятного.

Карамзин в новых стихах Василия Андреевича находил много хорошего, но иное казалось ему темным, иное холодным.

Неожиданно в разговоре перескочили с мертвого чижики на убитого немецкого драматурга Августа Коцебу, которого недавно зарезал в Мангейме студент Карл Занд. Коцебу выступал против академической свободы, которой пользовались немецкие университеты и студенчество, за что и полатился.

— Я не поклонник его произведений, — сказал Карамзин, — некоторые называют их «коцебятиной», но резать за немодный образ мысли... Говорят, немецкие студенты-безбожники на тайной сходке договорились убить троих чело-век, ненавистных им своим образом мыслей, осуждающим вольнодумие и афеизм, и торжественно вручили заговорщикам кинжалы: Коцебу зарезали, профессор права Шмольц оказался сильным малым и отбил от ножа убийцы, а Стурдза, вовремя предупрежденный, успел уехать в Варшаву, где, как пишет князь Петр, ему приходится жить под защи-

той полиции. Вот ваши либералисты, под знаменами которых вы служите!

— Я, Николай Михайлович, служу одной музе, и потому ежели б и зарезал, так не за образ мыслей, а за одну лишь «коцебятину», — рассмеялся Пушкин.

— Чего добиваются либералы? — словно не услышал его шутки Карамзин. — Чего? Они хотят уронить троны, чтобы на их места навалить журналов, думая, что журналисты могут править светом, — вздохнул Карамзин. — И вы, верно, так думаете?

— Вы противник свободы?

— Я презираю либералов нынешних, я люблю только ту свободу, которую никакой тиран не может у меня отнять... А Коцебу как человека мне жаль, — неожиданно добавил он. — Он только начал переводить мою «Историю».

У Розового павильона Карамзин распрощался с Пушкиным. Александр затерялся в толпе, собравшейся перед павильоном. По обычаю, который завела императрица, все желающие могли приходить и смотреть, как обедает и ужинает царская семья, как проводит она вечера. Среди обывателей Павловска и приезжих из других окрестных мест встретил Пушкин и нескольких знакомых молодых лейб-гусар в роли чичисбеев, которые сопровождали молоденьких барышень с мамашами. Нашел он среди любезников и рослого, младше его на год, гусара Николая Раевского-младшего, сына знаменитого генерала.

В раскрытые окна было видно, что августейшая хозяйка сидит за пяльцами. Читал, и, надо сказать, хорошо, Александр Алексеевич Плещеев, с которым Пушкин не раз встречался на квартире Жуковского в Петербурге и у Карамзина в Царском. Был он, кажется, дальним родственником Николая Михайловича по первой его жене Протасовой. Жуковский выделялся своей статной фигурой, он млеял в окружении стареющих фрейлин, среди которых одна, впрочем, слепила красотой.

«Видно, это и есть предмет его воздыханий — графиня Самойлова, — догадался Александр. — А вон и мой предмет былых воздыханий, все так же хороша».

Уже темнело, в павильоне горели свечи в шандалах, и все происходящее в нем воспринималось как театр. Плеще-

ев, то завывая, то вскрикивая, на разные голоса читал Мольера.

Среди фрейлин находилась и Екатерина Бакунина, которую он любил в лицейские годы. Как давно это было! При свете свечей фигура Бакуниной в розовом платье трепетала, как потревоженная тень.

— Ну, просто тебе Малый Трианон, — усмехнулся Пушкин. — Прошлый век...

— А мы вчера, — шепнул ему Раевский, — двум дамам, что тут глазели, юбки сшили, вот была потеха, когда они домой собрались и не могли разойтись. Пришлось предложить им свою помощь... Мы им ножки пощупали, и дамы остались довольны.

Играла музыка у дворца, одуряюще пахли розы: несколько тысяч кустов насажено было по высочайшему повелению; они цвели все лето вокруг Розового павильона; именно от розовой плантации, а не от розового цвета стен, как можно было подумать, павильон получил свое название; стены у павильона были палевого цвета.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,

*в которой Нащокин и Пушкин играют в карты
с графом Толстым-Американцем. — «Только дураки
играют на счастье». — Поздняя осень 1819 года*

К Полю Нащокину, когда у него сидел Пушкин, зашел как-то его дальний родственник Петр Александрович Нащокин. Кажется, он приходился Полю троюродным племянником, хотя и был старше его лет на десять. Петр Нащокин был близким приятелем знаменитого Толстого-Американца, с которым они были не разлей вода и который вновь объявился в Петербурге и жил теперь на чердаке у князя Шаховского, короткого своего приятеля еще со времен совместной службы в Преображенском полку. Он предложил друзьям всем немедленно отправиться к Американцу играть в карты. Поль Нащокин, которому часто в последнее время везло, с радостью согласился. Пушкин, к несчастью, был в проигрыше, он проиграл Никите Всеволожскому за тысячу рублей, даже рукопись своих стихотворений, подготовлен-

ных к печати, кроме того, дал несколько заемных писем, и потому особенного энтузиазма не проявил, больше проигрывать ему было нечего, был в долгах как в шелках.

Про знакомство Петра Нащокина и Федора Толстого рассказывали следующий анекдот. Всем известно, что Толстой был нечист на руку, когда играл в карты. К тому же Толстой был из первых бретеров, и сказывали, что уже убил на дуэлях то ли десять, то ли одиннадцать человек.

Шла адская игра в клубе. Толстой выигрывал. Все разъехались, и остались только Толстой с Нащокиным. При расчете Федор Иванович объявил, что Нащокин должен ему 20 000 рублей.

— А я не заплачу, — сказал серьезно Нащокин, — вы их записали, но я их не проиграл.

— Может быть, — согласился Федор Иванович, — но я привык руководствоваться своей записью и докажу вам это.

Он спокойно встал, запер дверь, положил на стол пистолет и сказал:

— Он заряжен, ваша милость, заплатите или нет?

— Нет.

— Я даю вам десять минут на размышление. После чего я вас просто пристрелю!

Петр Нащокин вынул из кармана часы и бумажник и сказал:

— Часы могут стоить 500 рублей, а в бумажнике 25 рублей. Вот все, что вам достанется, если вы меня убьете, а чтобы скрыть преступление, вам придется заплатить не одну тысячу. Какой вам расчет меня убивать? Вы ведь и играете по верному расчету?!

— Молодец! — вскрикнул Толстой. — Каков молодец! Наконец-то я нашел человека! — И обнял его.

Так они стали неразлучными друзьями. После войны 12-го года, где оба показали себя храбрецами, какими в сущности и были, они вышли в отставку, Толстой, вернувший себе чин, — полковником, а Нащокин — корнетом, причем Петру Александровичу пришлось выйти из полка из-за каких-то картежных дел, несмотря на то что на карты в лейб-гвардии Кирасирском полку, как и везде, смотрели снисходительно. В течение последних лет два друга жили почти неразлучно, играли вместе, кутили вместе, вместе попадали в тюрьму и сидели в долговой яме, устраивали в Москве сног-

сшибательные балы и обеды с цыганами (Толстой был из первейших московских гурманов), но более всего им удавались охоты, на которые собирались сотни охотников, близкие и дальние соседи по имени Петра Александровича. Оба приятеля были хромы, только на разные ноги: Толстой от полученной в Бородинском сражении тяжелой раны, а Нащокин охромел совсем недавно вследствие своего неистощимого любострастия. Петр Александрович прослыл большим охотником до женского пола и присвоил в своих имениях себе право первой ночи. А стал он хромым, потому что сломал ногу, когда свалился в погреб, предусмотрительно открытый женихом, в дом которого он шел. Жених, впрочем, за свою проделку был благополучно выпорот, но не до смерти, после чего в его присутствии Нащокиным была изнасилована его невеста, а сам полуспятивший от горя парень сдан в солдаты. Петр Александрович остался на всю жизнь хром и получил прозвание «Хромой барин».

Так вот, отправляясь на охоту, Хромой барин и Американец в сопровождении сотни охотников и огромной стаи собак являлись к незнакомым помещикам, разбивали палатки у них в саду или среди двора, и начинался шумный, хмельной пир. Хозяева дома и их прислуга молили Господа Бога о помощи и не смели роптать и попадаться на глаза непрошеным гостям.

У князя Шаховского Пушкин уже бывал, старые арзамасские распри для него давно закончились, театрал и поэт капитан лейб-гвардии Преображенского полка Павел Катенин, знакомый ему с 17-го года, уговорил его как-то съездить на чердак к старику, и тот очень любезно Пушкина принял, будучи в восторге от последних его произведений, особенно от глав из «Руслана и Людмилы», которые ему прочитал кто-то из общих друзей; Шаховской любил все в русском духе. И довольно смешно выговаривал:

— Я в востолге от «Луслана и Людмилы»!

Шаховской был довольно оригинальной наружности человек, высокого роста, с большой, совершенно лысой головой, длинным носом с горбом посередине, брюхо имел он необъятное и вообще всю фигуру необыкновенной тучности, голос же, напротив, у него был тонок и писклив. На лбу у него темнел нарост, шишка, нечто вроде мозоли от

постоянных земных поклонов, которые он отбивал каждое утро у себя в молельне. В церкви он всегда стоял на коленях и пел вместе с дьячками все молитвы своим фальшивым фальцетом, ибо не имел никакого слуха. Однако многие не верили его религиозности и называли его Тартюфом. Катенин с Грибоедовым, как вольнодумцы, посмеивались над ним, впрочем, достаточно добродушно.

После первого вечера на чердаке Пушкин с Катениным ехали в санях и Павел Александрович вез его до известного угла, находившегося рядом с его домом, в который он Катенина не пускал, несмотря на неоднократные просьбы от-дать визиты. Он стеснялся родительской бедной и запущен-ной квартиры.

В тот раз Пушкин сказал Катенину:

— Знаете ли, а Шаховской в сущности очень хороший человек. Никогда не поверю, что он серьезно желал повре-дить Озерову или кому бы то ни было. (Про Шаховского ходила сплетня, что он был виновником гибели драматурга Озерова).

— Жаль, что вы это когда-то писали и распространяли.

— Я теперь о многом жалею, в том числе и об этом. К счастью, я думаю, никто не прочел этого школьного бума-гомарания; как вы думаете, он знает что-нибудь о нем?

— Пожалуй, нет. Во всяком случае, он никогда не гово-рил об этом.

— Тем лучше, — улыбнулся Пушкин, — поступим как и он и никогда не будем больше говорить об этом.

Так вот на чердак к Шаховскому и уговорил всех поехать Петр Нащокин.

Из гостиной доносился писклявый голос Шаховского:

— Я лад, что он плекласнейший, доблодетельнейший человек, да пусть он будет святой — я лад его в святцы записать и буду каждый день поклоны бить, свечку постав-лю, молебен отслужу, да на сцену его, лазбойника, не пус-кайте!

О ком он говорил, они так и не узнали, потому что, когда ввалилась вся честная компания, неизвестный актер был тут же забыт. Толстой-Американец сидел дома и встре-тил Пушкина так, как будто не было тех пяти лет, что они не виделись с лицейских времен. Он почти не изменился, только кучерявая голова еще более поседела.

— Пушкин, Пушкин! — обнял Толстой-Американец поэта. — Ты, говорят, играешь, последняя копейка ребром? Поступил на службу четырем королям? Мне князь Вяземский в Москве на тебя жаловался.

— А что ж, давайте, Федор Иванович, прокинем талию-другую?

— Нет, братец, я тебя уважаю, оставим это. Если начнем метать банк, я непременно увлекусь привычкой исправлять ошибки фортуны, — сказал Толстой. — Я всем своим друзьям со мной играть не советую.

— Неужели вы играете наверняка? — сыграл под дурачка Пушкин, хотя про шулерство Толстого-Американца было известно чуть ли не каждому и в Петербурге, и в Москве.

— Только дураки играют на счастье. Вот послушай, коли есть желание... — Гости расположились в кружок вокруг графа. — Таких, как я, называют бульдогами, и у бульдога, друг мой, имеются свои шавки, которые и привозят ему игроков. Вот намерен перед отъездом из Москвы привозят ко мне приезжего купца. Начали играть, сначала как бы шутя, на закуски, ужин, пунш. Эта обстановка сделала свое дело: смотрю, захмелел наш купчишка. Тут надо за дело браться серьезно. Купец увлекся и проиграл семнадцать тысяч, а когда потребовалась расплата, вдруг заартачился и заявляет, что таких денег у него с собой нет... Тут появляется наш Петр Александрович и говорит: все предусмотрено, есть гербовые бумаги, и нужно написать только обязательство. Купец отказывается наотрез, но опять садится за игру и проигрывает еще двенадцать тысяч. Тогда мы требуем с него два обязательства — он опять наотрез отказывается. Что же делать? Посадили его в холодную ванну, продержали часа два, наконец согласился подписать. Подписал как миленький, после чего напоили его до бесчувствия и спатеньки уложили. Впрочем, с ним было не трудно. Он был из тех, кто начини играть в карты хоть с самим собой, так и тут найдет способ проиграться. Утром усадили его за карты, дали выиграть три тысячи, заплатили наличными — он был счастлив, а обязательство на двадцать девять тысяч осталось у нас в кармане, — закончил Федор Иванович.

— Калты — ужаснейшее зло! Не зря Екательина заплещала азалтные иглы! — воскликнул добродушнейший Шахов-

ской, и все рассмеялись: уж больно забавной получилась последняя фраза.

Пушкина всегда изумляло, как при такой ужасающей дикции Шаховской был один из лучших учителей декламации в Театральном училище.

— Не возводи напраслину на матушку императрицу, Саша. Екатерина сама со временем пристрастилась к карточной игре. Разумеется, не азартной, а степенной... — сказал Толстой Шаховскому. — Собирались в Бриллиантовой зале по вечерам. В игре были все ее кавалеры. Играли в макао. Дают три карты, как при берлане, а вы должны не переходить известное число очков. Игра проще, нежели берлан.

— Здесь счастье много значит, — уверенно сказал Поль Нащокин. — Угадывание счастья — своего рода наслаждение.

— Счастье в игре — для одних случайность, в которой они усматривают промысел, а для меня насущная потребность, как иному дурман, — согласился Толстой. — Я должен быть счастлив, и, значит, я счастлив. Зачастую и фортуна подправлять не требуется.

— Может, испытаем, ваше сиятельство, к кому фортуна благоволит больше? — предложил Поль.

— А он мне нравится! Не испугался играть с Американцем! Ведь знает все про меня, а не боится! — обратился к Петру Нащокину граф Толстой. — Сразу видно, твой родственник. Одна кровь!

— Кровь-то одна, да средства, на которые ее взбодрить можно, разные, — развел печально руками Петр Александрович. — Поль нынче у судьбы в фаворе. Матушка Клеопатра Петровна его балует.

— Я знавал вашего батюшку, играл запойно, дни и ночи напролет, проигрывал состояния, а случалось, бывал так счастлив, что злато и серебро на простынях выносили, — кстати вспомнил Федор Иванович и добавил, внимательно взглянув в глаза младшему Нащокину: — Но прежде чем засучить рукава да сесть за зеленое сукно, надобно хорошо отобедать. Я сегодня сам заказывал обед.

— Не знаю, есть ли подобный гастролом в Евлопе! — воскликнул Шаховской. — Все блюда плоские, но съешь — и пальчики оближешь!

— Главное, — пояснил Толстой, — никому не доверять покупать припасы. Я сегодня сам ездил на рынок. Первый

признак образованности — правильный выбор кухонных припасов. Хорошая пища облагораживает животную оболочку человека, из которой испаряется разум.

— Куда испаряется? — не понял Поль Нащокин.

— В мировое пространство, — взмахнул рукой Толстой. — И от того, как он испаряется, зависит наша с вами жизнь. Сегодня брал рыбу, так смотрел, чтобы сильно билась в садке. Бьется, значит, в ней много жизни! Значит, она вкусней и полезней! Мы все, кто сильно бьется, вкусней и полезней. Александр, я думаю, со мной согласен?

— Согласен, — кивнул Пушкин. — Я сам как эта рыба в садке, а вырваться не могу.

— Коли не можешь, так жди, когда тебя на стол подадут.

— Ну уж дудки! — сказал Пушкин. — Вырвусь!

— Играть будем на наличные, — вдруг серьезно сказал Толстой Павлу Нащокину. — И запомни, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать.

Князь Шаховской радостно потер руками, предвкушая театр, зрелище, дуэль, все, что он обожал. Был лукулловский обед, была адская игра, Толстой держал банк, Поль Нащокин понтировал, и черт дернул тогда Пушкина за язык, когда он заметил Американцу, что он передергивает.

— Да я сам это знаю, — спокойно усмехнулся Американец, — но не люблю, чтобы это мне замечали. — И посмотрел на Александра внимательно, словно запоминал лицо.

Ни скандала, ни вызова, никто не хватал шандала со свечами, традиционного орудия игроков, чтобы ударить шулера по башке или хотя бы замахнуться для остротки. Просто поговорили как о чем-то обыденном и забыли. Надо сказать, что к шулерам тогда относились снисходительно, это было нечто вроде бретерства, вещь неприятная, но лихая, требующая смелости и отваги, а значит, уважительная в глазах молодых, неоперившихся юнцов. Бульдог Толстой даже позволил щенку Нащокину половину проигранного отыграть. Щенок ведь не шавка, из него и бульдог может вырасти. Сыграл Американец с ним на счастье и убедился, что щенку везет. Отгрыз у него только тысченоч шесть с половиной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

в которой Пушкин примеряет маску Лувеля, убийцы герцога Беррийского. — Тучи сгущаются. — Сплетня подлеца Толстого-Американца. — Первая встреча с Анной Керн. — Зима 1820 года

Убийство Карла Фердинанда, герцога Беррийского, племянника короля Людовика XVIII, поразило всех как громом. Эту новость обсуждали во всех салонах, о ней писали во всех газетах. Простой седельщик Лувель заколол герцога шилом, которым пользовался для шитья седел. Шило отлично протыкало кожу. После убийства он с гордостью заявил, что хотел бы истребить весь род Бурбонов, ибо они мешают счастью Франции, и начал с того, кто мог бы этот род размножить.

— Молодец! — воскликнул, узнав про это, Пушкин.

Эта новость настолько его взбудоражила, что, когда в «Вестнике Европы» был напечатан портрет Лувеля под заглавием «Черты злодея Лувеля», он вырезал его, перечеркнул надпись и размахисто написал своим летящим почерком: «Урок царям». Сначала он повесил портрет на дверной косяк в своей комнате, но там его видели лишь двое-трое его приятелей, и потому он не удержался и потащил портрет как-то вечером в театр.

Но прежде он заехал к братьям Тургеневым, у которых не был уже несколько дней. На Александра Ивановича его шутка не произвела впечатления.

— Спрячь, Сверчок! И никому не показывай! Это уже не мелкие стихи и крупные шалости, которыми ты славишься, а нечто похуже. Угомонись ты, наконец. Все как с ума посходили, носятся с этим убийцей! Мне прислали во французских листах его портрет, так выпросил Булгаков для брата Александра в Москву. Теперь князь Петр просит из Варшавы, я ему уже ответил, что он ближе к Парижу и ему легче достать. В салонах только и говорят о смерти герцога, правда, справедливости ради надо заметить, что свет обсуждает и смерть графини Потоцкой, урожденной Браницкой. А два дня назад вхожу через алтарь в католическую цер-

ковь, а оттуда за руки-ноги выносят Коломби, гишпанца, который умер у самого алтаря апоплексическим ударом, стоя с другими министрами при отпевании герцога Берри. Церковь была полна, французский посланник граф Пьер Ла-Ферронэ отпевал своего принца и друга, с которым после размолвки не успел примириться, хотя был к нему очень привязан...

— Но сознайтесь, убийца ведь не просто убийца! Он народный герой, — заметил Пушкин.

— Ну-у, — то ли согласился, то ли нет Александр Иванович. — Занд в своем роде. И раскаяния, говорят, не показывает. — Он вдруг перескочил на другую тему: — Кологривов в маскарade князя Федора Голицына пугал всех Наполеоновой маской и всем его снарядам и походкой, даже его словами.

— Еще пугаются? — спросил Пушкин. — Лучше б он надел маску Лувеля или Занда. — Пушкин прилепил портрет убийцы себе на лицо.

— Во всяком случае, некоторым это было неприятно. Не знаешь ли ты, мой друг, где можно в Петербурге достать черного полосатого бархата, из коего делают жилеты? — спросил Александр Иванович, увидев входящего в гостиную своего брата Сергея, недавно прибывшего из Франции. — Вот как у Сережи... — Он пощупал ткань на жилетке брата.

В театре Пушкин ходил в креслах по чужим ногам, хохотал и показывал портрет Лувеля. Мелькнула даже мысль, а не показать ли портрет и графу Милорадовичу, который сидел неподалеку в креслах; некоторые полагали, что он либерал, во всяком случае, Федор Глинка уверял всех в этом, но, слава Богу, вовремя спохватился. «Либерал-то либерал, но не до такой же степени». Чаадаев принял его шутку с кислой улыбкой.

— Мой дурак узнал, что я знаком с тобой, — сказал ему Петр Яковлевич, — и просит тебя каких-нибудь стихов, чтобы показать государю по его просьбе.

Кто такой дурак, они знали без объяснений: так адъютант Чаадаев звал своего генерала Иллариона Васильевича Васильчикова, командира отдельного гвардейского корпуса.

— Новых? Или старые сгодятся? — заволновался Пушкин, складывая портрет и пряча его в карман.

— Просит чего-нибудь политического, из того, что ходит в рукописях. Государю, видно, докладывали.

— Дело плохо. Плохо, плохо... — Чаадаев посмотрел, как Пушкин снова достал портрет из кармана и стал рвать его на мелкие кусочки.

— Вот это правильно! — кивнул он Пушкину. — А генерала лучше предупредить и дать то, что сами посчитаем нужным, а не то, что они легко смогут достать через агентов. Мне сказывали, что твою оду «Вольность» переписывают и читают даже мелкие чиновники, а уж сколько списков у наших гусар — не пересчитать!

— А кто они? — еще больше разволновался Пушкин. — Ты сказал: они могут достать.

— Мой генерал постоянно ездит к графу Милорадовичу, он недоволен излишней вольностью в полках. Я знаю, что они обсуждали это...

После театра уехали к Чаадаеву в Демутов трактир, судили-рядили, пили шампанское и решили показать «Деревню», которая была написана этим летом, но уже тоже ходила в десятках списков.

— Правда, там есть, как считает камергер Тургенев, некоторое преувеличение насчет псковского хамства, — сказал Пушкин, — но ничего, его высокопревосходительство Илларион Васильевич с его величеством Александром Павловичем скушают, не подавятся. Ведь хамство везде хамство, хоть во Пскове, хоть в Петербурге, хоть в Царском Селе.

После шампанского он немного осмелел, и весть, которую сообщил ему Чаадаев, уже не казалась такой страшной, как в начале.

Генерал Васильчиков был чужд всякой поэзии и потому уж если что-нибудь и воспринял бы, так прямолинейное, политическое. «Деревня» годилась для этой цели.

Тут же у Чаадаева подали бумагу и чернила, Пушкин сел и сам переписал для государя стихотворение, которое генерал и доставил царю. К их удивлению, Александр Павлович отнесся к стихам благосклонно, и через Васильчикова велел передать поэту свою благодарность за чувства, которые оно вызывает. Пушкин Александру Павловичу не поверил: если бы поднесенные стихи действительно понравились, то

благодарность государева имела бы материальный вид, к примеру, перстня с камнем рубликов в семьсот из царского Кабинета. Правда, стихи не славили государя, но были отнюдь не дурны. Поэтов поощрять надо. «Да черт с ним, с перстнем, — сказал Чаадаев, — слава Богу, все обошлось!» По крайней мере на словах Александр Павлович оставался либерален.

Но не обошлось, нутром чувствовал Пушкин, что не обошлось, что сгущается, темнеет туча над ним. Сам не знал, из чего составлялось в нем убеждение, что что-то будет, но чувствовал, по духоте наступающей предчувствовал грозу. Кажется, и другие что-то чуяли. Сергей Львович чаще, чем раньше, начинал браниться, корить его вольнодумством, слюни летели у него изо рта, он начинал задыхаться и как-то, устав от крика, тихим убитым голосом потребовал съехать с квартиры. Хромой Николай Тургенев выговаривал, что дурно брать деньги (это семьсот-то рублей в год деньги!) у правительства и ругать его, хотя сам был вольнодумец. Карамзин занудствовал, призывал остепениться, не дразнить гусей, тоже говорил если не про тучу, так про громоносное облако, этак с намеком на того, кто насылает гром и молнии, и тут же нахваливал царя, клялся, что предан ему до гроба, однако шепотком, как бы случайно, проговаривался, что в душе сам всю жизнь был республиканцем, но нельзя, друг мой, нельзя в России, не время, да и придет ли когда-нибудь оно, для России идеал — монархическое правление.

К тому же в последнее время Александр стал ощущать вокруг себя какие-то недомолвки, намеки, выражаемые ему сожаления и никак не мог понять, в чем дело, в чем ему сочувствуют. Разъяснилось все, когда они как-то с Катениным ехали из театра. Катенин долго и зло говорил о князе Шаховском. В последнее время как-то само собой образовались две театральные партии: Катенин сам взял учеников, и, например, один из лучших молодых актеров Василий Каратыгин перешел учиться к нему, в то время как его младший брат Петр остался учиться у Шаховского. Шаховской был разгневан дерзостью Катенина и никогда не мог простить ему этого. Внешне сохранялись приличные отношения, но внутренняя вражда шла, казалось, не на жизнь, а на смерть. Спорили они до хрипоты, в хуле современным

писателям они старались превзойти друг друга, но побеждал Катенин: имея твердую память и сильную грудь, он Шаховского перекрикивал и долго еще продолжал спорить, когда тот падал, утомленный, в кресла и тяжело дышал, ничего не отвечая Катенину. Пушкин знал об этой вражде, но, держась в стороне, никак не мог предположить, что окажется затянутым в конфликт и он сам.

Катенин сообщил ему о некоем письме, написанном из Москвы, в котором говорилось, что он, Пушкин, вызван был в полицию и за свое предосудительное поведение высечен в подвалах Секретной канцелярии.

Сначала Катенин не хотел говорить, чье это было письмо, но, когда Пушкин прямо сказал ему, что адресоваться он будет к самому Катенину, тому пришлось сообщить, что на чердаке у Шаховского читалось письмо графа Толстого-Американца, который жил опять в Москве.

— Да он-то откуда знает? — вскричал Пушкин, понимая, как глупо выглядит его вопрос. — Ты, надеюсь, не веришь подобной чуши?

— Если бы я хоть на мгновение мог в тебе усомниться, ты понимаешь, что я никогда бы тебе этого не сказал. А если ты хоть на секунду можешь подумать, что я сказал неправду, то вспомни хотя бы, что мы имеем дело с Американцем. За любые слова, даже просто не так понятые, придется отвечать.

— Значит, другие во мне усомнились? — похолодел Пушкин. — Если никто и словом не обмолвился? Что же теперь делать?

И вдруг понял, догадался, что не забыл Американец его реплики, отомстил злой и опасной сплетней. Как широко она успела распространиться? Неизвестно. Он вдруг понял, что Катенин, рассказавший ему эту сплетню, стал ему неприятен, не зря ведь в старину гонцов, сообщивших дурную весть, убивали. Он вдруг заметил, что тот не по возрасту розовощек, смазлив до приторности; про таких говорят: румян, как херувим на вербе. Катенин еще кипятился, понося князя Шаховского и почему-то Вергилия, но Александр его больше не слушал, прыгнул из кареты на своем углу и ушел в ночь, кажется, даже не попрощавшись.

Сначала он на несколько дней заперся в доме, обдумывая, что делать. Он впал в отчаянье, когда увидел себя со-

вершенно опозоренным в общественном мнении. Подлеца Толстого-Американца в Петербурге не было. Ехать в Москву искать его, чтобы бросить вызов? Брать отпуск? Но по какой причине? И дадут ли? Наконец, где взять денег на поездку? Потребовать у отца? Но ему нельзя открыть, для чего поездка. Самому застрелиться? — обожгла его мысль. Так нестерпимо больно выносить этот позор. Но тогда все точно решат, что я обещен. Тогда вызвать кого-нибудь? И быть убиту... Или... Убить государя... Своею жизнью избавить Россию от тирана. Пусть знают, что поэты не просто болтуны и шелкоперы, а на что-то серьезное тоже способны.

Он выбрался из добровольного заточения и явился к Чаадаеву в Демутов трактир. Когда он сообщил другу о намерении убить царя, тот отнесся к этому вполне серьезно и отвечал, что со стороны царя ему оскорбления не было.

— Ты бы совершил, друг мой, беспричинное преступление. Тебе ведь от государя прямой обиды не было. Кроме того, ты принес бы в жертву мнению общества, которое презираешь, как и я, человека всеми ценимого и принадлежащего уже истории. Я бы на твоём месте сделал попытку оправдаться перед властью.

— Как?! — вскричал Пушкин. — Все такую попытку воспримут за страх и тогда уж точно поверят в то, что я высечен. Я теперь только прибавлю дерзости, я буду так нагл, что они взбесятся и вынуждены будут принять меры. Я их заставлю сослать меня в Сибирь или засадить в крепость!

Он бросился к Тургеневу узнать, что пишут ему из Москвы и где Американец. Александр Иванович не знал, но обещал разузнать, так и не спросив, зачем ему это. Он как раз сидел в кабинете за письмами, которые он писал по нескольку штук в день в разные адреса.

Пушкин представлял себе, как явится к графу и потребует стреляться тут же, среди цыган и цыганок, с которыми он гуляет, прямо в комнате, через платок, насмерть. Он даже услышал их пение, заунывно оплакивающее два хладных трупа, потому что трупа непременно будет два, коли стреляются лоб в лоб.

Однако все переживания не помешали ему направиться вечером к Лениным. Там не играли в карты, а предпочитали шарады в картинах. Гости только собирались. Он увидел,

как появилась незнакомая красивая дама в сопровождении, как он сначала подумал, мужа, но позже выяснилось, что это был ее отец, брат хозяйки дома, Елисаветы Марковны Олениной, урожденной Полторацкой.

В дверях они встретились с Иваном Андреевичем Крыловым, завсегдатаем их вечеров, почти домочадцем Олениных, и мужчина, улыбаясь, представил ему свою дочь как свою сестру.

Крылов, казалось, не понял шутки; для Пушкина любая новенькая личность с хорошеньким личиком и стройной фигурой действовала как дичь на собаку, он тут же делал стойку; рядом оказался его тезка Александр Полторацкий, у которого он и выяснил, что молодая дама, Анна Петровна Керн, приходящаяся Полторацкому двоюродной сестрой, уже некоторое время как в Петербурге.

— Хороша, черт возьми, хороша.

— Замужем за генералом Керном, — сказал Полторацкий.

— И, конечно, его не любит. Потому что отдана старику шестнадцати годков.

— Угадал.

— Все написано на ее лице. А кузен, наверное, играет при ней определенную роль?

— Кузены всегда играют определенные роли, — усмехнулся Полторацкий.

Гости разыгрывали шарады, заводил хоровод «негр» Плещеев, как прозвал его Жуковский за чрезмерную смуглость и черные вьющиеся волосы. Самого Василия Андреевича сегодня не было, зато присутствовали служащие библиотеки, подчиненные Оленина, кривой Гнедич в шарфике и вечно грязный, неумытый и непричесанный Крылов. Елисавета Марковна возлежала на желтом штофном диване в гостиной. Вокруг хозяйки расположились на стульях приживалки и гувернантки, воспитанницы и дальние родственницы, многие из них участвовали в живых картинах.

Черный Вран, он же Негр, который, казалось, успевал везде, затащил играть даже старика Крылова. Баснописец, проиграв тут же фант, вынужден был читать своего «Осла».

Как только Иван Андреевич произнес первые слова, лицо его сразу приняло выражение ослиное.

Мужик на лето в огороде,
Наняв Осла, приставил
Ворон и воробьев гонять нахальный род.
Осел был самых честных правил:
Ни с хищностью, ни с кражей не знаком...

— Мой дядя самых честных правил, — пробормотал Пушкин, но Полторацкий услышал и улыбнулся:

— Кажется, у всех дяди — ослы... — пробормотал Полторацкий, глядя на отца m-me Керн.

— О племянничек! Не любишь дядю. Как же, такой цветок загубить, — заметил Пушкин. — Я бы тоже злился, — рассуждал он. — С другой стороны, когда женщина замужем, появляется больше возможностей, она становится доступней и сговорчивей. Слышишь, что Крылов говорит: но, кажется, неправ и тот, кто поручает Ослу стеречь свой огород...

— А ведь верно, — усмеялся Полторацкий. — Генерал стар и глуп.

Но Пушкин слушал его вполуха, сам все смотрел на Анну, на долю которой вскоре выпала в шараде роль Клеопатры. Ее поставили с корзиной цветов, и Пушкин с Полторацким приблизились полюбоваться ею.

Пушкин, указывая на ее брата, сказал:

— Et c'est sans doute monsieur qui fera l'aspis? (Конечно, этому господину придется играть роль аспида?) Который нанесет смертельный поцелуй.

Керн нашла это дерзким, губка у нее дернулась, и она, ничего не ответив, ушла, сверкнув ослепительно белыми плечами.

Пушкин расхохотался и мысленно раздел ее, получилось неплохо, только по ее фигуре выходили коротковатые ножки. «У мадам Керны ножки скверны, — подумал он. — Ну и что?!» И тут же представил, как, с каким удовольствием завалил бы ее.

У Олениных ужинали на маленьких столиках, без чинов.

Пушкин усаживался, приговаривая стих Княжнина:

— «Не занимаясь вовек о рангах спором, Рафа́ел не был коллежским асессóром...» Хоть у Олениных знаешь, что тебя не обнесут за столом.

Они с Полторацким расположились за спиной у Керн, и два Александра наперебой принялись льстить ей своими речами.

— Можно ли быть такой прелестной, — завел Пушкин.

— Конечно, не только можно, но и должно, — поддержал его Полторацкий. — Правда, у хорошеньких женщин всегда есть опасность попасть в ад.

— Я хотел бы в ад, раз там будет много хорошеньких, — радостно воскликнул Пушкин. — Я играл бы с ними в шарады. Спроси, мой друг, у madame Керн, хотела бы она попасть в ад?

— Annette, ты хотела бы в ад? Там, говорят, будет весело, — обратился Полторацкий к Анне Керн. — Пушкин стихи будет читать, в шарады играть.

— Я в ад не желаю, — серьезно, не принимая их игристый тон, отвечала m-me Керн. Она сидела вполоборота, но головы в сторону молодых людей не поворачивала.

— Тогда и я раздумал — воскликнул Пушкин. — Я в ад не хочу, хотя там и будут другие хорошенькие женщины. Что ж, тогда в рай?

— С хорошенькими женщинами мы устроим рай на земле, — сказал Полторацкий. — К чему нам умирать?

Когда m-me Керн уезжала, ее кузен Полторацкий подсел к ней в карету. Пушкин стоял на крыльце и провожал ее глазами. Хотелось быть на месте Полторацкого, предупредить ее желания, невзначай коснуться руки, что удобней всего сделать в карете, при случайном толчке обнять за талию. Потом вдруг вспомнил про сплетню Американца, и от обиды сжалось сердце.

— Всадить бы ему пулю в лоб! Какое наслаждение!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

в которой Каразин посещает министра внутренних дел графа Виктора Павловича Кочубея и предлагает организовать департамент тайной полиции. —

12 апреля 1820 года

«Его сиятельство граф Виктор Павлович просит Василия Назарьевича пожаловать к нему сего дня после обеда в восемь часов. 12 апреля 1820 года», — прочитал Каразин поданную ему записку от министра и подумал с трепетным чувством облегчения: «Эту записку надобно сохранить, она

будет для меня памятником разговора с графом. Все решится в завтрашний вечер, как великолепно все может решиться. Мой голос наконец услышан. Возможно, граф уже доложил государю... А ежели примут мои предложения об учреждении департамента... Что мне тогда все эти разногласия в Вольном обществе?!»

Василий Назарьевич был принят в Вольное общество любителей российской словесности очень благожелательно, причем подчеркивалось, что избран он за познания в науках и отечественном слове, за особенное усердие к благу общества и приобретенную с годами опытность. Вскоре приобретенная с годами опытность помогла ему стать и помощником председателя общества Федора Николаевича Глинки, и месяца не прошло после его вступления. Помощником, то есть вице-председателем, который вел заседания при отсутствии председателя. По значимости Василий Назарьевич стал вторым лицом в высочайше утвержденном Вольном обществе.

Однако в обществе, к его великому сожалению, оказалось много пустых людишек, совершенные мальчишки, вроде Кюхельбекера, Дельвига, Боратынского, Андрея Пушкина — не того печально знаменитого своими непристойными эпиграммами да расхваленного всеми за стишки в дамские альбомы, а однофамильца; они поносили всех и вся вокруг, а хвалили только себя одних: «В таланты жалуют, бессмертие дают; а гениев у нас и куры не клюют!», как написали в «Благонамеренном», метя в этих Пушкиных, Боратынских и Дельвигов. Все, что писала эта братия, была, с его точки зрения, только пустая забава домашних бесед. Вместо того чтобы в десятитысячный раз описывать восход солнца, пение птичек, журчание ручейков, сочинять шарады, вроде «меч-тать», «кол-чан» или «сук-но», он начал призывать их употребить свои дарования и обратить воображение на предметы более дельные. Пора перестать, взывал к членам общества Каразин, быть подражателями: с Карамзиным и Тацитом — в глубины отечественной истории, вместо путешествий небывалых — действительные путешествия, например, к чукчам, кочующим по полярным льдам.

— Ездил ли кто-нибудь из вас к чукчам? — вполне серьезно спрашивал он и получал в ответ в лучшем случае лишь удивленные взгляды, а порой и смех.

— А вы, Василий Назарьевич, ездили? — поинтересовался барон Дельвиг.

— Пока нет, — совершенно серьезно отвечал Каразин, — но я предпринял ряд путешествий в пределах нашего отечества.

Как только Василий Назарьевич узнал, что в ноябре 1819 года был назначен министром внутренних дел один из ближайших друзей царя граф Виктор Павлович Кочубей, то решил, что его час наконец пробил. Граф назначался на этот пост вторично, в начале царствования Александра он уже занимал этот пост. К Министерству внутренних дел присоединялось и упраздненное Министерство полиции.

Василий Назарьевич хорошо помнил, что граф был одним из членов так называемого негласного комитета, который был учрежден государем из людей наиболее ему близких: князя Адама Чарторижского, Николая Николаевича Новосильцова, графа Павла Александровича Строганова, комитета, который занимался подготовкой так и не осуществившихся преобразований. Поэтому на графа Кочубея Каразин возлагал особые надежды, кроме того, он был знаком с ним по прежнему своему приближенному к особе государя положению. Он помнил графа как человека увлекающегося, романтического, мечтающего о процветании России. Ему рассказывали, что, когда государь после Бородинской битвы предложил графу отправиться послом в Англию, с тем чтобы потом занять пост министра иностранных дел и государственного канцлера, граф отказался, сказав, что в суровую годину он не может покидать родину. Каразин возлагал большие надежды на графа, но сейчас, после всех жизненных перипетий, после несправедливых наветов и арестов, после запретов писать государю, он не мог явиться к графу без доказательной записки о делах российских, как он их понимал.

Василий Назарьевич засел на несколько месяцев и выписал записку, в которой попытался изложить все, что его волновало. А волновало его многое, времена наступили горячие: в Гишпании началась революция, ее восторженно приняла петербургская публика. Только и слышались возгласы одобрения. Особенно вдохновляло общество, что революция свершилась бескровно. Дух развратной вольности более и более заражал все состояния. Прошедшим еще ле-

том на дороге из Украины и здесь, в Петербурге, Василий Назарьевич слышал от самых простых рабочих людей такие разговоры о природном равенстве, что изумился. «Полно-де уже терпеть, пора бы с господами и конец сделать». — Это надо остановить, остановить немедленно, в России без крови не обойдется, в России будут реки крови. Может быть, моя статья, — надеялся он, — будет посильной лептой в благое дело, послужит грозным предупреждением».

Назвал он статью просто: «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России». 1 марта она была прочитана в заседании Вольного общества и даже одобрена большинством членов, скандал разразился несколько позднее, когда Василий Назарьевич не остановился на этом и тиснул свою записку в количестве 15 экземпляров, да еще с особыми примечаниями, кроме этого, он подал экземпляр записки министру внутренних дел и в то же время попечителю Вольного общества графу Виктору Павловичу Кочубею.

Об этом узнали в обществе, то ли Глинка узнал, который по своей работе, по своему особому положению имел доступ ко многим сведениям, поступающим в министерства, то ли Николай Греч на хвосте притащил. Скандал разразился немедленно, в следующее заседание. Молодые члены кричали, свои мнения высказали Кюхельбекер, Дельвиг, Гарижский: все считали поведение помощника председателя недостойным.

Особенно разгорячился Николай Греч:

— Я сам видел печатные экземпляры сего произведения, с мыслями, которых не было в прежней редакции и которых мы принять не можем. Все это сделано вопреки уставу общества и без его разрешения.

Глинка молчал, сложив руки на груди, и саркастически улыбался, не вмешиваясь в дискуссию.

На стороне Каразина попытался вмешаться Михаил Загоскин.

— Стидно видеть, как в журнале, издаваемом не частным человеком, а целым обществом, членами которого мы являемся, — вскричал он, — печатаются произведения, восхваляющие пьянство, негу и разврат! Василий Назарьевич прав!

Когда же дошло до голосования, записку Каразина на сей раз отвергли, после чего он сам и поддержавшие его старики покинули заседание. Раскол был налицо.

Граф Кочубей, принимая Каразина, был вальжен, но прост в обращении. Однако в его жестах, манерах проскальзывала какая-то леность, граф как будто спал, и глаза его потускнели, время от времени их заволакивала сладкая истома. Время, конечно, было после обеда. Но все ж таки... Не было и следа былой восторженности, бывшего воодушевления. Да и то, графу было уже за шестьдесят, после десятилетних войн, катаклизмов, наконец, просто житейских разочарований можно было и подустать.

— Скажите, Василий Назарьевич, неужели вы и впрямь видите ту опасность, о коей изъясняетесь в вашей записке?

— Несомненно. Опасность предстоит величайшая.

— Признаюсь, я сего не понимаю и отнюдь не могу видеть те опасности, которые вы находите.

— Вы, ваше сиятельство, не можете о сем судить. Вы не разговариваете с народом, вам никто ничего не скажет. Вы не знаете, что происходит даже здесь, в столице, я уж не буду говорить про провинцию. Да что в столице! В Царском Селе, при дворце, его величество воспитывает в Лицее себе и отечеству недоброжелателей... Говорят, дело дошло до того, что один из них по высочайшему повелению секретно наказан. Выпорот.

— Вы имеете в виду Пушкина? Это — сплетня, наглая ложь, — усмехнулся граф Виктор Павлович. — В России дворян плетью не наказывают, Василий Назарьевич, даже секретно.

— Но в данном случае сплетня это то, что желало бы увидеть общество, во всяком случае, его лучшая часть.

— А конкретно вы? — спросил граф. — Вы хотели бы видеть выпоротого дворянина Пушкина?

— Да что Пушкин, ваше сиятельство?! Тем более дело не в одном Пушкине! — воспарил, воодушевляясь, Василий Назарьевич. — Из воспитанников Лицея более или менее почти всякий есть Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили. Кто сочинители карикатур или эпиграмм, например, на двуглавого орла, на Александра Скарлатовича Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно... Это лицейские питомцы! Кто знакомит публику с соблазнительными стихотворениями в летах, где честность и скромность наиболее

приличны... они же. Молодые люди первых фамилий восхищаются французской вольностью и не скрывают своего желания ввести ее в нашем отечестве. Для примера представлю вашему сиятельству князя Сергея Григорьевича Волконского... Или братьев Тургеневых.

— Братья Тургеневы? Помилуйте, да хорошо ли вы их знаете?

— Младшего, Николая, лучше, — сказал Каразин. — И он, и Александр — оба демократы.

— Ну, если Тургеневы — демократы, тогда нам с вами опасаться нечего, — мягко и снисходительно улыбнулся граф Кочубей. — А князь Волконский? Сын князя Григория Семеновича, члена Государственного совета! Внук фельдмаршала Репнина! Сам генерал-майор, герой Прейсиш-Эйлау, кампании двенадцатого года и заграничных походов! — продолжал воодушевленно перечислять граф Кочубей. — Наконец, свитский генерал! Не может быть! Просто не может быть! Правда, в настоящее время уволен для излечения за границу, — вдруг вспомнил граф.

— Вот-вот, но за границу не ездил... — радостно подхватил Каразин. — По слухам, член одной из лож. А дух вольности как раз и поддерживается масонскими ложами и вздорными нашими журналами, которые не пропускают ни одного случая разливать так называемые либеральные начала, между тем как никто из журналистов и не думает говорить о порядке, об исполнении святых должностей, которое всякое правление может сделать наилучшим. Не ходя далеко, я могу представить вам, ваше сиятельство, выписки из журналов и газет, которые должны вас удивить.

Все это, взятое вместе, неоднократно рождало во мне мысль, что какая-нибудь невидимая рука движет внутри отечества нашего погибельнейшими для него пружинами, что они в самой тесной связи с нынешними заграничными делами и что, может быть, два или три лица, имеющие решительный доступ к государю и могущие сами быть действующими, не что иное, как жалкие только орудия... Это только кажется невероятным, но это более чем вероятно, ибо были уже подобные примеры на нашей памяти! Стоит только вспомнить Францию и ужасное влияние, которое имели на нее тайные общества.

Надо бы в пределах Министерства внутренних дел организовать особый департамент, который взял бы на себя обязанности тайной полиции. Я со своей стороны... — начал было Каразин излагать свою глубоко выношенную идею, но граф догадался, о чем он, потому заторопился и предупредил его:

— Я не руковожу полицейским надзором! — воздел он руки. — По этому вопросу вам следовало бы обратиться к графу Милорадовичу. Политический сыск в его ведении. Но вернемся, Василий Назарьевич... к эпиграммам. Государь особо обратил на это внимание. Вы не могли бы... — Тут граф немного споткнулся. — Я уже говорил с государем о сем предмете... Его величество желал бы удостовериться, что сия эпиграмма... не ваше изобретение.

— Мое? — вскричал Каразин. — Да как же... — Он хотел закричать, что кто же так мог подумать, но вовремя вспомнил, что граф передает мнение о сем предмете самого государя. Каразину было известно, что Александр Павлович был мнителен. Он и устранил его от себя во время оно, когда ему донесли, что Каразин показывает другим собственноручные к нему записки государя.

— Извольте тогда предоставить доказательства, — пояснил граф.

— Доказательства? — искренне не понял графа Каразин.

— Хорошо бы сыскать эпigramму или карикатуру, о которой вы говорите, на бумаге.

— На бумаге?!

Граф кивнул.

— Нет, попрошу меня уволить от такого поручения, — твердо сказал Каразин.

— Отчего же вы отказываетесь? — удивился граф. — Вы уже бросили на себя тень. Мне трудно будет убедить государя. Надобно, Василий Назарьевич, оправдаться. Если это Пушкина пашквиль, — сказал он подчеркнуто по-старинному, — так пусть будет его рукою или хотя бы кто покажет на Пушкина, список, наконец, даст верный.

Каразин никак не мог прийти в себя, ему предлагалась роль шпиона, агента, какого-то Фогеля, а он ведь считал себя спасителем отечества.

— Осмелюсь, ваше сиятельство, возвратиться к тому, что я уже говорил: моя цель быть употребленным по депар-

таменту, который я предполагаю совершенно необходимым и который поручениями Лавровым, фон Фоком, Фогелем и прочими никоим образом заменен быть не может.

— К графу Милорадовичу, — улыбнулся в ответ граф Кочубей. — А мне пишите все, что сочтете нужным, — сказал он, на прощанье подавая Василию Назарьевичу мягкую барскую руку.

Выйдя, Василий Назарьевич сначала долго смотрел на богатый дом графа Кочубея, с садом и оранжереями; на садовой стене торчали бюсты арапов из черного и белого мрамора; черные арапы улыбались, а белые были печальны. Черный арап, белый арап, черный арап, белый арап — так он прошел мимо садовой стены и переулком вышел на улицы вечернего Петербурга, извозчика он не брал. Василий Назарьевич был потрясен и раздавлен.

«Как! Печальная и праведная картина о положении в государстве не произвела никакого впечатления! Их интересуют только эпиграммы мальчишки. Правильно сказал митрополит Евгений о нашем мартовском споре в Вольном обществе: «Ребятишки высекли своих учителей»... Ребятишки нас не слушают, над нами смеются... А те тоже не лучше. Лучше их совсем оставить: да идут во страшение судьбе, их ожидающей; надо думать только о спасении своего семейства во время грозно. А оно придет, и придет скоро! И тогда я погибну, защищая с оружием в руках последний вход в комнаты государевы! — мысленно воскликнул он. Патетика в чувствах совсем не была ему чужда. Но тут же спохватился, разум превозобладал: — Что-то тут у меня не согласуется: или с семейством, или при последнем входе в комнаты государевы. Что-нибудь одно. Уж, верно, как получится. Где окажусь, там окажусь...»

Он остановился на Казанском мосту. Вдруг как громом поразила его мысль, что сегодня 12 апреля, прошло ровно 19 лет и один месяц с тех пор, как стоял он здесь, на Казанском мосту, 12 марта 1801 года. В ночь перед сим днем совершилось еще раз в новейшей российской истории нередко уже случавшееся государственное преступление: цареубийство. Душа его не одобрила его тогда. Он живо вспоминал себя стоящим на Казанском мосту со сжатым сердцем, со взором то потупленным, то обращенным на окна

бывшего Леонова дома, где в четверток Страстной недели злодеи имели бесстыдство пировать перед очами, так сказать, всей столицы, перед очами доброго и верного царя и своего народа. О! да было бы это преступление, пятнающее всех нас, последним! Но кажется, не будет это так, потому что дух времени приуготовляет другие уже преступления и злодеяния.

«Как добрый сын отечества, как верный подданный рас-сеянного в мыслях, обманутого и обманываемого каждый день Александра, пред коим я сию минуту становлюсь на колени и со слезами обнимаю его, я сделал все, что мог, и еще сделаю, если они ко мне обратятся! Мне запрещено обращаться к государю — я буду писать графу, я пошлю ему все выдержки из журналов, и постепенно ужасающая картина составит перед его глазами. Надо честно писать и о лицах, подозреваемых во вредных умыслах, как-то: о Волконском, о Кюхельбекере, о Глинке и о Пушкине, недостойном бывшем лицеисте. Эх, — вдруг вспомнил он с горечью. — Надо было рассказать графу, хоть изустно (бумаге такое доверять нельзя), анекдотец, который давеча слышал от одного из почтеннейших людей — Александра Ермоловича Мельгунова. Какой-то одиннадцатилетний мальчик, обучающийся в Лицее, дома у себя, среди ласк матери, сказал ей: «Я бы, маменька, сказал вам что-то, только сделайте милость не говорите папеньке». Мать настояла, удвоила ласки и, наконец, узнала от него, что в Лицее обычай словить государя, называя его дураком и т.д., и что между воспитанниками положено жесточайше наказывать того, кто выдаст этот образ мыслей или вообще все, что делается в Лицее. Вот вам, ваше сиятельство, кое-что о духе сих царских баловней».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

в которой чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Федор Глинка вступает в игру. — Пушкин у генерал-губернатора графа Милорадовича. —

«Либерализм молодых людей не есть героизм и великодушие». — Карамзин просит Пушкина два года не писать против правительства. — Апрель 1820 года

Но Карамзин явно недооценил противника. Он не понял, с кем связался. Безусловно, он всегда помнил, что Федор Глинка был чиновником для *особых* поручений при генерал-губернаторе, но он не мог себе представить каким доверием снисходительного и самовлюбленного графа Михаила Андреевича Милорадовича Глинка пользовался. В его обязанности входило собирание городских слухов, но он же в первую очередь и узнавал о правительственных планах и о всех доносах, поступающих наверх. С одной стороны — крупный масон, член «Ложы Избранного Михаила», входящей в Великую Ложу «Астрея» (он был последовательно — оратором, надзирателем и наместным мастером ложи), один из руководителей Союза Благоденствия, член всевозможных обществ, а с другой — государственный служащий, доверенное лицо генерал-губернатора графа Милорадовича, а значит, и самого государя Александра Павловича. Граф Михаил Андреевич, как говорили, сам собой и из самого себя сочинил нечто вроде министра тайной полиции, хотя сия часть, после упразднения Министерства полиции, перешла в руки графа Кочубея, который для нее, можно сказать, не был ни рожден, ни воспитан. Он охотно перекидывал дела Милорадовичу, Милорадович интересовался ими скорее из любопытства и из желания угодить государю, но был ветреник и гораздо больше времени тратил на актрис и воспитанниц Театральной школы, Глинке при таком начальнике было раздолье.

Федор Николаевич был тщеславен, потому и вступал во все общества, посещал все открываемые курсы, пока совсем на этом не помешался, некоторые успехи в словесности, как считали многие, вскружили ему голову; он был

вхож во многие дома, заводил связи где только можно, щелкал шпорами по всем паркетам и часто по слабости тщеславия своего рассказывал многим за тайну, что узнал по должности.

Но главное, Глинка был мастером интриги, это была его страсть, как для других карточная игра, он лелеял, растил и развивал интригу, провоцировал и пресекал, он с наслаждением и равно азартно играл с обеих сторон, как со стороны правительства, так и со стороны либеральной оппозиции.

Едва он узнал о каразинском доносе графу Кочубею, так тут же принялся за дело. Как председатель общества, при начавшемся беспорядке в то самое памятное заседание, когда изгоняли Каразина, он должен был напомнить всем о благопристойности и тишине, которые, по уставу, должны свято сохраняться обществом, но Глинка уже понял, что надобно пойти на конфликт, обострить ситуацию, чтобы случилось то, что в итоге и случилось — разрыв. Он спокойно, сложив руки, смотрел, как разгорается скандал, хотя был обязан его прекратить. Разрыв развязывал ему руки, он мог в таком случае действовать не за спиной у врага, который считался соратником, а прямо, открыто напасть, не испытывая при этом ни малейшего неудобства.

Но сначала, как он полагал, надо было выведать, что именно известно в правительственных кругах, что добавил Каразин к своей возмутительной записке в примечаниях. И есть ли там что-то такое, что угрожает хоть одному человеку из многих обществ, в которых сам Глинка состоит и куда вовлекает новых членов? Есть ли личные доносы на кого-то, кто может рассказать властям о роли самого Глинки в оппозиционных кругах?

Граф Милорадович принял его с бумагами в своем кабинете, где лежал на любимом зеленом диване, укутанный дорогими шальями. Слуга выкладывал дрова в камине, собираясь его растопить.

— Знаешь, душа моя, — обратился граф к подчиненному, подкашливая. — У меня, кажется, грипп, это теперь модно, но по делам все-таки пришлось выезжать и быть сегодня у графа Кочубея, говорил он мне о тайных обществах, в которые и сам, впрочем, не верит. Я ему сказал: «Все

вздор, оставьте этих мальчишек писать свои дрянные стишонки». «И я так думаю, — вздохнул Виктор Павлович, — но государя насторожили стихи». Ты что думаешь об этих общестах?

— Совершенно согласен с вашим сиятельством: все вздор. Масонские ложи есть, но ведь они не запрещены. Масонские ложи, пожалуй, единственное место, где собираются не для карточной игры. Мы с вами знаем, что многие достойные члены общества состоят в них. Русские масоны всегда стояли и стоят на страже порядка.

— Вот тут статский советник Каразин снова забрасывает государя своими проектами. Хотя ему запрещено обращаться к государю, он нашел лазейку и шлет их теперь через Министерство внутренних дел. Граф Кочубей, смеясь, сказал, что направил его ко мне. И дал прочитать его бумаги. Может быть, ты их посмотришь, душа моя? Мне они показались скучными. Одна риторика! А потом прими его, выслушай, после доложишь.

— В этом нет нужды, ваше сиятельство, — обрадовался такой скорой возможности решить дело Федор Глинка. — Мы на днях исключили Каразина из Вольного общества любителей российской словесности. Он не придет сюда, зная, что мои слова имеют здесь вес. А бумаги я возьму, ваше сиятельство, мне кажется, что он — человек опасный.

— За что же его исключили? — поинтересовался граф.

— За нарушение устава общества.

— Хорошо, душа моя. Обратите на него особое внимание, кто знает, куда заведут его блуждающие мысли.

— В Сибирь, ваше сиятельство, такие мысли заводят, — подхватил Глинка, и граф рассмеялся.

Верно, Глинка подхватил заразу от графа и на несколько дней приболел. Едва выздоровев, он как-то утром вышел из своей квартиры на Театральной площади и видит Пушкина, идущего ему навстречу. Александр был бодр и свеж, но на сей раз, против обыкновения, улыбка не играла на его устах и он был бледен как полотно.

— Я к вам, Федор Николаевич.

— А я от себя, — улыбнулся в ответ Глинка.

Они развернулись и пошли вдоль площади.

— Я шел к вам посоветоваться, — сказал наконец Пушкин. — Видите ли, слух о моих и не моих (под моим именем) пьесах, разбежавшимся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему на прочтение мои сочинения, уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой Никита не согласился...

— Фогель, узнаю его руку. — Глинка схватил за руку Пушкина.

— Библейская Птица?

— Он. Вот и к вам прилетел. Как жаль, что я болел это время и все это случилось без меня.

— Я со страху сжег все мои бумаги, — озабоченно сообщил Пушкин. — Теперь прислали пристава сказать, что меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться?.. — Он выглядел совсем растерянным и говорил невпопад. — Вот я и шел посоветоваться с вами...

Глинка встал в тень, апрельское солнце уже припекало, и привалился спиной к стенке; встал рядом и Пушкин.

— Видите ли, — сказал Глинка. — О сем доносе на вас мне было давно известно, один недостойный член нашего общества его сделал через графа Кочубея, но я не придавал ему значения, так как совсем недавно граф Милорадович уверял меня, что не видит никакой опасности государству в том, что молодые люди пишут стихи. Мне говорил Петр Яковлевич, что к нему обращался генерал Васильчиков с просьбой достать ваши стихи...

— Да! — воскликнул Пушкин, воодушевившись. — Он доставлял их государю, и мне на словах была передана благодарность.

— Вот! Прекрасно! Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках много романтизма и поэзии; его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности. Потом расскажите мне, как все было, я со своей стороны тоже узнаю и мы рассудим, что нам дальше делать.

— А ну как меня... — начал Пушкин и не договорил.

— Не думаю, — понял его с полуслова Глинка. — Ведь не приказали ехать с полицмейстером, не взяли бумаги? — Пушкин покачал головой, но был печален. — Да знаете ли, что такое граф в обыденной жизни? Я был при нем во многих кампаниях. Щедрый и расточительный на деньги, он часто оставался без гроша в кармане. Во время походов, бывало, воротится он в свою палатку после сражения и говорит слуге: «Дай-ка мне пообедать!» — «Да у нас нет ничего, ваше сиятельство!» — отвечает тот. «Ну, так дай чаю!» — «И чаю нет». — «Так трубку дай!» — «Табак весь вышел». — «Ну, так дай мне бурку!» — скажет граф, завернется в нее и тут же заснет богатырским сном.

Пушкин расхохотался:

— Ай да граф! На меня похож... Что ж, была не была! Рискну! — прибавил он и направился к генерал-губернатору.

Глинка посмотрел ему вслед, как тот шел, помахивая тросточкой, в походке не было ничего убитого, казалось, он был весел и беззаботен. Хорошо держится — молодцом!

Глинка схватил на площади дрожки и помчался к Карамзину.

У крыльца дома Екатерины Федоровны Муравьевой у Аничкова моста, где нанимал квартиру Карамзин, он увидел подъехавшую карету Александра Тургенева и его самого, уже заходящего в подъезд. Он догнал его у дверей квартиры и успел шепнуть:

— С Пушкиным беда!

— Я говорил ему, — заволновался Тургенев. — Я говорил не раз, что язык его заведет много дальше Киева. Что случилось?! Рассказывайте...

В гостиную они вошли уже вместе, откуда их проводили в кабинет к Карамзину, которого они застали в хлопотах по туалетной части: Николай Михайлович собирался на парадный обед во дворец по особенному зазыву императрицы Елисаветы Алексеевны.

Он был уже почти готов, как вошедший Тургенев всплеснул руками, увидя на его шее огромный старинный Владимирский крест, и тотчас объявил, что с ним нельзя показаться на обед, потому что по новой форме положено носить маленькие крестики.

— Неужели вы этого не знали? Уже давно нельзя.
— А я всегда его надеваю, — удивился Карамзин.
— Значит, вам никто про то не говорит из деликатности, — покачал головой Тургенев.

Николай Михайлович расстроился и стоял, не зная, что теперь делать. Из затруднения его вывел Глинка. Он снял у себя с шеи маленький, очень изящно отделанный Владимирский крестик, который носил при мундире не снимая.

— Возьмите, Николай Михайлович, в залог нашей дружбы.

Карамзин принял его, поблагодарил и, сняв с шеи свой огромный крест, подал Глинке с любовью и лаской:

— Примите моего старого товарища, с которым я свыкся: по заветному русскому обычаю обменяемся крестами и отныне мы будем крестовыми братьями.

Едва они заговорили о Пушкине, так сразу выяснилось, что он уже был у Карамзина, что очень удивило Глинку: он думал, что первым узнал о вызове к Милорадовичу. Оказывается, что Пушкин уже сидел в кабинете у Карамзина, просил помощи и совета и со слезами на глазах выслушивал дружеские упреки и наставления историка.

— Можете ли вы, милостивый государь, спросил я его вполне серьезно, по крайней мере пообещать мне, что два года ничего не напишете противного нашему правительству? Иначе я выйду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии, — поведал Карамзин. — Вот здесь, на этом диване, он заливался слезами и дал мне слово уняться. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому, иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие.

— Да-да, — вздохнул Александр Иванович. — Какое уж тут геройство, как схватят тебя да на Соловки. Кому на Соловки-то охота?!

— Но, выходя от меня, обер-черт, — тут Карамзин выразительно посмотрел на Тургенева, — повеселел, тряхнул кудрями, постучал копытами и спрашивает: «Почему же, Николай Михайлович, вы взяли с меня зарок только на два года?» — «А потому, — отвечаю ему, — что больше вы не выдержите». Он заржал как лошадь и сгинул.

— С бульвара да к блядям, спустить дурную кровь, — хохотнул Александр Иванович и произвольно посмотрел вокруг себя, нет ли поблизости дам.

— Во всяком случае, Пушкин сейчас находится в канцелярии графа Милорадовича, неизвестно, куда он оттуда, — не поддерживая шуток, серьезно напомнил Федор Глинка. — Я потому и приехал к вам, Николай Михайлович, что дело надо делать скоро, — заключил Глинка и добавил: — Конечно, сейчас не времена Павла Петровича, когда бы его уже заключили в крепость, но все же...

— И слава Богу, что не времена царя Ивашки Грозного, о котором я пишу, — согласился историк. — Знайте, что вы ко мне — не первые, Чаадаев вчера ночью примчался, я уже ночной колпак надел, и пришлось принимать его в халате. Все то же: Пушкин да Пушкин. Сохраните талант России. А талант-то сам что думал?! Я давно истощил все способы образумить эту беспутную голову и предал несчастного Року и Немезиде.

— Петр Яковлевич, — предположил Александр Иванович, — с утра, верно, у генерала Васильчикова. Что ж, в таком случае надобно всех поднимать! Особенно тех, кто имеет доклад у государя, — добавил он и посмотрел на часы. — Хорошо, что я из Москвы вернулся. Пора и мне подумать, как вступить в игру. Я откланиваюсь, господа, и напрямик к князю...

Но он не уехал тут же, как хотел, к князю Голицыну, а задержался в гостиной с Екатериной Андреевной.

Слышно было, как жена историка отвечает ему:

— Уже собираемся, Александр Иванович! Может быть, недели через две переедем. Нам, как всегда, выделили домик в Китайской деревне! Николай Михайлович любит работать в Царском Селе.

«Ах, Каразин! Ах, сволочь! Какую кашу заварил, — думал Глинка, покидая Карамзиных. — Ну это тебе так не пройдет. Пушкина, надежду поэзии русской, в донос свой вставить! А Жуковский знает ли?! К нему ехать или вернуться в канцелярию? Лучше в канцелярию, сначала проверить, что там происходит, а потом можно и к Жуковскому».

И он помчался в канцелярию. Первым делом спросил у служителя про Пушкина.

— Ушел, — сказали ему.

Слава Богу, сам ушел, значит, пока все в порядке.

— Знаешь, душа моя, — сказал ему граф Милорадович, когда он появился в кабинете. Михаил Андреевич, казалось,

с последнего раза, как Глинка его видел, так и не вставал. Он все так же лежал на зеленом диване и кутался в дорожные шали. — Хорошо, что ты наконец появился. Как твоё здоровье?

— Здоровье, ваше сиятельство, на поправку.

— А меня все знобит да корячит. Может, это и не грипп вовсе. У меня сейчас был поэт Пушкин! — Глинка изобразил на лице искреннее изумление. — Мне велено было взять его и забрать его бумаги, но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от самого вытребовать бумаги.

Глинка слушал с замиранием сердца.

— Когда я спросил его о бумагах, он отвечал: «Граф, все мои бумаги сожжены. У меня ничего не найдете на квартире, но, если вам угодно, все найдется здесь. — Граф постукал себя пальцем по лбу. — Ah! c'est chevaleresque! Ну, разумеется, — рассмеялся граф, — ведь если он писал, так должен помнить! Но чтобы так откровенно, так искренне рассказать... Как это по-рыцарски, — повторил он уже по-русски. — Попросил бумаги и честно написал все, что у него было, кроме, разумеется, печатного. И с особой отметкой, что его, а что разошлось под его именем. Вон там лежит на столе у окна, полюбуйся... Целая тетрадь!

Глинка подошел к столу, стал перебирать листы, почерк был Пушкина. Он быстро просмотрел все эпиграммы и, не найдя там эпиграммы на Аракчеева и некоторых других, облегченно вздохнул.

— А знаешь ли? — повернулся к нему граф Милорадович. — Ваш Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения. Рыцарь! А поэт-то он хороший?! — вдруг забеспокоился граф.

— А вы прежде не читали, ваше сиятельство?

— Ты же знаешь, я на театре все слушаю, а читать мне скучно. Хотя, что тут он написал, прочитать пришлось. Занятно, но государя я попрошу не читать. Знаешь ли, я рискнул и объявил ему от имени государя прощение.

— Ah! c'est chevaleresque! — воскликнул Глинка, сам не заметив, что повторил слова графа. Милорадович довольно улыбнулся. — Он недавно закончил поэму, ваше сиятельство. «Руслан и Людмила». Сам Василий Андреевич Жуковский после чтения подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».

— Да?! — зевнул граф Милорадович. — Скажу об этом завтра государю. Я поутру буду у него с докладом. От побежденного учителя, говоришь? Фраза в своем роде историческая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,

в которой государь читает проект письма генерал-лейтенанту Инзову о Пушкине и отправляет Пушкина в полуденные страны. — Апрель 1820 года

Государь взял поданную ему графом Нессельроде бумагу, это был проект письма к генерал-лейтенанту Инзову в Одессу. Обыкновенно он любил, чтобы министры читали ему бумаги вслух, но едва Карл Васильевич зачитал обращение к Инзову, Александр Павлович остановил его и попросил дать ему письмо.

Карл Васильевич, держа письмо рукой в белой перчатке, протянул его государю. Отметив про себя безукоризненную белизну перчатки, Александр Павлович окинул взглядом и плотную, с почти квадратной грудью, фигуру графа: тот, как и требовал государь, был при полном мундире. При полном мундире и обязательно в перчатках.

— Я прочитаю это сам, — подчеркнул государь, беря письмо. — Мне необходимо подумать. Продолжайте...

После доклада Карла Васильевича государь отпустил его и попросил назавтра снова прибыть с внеочередным докладом. Когда Нессельроде ушел, государь принялся за письмо к Инзову, писанное по-французски:

«C'est mr. Alexandre Pouschkin, eleve du Lycee de Zarskoie Selo... Г. Пушкин, воспитанник Царскосельского Лицея, причисленный к Департаменту иностранных дел, будет иметь честь передать сие...» «Пропущено», — отметил про себя Александр Павлович, взял перо и вставил: «lettre»

«...la presente lettre a Votre Excellence... сие письмо Вашему Превосходительству.

Письмо это, генерал, имеет целию просить Вас принять этого молодого человека под Ваше покровительство и просить Вашего благосклонного попечения.

Позвольте мне сообщить Вам о нем некоторые подробности.

Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство — страстное желание независимости. Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Успехи его в Лицее были быстры».

Александр Павлович усмехнулся, вспомнив, что при выпуске тот, кажется был вторым или третьим, только от конца. Но поправлять ничего не стал.

«Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников...»

Царь отстранил от себя бумагу, вспомнил директора Лицея Энгельгардта, его лохотенный облик, старомодную одежду, медленную походку, умеренно подобоострастный вид, просьбу за Пушкина, сказанную голосом как бы искренним, но в котором были нотки плохо скрываемой неприязни. «Не ускользнул, от Энгельгардта не ускользнул характер, просто не смог переломить ни строгостью, ни лестью, ни чем другим. Значит, умен, каналья, этот молодой Пушкин, своенравен. Может быть, пригласить, приблизить, дать самому прощение? Раз умен, так будет трудиться на благо России. Говорят, правда, на Змея что-то написал. Змею донесли, и он был в бешенстве, он не простит, лучше Пушкина на время отодвинуть».

Александр Павлович снова принялся за чтение:

«Он вступил в свет, сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменой принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания...»

«Это Каподистрия писал, он загнул, а не граф Нессельроде, — догадался Александр Павлович. — А может, и Карамзин руку приложил: точно, Карамзин, его слог, и откуда бы все подробности знать Ивану Антоновичу; Карамзин, когда ручался за Пушкина, говорил, что хорошо знает семью и самого поэта знает с детства. Они вдвоем с графом сели и сочинили.

«Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, — как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований...»

«Точно, точно его слог, не ошибся. Не может быть сомнения: Карамзин, моралист, литератор».

«Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства...»

«Жуковский и Карамзин всполошились, говорят, что привели его к признанию заблуждений и что он дал торжественное обещание Карамзину отречься от них навсегда. «Дал? А можно ли верить? Характер... Нет, здесь надо исправить, добавить: «Г. Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Во всяком случае, эти его покровители полагают, что раскаяние искренне и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины».

Далее можно оставить по тексту».

«Отвечая на их мольбы, император уполномочивает меня дать молодому Пушкину отпуск и рекомендовать его Вам... Судьба его будет зависеть от успеха ваших добрых советов... Соболаговолите просветить его неопытность... все достоинства ума без достоинств сердца почти всегда составляют преимущество гибельное... и проч.».

«Добились своего Карамзин и Жуковский, так пусть, в случае чего, отвечают, доброхоты, но ведь не удивительно их участие в судьбе поэта, они литераторы, берегут честь своего цеха, удивительней, что боевые генералы грудью поднялись на защиту Пушкина, граф Милорадович, Васильчиков. Круговая порука? Говорят, в войсках читают его стихи. Генералам молодые адъютанты напели. Или мнение света? Возможно. Стихи пишутся и для дам. А светские львы Милорадович и Васильчиков всегда на поводу у молвы. К тому же любят покрасоваться. Князь Голицын прибежал и туда же:

— Ваше величество, надо Пушкина простить. Молод, неопытен, грешен, как все мы в его годы!

— И ты туда же. И Милорадович! Не ожидал. Ну, Карамзин, Энгельгардт за своего ученика, куда ни шло, но ты?! Столько шуму из-за одного беспутного мальчишки.

Один Аракчеев смотрит букой. Все-таки он мудака. Хотя и незаменимый. Мальчишки испугался. Кстати, а в тетради,

поданной Милорадовичем, эпиграммы на Аракчеева не было. А Милорадович сказал, что здесь все, что разбредось под его именем в публике. Может, не его? Нет, не свои Пушкин тоже написал, чтобы оправдаться. Просто эту написать испугался. Один боится острого языка, другой старого мудака. Рифма. Так и я с ними стану поэтом».

— Что ты сделал с автором? — спросил Александр Павлович после просмотра тетради, которую граф заботливо просил его не читать.

— Я объявил ему от вашего имени прощение! — брякнул великодушный и любящий театральную позу Милорадович и ловко в два прыжка прищелкнул каблуками сапог.

— Не рано?! — вслух подумал тогда Александр Павлович, теперь же понимал, что Михаил Андреевич в своих импульсивных движениях души часто оказывался прав, за что он и любил графа. Сердце, сердце часто больше значит, чем ум. Нет сердца, и ум напрасен.

Император, еще раз посмотрев на письмо, лежавшее перед ним, вдруг задумался о general Inzoff: «Интересно, а правда ли, что Инзов мой единокровный брат, или это сплетня? Сколько их вокруг нашей семьи! С другой стороны, сколько сами Романовы начудили, сколько дали поводов к этим сплетням. Один я сколько детей поразбросал по свету».

Он взял решительно перо и подписал: «Быть по сему».

Пусть катится молодой Пушкин в полуденные страны. Но надо не забыть про него через годик справиться, если раньше сам ничего не отчудит.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ,

в которой Пушкин покидает Петербург, Лицей сгорает дотла, а государь навещает Карамзина. — Май 1820 года

Саша Пушкин давно, а может быть, и никогда еще не чувствовал себя настолько свободным. Был май месяц. Облеченный в красную русскую рубаху с расшитым черным крестом воротом и рукавами, которую он справил себе по случаю отъезда, в цветной опояске, в поярковой шляпе, лихо заломленной на затылок, он беспечно ехал по бело-русскому тракту.

Душный Петербург был позади, позади остались гостиные, от которых воротило на душе, особенно в последние дни, когда он сделался лицом историческим для петербургских сплетниц. Он чувствовал, что задыхается в этом городе. «Зеленая лампа», так увлекавшая вначале, нагорела и гасла, утомляли ученические пересказы карамзинской истории, которые зачитывал Никита Всеволожский как свои произведения на заседаниях, хотя шампанское, которым он угощал, нравилось неизменно.

— Петербург душен для поэта, — не уставал он повторять, — еду, и авось полуденный воздух оживит мою душу.

Он кончил свою поэму, над которой трудился несколько лет, и только последний, то есть окончательный, стих ее принес ему истинное удовольствие. Так понимаешь цену большой работе.

Он жаждал чужих краев, новых лиц, знойных женщин юга и чего-то еще такого, чего и сам еще не знал. Он не хотел глупеть и стариться в Петербурге, участвовать в литературных интригах и сплетнях. Он уже не хотел смотреть на поэзию как на записную прелестницу, к которой заходят иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая ее прелестей. Этакая Фанни, к которой по очереди ходили он сам, барон Дельвиг, Щербинин (Тогда, качая головой, скажу тебе у двери гроба: «Ты помнишь Фанни, милый мой?» — И тихо улыбнемся оба.) Не хотел он быть похожим и на преображенского своего приятеля, розовощекого сплетника Павла Катенина, который, напротив, взял себе за правило приезжать к этой прелестнице в башмаках, в которых положено бывать при дворе, в коротких чулках и напудренный и просиживать у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью.

Пора перестать марать альбомы жеманных дур стишками и шаркать ножками по паркету, лучше драть девок на воле, засунув головой в стог сена, так, чтобы только круглая жопа была видна, и вдыхать вольный ветер в полях, и писать все, что вздумается, и не чувствовать за плечом глаз шпиона. Хотя последнее — напрасное и вечное русское мечтание, ибо государево око всегда и везде отыщет тебя в пределах необъятной Российской империи.

Он заезжал благодарить Карамзина, у них весь дом был вверх дном, собирались переезжать в Царское Село. Несмотря на это, сам Карамзин работал в кабинете, и его не беспокоили.

— Когда едете? — спросила Катерина Андреевна.

— Как выпишут подорожную... Теперь все зависит от начальства.

— Александр Иванович уезжал в марте в Москву провожать брата Сергея, — вспомнила она про Тургеневых. — По-видимому, последнему не очень понравились отношения с моим мужем. Уезжая на неопределенное время в Константинополь, он даже не дал себе труда зайти к нам проститься. Кто знает, милый Пушкин, кто знает, может быть, настанет время, когда, живя в одном с нами городе, вы нас также не будете посещать, потому что ваши братья либералы тем не менее весьма нетерпимы; надобно иметь одни и те же взгляды, а не то не только нельзя друг друга любить, но даже и видаться нельзя...

— Ко мне это не относится, я всегда был терпим к друзьям.

— Я шучу, помещая вас в их число, хотя мой муж считает вас завзятым либералом.

— Теперь уже не либерал, — усмехнулся Пушкин. — По крайней мере, на два года.

— Обещайте, что придете попрощаться.

— Обещаю.

Перед самым отъездом он заскочил к Чаадаеву в Демутов трактир, в богатый номер того, расположенный в бельэтаже, но тот еще спал, и потому Александр написал ему в записке: «Мой милый, стоило ли будить тебя из-за такой безделицы», пожал руку его камердинеру, свежему, надушенному, благоухающему как цветок, с гладкой, как и у самого Чаадаева, узкой ручкой. «Ба! — отчего-то в первый раз подумалось Пушкину. — Вот почему у Петра Яковлевича никогда не бывает разговора о женщинах. Впрочем, он скрытен и деликатен, и о мужчинах разговора у него тоже не бывает. Хотя кто-то намекал мне про это и раньше».

Пушкин вспомнил, как вечером у Олениных, узнав, что Пушкин доигрался, рыдал одноглазый Гнедич, лил слезы ему в жилетку и бормотал:

— Я теряю друзей, Костя Батюшков, теперь вы, наши лучшие поэты...

Однако провожать не поехал. Как и многие другие. Неудовольствие высочайшего лица значило больше, чем дружеское благорасположение. Настоящим другом оказался только Тосенька. Он по установившейся традиции поехал провожать Пушкина до Царского Села. Поехал с ними и Пашка Яковлев, брат его лицейского собрата, веселый и беспечный человек.

В царскосельской ресторации пообедали, выпили шампанского под звуки оркестра, который репетировал. Пушкин платил из тех курьерских денег, что были выданы ему в Коллегии на дорогу. Тысяча, пусть и ассигнациями, но все же жгла ему руки. Не увлечься бы, не проиграть бы в карты. Тогда, сидя за столом, Пушкин с грустью вспомнил проводы Батюшкова за два года до того, когда компания была намного шумнее: Муравьевы, Жуковский, Гнедич, Лунин, Тургенев и еще несколько человек горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, плакали, или, вернее, готовы были плакать, и опять пили, и так до вечера, когда в девять часов усадили своего милого вояжера, с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились. Дельвиг посетовал, что едет Пушкин не в Италию, как Батюшков. Зная, что Карамзин уже в Царском, хотел Пушкин к нему заглянуть, но не заглянул, проехал по Садовой мимо. Нарушил обещание, данное Екатерине Андреевне.

Пушкин ехал от Чернигова, скоро должен был быть поворот на Екатеринославль. На одном перегоне он перебрался и, согнав Никиту, сел на козлы вместе с ямщиком. Выпив на станции за обедом водки, они во весь голос орали русские песни. Пушкин в дороге не брился, и черная щетина уже покрывала его щеки, в красной рубаше и с черной бородой, он становился похожим на цыгана.

А в это самое время над лицейской церковью показался огонь. Карамзин сидел в своем кабинете часу в третьем перед обедом и спокойно писал, он случайно глянул в окно и увидел над куполом церкви облако дыма с пламенем, вырывающимся из этого облака. Карамзин бросил перо и побежал к дворцу. Там он нашел государя почти в самом огне, забрызганного с ног до головы водой и отдающего приказа-

ния. Внешне Александр Павлович был совершенно спокоен: в своей жизни он видал и не такие опасности. Вокруг было множество солдат, но с голыми руками, ни крючьев, ни топоров, ни ведер. Огонь пылал все сильнее, головни с икрами полетели и на домик, в котором жил Карамзин, кровля его загорелась. Карамзин побежал к своим. Катерина Андреевна не теряла головы; она собрала и вывела на улицу детей. Она хладнокровно приказала мужу, чтобы он спасал только свои бумаги.

Двое людей уже заливали огонь, а с другими Карамзин принялся выносить свои рукописи и книги. Три раза за несколько часов загоралась крыша, но ее удавалось потушить, потом ветер разом переменялся и затих, больше домику ничто не угрожало.

Лицей же полыхал всюю, огонь через фрейлинский коридор и библиотеку шел уже к основному зданию Екатерининского дворца. Наконец прибыла петербургская полиция. Прилетели из Петербурга пожарные трубы, примчался лично граф Милорадович, который рьяно принялся за дело, и пожар остановили у самого кабинета государя.

У Карамзиных всю ночь не раздевались и не спали, поутру государь прислал справиться о здоровье, а на следующий день зашел и сам лично.

— На половине императрицы все осталось цело, — рассказывал он супругам, печально улыбаясь. — Янтарная комната, слава Богу, уцелела, кабинет Екатерины тож, все комнаты Елисаветы Алексеевны. Но досталось мёблям. Есть ли у вас потери, Николай Михайлович?

— И у нас не без убытка, ваше величество. Залито кое-какое имущество. Что не залили, так перемяли, передрали... Я же спасал архивные бумаги, многие из которых существуют в одном лишь экземпляре, да рукописи.

— Все удалось спасти?

— Все, ваше величество. А у вас никто не пострадал?

— Двое-трое солдат обгорели да наглотались дыма, а так обошлось без жертв. Лицей, этот рассадник вольного лицейского духа и муравейник либерализма, как мне пытаются внушить иные доброхоты, сгорел дотла. Иные теперь мне советуют перевести учебное заведение в Петербург, но я оставляю все по-прежнему. Кстати, как вы расстались с лицейским Пушкиным?

— Несколько дней он пребывал совсем не в пиитическом страхе...

— С полными штанами? — хохотнул государь.

— С полными штанами, — согласился Карамзин. — Какое уж тут геройство!

— Надо было сослать шалуна в Сибирь, там бы быстро поостыл, да все говорят — талант! Даже Энгельгардт, который его не любит.

— Пушкин счастлив милостью вашего величества.

— Еще бы. Увеселительная прогулка к милейшему Инзову. А Лицей завтра же начнут снова строить. Думаю, церковь и Лицей восстановят к зиме, сад не поврежден. Миллион-два все поправят.

— Такие деньги, — вздохнул, соболезнуя, Карамзин.

— За издержками не постоим! — Александр, улыбнувшись, махнул рукой. Деньги для него были пустой звук, к тому же он путался в цифрах, будучи не в ладах с арифметикой.

— Пожалуйте с Катериной Андреевной к нам завтра на обед, ждем, — сказал он и раскланялся.

По Белорусскому тракту, но в сторону Москвы, от Могилева до Чернигова, ехал Большой Жанно, Иван Пушин. Еще в январе он уехал из Петербурга в Бессарабию к больной своей замужней сестре. Теперь он с ней, уже здоровой, возвращался в Петербург. Белорусский тракт наводил безысходную тоску. Никого не встречая на станциях, Жанно обыкновенно заглядывал в книги для записывания подорожных и там из любопытства искал проезжих. Так он наткнулся на фамилию какого-то Пушкина, намеревшегося в Екатеринославль.

— Какой это Пушкин? — спросил он станционного смотрителя.

— Поэт, — отвечал тот. — Александр Сергеевич.

— Да откуда ж ты знаешь, что поэт?

— Дочке моей, Дуне, стихи читал, — улыбнулся станционный смотритель.

Тут уж улыбнулся и Жанно:

— Да что же он тут делает и зачем ему в Екатеринославль? На кой черт он ему сдался?

— Едет по службе на перекладной, — сообщил смотритель и добавил, подумав: — В красной рубашке с опояской. Как мужик.

Жанно захохотал.

— Анекдот!

Потом ему взгрустнулось: «Всего на день разъехались». Он заказал за обедом штофчик водки и выпил за несостоявшуюся встречу с близким другом. Потом ехал в карете и, засыпая, вспоминал лицейские времена, соседние комнатки, в которых они жили, не зная, что Лицей сгорел и что отныне тот, прежний, он будет существовать только в их памяти.

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая, ...	5
в которой Иван Петрович Хитрово прибывает в Баден-Баден для встречи со светлейшим князем Александром Михайловичем Горчаковым. — Баден-Баден в 1882 году. — Некоторые сведения о государственном канцлере. — Берлинский конгресс 1878 года. — Роман князя Горчакова с двоюродной внучатой племянницей Наденькой Акинфиевой. — Остроты Федора Тютчева. — Канцлер Бисмарк — прилежный ученик Горчакова. — Октябрь 1882 года	
Глава вторая, ...	14
в которой князь Горчаков пытается вспомнить, кто такой Хитрово. — Размышления князя о Баден-Бадене. — Октябрь 1882 года	
Глава третья, ...	20
в которой Иван Петрович Хитрово располагается в баденской гостинице и получает приглашение от князя. — Октябрь 1882 года	
Глава четвертая, ...	26
в которой князь Горчаков хвалится приобретенной картиной Адольфа Менцеля, вспоминает свои знаменитые циркуляры и приглашает лицеиста Ивана Петровича Хитрово праздновать с ним лицейскую годовщину. — Октябрь 1882 года	
Глава пятая, ...	29
в которой Хитрово впервые попадает в купальню целебного баденского источника. — Светское общество в купальне. — Нечто о пороке во времена упадка. — Князь Горчаков начинает свой рассказ о Лицее. — Октябрь 1882 года	
Глава шестая, ...	33
в которой господа лицейские посещают баню. — Восковый слепок с елдака князя Потемкина-Таврического. — Первые насмешки над Кюхельбекером. — Октябрь 1811 года	
Глава седьмая, ...	39
в которой совершается торжественное открытие Лицея. — Служба в храме. — Лицейсты и камер-пажи. — Надзиратель Мартын Степанович Пилецкий. — Описание императора Александра I и обеих императриц. — Большая Лицейская зала. — Гости. — Александр Иванович Тургенев и Василий Львович Пушкин. — Профессора Лицея. — Императрица Елисавета Алексеевна и ее любовная история с ротмистром Кавалергардского полка Охотниковым. — Граф Жозеф де Местр и образование в России. — «Наука принесет русскому народу мало пользы, но доставит неисчислимые беды». — 19 октября 1811 года	

Глава восьмая, ...	52
в которой воспитанников представляют государю Александру I. — Речь адъюнкт-профессора Куницына. — Вдовствующая императрица Мария Федоровна снимает пробы с кушаний. — Фейерверк в честь праздника. — Комета 1811 года. — Ночь в дортуарах Лицея. — Пушкин и Пушкин. — Рассказ о том, как конно-гвардейцы в Мраморном дворце насиловали жену придворного ювелира итальянца Араужо. — Ночь с 19 на 20 октября 1811 года	
Глава девятая, ...	63
в которой лицейских лишают личных книг, заботясь о их нравственности. — Должность сочинителя в России. — Генерал-прокуроры — первые поэты на Руси. — Жизнь Саши Пушкина с дядей и его спутницей Анной Ворожейкиной. — Воспоминание о первых попытках любовной игры. — Тень Ивана Баркова. — Ноябрь 1811 года	
Глава десятая, ...	70
в которой Пилецкий призывает господ гувернеров постоянно надзирать за воспитанниками и входить в их частную жизнь, чтобы отвлечь их от похабства и остеречь от прелестей и удовольствий чувственной жизни ужасными последствиями. — Зима 1811—1812 года	
Глава одиннадцатая, ...	74
в которой Суворочка встает для ежедневных утренних занятий, наблюдает страдающего от запоя гувернера Иконникова и задумывается над тем, что называется галиматфеей. — Частые убийства в Царском Селе. — Зима 1811—1812 года	
Глава двенадцатая, ...	79
в которой воспитанники собираются в квартире у гувернера и учителя рисования Чирикова. — Весна 1812 года	
Глава тринадцатая, ...	84
в которой лицеисты ловят бабочек для Екатерины Бакуниной. — Честолюбие движет гением. — Российская лень Дельвига. — Нашествие Антихриста. — Июнь 1812 года	
Глава четырнадцатая, ...	88
в которой государь император Александр I узнает о начале войны. — Покупка Закрета у Бенигсена за двенадцать тысяч червонцев. — Попытка покушения на государя. — Расследование директора Высшей воинской полиции Якова Ивановича де Санглена. — Бежавший архитектор Шварц. — Алмазные шифры для фрейлины графини Софии Тизенгаузен. — Полуторачасовой польский в начале бала. — Наполеон переправляется через Неман. — «На зачинающего — Бог!» — 12 июня 1812 года	
Глава пятнадцатая, ...	93
в которой директор Лицея Малиновский объявляет о начале войны с Наполеоном. — История де Будри, родного брата Марата. — Ночная ваза с портретом императора Наполеона. — Июнь 1812 года	

Глава шестнадцатая, ...	99
в которой лицейский дядька Леонтий Кемерский угощает воспитанников винцом и рассказывает небылицы про Наполеона. — Император Александр I вызывает к себе министра полиции Балашева. — Мундир взаймы. — Исторический ответ Балашева Наполеону. — Графиня София Тизенгаузен представляется Наполеону, надев фрейлинский шифр русских императриц. — Лето 1812 года	
Глава семнадцатая, ...	113
в которой лицеисты выясняют отношения, Броглио дерется с Пушиным, а Кюхельбекер брызжет слюной от бешенства и собирается в ополчение. — Лето 1812 года	
Глава восемнадцатая, ...	117
в которой император Александр I покидает армию, оставляя Бенигсена вроде дядьки при Барклае и Багратионе. — Барклай — изменник, а князь Михайла Илларионович Кутузов — строптивый царедворец, лстивый и развратный старик. — Но свой брат, русский, до мозга костей. — Канцлер Николай Петрович Румянцев. — Английский бригадный генерал Вильсон. — Государь собирается отрастить бороду и питаться картофелем. — Назначение Кутузова главнокомандующим. — 8 августа 1812 года	
Глава девятнадцатая, ...	124
в которой лицеисты собираются на утреннюю молитву. — Штрафной билет. — Лицейские песни. — Математик Карцев. — А плюс Б равно красному барану. — Матерщинник Француз. — «Тень Кораблева». — Август 1812 года	
Глава двадцатая, ...	132
в которой лицеисты показывают спектакль про Карньюшку Чихирина, мужика Долбило и ратника Гвоздило. — Сообщение о победе русских под Бородиным. — Гувернер Иконников пьет в честь русского оружия. — Конец августа 1812 года	
Глава двадцать первая, ...	137
в которой Наполеон приходит в Москву, никого не дождав-шись на Поклонной горе, а Московский гарнизонный полк покидает Кремль согласно Регламенту Петра Великого. — Пожар Москвы, мародерство, пьяная чернь. — Бегство Наполеона из Кремля в Петровский дворец. — Задница русской бабы. — Возвращение Наполеона в Кремль. — Россия пожирает сынов твоих, Франция. — Осень 1812 года	
Глава двадцать вторая, ...	147
в которой лицейским шьют китайчатые тулупчики. — Домогательства Гурьева. — Воровство Есакова. — Неожиданный приезд министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского. — Осень 1812 года	
Глава двадцать третья, ...	153
в которой лицейский дядька Матвей совершает ночной обход. — Господа попердоват, Господи помилуй. — Осень 1812 года	

Глава двадцать четвертая, ...	157
в которой надзиратель Пилецкий отчитывает перед всеми Есакова, а Пушкин призывает воспитанников сделать обструкцию надзирателю. — Учитель фехтования Вальвиль. — Корсаков у лицейского доктора Пешеля. — Вредно ли рукоблудие? — Молитва Комовского к Богородице. — Зима 1812 года	
Глава двадцать пятая, ...	165
в которой господа лицейские прощаются с гувернером Иконниковым, изгнанным из Лицея, граф Ростопчин сжигает свое имение Вороново, а воспитанник Есаков рыдает на груди гувернера Ильи Степановича Пилецкого. — Зима 1812 года	
Глава двадцать шестая, ...	171
в которой Наполеон бежит из России в старом дормезе, а Костю Гурьева по доносу Комовского изгоняют из Лицея за греческие вкусы. — Декабрь 1812 года	
Глава двадцать седьмая, ...	176
в которой император Александр I едет в Вильну к армии. — Казачий бивак. — Итальянский тенор Торкинио. — 7—10 декабря 1812 года	
Глава двадцать восьмая, ...	181
в которой Старая Камбала нежится с Лушкой в постели. — Недовольство генералов. — Спектакль в честь Кутузова в местном театре. — Звезда и лента Георгия I-го класса фельдмаршалу. — Государь посещает госпиталь с генералом Вильсоном. — «Трупы врага хорошо пахнут». — Бал в честь дня рождения государя. — 11—12 декабря 1812 года	
Глава двадцать девятая, ...	190
в которой государь посещает фрейлину Тизенгаузен в ее доме. — Сладострастная содомитка. — Государь и его сестра Екатерина Павловна. — Прощение родственников Софии Тизенгаузен, воевавших на стороне Наполеона. — Ночь с 12 на 13 декабря 1812 года	
Глава тридцатая, ...	196
в которой Кюхельбекер рыдает на груди у надзирателя Пилецкого. — Изгнание Пилецкого из Лицея. — Манифест от 25 декабря 1812 года. — Новый 1813 год	

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая, ...	202
в которой Горчаков и Хитрово едут на музыкальный утренник по Тиргантенштрассе. — Октябрь 1882 года. — Замок Ивана Сергеевича Тургенева. — Представления в замке. — Баденская рулетка в прежние времена. — Музыкальный салон. — Князь Горчаков рассказывает о четырнадцатом годе. — Особняк Талейрана на улице Сен-Флорентен. — Роскошь дает некоторые преимущества. — Триумфальный въезд государя в Париж 31 марта 1814 года по европейскому календарю	

Глава вторая, ...	213
в которой рассказываются последние события перед сдачей Парижа, Барклаю де Толли присваивается звание фельдмаршала, а полковник Михаил Орлов в четверть часа на коленке набрасывает проект капитуляции Парижа. — Нессельроде и Талейран. — Коленкура называют сукиным сыном. — Государь выбирает, какой из мундиров Кавалергардского полка предпочесть для въезда в Париж. — Серая кобылка Эклипс, подаренная Наполеоном. — Въезд в Париж. — Исторический разговор государя императора с генералом Ермоловым. — «У нас показывали взятие Парижа русскими». — Конец марта 1814 года	
Глава третья, ...	224
в которой капитан Константин Батюшков едет по Парижу. — Пале-Рояль и его бурная жизнь. — Жрицы Венеры. — Ресторатор Verre. — Арфистка и Пипинька. — Шлюха в Карлсруэ. — Бляди в Париже. — «Великий народ! Великий человек! Великий век!» Ночь с арфисткой. — Разрешение офицерам от государя ходить по Парижу в штатском платье. — Парижские букинисты. — Граф Бутурлин и его библиотека. — Свежий анекдот про русских гренадеров. — Заседание Французской академии, на котором присутствуют государь Александр I, прусский король и генерал Остен-Сакен, генерал-губернатор Парижа. — Биваки казаков на Елисейских полях. — Апрель 1814 года	
Глава четвертая, ...	235
в которой лицеисты собираются в одной из келий, чтобы выпить рому. — История с гогель-могелем. — Скотобратцы. — Тырковмус. — Спартанец Вольховский. — Как Суворов кукарекал. — Надзиратель Степан Степанович Фролов. — Лабардан и лабрадор. — Последствия гогель-могеля. — Граф Разумовский делает отеческое внушение. — Встреча в лицейском саду. — Молодая Бакунина. — 12 июля 1814 года	
Глава пятая, ...	246
в которой в Петербурге получают известие о мире, заключенном в Париже, по всей России поют благодарственные молебны, а император наконец возвращается в Петербург. — Празднество в честь победителей, устроенное императрицей Марией Федоровной в Павловске. — Триумфальные ворота. — Павловские декорации работы Пьетро Гонзаго. — Цвет иудейского дерева и ляжки испуганной нимфы. — Представление в Павловске. — Актриса Наталья и лучший в Лицее фехтовальщик, Александр Пушкин. — «Всякий русский должен благодарить Бога, что он родился не французом». — Бал в Розовом павильоне. — Государь выбирает одну из сестер Велио. — Разъезд гостей. — 27 июля 1814 года	
Глава шестая, ...	262
в которой победители пируют в Павильоне Мира, а Константина Батюшкова представляют императору. — Нелединский-Мелецкий от имени императрицы Марии Федоровны заказывает Батюшкову стихи. — Композитор Катерин Альбертович Кавос. — Поездка Батюшкова в Приютино к Лениным. — Алексей	

Николаевич Оленин. — Приютинские забавы. — Анна Фурман и ее благодетельница Елисавета Марковна. — «Крыловская кельюшка» и сам Иван Андреевич. — Граф Дмитрий Иванович Хвостов и зубастый голубь. — За каждый стих — бутылку шампанского. — Батюшков и Анна. — Граф Хвостов — камер-фрейлина Екатерины Великой. — Кривой Гнедич — соперник Батюшкова. — Лето 1814 года

- Глава седьмая, ... 272
 в которой Крылов обедает у Олениных. — Уха с растегаями. — Телячьи отбивные. — Жар-птица. — Нежинские огурчики и мочения. — Антикварий Селакадзев. — Вольтер, бывший Ломоносовым и Дмитриевым. — Страсбургский пирог от Федосеича и гурьевская каша на каймаке. — Филипп Филиппович Вигель с молодым французом Ипполитом Оже, их страстные поцелуи. — Тоска влюбленного Батюшкова и бегство из Приютина. — Лето 1814 года
- Глава восьмая, ... 279
 в которой цирюльник бреет Пушкина. — Приезд родителей с братом и сестрой. — Пушкин узнает от отца, что с ним мечтают познакомиться Вяземский и Жуковский. — Лето 1814 года
- Глава девятая, ... 285
 в которой русские в Баден-Бадене собираются у Русского дерева. — Записки графа Корфа. — Прогулки с князем Горчаковым. — Октябрь 1882 года
- Глава десятая, ... 289
 в которой князь Горчаков рассказывает Хитрово, как сжег поэму Пушкина «Монах». — Яд в кармане у Горчакова. — Записка Корфа. — Октябрь 1882 года
- Глава одиннадцатая, ... 293
 в которой Иван Петрович Хитрово прогуливается на променаде в Баден-Бадене. — Разговоры Хитрово с графом Корфом. — 1875 год. — Близкий круг «кальянщиков» Александра II. — Протекции, которыми пользовался Пушкин. — Почему близкие друзья умолчали о личной жизни поэта. — Выдающиеся распутники пользуются в России такой же популярностью, как во Франции оппозиция. — Что думал граф Корф о поэме Пушкина «Тень Баркова». — Лут Цихтенхайленале. — Октябрь 1882 года
- Глава двенадцатая, ... 301
 в которой Пушкин за кулисами крепостного театра графа Толстого навещает актрису Наталью. — Ночная встреча с дядькой Сазоновым. — Осень 1814 года
- Глава тринадцатая, ... 306
 в которой Пушкин лежит в лазарете. — Доктор Пешель. — Дядька Сазонов. — История с Антипьевной и Марфушкой. — Встреча с Бакуниной. — «Я был счастлив пять минут». — Словарь Кюхельбекера. — Автор пожелал остаться неизвестным. — Игра на виолончели графа Толстого. — Поздняя осень 1814 года

Глава четырнадцатая, ...	315
в которой имеет быть публичное испытание воспитанников первого приема, Сергей Львович Пушкин ищет попутчика в Царское Село, Батюшков тоскует и мечтает об Италии, а великий Державин прибывает на экзамен, чтобы послушать лицейстов, но первым делом ищет нужник. — 22 декабря 1814 года — 8 января 1815 года	
Глава пятнадцатая, ...	318
в которой лицеисты держат публичный экзамен. — Выступление Горчакова. — Историческое чтение Пушкина. — Дядька Сазонов смывает пятна крови. — Державин хочет благословить Пушкина. — 8 января 1815 года	
Глава шестнадцатая, ...	326
в которой Василия Андреевича Жуковского представляют императрице Марии Федоровне в Павловском дворце. — Кабинет императрицы «Фонарик». — Разговор о Наполеоне. — Описание внешности Жуковского. — Великий князь Николай Павлович. — Служба инвалидов при дворе императрицы. — Розовый павильон. — Первая встреча Жуковского с Пушкиным. — «Меня поносит стихами». — Поэт и заморская обезьяна на одной доске. — Вопрос о частной жизни. — Разговор с Батюшковым. — Кто напишет «Бову»? — Весна—осень 1815 года	
Глава семнадцатая, ...	335
в которой происходит битва с царским садовником и его людьми. — Благородный пансион при Лицее. — Левушка Пушкин и Павел Воинович Нашокин. — Рассказы Нашокина о своем детстве. — История двоих дураков, Карлы-головастика и плешивого Алексея Степановича. — Государь Павел I и дурак. — Кондитерская Амбиеля. — Осень 1815 года	
Глава восемнадцатая, ...	342
в которой рассказывается о нравах лейб-гусар, стоящих в Царском. — Генерал-майор Василий Васильевич Левашов. — Граф Аракчеев абонирует тело Варвары Петровны Пуколовой на бессрочное время у ее мужа, но делит ложе с полковником Крекшиным. — Как обер-секретаря Святейшего Синода обвенчали с тринадцатилетней девочкой. — Аракчеев катает Пуколову на закорках у себя в приемной. — Лицейские в манеже. — Филипп Филиппович Вигель со своим любовником Ипполитом Оже. — Корнет Алексей Зубов. — «Лучшее шампанское — это водка! Лучшая женщина — это мальчик!» — Осень 1815 года	
Глава девятнадцатая, ...	351
в которой Пушкин знакомится с графом Федором Ивановичем Толстым, прозванным Американцем, слушает его рассказы и рассматривает вместе с другими гостями его татуировки. — Граф Толстой-Американец принимает приглашение гусара Молоствовова на дружескую пирушку. — Русская горка, шампанея и канарейки по вкусу для удовлетворения плотских желаний. — Барон Дельвиг пытается соблазнить мадемуазель Шредер. — Зима 1815—1816 года	

Глава двадцатая, ...	358
в которой гусары едут в Париж. — Жуковский — заговорщик, а Пушкин — генерал. — Декорация Гонзаго в снегу. — «Поворотись-ка, милая!» — Зима 1815—1816 года	
Глава двадцать первая, ...	362
в которой рассказывается история общества «Арзамас». — «Липецкие воды, или Урок кокеткам». — Соперничество Вигеля и графа Уварова в оболщении юношей. — Новые имена арзамасцев. — Жареный гусь и гусиная гузка. — Стихи Пушкина на приезд государя. — Камеражи Пушкина. — Старый конь борозды не испортит. — Зима 1815—1816 года	
Глава двадцать вторая, ...	371
в которой Василий Львович Пушкин прибывает из царства мертвых и навещает брата на новой квартире. — Василия Львовича принимают в «Арзамас» в доме Сергея Семеновича Уварова. — Прение под шубами. — Речь Светланы. — Их Превосходительства гении «Арзамаса». — Месяца Вресеня, от Липецкого потопа в лето первое, от Видения в месяц шестый. — Первая половина марта 1816 года	
Глава двадцать третья, ...	380
в которой в Лицее появляется новый директор Егор Антонович Энгельгардт. — Тип старинного франта. — Лицейский быт принимает иной характер. — «Боже, Царя храни!» на мотив английского гимна. — Прогулки государя Александра I по Царскому Селу. — Весна—лето 1816 года	
Глава двадцать четвертая, ...	384
в которой Александр I опережает Александра Пушкина у сестер Велио, а дядька Сазонов, уличенный во многих убийствах, кается перед христианами. — Чужая душа — потемки! — Лето 1816 года	
Глава двадцать пятая, ...	388
в которой Николай Михайлович Карамзин посещает Лицей. — Статский советник с Анной через плечо. — Знакомство Вяземского с Пушкиным. — Дела арзамасские. — Визит Пушкина к Карамзину. — Описание китайского домика. — Кто должен наблюдать за придворным истопником. — Знакомство Пушкина с лейб-гусаром Петром Яковлевичем Чаадаевым. — Щеголеватые сапожки Чаадаева. — Фрески в гостиной китайского домика. — Супруга Карамзина, Екатерина Андреевна. — Летом стихи не пишутся. — Нет красивее гусарской формы. — Рассказы Чаадаева о другом Париже. — 25 марта — конец мая 1816 года	
Глава двадцать шестая, ...	399
в которой князь Вяземский тоскует в Гомбурге на даче Киселева. — Софья Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая. — «Похотливая Минерва». — Князь получает по счету за варшавские мадригалы Киселевой. — Жизнь с княгиней на киселевской даче. — Шереметевское колено князя Вяземского. — «Я давно живу одними преданиями». — Зарытый живым в могилу. — Кое-какие разъяснения князя Ивану Петровичу. — Осень 1874 года	

Глава двадцать седьмая	405
в которой у Камероновой галереи воспитанник Вольховский учит наизусть речь Цицерона, другие воспитанники потешаются над ним, а Пушкин дерзко отвечает царю. — Прогулки дам с чичисбеями по Царскому Селу под звуки полковой музыки. — Знакомство Пушкина с молоденькой вдовой госпожей Смит, прелестной родственницей директора Энгельгардта. — Осень 1816 года	
Глава двадцать восьмая, ...	412
в которой Николай Михайлович Карамзин обедает с царской семьей. — Описание императрицы Марии Федоровны. — Камер-пажи. — Анекдоты Александра Львовича Нарышкина. — За честную службу сделайте меня арапом. — Истории граф Карамзин. — Государь интересуется княжной Туркестановой. — Нелединский-Мелецкий получает заказ от императрицы на стихи по случаю бракосочетания великой княжны Анны Павловны и принца Оранского. — Стихи пишет Пушкин. — Нелединский-Мелецкий придумывает себе подагру. — Часы от императрицы юному стихотворцу. — Пушкин шупает в темноте престарелую фрейлину Волконскую. — Жалоба императору. — Князь Горчаков делает куверты и советует Пушкину не волноваться. — Осень 1816 года	
Глава двадцать девятая, ...	423
в которой Пушкин посещает историка Карамзина и дает ему советы. — Болтовня Пушкина с Соней Карамзиной. — Комендант Царского Села Захаржевский. — Осень 1816 года	
Глава тридцатая, ...	426
в которой государь обсуждает с Энгельгардтом конфуз с фрейлиной Волконской. — «Старушка, может быть, в восторге от ошибки молодого человека». — Государь вызывается быть адвокатом Пушкина. — Пушкин пишет письмо фрейлине с извинениями. — Карикатура Пушкина на Энгельгардта. — Любовные письма мадам Смит и Катерине Андреевне Карамзиной. — Мадам Смит у сестер Велио. — Французская эпиграмма. — Пушкин соблазняет мадам Смит и ретируется через балкон. — Осень 1816 года	
Глава тридцать первая, ...	435
в которой Карамзины делают Пушкину выговор за письмо, а Карамзин требует сатисфакции у поэта. — Разговоры о монархии. — «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой». — Осень 1816 года	
Глава тридцать вторая	439
в которой мадам Смит оказалась брюхатой. — Ночное свидание с мадам Смит в доме директора Энгельгардта. — Объяснение Энгельгардта с Пушкиным. — Интрижка Пушкина с корнетом Zubовым. — Поздняя осень 1816 года	
Глава тридцать третья, ...	444
в которой лицеистов впервые отпускают на рождественские вакации. — Публичный дом Софьи Астафьевны. — Воспитанни-	

цы Софьи Астафьевны, их нравы. — «При несчастье хуерык и на родной сестре подхватишь». — Вино кометы. — Санкт-петербургский обер-полицмейстер Иван Саввич Горголи. — Пушкин встречает Мартына Степановича Пилецкого. — 25—31 декабря 1816 года

Глава тридцать четвертая, ... 458

в которой Мартын Степанович посещает радение у Татариновой. — «Корабль» Татариновой. — Свальный грех, разговоры о первой чистоте и пророчества. — «Убеляйтесь, агнцы! Режьте тайные уды!» — Пилецкий познает маменьку. — Все врут про осклопление. — Маменьку посещает министр князь Голицын. — 25—31 декабря 1816 года

Глава тридцать пятая, ... 467

в которой рассказывается история князя Александра Николаевича Голицына и раскрывается цель его визита к Татариновой. — Как эпикуреец стал обер-прокурором Священного Синода. — Государь и Мария Антоновна Нарышкина. — Соперник государя князь Гагарин. — Баронесса Крюденер. — Домовая церковь князя Голицына. — Князь и его камердинер. — Государь с князем читают Евангелие по одной главе в день. — Перед Новым 1817 годом

Глава тридцать шестая, ... 475

в которой Сергей Львович Пушкин устраивает обед, вспоминает молодость и ссорится со старшим сыном, который собрался в лейб-гусары. — Второе посещение Софьи Астафьевны. — Елизавета Шот-Шедель. — Календарь на новый 1817 год. — Дорога в Царское Село вместе с Модестом Корфом. — 25 декабря 1816 года — 1 января 1817 года

Глава тридцать седьмая, ... 481

в которой граф Корф страдает бессонницей в Гомбурге, князь Вяземский пишет ему послание, а Иван Петрович Хитрово выясняет, сколько времени должно пройти, чтобы частная жизнь стала общественным достоянием. — Осень 1874 года

Глава тридцать восьмая, ... 489

в которой князь Горчаков строит себе мундир, а Жуковский присылает Пушкину своего «Певца в Кремле». — Мадам Смит соблазняет князя Горчакова. — Утопление Кюхли. — Весна 1817 года

Глава тридцать девятая, ... 493

в которой граф Аракчеев поутру будит императора Александра I. — История их дружбы. — Вручение государем воспитанникам Лицея медалей и похвальных листов. — Зачисление Пушкина в Коллегию иностранных дел. — Характеристика Пушкина Энгельгардтом. — Грузино Аракчеева. — Процветание пахнет известкой. — Змей Аракчеев защищает государя от всех. — Посещение таинственного павильона на острове в Грузии. — Архитектор Минут. — Встреча государем принцессы Шарлотты, невесты великого князя Николая Павловича. — 18 июня 1817 года

Глава сороковая, ...	504
в которой князь Горчаков с Иваном Петровичем Хитрово празднуют лицейскую годовщину. — Воспоминания князя о первом лицейском выпуске. — Мадам Смит рождает ребенка, похожего на Пушкина. — Горчаков, Кюхельбекер, Пушкин и другие представляются графу Карлу Васильевичу Нессельроде. — Присяга. — Пушкин знакомится с Никитой Всеволожским. — Анекдоты князя Горчакова. — «Он уже метит на мое место». — Бренное тело директора Энгельгардта. — Старинные часы с портретом Александра I. — Июнь—июль 1817 года, 19 октября 1882 года	

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая, ...	515
в которой князь Горчаков рассуждает о смерти. — Немцы заливают покойников растопленным салом для перевозки. — Православная церковь в Бадене. — Отец Иоанн Базаров. — Однополая любовь в Лицее и в Пажеском корпусе. — Анекдот в связи с этим о Якове Ивановиче Ростовцеве. — Бугры и бардаши. — Александр Иванович Соллогуб. — «Вспомни обо мне, когда тебя в Константинополе будут сажать на кол». — Бугры-либералисты. — Любовь Горчакова к Корсакову. — Тайна брегета Александра I. — Конец октября 1882 года	
Глава вторая, ...	523
в которой совершается бракосочетание великого князя Николая Павловича и великой княгини Александры Федоровны. — Николай Павлович пытается переменить мундиры камер-пажей, а император делает ему замечание. — Первая брачная ночь великого князя. — Похождения великого князя до свадьбы. — Пушкин и Всеволожский в Немецком театре и на бульваре Невского проспекта. — Камер-пажи Дараган и Шереметев. — Порядки в Пажеском корпусе. — Поездка к Театральному училищу. — Заутреня. — Воспитанница Овошникова. — Инспектор Рахманов. — Очередной скандал Александра Пушкина с отцом. — У братьев Тургеневых. — Знакомство с Кривцовым. — Что Бог послал на обед Тургеневым. — 1—2 июля 1817 года	
Глава третья, ...	540
в которой рассказывается, как семья Пушкиных едет в Михайловское. — День ангела у Павла Исааковича Ганнибала, дяди Пушкина. — История помещика Хрунова. — Биография Ганнибала. — Девица Лошакова. — Ссора с дядей. — Тося всему обучена. — «Восемь раз на дню покушать да три раза соснуть». — Ганнибальчики. — Подстреленный конюх. — Сломанный ноготь. — Июль 1817 года	
Глава четвертая, ...	548
в которой император Александр I соблазняет фрейлину княжну Вареньку Туркестанову, а его самого Екатерина Филипповна Татаринова. — Август 1817 года	

- Глава пятая, ... 554
 в которой Пушкин снова посещает братьев Тургеневых, пишет у них оду «Свободу», бродит вечером по театральным креслам, пляшет перед молодыми генералами, отшучивается с Пушиным, знакомится с Александром Грибоедовым и аплодирует актрисе Семеновой. — История Семеновой. — Левый фланг кресел. — *Princcese Nocturn*. — Конец августа — начало сентября 1817 года
- Глава шестая, ... 561
 в которой князь Вяземский беседует в Гомбурге на киселевской даче с Иваном Петровичем. — Рябчики, паюсная икра и запотевший графинчик. — Рассказ о княгине Голицыной, урожденной Измайловой. — Осень 1875 года
- Глава седьмая, ... 564
 в которой Батюшков сидит у Жуковского и смотрит, как тот примеряет новый мундир. — Павловский Пудрамантель — учитель русского языка у великой княгини Александры Федоровны. — Николай Николаевич Новосильцов. — Батюшков грустит. — Ахилл и Сверчок. — Клятва Сверчка на куриной гузке. — К Батюшкову ходят крысы, он снова грустит и хочет в Италию. — «Это не умирающий Тасс, а умирающий дядюшка Василий Львович». — Конец августа — начало сентября 1817 года
- Глава восьмая, ... 570
 в которой Пушкин у Карамзиных знакомится с княгиней Евдокией Голицыной и получает приглашение бывать у нее. — История Ивана Борисовича Пестеля, рассказанная Карамзиным. — Ростопчин. — Княгиня Голицына в сарафане и кокошнике. — Кто все-таки сжег Москву? Война 1812 года. — Борзописцы Тургенев, Воейков и Греч выдумывают подвиги русского народа, не выходя из петербургских квартир. — Пушкин протестует против быта, но интересуется его княгиня Евдокия. — Дом княгини. — Роман Пушкина с приемщицей билетов в зверинце. — Обратная сторона всего приятного, что имеешь с женщинами. — Сентябрь—октябрь 1817 года
- Глава девятая, ... 580
 в которой происходит четверная дуэль Завадовского и Шереметева, Грибоедова и Якубовского. — Авдотья Истомина, Вася Шереметев и другие участники событий. — Черный Вран Якубович. — Завадовский отдает часы Петру Каверину. — Доктор Ион взывает к милосердию. — Шереметев намерен прикончить графа Завадовского, но падает сраженный его пулей. — «Ну что, Вася, репка?» — Поездка к Талону. — Шампанское и котлеты. — Ужасная тоска Грибоедова. — 12 ноября 1817 года
- Глава десятая, ... 588
 в которой Пушкин у себя дома в бухарском халате выслушивает сплетни от Кюхельбекера, а получив от доктора Лейтона заверения, что здоров, немедленно отправляется к княгине Голицыной. — Араб Луи Обенг. — Тургенев у Голицыной рассказывает историю Соковнина, влюбленного в княгиню Веру Вяземскую. — Княгиня предлагает Пушкину на посошок, а он надеялся на нечто большее. — Конец ноября 1817 года

Глава одиннадцатая, ...	593
в которой Якубович прощается с Петербургом перед отъездом на Кавказ, и, переодевшись сбивенщиком, проникает за кулисы Каменного театра, чтобы поцеловать девицу Дюмон. — За Якубовичем гонится квартальный. — Якубович скрывается у Никиты Всеволожского. — Живые картины с голыми девками. — Слуга-калмык. — «Зеленая лампа». — Декабрь 1817 года	
Глава двенадцатая, ...	601
в которой Пушкин после очередной неудачи у княгини Голицыной едет к Лизаньке Шот-Шедель, но она его не принимает. — Ночь любви с Евдокией Голицыной. — «История государства Российского» окончилась в 25 дней. — Женщина в гусарском мундире посещает больного Пушкина. — Декабрь 1817 года — февраль 1818 года	
Глава тринадцатая, ...	607
в которой Иван Петрович проводит расследование о женщине-гусаре, беседует с графом Корфом, который ее видел, и рассуждает о русском человеке, не умеющем вести диалог. — Осень 1875 года	
Глава четырнадцатая, ...	610
в которой Пушкин с Всеволожским посещают гадательницу Кирхгоф и узнают свое будущее. — Она предсказывает смерть Пушкина от белой лошади, белой головы или белого человека. — Драка с немцами в Красном Кабачке. — Весна 1818 года	
Глава пятнадцатая, ...	615
в которой дельфийская пифия выговаривает Пушкину и издевается над Карамзиным. — Праздник закладки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах 12 октября 1817 года. — Архитектор Витберг. — Смерть младшего сына князя Вяземского. — Рождение великого князя Александра Николаевича. — 17 апреля 1818 года. — Жуковский пишет прошения. — Батюшков получает место в Неаполе. — Пушкин понтирует. — «Кормить его молочным супом и логикой». — Осень 1818 года	
Глава шестнадцатая, ...	626
в которой Пушкин вызывает на дуэль майора Денисевича. — Иван Иванович Лажечников. — Петр Яковлевич Чаадаев. — «Table talk». — Стихи к портрету Чаадаева. — Дуэль Ивана Анненкова с Ланским. — Английский магазин Никольса и Плинке на углу Невского и Морской. — Сапоги из Лондона для Чаадаева. — Осень 1818 года	
Глава семнадцатая, ...	634
в которой Иван Саввич Горголи обсуждает грубости Пушкина с его непосредственным начальством. — Скандалы Пушкина с отцом. — Софья Константиновна Клавона-Витт-Потоцкая, роман ее жизни. — Граф Витт продает жену за два миллиона. — Софья Потоцкая, новая любовь Пушкина, и легенда о Бахчисарайском фонтане. — Осень 1818 года	

Глава восемнадцатая, ...	643
в которой Жуковский принимает у себя по субботам петербургских литераторов. — Александр Алексеевич Плещеев. — Камергерский ключ Александра Тургенева. — Усатая княгиня Голицына. — Последние новости двора. — Пушкин с друзьями пьют водку в трактире. — Ссора с Кюхельбекером из-за эпиграммы. — Дуэль Кюхельбекера с Пушкиным. — «На четырех шагах да в глаз». — Пистолеты заряжены клюквой. — Осень 1818 года	
Глава девятнадцатая, ...	657
в которой описываются путешествия Александра I за весь 1818 год. — Княжна Туркестанова в свите матери-императрицы посещает тайного советника Гёте. — Неожиданный обморок. — Княжна рождает девочку и принимает яд. — Князь Вольдемар Голицын. — Тайное крещение «воспитанницы» Татариновой. — Владимир Лукич Боровиковский душою слаб. — Зима—весна 1919 года	
Глава двадцатая, ...	669
в которой Пушкин приобретает новых друзей. — Книжный граф Соболевский. — Павел Воинович Нашокин и его дворня. — Карла-головастик. — Китаец Мартын, привезенный в чемодане. — Буфетчик Севолда. — Модинька Корф колотит слугу Пушкина и отказывается стреляться с Пушкиным. — Весна 1819 года	
Глава двадцать первая, ...	678
в которой Карла-головастик и арапка развозят карточки с приглашением к Нашокину. — Шальные деньги жгут руки. — Знатная попойка. — Соло Куликовского. — Рецепт кулебяки в десять слоев. — Весна 1819 года	
Глава двадцать вторая, ...	683
в которой князь Вяземский, помещенный в лечебницу для душевнобольных в Бонне, ищет былую Россию, но находит лишь золу и пепел. — Зима 1874 года	
Глава двадцать третья, ...	686
в которой Василий Назарьевич Каразин вынашивает свой верноподданнический донос. — Овцы стаются, а лев всегда ходит один. — Эпиграммы Пушкина. — Попойка у Пьера Каверина. — 27 мая 1819 года	
Глава двадцать четвертая, ...	696
в которой семейство Пушкина уезжает в Михайловское. — Похороны младшего брата Платона Пушкина. — Жуковский учит великую княгиню русскому языку. — Обер-черт Пушкин. — «Ода на Свободу» и две болезни не русского имени. — Розовый павильон императрицы Марии Федоровны. — Лето 1819 года	
Глава двадцать пятая, ...	703
в которой Нашокин и Пушкин играют в карты с графом Толстым-Американцем. — «Только дураки играют на счастье». — Поздняя осень 1819 года	

Глава двадцать шестая, ...	710
в которой Пушкин примеряет маску Лувеля, убийцы герцога Беррийского. — Тучи сгущаются. — Сплетня подлека Толстого-Американца. — Первая встреча с Анной Керн. — Зима 1820 года	
Глава двадцать седьмая, ...	718
в которой Каразин посещает министра внутренних дел графа Виктора Павловича Кочубея и предлагает организовать департамент тайной полиции. — 12 апреля 1820 года	
Глава двадцать восьмая, ...	727
в которой чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Федор Глинка вступает в игру. — Пушкин у генерал-губернатора графа Милорадовича. — «Либерализм молодых людей не есть геройство и великодушие». — Карамзин просит Пушкина два года не писать против правительства. — Апрель 1820 года	
Глава двадцать девятая, ...	735
в которой государь читает проект письма генерал-лейтенанту Инзову о Пушкине и отправляет Пушкина в полуденные страны. — Апрель 1820 года	
Глава тридцатая, ...	738
в которой Пушкин покидает Петербург, Лицей сгорает дотла, а государь навещает Карамзина. — Май 1820 года	

Александр Леонардович Александров
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
1811—1820

Издание второе, исправленное и дополненное

Редактор
Игорь Захаров

Художник
Алексей Кокорекин

Верстка
Кирилл Лачугин

Директор издательства Ирина Евг. Богат

Издатель Захаров
Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: www.zakharov.ru

Подписано в печать 19.03.2003. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,32. Бумага офсетная.
Тираж 4000 экз. Изд. № 322. Заказ № 212.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

*В этой книге все, поэзия в том числе,
рассматривается через призму частной жизни
Пушкина и всей нашей истории; при этом автор
отвергает заскорузлые схемы официального
пушкиноведения и в то же время максимально
придерживается исторических реалий.*

*Касаться только духовных проблем бытия —
всегда было в традициях русской литературы,
а плоть, такая же первичная составляющая
человеческой природы, только подразумевалась.*

*В этой книге очень много плотского — никогда прежде
не был столь подробно описан сильнейший эротизм
Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического
дарования.*

*Пытаясь избежать риска оскорбить чувствительного
читателя, издатель предупреждает: у частной жизни
свой язык, своя лексика (ее обычно считают
нецензурной);*

*автор не побоялся ввести ее в литературное
повествование.*

*А.Л.Александров — известный сценарист,
театральный драматург и кинорежиссер.*

*За фильм «Сто дней после детства» он удостоен
Государственной премии СССР.*